

БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА



ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX ВЕКА



Руководитель проекта
А. Б. Усманов

Редакционный совет:
Л. А. Опёнкин, *доктор исторических наук, профессор*
(председатель);
И. Н. Данилевский, *доктор исторических наук, профессор*;
А. Б. Каменский, *доктор исторических наук, профессор*;
Н. И. Канищева, *кандидат исторических наук,*
лауреат Государственной премии РФ
(ответственный секретарь);
А. Н. Медушевский, *доктор философских наук, профессор*;
Ю. С. Пивоваров, *академик РАН*;
А. К. Сорокин, *кандидат исторических наук,*
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель);
В. В. Шелохаев, *доктор исторических наук, профессор,*
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель)



МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010



ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Александр Сергеевич ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ



МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
Том 2

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА:
Р. Б. Казаков,
кандидат исторических наук,
О. М. Медушевская,
М. Ф. Румянцева

АВТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ:
Т. В. Гимон,
кандидат исторических наук
М. Ф. Румянцева



МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010

УДК 94(47)(082.1)
ББК 63
Л24



Долгосрочная благотворительная программа
осуществлена при финансовой поддержке
НП «Благотворительная организация «Искусство и спорт»

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2-х т. —
Л24 **Т. 2** / А. С. Лаппо-Данилевский; [подгот. текста: Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; авторы коммент. Т. В. Гимон, М. Ф. Румянцева; авторы указ. имен Р. Б. Казаков, М. Ф. Румянцева]. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 632 с. — (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).

ISBN 978-5-8243-1400-7

УДК 94(47)(082.1)
ББК 63

ISBN 978-5-8243-1400-7

© Казаков Р. Б., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф., подготовка текста, 2010
© Гимон Т. В., Румянцева М. Ф., комментарии, 2010
© Казаков Р. Б., Румянцева М. Ф., именной указатель, 2010
© Институт общественной мысли, 2010
© Российская политическая энциклопедия, 2010

А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
ТОМ II

Часть II. МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Введение

§ 1. Понятие о методах исторического изучения[1]

В предшествующей части я попытался изложить общую теорию исторического знания: я рассмотрел, каким образом обосновывается та точка зрения, с которой оно построяется и изучение какого-либо объекта становится историческим; я также выяснил, какой именно объект всего более заслуживает такое название.

В связи с изложением общей теории исторического знания мне, разумеется, приходилось касаться и методов исторического мышления, например, той роли, какая принадлежит в нем анализу и синтезу, дедукции и индукции.

Не останавливаясь на более подробном развитии вышеприведенных положений в их общем значении, я прямо перейду к той части методологии истории, которая, хотя и не пренебрегает производными принципами исторического познания, однако занимается преимущественно рассмотрением главнейших методов исторического изучения. Такое учение исходит, конечно, из той познавательной точки зрения, которая устанавливается в теории исторического познания, и из вышеизложенных рассуждений о его объекте; постоянно пользуясь производными проистекающими отсюда принципами, оно все же сосредоточивается на изложении методов изучения тех фактов, значение которых признается историческим: оно выясняет ту зависимость, какая существует между принятой в нем познавательной точкой зрения и производными принципами, обусловливающими те, а не иные методы, а также между объектом исторического познания и соответствующими приемами его изучения; преследуя задачи подобного рода, оно и получает относительно специальный характер. Таким образом, принимая во внимание ту точку зрения, которая была обоснована в общей теории исторического познания, да и самый его объект, опираясь на некоторые производные принципы, специальная методология истории дает понятие об общих методах изучения, главным образом, в их зависимости от данного объекта, т. е. от истории человечества, что и дает основание назвать ее специальной.

Предлагаемое учение все же отличается довольно общим характером: оно должно принимать во внимание производные принципы, а не один только методы исследования, и рассматривает то общее, что обнаруживается в научных приемах самых разнообразных исторических дисциплин, например: в истории языка, в истории философии, религии, науки, искусства и литературы, в истории хозяйства и финансов, в истории права и т. п.

Общий характер той части методологии истории, которая занимается изложением методов исторического изучения, явствует также из того, что она не смешивает их с техническими приемами исторической работы. В самом деле, специальная методология истории все еще далека от простой техники исторических работ, а потому ее содержание и нуждается в систематическом рассмотрении; она пытается, например, обосновать общий принцип научного сомнения в достоверности заключений, делаемых историком о психическом значении материальной, внешней стороны источника, а не довольствуется только правилом: «сомневайся в достоверности исторических источников, не подвергнутых исторической критике», или просто даже формулой: «критикуй источник прежде, чем приняться за реставрацию тех исторических фактов, к которым он имеет отношение», формулой, часто выражаемой лишь в квалифицированном виде, применительно к данным разновидностям источников; он стремится выяснить методологические принципы, в силу которых историку приходится пользоваться психологией для реконструкции исторических фактов, и обосновывает ими те именно методы, которые нужны ему для научного построения данного рода исторических фактов, а не ограничивается высказыванием правил, хотя бы, например, правила, что историк должен прибегать к выводам психологии, касающимся учения о самовнушении, для объяснения, положим, факта появления стигматов у известного исторического лица и т. п.

Впрочем, указывая на общий характер рассматриваемого учения, не следует упускать из виду, что оно дает понятие о самостоятельном, собственно историческом методе, применяемом к изучению истории человечества, и, таким образом, охраняет историю от слишком легкого преобладания в ней методов, свойственных другим наукам, но мало пригодных для собственно исторического исследования и затемняющих характерные его особенности; оно также предостерегает исследователя и от слишком поверхностных аналогий и выводов.

Понятие о той части методологии истории, которая посвящена изложению методов исторического изучения, получит дальнейшее выяснение, если обратить внимание на главнейшие ее отделы; они отличаются друг друга и по познавательным целям, и по объектам изучения.

В самом деле, учение о методах исторического исследования состоит из двух отделов, уже намеченных выше: методологии и источниковедения и методологии исторического построения*. Методология источниковедения устанавливает, главным образом, те производные принципы и методы, на основании которых историк считает себя вправе утверждать, что факт, известный ему из данных источников, действительно существовал; она рассматривает, что именно источники дают для нашего знания об исторической действительности и в какой мере оно доступно нам при данных условиях. Методология исторического построения рассуждает о производных принципах и методах построения истории из фактов, данные о которых уже были предварительно истолкованы и проверены; она не задается вопросом о том, в силу какого рода соображений историк признает, что они действительно были, а предполагая его решенным в утвердительном смысле, только выясняет, каковы производные принципы и методы, которыми историк пользуется для того, чтобы научно конструировать историческую действительность.

Следует иметь в виду, что вышеуказанное различие между методологией источниковедения и методологией исторического построения проводится с точки зрения аналитической, а не генетической: в действительности изучение исторических источников идет, конечно, рука об руку с изучением исторического процесса, и, значит, могут быть случаи, когда историк уже пользуется методами исторического построения для того, чтобы выяснить научную ценность данного источника: вообще можно сказать, что в тех случаях, когда источник сам рассматривается как исторический факт, к его изучению уже прилагаются методы исторического построения; но с принятой выше точки зрения все же можно и должно различать методо-

* См. выше с. 16 <Т. 1. С. 98>.

логию источниковедения от методологии исторического построения и задача, и предмет их изучения различны.

Ввиду соображений, уже изложенных выше, в состав той части методологии истории, которая рассматривает методы исторического изучения, нет нужды включать рассмотрение технических приемов исторических исследований: особый круг знаний, который можно было бы назвать исторической технологией или техникой исторических работ, должен был бы давать понятие о весьма разнообразной совокупности специальных дисциплин, нужных для производства подобного рода работ*.

§ 2. Методы исторического изучения в современной литературе

В общем очерке развития методологии истории я уже указал на главнейшие периоды, которые можно различать в нем, и на важнейшие из сочинений, авторы которых частью излагали и методы исторического изучения.

В известных своих сочинениях Лукиан и Тацит[2], например, уже преподали несколько наставлений касательно таких приемов. Фосс и последующие писатели, а в новейшее время Бернгейм, Ланглуа-Сеньобос и Мейстер[3] с его сотрудниками даже преимущественно останавливались на их рассмотрении, впрочем, далеко не всегда отличая их от техники исторических работ**. В настоящем отделе, не возвращаясь к сказанному выше, я ограничусь кратким обозрением одних только общих трудов по исторической методологии в узком смысле, появившихся в новейшее время: они обыкновенно дают

* Ср. выше сс. 16–17 <Т. 1. С. 98–99>. К области техники исторических работ можно было бы отнести, например, следующие отрасли знаний: 1) правила собирания и хранения исторического материала, в частности — музееведение, архивоведение, библиотековедение и т. п.; 2) правила воспроизведения или издания исторического материала, источников вещественных и письменных; последнее — задача археографии в узком смысле; 3) правила наведения исторических справок, т. е. библиография, важная и для источниковедения, и для исторического построения; 4) правила исторического построения, т. е. составления историко-географических карт, синоптических таблиц разного рода и т. п. С исторической техникой не следует смешивать так называемые «вспомогательные науки»; замечания о них см. ниже.

** См. выше, Введ., § 3.

более или менее широкое понятие о методологии источниковедения и о методологии исторического построения*.

Вышеуказанное развитие теории исторического познания, конечно, имело некоторое влияние и на соответствующее понимание методов исторического изучения; но и развитие филологических, а также собственно исторических знаний давно уже получило существенное значение в их разработке: филологи и историки также выясняли приемы исторической науки; они подходили к ним не столько с общей философской, сколько со специальной научно-исторической точки зрения и вносили в учение о них результаты своих собственных конкретно-исторических исследований.

В начале прошлого века, когда Бёк приступил к своим чтениям по «энциклопедии и методологии филологических наук», рассматриваемое учение стало приобретать более систематический характер: методы исторического изучения получили в его труде более прочное обоснование и более широкую постановку. Вообще, Бёк испытал на себе некоторое влияние немецкого идеализма: сам он, например, указывал на то, что воспользовался идеями Шлейермахера. В своем построении Бёк исходил из понятия о филологии как о «познании познанного», что, разумеется, предполагало признание его объективно данным; с такой точки зрения он пришел к заключению, что «цель» филологии — «чисто историческая», и, в сущности, не отграничивал от нее истории; подобно учителю своему, Вольфу, он в таком же широком смысле понимал и классическую филологию: она должна познавать классическую древность в ее совокупности**. Впрочем, разли-

* *L. Wachler*, Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstellung der litterärischen Cultur in Europa, Göttingen, 1812–1820, в 2 тт. и 5 частях; в разных отделах автор сообщает указания на некоторые из старейших сочинений, касающихся методов исторического изучения; новейший обстоятельный, хотя и не лишенный пробелов очерк см. у *E. Bernheim*, Lehrbuch, Кар. II, § 3. Historische Entwickelung der Methode (SS. 205–250); текущая литература — в Jahresberichte der Geschichtswissenschaft с 1880-го года, когда вышел первый том, посвященный обозрению исторической литературы за 1878-ой год (отдел методологии истории — лишь с XII-го тома), а также в исторических журналах, особенно в Rev. de synthèse historique (с 1900-го года) и в Hist. Zeit. (с 1859-го года; отдел «Notizen» — с указаниями на литературу по философии и методологии истории — с 1893-го года) и др.

** *F. A. Wolf*, Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft, B-de I–V, herausgegeben von J. D. Gürtler und S. F. W. Hoffmann, Lpz. 1839.; см. Bd. I. S. 13: Supplementband (VI), SS. 5–76. План труда, однако, теоретически слишком мало

чая форму познания от «материального» его содержания, Бёк проводил соответственное различие между методами изучения, логически предшествующими содержанию науки, и ее результатами; но знаменитый эпиграфист не мог довольствоваться изложением одних формальных методов, которые он отождествлял преимущественно с герменевтикой и критикой; он особенно интересовался «филологической реконструкцией» классической древности, т. е. древностей частного и государственного быта греков и римлян; в связи с характеристикой «материальных дисциплин учения о (классической) древности» он, разумеется, часто касался и приемов ее реконструкции, но не выделил их в особое учение о методах исторического построения. Хотя Бёк не успел сам окончательно выработать систему, свободную от недостатков, и, в сущности, посвящал свои лекции изложению методов исторического изучения только применительно к классической древности, но все же его курс, по полноте и разносторонности содержания, долгое время оставался единственным в своем роде и, наконец, уже по смерти автора, появился в печати*.

Чрезмерно широкое понимание филологии, предложенное Бёком, вызвало, однако, сомнения среди тех филологов, которые не решались сводить филологию на историю и, разумеется, не могло удовлетворить самих историков**. Между тем, задолго до напечатания вышеназванного труда потребность в разработке методов исторического изучения стала ощущаться и среди историков. Во главе их можно, конечно, поставить Нибура[4], с таким успехом применившего филологию к истории: подобно Ф. А. Вольфу, «герою и эпониму[5]» немецких филологов, он пользовался критическим методом при изучении исторических преданий. В своей «Римской истории» Нибур, благодаря широкой эрудиции, привлек самый разнообразный материал для их истолкования и показал, какое значение «разносторонняя и глубокая» критика имеет для их оценки; он также обнаружил великую способность представлять себе живые образы «людей и предметов» и постигать действительную жизнь в полноте ее индивидуальных особенностей; вместе с тем он следил и за ее развитием, особенно в области социально-экономических отношений, в «учреждениях и администрации» и т. п. Постоянно отвлекаемый от науки, Нибур не дал, однако, какого-либо цельного изложения своих теоретических взглядов, хотя и обнаружил многие из них на деле в своей «Римской истории»: она надолго стала образцом исторического исследования*.

Впрочем, материалы для курсов по методологии истории, в узком смысле, начали подбирать преимущественно с 1820-х годов и большею частью лишь в связи с ведением крупных научных предприятий, вроде «Monumenta Germaniae Historica»[6], или с теми серьезными историческими занятиями, которые стали практиковаться, например, в Ecole des Chartes и в германских университетах, главным образом, с того времени, когда Ранке, в 1834-ом году, учредил свое известное «историческое общество» в Берлине[7]; потребность в научных пособиях по методологии, разумеется, стала возрастать после того, как аналогичные порядки возникли, благодаря реформе, предпринятой Дюрьи[8] в 1868 г. во французских университетах, а затем и в университетах других стран.

До позднейшего времени, однако, достаточно общего руководства по методологии истории не появлялось, хотя бы в вышеуказанном узком смысле. В своих вступительных лекциях к курсу новой истории Арнольд[9], большой поклонник Фукидида и Нибура, правда, уже коснулся некоторых из важнейших положений подобного рода: он высказал, например, несколько замечаний о степени доверия, с каким должно относиться к истории, особенно о степени достоверности современных свидетельских показаний, и попытался, в общих чертах, выяснить «метод исторического анализа» и синтеза в приложении его к периодизации истории и к пониманию прошлого его родины с того времени, когда в ней появились политические партии; но талантливый автор лекций затронул такие темы слегка и не успел

обоснован и слишком приноровлен, по словам Бёка, к «эмпирически данному», что и лишает его внутреннего единства.

* *A. Boeckh*, Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, herausgegeben von E. Bratuschek, 1 Aufl. Lpz. 1877. 2 Aufl., besorgt von R. Klussmann, Lpz., 1886; см. SS. 11, 18, 55 ff., 255 ff. и др. Книга снабжена значительным количеством библиографических указаний, доведенных Клуссманом до новейшего времени, а также указателем. Впрочем, отдел «государственных древностей» не вошел в книгу, так как лекции о греческих государственных древностях должны были выйти особым изданием.

** *H. Usener*, Vorträge und Aufsätze, Lpz., 1907, SS. 10, 14, 16, 21, ff; о G. Hermann'e см. там же, с. 17.

* *B. Niebuhr*, Römische Geschichte, N. A. Berl. 1873. 3 B-de. *I. Classen*, Barthold Georg Niebuhr, Gotha, 1876. *Т. Грановский*, Соч., ч. II, сс. 7–118 и др.

подвергнуть их систематической разработке*. Значительно позднее, в 1886-ом году, один из видных английских историков — Фримэн[10], преданный ученик Арнольда и почитатель Мэколея[11], выступил с книгой, специально посвященной обозрению «методов исторического изучения». В интересных лекциях, из которых возникла книга, названная выше, Фримэн, почти одинаково знакомый и с «древней» и с «новой историей», касается самых разнообразных предметов. Слишком мало останавливаясь на понятии об истории, которая, по его мнению, изучает человека, главным образом, как «существо политическое», автор прежде всего говорит о вспомогательных науках, например, о геологии с родственными ей дисциплинами, и, в особенности, о филологии, а также об изучении права; далее он указывает на затруднения, с которыми связано изучение истории, не имеющей своей выработанной технической терминологии; он также рассуждает о степени достоверности исторического знания: историк с меньшим доверием, чем натуралист, может сказать, что факт действительно произошел или что дело происходило таким-то образом, но зато он ближе подходит к «истинному знанию» причин данного факта или того, почему именно дело произошло так, а не иначе; вслед за тем он еще говорит о подлинности и достоверности источников, различая между ними «повествовательные», «монументальные» и «документальные», а также характеризует важнейших классических и средневековых писателей, не забывая, впрочем, и выдающихся английских и некоторых немецких историков позднейшего времени. В своей книге Фримэн, кроме того, обращает внимание на «единство истории» и на значение путешествий для реконструкции исторического прошлого**. При ознакомлении с разбираемым сочинением легко заметить, что Фримэн слишком мало интересуется теоретическим обоснованием своих правил и иллюстрирует их примерами, почерпнутыми преимущественно из древней и английской истории; система его изложения представляется несколько случайной, а некоторые из предлагаемых им правил производят довольно «банальное» впечатление. Тем не менее, труд Фримэна имеет некоторое значение: в нем можно найти живую характеристику конкретных типов источников, несколько замечаний об исторической достоверности и соображения о «единстве истории», в силу которого необходимо соблюдать и единство исторического построения.

* *Th. Arnold*, Introductory lectures on Modern History; лекции были читаны в 1842-м году; новое издание с примечаниями H. Reed'a, N.-Y., 1845.

** *E. Freeman*, The methods of historical study, Ld., 1886.

Ни Фримэну, ни некоторым другим ученым, в то время занимавшимся исторической методологией, не удалось, однако, вполне утвердить в среде ученых специалистов сознание в необходимости подобного рода научной дисциплины. Возраставший интерес к ней вызвал даже протест со стороны почтенного историка — Лоренца*: он полагал, что трактаты по методологии истории не могут создать исторических трудов, так как основание для правильного суждения о каком-либо предмете лежит в особенностях судящего, а не в правилах исторической критики; он указывал на то, что историческая методология развивалась путем целого ряда колебаний, что отрицаемое через несколько лет утверждали, и проч. Такой скепсис не помешал, однако, самому Лоренцу предложить несколько правил исторической критики и подвергнуть критическому рассмотрению несколько исторических сочинений, что, очевидно, предполагало наличность у самого критика какой-либо руководящей точки зрения на задачи и на приемы исторического изучения. Лоренц был, конечно, прав, когда утверждал, что талант не создается, а создает; но он напрасно не хотел принять во внимание, что обоснование методологических приемов не менее важно, чем практическое усвоение их в процессе самой исторической работы; что и талант и, в особенности, рядовые работники, очень полезные для науки, все же воспитываются и на методологических курсах; что с такой точки зрения методологические курсы должны служить частью введением, частью заключением к серьезным историческим занятиям.

Последующее развитие литературы по методологии истории также мало оправдало скептическое отношение к ней Лоренца: помимо более или менее общих трудов, уже рассмотренных выше, можно упомянуть здесь о лекциях, читанных Сеньобосом в вольной школе социальных наук в Париже.

Сеньобос попытался изложить методы исторического изучения в применении их к социальной истории (главным образом экономической**). В первой части своего труда Сеньобос, в сущности, дает по-

* *O. Lorenz*, Die Geschichtswissenschaft и проч. Zweit. Theil, Berl. 1891; III Abschnitt: Forschungslehre und Unterricht (SS. 279–416).

** *Ch. Seignobos*, La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Par. 1901. Рус. пер. П. Когана, М. 1902 г.

понятие о методологии источниковедения в применении ее к изучению «документов социальной истории»: здесь автор предлагает, например, «теорию о документе», разумея под ним «след предшествующих ему действий», и дает понятие о психологическом его истолковании; он также хорошо сводит правила критической обработки и оценки статистических данных. Во второй части Сеньобос останавливается на методологии исторического построения социальной истории: он обстоятельно излагает здесь приемы группировки сосуществующих и последовательных фактов.

Вообще, в книге Сеньобоса можно найти весьма полезные советы; он предостерегает всякого от чрезмерного доверия к статистическому и другому материалу, касающемуся социальной истории, и от увлечения обобщениями в ее области. Некоторые из замечаний, высказанных мною относительно «Introduction aux études historiques», тем не менее остаются в силе и применительно к разбираемому труду: и в своей новой книге Сеньобос, например, все же не дает теоретического обоснования многих своих положений (хотя и в меньшей степени, чем раньше), а также не останавливается на выяснении логического сходства или различия между науками социальными и историческими; он преувеличивает субъективный характер исторического метода, что, может быть, объясняется пренебрежением его к тому разряду исторических источников, которые можно назвать остатками культуры; он довольствуется чисто эмпирическими определениями (например, эволюции) и т. п.

Впрочем, кроме более или менее общего рассмотрения принципов и методов исторического изучения, можно обсуждать те же проблемы и в более конкретной их постановке, т. е. в приложении тех, а не иных методов к источниковедению, и к построению истории данного народа или более или менее крупного исторического периода.

В трудах подобного рода можно найти или общие введения, в известной мере затрагивающие принципы и методы исторического изучения, или применение их к обозрению источников и пособий, имеющих отношение к той, а не иной области истории.

Общее введение в изучение истории, например, можно отчасти найти в монументальном труде В. С. Иконникова[12]: он касается в нем даже некоторых проблем, входящих в область теории исторического познания (например, понятия об историческом законе, о роли личности в истории [и] т. п.), но не выделяет ее и останавливается, главным образом, на обозрении методов исторического изучения. Автор, правда, мало затрагивает учение об интерпретации, но отводит много места учению о критике: он следит за ее развитием, преимущественно со времени Болингброка[13], Вольтера и Шлёцера[14] и обстоятельно выясняет ее приложение к разнообразным по своему значению видам исторических источников, впрочем, уделяя слишком мало внимания памятникам вещественным и произведениям литературы. В одной из последующих глав автор дает понятие о «внутренней критике» и рассматривает некоторые из методов понимания исторических фактов в «необходимой» их «связи» и приемов «исторического искусства»; он характеризует сравнительный метод и предупреждает против чрезмерного увлечения статистическим методом, обезличивающим историю; он рассуждает также о «теории прогресса», с точки зрения которого построяется исторический процесс; наконец, он переходит к разбору таких условий, при соблюдении которых историк может достигнуть возможно более объективного и художественного изображения прошлого. Таким образом, в своем введении В. С. Иконников касается целого ряда вопросов, имеющих самое близкое отношение к методам исторического изучения: хотя он и не дает систематического учения о них, но сообщает много полезных библиографических указаний, выписок и соображений, ввиду главной цели его труда, разумеется, приноровленных преимущественно к потребностям русской исторической науки*.

В других сочинениях, представляющих введения в данную конкретную область истории, методология источниковедения получает характер обозрения источников данной истории, приемов их изучения и т. п., а методология исторического построения превращается в обозрение пособий, касающихся той же истории, точек зрения, с которых они написаны, приемов группировки и периодизации, которые в них приняты, и т. п. В числе трудов подобного рода, имеющих, конечно, весьма важное значение для правильной постановки исторических работ в известной области, я укажу, для примера, на «Введения» в изучение истории древней Греции и нового времени, составленные В. П. Бузескулом[15] и Г. Вольфом. В своем «Введении в историю Греции», главным образом, доэллинистического периода,

* *В. Иконников*, Опыт русской историографии, Киев, 1891 г., т. I, кн. 1, сс. 1–269.

В. П. Бузескул, с большим знанием дела, частью обозревает источники, понимая их в самом обширном смысле слова (язык, предания, памятники вещественные, надписи, а также другие документы и «литературные произведения»), частью дает очерк разработки греческой истории, преимущественно в прошлом веке. При обзоре источников автор обращает внимание на приемы их истолкования и критики, а также на их значение, касаясь их, впрочем, лишь применительно к отдельным видам источников и в особенности к сочинениям важнейших греческих историков; а в очерке историографии нового времени он не упускает из виду ни общих течений исторической мысли, ни открытий, оказавших влияние на развитие исторического понимания древнегреческой жизни, ни приемов ее построения у разных авторов*. В своем «Введении в изучение новой истории» Г. Вольф также обозревает источники новой истории, разделяя их на «предания» и «остатки»; в части, посвященной обзору «преданий», особенно ценным должно признать отдел о мемуарах, а, в известной мере, и о повременной печати; в части, озаглавленной «остатки», многое заслуживает внимания, в особенности отдел о государственных договорах; в книге можно найти и такие главы, которые касаются развития историографии и, следовательно, имеют отношение к методологии исторического построения. Впрочем, автор едва ли вполне переработал собранный им обширный материал, и преимущественно остановился лишь на обзоре источников новой истории, а не на ее построении в современной историографии; он напрасно оставил без достаточного внимания такие источники, как письма (не говоря о менее важных), и несколько пренебрег дипломатикой актов нового времени; вместе с тем он, главным образом, имел в виду лишь «политическую» историю и не может удовлетворить того, кто стал бы искать в его книге хотя бы краткое обозрение попыток построить историю культуры нового времени**.

«Введения» подобного рода не могут, однако, заменить собою систематического рассмотрения методов исторического изучения в вышеуказанном смысле: оно имеет свои задачи, постановка и реше-

* *В. Бузескул*, Введение в историю Греции, изд. 2-е, Харьков, 1904 г.; ср. *его же*: Краткое введение в историю Греции, Харьков, 1910 г., с более или менее значительными сокращениями во многих отделах.

** *G. Wolf*, Einführung in das Studium der neueren Geschichte, Berl., 1910.

ние которых предлагается в нижеследующих отделах, посвященных изложению методологии источниковедения и методологии исторического построения.

Отдел первый. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Методология источниковедения до сих пор еще не представляет цельного и систематически развитого учения: одни предлагают, например, взамен такого учения только обозрение конкретно данных исторических источников, их коллекций и изданий, в связи с «эвристикой», и отводят особое место критике; другие готовы отождествлять методологию источниковедения с «критикой», понимая ее в широком смысле; третьи изучают исторические источники в их генезисе, например, в зависимости от тех условий и форм общественной жизни, благодаря которым они возникли, и т. п.

В настоящем отделе я и попытаюсь прежде всего выяснить понятие о методологии источниковедения, в связи с тою целью исторического познания, которую она стремится достигнуть; вслед за тем я перейду к систематическому рассмотрению главнейших ее частей, в основных своих положениях все еще очень мало разработанных, даже в современной литературе, и остановлюсь на учении об источниках исторического познания, т. е. о том, что именно следует разуметь под источником и каковы главнейшие разновидности источников, а также на учении о главнейших критериях и методах их интерпретации и критики; в заключение я коснусь и того значения, какое исторические источники имеют для нашей науки.

Введение

§ 1. Понятие о методологии источниковедения

Между общею частью методологии истории и тою частью, которая посвящена изложению учения об объективно-данных источниках исторического знания, нельзя не заметить довольно тесной связи, благодаря которой легко установить и принципиальное значение вышеназванного учения.

Общая часть методологии истории обосновывает, главным образом, ту познавательную точку зрения, с которой историк должен изучать действительность вообще, но не предрешает вопроса о дей-

ствительном существовании тех именно фактов, которые известны историку из данных источников; решение такой задачи и выпадает на долю методологии источниковедения.

В самом деле, хотя историк, признающий эмпирически данную действительность, не может сомневаться в действительном существовании факта, доступного непосредственному его наблюдению, но он не в состоянии подвергнуть собственно «исторический» факт непосредственному наблюдению в том именно, что всего лучше характеризует его: чужие состояния сознания сами по себе не поддаются наблюдению историка; он только заключает о их существовании*. С последней точки зрения, значит, основательность наблюдений, производимых историком даже над фактом, совершающимся перед ним, представляется ему проблематичной: утверждение, что такой факт действительно совершается (поскольку оно касается внутренней, психической его стороны) требует обоснования, т. е. нуждается в каких-либо научных критериях, на основании которых можно было бы признать действительное существование тех внутренних психических факторов, действие которых, в данной индивидуальной их комбинации, обнаруживается во внешних формах, доступных восприятию историка.

В сущности, однако, историку обыкновенно приходится иметь дело (поскольку речь идет об истории в наиболее характерных ее особенностях) не с совершающимися, но с совершившимися фактами: историк занимается научным построением исторического целого; но всякое эволюционное целое в известный момент действительно существует только в одной из своих частей; для того, чтобы представить себе такое эволюционное целое, историк должен восстановить, путем научной конструкции, состояния, пройденные данной индивидуальностью (личностью, народом и т. п.); в случае, если данная индивидуальность сама уже перестала существовать, он конструирует вообще все ее состояния, поскольку они оказались частями пройденного ею развития; или, если она продолжает существовать, — все уже пройденные ею состояния и т. п.

Восстановление прошлых, ранее существовавших стадий развития находится, однако, в самой тесной зависимости и от тех источников, на основании которых такое восстановление может быть сде-

* См. выше сс. 307–318 <Т. 1. С. 340–350>.

лано: пользуясь наличным историческим материалом, характеризующим (или в отдельности или вместе с другими фактами) прошлое состояние культуры, историку приходится восстановлять факты; значит, восстановление их зависит от наличности исторических источников в самом широком смысле; а так как самих фактов уже нет, то и пользование историческими источниками, которые нельзя, конечно, отождествлять с исчезнувшими фактами, требует довольно изощренных методов их изучения.

Итак, если иметь в виду, что лишь самая незначительная часть действительности, протекающей пред историком, непосредственно доступна личному его чувственному восприятию, а остальная все же известна ему лишь по ее остаткам или из чужих наблюдений, то и понятие о его задаче сильно осложнится. Свое знание о большинстве сложных исторических фактов, например, историк принужден почерпать из чужих наблюдений, воспоминаний и оценок, доступных его собственному чувственному восприятию. В случаях подобного рода историку приходится предварительно выяснять значение не самого факта и даже не его остатков, а данного о нем показания или известия, очень часто восходящего к лицу, которое вовсе не было подготовлено к научному наблюдению над заинтересовавшим его фактом; а при таких условиях вопрос об основательности его знаний касательно изучаемого факта встает с еще большею силою и в еще большей мере нуждается, при своем решении, в принципах и методах, излагаемых в методологии источниковедения.

В самом деле, можно ли без всяких критериев пользоваться историческим источником и утверждать, что факт, восстановленный на его основании без предварительного его рассмотрения, действительно существовал? Помимо чисто субъективных условий, затрудняющих вообще научное изучение всякого материала, достаточно здесь представить себе, пока хотя бы в самых общих чертах, что надо разуметь под историческим источником, для того, чтобы ответить на такой вопрос отрицательно: в сущности, историк признает его психическим продуктом, т. е. продуктом человеческого творчества в широком смысле слова; с такой точки зрения, например, он различает какой-либо ludus naturae[16] от каменной поделки, в которой запечатлелось хотя бы слабое проявление человеческого творчества, или бессмысленные знаки — от начертаний первобытной письменности и т. п. В связи с вышеуказанным пониманием источника, историк по-

лагает, что такая психика, построяемая им, разумеется, на основании принципа признания чужой одушевленности, в качестве ранее бывшей, могла быть иною, чем теперешняя, что она далеко не полно отразилась в источнике, особенно если он сохранился только в обломках или в отрывках; что правильное понимание ее требует особого рода предосторожностей при обращении с ними, и т. п.; не выяснив их научного значения, историк, очевидно, не может пользоваться таким материалом и не решится утверждать, что факт, знание о котором он почерпает из него, действительно существовал. Вместе с тем, историк может утверждать нечто подобное лишь в том случае, если он признает показания о фактах, заключающиеся в историческом источнике, «истинными»; но, так как чужие показания, очевидно, могут и не удовлетворять такому условию, то, не зная a priori, какое из них удовлетворяет ему, какое не удовлетворяет, историк, значит, должен подходить к каждому показанию с научным сомнением; он должен подвергнуть его рассмотрению, благодаря которому он и получает возможность хотя бы в некоторой степени приблизиться к знанию действительности. Следовательно, историку надо установить критерии, на основании которых он мог бы утверждать, что факт, известный ему из данного источника, действительно совершился; установление таких критериев, а также связанных с ними методов изучения исторических источников и производится в методологии источниковедения.

Итак, основная задача методологии источниковедения — установить те критерии, на основании которых историк считает себя вправе утверждать, что факт, известный ему из данных источников, действительно произошел в настоящем или в прошлом развитии человечества; опираясь на них, он с такой точки зрения изучает объективно-данные источники исторического знания; специальные методы, при помощи которых историк исследует источники, складываются в зависимости от указанной точки зрения и применительно к тем свойствам, которые он приписывает им.

В самом деле, от логических методов в их чистом виде (положим, чистой дедукции или чистой индукции) методы исследования собственно исторических источников отличаются большею сложностью и конкретностью: несколько отвлеченных, логически раздельных методов мышления сплетаются в каждом из них в одно целое; историк, интересующийся данным источником, пользуется не абстрактными

методами дедукции или индукции вообще, а более или менее сложной их комбинацией, приноровленной к изучению данных своего исторического опыта, т. е. данного рода источников. Таким образом, принцип группировки подобного рода способов историк разыскивает не только в формальных (логических) особенностях мышления, ибо разные с логической точки зрения методы приложимы к одному и тому же роду источников; означенный принцип он ставит и в зависимость от своего представления об эмпирически данном ему историческом материале; он группирует методы подобного рода, имея в виду различие комбинаций логических способов изучения в зависимости от того или иного рода источников и вытекающем отсюда различии соответствующих для того способов исследования; каждый такой способ исследования может совмещать несколько методов, различных с логической точки зрения, но комбинируемых вместе для достижения одного и того же результата.

В зависимости от свойств изучаемого материала, который историку человечества представляется психическим продуктом, и такие комбинации методов его изучения оказываются, значит, преимущественно комбинациями психологических методов изучения психических продуктов, называемых историческими источниками.

§ 2. Методология источниковедения в современной литературе

Долгое время методология источниковедения развивалась в тесной зависимости от филологии и науки о классической древности: самые понятия об «источнике», а также о герменевтике и критике возникли в связи с филологической интерпретацией и критикой важнейших произведений литературы классической древности, интересовавших древних «грамматиков» — эксегетов и «критиков»[17], а также гуманистов[18] и позднейших представителей науки о классической древности. Вместе с тем, однако, такая зависимость задерживала самостоятельное развитие методологии источниковедения: лишь с начала прошлого века она стала приобретать значение особой научной дисциплины; с того же времени можно начинать и обозрение посвященной ей литературы.

Великий представитель религиозного идеализма — Шлейермахер впервые попытался выработать и общее учение об основных принци-

пах методологии источниковедения; правда, и он, подобно, например, Эрнести[19] и Морусу, не разрывал их связи с экзегетическим изучением Нового Завета; но он и не следовал примеру Вольфа, все еще рассматривавшего их лишь в довольно отрывочном их приложении к изучению классической древности*; напротив, он попытался выделить и систематически изложить общие принципы, лежавшие в основе таких работ, и тем самым много содействовал образованию особой научной дисциплины: методологии источниковедения. Вместе с тем Шлейермахер выяснил и главнейшие составные ее части: хотя он и оставил в стороне учение об источниках исторического познания, но ясно указал на значение «герменевтики» в ее отношении к критике. До того времени герменевтика часто поглощалась критикой или слишком тесно связывалась с чисто практическими, педагогическими целями: Клерикус[21], например, разумел под «критикой» искусство понимать произведения древности и различать подлинные от неподлинных, а также судить о их достоинстве**; Эрнести полагал, что герменевтика должна содержать учение о понимании мыслей, выраженных в словах, и об искусстве излагать или передавать их другим***.

* *F. A. Wolf*, Vorlesungen über Encyklopädie der Alterthumswissenschaft, herausgegeben von J. D. Gürtler, 1839, I-r. Bd., SS. 271–49[20]. Сам автор, правда, писал: «So wie es mit der Erklärungskunst ist, dass sie eine, philosophische Wissenschaft, auf unsern Zweck angewandt, philologisch ist, so muss man es auch mit der Kritik machen»[22] (S. 305); но он едва ли осуществил такой принцип на деле: он еще не выработал систематического учения о герменевтике и критике вообще; его отрывочные замечания часто носят характер практических указаний. Впрочем, общее понятие о герменевтике, а пожалуй и о критике, высказанное Вольфом (см. ib., Bd. I, SS. 24–25, 49, 271 и 305), близко подходит и к тем определениям, которые были предложены Шлейермахером; последний начал читать свой курс с 1804-го года.

** *J. Clericus*, Ars critica, Amstelaedami, 1697, 3 vv. (изд. 1699 г. в 2 тт.; автор разумеет под «критикой» и интерпретацию, и собственно критику; см. Praefatio, Sec. I, § I: «Criticen vocamus artem intelligendorum veterum scriptorum et dignoscendi quaenam eorum genuina scripta sunt, quae spuria»; сочинение содержит три части: «primo, monita ac consilia attinentia adordinem quo legendi veteres secundo canones de interpretatione verborum et loquutionum; tertio praecepta de judicio, quod de antiquorum scriptorum libris et locis tam genuinis, quam spuriis ferri oportet»; третья часть содержит учение «de emendandi ratione, libris suppositis et scriptorum stylo»[23].

*** *J. A. Ernesti*, Institutio interpretis novi testamenti, Lip. 1775, p. 4: «Est autem interpretatio facultas docendi, quae cujusque orationi sententia subjecta sit, seu efficiendi, ut alter cogitet eadem cum scriptore quoque... Interpretatio igitur omnis duabus rebus continetur: sententiarum (idearum) verbis subjectarum intellectu, earumque idonea explicatione»[24]...

В своем любопытном курсе «герменевтики и критики, особенно в их отношении к Новому Завету» Шлейермахер освобождает герменевтику от двойной ее зависимости: он ставит ее наряду с критикой, ибо «правильное понимание текста» обусловливает возможность критически оценить его показание, и не смешивает «герменевтики» с искусством изложения понимаемого. С такой точки зрения, Шлейермахер разделяет свой трактат на две части: на учение о герменевтике и учение о критике, взаимно дополняющих друг друга. В учении о герменевтике, т. е. об «искусстве понимать чужую речь», автор различает «грамматическое» истолкование от «психологического»; последнее состоит в том, чтобы понять данный комплекс мыслей как «жизненный момент» в развитии того, а не иного «определенного человека»; далее автор переходит к учению о критике, возникающей под влиянием подозрения, что (в источнике) «есть нечто такое, что не должно быть»; в зависимости от предпосылаемого им понятия о том, каким образом ошибки, вызывающие такое подозрение, происходят, он делит критику на критику «механических» ошибок (например, описок) и на критику ошибок, зависевших от свободной воли того, кто признается автором данного произведения. Таким образом, Шлейермахер попытался построить целое учение, находившееся в тесной связи с методологией источниковедения; но все же и он не отделил ее в качестве самостоятельной научной дисциплины от изучения новозаветных текстов, а такая связь отозвалась и на общем ее построении. Возможно, что, под ее влиянием, например, Шлейермахер не остановился на выяснении главной цели исторического познания, в зависимости от которой ему предстояло, конечно, установить и более частные задачи герменевтики и критики, а также их сходство и различие; под тем же влиянием он, минуя общее понятие об источнике, сосредоточил свое внимание на одних только памятниках письменности и гораздо более внимательно отнесся к учению о герменевтике, чем к учению о критике; понимая, однако, герменевтику в довольно узком смысле, он и при изложении учения о критике преимущественно ограничился рассмотрением критики подлинности или неподлинности источника, а не критики достоверности или недостоверности его показаний*.

* *Fr. Schleiermacher*, Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament, см. Werke zur Theologie, Bd. VII (1838), hrsg. von F. Lücke, SS. 2, 7, 12, 148, 278–283 и др.; ср. еще его же статьи: «Über den Begriff der Hermeneutik» и «Über den Begriff und die Eintheilung der philologischen Kritik» в Sämmtliche

В области богословской мысли Шлейермахер создал направление, под влиянием которого Христиан Баур[25] в свою очередь выступил с целым рядом научно-критических трудов по истории Нового Завета и первоначального христианства. Шлейермахер оказал влияние и на Августа Бёка с его филологической школой, подобно тюбингенской[26], много содействовавшей развитию исторических методов и знаний*. Впрочем, Нибур, Савиньи и другие ученые также немало способствовали развитию учения об источниках, герменевтике и критике или об отдельных их частях в частном применении их к изучению некоторых памятников письменности. В то же время интерес к методологии источниковедения не замедлил обнаружиться и в среде французских историков: Дону, например, не раз посвящал свои чтения изложению правил «исторической критики»**. Вслед затем, однако, учение о ней долгое время оставалось без дальнейшей систематической обработки.

С довольно общей, но очень мало определившейся точки зрения такие проблемы отчасти уже затрагивались в старинных курсах логики и «критики». Бальмес[27], например, рассуждал об «искусстве достигать истины», между прочим, и в области исторических разысканий; Мазарелла, вообще разумевший под критикой «способность» обсуждать и взвешивать те основания, в силу которых мы признаем наши суждения истинными, также касался приложения ее и к истории: критика, по его мнению, должна дать понятие о значении «морального принципа» в его отношении к истории, а «искусство критики» состоит, между прочим, в интерпретации, в установлении подлинности и в оценке чужих показаний***. Впрочем, широко ставя

Werke zur Philosophie, Bd. III, SS. 344–402; о чужой речи или языке, как исключительном объекте герменевтики см. там же, с. 381; о предпосылках критики — с. 401; в той же статье автор говорит и об исторической критике, как искусстве «добывать факты из рассказов и известий» — с. 396.

* *E. Zeller*, Christian Baur et l'école de Tubingue, trad. Ch. Ritter, Par., 1883, pp. 5–6, 9 и др.: о Бёке см. выше сс. 343–344 <Т. 2. С. 11–12>; о более частных работах филологов — ниже в главах об интепретации и о критике.

** *P. C. T. Daunou*, Cours d'études historiques, t. I, Par., 1842: Critique historique (лекции, читанные автором в Collège de France в 1819, 1821, 1922, 1824–1825 г.г.).

*** *J. Balmès*, Art d'arriver au vrai, 1845; 8-me éd., trad. E. Manec, 1874; особенно chap. VIII, XI, XX. *B. Mazarella*, Della critica libri tre, Genova, 1868; 2 ed., Roma 1878–1879, 2 vv., особенно v. II, lib. II, cap. XIII; lib. III, cap. VIII–IX. Ср., впрочем, *C. con Prantl*, Verstehen und Beurtheilen, M., 1877.

проблему, писатели указанного направления все же не подвергали методов собственно исторического изучения систематическому рассмотрению и продолжали смешивать герменевтику с критикой.

Такое же смешение обнаруживается и в позднейшей литературе, посвященной общей методологии источниковедения, все еще очень скромной по объему и слишком мало различающей общую методологию источниковедения от технических правил исторической работы. В числе сочинений подобного рода можно указать на книгу Смедта, посвященную, главным образом, изложению принципов исторической критики, т. е. «искусства отличать истину от лжи в научных разысканиях». Хотя автор не всегда может совладеть с религиозным чувством католика, ставшего «болландистом»[28], он все же дает в своей книге систематическую обработку правил «научно-исторической критики». Смедт указывает на те условия, в которых ученый должен находиться при проверке известных данных и предлагает советы касательно пользования произведениями знаменитых авторов; вслед за тем, показав, какое различие существует между метафизической, физической и моральной достоверностью, а также между разными видами источников, он излагает критические приемы, при помощи которых историк определяет подлинность текстов, подвергает их истолкованию и устанавливает степень достоверности показаний; тут же он выясняет и значение отрицательного заключения, т. е. заключения о несуществовании факта по молчанию о нем современников, а также гипотетических и априорных заключений, к которым историк приходит, когда он строит конъектуру[29], основанную на связи между известным ему фактом и фактом, который ему предстоит узнать, или когда, на основании «метафизических, физических и моральных законов», он заключает о достоверности или о ложности факта. Таким образом, довольно широко намечая задачу исторической критики, Смедт дает понятие о характере исторической достоверности и тех умозаключений, на основании которых степени ее достигаются, а также рассуждает о специфических приемах исследования главнейших видов источников — письменных, устных и вещественных; но сочинение его не чуждо и некоторых недостатков: он обращает слишком мало внимания, например, на учение об интерпретации исторических источников и придает чрезмерное значение устному преданию, несомненную достоверность которого будто бы можно восстановить*.

* *Ch. de Smedt*, Principes de critique historique, Liège, 1883.

Смедт оказал некоторое влияние на последующую литературу, касавшуюся методологии истории: Тардиф, например, воспользовался многими его соображениями в своем кратком своде элементарных правил исторической критики текстов и фактов*, а Фортинский[30] пополнил их библиографические указания, изложил «основные их воззрения» и высказал еще несколько дополнительных замечаний, например, касательно значения географии для истории**.

Ввиду тесной зависимости, какая существует между специально историческими методами изучения и тем родом материала, в применении к которому они развиваются, самое учение о них можно, конечно, найти и в более специальных руководствах, особенно в рассуждениях о задачах и методах филологии, археологии и дипломатики. В области филологии, например, после Бёка, отождествлявшего филологию с историей, учение о методах филологического исследования получило свое самостоятельное значение и развитие, например, в трудах Бласса[31], Пауля[32] и Тоблера[33]***. Впрочем, до появления их руководств, многие ученые уже касались и тех приемов исследования, которых археолог должен придерживаться: Прелер[34], например, широко понимал область археологии и наметил главнейшие методы изучения «монументальных памятников»; вслед за ним Зиттль, также понимавший археологию в смысле изучения вещественных памятников древности, попытался составить целый учебник, в котором весьма обстоятельно изложил приемы собирания и группировки предметов древности, а также обратил внима-

* *A. Tardif*, Notions élémentaires de critique historique, Par., 1883, рус. пер. М. Агеева, Воронеж, 1893 г.

** *Ф. Фортинский*, Опыты систематической обработки исторической критики в Киевск. Унив. Изв. 1884 г., авг., сс. 1–32.

*** *Fr. Blass*, Hermeneutik und Kritik, см. Iw. Müller's Handbuch der Klass Alterthumswissenschaft, Bd. I. 4 Aufl., München, 1910; рус. пер. Л. Воеводского, Од. 1891. *H. Paul*, Grundriss der germanischen Philologie, 2 Aufl., Strassburg, Bd. I (1910), SS. 159–247. *G. Gröber*, Grundriss der Romanischen Philologie, 2 Aufl., Strassburg, Bd. I (1904–1906) II-r Teil. Ср. еще *A. Gercke und E. Norden*, Einleitung in die Altertumswissenschaft, Bd. I, Lpz. u. Berl., 1910; Methodik von *A. Gercke*; особенно SS. 26–93, а также отделы под заглавием: Quellen und Materialien, Gesichtspunkte und Probleme zur Erforschung der griechischen und römischen Literaturgeschichte, написанные *E. Bethe*, *P. Wendland*'ом. и *E. Norden*'ом; ib. SS. 399–450 и 547–588. Руководство Гёрке и Нордена интересно преимущественно частными указаниями и примерами.

ние на применение герменевтики и критики к археологическому материалу*. Довольно значительное развитие получила и та отрасль методологии источниковедения, которая связана с дипломатикой: Зиккель[35], Фиккер[36], Бреслау[37], Жири, Редлих и другие много сделали для того, чтобы установить способы разработки актов, в особенности публичных, императорских и папских грамот, в связи с историей их возникновения в известных канцеляриях, их интерпретацией и критикой**.

Впрочем, обозрение вышеназванных и многих других еще более специальных трудов потребовало бы слишком много времени и места, да и содержание их часто касается не столько общих, хотя и производных принципов методологии источниковедения, сколько специальных ее областей или даже техники исторических работ, практикуемых в каждой из них.

Глава первая. Понятие об историческом источнике

[§ 1. Понятие об источнике вообще и об историческом источнике в частности]

С теоретико-познавательной точки зрении под эмпирически данным «источником» можно разуметь всякое данное нашего чувственного восприятия. В научно-эмпирическом смысле, однако, естественно несколько ограничить такое понимание и называть источником всякий реальный объект, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы через ближайшее его посредство получить знание о другом объекте.

* *L. Preller*, Ueber die wissenschaftliche Behandlung der Archaeologie (1845), см. Ausgewählte Aufsätze, Berl., 1864, SS. 384–425. *K. Sittl*, Archäologie der Kunst, см. Iw. Müller's Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft, Bd. VI, München, 1895 (со множеством библиографических указаний). Ср. еще *Chr. Hostmann*, Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie, Braunschweig, 1890 и др.

** *A. Giry*, Études de critique historique в Rev. Hist., 1892, Mars-Avril (о развитии дипломатики, в особенности с XVI-го века, когда руководства по дипломатике стали впервые появляться). *Th. Sickel*, Die Urkunden der Karolinger, 2 B-de (1867) и др. *J. Ficker*, Beiträge zur Urkundenlehre, 2 B-de (1877 и 1878). *H. Bresslau*, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. I (1889). *A. Giry*, Manuel de diplomatique, Par., 1894. *W. Erben, L. Schmitz-Kallenbery und O. Redlich*, Urkundenlehre, I Teil, München u. Berlin (1907).

Итак, в области эмпирических наук, а, значит, и истории, предлагаемое определение включает понятие о реальности данного объекта и понятие о его пригодности для познания другого объекта.

В самом деле, такой объект представляется всякому историку-специалисту «данным» его сознанию: историк не только признает его своим представлением, но приписывает его содержанию реальное существование; в противном случае источник не мог бы служить объектом чувственного восприятия историка; последний, значит, не мог бы познавать действительность на основании источников; а между тем каждое историческое исследование преследует такую именно цель — по данному источнику познать действительность.

Вместе с тем, данный объект становится источником лишь в той мере, в какой он может служить пригодным средством для познания другого объекта. Против только что приведенного положения можно, казалось бы, высказать следующее соображение: ведь данный объект может служить источником для ознакомления с ним самим. Такое суждение, однако, двусмысленно: оно значит или то, что можно познать данный объект путем чувственного восприятия его же свойств, или то, что по одной части объекта можно судить о другой; но в обоих случаях нет противоречия с вышепринятою формулой. В самом деле, если объект познается путем чувственного восприятия, то данные нашего чувственного восприятия и служат материалом или, если угодно, источником для того, чтобы составить себе представление о вещи. Если же под объектом-источником понимать часть реально данного объекта, по которой мы судим о какой-либо другой его части, то такую часть мы признаем своего рода данным нам объектом, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы получить знание о какой-либо другой части изучаемого объекта; но ее тоже можно назвать в данном случае объектом, и т. п., что и приводит нас к определению, уже формулированному выше.

Следовательно, всякий реально данный объект, в той мере, в какой он служит для познания другого объекта, можно назвать источником.

С указанной точки зрения легко провести некоторое различие между понятиями об историческом факте и историческом источнике. Правда, если включать в понятие об историческом факте понятие о воздействии индивидуальности на материальную среду, то можно назвать историческим фактом и всякий исторический источник; но историк пользуется таким фактом в качестве источника, т. е. для познания другого факта; следовательно, он может оставить за подобного рода фактом название «источник», приберегая термин «исторический факт», в более узком его смысле, для обозначения того понятия о действительно бывшем, которое он восстановляет на основании одного или (обыкновенно) многих источников.

Итак, можно удовлетвориться (по крайней мере, для наших целей) вышеприведенным общим определением и, применяя его в области исторической науки, назвать источником знания всякий реальный объект, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы получить знание о другом объекте, т. е. об историческом факте.

Вышеприведенное понятие об источнике исторического знания может, пожалуй, показаться какому-либо мыслителю-историку настолько широким, что он испытает желание подвести под него даже явления «природы» (в номотетическом смысле), поскольку он пользуется своим знанием о них для построения некогда бывшей исторической действительности.

Такой историк будет рассуждать следующим образом: я пользуюсь явлениями природы в качестве источника для изучения факторов, действие которых в прошедшем я предполагаю тождественным или приблизительно одинаковым с тем, какое они обнаруживают на моих глазах; перенося действие их в прошедшее, я, подобно геологу, стремлюсь объяснить и прежде бывшие исторические факты; и только тогда, когда такое объяснение недостаточно или неудовлетворительно, я допускаю возможность других факторов, действие которых лучше объясняет тот же факт. Следовательно, я могу признать явления «природы», физической или психической, источником, из которого я почерпаю свое знание о физических и психических факторах; перенося действие их в прошедшее время, я объясняю ими и прошлое. Таким образом я изучаю, например, условия природы данной местности для того, чтобы на основании своих наблюдений заключить о действии подобных же факторов в прежнее время на образование характера некогда появившегося в этой местности населения, о влиянии их на особенности местной его жизни, давно уже сложившиеся, и т. п.; я также исхожу из изучения психики современного мне человека, народа, класса, отдельной личности для того, чтобы заключить о действии таких же психических факторов в прежнее время и их действием объяснить прежде бывшие исторические факты.

С интересующей нас точки зрения рассуждение подобного рода нельзя, однако, признать методологически правильным: явления природы, если угодно, могут служить источниками для научного знания естествоведа, но не историка; естествовед изучает их и заключает о возможности действия в прошлое время тех же факторов, которые действуют и на его глазах, а историк лишь пользуется выводами естествоведа для построения исторической действительности; то же замечание можно, конечно, высказать и о выводах психолога, которые принимаются во внимание историком, и т. п.

Следует заметить, кроме того, что если явления чужой душевной жизни никем не наблюдаются непосредственно, а всегда только — через посредство внешних их обнаружений, доступных чувственному восприятию наблюдателя, например, через посредство языка (жестов, слов и пр.), то, значит, «явления» душевной жизни сами по себе не могут служить источниками знания, в смысле эмпирически данных; для ознакомления с ними наблюдатель нуждается в источниках; но последние в таком именно смысле уже оказываются не явлениями природы, а продуктами индивидуальной психики или культуры, каковы, например: язык, мифы, нравы, обычаи и т. п.; такие «источники» могут, конечно, получить значение и для психологического, а не только для исторического знания; но в случаях подобного рода психолог уже зависит от историка, т. е. пользуется его выводами касательно данного рода материала, плодами исторической интерпретации и критики; считаясь с ними, психолог может, однако, обращаться к таким историческим источникам для того, чтобы сделать новые выводы психологического характера, которыми историк, в свою очередь, может воспользоваться, и т. д.

Общее понятие об источнике, намеченное выше, обыкновенно не включается в существующие в литературе определения понятия о собственно историческом источнике. Составитель одного из лучших руководств по методологии истории, например, предлагает следующее определение: «Источники суть результаты человеческих деятельностей, или непосредственно служащие или все же через посредство собственного существования, возникновения и в других отношениях преимущественно пригодные для познания или для доказательства исторических фактов»*. Предлагаемая формула едва ли достаточно

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, 5–6 Aufl., S. 252.

определенна. Под «человеческою деятельностью» например, можно разуметь и физиологические отправления человека: сам автор, однако, в другом месте своей книги замечает, что «человек является объектом истории лишь постольку, поскольку он действует как разумное, сознательное существо, испытывающее ощущения, мыслящее и волящее»; но автор не включает такого ограничения в свое определение. Далее, результаты «человеческой деятельности», если понимать ее в смысле проявления душевной жизни человека, могут быть вовсе недоступны историку; для того, чтобы стать источником, они должны быть доступны чувственному его восприятию, т. е. реализованы. Нельзя не заметить, наконец, что разбираемое определение переобременено дополнительными понятиями, значение которых остается довольно темным: в нем, например, автор определяет не только понятие источника, но, по-видимому, и его разновидности, а также имеет в виду методы их исследования. Вышеуказанные недочеты отчасти исправлены в другом определении того же понятия об историческом источнике: оно высказано в новейшем руководстве, также касающемся методов исторического изучения. «Источники, по словам его составителей, — следы, которые мысли и действия людей прежнего времени оставили (по себе)»*. Такое определение подкупает своею кажущеюся ясностью и краткостью; но и оно вызывает недоумения. Авторы не выясняют, например, в какое соотношение они ставят «мысли» и «действия» людей. Надо думать, что только «мысль», сопровождаемая действием, через посредство которого она осуществляется, и становится источником; с такой точки зрения, однако, нельзя ставить «мысли» и «действия» на одну доску. Да и понятие о «следе» слишком мало установлено авторами: мысли и действия, оставляющие «след» в мыслящем и действующем субъекте, могут тем не менее не быть доступными восприятию историка; ниже авторы сами прибавляют: «всякое действие, видимые следы которого исчезли, потеряно для истории; оно как будто бы никогда и не существовало»; в данном случае, лишь мимоходом затрагивая существенный признак понятия об источнике, они, однако, слишком специфицируют его: народная песня, словесный рассказ о чем-либо, и т. п., доступные только слуху, а не зрению, историк все же может признать источниками. Наконец, историческим источником нельзя назвать

* *Ch. V. Langlois et Ch. Seignobos*, Introduction..., p. 1.

любой «след» мысли или действия человека, а лишь такой «след», который нужен для восстановления факта, историческое значение которого предпосылается или уже обосновано.

Таким образом, на основании замечаний, сделанных выше, можно прийти к заключению, что новейшие определения понятия о собственно историческом источнике не вполне удовлетворительны: упуская из виду понятие об источнике вообще, их авторы слишком мало принимают во внимание и ту психологическую точку зрения, с которой понятие об источнике вообще получает значение исторического источника. Попытаемся развить это положение и, опираясь на него, добыть более правильное понятие об историческом источнике.

[§ 2. Произведения природы и произведения человека]

Каждый из нас сознает различие, какое существует между «произведением природы» и «произведением человека». Произведение природы — результат действия «сил природы»; мы построяем действия их на основании принципа причинно-следственности и представляем себе такие силы действующими по законам механики, физики и т. п. «Произведение человека» — объект, рассматриваемый с точки зрения причинно-следственности в психологическом смысле. В самом деле, «произведение человека» — результат его деятельности; но последняя построяется ученым не без помощи психологии: он объясняет ее наличностью не одних только физических, но и психических факторов, порождающих данный результат; наиболее характерною особенностью последнего, он, очевидно, признает то, что такой результат всегда представляется ему и психическим продуктом; он приходит к заключению, что психические факторы, в комбинации с физическими, вызвали данный результат и могут обнаруживаться в нем; в той мере, в какой он признает, что такие факторы запечатлелись в нем, он и называет его психическим продуктом.

С указанной точки зрения историк отличает произведения природы от произведений человека, хотя не всегда ясно сознает делаемую им предпосылку. Кремни, найденные ученым Буржуа в третичных пластах эоцена или миоцена в Thénay (Beauce) например, признавались то произведениями природы, то произведениями человека: на них заметны следы какой-то работы; если полагать, что форма их — результат естественного действия природных сил (например,

резких изменений в температуре, химических или геологических процессов, положим, действия воды и т. п.), то они представятся нам продуктами природы; если же предполагать, что кремни, найденные в Thénay, подверглись искусственной оббивке (что, впрочем, едва ли более вероятно), т. е. истолковывать видимые результаты в том смысле, что они вызваны человеческою деятельностью и притом, очевидно, не одною только физическою стороною последней, словом, если можно доказать, что человек намеренно сделал их, то их можно будет признать произведениями человека. Между тем, если вопрос будет решен в последнем смысле, открывается возможность говорить о человеке третичного периода, о его культуре в виде подделок[38] из кремня и т. п. Другой пример можно взять из иной области: если, при надлежащем освещении и постановке, хорошенько вглядеться в некоторые из доисторических кремней, то, пожалуй, обнаружится, что они представляют грубые зачатки скульптурных изделий*; представляется ли такой вид их простой игрой природы или результатом намеренной обработки кремня? Если удастся доказать, что вышеназванные кремни — результат художественной техники, хотя бы и в самых значительных ее формах, то перед глазами историка откроется целая область доисторической культуры, до сих пор совершенно не исследованная. Возьмем еще один пример: вся письменность (идеографическое, силлабическое и обыкновенное письмо[39]) признается произведением человека, так как его мысль выразилась в них; лишь благодаря такому предположению историк может объяснить смысл данных начертаний и ценить их, как важнейший исторический источник.

Следовательно, произведением человека можно назвать объект, значение которого объясняется лишь при помощи предпосылки чужой одушевленности, обнаружившейся в его особенностях; в таком смысле произведение человека или результат его деятельности следует признать психическим продуктом.

Впрочем, можно употреблять тот же термин и в чисто реалистическом смысле, если приписывать понятию о чужой одушевленности не гевристическое[40], а реальное значение; тогда легко рассуждать и о психических факторах, породивших (в вышеуказанном смысле) объективно данный продукт человеческой психики. С такой психо-

* *E. Harroy*, L'art préhistorique в Rev. Scient. 1902 Juillet 12 и 1903 Févr. 28; выводы автора, разумеется, подлежат проверке.

логической, а не гносеологической точки зрения можно сказать, что исторический источник есть прежде всего продукт человеческой психики и что «лишь то, чему человеческий дух и человеческий смысл придали форму, в чем они отпечатлелись, чего они коснулись, лишь человеческий след может получить значение исторического материала»*.

Не всякий психический продукт доступен, однако, чужому восприятию: мысль есть психический продукт мыслящего субъекта, но она становится доступной восприятию постороннего наблюдателя лишь в том случае, если она реализована, т. е. выражена в каких-либо действиях или в их результатах, т. е. если она обнаружена и запечатлена в каком-либо материальном образе; значит, историк может судить о чужой мысли только по реализованным ее продуктам.

Таким образом, хотя сама реализация, в глазах историка, получает значение, главным образом, в той мере, в какой она обнаруживает состояния чужого сознания, можно сказать, что лишь тот психический продукт, который реализован, становится историческим источником. Под историческим источником, следовательно, должно разуметь доступный чужому восприятию, т. е. реализованный продукт человеческой психики.

На основании вышеприведенных рассуждений легко прийти к заключению, что в понятие об историческом источнике входят, во-первых, понятие о психическом его значении и, во-вторых, понятие о материальном его образе, в котором такой продукт реализуется.

С принципиальной точки зрения можно было бы, пожалуй, остановиться на только что формулированном определении исторического источника, если бы полное понятие о нем не находилось в естественной связи и с телеологическим или практическим моментом, составляющим дальнейшее ограничение вышеприведенного понятия об историческом источнике.

В самом деле, самое понятие об источнике вообще включает уже понятие о нем, как о средстве для достижения некоей познавательной цели; лишь в том случае, если данный объективированный продукт человеческой психики может служить ему материалом для ознакомления с каким-нибудь фактом из истории человечества, историк называет его историческим источником.

* *J. G. Droysen*, Grundriss § 7.

С такой точки зрения следует сказать, что всякий реализованный продукт человеческой психики, поскольку он представляется историку пригодным для того, чтобы получить знание о каком-либо факте из прошлой жизни человечества, называется историческим источником.

Добытое нами определение, однако, все еще слишком широко: в вышеуказанном смысле, пожалуй, удобнее говорить об историческом материале, чем об историческом источнике; но, развивая далее телеологический момент (момент пригодности), включенный в понятие об историческом материале, легко прийти к дальнейшему его ограничению, которое, наконец, и приведет нас к достаточно точному понятию об историческом источнике: лишь тот материал, который оказывается пригодным для изучения факта с историческим значением, а не для изучения какого бы то ни было факта из прошлой жизни человечества, в сущности, заслуживает наименование исторического источника.

[§ 3. Теоретическое и практическое значение исторического источника и характерные его признаки]

Следует заметить, что понятие об историческом источнике, в только что установленном виде, построено с аналитической, а не с генетической точки зрения и что оно в таком именно смысле и включает понятие о пригодности данного материала для познания факта, имеющего историческое значение; но с генетической точки зрения, напротив, лишь тот исторический материал, который уже подвергнут предварительному исследованию и после такого исследования оказывается пригодным для познания одного или нескольких фактов с историческим значением, становится историческим источником; само собою разумеется, что, в действительности, оценка подобного рода может и не быть достигнута сразу: гипотетически признавая данный материал ценным, можно, после изучения его, прийти к противоположному выводу, и, обратно, сначала придавая ему слишком мало цены, потом убедиться в его большом значении.

Таким образом, легко упразднить тот кажущийся ложный круг, который мог бы получиться при мысли, что значение исторического источника предпосылается его исследованию, хотя само оно достигается лишь путем его исследования.

Итак, на основании всех вышеприведенных рассуждений можно прийти к заключению, что исторический источник есть реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением.

Если принять такое определение понятия об историческом источнике, то можно сделать из него и несколько выводов, не лишенных значения; они проистекают, главным образом, из понятия об источнике, как о реализованном продукте человеческой психики и из понятия о его пригодности для изучения фактов с историческим значением.

Всякий, кто утверждает, что исторический источник есть продукт человеческой психики, должен признать, что исторический источник в известной мере есть уже его построение. В самом деле, то психическое значение, которое историк приписывает материальному образу интересующего его источника, в сущности не дано ему непосредственно, т. е. недоступно его непосредственному чувственному восприятию; он построяет психическое значение материального образа источника, заключая о нем по данным своего опыта; но если под источником он разумеет психический продукт, то, очевидно, включая в понятие о нем и его психическое значение, он тем самым всегда имеет дело с некоторым своим построением, без которого у него не окажется и исторического источника.

Далее, нельзя не заметить, что исторический источник в качестве продукта человеческой психики, — есть, конечно, результат человеческого творчества (в широком смысле). Последнее, в сущности, оказывается индивидуальным актом; но автор его часто остается безымянным; если продукт такого творца воспроизводится целою группой, творчество получает название массового; тогда можно сказать, что такой продукт (напр, язык, народная песня и проч.) — результат творчества данного коллективного лица: народа, города, кружка и т. п.; тем не менее можно, в известном смысле, признать его продукт — индивидуальным, хотя бы, например, противополагая его продуктам творчества других коллективных лиц, другого народа, города, кружка и т. п. В аналогичном смысле можно рассуждать и в тех случаях, когда данное индивидуальное творчество в более или менее слабой степени отражается и в репродукциях данного индивидуального продукта (т. е. в фабрикатах и т. п.). С тем большим основанием, конечно, приходится придерживаться такой же точки зрения применительно к единоличному индивидуализированному творчеству: его продукты также должны отличаться индивидуальным характером; каждый творец, правда, подчинен среде; но на воспроизведении ее психики он отпечатлевает собственную свою индивидуальность. В таком смысле можно сказать, что каждый источник есть индивидуализированный результат творчества данной общественной группы или данного лица и что то, в чем оно выражает свою индивидуальность, и становится историческим материалом по преимуществу. Впрочем, индивидуальность источника подчинена его историческому значению, т. е. его пригодности для исторического знания. Во всяком случае, историк постоянно пользуется понятием об индивидуальности источника и в интерпретации, и в критике.

Понятие об источник, как об индивидуальном продукте психики, находится в тесной связи и с понятием о телеологическом единстве источника, т. е. о единстве его с точки зрения его назначения. Такое единство дано, конечно, в представлении о нем его творца; творческий акт придает единство источнику; источник — целое телеологическое с точки зрения его цели, т. е. цели творца; но и историк может достигнуть представления о его цели или назначении; с такой точки зрения он, конечно, интерпретирует, а также критикует источники.

Против выводов, сделанных выше, можно было бы, пожалуй, возразить ссылкой на такие объекты исторического изучения, которые, по-видимому, не обладают вышеуказанными свойствами; но, хотя бы сам историк и не усматривал в них целостности, он тем не менее может найти ее в чужом представлении о данном объекте. Вообразим, например, предмет, который получился путем множества культурных наслоений, как будто мало связанных между собою, положим, собор св. Марка в Венеции, целый город, например, Рим и т. п.; но историк может установить связь между ними, если мысленно построит коллективный субъект, создававший в продолжение известного времени данный продукт, и с такой точки зрения соединит последовательные отложения в нем культуры в одно целое; он может искать такую связь и в представлении, какое данная социальная группа имеет о данном источнике, например, в религиозно-национальном представлении венецианцев о соборе св. Марка; или, положим, в литературном и национальном интересе русского народа к былинам Владимирова цикла, хотя бы в состав подобного рода источников входили элементы, далеко не всегда тесно связанные между собою, и т. п.

Итак, можно сказать, что объективно-данный исторический источник представляется историку в виде некоторого единства и целостности; такие свойства он приписывает, например, и предмету древности, и произведению письменности; в противном случае он говорит об обломках предмета древности или об отрывках произведения письменности, — выражения, которые сами уже указывают на то, что понятие о предмете древности или произведении письменности связывается у него с понятием о некоторой их целостности.

Впрочем, не только из понятия о психологическом характере, но и из понятия о пригодности источника для историко-познавательных целей можно сделать несколько выводов, которые имеют некоторое значение и для методологии источниковедения. С такой точки зрения естественно различать основные источники от производных: основной источник по месту и времени своего возникновения ближе остальных стоит к изучаемому факту, возникает под его влиянием и непосредственно свидетельствует о нем; производный источник, напротив, дальше отстоит от того же факта и сообщает о нем известия, которые уже прошли одну или несколько передаточных инстанций, прежде чем попасть в его состав; следовательно, историк может почерпать сведения о факте или непосредственно из основного источника, или через посредство производного источника. Само собою разумеется, что от источника, хотя бы и производного, следует отличать научную обработку данных известий, в нем и в других источниках заключающихся, т. е. пособие; но, при утрате источника, сохранившегося лишь в каких-либо отрывках или косвенных упоминаниях в пособии, последнее также может стать в глазах историка производным источником, поскольку он в состоянии выделить его из научного построения, включенного, однако, в то же пособие.

Момент научной «пригодности» источника для историка получает существенное значение и при подборе исторического материала. Если бы историк должен был иметь в виду весь материал, какой только имеется, для изучения каких бы то ни было фактов прошлой жизни человечества, он, при всей его фрагментарности, легко мог бы затеряться в нем; при работе над материалом историк должен иметь какую-нибудь руководящую точку зрения; но раз исторический материал есть только средство для ознакомления с фактами, то, очевидно, такой руководящей точки зрения нельзя найти в нем; критерий подбора материала зависит от той познавательной цели, для которой он должен служить,

а таковою оказывается познание не какого-либо факта, а такого факта, который имеет историческое значение. Следовательно, подбор материала зависит от того, в какой мере он пригоден для изучения факта с историческим значением.

Глава вторая. Главнейшие виды исторических источников

Вообще для того, чтобы лучше выяснить себе понятие об историческом источнике, его содержании и объеме, следует еще остановиться на характеристике главных видов исторических источников: впрочем, и в другом отношении можно с пользою заняться предварительною их систематикой: давая возможность разобраться в очень большом и разнообразном материале, она обусловливает и довольно существенные оттенки в методах его изучения.

Само собою разумеется, что можно систематизировать исторические источники с весьма различных точек зрения, в зависимости от целей исследования. Самая общая из них состоит в том, чтобы ценить исторические источники по значению их для исторического познания. В таком смысле легко различать источники или по степени их ценности вообще для познания исторической действительности, или по степени ценности характеризующего их содержания для изучения данного рода исторических фактов.

§ 1. Главнейшие виды источников, различаемых по степени их значения вообще для познания исторической действительности: источники обозначающие и изображающие; остатки культуры и исторические предания

При группировке исторических источников по их главнейшим видам следует, конечно, исходить из понятия об основной задаче методологии источниковедения и находящегося от него в зависимости понятия об историческом источнике.

Так как основная задача методологии источниковедения состоит в том, чтобы установить, действительно ли существовал тот самый факт, который известен из источника, то и познавательная ценность последнего, его значение для познания исторической действительности вообще оказывается тем большим, чем в большей мере он пригоден для того, чтобы служить цели такого именно знания.

Между тем историк, судящий о бывшей действительности на основании источников, в сущности заключает о внутреннем содержании источника только на основании его материального образа, доступного его чувственному восприятию. При производстве заключений подобного рода историк замечает, однако, что не все материальные образы источников способны вызывать в нем одинаковое впечатление реальности изучаемого им факта; следовательно, он может различать источники по большей или меньшей пригодности их материального образа для того, чтобы, путем его восприятия, испытывать впечатление реальности тех фактов, к которым они относятся.

В самом деле, можно указать на такие источники, при чувственном восприятии которых историк испытывает с большею непосредственностью реальность отразившегося в них факта, чем при чувственном восприятии других: он лучше, например, испытывает такое чувство, когда сам проникнет в древний склеп какого-нибудь царя и видит его погребение во всех деталях его обстановки, чем когда читает описание того же погребения, хотя бы оно и заключало те же подробности; такое же различие в своих впечатлениях он замечает при созерцании картины, положим, представляющей какое-либо сражение, и при чтении только рассказа о нем и т. п.

С указанной точки зрения следует различать источник, изображающий факт, от источника, обозначающего факт. При восприятии источника, материальная форма которого изображает факт в его остатках, например, в красках или звуках, историк испытывает впечатления, однородные с теми, какие он испытывал бы, если бы воспринимал самый факт, а не один только источник; приступая к его изучению, он уже переживает более или менее цельный чувственный образ, в большей или меньшей мере соответствующий бывшему факту. При восприятии источника, материальная форма которого служит лишь для обозначения факта путем каких-либо символических знаков (большею частью письменных), историк, напротив, не воспринимает более или менее сохранившегося образа данного факта; на основании знаков, символизирующих бывший факт в материальной форме, историк должен конструировать в себе его образ для того, чтобы получить возможность приступить к научному исследованию бывшего факта. Само собою разумеется, что и при восприятии «изображения» факта историк построяет его из апперцепируемых[41] им данных своего опыта; но такое построение он производит путем восприятия конкретных элементов данного материального образа; при восприятии же условных знаков ему приходится подставлять под них мысленные образы прежде, чем приниматься за исследование бывшего факта. Итак, с вышеуказанной точки зрения можно делить источники на две группы; я назову их: источниками изображающими и источниками обозначающими факт*.

Только что обоснованному делению источников в довольно значительной мере соответствует чисто эмпирическая группировка их на памятники вещественные и памятники словесные и письменные, отличающиеся друг от друга по их внешнему виду. Источники, изображающие факт, в сущности, совпадают с памятниками вещественными (в широком смысле), источники, обозначающие факт, с памятниками словесными и письменными**.

---

* *M. A. Ampère*, Essai sur la philosophie des sciences, 2-de partie, pp. 49–50. Автор — один из ученых физиков прошлого столетия, давно уже мимоходом отметил различие между источниками изображающими и источниками обозначающими данный факт, хотя и не выяснил ни основной точки зрения, с которой такое деление должно быть установлено, ни его значение для источниковедения. «Средства, которыми один человек действует на мысль ему подобных, по словам Ампера, — двоякого рода. Средства первого рода действуют сами по себе: картина или гравюра предмета дают нам идею о нем или напоминают ее нам, причем, могут внушить нам чувствования и страсти, какие сам этот предмет мог бы вызвать; созерцая, напр., готическую церковь, мы испытываем некоторое религиозное чувство; гробница внушает нам меланхолическое настроение, а украшающая ее эмблема — идею о быстротечности нашего существования; гармоничная музыка очаровывает наш слух и т. д. Средства второго рода действуют на нас, как условные знаки в силу связи, установленной между ними (знаками) и идеями или чувствами, которые они внушают, связи, подкрепляемой привычкою и сохраняемой по традиции; такое значение передается от отцов к детям; или приобретается путем изучения знаков, бывших в употреблении у разных народов».

** Деление источников, рассмотренное выше, слишком мало обосновано в литературе: историки или не задумываются над его основаниями, или довольствуются делением источников на вещественные и письменные, или «не письменные и письменные» и т. п. Бернгейм называет его «чисто внешним, не точным» (S. 256). Ланглуа и Сеньобос пишут: «можно различать два вида документов (т. е. источников): иногда бывший факт оставил материальный след (монумент, фабрикованная вещь), иногда, и притом чаще всего, след факта оказывается психологического порядка: он состоит в описании или писанном сообщении» (p. 45). Авторы рассуждают несколько яснее, когда называют первого рода «документы» — «документами материальными изобразительными», а «документы» второго рода «символическими»; но они не обосновывают того деления, которым постоянно пользуются, и смешивают его с делением источников на остатки культуры и исторические предания, которое вовсе игнорируют.

Впрочем, можно указать и на такие источники, в которых оба момента смешиваются. Более или менее конкретный символ, например, представляет ассоциацию некоей совокупности мыслей с материальным образом, который частью изображает, частью обозначает ее: такой символ оказывается источником, который более или менее наглядно изображает мысль, ассоциированную с главной, но преимущественно обозначает последнюю; припомним, например, что христианская церковь символизировалась в виде корабля, и т. п. В вышеуказанном смысле человек может замещать реальное явление (предмет или действие) символом, возникающим не как результат внутреннего развития самого явления, а как следствие сознательного отношения к нему того, кто пользуется символом и кто, конечно, может чувствовать различие между символизируемым явлением и его символом. Вместе с тем последний не навязывается людям одною только силою инерции, а охотно принимается ими в качестве ассоциируемого с известным значением условного изображения: оно может, значит, вовсе не совпадать со знаменуемым им явлением (по крайней мере с существенными его чертами); благодаря условному своему характеру оно легко может и сосуществовать с обозначаемым им объектом, а иногда даже получает, в качестве символа, новое более общее значение*.

Деление источников на изображающие и обозначающие факт перекрещивается другим: оно принимает во внимание значение источника в его реконструированном целом, а не только в его материальной форме, для исторического знания. При восприятии некоторых из источников, изображающих факт, историк получает более непосредственное знание о факте, чем при восприятии других: источник, изображающий факт и вместе с тем оказывающийся его остатком (например, склеп и проч.), с такой точки зрения представляется историку более ценным, чем источник, тоже изображающий факт, но в виде предания о нем (например, в виде картины, изображающей тот же склеп, и проч.); то же можно сказать и про источники, обозначающие факт; и между ними есть такие, которые все же можно признать остатками, например, юридический акт, международный

* *Goblet d'Alviella*, La migration des symboles, p. 3. «Par le symbolisme, les objets les plus simples, les plus vulgaires se transfigurent, s'idéalisent, acquièrent une valeur nouvelle et pour ainsi dire illimitée»[42], ср. еще ниже о пережитках.

трактат и т. п., и такие, которые содержат лишь предание о факте, хотя бы, положим, рассказ о заключении той же юридической сделки или международного договора.

С только что указанной точки зрения можно получить деление источников на остатки культуры и на исторические предания; оно также имеет свои основания[43].

В самом деле, историк может изучать факты двояким образом: или через посредство собственного восприятия остатков того именно факта, который его интересует; или через посредство результатов чужих восприятий данного факта, реализованных в тех или иных формах и таким образом доступных его собственному восприятию и изучению.

С такой познавательно-исторической точки зрения, значит, нужно различать два основных вида источников.

В тех случаях, когда историк может смотреть на источник, как на остаток изучаемого им исторического факта, он получает возможность по нему непосредственно заключить о том, что и факт, остаток которого доступен его исследованию, действительно существовал: такого рода источники я буду называть остатками культуры.

В тех случаях, однако, когда историк усматривает в источнике только предание об историческом факте, а не его остаток, он по нему еще не может непосредственно заключить о том, что и факт, о котором он знает нечто через посредство чужого о нем показания, сохранившегося в источнике, действительно существовал; прежде чем утверждать действительность его существования, историк должен установить, на каком основании и в какой мере он может доверять преданию о факте; такого рода источники я буду называть историческими преданиями.

Итак, с познавательной точки зрения, по степени близости познающего субъекта, т. е. историка к объекту его изучения, по степени непосредственности знания историка о таком историческом факте, следует различать два основных вида источников: остатки культуры и исторические предания.

Только что указанное деление источников произведено с теоретико-познавательной точки зрения и допускает возможность рассматривать хотя бы один и тот же объективно-данный конкретный источник или в качестве остатка культуры, или в качестве исторического предания.

Легко даже указать на целую группу источников смешанного характера, которые, смотря по задачам исследования, можно признавать или остатками культуры, или историческими преданиями. Дело в том, что среди остатков культуры немало таких, которые хотя и оказываются результатами деятельности людей данного периода, но создаются и ввиду будущих поколений. Историк может непосредственно судить по ним о тех факторах, которые их вызвали, но вместе с тем должен приписывать им значение исторических преданий, поскольку они, в сущности, уже не представляют только остатков прошлой культуры, но одновременно оказываются и преданиями об исторических фактах, рассчитанными на то, чтобы производить желательное для деятелей данного времени впечатление на их современников или потомство. К таким смешанным источникам можно причислить, например, прозвища царей и других лиц, монументы или медали в честь деятелей и событий, описания торжеств и т. п.

Наличность подобного рода смешанных источников нисколько не упраздняет, однако, деление исторических источников вообще на остатки культуры и на исторические предания, так как в основе его прежде всего лежит различие в точках зрения, с которых исторические источники изучаются, а не различие самих источников.

С реалистической точки зрения легко, однако, включить в такое деление и положительное различие объективно данных источников, что обыкновенно и делается при смешении вышеуказанной точки зрения с реалистической, позитивной. Тогда деление источников на остатки культуры и исторические предания становится в зависимость от того, что именно разуметь под объективно-данным историку остатком культуры или историческим преданием, и может быть характеризовано следующим образом.

Под остатком культуры можно разуметь непосредственный результат той самой деятельности человека, которую историк должен принимать во внимание при построении исторической действительности, включающей и означенный результат; остаток культуры есть, в сущности, остаток того самого исторического факта, который изучается историком: следовательно, можно сказать, что в случаях подобного рода исторический факт как бы сам о себе отчасти свидетельствует перед историком.

Под историческим преданием можно разуметь отражение какого-нибудь исторического факта в источнике: последний — не остаток

данного факта, а результат того впечатления, которое он произвел на автора предания, реализовавшего его в данном материальном образе.

В самом деле, остаток культуры есть, конечно, непосредственный результат некоей психо-физической деятельности человека, ее след, запечатленный в образе, доступном восприятию историка. Древний храм, например, есть прежде всего результат почитания того бога, в честь которого он сооружен; первобытное орудие — результат хозяйственной потребности, для удовлетворения которой он служил; документ, укреплявший какую-нибудь юридическую сделку или содержащий какой-нибудь договор между двумя державами, есть тоже остаток старины, в котором непосредственно выразилась и застыла гражданская или политическая деятельность частных лиц или государств; устаревший обычай или обветшавшее учреждение — также результаты общественного и политического строя прежнего времени и т. п. Следовательно, историк может исходить из остатков старины, сохранившихся до его времени, для того, чтобы по ним непосредственно судить о психических факторах и культурных силах, в свое время их вызвавших: он признает остатки старины, доступные его наблюдению, следствиями тех причин, о действии которых он заключает по ним; он, значит, может судить по ним о тех именно психических факторах и деятельности, которыми он объясняет историческую действительность данного периода, т. е. те его факты, которые действительно были и имеют историческое значение.

Остаток культуры — следствие причин, в совокупности с другими вызвавших изучаемый факт; предание же есть последствие этого факта: факт влияет на данную личность; под его впечатлением она запоминает его или оценивает его в предании.

Таким образом, исторический факт не сам собою обнаруживается в историческом предании, а через посредство его творца (автора), изображающего его, например, в картине или описывающего его в каком-либо произведении литературы. Благодаря посредничеству автора историческое предание обыкновенно содержит не только воспоминание о факте, но и ту или иную его оценку. В самом деле, автор сообщает данный факт в предании на том основании, что сам он признает его заслуживающим внимания; значит, он уже включает в предание и момент оценки факта, положительной или отрицательной. Кроме того, автор предания чаще всего воссоздает факт не для себя только, а и для потомства; ясно, что и с такой точки зрения автор

предпосылает некую оценку передаваемого им факта: он не стал бы говорить о нем, если бы не приписывал ему более или менее общего значения: летописец заносит в свою летопись, мемуарист — в свои мемуары то, что он считает достойным внимания читателей, и т. п.

Само собою разумеется, что оценка также входит в число факторов образования остатка старины; но здесь она играет роль более или менее значительного фактора и в образовании того самого факта, остаток которого изучается; оценка, обусловливающая появление исторического предания, напротив, может не играть такой роли: ведь она обнаруживается, по совершении факта, со стороны автора предания о нем и часто затрудняет его понимание.

Соответственно только что указанному различию между остатком культуры и историческим преданием естественно различать два основных вида исторических источников и называть их теми же терминами.

Понятие о каждом из них получит дальнейшее разъяснение, если обратиться к изучению объема каждого из них.

Вышеустановленное общее понятие об остатке культуры обусловливает и дальнейшие его разновидности: чем более такой остаток может дать историку непосредственное знание о факте, тем большее значение он имеет для него; следовательно, по степеням последнего можно различать и несколько групп остатков культуры: по одним можно судить о действующих и довольно характерных факторах, вызвавших факт и продолжающих обнаруживаться в его остатке; по другим можно заключать о наличности таких факторов лишь по устаревшим проявлениям их в данном остатке; по третьим приходится догадываться о факторах, некогда действовавших, теперь же известных лишь по тому остатку культуры, который они вызвали, но в котором они уже перестали действовать. Итак, принимая во внимание вышеуказанные соображения, можно различать несколько главнейших разновидностей остатков культуры; я назову их (за отсутствием лучших терминов) воспроизведениями, пережитками и произведениями культуры.

Воспроизведения культуры — те остатки ее, которые воспроизводятся, т. е. способны, благодаря некоторой устойчивости психофизического типа — «homo sapiens», воспроизводиться вновь и, значит, в указанном смысле повторяются. Вообще, к таким, отчасти еще живым, остаткам культуры можно более или менее отнести язык, не-

которые нравы, обычаи, учреждения и т. п., возникшие до времени их изучения, но продолжающие жить во время их изучения.

Пережитки культуры — те остатки ее, которые переживают, т. е. продолжают сохранять некоторые следы прежней жизненности и в тот период развития культуры, с которым они уже далеко не находятся в полном соответствии и в течение которого они подвергаются изучению. К таким мертвеющим остаткам культуры можно отнести: некоторые элементы языка, разные игры, обряды, нравы, обычаи, учреждения и т. п.

Произведения культуры — те остатки ее, которые сохранились до времени их изучения со стороны историка: они оказываются результатами некогда бывшей культуры; они не воспроизводятся в вышеуказанном смысле, т. е. не воссоздаются, хотя копии с них могут, конечно, фабриковаться; они не переживают, поскольку факторы, породившие их, продолжают действовать; они только сохранились, но в качестве таких произведений культуры, которые, сами по себе, не продолжают жить и развиваться, хотя и могут оказывать влияние на последующие поколения. К произведениям культуры можно причислить предметы древности, произведения литературы (поскольку они рассматриваются, как остатки фактов из истории творчества, остатки человеческих идеалов и т. п.), документы и т. п.

Рассмотрим каждую из намеченных групп в отдельности, хотя бы в самых общих чертах.

Вообще воспроизведения культуры могут дать историку наиболее непосредственное знание о факторах, породивших факт; сам он может воспроизводить и обыкновенно воспроизводит их инстинктивно; вместе с тем он объясняет их действием факторов, все еще в значительной мере продолжающих действовать в подобного рода остатках.

В таком смысле естественно признать язык, хотя бы в известной степени, воспроизведением культуры: будучи одним из самых непосредственных результатов психофизической деятельности человека, язык способен воспроизводиться, по крайней мере, в течение целого ряда поколений. Хотя язык — не чисто физиологический процесс, ибо жесты и слова не то же самое, что движения и звуки, хотя он и оказывается результатом сложной ассоциации между мыслью и внешнею формою ее обнаружения в движениях или звуках, но и такая ассоциация может отличаться сравнительно большою устойчивостью, а иногда надолго сохраняет, по крайней мере отчасти, то значение, которое

установилось за нею и знаменуется данною кристаллизовавшеюся формой. Язык целой группы родственных между собою народов или язык одного и того же народа, да и весь его строй отличаются некоторою устойчивостью; в позднейших периодах его развития можно найти в нем немало слов, а, значит, и понятий, сохранившихся от прежних времен и тем не менее поддающихся воспроизведению: следовательно, их можно признать воспроизведениями культуры, по которым позволительно (разумеется, при строгом соблюдении требований историко-лингвистического исследования) судить о культуре предшествующих более или менее отдаленных поколений, говоривших тем же языком. «Лингвистическая палеонтология» и занимается подобного рода исследованиями, пока, главным образом, лишь применительно к древнейшей культуре индоевропейцев, дополняя и проверяя те заключения, какие она делает на основании сравнительного изучения индоевропейских языков, разысканиями в области «доисторической», особенно неолитической, а также «первобытной» культуры*. Само собою разумеется, что языки современных народов служат гораздо более надежными источниками для изучения «жизни слов», а вместе с нею психики и культуры соответствующих этнических групп за время, предшествующее данному; обращаясь к изучению языка данного народа в качестве воспроизведения культуры ближайших его поколений в соответствующих звуковых формах и не упуская из виду возможности тех изменений, какие могли произойти в значении слов и оборотов речи в течение изучаемого периода времени, можно пользоваться составом воспроизводимых слов и оборотов речи для живого понимания того культурного фонда, который перешел от прежних поколений к современному: с такой точки зрения, например, «психология языка» данной нации стремится выяснить ее психологический тип и особенности ее душевного склада, что, разумеется, может получить весьма важное значение и для объяснения ее истории, по крайней мере, ближайших ее периодов**. Вообще, лишь в той мере, в какой

* *O. Schrader*, Sprach vergleichung und Urgeschichte, 2 Aufl., Iena, 1890, SS. 209–212, 351 и др.; 3-te Aufl., Iena, 1906, SS. 208–232.

** *H. Paul*, Grundriss der Germanischen Philologie, Bd. I, (1901), S. 182: «Viele Wörter bleiben längere Zeit sowohl in ihrer Lautform als in ihrer Bedeutung im wesentlichen unverändert oder verändern sich doch nur soweit, dass die verschiedenen Gestaltungen leicht an einander erinnern, so dass wenn die eine bekannt ist,

историк признает язык воспроизведением культуры, он получает возможность переносить значение произносимых им слов на однородные с ним сочетания звуков или на те начертания, с которыми он связывает такие значения; читая, например, рассказ летописца, повествующего о том, как князья варяжские, «три братья придоша» к славянам и другим племенам[44], историк почти инстинктивно, не задумываясь, соответственно связывает начертания: «три», «братья», «придоша» и т. п. с теми их значениями, которые сам он привык приписывать воспроизводимым им словам; без такого перенесения, хотя бы и ограниченного известными условиями, историк не мог бы понять фразу летописца: он не мог бы проникнуть в смысл даже знакомых ему начертаний, не мог бы приступить и к выяснению тех из них, значение которых изменилось.

Впрочем, к воспроизведениям культуры можно отнести, кроме языка, и многие другие проявления современной историку культурной жизни, разумеется, в той мере, в какой он обратится к ним в качестве источников для изучения по существу однородных факторов, действовавших несколько ранее и порождавших результаты, аналогичные с теми, которые он наблюдает в позднейшее время; он может пользоваться, например, поверьями или приемами «житейской техники», продолжающими существовать в настоящее время, для понимания прошлого; он может производить наблюдения над обычаем или даже учреждением, продолжающим действовать, для понимания того, каким образом оно действовало несколько ранее, если только его механизм остался без существенных перемен; с той же точки зрения он может изучать даже разные акты (частные и государственные), если они до времени их изучения не утратили своей юридической силы, и т. п.

Во многих случаях историк не располагает воспроизведениями культуры для изучения прошлого: с течением времени воспроизведение культуры легко превращается в пережиток; тогда историк судит о действительно бывшем факте лишь по переживающему его остатку: он пытается восстановить интересующий его факт по его пережитку.

die anderen dazu leicht in Beziehung gesetzt werden. So kann jemand mit blosser Kenntnis des Neuhochdeutschen veile mittelhochdeutsche und selbst manche gotische oder altnordische Wörter als Vorstufen oder Verwandte ihm geläufiger Wörter erkennen. Was von den Wörtern gilt, das gilt auch von denformalen Elementen und den Konstruktionsweisen»[45]...

Понятие о пережитке культуры можно прежде всего установить с познавательной точки зрения: остаток культуры, который историк ценит, поскольку он может служить ему для изучения все еще действующих факторов культуры данного периода, но который он не может объяснить действием главнейших факторов того же периода, придающих последнему его характерные особенности, он, с такой точки зрения, и называет пережитком культуры.

Можно, однако, прийти к формулировке понятия о пережитке и с реалистической точки зрения. Возьмем любую систему культуры Σ (*a, b, c, d...*), в состав которой входят, положим, элементы *a, b, c, d...*, реально связанные между собою. Если, при развитии такой системы, скорость развития отдельных ее элементов не одинакова, и если, положим, на степени n ее развития элементы *a, b, d...* достигли той же степени ее развития, а элемент *c*, в известной мере реально связанный с остальными, только степени m, причем $m=n-k$, то с точки зрения степени развития, которой вся система уже достигла, можно признать C_m пережитком. Следовательно, остаток прошлой культурной жизни, сохранившийся в современной, но представляющийся уже устаревшим по отношению к окружающим его явлениям новой культуры, называется пережитком. Действие тех психических (точнее социально-психических) факторов, которое обнаружилось в данном пережитке, нельзя, однако, признать утратившимся: в противном случае данный остаток потерял бы значение пережитка, т. е. остатка культуры, доживающего свой век; прежние факторы, хотя и очень слабо, или в иной форме продолжают действовать в пережитке, но они уже не главные факторы нового периода; кроме того, самый процесс переживания данного факта служит также объектом исследования для историка, а между тем этот процесс совершается на его глазах: историк может подвергнуть его непосредственному наблюдению. С такой точки зрения пережиток — есть также непосредственный результат той деятельности человека, которая порождала историческую действительность; прежние факторы, хотя иногда и в очень слабой мере или в измененной форме, но все же продолжают действовать в пережитке; значит, историк получает возможность непосредственно изучать по нему явление прошлой культурной жизни. Вместе с тем всякий пережиток есть продукт культуры, уже утративший свою целостность: действие в нем прежних факторов, например, ясное понимание его цели и значения, во всяком случае ослаблено

или изменилось и с такой точки зрения всякий пережиток — только остаток прежней культуры, доживающий свой век в среде явлений новой культуры.

Вообще, комбинируя обе точки зрения, можно прийти к следующему положению: если историк имеет дело с таким остатком культуры, который он еще может использовать для ознакомления с действующими факторами культуры, но уже не может объяснить его действием тех главнейших факторов, которым он объясняет характерные особенности данного периода культуры, и если такой остаток представляется ему данным в реальной связи, но не в достаточно полном соответствии с остальными элементами той же группы, то он и называет последний пережитком культуры.

Понятие «пережиток», действительно, употребляется в только что указанных двух его значениях; но его можно переносить и на такие остатки культуры, о которых историк знает лишь из исторического предания, хотя бы сами они уже перестали существовать*. В качестве примера для иллюстрации понятия о пережитке в первом из указанных его значений приведем хотя бы следующий: в древнейшее время человеческие жертвоприношения существовали и у римлян; но в позднейшее время они ежегодно приносили в жертву богу неба луковые и маковые головки, а водяному богу Тибра — тридцать чучел из тростника; положим, что жертвоприношения последнего рода (головок и чучел) можно объяснить действием устаревших и ослабевших представлений о кровожадности богов, требующих себе человеческих жертв, теперь заменяемых, однако, головками лука и мака, или чучелами [и] т. п.: но их нельзя объяснить действием главнейших факторов позднейшего времени; следовательно, обычай приносить в жертву богам головки лука и мака или чучел — пережиток. Возьмем пример, иллюстрирующий понятие пережитка во втором из указанных его значений: в Европе поклонение камням продолжало переживать даже по введении христианства: в период раннего средневековья синоды и епископы во Франции и в Англии боролись против литолатрии[46]**: явно не соответствуя христианско-

* *E. Tylor*, Primitive Culture, v. I, pp. 15–23; 63–145; автор один из первых обратил серьезное внимание на пережитки.

** *P. D. Chantepie de la Saussaye*, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Bd. I (1887) S. 61.

му мировоззрению, она была пережитком, по которому историк может судить о языческих верованиях предшествующих поколений. Обе точки зрения, указанные выше, часто комбинируются, например, при объяснении обоснования в древности права собственности на имущество, добытое путем обмена, действиями, связанными с его захватом, и т. п.

На основании предлагаемого определения к пережиткам можно отнести довольно разнообразные остатки культуры, например: слова со следами прежнего значения, хотя бы звуковая форма их воспроизводилась в прежнем виде (villanus-villain, «пошлые обычаи, пошлые люди» и т. п.[47]); игры, открывающие возможность участникам дать волю некоторым примитивным инстинктам своей природы и упражнять их (игры детей в подражание, охоту, войну, соревнование и т. п.); обряды — религиозные, светские — церемониальные*, юридические, например, передачу куска дерна из рук в руки при совершении сделки купли-продажи земли «одерень»[48]; «народные книги», обращавшиеся в прошлом веке, но ведущие свое начало от Альберта Великого[49] с братиею, и т. п.

В некоторых случаях понятие о пережитке естественно сближать с понятием о символе, занимающем место того, что он должен был бы представлять: остаток культуры может переживать в символе. Понятие, например, о кровожадности богов переживает в частичных жертвоприношениях, когда, вместо целого, богу жертвуют только часть: припомним хотя бы весьма распространенный обычай приносить богу в жертву не человека, а его палец; оно переживает и в замене человеческой жертвы или ее части — приношением животного, в замене зверей их изображениями, сделанными из теста, и т. п. Аналогичные превращения можно наблюдать и в тех случаях, когда смертная казнь преступника заменяется отсечением его пальца и т. п.**

В очень многих случаях, однако, историку приходится обращаться к изучению интересующего его факта не по его пережитку,

* *H. Spencer*, Principles of sociology, P. IV (1879), trad E. Cazelles, t. III (1885); сокращенное изложение на русском языке см. в «Развитии политических учреждений», Спб., 1882.

** *G. Ferrero*, Les lois psychologiques du symbolisme, Par., 1895, pp. 93 et ss.; впрочем, автор едва ли ясно установил цель своего труда; между прочим, он смешивает понятия о знаке, символе и пережитке.

а по сохранившемуся от него остатку, называемому «произведением культуры».

Историк не может пользоваться произведением культуры для познания факторов, еще действующих в его остатке; он не может объяснить его действием современных ему факторов культуры: факторы, обнаружившиеся в нем, уже перестали действовать в нем, но результаты их действия все же сохранились и доступны непосредственному наблюдению историка.

В самом деле, произведение культуры тем и отличается от пережитка, что в таком произведении историк уже не может непосредственно наблюдать игру культурных сил, а принужден о них догадываться только по кристаллизировавшемуся их результату или другим данным, имеющим еще более косвенное соприкосновение с изучаемым объектом: жизненный процесс в таких остатках, самих по себе взятых (а не в их отношении к человеку, воспринимающему их), уже закончился.

Историк, собственно говоря, непосредственно не знает, какую цель имел в виду тот, кто сделал данную вещь, как он ее делал и т. п., но догадывается о ее назначении и т. п. по самому характеру изучаемого произведения: то же можно сказать и про другие разновидности произведений культуры: произведения литературы, документы и т. п.

Действительно, в произведения культуры нельзя не включать и произведения литературы, в том числе автобиографии, повести и романы, стихи, театральные пьесы и т. п.: и они ведь оказываются, с известной точки зрения, остатками культуры и обладают вышеуказанными признаками произведений культуры. Каждое произведение литературы (в широком смысле) есть такой остаток, по которому можно судить об идеях, волновавших автора, его настроениях и вкусах, его интересах и идеалах, его исканиях и т. п.; следовательно, данное произведение литературы может иметь большое значение для истории человеческой психики и не иметь никакого положительного значения в качестве исторического предания — для исторического построения того факта, который в нем рассказывается и который, может быть, никогда не существовал в действительности.

К той же группе произведений культуры можно причислить и деловые бумаги разного рода, в том числе письма, приходо-расходные и нотариальные книги, канцелярские бумаги и т. п. Некоторые виды документов, правда, могут иногда вызвать сомнение в исследовате-

ле — причислять ли их к остаткам культуры. Ложные дипломатические депеши или донесения о ходе военных событий, положим, депеши Наполеона I о ходе отечественной войны настолько извращают события, что, казалось бы, не могут быть признаны реальными результатами войны Франции с Россией 1812–1813 г.; но в таких случаях историк легко забывает, что документы подобного рода — суть все же результаты реально действовавших исторических факторов: военно-дипломатической деятельности Наполеона I, его воли представить факты в том, а не в ином виде; в только что указанном смысле и документы, подобные ложным депешам Наполеона I, все же могут быть названы остатками культуры: они остатки того факта, что в то время во главе французских войск стоял именно Наполеон I, а не кто иной, и что он хотел представить руководимые им военные действия в таком, а не ином виде; эти депеши остаток факта — военно-правительственной деятельности Наполеона I, но не того факта, который в них описывается. Следовательно, заведомо извращенный, «сочиненный» кем-либо документ может оказаться, по тому самому, скорее остатком личного творчества, произведением литературы, чем остатком того исторического факта, который в нем описывается; он должен быть зачислен скорее в разряд произведений литературы, чем в разряд документов; тем не менее и последняя квалификация возможна, если принять во внимание, что извращенный документ, положим, публичного характера, есть все же результат такой, а не иной деятельности правительства. Во всяком случае, наряду с произведениями литературы, следует признавать еще одну группу произведений культуры, а именно законы и акты в широком смысле, уже утратившие свою юридическую силу: историк может непосредственно заключать о степени развития правосознания данной общественной группы и т. п. по его остаткам в законах, а также в частных и государственных актах.

Перейдем к выяснению понятия о тех исторических источниках, которые называются историческими преданиями.

Вообще, историческое предание дает историку гораздо менее непосредственное знание о факте, чем остаток культуры: в историческом предании факт не воспроизводится в вышеуказанном смысле, а только припоминается; предание есть лишь мысленное (а не действительное) воспроизведение факта или воспоминание о нем; но для того, однако, чтобы стать доступным историку, такое воспоминание должно быть реализовано; можно, значит, сказать, что чужое воспоминание о факте, реализованное в каком-либо источнике, называется историческим преданием о таком факте; вместе с тем следует иметь в виду, что в той мере, в какой автор считает факт интересным для себя и для других, он уже включает в свое предание момент его оценки, положительной или отрицательной.

Под понятие об историческом предании можно подвести, конечно, и понятие о воспоминании, касающемся остатка культуры; ведь последний — также своего рода исторический факт, о котором можно составить предание: иными словами говоря, можно назвать историческим преданием и предание о каком-либо остатке культуры, например, какое-нибудь изображение вещественного памятника древности, рассказ о совершении какого-либо частного или публичного акта и т. п. Предания подобного рода получают даже весьма важное значение в тех случаях, когда объект их уже утрачен или изучение его затруднительно без помощи предания, хотя оно часто затемняется его оценкою.

Так как историческое предание есть мысленное воспроизведение факта (а не его остаток), то, очевидно, деление исторических преданий на главные их разновидности зависит от того, в какой мере чужое мысленное воспроизведение исторических фактов основано на более или менее непосредственном знании их. Следует различать, например, чистые предания от смешанных: в той мере, в какой автор предания вспоминает факты на основании собственных своих восприятий, оно признается чистым, свободным от посторонней примеси; в той же мере, в какой он сообщает о них по чужим преданиям, — смешанным. К более или менее чистым преданиям естественно отнести рисунки и рассказы очевидцев, а также мемуары, надписи, отчасти былины, сказания и т. п.; к смешанным преданиям — жития, биографии, сказания, летописи и т. п. Вышеуказанный принцип не трудно применить и к группировке преданий на дальнейшие их разновидности. Чистые предания можно делить, смотря по зависимости автора от собственных его восприятий, т. е. смотря по тому, характеризуются ли они преимущественно воспоминанием или оценкою, на описательные и оценочные: легко заметить, например, что «анналы», т. е. записи по годам или по десятилетиям случившихся фактов, вообще отличаются более описательным характером, чем «хроники», обнаруживающие иногда тенденциозность[50], или чем произведения

полемики и публицистики, в которых момент оценки (в психологическом смысле) может получить преобладающее значение. Помимо вышеуказанного деления, смешанные предания всего удобнее различать по степени зависимости автора от чужих восприятий: такие предания могут быть или производными, когда автор пользуется не только своими, но и чужими восприятиями, как материалом для составления своего предания, в качестве таковых, или составными, когда он, без достаточной переработки, включает в свое предание чужие предания или образует из них новое смешанное предание; с такой точки зрения можно усмотреть различие, например, между картиной, писанной известным художником под влиянием чужих преданий, и картиной, составленной им вместе с его учениками; между хроникой и летописным сводом, который мог быть составлен и из одних только чужих преданий, и т. п.

Впрочем, можно было бы указать и на другие деления исторических преданий, например, в зависимости от той формы, в какой они запечатлелись; но известное деление их на устные и письменные едва ли много дает для выяснения самого понятия об историческом предании, и скорее служит для различения некоторых приемов их интерпретации и критики*.

§ 2. Главнейшие виды источников, различаемых по содержанию, характеризующему их и пригодному для изучения данного рода исторических фактов: источники с фактическим и с нормативным содержанием

Помимо вышеуказанной общей познавательной точки зрения историк может различать источники по их конкретному содержанию, т. е. по тому, что именно они содержат, и с такой точки зрения выяснять их значение для построения данного рода исторических фактов.

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, Кар. III, § 1; здесь автор различает предания изображающие (bildliche), устные и письменные; легко объединить, однако, последние два вида под названием обозначающих преданий и таким образом обнаружить возможность деления преданий на вышеуказанные две группы источников: изображающих и обозначающих; автор причисляет к устным преданиям «рассказы, сказания или саги (Sage), анекдоты, поговорки, исторические песни», а к письменным — «надписи, генеалогии, календари, анналы, хроники, биографии, мемуары и т. д.»; но он не выясняет принципов своей группировки.

В настоящем отделе я только в самых кратких чертах коснусь деления источников, которое можно получить таким путем, отложив до одного из последующих отделов выяснение значения, какое каждая группа источников имеет для построения той, а не иной части исторической действительности.

В сущности, вышеуказанная точка зрения уже принимается во внимание при делении источников по роду творчества, породившего их, например, при группировке их на произведения народного творчества и индивидуального творчества; но в делениях подобного рода историк исходит скорее из своих заключений об отличительных особенностях факторов, породивших данные источники, чем из их содержания в строгом смысле.

Деление по содержанию, конечно, также предполагает и наличность различных видов творчества, которым объясняется то, а не иное содержание источников; но все же деление по содержанию, характеризующему их, строится не с чисто генетической, а с аналитической точки зрения: содержание источника подвергается анализу; на основании последнего историк и приходит к заключению, что данный источник характеризуется тем, а не другим содержанием, пригодным для исторического построения.

С последней точки зрения едва ли не самым общим делением следует признать то, которое различает источники, характерное содержание которых преимущественно имеет значение для познания того, что было, от источников, содержание которых преимущественно служит для познания того, что признавалось должным; или, говоря короче, можно различать источники с фактическим содержанием от источников с нормативным содержанием.

Впрочем, такое деление легко обосновать, пользуясь и генетическим методом, но для целей аналитического определения разновидностей источников, отличающихся по характерному своему содержанию. В самом деле, все источники можно, кажется, разбить на две группы в зависимости от того, какого рода факторы человеческой психики принимаются во внимание для объяснения их характерных особенностей; историк признает всякий источник продуктом человеческого творчества, но приписывает последнему или самопроизвольный, или регулирующий характер. Под самопроизвольным творчеством можно разуметь такое, которое естественно порождает данный источник, не имея в виду нормативных целей, а под регулирующим такое, которое

сознательно задается целью или установить нормы (истины, добра, красоты), или подчинить себя данным нормам, что отражается и в соответствующем роде источников. С указанной точки зрения можно, значит, также различать источники с фактическим содержанием от источников с нормативным содержанием.

Группу источников с фактическим содержанием можно делить на второстепенные группы, например, на источники с идейным содержанием и на источники с бытовым содержанием.

Под источниками с идейным содержанием можно разуметь те, которые преимущественно дают материал для изучения мыслей и чувств людей, живших в данном месте и в данное время, например: предметы культа, произведения поэтической и прозаической литературы и т. п. Источники подобного рода естественно группировать в зависимости от различия характеризующих их идей и настроений или представляющих их сюжетов: таковы, например, попытки классифицировать произведения литературы по сюжетам, в частности попытка установить деление народных сказок в зависимости от тех комбинаций, в каких коренные их элементы встречаются, и т. п.*

Под источниками с бытовым содержанием можно разуметь те, которые преимущественно касаются быта людей, живших в данном месте и в данное время, например: предметы житейской техники, разные бумаги делового характера и т. п. Источники подобного рода легко подвергнуть дальнейшей группировке, различая, положим, те, которые относятся к частному быту, от тех, которые дают понятие о государственном быте, и т. п.

Впрочем, из источников с фактическим содержанием, кроме тех, которые отличаются идейным или деловым содержанием, можно выделить в особую группу и источники с повествовательным содержанием, т. е. источники, преимущественно рассказывающие о событиях: анналы и хроники, биографии и мемуары, повести и сказанья и т. п.; сюда можно отнести, например, «анналы Флодоарда», «повесть временных лет», быть может, принадлежавшую (в первоначальной своей редакции) Нестору[51], повесть об экспедиции императора Фридриха I в св. землю, сказание о Мамаевом побоище[52], мемуары С.-Симона[53] т. п.**

* *J. G. Hahn*, Griechische und albanesische Märchen, Lpz., 1864, Bd. I, SS. 45–64; автор различает: Familienformeln, Vermischte Formeln и Dualistische Formeln[54].

** Ср. еще сс. 788–789 <Т. 2. С. 385–386>.

Источники с нормативным содержанием в свою очередь распадаются на несколько второстепенных групп, а именно на источники с чисто нормативным и источники с утилитарно-нормативным содержанием.

Такое деление, конечно, находится в связи и с теми различиями, какие можно усматривать в нормативном творчестве, наличность которого предпосылается для понимания соответствующих продуктов-источников. В самом деле, творчество, направленное к установлению норм, может иметь в виду или установление чистых норм, или составление правил. Под установлением чистых норм можно разуметь опознание тех абсолютных ценностей, которые даны в нашем сознании, а под установлением правил — выработку таких норм, которые хотя и могут приближаться к чистым, но имеют в виду какую-либо утилитарную цель; установление правил легко переходит в простую их формулировку. Следовательно, можно различать источники с чисто-нормативным содержанием от источников с утилитарно-нормативным содержанием.

Источники с чисто-нормативным характером могут содержать изложение логических и научных норм, т. е. трактаты по логике, или по другим наукам и т. п.; или изложение этических норм, например, какое-либо моральное учение, систему законодательства, принимающую их во внимание, и т. п.; или изложение эстетических норм в виде рассуждений по эстетике и т. п. В качестве источников, более или менее приближающихся к таким типам и служащих для суждения о том, какие именно чистые нормы были опознаны, а также где, когда и кем именно они были признаны, достаточно указать хотя бы на Аналитику и Топику Аристотеля[55], на «Naturalis philosophiae principia mathematica» Ньютона[56], на «Римскую историю» Нибура и т. п.; или на «Размышления Марка Аврелия»[57] и «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 года; или на ряд произведений Альберти[58] по теории живописи, скульптуры и архитектуры (1404–1472 гг.) и т. п. Впрочем, чистые нормы воплощаются иногда и без особого их высказывания, в образцовом произведении (особенно в художественном), по отношению к которому другие произведения группируются*.

* Произведения вроде «Аналитики» и т. п. легко, конечно, причислить и к источникам с идейным содержанием (т. е. к произведениям прозаической литературы); но такая группировка, производимая с иной точки зрения, нисколько не устраняет возможности признавать «Аналитику» и т. п. источниками с более или менее нормативным содержанием, в той мере, в какой последнее состоит из того, что высказывалось в них, как долженствующее быть признанным.

Источники с утилитарно-нормативным характером могут содержать правила техники; таковы, например, средневековые сборники правил мышления (ср. Ars Magna, Раймунда Луллия[59]), правила стихосложения, правила индустриальной техники, например, «Compositiones ad tingenda»[60] и т. п.* К источникам с утилитарно-нормативным характером можно также причислить правила данного общежития, обязательные для его членов, например, памятники обрядового характера, обычного права, акты юридические, а также памятники законодательства и т. п.: правила подобного рода отличаются характером внешнего принуждения и обыкновенно сопровождаются какою-либо санкцией, что видно, например, из «Салической Правды»[61], и т. п.

В сущности для того, чтобы зачислить данный источник в одно из вышеуказанных делений, историк уже пользуется особыми приемами его изучения, которые принято называть: интерпретацией и критикой. Эти приемы, имеют, однако, и вполне самостоятельное значение: историк прибегает к ним для того, чтобы обосновать свое утверждение, что факт, его интересующий, действительно существовал; последнее он может утверждать, лишь подвергнув источник, содержащий сведения о таком факте, надлежащей интерпретации и критике. Обратимся к краткому рассмотрению методологического значения каждого из таких способов исследования в отдельности.

Глава третья. Историческая интерпретация источников

Общее учение об исторической интерпретации источников, несмотря на свое значение, долгое время оставалось без систематической обработки: оно применялось только в конкретных случаях, при истолковании данного рода источников. В древности, например, интерпретация находилась преимущественно в связи с изучением произведений Гомера и других писателей, которые древнегреческие «грамматисты» объясняли в школах, а глоссографы — в своих «глоссах»[62]; она продолжала развиваться преимущественно благодаря «грамматикам» александрийской эпохи[63] и при истолковании христианских древностей и священного писания, особенно в богословско-полемической литературе, а также получила новую

* *M. Berthelot*, La chimie au Moyen âge, t. I, Par. 1893, pp. 7–22.

и широкую область применения к произведениям классического искусства и литературы, заинтересовавшим гуманистов и позднейших писателей*. Тем не менее учение об исторической интерпретации долго не получало достаточно самостоятельного значения и часто поглощалось критикой или даже входило в состав методологии исторического построения**.

* *Aristotelis* [?], Περὶ ἑρμηνείας[64] содержит скорее учение о выражении мыслей в форме предложений и суждений, чем теорию интерпретации; ср. его же «Риторику», где, особенно в кн. III (о стиле), можно найти замечания и об интерпретации. Квинтилиан, а также юристы Павел и Ульпиан уже различали два вида интерпретации, грамматическую и логическую. Сочинения Оригена (Περί ἀρχῶν[65], lib. IV) и Августина (De doctrina christiana, особенно lib. III), основанные на «правилах» и «законах аллегории», уже известных Филону, едва ли не старейшие из сохранившихся трактатов об интерпретации. Ориген рассуждал «Περί του θεοπνεύστου τῆς θείας γραφῆς καί πῶς ταύτην ἀναγνωστέον καί νοητέον· τίς τε ὁ τῆς ἐν αὐτῇ ἀσαφείας λόγος καί τοῦ κατά τό ῥητόν ἓν τισν ἀδυνάτου ἡ ἀλόγου»[66]. Бл. Августин дает в первой главе третьей книги вышеназванного трактата «summam superiorum librorum et scopum sequentis»; последний сводится главным образом «ad ambigua scripturarum descutienda atque solvenda»[67]. В числе позднейших трактатов особого упоминания заслуживает сочинение, также возникшее на почве толкования св. писания, а именно: M. Flacius, Clavis scripturae sacrae seu de sermone sacrarum literarum in duas partes divisae, quarum prior singularum vocum, atque locutionum sacras scripturae usum ac rationem ordine alphabetico explicat; posterior de sermone sacrarum literarum plurimas generales regulas tradit, 1567[68]; новое допол. изд. Francofurti et Lipsiae, 1719. Часть вторая содержит трактаты «de ratione cognoscendi sacras literas... de stylo sacrarum literarum» (между прочим: stylus Paulinus, pp. 507–528 и др.) и т. п.; автор обращает внимание на то, что путем толкования можно достигнуть понимания источника и что при его толковании нужно исходить из представления о нем, как о целом, — принцип, впоследствии значительно развитый Шлейермахером. См. еще нижеследующие примечания. Краткая история учения об интерпретации изложена в сочинении: *F. Blass*, Hermeneutik und Kritik, Einleitung, 1 (только до XVI-го века включительно; ср. выше с. 364 <Т. 2. С. 28>) и в статье *W. Dilthey*, Die Entstehung der Hermeneutik (до XIX-го века) в Philosophische Abhandlungen Christoph Sigwart... gewidmet, Tübingen, 1900, SS. 187–202. До последнего времени принадлежность трактата: Περὶ ἑρμηνείας Аристотелю подвергалась большим сомнениям; но Г. Майер приписывает его составление Аристотелю; см. *H. Maier*, Die Echtheit der Aristotelischen Hermeneutik, в Archiv für die Geschichte der Phil., Bd. XIII (1900), SS. 23–72.

** *E. Bernheim*, Lehrbuch, Kap. V, § 1 (SS. 566–613); автор излагает учение об исторической интерпретации в отделе «историческое построение», что нельзя признать правильным. *Ch.-V. Langlois et Ch. Seignobos*, Introduction, liv. II, sec. 2, ch. 6; здесь в отделе «внутренней критики» авторы рассуждают о «critique d'interprétation»; но задачи интерпретации и критики различны, о чем см. ниже сс. 407 <Т. 2. С. 64> и сл.

Такое отношение к исторической интерпретации объясняется частью тем, что общее понятие о ней до последнего времени оставалось не вполне выясненным, частью же зависело от того, что не все принципы и методы ее обращали на себя достаточное внимание тех, которые рассуждали о ней. В настоящей главе я и попытаюсь прежде всего выяснить общее понятие об исторической интерпретации источников, а затем уже перейду к рассмотрению принципов и приемов, характеризующих каждый из ее методов в отдельности.

§ 1. Общее понятие об интерпретации исторических источников и о главнейших ее методах

Всякий, кто стремится к познанию исторической действительности, почерпает свое знание о ней из источников (в широком смысле); но для того, чтобы установить, знание о каком именно факте он может получить из данного источника, он должен понять его: в противном случае, он не будет иметь достаточного основания для того, чтобы придавать своему представлению о факте объективное значение; не будучи уверенным в том, что̀ именно он познает из данного источника, он не может быть уверенным и в том, что он не приписывает источнику продукта своей собственной фантазии. С такой точки зрения историк, в сущности, приступает и к изучению различных видов источников: он пытается установить, например, остатки какого именно факта или предание о каком именно факте заключаются в данном источнике, что и становится возможным лишь при надлежащем его понимании.

Впрочем, если припомнить, кроме того, те принципы, которые лежат в основе понятия о собственно историческом объекте изучения, то и с такой более специфической точки зрения понимание источника станет еще более настоятельной потребностью историка: ведь приступая к изучению исторического материала, он уже исходит из признания того «чужого я», деятельности которого он приписывает возникновение данного источника, и из соответствующего понятия о последнем; следовательно, каждый исторический источник оказывается настолько сложным психическим продуктом отдельного лица или целого народа, что правильное понимание его дается не сразу: оно достигается путем его истолкования.

Итак, в широком смысле, можно сказать, что интерпретация состоит в общезначимом научном понимании исторического источника*.

Научное понимание исторического источника, в свою очередь, нуждается, однако, в некотором разъяснении. Вообще, научно понимать исторический источник значит установить то объективно-данное психическое значение, которое истолкователь должен приписывать источнику, если он желает достигнуть поставленной себе научной цели его исторической интерпретации; но, в сущности, истолкователь может придавать объективно-данное психическое значение своему источнику лишь в том случае, если он имеет основание утверждать, что он приписывает ему то самое значение, которое творец (автор) придавал своему произведению. С такой точки зрения истолкователь и интересуется, главным образом, психическим значением или смыслом исторического источника и устанавливает его путем интерпретации.

Предлагаемое понятие об интерпретации можно несколько дополнить, если обратить внимание на то, что именно интерпретируется в источнике. Само собою разумеется, что, при интерпретации, историк прежде всего стремится подыскать то психическое значение источника, которое более всего соответствует данным его чувственного восприятия, т. е. материальному образу источника. В большинстве случаев, однако, историк имеет дело с источниками, содержание которых получает надлежащий смысл лишь после дальнейшего его истолкования, что особенно заметно, например, при изучении источника с иносказательным смыслом, который может быть косвенно изображен в условно связанных с ним представлениях или аллегорических образах, в свою очередь запечатленных в данном материальном образе. Впрочем, хотя смысл источника и его материальный образ не всегда непосредственно связаны друг с другом, тем не менее без некоторой связи между ними не может быть и источника; следо-

* Ср. выше сс. 309 <Т. 1. С. 342> и сл. Общая проблема «понимания» другого затронута в статьях: *H. Swoboda*, Verstehen und Begreifen в Vierteljahrsschrift für Wiss. Phil. Bd. XXVII (1903), SS. 131–188; 241–295. *Th. Elsenhans*, Die Aufgabe einer Psychologie der Deutung, Giessen, 1904. Такое учение, в сущности, предпосылается и в исторической интерпретации; см. о ней, кроме выше названных трудов Флациуса, Вольфа, Шлейермахера, Бёка, Штейнталя, Бласса, Бернгейма и других, дополнительные указания в гл. V.

вательно, в конечном итоге, все же можно сказать, что историк, занимающийся интерпретацией, устанавливает объективно-данное значение или смысл исторического источника, более или менее непосредственно по его материальному образу.

Идеальная интерпретация источника, разумеется, состояла бы в том, чтобы истолкователь достиг такого состояния сознания, при котором он мог бы самопроизвольно обнаружить его в произведении, тождественном с данным, и при котором он, значит, мог бы понимать его, как свое собственное; но, ввиду того понятия об интерпретации, которое дано было выше, легко заметить, что она не может претендовать на абсолютную точность всех своих заключений: исходя из гипотезы о чужой одушевленности и далеко не всегда располагая всеми объективными признаками, при помощи которых она могла бы квалифицировать ее проявления, интерпретация источника дает лишь более или менее приблизительное его понимание, да и степень такой приближенности далеко не всегда можно установить с надлежащею точностью.

Понятие об интерпретации нельзя, конечно, смешивать с условиями ее возникновения: она обыкновенно возникает применительно к тем сложным объектам, психическое значение которых не дано в чувственном восприятии наблюдателя, а конструируется им, и сознательно прилагается при какой-либо задержке или сомнении в их понимании; интерпретация вызывается, например, двусмысленностью или недостаточностью целого источника или его частей, форм и выражений, излишним его многообразием или многословием, употреблением деталей, слов или терминов, сразу не поддающихся пониманию, и т. п.; она также нужна во всех тех случаях, когда источник вызывает разноречивое понимание, что особенно заметно в спорах сторон, обусловливающих возникновение юридической интерпретации того акта, который укрепляет их сделку*.

Вообще, приступая к рассмотрению главнейших принципов исторической интерпретации источников, можно сказать, что всякая интерпретация исторического источника исходит из понятия о некоем единстве чужого сознания, обнаружившегося в нем, а также должна принимать во внимание и то целое, к которому он относится, и ту индивидуальность, через посредство которой он получил свое существование. Такая интерпретация состоит в построении заключений частью субсуммирующего, частью аналогизирующего характера: при помощи интерпретации историк или подводит под известные ему понятия свои представления о фактах, подлежащих познанию, или данные знания распространяет на новое аналогичное с ними и обогащающее их содержание; в обоих случаях он пользуется и гипотетически-дедуктивным методом, проверяемым опытом и наблюдением, и эмпирически-индуктивным методом, подготавливающим дальнейший анализ и синтез источника*.

* *J. Gauguier*, De l'interprétation des actes juridiques, Par., 1898, pp. 38, 49 et ss.

Действительно, с познавательной точки зрения можно сказать, что собственно историческая интерпретация начинается с психологического истолкования источника: если бы историк не исходил, хотя бы инстинктивно, из предпосылки о существовании «чужого я» и его одушевленности, единообразной с его собственной, если бы он не выводил из нее, что носитель ее сознательно породил объект, доступный его чувственному восприятию и обладающий известными признаками, он не мог бы назвать такой продукт историческим источником и подвергнуть его собственно исторической интерпретации.

Заключения подобного рода, производимые, конечно, в связи с эмпирическим наблюдением внешних признаков реально-данного объекта, дополняются технической его интерпретацией; последняя применяется в тех случаях, когда историк интерпретирует источник вообще с точки зрения тех технических средств, которые автор употребил для осуществления своего произведения; подыскивая точный его смысл, историк с такой именно технической точки зрения и об-

* *W. Wundt*, Logik, Bd. III, 3 Aufl., SS. 78–109. Впрочем, автор едва ли не слишком широко пользуется терминами «индуктивный» и «дедуктивный» и, хотя сам придает основное значение в науках о духе «психологическому объяснению» (S. 94; ср. S. 312), предварительно рассматривает «сравнительный» метод, а затем уже психологический анализ и психологическую «абстракцию». Само собою разумеется, что и в психологическом методе истолкования чувственное восприятие подготовляет материал, подлежащий интерпретации; но с познавательной точки зрения можно сказать, что в области социальных и исторических наук ученый приступает к ней не иначе, как при помощи психологического метода; о нем см. ниже § 2. Штейнталь, также указывавший на значение «сравнения» и «дедукции» в интерпретации, пришел, однако, к заключению, что «sein Verständniss (т. е. филолога) ist eine mehr oder weniger reiche deductive Erkenntnis»[69]; см. *H. Steinthal*, Die Arten und Formen der Interpretation in Verhandlungen der XXXII Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wiesbaden, Lpz. 1878, S. 29.

ращается к изучению объективно-данных его признаков, судит о его цели по средствам его исполнения и т. п.

Впрочем, пользуясь результатами, добытыми технической интерпретацией, для того, чтобы точнее определить характер той одушевленности, которая запечатлелась в данном источнике, можно подвергать его дальнейшему психологическому истолкованию, в свою очередь дополняя его технической интерпретацией, и т. д.

Итак, различая психологический метод истолкования источника от технического метода его интерпретации, не следует забывать, что в действительности, т. е. в самом процессе работы, они постоянно переплетаются: в исторической интерпретации каждый из них прилагается, конечно, лишь в комбинации с другим и самый порядок их приложения и чередования может отчасти изменяться в зависимости от данного конкретного случая.

При истолковании источника таких операций, однако, еще недостаточно: для того, чтобы понять источник, нужно различать типические признаки отразившейся в нем культуры от индивидуальных его особенностей: толкование нуждается в еще более сложных методах исторической интерпретации, которые я назову типизирующим и индивидуализирующим.

Таким образом, каждый из вышеуказанных методов имеет свою задачу, отличную от остальных*.

* Предлагаемая группировка отличается от прежних, впрочем, весьма разнообразных и далеко не общепринятых делений Шлейермахера, Аста, Вольфа, Бёка, Штейнталя, Бласса и др. (ср. *F. Blass*, Op. cit., 1891, S. 172 ff.). Та группировка, которой я придерживаюсь, может быть, нуждается в дополнительных разъяснениях, но они будут даны ниже. Здесь я замечу только, что без психологического истолкования нельзя приступать к интерпретации любого источника, памятника вещественного, письменного и т. п.; учение об интерпретации последнего рода источников часто начинают, например, с изложения приемов «словесной» или «грамматической интерпретации», т. е. установления значения слов, взятых отдельно, или элементов речи в их соотношении; но такая операция уже предполагает психологическое их истолкование, и, в сущности, включает и технический метод интерпретации, часто обращаясь сверх того к остальным методам — типизирующему и индивидуализирующему, что видно хотя бы из учения Бёка о «грамматической интерпретации»; см. *A. Boeckh*, Op. cit., SS. 93–111. Остальные общеизвестные разновидности интерпретации также не представляют достаточно ясного разграничения методологических задач: уже Шлейермахер справедливо заметил, что известное в его время деление интерпретации на «грамматическую», «историческую», «по содержанию» (sachliche, interpretatio rerum) и «эстетическую» имеет в виду скорее различие

Впрочем, отличая каждый из вышеуказанных методов от остальных по задаче, которую он преследует, а, значит, и по его приемам, нельзя упускать из виду, что, каждый из них, в известной мере, дополняется другими: психологический метод, например, не только обусловливает индивидуализирующий, но, в свою очередь, завершается в нем: только в нем он получает полноту своего значения для интерпретации исторического источника. Вместе с тем, каждый из более сложных методов более или менее включает все остальные, менее сложные, комбинируя их для решения предстоящей ему задачи: с такой точки зрения, например, историк пользуется и психологическим, и техническим, и типизирующим методами для интерпретации путем индивидуализирующего метода индивидуальных особенностей данного источника.

Постоянное упражнение во взаимном пояснении психического значения одного источника данного культурного периода психическим значением другого источника того же культурного периода может выработать в историке особое «чутье» того именно душевного склада, который характерен для людей данного культурного периода. Благодаря своему историческому чутью историк может постигать значение даже нового для него исторического источника инстинктивно: не прибегая к сознательному и систематическому употреблению вышеуказанных принципов и методов, он сразу подыскивает соответствующее психическое содержание тому материальному образу, который он имеет перед глазами.

Привычка подобного рода нисколько не устраняет, однако, необходимости, с методологической точки зрения, различать вышеуказанные операции: «чутье» историка лишь придает им, при их употреб-

тех знаний, какие предварительно нужны истолкователю, чем различие самих методов собственно интерпретации источников; ср. выше с. 360 <Т. 2. С. 25> и *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 72–73.; иными словами говоря, такое деление слишком мало связано с принципами общей методологии источниковедения, и преимущественно имеет в виду одни только различия в технике работы. Бернгейм (не говоря о более ранних попытках) также различает не столько методы интерпретации исторических источников, которые, в сущности, можно применять, хотя и в неодинаковой мере, к одному и тому же источнику, сколько способы применения интерпретации к пониманию остатков культуры или исторических преданий, или же взаимного истолкования остатков — преданиями, преданий — остатками, одного или целой группы источников — другой группой источников и т. п.; см. *E. Bernheim*, Lehrbuch, Кар. V, § 1.

лении, то единство настроения, без которого он, при исполнении своей задачи, не мог бы более или менее ярко переживать содержание источника и находить в таком переживании опору для его научной интерпретации.

§ 2. Психологический метод интерпретации исторических источников

Психологическое истолкование основано, конечно, на принципе признания чужой одушевленности*: оно исходит из понятия о чужом сознании, обнаружившемся в данном продукте, и применяется ко всякому реальному объекту, значение которого не может быть установлено с чисто «механической» точки зрения и признаки которого, по предварительном их наблюдении, дают повод предполагать, что его значение более чем «механическое». Вообще, исторический источник можно признать объектом подобного рода: в самом деле, с генетической точки зрения, понятие об историческом источнике уже тесно связано с психологическим его истолкованием; историк не может достигнуть такого понятия, не прибегая к психологическому истолкованию материального образа того объекта, который он, благодаря этой операции, и получает возможность признать историческим источником.

Психологическое истолкование источника сопряжено, однако, с большими затруднениями: полное и взаимное понимание двух субъектов предполагает, собственно говоря, тождественность их психики (по крайней мере в отношении к высказываемому) в тот самый момент, когда они общаются, что́ уже маловероятно; но историк опрашивает субъекта, который высказался ранее его; при таких условиях тождественность их психики, разумеется, еще менее вероятна; следовательно, с последней точки зрения можно сказать, что если бы даже историк сам мог вступить в непосредственное общение с людьми прошлых веков, он должен был бы подвергать их высказывания психологическому истолкованию. Историк имеет дело, однако, не с живым субъектом, а только с источником, который лишь более или менее отражает его одушевленность, что̀ еще более затрудняет ее понимание. В самом деле, в языке жестов или слов об-

* См. выше сс. 310–318 <Т. 1. С. 343–350>.

щающегося с ним субъекта наблюдатель еще может следить за живым выражением чужой одушевленности и предполагает непосредственную связь между нею и соответствующими жестами, интонациями, словами и т. п.; но в тех случаях, когда историк лишь заключает о некогда бывшей одушевленности по какому-нибудь памятнику вещественному или произведению письменности, такие объекты представляются ему уже как бы сорванными со своего корня, чисто внешними ее обнаружениями, лишенными прежней полноты выскавывания; и ему приходится восстановлять чужую одушевленность без того непосредственного чутья действительности, которое может помочь ему разгадывать чужую психику, в его присутствии «переходящую» в соответствующие движения, жесты и т. п.; в таких случаях он пользуется только относительно слабым сочувственным переживанием и принимается за интерпретацию источника на основании сухого научного анализа, который в большинстве случаев оказывается не в состоянии дать все элементы, нужные для синтетического построения чужой одушевленности во всей жизненной полноте ее характерных черт, лишь отчасти запечатленных в материальном образе источника. Впрочем, можно, пожалуй, усмотреть и некоторые преимущества подобного рода материала перед скоро преходящими, изменчивыми и конкретными обнаружениями чужой одушевленности; тем не менее психологическое его истолкование все же представляет немало затруднений.

Как бы то ни было, но без психологического истолкования нельзя приблизиться к пониманию исторического источника: историк придает ему более чем «механическое» значение или известный смысл лишь благодаря тому, что он, пользуясь собственными аналогичными психическими переживаниями, подвергает его психологическому истолкованию. Само собою разумеется, что историк приписывает такое значение или смысл источнику гипотетически и при помощи интуиции, проверенной дальнейшим применением его гипотезы к истолкованию источника, или прибегая к эмпирическому его исследованию, после которого он, положим, приходит к заключению, что данный объект имеет более чем «механическое» значение, и сознательно подставляет свою одушевленность под данный материальный образ, получающий таким образом известный смысл; но в качестве историка, он, собственно говоря, пользуется только результатами такого исследования и приступает к интерпретации

исторического источника, лишь обращаясь к психологическому его истолкованию*.

Принципы психологического истолкования находятся в тесной связи с понятием о единстве чужого сознания, в частности с понятиями об ассоциирующей и целеполагающей его деятельности: они применяются к весьма разнообразным историческим источникам, хотя и не в одинаковой мере; они получают особенное значение в интерпретации реализованных продуктов индивидуальной психики, но пригодны и для понимания произведений коллективного творчества; в последнем случае, впрочем, чаще обнаруживаясь в связи с одним из приемов типизирующего метода**.

В числе принципов психологического истолкования едва ли не главнейшим следует признать понятие о единстве чужого сознания: истолкователь, в сущности, исходит из гипотезы, что оно обнаруживалось в своем продукте — источнике, и придает ему известную целостность; с такой точки зрения он понимает каждую его часть лишь в ее отношении к целому или к другим частям. В самом деле, полагая, что чужое сознание, в его единстве, отражается в источнике, всегда представляющем из себя уже довольно сложный его продукт, истолкователь, в сущности, с такой точки зрения, понимает и его части, например, при истолковании тех чужих мускульных сокращений, которые понадобились для совершения данного жеста, тех движений и отдельных звуков или письменных знаков, которые потребовались для произнесения или написания данного слова, и т. п. Принцип единства чужого сознания, разумеется, получает еще более широкое значение в том случае, когда историк имеет дело с источником, отражающим целую совокупность движений, нужных для выделки данного предмета, или целый ряд знаков, обозначающих чужую речь в словесной или в письменной форме: он понимает, например, каждое слово в его соотношении с другими словами, благодаря которому каждое из них и получает более конкретный смысл. В связи с тем же принципом можно поставить и многие более частные правила герменевтики, давно уже обратившие на себя внимание исследователей: он лежит, например, в основе предположения, в силу которого истолкователь признает, что один и тот же автор употребляет одно и то же слово, в одном и том же комплексе слов, в одном и том же смысле, т. е. что данное слово оказывается тою же самою частью одного и того же целого, воспроизведенного несколько раз, и следовательно, должно иметь одно и то же значение, и т. п.* С точки зрения того же принципа, наконец, можно толковать и отдельные части данного произведения, и отдельные сочинения одного и того же автора. В тех случаях, например, когда историк имеет дело с цельным мировоззрением, он может понять отдельные его части, лишь вставляя их в такое целое: один из самых талантливых представителей немецкого романтизма, например, толковал творения Платона, исходя из представления о нем, как о философствующем художнике: отсюда он выводил понимание его философии, совокупности его диалогов, каждого из них — как части целого, каждого значительного слова — понятия, как одного из его элементов, например, слова «δόξα»[70] и т. п.**

Вышеуказанный принцип остается, конечно, в силе и в тех случаях, когда истолкователь обращает более специальное внимание на более частные проявления чужого сознания, в той мере, в какой он объясняет источник одним из них: ведь говоря о проявлениях чужого сознания, он уже представляет себе то, что действует, в виде некоторого единства. Аналогичные предпосылки историк делает, например, когда он стремится понять ассоциацию между состоянием чужого сознания и данным материальным образом из ее положения в комплексе ассоциаций данного лица: или когда он выясняет цель автора, с точки зрения которой отдельные части и даже детали его произведения становятся понятными; или когда он определяет «главную идею» произведения, отношения к ней второстепенных его идей и т. п.

Впрочем, при истолковании источника, историк не должен, конечно, упускать из виду, что единство отражающегося в нем чужого сознания, в действительности, может быть более или менее относительным. Такое понятие, например, легко подметить в тех случаях, когда истолкование опирается на сравнении «параллельных мест»;

* См. ниже § 3; такое эмпирическое исследование объекта, нужное для того, чтобы приписать ему более чем «механическое» значение, я отличаю от технической интерпретации источника, в сущности, уже признанного «историческим», хотя бы смысл его оставался еще неясным.

** См. ниже § 4.

* *F. Schleiermacher*, Sämmtliche Werke, III Abt. Zur Philosophie, Bd. III, SS. 366 ff.: Шлейермахер не возводит, однако, таких правил к принципу единства сознания.

** *F. Schleiermacher*, Platons Werke, Berl., 1804 ff.; 2 Aufl., Berl., 1817 ff.

оно иногда дает возможность выяснить смысл отдельного выражения, если последнее в одном «месте» поставлено в связь с данным целым более удачно, чем в другом «месте», и т. п.

В связи с вышеуказанным основным принципом психологического истолкования историк часто пользуется и более частными его разновидностями: он интересуется, например, чужим сознанием, в той мере, в какой последнее обнаруживает ассоциирующую или целеполагающую деятельность; он, главным образом, и принимает их в расчет при интерпретации того источника, в котором чужое сознание обнаружилось: он стремится, например, усвоить себе мысли, которые автор ассоциировал с данным материальным образом источника, выясняет его цель или главную идею и т. п. С такой психологической точки зрения на ассоциирующую и целеполагающую роль чужого сознания историк и толкует его продукт — источник.

В самом деле, при психологическом истолковании источника историк часто исходит из понятия об ассоциирующей деятельности того чужого сознания, которое отразилось в нем: он должен не только установить некоторую ассоциацию между своими представлениями и данными своего чувственного восприятия, но и воспроизвести в себе такие представления, которые он имеет основание признать соответствующими «чужим», ранее бывшим представлениям, т. е. тем представлениям, которые сам автор произведения ассоциировал с данными их обнаружения, доступными чувственному восприятию историка. Итак, историк должен сознавать, что переживаемое им представление есть вместе с тем воспроизведенное им чужое представление, и притом именно то, которое в чужом сознании ассоциировалось с наблюдаемым им материальным образом. Такое сознание лежит в основе утверждения, что между ассоциацией представления данного творца (автора) и его внешним обнаружением — и ассоциацией представления данного историка с тем же обнаружением, доступным его чувственному восприятию, существует соответствие.

При установлении подобного рода соответствия историк пользуется несколькими второстепенными приемами, которые я назову установлением реального объекта, доступного чувственному восприятию творца (автора) и историка и общего им обоим, и установлением соответствия между психическим значением данного материального образа у его творца и психическим значением, какое историк приписывает тому же материальному образу.

Вообще, для того, чтобы установить соответствие между чужой и своей ассоциацией, историк должен прежде всего быть уверенным, что реальный объект, с которым он связывает свои представления, тот самый, что̀ и у автора источника, оказывающегося таким объектом.

Высказанное положение может, пожалуй, показаться само собою разумеющимися: ведь по крайней мере тот вещественный образ, в который автор облек свою мысль, должен быть доступен чувственному восприятию историка; иначе последний будет поставлен в невозможность исходить из него для подыскания соответствующего ему психического значения; следовательно, вышеуказанное условие само собою понятно.

В таком рассуждении, однако, понятие об объекте смешивается с понятием о данной вещи: предмете, письменном знаке и т. п.; сама по себе взятая, она, действительно, всегда оказывается общей и автору, и историку; но с познавательной точки зрения, всякая вещь доступна каждому из них только в виде представления о ней; а представление о ней или материальный образ источника, в сущности, часто бывает весьма сложным построением и историк может усмотреть в нем не тот или не совсем тот материальный образ, с которым автор ассоциировал свою мысль. Только тогда, когда объект, в смысле представления о данном материальном образе, оказывается действительно общим и автору, и историку, последний может установить и то психическое значение, с которым он ассоциировался у автора. Всего труднее, конечно, историку решить такую задачу, когда он имеет дело с источником, не вполне сохранившимся, и когда ему приходится прибегать к реконструкции того вещественного образа, который предполагается данным его чувственному восприятию: сама реконструкция может оказаться не соответствующей оригиналу, как, например, в известных случаях восстановления статуи Лакоона или исправления текста какой-либо из трагедий Эсхила и т. п.

Перейдем к краткой характеристике другого приема психологического истолкования источников, а именно к установлению соответствия между психическим значением данного образа у его творца и у историка, т. е. к установлению того факта, что одно и то же, или, по крайней мере, приблизительно однородное психическое значение ассоциируется с одним и тем же вещественным образом и у его творца, и у историка. Если припомнить, сколько представлений сами собою подразумеваются при любом из внешних обнаружений нашей

мысли, сколько разнообразных чувствований может быть связано с каждым из представлений и насколько бледным и обезличенным становится каждое из их внешних обнаружений (например, какое-либо начертание слова), в случае, когда оно берется без того, что в нем подразумевается, то, даже при тождестве психики историка и автора, далеко не всегда можно ожидать, что он правильно истолкует такое обнаружение; но если иметь в виду, что, при вероятном различии в психике автора и историка, поставленных, положим, в разные условия культуры, подразумеваемое автором и подразумеваемое историком не тождественны, задача психологического истолкования, предстоящая историку, окажется еще более сложной.

Естественно, что с такой точки зрения психологическое истолкование рассматриваемого типа прежде всего должно быть обращено на выяснение того комплекса состояний сознания, которые сам автор ассоциировал с данным материальным образом. Вообще, истолкование чувствований может оказаться более затруднительным, чем истолкование умственных представлений: напряженные, «чистые» или «глубокие» чувства иногда слишком мало поддаются выражению; другие, правда, тесно связаны с их разрядом во внешних их обнаружениях, но только в очень малой степени запечатлеваются в источнике; представления или понятия, содержащие элементы, общие с нашими собственными представлениями и понятиями, напротив, сравнительно более понятны позднейшему интерпретатору и легче ассоциируются с соответственным материальным образом; но и в последнем случае задача сильно осложняется, если истолкователь примет во внимание ту зависимость, в какой интеллектуальные процессы находятся от эмоциональных. Вообразим, например, что истолкователь данного исторического источника должен выяснить, с какими чувствованиями автор связывал тот материальный образ, который доступен его чувственному восприятию под видом написания: «Ах!», и что автор прибегнул к нему, желая выразить удивление, для чего и написал: «Ах!»; он придал ему вышеуказанное значение, очевидно, связывая «Ах!» не только со зрительным его образом, но, положим, хотя бы только со слуховым, с той интонацией, с которою он мысленно произнес «Ах!»; положим, далее, что такого именно сочетания зрительной ассоциации со слуховой достаточно для того, чтобы придать конкретно-данному написанию «Ах!» его значение, и что можно пренебречь теми жестами, которыми произнесение его могло сопровождаться. Историк не может, однако, сразу установить такое именно его значение: он знает, что можно произносить: «Ах!» и с чувством угрозы, и с чувством гнева, и с чувством горя или радости, и с чувством нетерпения, и с чувством мечтательности, и с чувством удивления и т. п.; значит, при психологическом истолковании письменного образа «Ах!» он должен иметь в виду, что автор мог ассоциировать его с весьма разнообразными чувствованиями и что из них надо выбрать то самое, которое действительно было ассоциировано с этим образом: лишь тогда тот, кто его видит (но уже не слышит) будет в состоянии понять его. С аналогичной точки зрения историк истолковывает и другие элементы психического значения данного ему образа. Положим, например, что объектом подобного рода оказывается «книга»; но материальному образу книги или написанию «книга» можно придавать весьма различные психические значения: если под «книгой» разуметь обозначение некоторого умственного содержания, то истолкователь данного материального образа «книга» будет стремиться выяснить, с каким именно умственным содержанием этот образ ассоциируется; если под «книгой» разуметь продукт некоторой работы типографского станка, то истолкователь данного материального образа будет стремиться выяснить, какие представления о числе ее печатных листов, о ее цене и т. п. ассоциируются с этим образом.

Такое соответствие между психическим значением, с которым творец и истолкователь данного образа его ассоциируют, устанавливается двумя путями: или преимущественно аналитическим, или преимущественно синтетическим; рассмотрим их, главным образом, применительно к интерпретации тех умственных представлений, которые ассоциированы с данным материальным образом.

С аналитической точки зрения изучение ранее бывшего чужого представления по его материальному образу сводится к анализу тех элементов, из которых могло образоваться соответствующее ему представление, что и облегчает воспроизведение их комплекса в представлении историка по данному материальному образу.

В самом деле, чужое представление, в особенности если оно возникло в совсем иное время, гораздо ранее его исторического исследования, редко сразу становится понятным историку; старинное слово, например, особенно если оно записано на каком-нибудь иностранном, чуждом историку языке, требует истолкования. Тогда историк принужден разлагать чужое представление на отдельные его эле-

менты или признаки и переводить каждый из них на свой язык, а затем уже комплекс этих элементов или признаков подразумевает под тем письменным начертанием слова, которое он находит в историческом источнике. Путем такого анализа историк, значит, может образовать ассоциацию между комплексом проанализированных им элементов мысли с данным материальным образом, приближающуюся к действительно бывшей у данного автора. Процесс подобного рода легко заметить в особенности при психологическом истолковании письменного образа, обозначающего довольно сложное понятие в таком термине, который сам по себе не способен вызвать в исследователе надлежащую ассоциацию его с соответствующим психическим содержанием, хотя бы, например, при истолковании слова ἐντελέχεια[71] в том смысле, в каком Аристотель употреблял его.

Следует заметить, однако, что в действительности понимание чужой ассоциации можно достигнуть, лишь дополнив такое исследование изучением психического значения источника с синтетической точки зрения, т. е. выяснив значение того представления, которое ассоциируется с данным материальным образом, например, с данными письменными знаками в том комплексе представлений, который содержится в целом предложении, в целом сочинении, в целом мировоззрении данного автора или народа в данный период его существования.

Смысл слова, например, часто становится вполне понятным лишь в том случае, если представить его себе в том комплексе, в котором оно дано исследователю: слова такого комплекса взаимно поясняют друг друга. Взаимное пояснение значения одного слова значением другого становится вместе с тем средством контроля в понимании каждого из них в отдельности; тот же принцип применяется, конечно, и к истолкованию письменного образа слова, вставляемого в соответствующее предложение или период, и т. п. Само собою разумеется, что пределы такого исследования зависят от того, когда получится достаточно подходящее значение для данного слова; выяснится ли оно уже из одного предложения или из целого периода и т. п.: нельзя, например, достигнуть правильного понимания вышеприведенного слова ἐντελέχεια, не сопоставив того значения, какое Аристотель придает ему в разных местах своей метафизики, трактата о душе и т. п.

Психологическое истолкование не исчерпывается, однако, установлением ассоциаций, рассмотренных выше: оно получает телеологический характер, когда историк предполагает, например, наличность известной цели, которую человек осуществлял в данном продукте — источнике, и с такой точки зрения пытается объяснить себе его назначение, т. е. то, для чего он мог служить, что и ведет к дальнейшему его пониманию. В таких случаях историк рассуждает о «цели» в том же смысле, в каком он принимает и наличность чужих ассоциаций, т. е. придает ей объективное значение: он не может довольствоваться признанием такого принципа в его регулятивном значении, хотя и должен помнить гипотетический характер признания объективно-данной целеполагающей деятельности чужого сознания; он стремится воспроизвести в себе то состояние сознания, которое он имел бы основание признать соответствующим чужому целеполаганию; лишь в том случае, если он ясно сознает, что испытываемая им цель может быть приписана автору и что она объективирована в его произведении, историк получает возможность подвергнуть его собственно телеологической интерпретации*.

В самом деле, так как всякий источник — реализованный продукт человеческой психики, то историк может сказать, что такой самостоятельный продукт (поскольку он обладает характерными особенностями, отличающими его от произведения природы) вместе с тем оказывается результатом целеполагающей деятельности человека или намеренным его продуктом: он признает самый элементарный источник — какую-нибудь простейшую поделку из кремня или какие-нибудь «черты и резы»[72] уже продуктами преднамеренной деятельности человека; с такой точки зрения он и стремится точнее установить его смысл и истолковывает те, а не иные особенности продукта**.

---

* См. выше сс. 110 <Т. 1. С. 175–176> и сл.

** Впрочем, толкование древнейших источников сопряжено иногда с фактическими затруднениями и нуждается в особого рода предосторожностях: некоторые кремни, например, получают вид искусственных поделок путем естественного процесса, в речной воде, наталкивающей одни на другие; можно даже искусственно добывать такие предметы, подвергая куски кремня действию воды, приводимой в движение системою колес и достигающей известной скорости движения; после более или менее продолжительного промежутка времени эти куски, сталкиваясь и взаимно оббивая друг друга, приобретают вид эолитов[73] и т. п. Во всяком случае понятие о намеренной деятельности не следует смешивать с понятием о преднамеренности источника: остаток культуры — не преднамеренный источник, историческое предание, напротив, может быть составлено с целью служить источником.

Следовательно, историк может исходить из общего положения, что реализованный продукт человеческой психики имеет некоторое назначение. В остатке культуры историк может предполагать назначение, состоящее, положим, в удовлетворении какой-либо из ближайших жизненных потребностей данного общества: сосуд удовлетворяет потребность общества в сохранении пищи и более удобном ее потреблении; икона удовлетворяет потребность общества данного времени в конкретном образе чтимого им божества; юридический акт укрепляет чьи-либо права и т. п. В историческом предании историк также может усматривать известное назначение хотя бы, например, в том, что оно сохраняет воспоминание о данном факте (летопись), или прославляет чьи-либо подвиги (надпись, монумент, ода и т. п.), или порицает чьи-либо поступки (памфлет, сатира и т. п.). Таким образом, определяя назначение данного источника, историк уже получает понятие об особенностях того творчества, которое обнаружилось в нем и подходит к пониманию данного остатка культуры или данного исторического предания.

Впрочем, историк выясняет цель автора лишь в связи с тою «главной идеей», которая составляет ее содержание и объективирована в его произведении; имея в виду, что назначение источника тесно связано с главной его идеей, он с такой точки зрения и подвергает его дальнейшей интерпретации: он пытается понять «главную идею» источника, придающую ему внутреннюю его цельность, и интерпретирует отдельные его части, выясняя то отношение, в каком они стоят к главной идее; он стремится определить, имеется ли главная идея в данном произведении и в чем она состоит, насколько она сознается и самостоятельна, а также насколько она преобладает над остальными и развита в деталях; в какой мере автор сумел выразить ее абстрактно или конкретно в соотношении с второстепенными мыслями или искусственно выдвинул ее в ущерб остальным и т. п. Впрочем, не во всяком произведении он может усмотреть одинаково ясное выражение его главной идеи: в некоторых памятниках варварского искусства или в старинных произведениях иконографии эффект подобного рода достигается, например, чисто внешним образом; в церковных памфлетах XI–XII вв. мысль автора часто прерывается выписками из произведений отцов церкви и т. п.; и только после внимательного рассмотрения настроения данного творца историк может иногда разыскать ту нить, которая служит для понимания хода его мыслей

и связи их, если не в логическом, то по крайней мере в психологическом смысле слова; лишь в выдающихся произведениях человеческого духа историк может заметить и то высшее единство, с точки зрения которого он понимает каждую его часть и придает смысл даже мелким его деталям. С такой точки зрения он толкует, например, «Критику чистого разума»[74], «Naturalis philosophiae principia malhematica» или Анналы Тацита[75]; «Размышления Марка Аврелия» или Евангелие; «Фауста»[76], «Сикстинскую Мадонну»[77] или «Мейстерзингеров»[78] и т. п.*

Соответственно характеру «главной идеи», какую историк приписывает автору источника, он истолковывает и его особенности; смотря по тому, например, признает ли историк цель автора — нормативной или утилитарной, он с нормативной или утилитарной точки зрения интерпретирует его произведение: он, конечно, не поймет источника, возникшего ввиду нормативной цели, если будет интерпретировать его содержание в утилитарном смысле, или, наоборот, станет оценивать его утилитарное назначение с нормативной точки зрения.

В зависимости от того, какое назначение гипотетически приписывается источнику, и ход дальнейшей его интерпретации может получить весьма различное направление. Положим, что историк-археолог при раскопке какой-либо могилы находит в ней монету; назначение ее в древней могиле (например, назначение какой-нибудь изящной античной монеты в могиле варвара) может быть различно: она могла, конечно, служить орудием мены, мерою и посредником при покупке и продаже товаров; но она могла служить и для орнаментальных целей; или, вообразим, что историк, знакомый с историческими работами Вальтера Скотта, впервые берет в руки его «Woodstock»; смотря по тому, будет ли он полагать, что Вальтер Скотт желал развлечь читателя или сообщить ему исторические сведения, он признает его «Woodstock» романом или историческим произведением; и только потому, что вторая гипотеза гораздо менее правдопо-

* Такая точка зрения суживается едва ли, впрочем, с достаточным основанием, если, вместе с Тэном, считать художественным произведением то, которое (в отличие от других?) выражает «quelque idée importante plus clairement et plus complètement que ne le font les objets réels»[79]; тогда и вышеуказанный прием истолкования получит, конечно, особенно широкое применение лишь к пониманию предметов искусства; см. *H. Taine*, Philosophie de l'art, p. 64.

добна, чем первая, он подвергнет «Woodstock» интерпретации с точки зрения его значения для истории литературы, а не историографии и не станет пользоваться им в качестве исторического труда, касающегося некоторых событий из жизни Карла II.

Само собою разумеется, что историк может усмотреть в данном продукте — источнике и несколько целей или идей; в таких случаях он принимает во внимание их комбинации, например, комбинацию религиозной цели с утилитарной в каком-либо предмете культа и т. п.; зная, положим, что древние употребляли, при совершении религиозных обрядов и при почитании умерших, сосуды из глины (за исключением, впрочем, больших сосудов для хранения жидкостей), он с такой двойственной точки зрения толкует их назначение: они должны были служить для культа, но редко или вовсе не употреблялись, а потому и делались из более дешевого материала, обработка которого требовала менее сложной техники, чем выделка металлических сосудов, и т. п.* В аналогичном смысле историк может различать, например, комбинации наукообразной цели с эстетической в данном историческом рассказе и т. п.

Наконец, в некоторой зависимости от назначения или главной идеи источника или той, а не иной комбинации нескольких идей можно толковать и подбор того, а не иного материала, из которого источник составлен, а также приемов техники, понадобившихся для выражения мысли автора в соответствующей форме и т. п., в свою очередь оказывающих известное влияние на содержание источника; но в таких случаях телеологическое истолкование обыкновенно комбинируется с техническим и другими методами интерпретации**.

Вышеуказанные принципы и приемы психологической интерпретации были выяснены, главным образом, применительно к произведениям индивидуального творчества; но они прилагаются, конечно, и к интерпретации произведений коллективного творчества: историк исходит, например, из того же понятия о некотором единстве коллективного сознания, когда рассуждает о «народе», как о творце данного произведения, когда выясняет его «народный характер» и т. п. Ввиду большей сложности и меньшей определенности коллективного сознания исследователь не всегда может, однако,

* *K. Sittl*, Archäologie, § 197 S. 187.

** См. ниже § 3.

точно установить тот коллективный субъект, с точки зрения которого данное произведение толкуется, и определить степень объединенности его сознания, в разных случаях весьма различной. В самом деле, произведение народного творчества, в сущности, возникая благодаря инициативе какой-либо отдельной личности, особенно благодаря ее свободной фантазии*, становится «народным» лишь после более или менее продолжительного обращения в пределах данной социальной группы: совокупное действие многих ее членов сглаживает индивидуальные особенности такого продукта, если он обладал ими, или попавшие в него заимствования, и, во всяком случае, приспособляет его для общего употребления; следовательно, произведение народной словесности создается не путем единого акта творчества, а рядом более или менее продолжительных попыток безвестных лиц, запечатлевающих в нем типические черты народного характера, мировоззрения и т. п., и образуется путем более или менее заметных наслоений разновременного происхождения. При истолковании таких источников принцип единства сознания не всегда оказывается достаточным и даже непрерывность его применительно к данному коллективному творчеству получает довольно условный характер; миф, например, часто продолжает повторяться, но не в качестве религиозного предания, а лишь в виде народной, волшебной или детской сказки, уже утратившей древнейшее и важнейшее свое значение**; басня часто теряет прежний характер популярного разъяснения одного частного случая другим рассказанным в ней частным же случаем, обнаруживает несколько разных актов творчества, не отличается единством действия, касается подмененных лиц и действий; старинное оригинальное содержание былины с течением веков также иногда изменяется, стирается и уступает место новому содержанию и т. п.***

Ввиду вышеуказанного процесса возникновения произведения народного творчества, историк, при истолковании его, гораздо более пользуется понятием об ассоциирующей, чем понятием о целепола-

* *W. Wundt*, Völkerpsychologie, Bd. II, 1, SS. 3–4 и др.

** *E. Hartland*, The science of Fairy Tales, Ld., 1891, pp. 3–4, 22–23. *G. L. Gomme*, Folklore as an historical science, Ld., 1908, pp. 148–150.

*** *А. Потебня*, Из лекций по теории словесности, Харьков, 1864 г., сс. 17–20, 37, 46, 51; ср. с. 54 и сл. *А. Пыпин*, Ист. лит., т. III, с. 36; ср. с. 39.

гающей деятельности коллективного сознания; с такой точки зрения он и интерпретирует, например, народные былины, представляющие иногда довольно сложную смесь разнообразных элементов: своих народных и заимствованных; он усматривает в них некоторое единство ассоциирующей деятельности народного сознания*.

При изучении таких же произведений с точки зрения цели историк встречает гораздо более затруднений. Ведь даже для понимания какого-либо обоюдостороннего акта, вроде, например, купчей, он далеко не всегда в состоянии установить «общее намерение» сторон: замечая, что каждый из контрагентов преследует свою цель, он не всегда может определить «общую» их волю, хотя бы в одном только юридическом ее смысле**; тем с большим трудом он разыскивает цель, общую тому собирательному лицу, творчеству которого он приписывает изучаемое им произведение: он полагает, например, что древнейшая поэзия была, по крайней мере иногда, «просто игрою» и сознательно не преследовала чисто эстетических целей; он легче понимает какую-либо былину Владимирова цикла с точки зрения общего данной социальной группе чувства, положим, национального, общеземского настроения киевлян, а затем и русских вообще, чем с точки зрения какой-либо общей им воли, направленной к исполнению ясно сознаваемой политической цели, и т. п. Впрочем, и произведения коллективного творчества интерпретируются, конечно, с точки зрения более или менее ясно сознаваемой их цели или назначения: историк, положим, исходит из предположения, что мифы составлялись для окрашенного религиозным чувством объяснения какого-либо более или менее крупного явления; что мифы и легенды представляли «в богах и героях не только религиозные, но и нравственные идеалы добра и зла» или прославляли героев и их подвиги; что древнейшая поэзия могла служить и средством для достижения практических целей, тесно связанных с обрядом или даже с повседневной работой; что в особенности песня получала такой именно характер; что народная былина или сказка имела в виду иногда, особенно в позднейшее время, национально-политические или даже социально-политические цели и т. п. С такой точки зрения историк

* См. выше сс. 377–378 <Т. 2. С. 39>.

** *J. Gauguier*, Op. cit., p. 123. *G. Dereux*, De l'interprétation des actes juridiques privés. Par., 1905, pp. 312–325; ср. p. 386.

толкует, например, космогонические мифы о сотворении мира, известные у фиджийцев[80] и у других народов; или наши былины о Владимире «красном солнышке» и о князе Романе (Мстиславиче), правившем в самую блестящую пору развития галичского княжества; или известные рассказы (едва ли, впрочем, возникшие без заимствований) о Лисе[81], олицетворявшей иногда ловкого, смелого и веселого парня из простонародья, и о ее проделках над Волком, т. е. над грубою силой средневекового сеньера и т. п.*

В зависимости от того, приписывать ли произведению коллективного творчества то, а не иное назначение или несколько различных целей, интерпретация его, подобно интерпретации произведений индивидуального творчества, может получить разные направления или осложнения: смотря по тому, например, признавать ли данную басню научно-популярным объяснением одного случая другим случаем или рассказом, преследующим нравоучительную цель, самый ход ее интерпретации окажется различным; но можно одну и ту же басню, например, известную индийскую басню «Турхтан и море», толковать как более или менее искусственную комбинацию обеих целей**.

Само собою разумеется, что, в зависимости от цели или назначения таких источников, содержание и приемы техники их могут меняться: обрядовая песня, например, благодаря своему назначению, приобретает строго традиционный характер, который всего лучше сохраняется при помощи ритма и напева; но удовлетворительное объяснение таких данных уже комбинируется и с другими методами интерпретации.

Итак, можно сказать, что психологическое истолкование исторических источников основано, главным образом, на понятиях о единстве сознания и о его ассоциирующей или целеполагающей деятельности, и что такие принципы служат для истолкования произведений и индивидуального, и коллективного творчества; но психологическая интерпретация применяется к разнообразным историческим источникам далеко не в одинаковом смысле.

Следует различать, например, интерпретацию изображающих источников от интерпретации обозначающих источников.

* *G. L. Gomme*, The Handbook of Folklore, Ld., 1890, pp. 136–139, 146–149; ср. его же: Folklore as an historical science, pp. 129 и сл.

** *А. Потебня*, Op. cit., сс. 18–20.

Психологическая интерпретация изображающего источника сводится, главным образом, к пониманию не столько материала, сколько той формы, которая придана образующей его материи: исходя из представления о продуктивной деятельности человека, реального отношения живого, свободного творчества человека к материи, историк усматривает ощутимый результат такого отношения в «форме» источника; с последней точки зрения он и приступает к его истолкованию*.

Впрочем, психологическая интерпретация условного вещественного образа или символа уже довольно близко подходит к интерпретации символических знаков. В самом деле, ввиду условного характера такого образа, историк, при интерпретации его, подобно интерпретации чисто символических знаков, стремится выяснить то психическое содержание, с которым данный символ ассоциируется, и его назначение; иначе он не будет в состоянии по наличности данного символа судить о наличности того психического значения, которое приписывалось ему. С такой точки зрения историк может принимать во внимание и тот смысл, какой имеет материал данного вещественного образа, например, то значение, которое в средние века придавали драгоценным камням той, а не иной породы, даже независимо от их искусственной формы, вырезанных на них изображений и т. п.** В большинстве случаев, однако, историк изучает преимущественно значение данной, условно понимаемой формы символа; но, ввиду условного его характера, он часто испытывает большие затруднения при установлении ассоциации, существовавшей между предполагаемыми идеями и данным символом, а также при выяснении его назначения. До сих пор, например, ученые далеко не согласны относительно того значения, какое следует приписывать символу, известному под названием «свастики» или гаммированного креста[82]; ввиду большого распространения его изображений, например, в Гиссарлике[83], в пещерах Франции и на Буддийских надписях, такое объяснение затрудняется еще тем соображением, что один и тот же

* *Н. Кондаков*, Русские Клады, т. I, сс. 7–8; автор очень широко понимает термин «форма»: «не только внешний вид предмета есть форма, но, точнее говоря, и сам предмет есть только известная форма материи».

** *W. T. Fernie*, Precious stones for curative wear and other remedial uses, Ld., 1907.

условный вещественный образ мог служить для различных целей (напр. религиозных и орнаментальных), причем значение его могло меняться в разных местностях и в разное время.

Психологическая интерпретация обозначающих источников уже тем отличается от предшествующей, что имеет дело с источниками, смысл которых только обозначен при помощи условных символических знаков; в сущности, она состоит в интерпретации языка, т. е. словесных или письменных знаков, условно обозначающих искомое внутреннее содержание источника. Впрочем, если бы возможно было придерживаться теории происхождения языка из звукоподражания, то между словом и его звуковою формой легко было бы признать и реальную связь; но звукоподражаний в языке мало: многие из них предполагают уже довольно развитую наблюдательность со стороны звукоподражающего, да и непригодны для выражения сложных состояний сознания; значительная часть лексического состава изученных языков не возводится к звукоподражаниям. Следует иметь в виду, кроме того, что даже если бы удалось вполне обосновать теорию происхождения языка из звукоподражания, все же пришлось бы согласиться с тем, что последующее свое значение, как средство общения, он получает в той мере, в какой известные формы прочно ассоциировались с некоторым мысленным содержанием, т. е. поскольку такие звуки уже стали символическими знаками[84]. То же можно сказать и про письмо: каково бы ни было его происхождение (т. е. даже если полагать, что идеографическое письмо есть прототип всякого последующего условного письма), оно получает присущее ему значение лишь благодаря тому, что оказывается системой общепризнанных символических знаков, с комбинациями которых люди успели прочно ассоциировать известное значение. Следовательно, психологическая интерпретация языка, т. е. речи и письма, состоит в выяснении того значения, какое придавалось известным лицом, т. е. отдельным индивидуумом, народом, и т. п. в данное время (период, возраст и т. п.) данной словесной или письменной форме; для того, однако, чтобы установить эту связь, надо определить, с каким именно значением или внутренним содержанием данные знаки ассоциировались, для какой цели они служили, и т. п.

Психологическая и, в особенности, телеологическая интерпретация получает, конечно, разные значения не только смотря по тому, состоит ли она в понимании изображающих или обозначающих ис-

точников, но и в зависимости от того, прилагается ли она к пониманию остатков культуры или исторических преданий.

В том случае, когда историк располагает остатком культуры, он может выяснить, какого рода цель преследовал человек при совершении факта, остаток которого сохранился в источнике: он признает, что назначение предмета более или менее овеществлено в остатке культуры и с такой точки зрения интерпретирует его; изучая генезис источника, он знает, что между творцом, породившим его, и данным остатком нет посредника, творчество которого отразилось бы на том же источнике. В том случае, когда историк имеет дело с историческим преданием, он прежде всего стремится выяснить цель, которую имел в виду автор данного источника; следовательно, при изучении исторического предания историк обращает внимание на цель того, кто создал исторический источник, а не только на цель того деятеля, который содействовал возникновению факта, интересующего его и отразившегося в источнике.

Впрочем, в той мере, в какой всякое понимание чужой душевной жизни предполагает личное переживание и воспроизведение ее, а не только пассивное восприятие ее продуктов, историк, в сущности, едва ли может довольствоваться чисто теоретическим истолкованием источника; он всего лучше усваивает его, возможно полнее переживая то впечатление от источника, которое он не смешивает с его оценкой и по характеру которого он догадывается о его содержании; он сам воспроизводит в себе и ту совокупность состояний своего сознания, в которой его представление о данном отрывке чужого сознания, по возможности, занимает положение, аналогичное с тем, какое соответствующее ему чужое представление должно было бы занимать в чужом сознании, породившем источник. Благодаря такому творчеству историк может придавать изучаемому им отрывку ту полноту его значения, которое, конечно, не сохранилось в источнике, а тем более в каких-либо его фрагментах; и только при последнем условии он может в полной мере использовать теоретические операции, рассмотренные выше; но он нуждается в их помощи и контроле, так как без них не может придать своим догадкам характер научных выводов.

Вообще, можно сказать, что психологическое истолкование лежит в основе всех остальных методов исторической интерпретации источников. Дальнейшее выяснение того именно психического значения, какое следует приписывать конкретно-данному источнику, производится, однако, не без помощи последних. В самом деле, если бы психика того, кто породил данный продукт (источник), и психика историка были тождественны, последний мог бы удовлетвориться психологическим истолкованием для понимания источника; но если между чужою психическою деятельностью, с точки зрения которой данный источник толкуется, и психикой историка есть различия (что обыкновенно бывает), то психологическое истолкование дополняется технической и собственно исторической интерпретацией; последняя преимущественно имеет в виду истолковать такие различия и сделать как бы более или менее близкий перевод образа мыслей автора с особенностями его культуры и индивидуальности на образ мыслей, свойственный историку. Такое стремление в возможно большей степени индивидуализировать психологическое истолкование источника находит себе удовлетворение в дальнейшей его интерпретации: историк ставит психологическое истолкование источника в связь с другими методами и прежде всего с методом, который можно назвать техническим, а затем, при помощи остальных методов — типизирующего и индивидуализирующего, пытается достигнуть еще более точного исторического понимания его содержания.

§ 3. Технический метод интерпретации исторических источников

Психологическое истолкование, в известной мере, обусловливает применение остальных методов исторической интерпретации к собственно историческому материалу: ведь без психологического истолкования, хотя бы самого элементарного, нельзя назвать данный объект «историческим» источником, а значит и применять какой-либо другой метод исторической интерпретации к такому именно объекту. Для дальнейшего выяснения предполагаемого психического его значения или смысла историк обращается, однако, и к другим методам: он, правда, исходит из понятия об источнике, как о реализованном продукте человеческой психики и признает наличность той ассоциирующей или целеполагающей деятельности, которою источник был вызван; но он может интерпретировать источник, т. е. судить о его смысле и назначении, и по техническим средствам их обнаружения, т. е. по тем специальным приемам, которыми автор восполь-

зовался для осуществления своего произведения и благодаря которым он придал ему тот, а не иной специфический вид*.

Таким образом, техническая интерпретация сводится к истолкованию тех технических средств, которыми автор воспользовался для обнаружения своих мыслей и благодаря пониманию которых можно приблизится и к пониманию смысла или назначения его произведения. В числе подобного рода средств следует, однако, различать несколько видов. В той мере, в какой автор источника реализует в нем продукт своей психики, он уже пользуется известными средствами для ее обнаружения; но он может обнаруживать ее различно: или более или менее самопроизвольно употребляя лишь «внешние» средства технической обработки материала, пригодные для реализации продукта своей психики в материальном образе источника; или, напротив, более или менее сознательно придерживаясь известного рода творчества, стиля и тому подобных «внутренних» средств для стилистической обработки содержания, реализованного в источнике. Судить о таких средствах можно или по источнику, как материальной вещи, послужившей автору для обнаружения своих мыслей, т. е. по ее материальным свойствам; или по источнику, как продукту данного рода творчества, обнаружившегося в его стиле, в стилистически обработанном его содержании. Соответственно вышеуказанному различию можно говорить о технической интерпретации материальных свойств источника или о технической интерпретации стиля источника.

Техническая интерпретация материальных свойств источника состоит в истолковании его смысла и назначения по техническим средствам, послужившим автору для осуществления своих мыслей, т. е. по его материалу, по его форме и т. п. Такое истолкование включает, конечно, эмпирическое наблюдение изучаемой вещи, но не исчерпывается одним только чувственным восприятием ее свойств: оно

* Рассматриваемый род интерпретации выделяется преимущественно филологами, но часто смешивается с типизирующим методом и даже с эстетической критикой. Вольф называл такую интерпретацию «риторической» (см. ниже), Бёк — «родовой» («generische»), Штейнталь — «стилистической», Бласс — «технической»; но и Бласс не различает ее от типизирующего метода; он также совершенно упускает из виду техническую интерпретацию материальных свойств источника, да и интерпретацию стиля источника понимает только в смысле изучения «писательского искусства» (schriftstellerishe Kunst).

находится в тесной связи с эмпирическим исследованием источника; с такой точки зрения, ограничиваясь возможно меньшим числом предпосылок и гипотез, оно пользуется и естественнонаучными методами для того, чтобы подвергнуть исследованию его материал, его форму и т. п.*

Область приложения такого метода, казалось бы, довольно ограничена: ведь большинство вещей мы обыкновенно толкуем, не прибегая к эмпирическому исследованию их свойств; если внешние средства обнаружения чужих мыслей тождественны или аналогичны с теми, значение которых уже известно истолкователю, он приступает к психологической интерпретации источника на основании данных своего чувственного восприятия, не прибегая к особой технической интерпретации материальных его свойств: интерпретирует, например, предметы древности, по форме своей сходные с современными, положим, котел, меч и т. п. или знакомые ему письменные знаки, интуитивно подставляя или сознательно подыскивая те состояния сознания, которые с ними были связаны и ими изображены или обозначены, но не подвергая их материальные свойства особому исследованию. Такое заключение, однако, едва ли можно признать вполне правильным: историк не может удовлетвориться поверхностным пониманием данных своего чувственного восприятия; в сущности, он не может вполне научно, т. е. с надлежащею точностью установить реально-данный объект своего психологического истолкования без изучения материальных его признаков, тем более, что внешний вид доступных ему исторических источников большею частью нуждается в интерпретации; он менее рискует ошибиться в своем представлении о данном источнике после истолкования его материальных признаков, положим свойств того, а не иного металлического сплава, или характера письма и т. п.; он иногда легче поймет назначение источника, если он изучит его материал, изображающую или обозначающую его форму и т. п.; вместе с тем он не может принять те из своих выводов, которые явно противоречат данному материальному образу источника или его свойствам: он не может

* Ср. выше с. 416 <Т. 2. С. 71–72>. Сравнительно недавно, например, одна из фаюмских мумий была подвергнута исследованию при помощи рёнтгеновых лучей с целью выяснить, не находится ли на костяке каких-либо металлических украшений.

сказать, например, что предмет, сделанный из очень хрупкой бронзы, действительно служил молотом, или толковать какой-либо памятник письменности вопреки объективно данному в нем расположению знаков и т. п.

Итак, можно сказать, что вышеуказанный метод вообще прилагается к историческим источникам; но он получает различное применение, прежде всего, конечно, в зависимости от тех условий, в какие познание источника поставлено. Во многих случаях технический метод интерпретации служит, собственно говоря, лишь для квалификации и проверки тех выводов, которые делаются благодаря психологической интерпретации достаточно знакомого материального образа источника: материал, из которого сделаны котел, меч и т. п., можно, например, подвергнуть анализу с целью более точного выяснения их назначения; то же самое легко сделать и относительно письменных знаков, материала, на котором они писаны, и способа, которым они начертаны, и т. п. для того, чтобы также пополнить или проверить заключения о их назначении. В других случаях, однако, историк имеет дело с источниками, материальные свойства которых сами нуждаются в интерпретации: предмет или начертания совершенно неизвестной формы, например, могут вызвать вопрос, считать ли их историческими источниками или не считать; если историк и предпосылает, по предварительном наблюдении, гипотезу, что такие объекты могли быть продуктами чужой психики, он все же нуждается в технической интерпретации материальных их свойств для того, чтобы окончательно принять или отвергнуть высказанную им гипотезу. При таких условиях технический метод интерпретации, очевидно, получает гораздо более самостоятельное значение: внимательное изучение материальных свойства источника существенно облегчает понимание того именно значения, которое ему приписывалось, но которое нельзя вывести из слишком общего предположения о том, что он есть реализованный продукт человеческой психики; в связи с другими методами интерпретации такое изучение облегчает возможность сделать заключение о том значении, какое данный источник имеет, а не только квалифицирует или контролирует его.

В той мере, однако, в какой техническая интерпретация материальных свойств источника связана со строго-эмпирическим их исследованием, она, в сущности, непосредственно прилагается лишь к остаткам культуры, а не к историческим преданиям. В самом деле,

если источник оказывается остатком культуры, то историк может уже сделать некоторые заключения о его смысле и назначении по внешним средствам его осуществления путем непосредственной интерпретации материального образа источника; он может, конечно, рассматривать и предание; как остаток деятельности того, кто сообщает о факте, и с такой точки зрения подвергать его эмпирическому исследованию; но в той мере, в какой он признает предание остатком культуры, он уже упускает из виду характерные его особенности, да и не всяким источником он интересуется в качестве такого остатка.

Следовательно, можно сказать, что техническая интерпретация материальных свойств источника вообще применяется в той мере, в какой всякий источник признается некоею вещью, свойства которой могут подлежать точному исследованию, иногда достигающему значительной сложности; но значение такого метода ограничено, так как он непосредственно прилагается лишь к остаткам культуры, а не к историческим преданиям.

Техническая интерпретация материальных свойств источника применяется к остаткам культуры в разной степени в зависимости от того, имеет ли она дело с изображающими или обозначающими остатками культуры: на основании вышесделанной их характеристики легко уже прийти к заключению, что интерпретация изображающего остатка культуры, материальный образ которого непосредственно доступен чувственному восприятию историка, отличается от интерпретации внешнего вида обозначающего остатка культуры, содержание которого символизируется материальными знаками: жестами, словами, письменами и т. п.

При технической интерпретации материальных свойств изображающего остатка культуры историк обращает преимущественно внимание на его материал и на его форму; и по его материалу, и по его форме он может судить о его назначении; делая на основании изучения материальных его свойств дальнейшие заключения о его технике в ее связи с культурой, а также о месте и о времени, к которым источник относится, историк может достигнуть еще лучшего его понимания*.

---

* *Cbr. Hostmann*, Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie, Braunschweig, 1890.

Действительно, такая интерпретация изображающего остатка культуры сводится прежде всего к научно-эмпирическому анализу того материала, из которого данный предмет сделан; пользуясь его результатами, историк толкует источник.

Анализ материала, из которого данный предмет сделан, может, например, дать некоторые указания на его назначение: между материалом и назначением вещи можно обыкновенно установить известную связь. Ясно, например, что из глины легко сделать горшок, но нельзя сделать нож, пригодный для резания, и т. п. Такая связь далеко не всегда, однако, может быть установлена сразу: для того, чтобы вполне понять, почему первобытный человек выделывал ножи из кремня (а не, положим, из песчаника), археолог, собственно говоря, должен изучить свойства гидратов окиси кремния, т. е. кремнезема, нерастворимых в соде и содержащих малое количество воды; в частности, он должен знать, по крайней мере, некоторые свойства кремня, например, коэффициент его твердости и его строение, благодаря которому рядом ударов или давлением при помощи орудия, положим, сделанного из дерева или рога, можно от данного кремня откалывать куски, пригодные для употребления их в качестве скребков, стрел и т. п.; или для того, чтобы выяснить себе значение бронзовых котлов в древности, он должен знать, что в то время человек, при условиях его примитивной техники, еще не мог пользоваться для их изготовления медью, которая поддается соответствующей для данной цели обработке, т. е. выковке в тонкие листы, лишь при наличности в ней вполне определенного процента окиси меди, и т. п. Вообще, изучивши свойства материала, историк-археолог может понять, почему человек, эмпирически несколько узнавший их, по преимуществу употреблял тот, а не иной материал для данного рода поделок; лишь после такого исследования он получает возможность лучше установить и ту связь, какая существовала между материалом предмета и его назначением.

Анализ материала (в связи с другими исследованиями) дает понятия и о генезисе данной материальной формы, т. е. о технических приемах, которые были употреблены человеком для того, чтобы сделать данную вещь; и по ним можно также судить о ее назначении: по материалу данной поделки, например, историк догадывается о том, в какой мере техника ее изготовления была развита, т. е., прибегал ли человек при употреблении кремня к оббивке или к полировке его и т. п.; по составу глины, смешанной с дреставой или просеянной, он заключает о степени развития гончарной техники; по составу древ-

нейших вещей из золота с примесью серебра (ὁ ἤλεκτρος[85]) или по составу бронзового сплава он судит о степени развития металлургической техники. Если, например, сплав содержит много посторонних примесей («случайных»), то историк имеет основание предположить, что человек неолитического периода[86] или сходных с ним состояний культуры мог получить такие сплавы случайно, из смешанной руды весьма мало совершенными способами ее выплавки: бронза в некоторых местностях была, вероятно, получена путем выплавки медной руды, содержавшей олово, или смеси медной руды с оловянным камнем, задолго до того времени, когда человек стал получать ее, сознательно сплавляя медь с оловянным камнем или медь с металлическим оловом; в тех случаях, когда сплав содержит, положим, менее 5% олова, в предмете, который, видимо, должен был бы обладать возможно большею твердостью, историк заключает, что человек еще не различал мягких бронз от твердых или не умел добывать последние; в тех же случаях, когда в таком предмете окажется более 25%, он полагает, что человек еще не отличал твердых бронз от хрупких, мало пригодных для обычного употребления, и т. п.* Таким же образом историк может судить о степени культуры по остаткам разного рода сооружений или по технике данных рисунков, картин и по другим источникам, поскольку он признает их остатками культуры, а не историческими преданиями.

Вообще, изучая материал данного источника и способы его технической обработки, историк может, путем его интерпретации, делать весьма разнообразные заключения: он догадывается, например, о степени развития эмпирических знаний людей, оставивших по себе данные остатки культуры, положим, бронзовые изделия, и полагает, что они уже имели некоторое смутное представление о кое-каких свойствах тел, их плотности, твердости, ковкости и вязкости, упругости, плавкости, теплоте, окислении и т. п.; историк может, путем такой же интерпретации, делать выводы и касательно степени развития материального быта данного населения: с такой точки зрения он придает значение остаткам хлебных зерен в свайных по-

* *W. Gowland*, Copper and its alloys in prehistoric times; см. Journal of the Anthropological Institute, v. XXXVI, 1906, pp. 19–21, 31, 32. В одном бронзовом топоре из Кобани, например, оказалось меди — 95,8%, олова — 4,2%; см. *R. Chantre*, t. II, texte, p. 97. Ср. еще о применении «металлографии» к археологии статью *M. Matignon*, Les sciences expérimentales et l'archéologie в Rev. Scient. 1909, Sept. 18, pp. 354 ss.

стройках, кладам монет и др. ценных предметов, зданиям и сооружениям разного рода, обстановке домов или погребальных камер; по наличности, положим, олова в бронзовых изделиях древних египтян, восходящих к шестой династии[87], он судит о торговых их сношениях с теми центрами, из которых они могли получать олово уже за несколько тысяч лет до нашей эры, и т. п.

Техническая интерпретация материала дает иногда возможность определить (хотя бы очень приблизительно) также место и время возникновения данного продукта.

В тех случаях, когда материал изображающего остатка культуры, или один из заметных элементов такового находится в некоторой функциональной зависимости от местных условий, историк может пользоваться ею для выяснения месторождения источника. По свойствам или по составу материала историк иногда может, например, заключить о том, местного ли происхождения данный предмет или нет. В Казанской губернии, в Свияжском уезде, в 45 верстах от Казани и в $4^1/_2$ верстах от Волги, в селе Буртасах, например, один ученый нашел кремневый наконечник стрелы; но порода этого кремня оказалась не местной; отсюда он заключил, что кремень или самый наконечник стрелы был привезен из другого места. По составу бронзы (медь и олово, или медь и свинец) некоторые ученые судят о европейском или азиатском (древне-сумерийском) ее происхождении. Древнейшие венгерские бронзы отличаются своеобразным составом: в него входит сурьма, иногда в довольно заметном количестве; между тем в Трансильвании можно встретить сурьмяные руды совместно с медными в двух видах: в виде сульфосурмяных соединений и в виде механической смеси медных и сурьмяных минералов, а также следы старинной разработки местных залежей; отсюда можно, пожалуй, заключить, что предметы, сделанные из подобного рода сплавов могли быть местного происхождения и т. п.*

* *Н. Головкинский*, Древние остатки человека в Казанской губернии; см. Труды первого съезда естествоиспытателей в СПБ-е, 1868 г. Отдел минералогии и геологии, с. 33. Впрочем, и в числе европейских бронз, которые Вирхов характеризовал примесью олова, можно указать предметы со значительною примесью свинца; см., например, *W. Gowland*, Op. cit., ib., pp. 30, 31; по мнению Ю. Опперта (Oppert) в очень древнем сумерийском гимне говорится об огне: «ты смешиваешь медь со свинцом», что могло бы дать основание характеризовать такие бронзы сплавом меди и свинца, а не меди и олова; см. *Chr. Hostmann*, Studien, S. 59.

При сравнении материала, из которого изображающие остатки культуры, по возможности туземные изделия одного и того же типа, сделаны, а также при сравнительном изучении их техники, историк может прийти к кое-каким заключениям и касательно времени, к которому они принадлежат, т. е. относительной их древности или новизны и т. п. Поделки из камня, например, он относит ко времени преимущественно древнейшему, предметы из железа, служившие для тех же целей, — к позднейшему времени; принимая во внимание относительную сложность техники, он также может судить и об относительно позднейшем происхождении предмета: оббивные вещи из камня, например, он считает более древними, чем полированные; впрочем, делая заключения подобного рода, он не должен упускать из виду, что деление каменных поделок на оббивные и полированные, например, еще не дает ему права говорить вообще об относительной древности неполированных вещей, особенно, если материал и назначение их другие, чем материал и назначение вещей полированных: камень, обработанный путем оббивки, может быть современным полированному молоту из диорита[88], так как при обработке кремня легко обойтись без шлифовки, а при обработке диорита — нельзя. Аналогичное заключение историк делает, конечно, и относительно другого рода изделий: историк искусства, например, признает черепки от неросписных сосудов более древними, чем росписные, или считает картину, писанную сухими красками, которые разведены на белке, более древней, чем картину, писанную масляными красками, если только он не встретит указаний на какие-либо особые условия, которыми он мог бы объяснить себе применение более раннего приема художественной техники в сравнительно позднейшее время.

Ввиду той связи, какая существует между формою предмета и его назначением, можно, при технической интерпретации его материальных свойств, преимущественно обращать внимание, кроме материала, и на форму изображающего остатка культуры; и по последней естественно судить о его назначении: достаточно взглянуть, например, на камень с округлыми или тупыми конечностями и вставленною в него рукоятью, чтобы признать его молотом, а не скребком, и приписать ему соответствующее назначение, и т. п. Само собою разумеется, что такой анализ может доходить до очень большой сложности и разнообразия приемов истолкования, например, в тех

случаях, когда он прилагается к какому-нибудь усовершенствованному механизму или высокохудожественному произведению; впрочем, в таких случаях, историк уже пользуется и многими другими методами понимания источника.

По форме предмета можно также судить и о технике, например, о том, в какой мере творец его умел приспособить его к наиболее целесообразному (при данных условиях) употреблению энергии для выполнения известной работы, в какой степени сознательно он придал своему изделию форму, благодаря которой энергия работника могла бы сосредоточиться в одном пункте (острие), или на одной линии давления (лезвие) или же сама работа превращалась бы в двигательную энергию, в свою очередь превращающуюся в работу (молот и т. п.); в какой мере он сумел усилить данный объем энергетической деятельности механическим путем, благодаря применению того, а не иного способа передачи энергии на известное расстояние (копье, меч, метательные снаряды) и т. п.*; по форме известных предметов, например, мечей, позволительно заключать о сравнительно развитой технике (в данном случае металлургической), по форме глиняного сосуда — о том, сделан ли он от руки или при помощи гончарного круга, и т. п.

Наконец, форма дает основание заключать и о месте, и о времени возникновения источника. Предметы простейших форм, правда, не всегда можно приурочить к определенному месту или времени; в частности, медные кельты[89], например, имеют простой вид потому, что их нельзя было отливать в закрытых литейных формах; значит, судя по форме, они могут относиться к различным местам и временам; но и форма, во многих случаях действительно, дает некоторые указания на место и время возникновения источника. В сущности, такой прием, в связи, впрочем, с другими методами, лежит в основе многих приблизительных датировок предметов искусства: на основании той, а не иной формы, т. е. образов, положим, на какой-либо миниатюре, историк может судить о принадлежности ее к данной местности, — например, к итальянским, фландрским, французским, немецким или английским изделиям и к данному периоду времени, по крайней мере в пределах XII–XVI вв., когда миниатюры были в большом употреблении; при взгляде, например, на те византийские

* *W. Ostwald*, Die Grundlagen der Kulturwissenschaft, 1909, SS. 71–73.

миниатюры, которые украшены стереотипными фигурами евангелистов и характеризуются суровым конвенционализмом своих форм, он относит их к X–XIII столетиям, и т. п.

Следовательно, благодаря технической интерпретации материальных свойств изображающих источников по форме так же, как и по материалу, в связи с техникой можно судить, разумеется, не без помощи других методов, о данной культуре, духовной и материальной, остатком которой изучаемый источник оказывается, и с такой точки зрения достигать лучшего его понимания.

Техническая интерпретация материальных свойств источника в гораздо меньшей мере применима к обозначающим остаткам культуры: она сводится к изучению таких остатков, главным образом, в палеографическом отношении[90]; письменные начертания представляются историку, конечно, продуктами психики, но в разбираемом случае он интересуется преимущественно внешней формой таких знаков и пытается выяснить ее зависимость от свойств материала, а также основные особенности разных способов письма. Историк видит, например, что люди писали на скалах и камнях или каменных плитах, на металле, на дереве, на растительных веществах (cyperus papyrus), коре и листьях, на восковых табличках, на тканях (холсте и др.), на кожах (в частности, на пергамине), на бумаге; он замечает, что одна и та же потребность закрепить слово письменными знаками повела к образованию различных алфавитов, между прочим в зависимости от того материала, на котором люди писали, и от того, что разные народы не владели одинаковыми техническими средствами для ее удовлетворения: буквы, выводимые на камне или на папирусе, на навощенной дощечке или на бумаге резцом или палочкой, стилетом или кисточкой с тушью и т. п., не могли, конечно, иметь одинаковых очертаний: на камне легче было вырезывать буквы угловатых начертаний (ср. греческие надписи), а на папирусе или древесном листе, наоборот, буквы округленной формы*. В частности, например, так называемые «руны» — древние германские письмена[91] (особенно скандинавские) представляют любопытный пример такой зависимости: благодаря тому, что в качестве материала для их написания часто пользовались

* *H. Steinthal*, Die Entwickelung der Schrift, Berl. 1852. *Ph. Berger*, Histoire de l'écriture dans l'atiquité, 189l; *M. Maire*, Les matériaux sur lesquels on écrivait dans l'antiquité; см. Rev. Scient. 1904, t. II, №№ 7–8.

деревом, буквы, в отличие от латинских, вырезывались на нем не горизонтально, т. е. соответственно расположению древесных волокон, что неудобно для начертания письмен, которые в таком случае плохо держатся, — а несколько наклонно; таким образом, руны состоят из одних только вертикальных и несколько наклонных по отношению к ним черт*. Итак, можно сказать, что форма букв находится в некоторой зависимости от свойств материала и техники, а не только от времени, когда они писаны, что следует иметь в виду при заключениях, какие делаются иногда относительно древности письма на основании эпиграфических[92] наблюдений.

Техническая интерпретация материальных свойств памятника письменности не ограничивается, конечно, изучением материала, служившего для письма; она имеет в виду также форму материала и начертанных на нем изображений. Историк-палеограф интересуется, например, форматом бумаги: судя по тому, писано ли данное произведение в книге или на отдельном клочке, на александрийском листе[93] или на столбце[94], состоящем иногда из нескольких «сставов» и т. п., он уже может делать некоторые заключения и о его содержании; он принимает во внимание также те водяные знаки, или филиграни[95], которые свидетельствуют о принадлежности данной бумаги известной фабрике; он изучает и форму букв, и характер слагающегося из них почерка: устава, полуустава, скорописи[96] и т. п.**

На основании палеографического изучения источника историк может делать некоторые заключения относительно места и времени возникновения источника: на основании материала, служившего для письма, он уже может иногда высказывать догадки подобного рода; по бумажным водяным знакам он также выясняет принадлежность бумаги известной фабрике, а значит место и, приблизительно, время воз-

* *O. Montélius*, Les temps préhistoriques en Suède, p. 188.

** *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 289–299: здесь обстоятельные указания на литературу; не входя в подробное рассмотрение технических приемов палеографических исследований, я укажу лишь на новейшие работы, касающиеся палеографии средних веков и нового времени: *C. Briquet*, Les filigranes, Dictionnaire historique des marques de papier (1282–1600), Par., 1907, vv. I–IV. *Н. Лихачев*, Палеографическое значение бумажных водяных знаков, чч. I–III и приложение: таблицы, Спб., 1899 г. (Общ. Люб. Др. Писм. Издания 1899 г., CXVI). *W. Erben, L. Schmitz-Kallenberg und O. Redlich*, Urkundenlehre, 3 Teile, München und Berlin, 1907–1911.

никновения того материала, на котором источник написан*; но еще чаще он изучает для таких целей характер письма: по системе письма и форме букв он, например, судит о времени написания древнегреческой надписи до эллинистического периода[97]; по внешнему виду почерка позднейшего произведения или документа, он заключает о том, что последний писан в такой-то стране, иногда даже в такой-то канцелярии и в такое-то время**; по известным восковым табличкам он следит за развитием римской скорописи из устава, по старопечатным изданиям — за развитием типов печатных букв и т. п.

Впрочем, при исследованиях подобного рода историк не может ограничиться технической интерпретацией материальных свойств источника: изучая, например, характер письма, он уже имеет в виду его «стиль», выясняет его особенности в зависимости от условий культуры данного места и времени, от характера самого писавшего и т. п.

При интерпретации обозначающего источника историк прибегает, однако, и к более сложному истолкованию его с психофизической точки зрения, в том случае, когда он изучает его, например, в графологическом отношении и рассматривает письмо как результат психо-физического состояния писавшего: ведь писание зависит от деятельности головного мозга, в особенности от одного из центров его коркового вещества, а не только от деятельности конечностей; следовательно, о некоторых состояниях сознания можно судить по сохранившимся остаткам письма.

В самом деле, нельзя отрицать, что психика пишущего может несколько отражаться в его почерке. Соотношение между психическими и физическими процессами в письме, по мнению одного из новейших исследователей «психологии писания», обнаруживается более явственно, чем в каких бы то ни было других произвольных движениях; ибо «ни одно из них не оставляет по себе столь явственных следов, которые остаются без изменений в течение продолжительных периодов времени и, вдали от того, кто их начертал, все же дают возмож[ность] [пропуск в тексте источника] людей в зависимо-

* *C. Briquet*, Op. cit., t. I, pp. XX et ss.

** *Th. v. Sickel*, Programm und Instruction der Diplomata Abtheilung в Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, SS. 451 и сл. (весьма любопытное исследование внешних признаков группы документов первых годов правления Оттона I с подписью: «Poppo cancellarius advicem (illius) subnotavi»[98] и др.)

сти от нормального или патологического состояния их организмов, например, между почерками здорового человека и паралитика; пользуясь достаточным количеством графологических данных, можно также делать некоторые общие и не совсем случайные заключения о поле, возрасте и умственных способностях писавшего, пожалуй, судить о его национальности или о том, каково было его общественное положение, был ли он человеком высшего или низшего класса, ученым или писцом и т. п., а, с еще меньшею уверенностью, говорить и о характере того лица, которое писало; ведь в почерке можно разыскивать даже отражение некоторых индивидуальных его особенностей: не вскрывая письма, по одному только адресу, писанному знакомою рукою, легко догадаться, кто его писал, и т. п.*

Для историка такие выводы могли бы, конечно, иметь значение, если бы, принимая их во внимание, он мог, например, делать некоторые заключения о возрасте, настроениях, условиях жизни, манере работать и т. п. разных людей; если бы он мог судить о некоторых различиях в психике народов по различию в манере их письма, или даже о психике какого-нибудь крупного исторического лица по внешнему виду его писаний; но в таких случаях историк должен был бы пользоваться, однако, разными видами технической интерпретации, а также другими методами: типизирующим и индивидуализирующим**.

Впрочем, технический метод интерпретации, рассмотренный выше, по крайней мере в некоторых случаях, не ограничивается эмпирическим изучением материальных свойств данного исторического источника: для понимания источника можно прибегать к искусственному воспроизведению его материальных признаков или даже его содержания, в его связи с данным материальным образом. При истолковании изображающего остатка культуры можно, например, воспроизводить технические приемы его изготовления или способы его употребления: один из современных ученых металлургов построил в своей лаборатории первобытную плавильную печь, при помощи которой он только и мог понять, каким образом человек получал из смешанной руды те сплавы, главным образом, меди и олова, из которых он делал древнейшие бронзовые вещи*. При истолковании обозначающих остатков культуры тот же способ, в сущности, также употребляется: надлежащее понимание свойств чужой речи или письма, в случае нужды, легче усвоить путем их искусственного воспроизведения, например, при изучении нового языка или при разборе чужой рукописи, писанной каким-либо своеобразным почерком.

Итак, можно прийти к заключению, что историк пользуется техническим методом интерпретации материальных свойств изображающих и обозначающих остатков культуры, главным образом, для того, чтобы квалифицировать свою предпосылку о чужой одушевленности, обнаружившейся в данном источнике: при помощи такого метода он стремится научно и возможно более точно определить те объективно-данные признаки, по которым он судит о чужой одушевленности, о свойствах чужой психики, о происшедших в ней переменах и т. п., благодаря чему он и получает возможность представить себе соответствующую данному источнику одушевленность в более квалифицированном виде и контролировать ее понимание.

Впрочем, кроме вышеуказанной роли, можно приписывать технической интерпретации материальных свойств источника и более самостоятельное значение в тех случаях, когда она дает возможность принять гипотезу о некотором психическом характере данного объекта и пойти далее самого общего предположения, что он есть продукт чужой одушевленности. В том случае, например, когда историк имеет дело с непонятным ему предметом или неизвестным ему способом письма, вышеуказанные приемы эмпирической интерпретации нужны для предварительного исследования материальных признаков источника;

* *W. Preyer*, Zur Psychologie des Schreibens. Hamburg und Leipzig, 1895, SS. 1–4, 44 и др. *A. Binet*, Les révélations de l'écriture d'après un contrôle scientifique, Par., 1906, p. 252 и др. Впрочем, не следует упускать из виду, что почерк зависит и от многих других условий, например, от положения тела, руки, кисти и пальцев, обладающих более или менее значительной мускульной силой, часто в зависимости от профессии и от положения орудия письма, а также свойств материала, бумаги и т. п.; кроме того эстетически каллиграфическое чувство, вызывающее желание соблюдать нажимы, делать завитки и т. п., традиция и другие условия также влияют на характер почерка.

** Собрания автографов имеются в различных музеях и библиотеках, например, в музеях: Британском в Лондоне, Германском в Нюренберге, и Румянцевском в Москве, а также в Парижской национальной библиотеке, С.-Петербургской публичной и др. Проф. Дармштедтер недавно подарил крупную коллекцию автографов Берлинской королевской библиотеке (около 10 000 номеров, до 7000 имен ученых начиная с XVI-го века) и т. п.; ср. издания автографов Деларю, Вейгеля, Шлоттмана и др.

* *W. Gowland*, Op. cit., ib., pp. 20–21.

и играют сравнительно большую роль в его понимании; но для того, чтобы разгадать содержание таких источников, историк уже пользуется историческими преданиями и другими методами интерпретации.

В самом деле, вышеуказанная интерпретация остатков культуры сама по себе приводит лишь к приближенным заключениям, и историк придает им несколько бóльшую точность, лишь благодаря историческим преданиям; во многих случаях он даже не в состоянии понять остаток культуры, не обратившись к историческому преданию; и чем важнее остаток культуры, тем более вероятно, что для его понимания историк не может ограничиться вышеуказанным методом. В частности, такая зависимость особенно наглядно обнаруживается при установлении времени возникновения остатка культуры, без которого историк не может придать достаточной историчности и всем остальным своим выводам, добытым путем технической интерпретации материальных его свойств. При помощи последней историк может выяснить только относительную древность или новизну изображающего остатка культуры: он может сказать, что ножи или стрелы из кремня, сделанные путем оббивки, вероятно, древнее туземных и однородных по материалу ножей и стрел, подвергшихся полировке и т. п.; но он не может установить их дату, т. е. то именно время, к которому выделка их относится. Лишь в том случае, когда ученый получает возможность комбинировать вышеназванный метод интерпретации со сведениями, уже почерпаемыми им из исторических преданий, он делает более точные заключения и касательно датировки остатка древности. Историк полагает, например, что первоначально египтяне делали некоторые предметы из золота с довольно значительною естественною примесью серебра, процентов в 20–25 (егип. «asm» и «asem», греч. «ὁ ἤλεκτρος») и что, значит, предметы из «электрона», находимые в Египте и соседних странах, вероятно, древнее собственно золотых вещей; но точнее установить, когда именно такая перемена произошла, он может, разве только принимая во внимание, что в Лидии[99] монеты с такою же примесью, судя по известным ему экземплярам, уступают место собственно золотым монетам в эпоху Креза[100]*; это заключение отчасти основано, однако, уже на преда-

* *M. Berthelot*, Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du moyen âge, Par., 1889; немец. пер. с примеч. F. Sturz'a, Lpz. und Wien, 1909, S. 6; ср. Rev. Scient. 1900, Septembre 8, p. 313.

нии — на тех знаках или надписях, благодаря которым изучаемые монеты можно приурочить к эпохе Креза. Историк искусства таким же образом рассуждает, например, об относительной древности интересующей его картины: если он знает, например, что употребление лака на картинах начинается, положим, со времени Иоанна из Брюгге[101], то и картину, покрытую лаком, он относит к позднейшему времени и т. п. При датировке обозначающих остатков культуры историк еще чаще может пользоваться преданием и в таких случаях, конечно, предпочтительно к нему и обращается: при определении времени, к которому, например, относится греческая надпись, он прежде всего принимает во внимание название эпонима, характерное ее содержание и т. п., если только они имеются и достаточны для датировки, и тогда значение внешних признаков отходит, в его глазах, на второй план; в своих палеографических исследованиях он также по возможности прибегает к преданию, например, при определении возраста бумаги, т. е. времени обращения бумажных знаков (филиграней) или при сравнении недатированной рукописи с датированными и, конечно, пользуется преданием в виде точной даты, выставленной на документе, что, впрочем, еще не предрешает того значения, какое внешние признаки датировки все же могут иметь для исторической критики.

При истолковании «загадочных» остатков культуры историк, разумеется, также обращается к историческим преданиям и, прибегая иногда к весьма сложным гипотезам, пользуется и другими методами интерпретации: при дешифровании египетских иероглифов, например, известные tabulae billingues на Розеттском камне[102] доставили возможность высказать гипотезу о смысле подобного рода начертаний; затем, при помощи новой гипотезы относительно родства коптского языка[103] с древне-египетским, удалось установить значение некоторых элементов египетской речи, что, в свою очередь, доставило возможность выяснить соответствующее значение других ее элементов, и т. д.

Итак, техническая интерпретация материальных свойств остатков культуры часто дает ценные результаты лишь в том случае, если историк может, при их истолковании, пользоваться историческими преданиями; но истолкование последних, в той мере, в какой они отличаются от остатков культуры, на основании соображений, уже приведенных выше, не находится в столь тесной зависимости от их

материального образа: оно достигается преимущественно при помощи других методов интерпретации, частью уже рассмотренных, частью еще подлежащих рассмотрению.

В числе последних можно указать на метод, который также имеет характер технической интерпретации источника, но не ограничивается изучением материальных его свойств: он состоит в истолковании источника с точки зрения того рода творчества, которое обнаружилось в его «стиле» и через посредство которого автор, при помощи более или менее выдержанных и изощренных приемов, подверг стилистической обработке содержание, реализованное в источнике. В таких случаях историк определяет, какого рода творчество, при данных условиях, могло породить данный источник, и, затем, исходя из своей гипотезы, проверяет ее приемлемость, поскольку она пригодна для объяснения самого источника; если гипотеза окажется приемлемой, он может прийти к заключению, что такого-то рода творчество при данных условиях, породило изучаемый продукт — источник, и, значит, получает возможность правильнее понять его содержание. С указанной точки зрения интерпретация источника сводится к тому, что историк, исходя из психологии данного типа творчества и из понятия о соответствующем ему стиле самого произведения, пытается объяснить родовые признаки изучаемого им источника.

Вообще, занимаясь подобного рода интерпретацией, историк, действительно, пользуется понятием о том роде творчества, которое обнаружилось в стиле данного произведения: в связи с «главной идеей» последнего он обращает внимание и на идею о соответствии, какое автор устанавливал между нею и приличными для ее осуществления средствами, а не только на форму произведения; на техническое его назначение, а не только на его содержание; на правила его осуществления, а не только на процесс его реализации; на регулированные способы его выражения, а не только на материальные свойства источника*.

В самом деле, при интерпретации стиля данного произведения, историк имеет в виду, например, кроме общей цели автора, поэтический или прозаический характер его творчества: изучив поэтический или прозаический стиль его продукта, он соответственно интерпретирует источник с точки зрения стилистической обработки его содержания. Вместе с тем историк принимает в расчет и техническое назначение источника, т. е. назначение его стиля, то, для чего такой стиль должен был служить, впечатление, на которое последний был рассчитан, и т. п.: он толкует особенности данного здания, положим, его фасады, смотря по тому, какой из их был построен для декоративных целей; он задается вопросом о том, предназначалась ли данная песня для пения, и, если она пелась, то не сопровождалось ли пение каким-либо инструментом и каким именно, или она сочинялась только для чтения; писалась ли данная драма для представления на сцене или для декламации; составлялась ли данная речь для публичного ее произнесения или только для распространения ее в списках; оказывается ли данная летопись отдельным произведением или объяснительным текстом к каким-либо рисункам, и т. п.

В числе общих принципов стилистической обработки источника историк обращает особенное внимание на симметрию и пропорциональность, на гармонию и ритм: он считается, например, с более или менее установившимися «каноническими пропорциями» дорийского, ионийского или коринфского ордена, соблюденных при постройке какого-нибудь храма; он не пренебрегает напевом, без которого песня, особливо лирическая, теряет «половину своей жизни и цены» и не упускает из виду размера песни, тем более, что некоторые разряды ее имеют свой постоянный размер*; он интересуется напевом, ритмом и рифмой, благодаря которым священное предание, древний обычай и даже закон сохраняются в памяти длинного ряда поколений, или гармонической и ритмической прозой, заметной также в некоторых произведениях позднейшей историографии, и т. п.**

В связи с вышеуказанными понятиями историк выясняет, конечно, и те технические средства, которые послужили автору для того, чтобы выразить свои мысли и вызвать соответствующее настроение в публи-

* *G. Semper*, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, 2 B-de, Frankfurt a. M.-München, 1860–1863; см. Bd. I, S. VII и др. *E. Elster*, Prinzipien der Literaturwissenschaft, Bd. II, SS. 6–8 и др.

* *M. Collignon*, Manuel d'archéologie grecque, nouv. éd., pp. 46 et ss. *А. Потебня*, Разбор народных песен Головацкого; см. XXII Отчет о присуждении Уваровских премий 1880 г., с. 106.

** *G. L. Gomme*, Folklore etc., pp. 84–100. *G. Monod*, Renan, Taine, Michelet, pp. 259–266: о стиле Мишелэ.

кс: какой материал он употребил, в какую форму он его облек, какого рода способами, красками, или звуками, образами и «фигурами» он воспользовался и т. п.; в частности, например, истолкователь обращает внимание на те орнаментальные детали, которые придают известный характер памятнику вещественному, или на те обороты речи, метафоры[104] и метонимии[105], эпитеты[106] и антитезы[107], символы[108] и аллегории[109], а также на многие другие средства разнообразить и усиливать действие человеческой речи, которые применяются в произведениях письменности*; с такой точки зрения он толкует и юридический документ с его специальной терминологией и формулообразным текстом, и исторический рассказ, более или менее уснащенный разными стилистическими фигурами, монологами, речами действующих лиц, драматическими сценами, «похвалами» (elogium) и т. п.

Техническая интерпретация стиля, как видно, применяется к разным видам источников. Таким образом историк интерпретирует, например, памятники вещественные: он исходит из общего понятия о том стиле, какого данный творец придерживался, для понимания некоторых родовых свойств его произведения. В вышеуказанном смысле разумея, положим, термин «дорийский стиль», историк пользуется его элементами для интерпретации памятников архитектуры, возникших в разных местах и в разное время. В случаях подобного рода он исходит из следующего общего положения: если творец действительно избрал дорийский стиль для осуществления своей идеи, то он «должен был» придать ей и соответствующую форму, с точки зрения которой известные ее оттенки становятся понятны; строя задуманное им здание в дорийском стиле, он «должен был» придерживаться известных правил, естественно связанных с той именно архитектурною идеей, которая его характеризует, «должен был» украсить его хотя бы известными дорийскими колоннами, с такой точки зрения вполне «понятными», например, в храме Нептуна в Пестуме, но «непонятными», если бы они украшали парижский дворец Тюльери, вместо известных «французских колонн» и т. п. В аналогичном смысле историк может, конечно, толковать и памятники письменности: исходя из положения, что в зависимости от того, в каком литературном стиле данное сочинение написано, и содержание его получает ту, а не иную окраску, он объясняет себе особенности данного ис-

* См. выше с. 457 <Т. 2. С. 106–107> прим.

точника. При истолковании, например, произведений ораторского искусства историк должен иметь в виду, что для «возбуждения» соответствующего его цели и нужного ему в данном случае мнения или решения оратор стремится вызвать доверие и подходящее настроение в слушателях, подействовать на их страсти, придать своей речи характер убедительности и т. п.; что он хочет не только знать все нужное для его цели, но и сказать его так, как следует; что он подыскивает «способы убеждения», употребляет те, а не иные выражения и интонации, способствующие тому, чтобы речь произвела желательное для него впечатление на тех именно слушателей, к которым он обращается; что он заботится о правильном построении своей речи, т. е. о расположении ее частей, и т. п.* С такой точки зрения историк толкует, положим, какую-нибудь речь Демосфена[110] или историческое произведение, написанное согласно с правилами ораторского искусства, например, историю Тита Ливия[111], и т. п.

Следует заметить, что техническая интерпретация стиля источника приводить к лучшему пониманию не только остатков культуры, но и исторических преданий: пользуясь таким методом, историк замечает, что автор различно изображает один и тот же факт, смотря по тому, сообщает ли он о нем в форме научного сочинения или в виде поэтического произведения, эпического, драматического или лирического, в виде ораторской речи, сатиры, аллегории и т. п.; что в каждом из таких случаев он подбирает выражения, подходящие для данной формы и соответствующим образом обусловливающие ее содержание. Историк приходит к заключению, например, что, в зависимости от данного рода творчества и литературной формы, личность Сократа[112] и его мнения представляются в философском диалоге иначе, чем в комедии: Платон изображает Сократа в виде философа, руководящего философским диспутом и разрешающего споры в том смысле, в каком то было желательно самому автору; Аристофан[113], задаваясь, положим, целью развеселить своих слушателей, напротив, представляет Сократа в комическом виде.

Впрочем, при технической интерпретации стиля источника можно прибегать и к искусственному воспроизведению стилистических приемов данного произведения: для того, чтобы лучше понять

* *Аристотель*, Риторика, кн. II, гл. 1 и 10; кн. III, гл. 1 и 12 и др.; рус. пер. Н. Платоновой, СПб., 1894 г.

его содержание, естественно стремиться испытать соответствующий род творчества, искусственно воспроизводя источник, согласно с теми именно правилами его реализации, какие соблюдались его автором. С такой точки зрения лишь тот, кто сам несколько испытывал соответствующий род творчества или сам знаком, по крайней мере, с соответствующей техникой, может, подобно артисту, воспроизводить, а не только представлять себе содержание данного произведения. В воспроизведении подобного рода собственно метод технической интерпретации стиля уже отступает, однако, на задний план: чем оригинальнее произведение, тем труднее оно поддается воспроизведению во всей полноте характерных его черт и тем более оно отличается от простого подражания ему, а, значит, тем менее допускает применение к нему вышеуказанного приема*.

Техническая интерпретация стиля источника не исключает, конечно, технической интерпретации его материальных свойств; напротив, она комбинируется с последнею и находится в некоторой зависимости от нее, а именно в той мере, в какой стиль зависит от материала и техники. При истолковании памятников вещественных такая связь часто обнаруживается: изучая, например, стиль древнегреческого храма, можно объяснять его элементы тем, что он возник из деревянной постройки, послужившей его прототипом, или выводить их из свойств собственно каменных сооружений, что, однако, вызывает некоторые возражения**; но и при истолковании памятника письменности можно иногда наблюдать соотношение подобного же рода: в некоторых случаях, например, при известной впечатлительности пишущего, стиль его речи может находиться под влиянием качества или формата бумаги, техники письма, скорописи или стенографирования и т. п., что уже было удостоверено некоторыми писателями путем самонаблюдения***. Впрочем, и техническая

* Ср.: *Th. Lipps*, Ästhetik, Hamb. u Lpz., T. 1, 1903, SS. 110, 127 и др.

** *M. Collignon*, Op. cit., pp. 45–46. Легко заметить, например, такую зависимость и в древнейших продуктах ткацкого искусства, строго соответствующих особенностям сырого материала относительно формы и окраски, и т. п., о чем см. *G. Semper*, Op. cit., B. I, SS. 9–12, 95–97 и вообще отдел: «Von dem Stil als bedungen durch die Rohstoffe» und «durch die Bearbeitung der Stoffe» — SS. 97–209 и др.

*** *H. Swoboda*, Op. cit., ib., S. 252: «Ich habe gefunden dass das Papierformat, dessen ich mich beim Schreiben bediene, einen Einfluss auf meine Satzbildung ausübt; desgleichen der Umstand ob ich kurrent schreibe oder stenographiere»[114].

интерпретация стиля источника, в свою очередь, может обусловливать техническую интерпретацию его материальных средств в той мере, в какой принятие известного стиля влияет на подбор технических средств, примеры чему уже были приведены выше.

Технический метод интерпретации источника вообще, а в частности и его стиля, легко переходит, однако, в еще более сложные методы истолкования*: ведь понятие о стиле в качестве отвлеченного вида творчества, стоящего в связи со способами его обнаружения, само по себе еще слишком обще, и гораздо более применяется в эстетике, чем в собственно исторической интерпретации; для того, чтобы с достаточным основанием пользоваться им, историк нуждается в более частном его понимании: он преимущественно интересуется стилем известного места и времени, характеризующем данную культуру, или индивидуальным стилем данного автора. Вообще, приступая к интерпретации исторического источника с одной из таких точек зрения, историк уже комбинирует техническую интерпретацию с методами типизирующего или индивидуализирующего истолкования исторического источника.

§ 4. Типизирующий, систематический и эволюционный метод интерпретации исторических источников

Ввиду сложного характера исторических источников, при интерпретации их, нельзя довольствоваться одним из вышеуказанных методов: обыкновенно комбинируя психологический метод с техническим, историк пытается, при помощи типизирующего метода интерпретации, придать толкованию источника более исторический характер: он исходит из понятия о том культурном типе, к которому источник относится, и сообразно с ним понимает его содержание. Впрочем, объем понятия о той культуре, к которой данный источник относится, может быть, конечно, весьма различным: смотря по цели своего исследования, историк расширяет его или ограничивается совокупностью ближайших фактов, источников и т. п., соответственно изменяя и приемы подобного рода интерпретации.

* См. выше сс. 454–456 <Т. 2. С. 103–106> о значении преданий для истолкования остатков культуры.

Вообще, исходя в таких случаях из понятия о данной культуре, можно, по аналогии с нею, толковать источник или подводить под нее источник, для того, чтобы объяснить свойства последнего, как представляющего ее экземпляра, что и дает возможность понять типические его признаки: с такой точки зрения историк пользуется, например, известиями о современных дикарях для того, чтобы интерпретировать, положим, некоторые из древних греческих сказаний, или принимает во внимание признаки, характеризующие продукты разнообразных очагов или слоев греческой культуры для того, чтобы понять источник, соответственно относящийся к одному из них.

Понятие о той культуре, к которой источник относится, получает, однако, различные значения, смотря по тому, представлять ли ее себе в виде некоей системы ее элементов или в виде некоей стадии ее эволюции, т. е. принимать ли во внимание «состояние культуры» или «период культуры» для истолкования источника; значит, можно различать и два вида типизирующей интерпретации источника: систематическую и эволюционную. В том случае, например, когда историк изучает язык данного источника, он может найти ключ к правильному пониманию некоторых его выражений или в диалектологических особенностях языка той области, страны, местности и т. п., в которой источник написан; или в особенностях языка того более или менее продолжительного периода времени, когда источник написан.

Систематический метод интерпретации исторического источника состоит в понимании его с точки зрения его отношения к данному состоянию культуры: пользуясь этим методом интерпретации, историк стремится, однако, в отличие от вышеуказанных, выяснить не только общие особенности источника, но и те, которые характерны для данной местности, национальности, слоя общества, кружка или школы и т. п.

В исследованиях подобного рода систематический метод употребляется в довольно различных смыслах: в более широком, типологическом, или в более узком, культурно-историческом.

В самом деле, историк может пользоваться каким-либо общим типом культурного состояния, с которым изучаемый источник не находится в реальной связи, для его интерпретации. С точки зрения общего понятия о феодализме исследователь русских древностей толкует, например, источники, относящиеся к удельной Руси,

и, в частности, по аналогии с западно-европейским иммунитетом, выясняет многие черты старинных наших жалованных грамот и других известий*.

Систематически интерпретация источника не может, однако, ограничиться выяснением данного источника с одной только типологической точки зрения: она принимает во внимание реальную связь его с той средой, в которой он возник, и с такой точки зрения подвергает его интерпретации, тем более нужной, чем сложнее источник, интересующий историка. В самом деле, зная, например, пропорции, которые обыкновенно соблюдались при постройке древнегреческого храма, положим, ионийского стиля, историк соответственно толкует изучаемый им источник того же типа; пользуясь правилами древнегреческой грамматики или стихосложения, он объясняет то, а не иное словоупотребление в данном произведении литературы и т. п. Такие случаи часто бывают, когда историк обращается к систематическому методу интерпретации для реконструкции источника: исходя, например, из гипотезы о симметричности частей, соблюдаемой древнегреческими художниками при расположении фигур на фронтонах храмов, и в частности о «схематическом их соответствии», он пытается построить сцены, представленные на фронтонах «так называемого» храма Афины на острове Эгине; или, исходя из правил стихосложения, он восстанавливает искаженный стих данного поэтического произведения, например, одного из стихов комедии, приписываемой Менандру[115] и сохранившейся в «Порфириевских отрывках»[116], и т. п.** Аналогичное правило давно уже было высказано и относительно истолкования частных актов: полагая, что условия, которые относятся к нравам и обычаям, часто молчаливо подразумеваются в договорах, истолкователь, на основании местных нравов и обычаев, считает возможным дополнять писанный текст соответствующими им условиями; впрочем, он принимает во внимание, в случае нужды, и те из них, которые признаются известным слоем

---

* *Н. Павлов-Сильванский*, Феодализм в древней Руси, СПб., 1907 г., сс. 80 и сл.; ср. *его же*: Иммунитет в удельной Руси, СПб., 1900 г.

** *K. Lange*, Die Composition der Aegineten; см. Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Phil. Hist. Cl., 1878, Bd. XXX (1878), II Abt. SS. 1–95. *В. Мальмберг*, Древне-греческие фронтонные композиции в Зап. Клас, отд. Арх. Общ. СПб., т. I, 1904 г., сс. 135–191, 458. *В. Ернштедт*, Порфириевские отрывки из Аттической комедии, СПб., 1891 г., с. 48.

общества или социальною группой выходящими за пределы данной местности, например, духовенством или купечеством и т. п. при заключении толкуемой сделки*. Такое же замечание можно сделать и относительно другого рода источников, например, истории Тацита: заставляя героев своих говорить сочиненные им речи, он следовал литературным приемам своего времени и имел в виду потребности своих читателей: они придавали большое значение красноречию и привыкли выслушивать речи в сенате и даже на поле брани; при чтении истории без речей они чувствовали бы, что в ней чего-то недостает и не могли бы удовлетвориться ею: она казалась бы им менее правдоподобной, чем история с речами**.

Вообще, лишь с точки зрения той реальной зависимости, в какой данный источник находится от среды или культуры, в которой он возник, можно иногда истолковывать некоторые из составных его элементов. Положим, например, что историк изучает один из распространенных сюжетов средневековых миниатюр: искушение Адама и Евы. Если историк обратит внимание на тот вид, в каком древо познания добра и зла изображается на таких миниатюрах, он заметит, что последний меняется в зависимости от климата и местности, а, значит, и обусловленной ими культуры; следовательно, по виду дерева, представленного на миниатюре, он будет в состоянии судить, хотя бы приблизительно, о той среде, в которой изучаемый тип мог возникнуть. В Греции, например, художники в таких случаях, изображали обыкновенно фиговое дерево, отличающееся здесь сладостью и другими качествами своих плодов; на итальянских миниатюрах с аналогичным сюжетом можно встретить изображения фигового или померанцевого дерева; в «Зеркале человеческого спасения» — латинском манускрипте, исполненном в Италии в XIV веке, древо познания представлено в виде фигового дерева, а в итальянской Библии, миниатюры которой относятся к следующему столетию, — в виде померанца; в Бургундии и Шампани, где фиговое дерево дает плоды, лишенные приятного вкуса, а померанца не знают, художники взя-

* L. 31 § 20 D. 21, 1: «In contractibus tacite veniunt ea quae sunt moris et consuetudinis»[117]; тот же принцип принимается и во многих современных законодательствах; см. *E. Danz*, Die Auslegung der Rechtsgesehäfte, 2-te Aufl., SS. IV, V, 33, 93–111,178–186. *J. Gauguier*, Op. cit., p. 141.

** *G. Boissier*, Op. cit., pp. 88–91.

мен их, в некоторых случаях, уже изображают виноград, а еще далее — в Нормандии, где нет и винограда, он заменяется яблоней; наконец, в Пикардии, по-видимому, в подобных же случаях не пренебрегали и вишней. Таким образом, на основании вышеприведенных фактов (если только они, действительно, таковы) историк может делать некоторые предположения о месторождении источника в его зависимости от той, а не иной культуры и соответственно интерпретировать аналогичный сюжет, происхождение которого он еще не знает. Само собою разумеется, что историк пользуется аналогичным приемом и применительно к истолкованию другого рода источников, в частности, к сказаниям, сходным между собою по сюжету и возникшим или независимо, или в зависимости друг от друга: сюжет «Золушки», например, передается в сказках разных народов, но с подробностями, которые, надо думать, отчасти находятся в соответствии с условиями данной культуры: в древне-египетских, каффирских и сантальских (Santhal) версиях, мотив «башмака» не встречается; здесь он заменяется, в качестве приметы, прядью волос, и, наоборот, играет большую роль во всем нам знакомой версии*. Вообще, лишь принимая во внимание данное состояние культуры и ее специфические особенности, можно правильно понять и то произведение, которое возникло в ней; исходя, например, из понятия о «классическом духе» («l'esprit classique»), можно истолковать то или другое произведение французской «классической» литературы, его характер, его оттенки, его намеки и т. п.**

В тех случаях, когда историк не в состоянии понять источник с точки зрения той культуры, в которой он находит его, он стремится подыскать ту именно культуру, в реальной связи с которой данные особенности источника объясняются. На заглавном листе старинной книги, ходившей у нас в XVIII веке, например, мы читаем: «Похождение нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута Совестдрала»; оно становится понятным, если обратить внимание

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, Kap. III, § 3, SS. 315–323 (библиографические указания). *R. Kötzschke*, Quellen und Grundbegriffe der historischen Geographie Deutschlands und seiner Nachbarländer в Grundriss A. Meister'a, Bd. I, Lief. 2, SS. 396 ff. Ср. еще ниже Отд. II.

** *A. Lang*, Cinderella and the diffusion of tales, см. Folk-Lore, v. IV (1893), pp. 414, 420 ssq., 423. *H. Taine*, Les Origines de la France contemporaine, t. I (1887), pp. 240–265.

на то, что эта повесть переведена с польской книги, в свою очередь представлявшей не что иное, как перевод немецкой народной книги: «Eulenspiegel»; немецкое «Eulenspiegel» превратилось в польское «Сови-зрцадло» («совиное зеркало»), откуда и получилось русское искаженное «Совестдрал», лишь с такой точки зрения и получающее смысл; текст, за исключением некоторых дополнений, также оказывается во всем сходным с тою же немецкой народной книгой*.

Впрочем, выяснение технических признаков источника, преимущественно с точки зрения реального его отношения к данному состоянию культуры, производится не без помощи целого ряда более частных исследований: историк стремится, например, возможно точнее определить место возникновения источника, по которому ему уже легко судить и о принадлежности его к той, а не иной культуре; он также изучает те разнообразные условия культуры, под влиянием которой источник возник, и пользуется ими для его истолкования; наконец, он принимает в расчет и то отношение, которое общество обнаружило к данному источнику, так как суждения о нем современников вскрывают иногда черты в источнике, важные для его понимания, но легко ускользавшее от внимания позднейшего исследователя.

В самом деле, место возникновения или место нахождения источника уже может указать на то направление, в каком следует выяснять его значение. Если, например, историк знает, что известные фрески с изображением каких-то процессий, найдены на месте древнего Кносса[118], т. е. на перепутье между древним востоком и классическим миром, он уже получает тем самым и отправную точку зрения для их интерпретации, сравнивает найденные изображения хотя бы с аналогичными фигурами вельмож страны Кефта на египетским памятниках и т. п.; зная происхождение материала папирусов и местонахождение их, положим в Фаюме или Оксиринхе[119], историк уже подходит к их интерпретации с точки зрения той культуры, в которой элементы восточной цивилизации переплетались с элементами греко-римского быта и права, и т. п.

В зависимости от того места, какое источник занимает в целом, хотя бы оно ограничивалось довольно узкими пределами, можно придавать ему различный смысл. С такой точки зрения историк принимает во внимание местонахождение остатка культуры: он припи-

* См. с. 467, прим. 1. *В. Буслаев,* Лекции; см. Стар. и Нов., т. XII, сс. 288 и сл.

сывает иное значение, например, бусе из янтаря, найденной в местности, где этот минерал встречается в изобилии, положим, между Данцигом и Мемелем, чем такой же бусе, попавшей в какую-либо могилу Приднепровского края или Кавказа, вероятно, в качестве привозной редкости; в других случаях, зная, положим, что изучаемая им монета найдена в могиле, он может с большею вероятностью принять ее за украшение, чем монету, найденную вместе с другими, в горшке; он интересуется также тем, в каком месте могилы монета была найдена — подле челюстей данного костяка; или подле его лобной и темянной костей, шейных позвонков, ключицы, лопатки; или подле его подвздошной кости, бедра и т. п. и, смотря по месту находки, различно толкует ее значение: или в смысле религиозного символа (ср. обол[120], ὀβολός в качестве провозной платы, ναῦλον[121], κατιστήριον[122], δανάκη[123] для Харона); или в смысле украшения; или в смысле орудия мены и т. п.; при исследовании документальных остатков культуры он также вставляет источник в соответствующие условия местного быта, в то, а не иное делопроизводство и т. п., и, исходя из понятия о них, интерпретирует содержание документа; он изучает, например, какой-нибудь частный акт в связи с тем судебным делом, из которого юридическое его значение выясняется. В том же духе историк толкует и историческое предание: он связывает его с тем местом, в каком оно возникло, какое оно занимает в данном сборнике, и т. п.; он получает возможность, например, лучше понять средневековую немецкую хронику, если определить, принадлежит ли она к числу саксонских, или франконских, или швабских, или баварских, или лотарингских летописей; в частности, он придает различное значение летописным текстам, положим, в одном из позднейших сборников рейхенауских летописей[124], смотря по тому, в какой части его они оказываются, и т. п.

Само собою разумеется, что нельзя успешно пользоваться вышеуказанным методом систематической интерпретации, т. е. по возможности, точно установить место возникновения или по крайней мере место нахождения источника, без помощи исторической географии и исторической топографии*. В том случае, когда при нахождении вещественного остатка культуры, положим, какой-либо вещи в данной могиле или какого-либо памятника письменности в данном

* См. выше с. 467 <Т. 2. С. 114–115>, прим. 1.

фонде, деле или сборнике место его нахождения точно отмечается, задача уже отчасти решена; но в тех случаях, когда столь нужной предосторожности своевременно не было принято, приходится разыскивать место нахождения изучаемого предмета; исторические предания еще чаще остатков культуры нуждаются в таком же определении. В случаях подобного рода место возникновения источника устанавливается по разным косвенным признакам, например: по материалу, особенностям техники изучаемого памятника и т. п.; по языку и палеографическим признакам; по стилю; по формам делопроизводства той канцелярии, из которой данный источник вышел или по литературным приемам и т. п.; наконец, по упоминаемым в данном источнике географическим названиям известной местности, именам лиц, в то время живших в ее пределах, и проч.

Во многих случаях знание фактов, уже предварительно добытое путем изучения других источников, также служит для интерпретации данного источника: такие факты могут иметь отношение к его генезису или становится известными и через его посредство, например, в тех случаях, когда сведения о факте, который уже отчасти знаком на основании других, предварительно изученных источников, почерпаются и из данного источника. Следует иметь в виду, что в обоих вышеуказанных случаях, факты, знание которых оказывается пригодным для интерпретации данного источника, могут быть и не вполне однородными с теми, о которых историк узнает из данного источника, а только сходными или связанными с ними; тогда сравнительное изучение фактов, уже известных, с теми, о которых историк узнает из изучаемого им источника, тоже становится средством для его понимания. В некоторых случаях содержание источника получает достаточно вразумительный смысл лишь после такого сопоставления; историк прибегает к нему, например, при чтении первой главы аннал Тацита: без некоторого знакомства с переменами, происшедшими в римском государственном строе того времени, он едва ли может правильно истолковать ее содержание*.

Систематическая интерпретация получает особого рода оттенок в тех случаях, когда истолкователь исходит скорее из состояний сознания того общества, к культуре которого он относит данный источник, чем из «фактов»; он принимает во внимание, например, идеи о справедливости, об «общем интересе» или об «общей пользе» в том

* Ср. еще: *D. Fustel de Coulanges*, Recherches etc. 2 éd., pp. 190, 248, 249, 315.

общепризнанном смысле, в каком данная социальная группа понимала их. С такой точки зрения историк интерпретирует, например, юридически акт, укреплявший сделку между двумя из ее членов, если общая воля их недостаточно ясно проявилась в нем*; в аналогичном смысле он принимает во внимание и более узкие интересы данной социальной группы, положим, клерикально-партикуляристические интересы некоторых итальянских, швабских, саксонских летописцев для истолкования их известий об императоре Генрихе IV и т. п.

Следует заметить, наконец, что и то отношение, какое данная общественная группа обнаружила к источнику, может служить для его истолкования: с такой точки зрения историк интересуется тем, как современники понимали данный источник, что именно они ценили в нем и т. п. При изучении Илиады и Одиссеи[125], например, он, конечно, изучает сопровождающие их схолии хотя бы они были и несколько позднейшего происхождения, при толковании творения Тита Ливия он пользуется теми отзывами, которые Тацит высказал о его характере, и т. п.**

Само собою разумеется, что вышеуказанные положения можно применять и к интерпретации отдельных частей источника, например, отдельных слов памятника письменности, даже такого, в котором они должны были бы употребляться в возможно более общепризнанном смысле. Правильное истолкование, положим, частного акта зависит иногда от знания диалектологических особенностей и местного значения тех слов, которые употреблены в нем; правило подобного рода применяется и в современном учении о юридической интерпретации частных актов, в особенности духовных завещаний, а также тех обоюдосторонних сделок, контрагенты которых принадлежат к одной и той же местности. Слово «masure» в нормандском акте, например, употребляется в таком значении, какое оно не имеет в общепризнанном литературном языке французов: оно может означать деревенское жилище, «окруженное двором, засаженным фруктовыми деревьями», а не обветшалую постройку, готовую развалиться,

* *G. Dereux*, De L'interprétation des actes juridiques privés, Par. 1905, pp. 6, 13–14, 17, 358 et ss., 450, 466–482. Иеринг, казалось бы, должен был развить такой взгляд, но он придерживается скорее традиционной точки зрения; см. ib., pp. 376–377. Впрочем, и Салейль и Дерэ едва ли достаточно различают абсолютную ценность таких идей от той общепризнанной их ценности, которая принимается во внимание в систематической интерпретации.

** *G. Boissier*, Op. cit., pp. 130–131. Ср. *D. Fustel de Coulanges*, Op. cit., pp. 295–307.

или «то, что осталось от развалившейся постройки». Слово «рубль» в новгородских летописях и других памятниках обозначает ценность, вдвое превосходящую ту, которая под тем же названием известна в московских источниках, и т. п.

Вместе с тем нельзя не заметить, что, в зависимости от данного круга понятий и отношений, слова источника могут получить иногда особое техническое значение, понятое лишь в такой именно связи: вопреки обычному словоупотреблению, термин «fruit» (ср. лат. «fructus»), например, в современном французском праве может обозначать и естественные продукты почвы, и наемную плату, и прибыль с капитала; выражения: «posterité» или «descendants», напротив, не применяются для обозначения незаконнорожденных детей; слова «князь» и «княгиня» в русских свадебных обрядах часто употребляются для обозначения жениха и невесты и т. п.*

Впрочем, историк пользуется тем же методом систематической интерпретации в еще более ограниченном смысле, в тех случаях, например, когда он принимает во внимание не более или менее цельное состояние культуры, а, собственно говоря, только другие источники, в их отношении к данным. Историк интерпретирует некоторые роды источников при помощи других, хотя бы они и не были реально связаны между собою: данные «праязыка» индоевропейцев, например, он может толковать, принимая во внимание другие остатки культуры или первобытных, или даже современных «дикарей»**. В большинстве случаев, однако, историк пользуется для такой цели источниками, более или менее реально связанными между собою общностью культуры: он стремится понять, например, «немые» остатки культуры при помощи исторических преданий или обратно и т. п. Вообразим, что историку попалось украшение в виде змеи, кусающей себе хвост; лишь принимая во внимание известия (тексты) о космогонии Египта, Халдеи, Греции и Индии, по которым земля представляется окруженной океаном или небесною рекою, окружное течение которой сравнивается со змеею, он может высказать догадку, что под вышеназванным украшением надо разуметь символ вселенной***; или, положим, что он на основании анализа данной монеты узнал,

* *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 114–119. *П. Рыбников*, Песни, ч. III, сс. 347, 377 и др.

** *O. Schrader*, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3 Aufl. SS. 209 ff.

*** *Goblet d'Alviella*, Op. cit., p. 121.

сколько в ней примеси; но отсюда он еще ничего не может заключить о том, какова была ее нарицательная стоимость: для того, чтобы судить, в какой мере монета была фальсифицирована, ему нужно знать, почем она условно ходила, т. е. обратиться к ее легенде, к исследованию известий о ценах золота и серебра, к изучению современных указов и распоряжений, установивших принудительный курс монеты по нарицательной ее стоимости, к переписке, или мемуарам о таких переменах и т. п.* Нередко исследователь понимает и данные исторического предания при помощи соответствующих остатков культуры; он сопоставляет, например, известия новгородских летописей об отношениях между Новгородом и князьями с подлинными договорами Новгорода с теми же князьями, или рассказ Оттона Фрейзингенского[126] о Вормском конкордате[127] с соответствующим актом конкордата, благодаря чему лучше понимает самые документы, и т. п. В других случаях историк может ограничиться одним родом источников: имея в виду, например, закон, он толкует темные выражения написанного согласно с ним акта; принимая во внимание, положим, влияние римского права после появления «Constitutio Antonina»[128] на составление греческих частно-правовых документов в Египте, он с такой точки зрения может понять и ту стипуляционную клаузулу[129], которая встречается в них, даже в тех актах, где она совершенно неуместна, например, в духовных и т. п. Вообще, историк гораздо лучше понимает и произведения литературы (в широком смысле), принадлежащие к данной культуре, если рассматривает их в отношении друг к другу: замечая, например, «высокий» стиль трагедии Эсхила, оды Пиндара и речи Фемистокла, или возвышенный и изящный стиль произведений Софокла, Лизия и Фукидида, или несколько изнеженный стиль Эврипида, Исократа и Ксенофонта и т. п., он пользуется некоторыми общими данному стилю признаками для интерпретации каждого из соответствующих ему произведении одного и того же состояния культуры**.

* *F. Riedel*, Der Brandenburgisch-Preussische Staatshaushalt in den beiden letzten Jahrunderten, Berl., 1866, SS. 82–91: история порчи монеты при Фридрихе II в 1755–63 гг. и др.

** *L. Mitteis*, Reichsrecht, Lpz. 1891, S. 485 ff. *A. Boeckh*, Encyklopaedie, SS. 137–138. В частности источники, взаимно дополняющие друг друга, разумеется, толкуются в связи друг с другом: ответ часто нельзя понять без вопроса, критику — без того мнения, относительно которого она была высказана, и т. п.

Систематический метод интерпретации комбинируется с анализом источника в тех случаях, когда историк пытается понять его с точки зрения того отношения, в каком части его находились к данной группе источников. В самом деле, часто исходя, по предварительному изучению материала, из понятия о некоем идеальном или репрезентативном типе целой группы источников, историк отмечает, какие из элементов данного источника соответствуют этому типу, какие уклоняются от него и т. п.; разложив, таким образом, источник на составные его элементы, он получает возможность яснее истолковать его значение; впрочем, он придерживается типизирующего метода интерпретации лишь в той мере, в какой он выясняет значение тех элементов источника, которые оказываются общими целой группе источников. Положим, что историк уже имеет понятие о некоем типе источников Q и усматривает в нем наличность элементов *ABC*; если он встретит источник Q_n и, судя по некоторым его признакам, заметит, что он может подвести его под Q, он стремится, путем аналитической интерпретации Q_n, определить точное отношение его к Q, и устанавливает, например, что Q_n состоит из элементов, которые близки к *AB*, частью представляют уклонение от Q, в элементе *C*; тогда он имеет возможность представить себе сочетание элементов Q_n, положим, в виде abc_n, благодаря чему и достигает более совершенной интерпретации источника Q_n в его составных элементах. Несколько лет тому назад один из известных фольклористов применил указанный метод к изучению переживающего в Англии обычая однажды в год разводить огонь на домашнем своем очаге, заимствуя его из «огня сельского» (village fire), с совершением известных обрядов*.

В том случае, если Q (в вышепринятом его значении) оказываются более или менее общепризнанной нормой, историк получает возможность исходить из готового типа, элементы которого уже более или менее установились благодаря традиции или закону, для толкования Q_n; при рассмотрении отдельного экземпляра такого вида, он, значит, уже предполагает некоторую реальную зависимость его от той нормы или от того формуляра, с точки зрения которого он и подвергает анализу данный экземпляр, положим Q_n. Метод подобного рода часто применяется к изучению актов, толкуемых путем анализа клаузуального их состава, и может привести к различению нескольких местных типов: при просмотре старинных наших служилых кабал XVI–XVII вв.[130], например, легко заметить, что до 1680-го года они писались по одному типу, но с местными отличиями; следовательно, лишь принимая во внимание ту именно подгруппу, к которой данная служилая кабала относится, положим, рязанскую, московскую, новгородскую или псковскую, можно квалифицировать состав данной служилой кабалы и таким образом. разложив ее на клаузулы, подойти к надлежащему пониманию местных особенностей текста*.

Аналогичный метод систематически-аналитической интерпретации употребляется и для понимания произведений литературы, композиция которых должна была сообразовываться с известными правилами. Средневековое житие обыкновенно писалось, например, по определенному шаблону; при изображении жизни какого-нибудь святого епископа принято было, положим, рассказывать о том, как он не желал вступить в высокое звание архипастыря; как он проливал слезы умиления при совершении молитв и таинства евхаристии[131]; как он отличался аскетическими подвигами при жизни и чудесами по смерти, и т. п. Даже исторические сочинения писались согласно с требованиями «ораторского искусства» и с такой точки зрения могут быть подвергнуты разложению на общие им части и элементы, что и облегчает их понимание: произведения историков классической древности, да и позднейшего времени, например, обыкновенно содержали «общие места», риторические украшения, монологи, речи, «отступления» и т. п., которые современный историк не может не принимать в расчет при интерпретации данного источника в составных его элементах**. Впрочем, источники подобного рода отличаются, конечно, гораздо более индивидуальным характером и, значит,

* *G. L. Gomme*, On the method of determining the value of Folklore as Ethnological Data; см. Report of the Brit. Soc. for Advanc. of Science. 1896, pp. 626–657; автор насчитывает здесь до 19 элементов: 9 — основных (radicals) и 10 позднейших; в разных местностях они, конечно, не все встречаются. Сам автор дал краткую характеристику своего метода в Folklore as an historical science, pp. 167–168; я воспроизвожу его не без некоторых изменений и, по возможности, не вдаваясь в изложение технических его приемов.

* *А. Лаппо-Данилевский*, Служилые кабалы позднейшего типа в «Сборнике статей, посвященных В. О. Ключевскому» М., 1909 г., сс. 719 и сл.

** Ср. выше сс. 19–21 <Т. 1. С. 100–102>.

менее поддаются типизирующей интерпретации их состава; в таких случаях она сменяется индивидуализирующей интерпретацией и еще чаще, чем в предшествующих, переходит в критику их состава; последняя, в свою очередь, обусловливает более правильное понимание их текста в зависимости от того, представляется ли данная его часть подлинной или неподлинной, из какого источника она, в последнем случае, заимствована, и т. п.*

Систематический метод интерпретации, как видно, имеет большое значение для выяснения тех элементов источника, которые оказываются у него общими с данным состоянием культуры; но он еще не дает понимания тех его особенностей, которые объясняются преимущественно условиями времени, а не места: с такой точки зрения гораздо важнее — метод эволюционной интерпретации исторических источников.

Эволюционный метод интерпретации исторического источника состоит в понимании его с точки зрения его отношения к данному периоду культуры.

Вообще, известный тип эволюции может служить для истолкования какого-либо звена реально-данного развития: если ученый имеет основание подвести под такой тип интересующий его процесс, он может пользоваться типическими признаками, характеризующими звено типической эволюции, для того, чтобы, исходя из понятия о них, толковать сравниваемое с ним звено реально-данного развития. С точки зрения общей эволюции формы изучаемого орудия, положим, меча или плуга, историк интерпретирует типические особенности конкретно данного предмета, например, датского меча «бронзового века» или древне-египетского плуга, не утратившего сходства с мотыкой**; или исходя из понятия об эволюции данного литературного рода, положим, драмы, он выясняет типические особенности данной ложноклассической трагедии, хотя бы, например, «Софонизбы» Триссино[132], и т. п.

Без такой интерпретации источника с точки зрения типа той эволюции, в которой он, по родовым своим признакам, может занимать соответствующее положение, смысл его, во многих случаях, остается неясным или непонятным: можно придавать разное значение источ-

* См. ниже гл. V, § 2.

** *Э. Тайлор*, Антропология (рус. пер.), сс. 189, 215.

нику, смотря по тому периоду времени, к которому он относится и в соответствии с которым он подвергается истолкованию.

В зависимости от того периода культуры, к которому, например, данный идол причисляется, можно признавать его или фетишем[133], который содержит божественное и вместе с тем оказывается его изображением, или одним только символическим его изображением и т. п.* Смысл некоторых стилизованных украшений или символов также часто выясняется лишь благодаря подобного рода истолкованию. Многие из них возникли, по-видимому, путем некоторой стилизации реальных растительных или животных сюжетов, постепенно приобретавших условные формы; последние становятся понятными лишь с точки зрения эволюционной интерпретации. Изображение цветов лотоса с листьями (Nymphaea lotus), которому египтяне придавали религиозное значение в связи с культом солнца и верою в загробную жизнь, встречается, например, на вазах мемфисской некрополи четвертой-пятой династии[134]; здесь оно носит еще вполне реальный отпечаток, хотя уже несколько стилизовано; на предметах фивского некрополя[135] тот же сюжет сочетается попарно: изображения лотоса симметрически приставлены друг к другу, одно цветком вверх, другое цветком вниз, причем стебель каждого из членов такой пары представляет завиток, со вставленною в него розеткообразной верхушкой лотосовой коробочки, лицом к зрителю; описанная комбинация дает спиралевидный орнамент, в котором то же реальное содержание (цветок лотоса) продолжает преобладать; но на милосских вазах стилизация его пошла еще дальше: цветок лотоса уже теряет свое реальное значение; он изображается в условном виде сверху и снизу четырьмя запятообразными знаками, а спиралевидный орнамент получает гораздо более заметное развитие**. Таким образом, лишь благодаря вышеуказанной эволюционной интерпретации орнамент милосских ваз, да и многие другие аналогичные с ним мотивы античного декоративного искусства становятся понятными. Впрочем, интерпретация подобного рода не всегда исходит из фитоморфических или зооморфических представлений; но и в других случаях она придержи-

* *P. D. Chantepie de la Saussaye*, Op. cit., Bd. I, SS. 54, 62, 64.

** *A. Haddon*, Evolution in art as illustrated by the life-histories of designs, Ld., 1895, pp. 133–139; много других примеров — там же.

вается той же эволюционной точки зрения, например, при объяснении превращения «ключа жизни» в хризму[136] и т. п. Эволюционный метод интерпретации применяется, конечно, и к изучению «исторических преданий». Известное предание о Персее[137], например, было истолковано с такой точки зрения: автор новейшего исследования о нем исходит из некоторых понятий, встречающихся у дикарей, например, из предположения, что первобытные люди, подобно детям, собственно говоря, хорошо не знали, как происходит зачатие, т. е. могли не приписывать его половому общению, — предположения, блестящим образом подтвердившегося новейшими наблюдениями над некоторыми из австралийских племен; с такой точки зрения он и интерпретирует предание о сверхъестественном рождении Персея и сходные с ним сказки*. Аналогичный прием интерпретации легко заметить и в тех случаях, когда историк пользуется, например, общим понятием о первобытном дикаре, хотя бы оно было построено на основании наблюдений над современными дикарями Австралии и т. п., для того, чтобы истолковать известия классических писателей о древних обитателях Европы, положим, рассказы Цезаря, Диодора[138] и Страбона о древнем населении Великобритании, и т. п.**

Эволюционный метод интерпретации получает, однако, наибольшее свое значение лишь в том случае, когда историк объясняет источник с точки зрения его реальной зависимости от предшествующей культуры и такого же его влияния на последующую. В некоторых случаях нет возможности понять предание, не прибегнув к такому его истолкованию: жители городка Говик, например, до сих пор поют обрядовую песню, заканчивающуюся припевом: «Teribus ye teri Oden»: но историк понимает его, лишь припомнив древнейшие представления германцев о Тире и Одине; с такой точки зрения он и толкует загадочный припев в смысле молебного обращения к Тиру и Одину с просьбой о покровительстве, от поколения к поколению перешед-

* *E. S. Hartland*, The legend of Perseus, Ld. v. I (1894), pp. 180–181; ср. *его же*: Primitive Paternity, Ld. 1909–10, v. I, pp. 1–29; v. II, pp. 274–297 и др.; примеры аналогичной интерпретации народных сказок см. в соч. *G. L. Gomme*, Folklore as an historical science, Ld., 1908, pp. 59–65. Впрочем, стремление объяснить такие пережитки, при непонимании их, само иногда вызывало образование новых народных сказаний, о чем см., например, *G. L Gomme*, Op. cit., p. 77.

** *G. L. Gomme*, Folklore, pp. 112 ssq.

шего и к современным жителям городка Говика*. Впрочем, при такой интерпретации можно придерживаться и обратно-эволюционной точки зрения: мелкие особенности источника становятся понятными в качестве зачатков последующего развития; историк средневекового письма обращает внимание, например, на незначительные черточки при буквах XI–XII вв. ввиду того, что в них он усматривает признаки последующего превращения их в то ломанное письмо, которое известно по рукописям XII-го века, и т. п.

С указанной точки зрения момент возникновения изучаемого источника представляет особого рода интерес: историк стремится определить относительную древность источника или при помощи только что указанных типологических обобщений, или обращаясь к изучению реально-данного положения его во времени.

С типологической точки зрения историк, действительно, может иметь в виду то положение, какое данный источник должен занимать в соответствующем эволюционном ряде, и по такому именно его положению заключает об относительной его древности: археолог судит, например, об относительной древности предметов по степени пригодности материала для данной вещи, или по развитию ее техники и формы, или по изяществу последней и т. п.; историк литературы может рассуждать об относительной древности недатированного памятника письменности по форме букв, по грамматическим и стилистическим особенностям его речи, по приемам его композиции и т. п. Впрочем, историк придает своим заключениям различную степень убедительности, например, в зависимости от того, какого рода эволюционным рядом он располагает: в таких случаях археолог имеет в виду преимущественно предметы туземного, а не иноземного происхождения и, положим, заключает об относительной древности двух могильников по гончарным изделиям; историк литературы также с большим основанием может устанавливать древность недатированного памятника письменности, если он не заимствован, относительно однородных с ним произведений той же национальной литературы и т. п.

* *G. L. Gomme*, Folklore etc., pp. 98–99; весьма вероятно, что эта формула — искаженный англо-саксонский стих: «Tyr habbe us, ye Tyr ye Oden», который автор переводит: «May Tyr uphold us, both Tyr and Odin»; городок Hawick — в северной Англии.

В вышеуказанных исследованиях историк уже исходит, однако, из реально данного положения источника во времени: такое положение он определяет или по положению его в пространстве, или по его датировке, согласно данной системе летосчисления.

В самом деле, историк часто принужден довольствоваться лишь приблизительным установлением времени возникновения источника по положению его в пространстве: представляя себе положение во времени соответствующим положению в пространстве, он, в сущности, судит об относительной древности источника по его положению в пространстве, в вертикальном его разрезе. В тех случаях, например, когда историк имеет дело с остатками культуры «каменного века», он определяет тот слой, в котором предмет был найден, а затем судит и об относительной его древности. Такой слой он, конечно, устанавливает прежде всего с геологической и палеонтологической точки зрения и, например, особенно ценит находки вроде «Киевской», «Гонцовской» (Лубенского уезда) и «Карачаровской» (Муромского уезда), обследованные в геологическом и палеонтологическом отношениях, а не с одной только археологической точки зрения; но он, вместе с тем, имеет в виду и последнюю, когда говорит о последовательности собственно культурных слоев: в одном и том же поселении, обитаемом в течение многих веков, он различает, например, такие слои. Раскопки, произведенные на Хиссарлыке, т. е. на месте древней Трои[139], могут служить хорошей иллюстрацией такого приема: здесь обнаружено не менее девяти наслоений. В низшем, т. е. «древнейшем» из них найдено много предметов из камня (между прочим из нефрита), а в высшем, т. е. «позднейшем» — немало разнообразных вещей из бронзы и несколько — из железа; следовательно, можно пользоваться знаменитым кладом, открытым в слое, следующем за древнейшим, в качестве источника, пригодного для характеристики догомерической и домикенской эпох троянской культуры[140]. Историк обращает внимание на такие же культурные слои и в могильниках, например Гальштадтском[141] и других, и даже в отдельных курганах: несколько времени тому назад, например, один из шведских археологов, исследуя курган в центральной Швеции, открыл в середине его покой, содержавший много скелетов и предметов каменного века; выше он нашел две гробницы бронзового века, и, наконец, сверх камней, образующих крышу, увидал еще скелет с оружием, принадлежавшим к железному веку; таким образом ему удалось обнаружить в одном и

том же кургане три периода культуры, последовательное размещение которых, одного над другим, в пространстве наглядно обнаружило, в каком порядке они следовали друг за другом во времени. В другой области источников, т. е. среди памятников письменности историк реже обращается к подобного рода исследованиям, частью потому, что они уже датированы, частью и ввиду того, что каждый из них легко перемещается, утрачивая то естественное положение, по которому можно было бы судить о времени его возникновения. Впрочем, и тут историк может иметь в виду, например, старинную регистрацию или нумерацию рукописей или книг, сделанную по мере поступления их в данный архив или библиотеку, и сохранившуюся или в виде помет на рукописях и книгах, или в виде особого каталога; он изучает также расположение бумаг в данном деле или сборнике, например, в сборнике писем Герберта[142] и т. п.*

С точки зрения эволюционной интерпретации надлежит, однако, возможно более точно определить время, к которому данный источник относится, а значит, и тот момент, когда он возник; но такой цели можно достигнуть лишь при знакомстве с принятой в то время системой летосчисления: она изучается в технической хронологии**. Пределы времени, к которым относятся вещественные остатки культуры позднейших периодов, например, поддаются иногда более точному определению на основании совместного с ними нахождения монет, время чеканки которых известно. Припомним хотя бы знаме-

---

* *W. Dörpfeld*, Troja und Ilion, Athen, 1902. SS. 26–35, 326–331, 412 ff. *O. Montélius*, Le temps préhistoriques en Suède, p. 4. Впрочем, судить о древности орудий по месту их нахождения иногда рискованно: вместе с костяком они могут, например, попасть, при его погребении, в какой-нибудь слой третичной эпохи, хотя вовсе не принадлежали ей по времени своего возникновения. Известное деление на века «каменный, бронзовый и железный» также нельзя принять без существенных ограничений. Знакомство человека с тем, а не другим металлом находится в зависимости от условий его месторождения: эскимосы, например, перешли от «каменного века» к «железному», некоторые из североамериканских индейских племен рано узнали употребление меди и т. п.; материал предмета стоит также в связи с его назначением (ср. выше сс. 442 <Т. 2. С. 93–94> и сл.), его происхождением (туземным или иноземным) и т. п.; ср. *W. Gowland*, Op. cit., ib., pp. 12–14 и др. Сбор. Грам. бывшей кол. эк., т. I, №№ 1–38. *Н. Бубнов*, Сборник писем Герберта, ч. I, сс. XIX, 206–210; ч. II, 2, сс. 939.

** *E. Bernheim*, Lehrbuch, Kap. III, § 3, SS. 312–315 (библиографические указания). *A. Giry*, Manuel, liv. II и др. См. еще *F. K. Ginzel*, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 2 B-de. Lpz., 1906–1911. Ср. ниже Отд. II.

нитую находку, сделанную в Нидамском торфянике (Nydam): о значительной древности деревянных лодок, сохранившихся в нем, оказалось возможным судить по найденным в них римским монетам II в. по Р. Х.* Впрочем, такие определения далеко не всегда отличаются точностью; монеты могут обращаться более или менее продолжительный период времени, не только в тех случаях, когда употребляются в качестве украшений, но и тогда, когда служат орудиями мены; в Швеции, например, медные монеты, чеканенные в XVIII-м веке и украшенные изображениями римских божеств, продолжали обращаться в середине следующего столетия. Применительно к монетам позднейшего времени можно, по крайней мере, иногда, вычислить даже степень приближенности таких определений. Двадцати-франковые монеты 1803–1812 гг., например, ходили в десятых долях %% во Франции еще в 1891 году; следовательно, вероятность заключения, что предмет, найденный совместно с такою монетою, принадлежит к концу прошлого века, мала; современная нам статистика монетного обращения во Франции, может быть, докажет, что такая вероятность теперь уже почти равна или равна нулю. Рассуждения подобного рода применительно к вещественным остаткам культуры позднейшего времени имеют, однако, скорее методологическое, чем практическое значение: историк часто определяет возраст таких предметов на основании более точных данных исторического предания, например, по датированной надгробной надписи и т. п. Документальные остатки культуры, ввиду самой цели их, чаще предметов древности дают определенные указания на время их составления. В противном случае датировка их производится по косвенным признакам: за отсутствием более точных указаний историк принимает во внимание, например, палеографические и сфрагистические особенности, язык и формулы, клаузульный состав, формы делопроизводства, канцелярские пометы, имена государей и правителей, а также контрагентов или свидетелей частной сделки и т. п. В числе исторических преданий многие также содержат точные сведения о времени их возникновения, но немало и таких, которые не датированы: время составления весьма известных сочинений, например; Пятикнижия[143], многих летописей и т. п. не поддается точному определению. В случаях подобного рода историк определяет время возникновения или написания исторического предания по

* *O. Montélius,* Les temps préhistoriques en Suède, p. 184.

косвенным признакам: по языку и письму, стилю и литературным приемам автора, по характеру принятого им построения (плана), по разным его намекам на факты, дата которых уже известна, по биографическим данным и т. п.

Благодаря более или менее точному определению времени, к которому возникновение источника относится, историк устанавливает его положение в данном эволюционном целом, что и дает ему возможность подвергнуть источник дальнейшей эволюционной интерпретации с точки зрения реальной его зависимости от предшествующего и последующего развития.

В самом деле, для того, чтобы понять данный источник, следует, конечно, толковать его с точки зрения тех людей, среди которых он возник, и того времени, когда он появился, т. е. принимать во внимание современные ему чувствования, понятия и другие проявления душевной жизни той общественной группы, в которой он зародился и среди которой он стал обращаться; но в некоторых случаях его приходится понимать и с точки зрения того значения, какое данная общественная группа стала придавать ему в позднейшее время. В вышеуказанном смысле историк интерпретирует, например, чужую речь, в которой он встречает слова, уже вышедшие из употребления*; но он изучает и те выражения, которые получили новое значение, хотя и продолжают сохранять прежнюю форму, например: термины, обозначающие разного рода идеи или предметы обычного употребления, классы общества или состояния (miles, colonus, servus)[144], обычаи и правоотношения (alleu, bénéfice, élection)[145], учреждения (principes XII-го века, conventus, justitia, judex)[146], порядок управления («régime, révolutionnaire»[147] великой французской революции) и т. п.; даже самое обыденное слово, например, какой-нибудь союз «seu» может иметь в разное время разное значение («или» и «и»), и, следовательно, нуждается в предварительном истолковании**.

* *F. Godefroy,* Dictionnaire général de l'ancienne langue française, (1880 г. и сл.); этот словарь, составленный на основании старейших произведений французской литературы IX–XV вв., содержит только исчезнувшие из оборота слова и был рассчитан не менее как на 10 томов.

** *W. Wundt,* Völkerpsychologie, Bd. I (1900), Teil 2, SS. 420–583. *A. Darmsteter,* La vie des mots, Par. nouv., éd. 1889. Ср. критику его книги в соч. *M. Bréal,* Essai de sémantique, 3-e éd., pp. 279–308 и др. Поучительный случай неправильного понимания известным Дёллингером союза «seu» в предании о даре Константина, повлекшего за собою и целый ряд ошибочных заключений, см. у *E. Berncheim,* Op. cit.,

Эволюционная интерпретация источника с точки зрения его реальной зависимости от предшествующих и последующих состояний культуры не ограничивается, однако, изучением тех из них, которые находились в ближайшей связи с ним; она стремится вставить источник в соответствующий эволюционный ряд, в его зависимости от общих исторических условий, и фактов, происходивших в действительности. При интерпретации, например, стилистических особенностей греческого и латинского языков, историк принимает во внимание историю греческой национальности, в сущности слагавшейся из различных племен, далеко не вполне сходных между собою по началам своей культуры, и историю римской государственности, соответственно которой и национальный стиль латинского языка отражал в себе, собственно говоря, господство римской гражданской общины над остальными; сходные моменты он замечает и в образовании немецкого литературного языка сравнительно с процессом развития французского стиля, давно уже получившего свое единство и отличительные особенности; лишь с такой исторической точки зрения интерпретируя произведения, написанные одним из вышеуказанных стилей, он может достигнуть понимания их национальных особенностей. Аналогичной точки зрения историк придерживается и при изучении собственно-исторических источников, в узком смысле слова, например, летописей: лишь вставив их в соответственное историческое развитие, он подвергает их и более глубокой интерпретации. Историк, изучающий анналы и хроники периода Гогенштауфенов[148], например, может надлежащим образом истолковать их только в том случае, если он обратит внимание на зависимость летописания того времени от развития и упадка императорской власти, от зарождения обособленных государственных территорий и последующего возвышения городов; лишь с такой точки зрения он ясно поймет тенденции и содержание, положим, хроники Оттона Фрейзингенского, в которой личность Фридриха I играет столь видную роль, или Вормской летописи, или, принимая в расчет последующее возвышение Аугсбурга, лучше объяснит известную хронику Буркарда Цинка[149] и т. п.*

S. 578. Лёнинг уже указал, однако, на то, что союз «seu» употребляется в источниках того времени то в смысле «и», то в смысле «или»; см. *E. Loening*, Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde, в Hist. Zeit., Bd. 65 (1890), S. 232.

* *M. Jansen*, Historiographie und Quellen der deutschen Geschichte bis 1500; см. Grundriss der Geschichtswissenschaft A. Meister'a, Bd. I, SS. 494–495, 510, 525.

Эволюционный метод интерпретации, подобно систематическому, комбинируется с анализом источника в тех случаях, когда историк пытается понять его с точки зрения того отношения, в каком части его находятся к данному эволюционному процессу, в особенности к данному ряду источников. Возвратимся к схематическому примеру, предложенному выше*: если тип Q развивался, то можно попытаться установить и стадии его развития, положим Q_a, Q_b, Q_c и т. д. С такой точки зрения подводя какой-нибудь конкретный источник Q_3 под соответствующую стадию развития Q, т. е. Q_c, можно, в отношении к нему, интерпретировать составные части изучаемого источника — Q_3. Вообразим, что исследователь, после предварительных разысканий, напал на источник Q, который оказывается репрезентативным типом группы аналогичных с ним источников Q_1, Q_2, Q_3, что он может расчленить Q, равное Q_1, на шесть элементов — *a, b, c, d, e, f* и что, благодаря их характерным признакам, он имеет основание признать их основными в том источнике, в котором они переживают. Положим, далее, что исследователь, соответственно представив себе Q_1, Q_2 и Q_3 в известном разложении, встречает источник Q_4, обнаруживающий некоторое сходство с Q_3; принимая во внимание развитие типа Q и случаи Q_1, Q_2, Q_3, он может яснее представить себе состав Q_4, в связи его с Q_1, Q_2, Q_3, положим, в следующей таблице.

Q_1	содержит элементы	a,	b,	c,	d,	e,	f,	.	.	.	.	.	.
Q_2	„ „	a,	b,	c,	d,	.	.	g,	h,	.	.	.	.
Q_3	„ „	a,	b,	.	.	.	.	g,	h,	i,	k,	.	.
Q_4	„ „	.	.	.	.	.	.	g,	h,	i,	k,	l,	m

В полученной таблице легко заметить, что Q_1, Q_2 и Q_3 суть лишь видоизменения одного и того же типа, с более или менее значительными уклонениями *g, h, i, k*. Ввиду непрерывно убывающего сходства в основных элементах и возрастающего сходства в уклонениях от Q_1 к Q_4 можно, однако, предположить, что источники Q_1 ... Q_4 дают понятие об одном и том же все слабее переживающем явлении; с такой точки зрения и принимая в соображение, что Q_4 естественно продолжает Q_3, позволительно предполагать, что Q_4 принадлежит к той же группе Q, хотя и существенно разнится от Q_1. Таким образом,

* См. выше сс. 475–476 <Т. 2. С. 122–123>.

лишь вставив данный источник — Q_4 в ряд Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, историк может установить, в какой мере источник Q_4 представляет данный тип Q и каково именно значение Q_4, что именно в нем имеется и чего в нем нет, в какой мере им можно пользоваться для изучения факта, отразившегося в Q и т. п.; вместе с тем, замечая убывающее сходство в основных признаках от Q_1 к Q_4 с соответствующим возрастанием уклонений и объясняя его более слабым переживанием явления, запечатленного в данном источнике, он усматривает в элементах *g, h, i, k, l, m* материал для дальнейшего истолкования Q_4, с точки зрения развития типа Q, т. е. той его стадии, которая более или менее представлена в Q_4. При интерпретации вышеуказанного обряда зажигания домашнего огня в Англии истолкователь встречает, например, Эйршайерский обычай, в котором многие из основных элементов обряда уже выпали; но сближая оставшиеся с теми более полными комплексами, в которых они встречаются в лучше сохранившихся обычаях того же рода, например, Бёргхэдовском, он может интерпретировать и Эйршайерский в составных его элементах, как один из позднейших пережитков того же обычая*.

Метод эволюционно-аналитической интерпретации прилагается и к таким случаям, когда можно заметить реальное влияние, оказываемое развитием известной нормы или нормального более или менее общепризнанного типа на состав данного источника. При изучении известных нам русских «служилых кабал» XVI–XVII вв., например, можно прийти к предположению, что формуляр их постепенно упрощался и сложился не сразу: несмотря на общие законодательные нормы, под давлением которых такой тип складывался, в действительности, каждый из местных типов: московский, новгородский и псковский прошел несколько стадий развития, может быть, следовавших во времени (M_1 ... M_4, N_1 ... N_4, P_1 ... P_4), прежде чем все они объединились, под влиянием центрального правительства, в одну форму, постепенно получившую перевес над остальными. Следовательно, лишь принимая во внимание ту именно стадию его развития, к которой данная служилая кабала относится, историк может ясно представить себе ее состав и таким образом, разложив ее на клаузулы, подходит к надлежащему пониманию ее текста**.

* См. выше сс. 475–476 <Т. 2. С. 122–123>.

** *А. Лаппо-Данилевский*, Op. cit., ib., сс. 725–739.

Аналогичный метод можно применять и к интерпретации тех исторических преданий, которые подводятся под какой-либо тип: с точки зрения известной стадии его развития исследователь толкует данное произведение в составных его частях; зная, положим, что биография появляется сперва в виде надгробной надписи у египтян, затем в виде погребальной речи у римлян, жития мученика или святого у христиан и т. д., он должен считаться при интерпретации данного источника того же типа, с тою стадией развития, какую он занимает в нем; или, различая «анналы» от «хроник», он выясняет, принадлежит ли данная часть источника, положим, летописи известного Гобелина Персона[150], к той или другой стадии развития летописания и таким образом достигает лучшего ее понимания*.

В случаях подобного рода можно, однако, заметить иногда и реальную зависимость данного источника от другого, наглядно воплотившего в себе известные правила и послужившего образцом, который подвергся дальнейшим изменениям в изучаемом источнике. В самом деле, известно, например, что жалованные грамоты королей и пап часто повторяют с более или менее значительными изменениями, аналогичные акты их предшественников; но еще чаще такие же соотношения встречаются между памятниками литературы: пользуясь, например, правилами римского классического стиля, отразившимися в известном труде Светония[151] о римских кесарях, историк различает элементы, вошедшие в состав биографии Карла Великого, написанной Эингартом[152], и т. п.

Эволюционная интерпретация не довольствуется, однако, изучением той связи, в какой источник находился с предшествующими стадиями развития данного типа или группы источников: она принимает в расчет и то влияние, которое он оказывал на последующие источники. Старинный закон, например, интерпретируется не без внимания к его толкованиям, произведение литературы — при помощи разъясняющих его «схолий» и т. п. В некоторых случаях можно понять влияние, оказанное источником, лишь в связи с тем толкованием, которое придало ему тот, а не иной смысл: известное толкование пророком Даниилом сна, виденного Навуходоносором[153], например, вызвало в свою очередь, комментарии епископа Ипполита[154], а также Оригена Александрийского[155], Евсевия Кесарийского[156] и других; благодаря

* Cosmidromius Gobelini Person etc, ed. M. Janssen, Münster, 1900. SS. XLIII, LV.

продолжателю его хроники — Иерониму[157], окончательно утвердилось мнение, что согласно пророчеству Даниила, римское царство — последнее на земле, а такая концепция оказала самое решительное влияние и на последующее разделение всемирной истории, по числу четырех мировых монархий, на четыре периода: оно долго держалось в историографии и еще принимается Слейданом[158] и Беконом*.

Впрочем, типизирующий метод легко переходит в индивидуализирующий, хотя бы в тех случаях, когда источник толкуется с точки зрения интересов той именно общественной группы, которые автор обнаружил в нем: интерпретируя, например, рассказ Григория Турского[159] о похождениях Сишера, легко впасть в целый ряд ошибок, если не принять во внимание церковно-христианские воззрения автора и «оригинальность» его рассказа; но «оригинальность» его рассказа можно понимать и в смысле тех его особенностей, которые связаны с индивидуальностью данной социальной группы или автора, составлявшего источник, т. е. самого Григория Турского**.

Вообще, можно сказать, что методы интерпретации, рассмотренные выше, взаимно дополняют друг друга: и систематический, и эволюционный метод, конечно, часто прилагаются в различных комбинациях к изучению одного и того же источника: толкуя его с точки зрения того типа, к которому данный источник относится, историк не упускает из виду развитие самого типа; он стремится выяснить, к какой из стадий его развития данный источник относится и понимает такое отношение не только в типологическом, но и в реально-историческом смысле, примеры чего уже были указаны выше***.

---

* *Пр. Даниил*, гл. II, ст. 36 и сл.; ср. гл. VII, ст. 3 и сл. *A. Schoene*, Die Weltchronik des Eusebius in ihrer Bearbeitung durtch Hieronymus, Berlin 1900. SS. 5 ff., 45, 55 и др.

** *D. Fustel de Coulanges*, De l'analyse des textes historiques; см. Rev. des Questions historiques, t. 41 (1887), pp. 15–35; резко настаивая на преимуществе рекомендуемого им приема «анализа текстов», автор слишком мало различает, однако, вышеуказанные разновидности типизирующего метода и смешивает его с индивидуализирующим, не говоря о том, что «анализ текстов» получает еще совсем иное приложение в критике источников, в особенности в критике их состава. Ср. еще с. 466 <Т. 2. С. 114> и ниже гл. V, § 2.

*** См. выше сс. 487 <Т. 2. С. 132> и сл.; сюда можно, пожалуй, отнести исследования вроде тех, какими занимались Герман, Перон и их последователи в области древнего стихосложения: они изучали не только общие, но и частные «законы», характерные для данного рода стиха, в тот, а не иной период его развития; см. *F. Bücheler*, Phil. Kr. S. 15.

Таким образом, благодаря типизирующему методу интерпретации историк получает возможность с систематической или эволюционной точки зрения выяснить те родовые признаки источника, которые объясняются реальной его зависимостью от среды, т. е. от данного состояния или периода культуры; но, пользуясь вышеизложенными методами, он все еще не может охватить содержание источника в наиболее характерных его чертах.

В самом деле, если историк имеет в виду только те общие условия, в которых жила данная социальная группа, он еще не будет в состоянии интерпретировать наиболее характерные особенности произведения и принять в расчет его именно влияние для понимания его же оттенков; он справедливо полагает, что, чем более индивидуально произведение, тем более оно в качестве источника, нуждается и в особом методе индивидуализирующей интерпретации, существенно дополняющем остальные.

§ 5. Индивидуализирующий метод интерпретации исторических источников

При истолковании источника нельзя упускать из виду личность, которая породила его и запечатлела в нем индивидуальные особенности своего творчества; но в той мере, в какой всякий исторический источник признается продуктом более или менее цельной индивидуальности, он нуждается в особого рода интерпретации — индивидуализирующей: без такого метода легко просмотреть или ложно истолковать наиболее характерные особенности источника, в силу которых он и получил, однако, свое историческое значение.

В самом деле, лишь благодаря понятию о личности автора можно усмотреть и реальное единство его произведения, что дает возможность подвергнуть его индивидуальные особенности дальнейшему истолкованию; и чем ярче индивидуальность автора, тем больше приходится принимать ее во внимание при интерпретаций ее произведения.

Впрочем, можно изучать личность автора с различных точек зрения: историк интересуется не только систематическим единством его сознания, согласованностью его мыслей, последовательностью его рассуждений и т. п., но также его ассоциациями и настроениями, общим эмоциональным тоном его душевной жизни, его волей и т. п. Во многих случаях историк только с психологической, а не с логиче-

ской точки зрения и может объяснить себе наличность в его произведении таких элементов, которые в противном случае остались бы непонятными: в источнике, изобилующем, например, побочными мыслями, которые, видимо, прерывают ход главной мысли, он может усмотреть единство в той мере, в какой он представляет себе автора, переживающего, в силу конкретных условий его психики, места и времени, те, а не иные ассоциации мыслей; с такой точки зрения истолкователь легко может понять соответствующие детали источника и выяснить их значение. В произведении, отличающемся менее очевидной разбросанностью мыслей, историк, конечно, легче находит и направляющую его идею; но и в данном случае он в состоянии приблизиться к пониманию его реального единства, лишь постигнув волю автора, его намерения и цели, в силу которых то, а не иное направление его мыслей, да и подбор соответствующих им средств, приемов или эффектов становятся понятными. В самом деле, толкуя такое произведение, историк стремится выяснить, что́ именно думал данный автор, когда он работал над своим творением, — имел ли он свои затаенные помыслы или мыслил то, что ему хотелось, чтобы мыслили и те, которые станут воспринимать его произведение; исследователь точнее устанавливает также тот смысл, в каком сам автор хотел, чтобы понимали его произведение, и тот именно круг публики, к которому он преимущественно обращался: полагая, например, что автор вложил свою душу в свое произведение, он усматривает в нем более индивидуальных особенностей, чем в произведении неискреннем, условном, рассчитанном на внешний эффект; зная, что автор предназначал данный источник для специального круга читателей, он, конечно, принимает во внимание и то специальное, часто условное, значение, с точки зрения которого источник только и становится понятным, и т. п. Вообще историк исходит из индивидуальных особенностей психики автора для окончательной интерпретации соответствующих особенностей его произведения, взятого в его целостности; он изучает степень оригинальности данного автора, его чувствований, мотивов, мировоззрения, тенденций, личных отношений, а также степень энергии и последовательности, с которыми его оригинальность обнаружилась в данном произведении, и т. п.

Итак, можно сказать, что при помощи индивидуализирующей интерпретации историк пытается проникнуть в тайники личного творчества автора и даже хочет, в известном смысле, по возможности

лучше его самого понять его произведение. Такая цель, правда, может показаться недостижимой, особенно если припомнить, что интерпретация приводит лишь к приближенным выводам; но если иметь в виду, что сам автор часто творит, не отдавая себе ясного отчета в акте своего творчества и далеко не всегда сознает посторонние влияния, налагающие, однако, свой отпечаток на его произведение, и что, по объективировании творчества в последнем, некоторые из его особенностей могут обозначиться гораздо яснее, то и вышеуказанная претензия не окажется черезмерной: в известном смысле истолкователь может лучше самого автора приблизиться к пониманию некоторых сторон его произведения.

Впрочем, можно стремиться к достижению такой цели с двух разных точек зрения: аналитической и синтетической.

В самом деле, можно пользоваться анализом и синтезом для понимания личности автора, а затем уже переходить и к интерпретации его произведения, т. е. источника.

При анализе личности автора историк может или исходить из биографических данных о нем, или сосредоточивает свое внимание на его произведении, восходя от него к личности автора.

Действительно, во многих случаях историк обращается к изучению личности автора по биографическим данным о нем для того, чтобы возможно более ясно представить себе ту именно индивидуальную его психику, которая в данных условиях места и времени обнаружилась в его произведении и в которой он разыскивает все то, что сам автор лишь подразумевал, но не всегда высказывал в источнике. Ввиду такой цели историку приходится иногда проделывать весьма сложную работу, основанную на пересмотре возможно большего числа разнообразных источников, автобиографических данных, биографических сведений, писем; и т. п.: ему нужно знать происхождение изучаемого автора, его род, его родителей, его семью и выяснить, что у него было общего с ними, что — своего, оригинального; ему нужно изучить детство автора, ход его воспитания и образования, общественные группы, в которых он вращался, его отечества или страну, в которой он жил, и т. п.* С личностью Цицерона, напри-

* *Ch. Sainte-Beuve*, Portraits littéraires и др., отдельными книжками с 1832 г. См., например, Nouveaux Portraits, Brux. 1836, t. I, p. II, где автор заявляет, что он изучает «le rapport de l'oeuvre à la personne même, au caractère, aux circonstances particulières...»[160]

мер, историк знакомится по его переписке, по его письмам к Аттику[161], по письмам Цэлия[162] к Цицерону и т. п.; о Цезаре и его пребывании в Галлии он узнает между прочим и из известной истории Диона Кассия[163]; о личности Бисмарка он судит по его замечательным письмам к невесте и жене, вскрывающим такие черты его характера, о которых его мемуары не дают надлежащего понятия, а также по дневнику Буша и т. п.

Помимо того, однако, что историк не всегда располагает такими данными, он, даже при наличности их, в сущности принимает во внимание индивидуальность автора, имея в виду ту именно комбинацию его особенностей, которая выразилась в толкуемом произведении: он интересуется личностью автора в той мере, в какой он может воспользоваться знанием его особенностей для понимания соответствующих черт его произведения; следовательно, для того, чтобы составить себе надлежащее представление об этой личности, он должен изучить ее продукт — источник и может заключать о ней по его особенностям. Таким образом, историк выясняет психику данного автора, поскольку она выразилась в главной идее его произведения, отразившейся в заглавии и в содержании его труда; в сюжетах, какие он выбирает; в плане, какого он придерживается; в способах и формах, какие он употребляет для выражения своих мыслей, и т. п. С указанной точки зрения историк изучает и памятники вещественные, и произведения письменности. При толковании памятника вещественного историк судит, например, о личности автора не только по его замыслу, но и по более или менее развитым приемам изображения: по линиям, пропорциям, размерам, украшениям его произведения, положим, храма или статуи; или по рисунку, краскам, мазкам, размещению фигур его картины и т. п.; или по метафорам и аллегориям, которые характеризуют данный памятник, положим, известные произведения Микель Анджело в усыпальнице Медичи, и т. п. При истолковании произведения письменности историк также может судить о личности писателя, принимая в расчет и его замысел, и средства его исполнения; он интересуется, например, языком данного писателя, лексическим составом и построением его речи, расположением слов и сдержанностью или эмфатичностью его тона и т. п.; он обращает внимание и на то, придерживается ли автор ясного или тяжелого, изысканного или грубого, спокойного или страстного стиля; придает ли он ему поэтический или прозаический характер, т. е. прибегает ли он к более или менее образным эпитетам, синекдохам[164], метонимиям, метафорам или гиперболам; обращается ли к аллегории, иронии и т. п.; допускает ли энтимемы[165] с характерными недомолвками; обнаруживает ли склонность к употреблению отвлеченных терминов, к догматическим или критическим оборотам и т. п.; вообще следует ли он обычным правилам или оказывается своеобразным в своих мыслях, в подборе форм и слов, которым он может придавать свой собственный оттенок, и даже во второстепенных способах обозначения их, например, в правописании, размещении знаков препинания и т. п. Таким образом, историк может представить себе личность данного писателя, например, Цезаря, Тацита, Гюго[166], подвергнув подробному анализу их произведения*.

Полного понимания личности автора историк не может, однако, достигнуть без особого акта собственного творчества; путем синтеза, он объединяет проанализированные им элементы и остатки, не поддающиеся анализу: в последнем случае он, конечно, стремится прежде всего к научной конструкции, но часто прибегает и к интуиции, и к эстетическому построению; само собою разумеется, однако, что, с научно-познавательной точки зрения, он признает такое синтетическое понимание личности автора только своего рода гипотезой, приемлемость которой оправдывается ее приложимостью. С указанной точки зрения, например, исследователь хроники Оттона Фрейзингенского пытается воссоздать его «характер» и пользуется им для интерпретации его трудов.

---

* *H. Meusel*, Lexicon Caesarianum vv. I–II, Berlin, 1886–1893, *A. Ferber und A. Greef*, Lexicon Taciteum, Lipsiae, 1903. *Ch. L. Livet*, Lexique de la langue de Molière, 3 vv. (1896–1897). *Al. Schmidt*, Shakespeare Lexicon, 2-е изд. 1886 и др. Один из редакторов, издававших полное собрание сочинений Шлейермахера, указывает на его «своеобразную орфографию и интерпунктуацию»; биограф Клиффорда рассказывает о нем, между прочим, что он сознательно придерживался своей собственной системы расстановки знаков препинания; см. *F. Schleiermacher*, Sämmtliche Werke, Abth. I, B. VII, S. XII. *W. K. Clifford*, Lectures and Essays, v. 1, p. 41. *E. Hennequin*, La critique scientifique, 3 éd. Par. 1894 (русск. пер. 1892); о В. Гюго — см. там же, сс. 225–243. Следуя по пути, уже намеченному Тэном, автор преувеличивает значение изучения данного произведения. Сам Тэн, напротив, пытался комбинировать оба метода, но не со строго индивидуализирующей точки зрения. По словам одного из его биографов, например, «s'il a devant lui un écrivain ou un artiste, il induit ce qu'il a dû être de la race, du milieu et du moment; puis, quand il a saisi la faculté maîtresse de son individualité, il en déduit tous les actes et toutes ses oeuvres»[167]; см. *G. Monod*, Les maîtres de l'histoire, p. 154.

С вышеуказанной индивидуализирующей и объединяющей точки зрения на исторический источник характерные его особенности, действительно, подвергаются интерпретации. Если не принять во внимание, например, что Тацит в своем описании «Германии»[168] противополагал чистоту нравов ее обитателей испорченности римской жизни и гораздо более опасался этих варваров, чем пресловутых в то время парфян, многие места его произведения нельзя истолковать правильно*. В известных случаях без подобного рода интерпретации просто нет возможности понять изучаемый текст. Некоторые места известных «Gesta» Оттона Фрейзингенского, например, получают смысл лишь в том случае, если иметь в виду его мировоззрение: про императора Фридриха I Барбароссу[169], на самом деле подвергшего Ломбардию кровавому разорению, он говорит, что император, вернувшись в Германию, «своим присутствием возвратил мир Франкам, а своим отсутствием отнял его у Италии». Такое противоречие с фактами становится, однако, понятным, если принять во внимание, что Оттон Фрейзингенский представлял себе роль Фридриха Барбароссы в особом свете: после долгих междоусобий между приверженцами и противниками Гогенштауфенов, Бог послал его для восстановления мира и вручил ему меч для того, чтобы низложить нарушителей мира и наказать тех, которые противятся его восстановлению. С такой точки зрения и вышеприведенный текст легко поддается интерпретации**.

Вообще благодаря понятию о личности автора, добытому при помощи вышеуказанных приемов исследования, легче достигнуть цельного понимания его произведения: если единство сознания автора в известной мере отражается в его произведении, можно рассматривать последнее как реальное целое и с такой именно точки зрения толковать отдельные его элементы, периоды, суждения, слова и т. п. Отсюда общее правило (обыкновенно не обосновываемое историками-методологами), что источник надо предварительно подвергнуть анализу в его совокупности, а потом уже толковать отдельные его части или места: лишь в качестве частей данного целого — источника, они становятся понятными. Отсюда и дальнейшее правило, также обыкновенно лишенное обоснования и широко применяемое в особенности к историческим преданиям, а именно, правило об изучении текста лишь в его контексте: единство сознания, согласованность частей и их взаимозависимость, из которой и значение отдельных частей становится яснее, отражаются не только в целом источнике, но, разумеется, в еще большей мере, и в отдельных периодах; следовательно, толковать текст, выхватывая его из такого гнезда — контекста, значит, лишать себя одного из главных средств понять автора, а потому и «правило о контексте» считается «основным правилом» интерпретации. Такое правило давно уже прилагалось, например, к толкованию закона; одно из современных законодательств также рекомендует истолковывать клаузулу данного частного акта через посредство остальных; многие тексты летописи можно понять лишь в отношении к предшествующим и последующим отрывкам той же летописи, а не к последующим вставкам, хотя бы они в позднейшем списке и оказались всего ближе к толкуемому месту, и т. п. В противном случае интерпретация может получить более или менее произвольный характер. В одном месте «Германии», например, Тацит, описывая нравы ее обитателей, говорит: «вы менее легко убедили бы их обрабатывать землю и ожидать жатвы, чем идти искать врагов»; выхватывая приведенный текст из контекста, некоторые исследователи относили его вообще к германцам; но стоит лишь прочесть всю главу для того, чтобы убедиться, что автор в данном случае едва ли говорит вообще о германцах, а скорее только о знатном юношестве («plerique nobilium adolescentium») и что, значит, его отзыв нельзя приводить в пользу мнения, по которому германцы будто бы не занимались земледелием*.

Впрочем, можно усматривать некоторое единство и в индивидуальном развитии данной личности и пользоваться понятием о нем для истолкования ее произведения: последовательно пройдя стадии, через которые уже прошла чужая мысль, истолкователь может лучше усвоить себе ее оттенки. С такой точки зрения изучение индивидуального генезиса мысли автора, его черновых набросков, концептов,

* *G. Boissier*, Op. cit., pp. 41–43; ср. *D. Fustel [de] Coulanges*, Recherches, pp. 235, 269–270.

** *E. Bernheim*, Der Charakter Ottos von Freising und seiner Werke; см. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 1885, Bd. VI, SS. 36–38.

* L. 24. D. 1, 3: «Incivile, est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula proposita, judicare vel respondere»[170]; см. *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 146–152. *Tacit.*, Germ., cap. 14. *D. Fustel de Coulanges*, Recherches etc., p. 199; ср. еще pp. 192, 203 и др.

сделанных им переизданий его труда и т. п. может получить особенное значение. В черновых набросках, например, автор иногда свободнее и яснее выражает свою задушевную мысль, чем в отделанном, предназначенном для публики произведении, или обнаруживает такие характерные колебания мысли, которые исчезают в окончательной форме или редакции его труда. В виде примеров можно указать хотя бы на известный рисунок Рафаэля: «Аполлон и Марсий», сохранивший едва ли не более сильный отпечаток его таланта, чем картина, писанная масляными красками; на многие черновые проекты законов, составленные Петром Великим и прошедшие целый ряд характерных изменений, по которым легко следить за ходом его мысли; на различные редакции «истории моего времени» Фридриха Великого[171], по которым можно судить о том, в какой мере исторические и политические взгляды юного короля изменились ко времени его старости, и т. п.*

С той же индивидуализирующей точки зрения можно рассматривать источник, как один из фактов биографии его составителя, занимающий определенное положение в его развитии: ведь знание тех именно обстоятельств в жизни автора, при которых источник возник, получает иногда весьма существенное значение и для его истолкования; при чтении известных мемуаров Наполеона I, например, важно знать, что он в то время уже находился в заключении на острове Св. Елены и представлял себя «мучеником», страдания которого должны возвратить его сыну царский венец, что он писал по памяти под влиянием желания вообще оправдать всю свою предшествующую деятельность, свое личное поведение и свою политику и т. п.; при изучении «мыслей и воспоминаний» Бисмарка следует иметь в виду, что его «мысли» принадлежат к периоду расцвета его сил, а его «воспоминания» — ко времени его старости и т. п.

Итак, при толковании данного произведения нельзя упускать из виду ту зависимость, в какой оно находится от личности автора: ею легче выяснить, наконец, и то влияние, какое данное произведение, именно в силу свойственных ему особенностей, оказало на культуру данной социальной группы и с точки зрения которого можно подвергнуть его дальнейшей интерпретации. Последующее добровольное исполнение акта сторонами, например, дает материал для понимания его содержания; ученики или почитатели автора иногда также резче подчеркивают или выражают отдельные черты его мировоззрения, более или менее отразившиеся в собственном его произведении и, значит, более или менее пригодные для истолкования его смысла. Впрочем, такие мнения, разумеется, могут оказаться и совершенно ошибочными: старшие французские романтики, Шатобриан[172] и др., например, признавали Ронсара[173] и его друзей — своими предшественниками, хотя они, в сущности, были приверженцами классицизма и не интересовались, подобно романтикам, христианским средневековьем.

* *G. Wolf*, Einführung, SS. 203–205.

Ввиду того, что под личностью можно разуметь и коллективное лицо, и отдельного человека, круг источников, к которому индивидуализирующий метод интерпретации применяется, оказывается довольно широким; тем не менее можно сказать, что индивидуализирующий метод интерпретации прилагается, главным образом, к «произведениям культуры» и к некоторым видам «исторических преданий», происхождение которых может быть поставлено в тесную зависимость от личного творчества, что уже видно из вышеприведенных примеров.

В заключение нельзя не заметить, что индивидуализирующий метод интерпретации находится в довольно тесной связи с критикой источника. В самом деле, для того, чтобы исходить из личности автора и таким образом объяснять его произведение, надобно знать, что последнее действительно принадлежит данному автору, а не другому лицу, а это уже входит в задачи исторической критики источника, его подлинности или неподлинности; вместе с тем индивидуализрующая интерпретация задается целью выяснить, что̀ именно данный автор хотел высказать в своем произведении; но, если иметь в виду, что он хотел сказать правду или хотел солгать, решение такой задачи окажется в зависимости от критической оценки источника, а именно от критики достоверности или недостоверности его показаний.

§ 6. Взаимозависимость различных методов исторической интерпретации в некоторых из ее разновидностей

Ввиду вышеуказанной общей цели исторической интерпретации, разнообразные ее методы, конечно, взаимно дополняют друг друга: историк не может достигнуть достаточно полного понимания источника при помощи одного из них, хотя и пользуется каждым из них

в большей или меньшей степени, что и приводит к весьма разнообразным комбинациям их в зависимости от цели его работы и от особенностей того именно объекта, который подвергается исследованию. С такой точки зрения можно, конечно, рассуждать об особого рода сложных «методах интерпретации» исторических источников; но, во избежание смешения понятий, еще удобнее, пожалуй, говорить об особых видах интерпретации, главным образом, в зависимости от того рода объектов, к изучению которых она прилагается. Смотря по тому, например, что̀ именно служит ее объектом, можно различать два вида интерпретации: формальную, или рационалистическую, и реальную, или собственно историческую.

В тех случаях, когда историк желает понять источник лишь в самых общих его чертах, т. е. разыскивает общий его смысл, не вдаваясь в детальное изучение тех его оттенков, которые зависели от места и времени его составления, а также от личности составителя, он пользуется рационалистической интерпретацией; последняя, значит, связана преимущественно с теми общими методами интерпретации, которые я назвал психологическим и техническим. Рационалистическая интерпретация прилагается к изучению изображающих и обозначающих источников, если историк имеет в виду приблизительно понять только общее их значение, без дальнейших исторических разысканий. При интерпретации изображающих памятников древности, которую можно назвать формально-археологической, историк, действительно, прежде всего стремится установить, какого рода идеи вообще ассоциируются с данным предметом, каковы его назначение, а также свойства и т. п.; при «словесной» интерпретации обозначающих источников, например, элементов чужой речи, историк также подыскивает, какого рода идеи обыкновенно ассоциируются с ее элементами, т. е. какое значение они имеют, взятые или в отдельности, в виде слов, или в их соотношении, в виде «частей речи»; он выясняет их назначение, а также обращает внимание на формальные их признаки, на звуки и буквы, на расположение слов и т. п.* Такой же,

* *A. Boeckh*, Encyklopaedie, SS. 93–111; ср. выше с. 459 <Т. 2. С. 108> прим.; «буквальная» или «грамматическая» интерпретация применяется и при толковании закона; в таких случаях роль истолкователя сводится приблизительно к тому, чтобы «дать тексту все то значение, какое дозволяет дать ему его формула», согласно с «нормальными и обычными» правилами языка; впрочем, и собственно юридическая терминология должна быть, конечно, принята во внимание; см. *C. Reuterskiöld*, Ueber Rechtsauslegung, Lpz., 1899, SS. 15 и др. *F. Gény*, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, Par., 1899, pp. 25–26; Гогье попытался установить различие между «буквальной» и грамматической интерпретацией; см. *J. Gauguier*, Op. cit., p. 77; ср. 73. p. 113.

в сущности, рационалистический характер особенно резко обнаруживается при толковании текста закона исключительно с точки зрения того значения, какое содержание его, само по себе взятое и в данной его формулировке, может иметь для юриста-истолкователя, т. е для современной ему (а не источнику) юридической практики, но уже менее заметен хотя бы даже при беглом чтении какого-нибудь рассказа и т. п.*

В случаях подобного рода историк уже пользуется, однако, и более сложными методами интерпретации. Он не может довольствоваться рационалистической интерпретацией, при которой понимание источника остается слишком общим или слишком отвлеченным: без типизирующего метода он рискует не понять того именно значения, какое данным предметам или словам приписывали люди, жившие в известном состоянии или периоде культуры; без индивидуализирующего метода он не поймет индивидуальных оттенков источника, который он изучает; но такие методы преимущественно характеризуют реальную или собственно историческую интерпретацию источника, т. е. истолкование его содержания, по возможности, во всей совокупности его оттенков, в его зависимости от данных условий места, времени и личности, породившей в этих именно условиях данный источник: даже юрист-догматик, подвергая, например, частный акт «логической», а не исторической интерпретации, имеет в виду, однако, не только «разум», «справедливость», «род акта» и т. п., но и законы или обычаи данной страны и соответствующего време-

* *C. Reuterskiöld*, Op. cit., SS. 20 ff., 22–24. *F. Gény*, Op. cit., p. 227; в таких случаях юристы преимущественно настаивают на «логической» интерпретации — термин, который сам по себе довольно ясно указывает на рационалистический ее характер, и еще со времен Тибо различают некоторые ее методы: «объяснительная» (declarative) интерпретация ничего не прибавляет и ничего не убавляет к данному темному выражению; «распространительная» (extensive) расширяет смысл выражений текста или, в случае нужды, добавляет к нему ту, а не иную клаузулу; «ограничительная» (restrictive), напротив, суживает его смысл или опускает ненужные выражения; см. *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 78–103.

ни, привычки, намерения и мотивы лица или сторон и т. п.*; таким образом он уже прибегает к вышеуказанным методам: типизирующему и индивидуализирующему для понимания акта, данного в действительности; само собою разумеется, что тот, кто читает какой-либо исторический рассказ, еще менее в состоянии ограничиться «логическим» его истолкованием и обращается к реальной, или собственно исторической, его интерпретации.

Впрочем, и при реальной, или собственно исторической, интерпретации содержания источника историк пользуется, конечно, более или менее широко, всеми вышеуказанными методами: уже самое понятие о содержании источника он представляет себе лишь путем психологического истолкования того материального образа, в котором оно выражено и запечатлелось; но он может правильно судить о содержании источника, лишь принимая во внимание и тот, а не иной материальный образ источника, его свойства и т. п.; само собою разумеется, что он признает также связь между источником и тою культурой, в которой последний возник, и с точки зрения такой связи обращается к типизирующему методу его интерпретации, комбинируя его с индивидуализирующим, поскольку последний нужен для понимания оригинальных особенностей источника. Таким образом, и в реальной исторической интерпретации легко обнаружить наличность тех методов, которые были рассмотрены выше.

Само собою разумеется, однако, что комбинации их могут быть различны. При интерпретации, которая имеет в виду квалифицировать источник, т. е. выяснить, к какому именно роду источников он

* *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 128 et ss.; 163–164, 196 и др.; *E. Danz*, Op. cit., SS. 38–49. При объяснительной, распространительной и ограничительной интерпретации (ср. выше с. 505 <Т. 2. С. 147>) юрист, очевидно, уже пользуется типизирующим и индивидуализирующим методами, без которых он, конечно, не мог бы что-либо прибавить или убавить к тексту частного акта; ср. ib, pp. 141, 142; то же можно сказать и про ту интерпретацию, которая исходит из «цели», приписываемой «праву», т. е. «практическому мотиву»; см. *R. von Jhering*, Der Zweck im Recht, Leipz., 1884, Bd. I, S. VIII. Ср. Geist des Römischen Rechts, Bd. IV, 4-te Aufl. 1878–1888 гг. и др. *P. van der Eycken*, Méthode positive de l'interprétation juridique, Par., 1907, pp. 53 et s.; автор — сторонник Конта (pp. 262, 395–396) и Иеринга (pp. 56–57 и др.); но, рассуждая о «социальной цели», о ее «объективной реальности» и т. п., он недостаточно выясняет сложный характер рекомендуемой им «позитивной» или «телеологической» интерпретации, «разыскивающей» такую именно цель права; см. p. 102 и др.

относится, например, историк преимущественно пользуется психологическим, техническим и типизирующим методами: он подводит данный источник под ту, а не иную группу источников частью с точки зрения психологии того рода творчества, которое обнаружилось в нем, частью с точки зрения его стиля, а также его принадлежности к тому, а не иному исторически сложившемуся типу произведений и т. п. Таким образом, получив возможность определить, к какому именно роду источников действительно принадлежит тот источник, который он изучает, историк подвергает его дальнейшей интерпретации. Смотря по тому, например, причисляет ли он надпись на надгробном памятнике к остаткам культуры или к преданиям, он может различно толковать, положим, «трогательное» ее содержание: или в смысле остатка культуры, свидетельствующего о тех чувствах, которые действительно волновали оставшихся; или в смысле предания, составленного, положим, для того, чтобы вызвать соответственные чувства в читателе, и т. п.

Впрочем, можно сказать, что реальная или историческая интерпретация характеризуется преимущественно тем, что комбинации типизирующего и индивидуализирующего методов получают в ней особенно важное значение. В самом деле — интерпретируя содержание источника, историк уже не может довольствоваться пониманием его в «общих чертах», иногда все еще очень далеким от действительности, т. е. от тех особенностей источника, которые зависят от условий места и времени, а также от личности составителя; но принимая их во внимание при истолковании источника, он уже пользуется типизирующим и индивидуализирующим методами его интерпретации. При изучении, например, такого значительного остатка культуры, каким оказываются Парфенонские мраморы, историк может достигнуть их понимания, лишь поставив их в связь с греческой культурой периода ее расцвета, с религиозным и национальным чувством греков того времени и с индивидуальными особенностями Фидия[174], сумевшего гармонически объединить в своем творчестве величавую и изящную простоту аттического искусства с силой и энергией дорийского стиля. В тех случаях, когда историк имеет дело с историческим преданием, он также редко может ограничиться одним грамматическим его толкованием: тот, например, кто стал бы довольствоваться им при чтении новозаветного греческого текста, не принимая в расчет, что он был писан евреем и что он заключает

еврейскую, а не греческую мысль, и не обращая внимания, каким именно из апостолов он был писан, впал бы в целый ряд ошибок. Вообще, толкуя, положим, текст какого-либо закона, историк, подобно юристу истолкователю, должен рассматривать данное узаконение в отношении его к другим, как часть более или менее значительного целого; и только выяснивши такое соотношение, например, взаимозависимость или соподчиненность двух норм, а в некоторых случаях и кажущееся или действительное их противоречие, он может вполне понять данный текст. Вместе с тем правильное его понимание сопряжено с пониманием воли законодателя, которая «объявлена» или обнародована в данном тексте и с точки зрения которой его содержание и подвергается окончательной интерпретации. При изучении крепостного права по нашему своду законов 1832 года[175], например, историк не может довольствоваться одною главою о крепостном состоянии: понятие о нем выясняется только при сопоставлении весьма разнообразных и разновременных по своему происхождению статей всего Свода, что и облегчает правильное понимание каждой из них в отдельности; но историк должен, кроме того, выяснить себе и образ мыслей составителя Свода: он должен припомнить хотя бы известное рассуждение гр. М. Сперанского[176] о «законном крепостном состоянии», с точки зрения которого понятие о полном праве собственности господ на крестьян не могло быть признано, а, значит, не могло решительно повлиять и на характер Свода. Легко заметить аналогичное применение реальной или собственно-исторической интерпретации и к историческим преданиям: они часто требуют типизирующей и индивидуализирующей интерпретации, например, хотя бы в вышеприведенных случаях истолкования летописей Григория Турского, Оттона Фрейзингенского и т. п.*

Ввиду разнообразия исторического материала можно, однако, указать и на такие виды исторической интерпретации содержания источника, в которых один из только что указанных методов получа-

* *F. Gény*, Op. cit., pp. 229 ss.; p. 236–237. *Гр. М. Сперанский*, Историческое обозрение изменений в праве поземельной собственности и в состоянии крестьян; см. Арх. истор. и практ. сведений, изд. Н. Калачовым 1859 г., кн. II, отд. 1, с. 43. Понятие о законодателе, разумеется, строится в государственно-правовом смысле. При истолковании частных актов воля или намерение сторон, наследодателя и т. п. также принимается во внимание см. *J. Gauguier*, Op. cit., pp. 75, 76. Ср. выше сс. 492, 499 <Т. 2. С. 136, 142>.

ет заметное преобладание. При изучении произведений народного творчества, например, историк широко пользуется типизирующим методом интерпретации: он может понять, положим, песни о Роланде в связи со средневековым рыцарством или некоторые подробности былины про Василия Буслаева, сближая ее содержание с условиями старинного новгородского быта, и т. п.; напротив, для толкования автобиографий, вроде, например, «Исповеди» Руссо[177], желавшего изобразить в ней «историю своей души», и для понимания того субъективного отношения, какое он, в сущности, обнаружил к своей задаче, историк пользуется возможно более индивидуализирующим методом интерпретации*. Аналогичное различие можно усмотреть и в интерпретации однородных источников: историк-юрист обращается, например, к истолкованию обычного права преимущественно путем типизирующего метода, а писанный закон толкует главным образом с точки зрения воли законодателя, т. е. при помощи индивидуализирующего метода; в указанном смысле, например, он различает интерпретацию обычая великорусских крестьян, предоставлявшего сонаследникам право общего владения землею или угодьями, от интерпретации известного указа Петра Великого о единонаследии**[178]. Такое же преобладание одного из вышеуказанных методов можно заметить и в истолковании некоторых видов исторических преданий: понимание «аннал» в узком смысле, например, менее нуждается в индивидуализирующей интерпретации, чем понимание «хроник»; можно указать, однако, и на такие произведения, которые в разных своих частях оказываются то анналами, то хроникой и, значит, подобно, например, труду известного вестфальского летописца начала XV-го века — Гобелина Персона выясняются преимущественно при помощи различно комбинируемых методов типизирующей и индивидуализирующей интерпретации***.

* *H. Glagau*, Die moderne Selbstbiographie и проч., Marburg, 1903, SS. 12, 18, 28 и др.; Гёте, при чтении записок Б. Челлини, заявил, что он ничего не понимает в них «ohne unmittelbares Anschauen»[179]; см. ib., S. 44.

** *F. Gény*, Méthode d'interprétation et sources en droit plivé positif, Par., 1899, pp. 229, 236–237. П. С. 3., т. V, № 2789. Само собою разумеется, однако, что при истолковании национальных особенностей, характеризующих произведения творчества или обычаи данного народа в отличие от других народов, историк обращается к тому же индивидуализирующему методу, но в более относительном его значении.

*** См. выше с. 491 <Т. 2. С. 135>.

Впрочем, можно выделить еще один особый вид интерпретации содержания источника, в котором методы: типизирующий и индивидуализирующий играют видную роль: она становится очень заметной в тех случаях, когда историк, при толковании содержания произведения, замечает, что автор облек основную свою мысль в аллегорические образы, «прямой» или «буквальный» смысл которых еще не дает возможности понять изучаемое произведение*. В таких случаях исследователь прибегает к «аллегорической интерпретации», пользуясь преимущественно типизирующим и индивидуализирующим методами: он стремится понять «скрытый» смысл, более или менее отличный от «буквального», изучая данное произведение в связи с условиями места и времени, с личностью самого автора, его взглядами и т. п. В самом деле, всякая аллегория, очевидно, рассчитана на известного рода эффект, который зависит от более или менее удачного сочетания «скрытого» смысла с конкретными образами, в известной мере намекающими на него; но «скрытый» смысл все же должен быть доступен пониманию той именно публики, которую автор имеет в виду, для чего он и подбирает образы, навязывающие ей желательный для него смысл; следовательно, смысл аллегории должен находиться в некотором соответствии с пониманием данной социальной группы, ограниченной иногда довольно узким кругом посвященных, и с ее культурой, что̀ историк и выясняет путем типизирующего метода. Вместе с тем, однако, аллегорическое произведение, а именно самые образы иносказания оказываются сами по себе лишенными

* *A. Boeckh*, Encyklopaedie и проч., SS. 88–93; впрочем, автор не дает достаточно ясного понятия об аллегории и, говоря об особом виде «аллегорического толкования» в своем введении к «герменевтике», слишком мало выясняет его значение. Аллегорическая интерпретация уже практиковалась, особенно применительно к толкованию религиозных образов и мифов в древности, например, Поливием, Страбоном и Палэфатом, преимущественно платоновцами-эклектиками, новоплатоновцами и стоиками греко-римской эпохи, например, Плутархом и другими; с конца XVIII-го века тот же прием получает более широкое приложение, например, в трудах Жебелена и Дюпюи (Gebelin, Dupuis), а с 1810 и в известной «Символике» Крейцера (Creuzer) и др. Квинтилиан причислял к аллегории в качестве одного из ее родов, и иронию, в которой «contrarium ostenditur»[180]; ср. о толковании иронии и «litotes»[181], которое Бёк рассматривает в «генерической» интерпретации, а Бласс — в «технической»: *A. Boeckh*, Op. cit., SS. 153–154; *F. Blass*, Op. cit., Herm., отд. 4 § 25; об аллегории там же §§ 26–31.

реального значения: они — или вне соответствия, или в разногласии с ним; с такой точки зрения содержание источника может даже противоречить историческим фактам данного периода, что̀ иногда и наводит исследователя на мысль об аллегорическом его значении; но и такой результат получается благодаря применению того же типизирующего метода интерпретации: без него историк не был бы в состоянии обнаружить фиктивность самих образов иносказания. Легко заметить, однако, что при толковании аллегории историк не может обойтись и без индивидуализирующего метода: он не должен забывать, что автор аллегории, может быть, сам более или менее изобрел «скрытый» ее смысл и во всяком случае прибег к ней ввиду заранее обдуманной им цели или расчета; что скрытая цель автора обусловливает данное сочетание образов, рассчитанное на известный эффект; что особенности его личности, например; его настроение в данный момент, объясняют подбор тех, а не иных образов; что такой подбор, разумеется, в свою очередь оказывает влияние на их комбинацию, и т. п. Следовательно, можно сказать, что без типизирующего и индивидуализирующего методов историк не в состоянии подвергнуть аллегорию надлежащей интерпретации. При толковании «Божественной Комедии» Данте[182], например, изобилующей аллегориями, историк принимает во внимание и место, и время ее возникновения, и личность самого поэта: предполагая, положим, что Данте связывал свое понятие о «высшей науке — спекулятивной теологии» с идеальным образом любимой им Беатриче, и, значит, придавал ему аллегорическое значение, он с такой точкой зрения толкует и отдельные тексты его произведения; или, принимая, что в своем известном изображении входа в ад поэт также придавал ему аллегорический смысл, он догадывается, что под пантерою автор разумел Флоренцию с борющимися в ней партиями «белых» и «черых», под волчицею — иерархию, а также содействующую ей партию вельфов, под львом — Карла Валуа, что, впрочем, могло иметь скорее символическое, чем аллегорическое значение, и объясняет такие иносказания, не упуская из виду пламенного воображения автора, условий и обстоятельств его личной жизни, его борьбу с «черными», его посольство в Рим и т. п.

Подобные же оттенки можно наблюдать и при толковании символического содержания источника. Если, например, под символом разуметь такой знак, значение которого, ассоциированное с известным об-

разом, условно признается целой социальной группой, то и истолкование его производится преимущественно путем типизирующего метода; он получает широкое применение, например, в области церковной или светской символики, при изучении многих обрядов и обычаев, при толковании народных песен, богатых символами, и т. п.; таким образом историк интерпретирует, например, изображения креста, якоря и рыб, или стилизованного петуха, двуглавого орла и т. п.; или значение хождения с образом вокруг межи, рукобитья и т. п. Если, напротив, иметь в виду, что данный символ представляет более или менее произвольную ассоциацию между мыслью автора и образом, т. е. что употребляемый им символ имеет индивидуальное значение, то и толкование его, конечно, требует преимущественно индивидуализирующего метода; историк литературы применяет его, например, при толковании многих образов в драмах Ибсена[183], положим образа Еллиды с ее стремлением к морю, т. е. к свободе («Frau vom Meere»), или образа «дикой утки», существование которой, после водворения ее в сытом господском доме, все же оказывается своего рода тенью и символизирует жизнь опустившегося человека, вроде старого Экдаля, и т. п.*

Таким образом, комбинации вышеуказанных методов интерпретации исторических источников довольно разнообразны, смотря по тому, к какого рода объекту они прилагаются. С указанной точки зрения легко было бы, конечно, получить и многие другие разновидности интерпретации: она меняется в зависимости от того, применять ли ее к остаткам культуры или к историческим преданиям, к той, а не другой группе их и т. п.; но сказанного, кажется, достаточно для того, чтобы дать общее понятие о главнейших методах интерпретации исторических источников и о некоторых ее видах.

Важнее отметить, что интерпретация, при всем разнообразии ее методов, не может, однако, заменить критику и что полное и надежное понимание источника достигается лишь в связи с его критикой. В том случае, например, когда источник подвергся позднейшему искажению, можно вполне понять его, лишь предварительно обратившись к критике поправок или состава источника; выясняя, что̀ именно автор хотел выразить, правду или ложь, нужно также знать, отличается ли источник достоверностью или недостоверностью, и т. п.

* *E. Elster*, Prinzipien der Literaturwissenschaft, Bd. II, Halle a. S., 1911, SS. 139–147; об отличии символа от аллегории, имеющей, впрочем, кое-что общее с символом, см. там же SS. 147–154.

В таких случаях интерпретация, конечно, пользуется критикой источника для своих целей; но лишь признавая самостоятельное значение ее задач, историк может достигнуть надлежащей благонадежности своих выводов: ведь интерпретация стремится установить только то именно значение источника, которое автор придавал ему, а не то, какое источник действительно имеет для познания исторического факта, сведения о котором почерпаются из источника: она дает возможность, например, одинаково войти в мировоззрение или отдельное показание данного автора, будет ли оно истинным или ложным, и предоставляет критике решить вопрос, можно ли воспользоваться таким пониманием для построения той именно действительности, которая имеет историческое значение.

Глава четвертая. Историческая критика источников

Общее учение о критике, при всем его значении, до сих пор еще не получило систематической обработки и законченного построения: оно часто сводится к собранию технических правил, нужных для того, чтобы различать ценное от неценного, годное от негодного, и т. п.

Впрочем, в связи с таким учением и историческая критика давно уже стала привлекать внимание филологов и историков. В древности, например, греческие и римские писатели вообще интересовались правилами литературной критики и касались их, главным образом, в связи с рассуждениями об ораторском искусстве*. В средние

* *J. Scaliger*, De arte critica diatriba ex Musaeo J. Morsi, Lugduni Batavorum, 1619, pp. 6, 7; «criticae principes, по словам Скалигера, apud Graecos sunt Aristophanes, Crates, Aristarchus, Callimachus...; apud Latinos nobilissimi critici sunt: Varro, Santra, Sisenna...»[184] В числе писателей древности, затрагивавших в своих рассуждениях о поэтике или о риторике кое-какие правила литературной критики, можно упомянуть: Аристотеля и позднейшего ритора и критика, писавшего, вероятно, не без его влияния, — Лонгина, с его любопытным учением «περί ὑψους»[185], если только оно действительно принадлежит ему (III в. по Р. Х.); далее Дионисий Галикарнасский занялся оценкой греческих историков; он высоко ценил Геродота и враждебно относился к Фукидиду; Квинтилиан, стоявший в некоторой зависимости от Дионисия Галикарнасского, полнее других касался того же предмета: в десятой книге своего известного труда он дает обзор и оценку классических писателей; см. *M. F. Quintiliani* Institutiones oratoriae libri XII, ed. Lud. Radermacher, Lpz. 1907 и сл. Тацит, современник Квинтилиана, и, по всей вероятности, автор известного диалога об ораторах («dialogus de claris oratoribus»), по словам новейшего его биографа, дал в нем «один из лучших трактатов по критике, какие остались нам от классической древности»; он, между прочим, указывал

века ученые отцы церкви придавали некоторую цену критике, главным образом, в качестве средства для установления текста священного писания (вульгаты[186] и проч.); но со времени Возрождения гуманисты снова и с новой силой распространили ее на произведения классической литературы, а иногда пользовались историко-критическим методом и в его приложении к другим историческим исследованиям; вместе с тем они содействовали высвобождению критики из-под опеки Римской церкви и даже стали критиковать некоторые из ее традиций, например; известное предание о «даре Константина Великого»[187], «Псевдо-Исидоровы декреталии»[188] и т. п.*

В настоящее время многие продолжают придавать учению об исторической критике даже чрезмерное значение; они готовы свести чуть ли не всю методологию источниковедения к такому учению

на социальные условия возникновения великих произведений литературы и ораторского искусства; см. *G. Boissier*, Tacite, pp. 6, 56. См. вообще *E. Egger*, Essai sur l'histoire de la critique chez ler Grecs, 1 éd. Par., 1849; 3 éd. 1887; книга начинается довольно смелыми предположениями касательно древнейшего времени и возникла из лекций, читанных автором в Сорбонне в связи с истолкованием «Поэтики» Аристотеля, что́ и отразилось на задаче и плане сочинения; недавно Сэнтсбери попытался дать «историю критицизма или измененной риторики», т. е. «попыток, путем рассмотрения произведений литературы, выяснить, что́ именно делает литературу приятной»; хотя сочинение лишено единства и руководящей философско-эстетической точки зрения, но содержит много сведений по истории литературной критики, начиная с классической древности и кончая прошлым веком; см. *G. Saintsbury*, A history of criticism and literary taste in Europe, 3 vv., Ed. and Ld., 1900–1904.

* *B. Lasch*, Das Erwachen und die Entwicklung der historischen Kritik im Mitelalter (vom VI–XII Jahrh.), Bresslau, 1887. В числе гуманистов, занимавшихся критикой или пытавшихся сообразовываться с ее правилами в своих исторических и других работах, достаточно припомнить имена Петрарки, Лоренцо Валла, Флавия Биондо, Дезидерия Эразма, Ришара Симона и проч.; можно также указать и на трактаты, в которых, например, Робортелло, Лапопелиньер и другие излагали правила критического издания текстов и «обязанности историка»; из позднейших трактатов подобного рода см. хотя бы сочинение Шоппе: *G. Scioppii*, De arte critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice, quaenam ratio in latinis scriptoribus ex ingenio emendandis observari debeat; commentariolus. Nürenberg, 1597; есть и другие издания; книга содержит выписки некоторых правил касательно критики, преподанных Мерулой, Фрутерием, Скалигером, Линсием и другими, и, главным образом, наставления и примеры касательно исправления испорченных текстов. См. еще о заслугах Мабильона и др. (*J. Mabillon*, De re diplomatica, 1681) в соч. *R. Rosenmund*, Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon, München und Lpz., 1897, SS. 15–21; о развитии критики в XVIII-м веке — сочинение Везендонка, указанное выше на с. 27 <Т. 1. С. 108> и сс. 359–360 <Т. 2. С. 23–25>.

или отводят в нем лишь подчиненное место интерпретации: в одном из новейших руководств, посвященных изложению методов исторической работы, например, интерпретация называется «истолковательной критикой»*.

Нельзя, однако, ни сливать понятия о методологии источниковедения с понятием о критике, ни смешивать интерпретацию с критикой; последняя преследует свою самостоятельную познавательную цель, которую и надо принимать во внимание при выяснении общего понятия о критике; но филологи и историки, занимавшиеся изложением учения о ней или применением ее к исследованию самых разнообразных источников, сравнительно мало обращали внимания на общее понятие о критике, хотя много содействовали ее развитию и преимущественно разрабатывали технические приложения ее принципов к данному роду материалов. Ввиду такого пробела я и попытаюсь прежде всего установить общее понятие о критике, а затем уже перейду к изложению главнейших принципов и методов критического рассмотрения источников, слагающихся в зависимости от того, каковы познавательная цель и объекты такого рассмотрения.

§ 1. Общее понятие об исторической критике и о главнейших ее разновидностях

Понятие о критике вообще гораздо шире того значения, какое обыкновенно придается ему в исторической методологии источниковедения**.

* См. выше сс. 54 <Т. 1. С. 130–131>, 359, 363 <Т. 2. С. 23–24, 27>. Вообще, кроме сочинений, указанных на сс. 358–365 <Т. 2. С. 23–29> и др., а также статьи А. Кюнена (*A. Kuenen*, Die kritiche Methode, 1880 г., в его Gesammelte Abhandlungen zur Biblischen Wissenschaft, übersetzt von K. Budde, Fr. in B. und Lpz. 1894, SS. 3–46) много ценных указаний по части критики источников письменных можно найти и в более специальных исследованиях и изданиях: припомним работы Эрнести, Михаелиса, Шлейермахера, Баура, Штрауса, Ренана, Кюнена, Ревилля, Веллгаузена и других, над текстами священного писания; работы Гутшмида и других, над источниками, касающимися востоковедения и классической древности; работы Бентли, Лахманна, Гаупта, Ритчля, Беккера, Мадвига, Джебба и других над произведениями классических авторов; работы Шлёцера, Нибура, Моммзена, Дёллингера, Шеффера-Буахорста и других над летописями и многими другими историческими преданиями; наконец, работы Лахмана, Бенеке, Делиуса, Милля, Кельбинга, Зупитцы, Шаля, Мезьера, Сент-Бёва, Тэна и других над произведениями литератур германских и романских народов и т. п.

** *W. Wundt*, Logik. Bd. III, SS. 109–124; ср. SS. 317–321, 373–380. Широко понимая «критику», как один из методов «наук о духе», Вундт слишком мало раз-

В широком теоретико-познавательном смысле всякое суждение, устанавливающее некоторую ценность того, о чем субъект судит, можно назвать критическим; под критикой я буду разуметь, однако, только теоретическое отнесение данного объекта к общезначимой ценности, а не чисто утилитарную или произвольно-субъективную его оценку.

С такой точки зрения можно различить критики: научную, моральную и эстетическую, смотря по тому, относит ли субъект изучаемый им объект к научной, моральной или эстетической ценности, т. е. будет ли он судить о нем с точки зрения истины, добра или красоты.

Понятие о «научной» критике, устанавливающей ценность данного объекта с точки зрения истины, всего более, конечно, подходит и к понятию об исторической критике: и она устанавливает научную ценность источника. Ввиду такой ее цели легко отличить историческую критику от моральной или от эстетической критики, иногда называемой «литературной».

Впрочем, историк пользуется и остальными видами критического рассмотрения, но только он придает им подчиненное значение: задаваясь целью установить научную ценность изучаемого им объекта, он может, конечно, ввиду главной цели, обсуждать, например, насколько автор данного источника считал своей нравственной обязанностью придерживаться истины или в какой мере он сумел достигнуть художественного ее воспроизведения; но в таких случаях он, очевидно, интересуется не собственно моральною или художественною ценностью его идей, а тем значением, которое они имеют для научно-исторической оценки источника, т. е. для выяснения подлинности или неподлинности его происхождения, достоверности или недостоверности его показаний и т. п.

Предлагаемое понятие о научной критике, однако, все еще слишком широко для того, чтобы остановиться на нем при определении исторической критики: научная критика может ценить данный объект и с точки зрения «абсолютной» истины, и с точки зрения истины «фактической»; историческая критика пользуется, конечно, отнесением к «абсолютной» истине, но для того, чтобы установить ценность источника в его отношении к фактической истине; с последней точки зрения она, в сущности, и выясняет ценность данного объекта — источника*.

личает, однако, теоретико-познавательную точку зрения от генетической и упускает из виду отнесение к фактической ценности, благодаря чему едва ли дает достаточно ясное понятие об исторической критике; ср. ниже с. 521 <Т. 2. С. 160>. Дальнейшие литературные указания см. выше, особенно на сс. 49 <Т. 1. С. 126> и сл., 358 <Т. 2. С. 23> и сл.

В самом деле, если припомнить основную задачу методологии источниковедения, то не трудно будет построить и наиболее общее понятие об исторической критике в только что указанном смысле. Методология источниковедения стремится выяснить критерии, на основании которых историк может утверждать действительное существование того факта, которым он интересуется; но историческая критика преследует такую задачу с иной точки зрения, чем интерпретация: историк-критик входит в оценку научного значения источника, поскольку, на основании сообщаемых им данных, он получает право утверждать, что этот факт действительно был, вместо того, чтобы, подобно историку-истолкователю, стремиться только понять, какой именно факт мог бы быть восстановлен на основании данного источника. Историческая критика, значит, определяет научную ценность источника для построения действительности, что она и может сделать только путем отнесения его к научной ценности, называемой

* Понятие об исторической критике, как отнесение данного источника к фактической истине, можно вскрыть и в прежних определениях ее задач, но без достаточного ясного выделения с теоретико-познавательной точки зрения, основной из них. Шлейермахер полагал, например, что «die Aufgabe der historischen Kritik ist... die, aus Relationen die Thatsachen zu construiren, also zu bestimmen, wie sich die Relationen die Thatsachen zu construiren, also zu bestimmen, wie sich die Relation zur Tatsache verhalte»[189]; см. *F. Schleiermacher*, Herm. und Kr., SS. 266, 271. Бёк, в отделе «исторической критики», указывал на тройную ее задачу: «доказать, соответствует ли данный памятник исторической истине или нет, в случае, если он не соответствует, подыскать, что было бы более подходящим (das Angemessenere) и что оказывается первоначальным»; см. *A. Boeckh*, Encyklopaedie, S. 207. Бернгейм замечает, что [положительная] «задача критики состоит в том, чтобы установить фактичность («die Tatsächlichkeit») данных, сообщаемых источниками, а тем самым и отмеченные в них события или решить, с какою степенью вероятности их можно признать фактическими»; и что отрицательная задача критики соответственно, сводится к тому, чтобы установить, какие данные «не имеют фактического значения». В предлагаемом им определении Бернгейм, помимо вышеуказанного общего пробела, едва ли достаточно ясно различает познание действительности от эмпирических данных, служащих для ее познания, и слишком мало принимает во внимание понятие об исторической ценности; см. *E. Bernheim*, Lehrbuch, Кар. IV. SS. 324, 324–325. Ср. еще выше сс. 186 <Т. 1. С. 239> и сл. и ниже § 3.

«фактической» истиной; с такой точки зрения историк стремится установить, в какой мере данный источник может служить для познания действительности, а не только желает уразуметь его содержание.

Вышеустановленное понятие получает дальнейшую квалификацию, если принять во внимание, что главная задача историка — научно познать ту действительность, которая называется «исторической»; в таком именно смысле можно говорить об исторической ценности источника, т. е. о ценности его для исторической науки, поскольку она стремится научно построить историческую действительность.

На основании вышеприведенных рассуждений можно прийти к заключению, что историческая критика устанавливает научно-историческую ценность источников.

Общее понятие о критике нельзя, конечно, смешивать с ее психогенезисом: вообще она возникает под влиянием сомнения в ценности того, что интересует критика. Следовательно, можно сказать, что историческая критика источника появляется при сомнении в исторической ценности или фактическом значении источника для научного построения исторической действительности: историк, не устранивший своего сомнения путем внимательной интерпретации источника, стремится выйти из него, установив посредством критики положительное или отрицательное значение данного источника для такой именно цели*. Сомнение подобного рода может быть вызвано самыми разнообразными обстоятельствами: историк испытывает, например, потребность в критике источника, когда он не получает цельного впечатления от него; когда он замечает более или менее резкие уклонения от общепринятых или свойственных данному автору и уже известных его мыслей и форм изображения или речи; когда он усматривает действительные противоречия между его показаниями или заметную их односторонность; когда он вскрывает его тенденциозность или пристрастие; когда он наталкивается на разногласие между показанием данного источника и показаниями других источников, которое, в случае последние заслуживают доверия, может привести к обнаружению ошибок и заблуждений автора источника, его тенденциозности или пристрастия; когда он не располагает достаточно надежными известиями о его происхождении, узнает о полемике или научных спорах, связанных с его появлением или дальнейшим исследованием, и т. п.

* *W. Wundt*, Logik. Bd. III, S. 113; автор говорит о «сомнении в содержании и ценности изучаемого предмета», но можно сомневаться и в подлинности источника, а самый факт его существования и содержания тоже могут представлять «ценность» для историка, только не ту, которую разумеет автор, говоря об оценке человеческих «мотивов и действий», см. S. 118. Частные замечания и примеры см. у *F. Blass*, Op. cit., Kr., §§ 1, 16–18 (SS. 249–251, 274–277).

Следует заметить, однако, что, в той мере, в какой критика вообще выводит исследователя из сомнения, она имеет положительное значение для познания; то же можно, разумеется, сказать и об исторической критике: благодаря ей историк может не только отвергнуть одно из борющихся между собой предположений, но принять другое, выводящее его из его исторического скепсиса, все равно, приведет ли оно к положительной или к отрицательной оценке источника; в последнем случае такое отрицание удержит его в пределах его основной задачи, не дозволив ему смешивать фикцию с исторической действительностью, к построению которой он стремится.

Всякая критика, а значит и историческая, предполагает наличность критерия, в силу которого нечто признается ценным. В научно-исторической критике следует, конечно, принять истину, в особенности «фактическую» за такой критерий; но, прилагая тот же термин и к более частному основанию, в силу которого источник оказывается ценным в каком-либо научно-историческом отношении, можно называть критерием и тот более или менее общий признак, при наличности которого историк считает себя вправе высказывать какое-либо более частное суждение о научно-историческом значении данного источника. В таком смысле можно рассуждать о критериях научно-исторической ценности источника, т. е. о критериях его подлинности или неподлинности, достоверности или недостоверности и т. п. и даже устанавливать хотя бы несколько критериев, более или менее связанных между собою и служащих рациональными основаниями для признания источника ценным в каком-либо научно-историческом отношении, т. е. для признания его подлинным или неподлинным, достоверным или недостоверным.

Вообще метод такого историко-критического разбора можно назвать дедуктивным в той мере, в какой он состоит в отнесении источника к общезначимой истине и в установлении того отношения, какое обнаруживается между данным продуктом творчества и той группой, к которой он принадлежит; но нельзя не заметить и при-

смов индукции в том преимущественно сравнительном методе, которым исследователь пользуется для установления реальных соотношений подобного рода; впрочем, собственно исторический характер такого разбора обнаруживается, главным образом, в изучении фактического значения источника и его индивидуальных особенностей*.

Дальнейшее выяснение понятия об исторической критике, о ее принципах и методах можно поставить в связь с определением главнейших ее разновидностей.

С точки зрения различия в тех познавательных целях, какие критика преследует, можно различать и несколько ее разновидностей; но в современной литературе только что указанные принципы деления все еще слишком мало отличаются от различия в общем содержании тех объектов (источников), к которым она прилагается, что отражается и на терминологии подобного рода делений: она также часто колеблется**.

* Ученые, размышлявшие над задачами критики, даже сводили понятие о ней или о ее цели к «сравнению» источника с «идеей», а также к рассмотрению «единичного в его отношении к единичному» или же к изучению «отношения», в каком источник находится к индивидуальности автора или к «окружающей среде», приводящему к установлению соответствия или несоответствия между «сравниваемыми предметами»; см. *F. Schleiermacher*, Herm. und Kr., SS. 266, 269–270; *A. Boeckh*, Encyklopaedie, SS. 77,170.

** Разные ученые различно делят критику. Вышеуказанное деление Шлейермахера (с. 360 <Т. 2. С. 25>) было уже отклонено Бёком, делившим критику так же, как и герменевтику, на «грамматическую, историческую, индивидуальную и родовую (generische)» (S. 170); но деление Бёка в свою очередь было оставлено Бласcом: уклоняясь и от схемы, предложенной Урлихсом и тоже слишком случайной, сам Бласс, однако, скорее указывает на стадии, через которые проходит критическая работа «классика», чем на главнейшие разновидности критического рассмотрения (Einl., § 2, SS. 251–252). В настоящее время мыслители и ученые большею частью принимают деление критики на a) критику филологическую и историческую (отчасти Шлейермахер, Вундт); b) на «критику подлинности» и «критику правильности» (показаний) источника, впрочем, не устанавливаемых с достаточною ясностью в качестве основных разновидностей критики (ср. *C. Droysen*, Grundriss, §§ 29–32: «Kritik der Aechtheit», «Kritik des Früheren und Späteren», «Kritik des Richtigen»); c) на критику «низшую и высшую» (Шлёцер, Дройзен и мн. др.); d) на критику «внешнюю внутреннюю» (Бернгейм и др.); e) на «критику текста» и «критику показаний» (Пауль и др.) и т. п. При установлении таких делений, кажется, или слишком мало принимают во внимание основное различие историко-познавательных задач, преследуемых при изучении источника (a, b, c), или различают виды критики скорее по объектам ее исследования (d, e).

Вообще, приступая к установлению разновидностей исторической критики в зависимости от ее познавательных целей, следует иметь в виду, что источник может иметь научно-историческую ценность в двояком смысле: в качестве исторического факта или в качестве показания об историческом факте*. С такой точки зрения можно различать и два рода критики: критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника, как факта, и критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника о факте.

В самом деле, нельзя пользоваться данным источником для исторических целей, не выяснивши, действительно ли он есть тот самый исторический факт, каковым он представляется наблюдателю. Для того, однако, чтобы иметь основание утверждать нечто подобное, надо быть уверенным в том, что источник действительно возник и сохранился в том именно виде, в каком он представляется историку, а для достижения такой уверенности последний и обращается к критическому рассмотрению источника, как факта: он выясняет, действительно ли данный источник существовал или он подделан; действительно ли он возник в такое-то время и в таком-то месте, благодаря такому-то автору (в широком или узком смысле слова) или же он принадлежит не тому автору, которому, казалось, он мог быть приписан, и оказывается неподлинным; должен ли он быть признан копией или более или менее искусной подделкой и т. п.

Вообразим, что подлинность данного источника доказана; но достаточно ли признания источника подлинным для того, чтобы пользоваться им для построения исторической действительности? Ведь в силу понятия об источнике, установленном выше, он не есть тот факт, из-за знания которого он изучается: в самом благоприятном смысле источник может оказаться только более или менее значительным остатком изучаемого факта, по которому можно сделать более или менее вероятное заключение о последнем; в менее благоприятном смысле он только одно из последствий изучаемого факта, результат его влияния на сознание автора, повествующего о нем в данном источнике. Следовательно, не всякий подлинный источник может служить для восстановления исторической действительности: для того, чтобы признать факт, сведения о котором почерпаются из показаний источника, действительно бывшим, историк должен подвергнуть

* См. выше сс. 325 <Т. 1. С. 353–356>, 367 <Т. 2. С. 30–31>.

критике не только самый факт существования этого источника, но и его показания о том факте, который его интересует. Лишь в той мере, в какой показания источника отличаются достоверностью, он может служить для познания исторической действительности: пользуясь достоверными показаниями и отбрасывая недостоверные, историк может построить действительно бывший исторический факт.

Вышеуказанное различие между критикой источника, как факта, и критики показаний источника о факте может вызвать некоторое сомнение. В том случае, например, когда речь идет об одном и том же факте существования источника, т. е. когда источник сам дает показание о факте собственного своего существования, трудно, казалось бы, различить критику источника, как факта, от критики его показания о факте; но факт существования источника все же нельзя смешивать с его показанием о факте собственного своего существования; последнее можно рассматривать как факт подачи показания или как более или менее явно высказываемое экзистенциальное суждение о факте существования источника со стороны того, кто дает показание о факте, интересующем историка; если иметь в виду факт подачи показания, то и критиковать его придется в духе критики источника (в данном случае отождествляемого с показанием), как факта; если же обращать внимание не на факт подачи показания, а на показание хотя бы о том же факте его подачи, то и критиковать его нужно будет в духе критики показаний источника о факте.

Таким образом, с познавательной точки зрения можно различать два рода исторической критики: критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника, как факта, и критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника о факте*.

* В тексте я уже выяснил значение принимаемого деления; оно выражено и в предлагаемой мною терминологии; впрочем, можно сказать, что это деление по содержанию своих частей, в известной мере, совпадает с вышеприведенными делениями критики на «филологическую» и «историческую», на «внешнюю» и «внутреннюю» и т. п. Деление критики на «критику подлинности» и «критику достоверности» источника, пожалуй, ближе остальных подходит и к принятой мною группировке, но я предпочитаю придерживаться иной терминологии по следующим соображениям: только что приведенные термины недостаточно ясно выражают основную задачу методологии источниковедения в применении ее к критике, да и не обнаруживают главного принцип деления; далее они связаны со старинным их пониманием, не вполне соответствующим тому, какого я придерживаюсь; наконец, они едва ли правильны и в стилистическом отношении: критиковать «подлинный» или «достоверный» источник, конечно, излишне; вместе с тем «критика подлинности» или «достоверности» источника должна иметь в виду и его неподлинность или недостоверность, а также их различные степени и т. п., о чем см. ниже.

Впрочем, легко заметить, что историк может комбинировать оба вида критики: он, конечно, признает действительное существование того, кто дает показание, а значит и самого показания о факте, что, в сущности, предполагает, в случае нужды, критику источника (показания), как факта; вместе с тем, для критики источника, как факта, он может пользоваться и критикой показаний об этом факте.

Вышеуказанные разновидности критики получают, однако, различные применения в зависимости от различия ее объектов; но здесь достаточно указать только на те из них, которые получаются, если принять во внимание деление объектов критики, т. е. источников, на изображающие и обозначающие, на остатки культуры и исторические предания.

Вообще можно сказать, что критика в меньшей мере прилагается к источнику изображающему, чем к источнику обозначающему: личное творчество в большей мере связано данными условиями — материалом, техникой и т. п. в источнике изображающем, чем в источнике обозначающем; значит, автор источника легче может обнаружить свой субъективизм в источнике обозначающем, символы которого легче связываются с гораздо большим числом подразумеваемых представлений и оказываются гораздо более гибкими и условными знаками, пригодными для выражения настроений автора. Следовательно, вообще источник изображающий в меньшей мере нуждается в критике, чем обозначающий источник.

В дальнейших рассуждениях важнее, однако, иметь в виду деление источников на остатки культуры и на исторические предания; из самого понятия о них следует, что вышеуказанные виды критики в разной степени приложимы к ним. Остатки культуры могут, конечно, оказаться или подлинными, или неподлинными, но если подлинность или неподлинность их доказана, то и задача критики их, в сущности, исчерпана. В самом деле, между существованием одного и того же факта и его несуществованием нет и не может быть посредствующих степеней; но остаток культуры или есть остаток некоего факта, имеющего значение более крупное, чем его собственное, и в таком смысле тоже факт; или не есть его остаток и в таком смысле не может быть этим фактом; значит, если подлинность или неподлинность данного остатка культуры доказа-

на, достоверность или недостоверность его, в качестве остатка культуры, не подлежит дальнейшему обсуждению. Самое понятие о достоверности или недостоверности прилагается не к фактам, а только к нашему знанию о них; значит, оно применимо лишь к тому источнику, который рассматривается не как факт, поскольку он оказывается остатком исторического факта, а как чужое знание пли показание о нем, т. е. к историческому преданию; даже ложное известие есть объективно-существующий по отношению к историку факт, но, конечно, лишь в смысле действительно бывшего состояния сознания того, кто сообщает известие, а не в смысле действительного существования того факта, о котором он сообщает; историческое предание, напротив, может оказаться подлинным в только что указанном смысле, и тем не менее не обладать достоверностью своих показаний; или быть не подлинным и тем не менее содержать кое-какие достоверные известия. Титул, указывающий на принадлежность данного произведения некоему автору, например, может быть подлинным в том смысле, что он действительно написан сочинителем, но может оказаться и недостоверным, если приписывает сочинение данного произведения какому-либо известному автору, не повинному, однако, в его составлении; или, обратно, титул может оказаться неподлинным и тем не менее содержать достоверное показание об имени автора, который создал изучаемое произведение, и т. п.

Впрочем, следует иметь в виду, что вышеуказанное ограничение относится лишь к тем остаткам культуры, которые строго подходят под чистое понятие о них, а не к тем реально данным продуктам, которые часто обнаруживают смешанные признаки и остатки культуры и исторического предания: реально-данный источник, будучи преимущественно остатком культуры, может, однако, содержать показания о факте: предмет древности, например, иногда снабжен надписью, свидетельствующей об авторе, или о правителе, при котором он сделан, и т. п., но с такой точки зрения и предмет древности подлежит критике его показаний о факте существования данного автора, правителя и т. п.; старинные документы часто содержат немало показаний, даже заимствованных из исторических преданий, и с такой точки зрения, разумеется, подлежат такой же критике, какая применяется и к показаниям, заключающимся в исторических преданиях*.

Итак, критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника, как факта, приложима и к остаткам культуры и к историческим преданиям; критика же научной ценности показаний источника о факте, в сущности, применяется только к историческим преданиям; такое различение не исключает, однако, возможности пользоваться обоими видами для исторической критики конкретно данного источника более или менее смешанного характера.

* См. выше сс. 385–386 <Т. 2. С. 45–46>.

В зависимости от различия в познавательных целях, с точки зрения которых разновидности исторической критики устанавливаются, общие принципы и методы в каждой из них, конечно, получают соответствующие оттенки и осложнения, которые будут рассмотрены ниже.

Против подробного их рассмотрения, однако, можно было бы сделать возражение, аналогичное с тем, какое уже подвергалось обсуждению в отделе интерпретации: в связи с «чутьем», которое развивается у историка-истолкователя и которое, казалось бы, избавляет нас от выяснения методов интерпретации, стоит и аналогичное с ним «чутье» историка-критика: историк, хорошо знакомый с данной культурой, вырабатывает в себе особого рода критическое «чутье»; он непосредственно принимает то, что, казалось бы, требовало утомительных доказательств, и сомневается в том, что, казалось бы, не нуждается ни в каких доказательствах*. Такое постигание не может, однако, заменить систематическое рассмотрение основных положений исторической критики вообще, да и главнейших ее разновидностей. Посильно выясняя их задачи, я буду иметь в виду, главным образом, те принципы, которыми историк пользуется при приложении критики в каждой из указанных разновидностей к изучению объективно данных ему источников, а также главнейшие ее методы, и менее буду останавливать-

* *A. Boeckh*, Encyklopaedie, SS. 174, 176–177, 184, 186. В связи с таким чутьем можно поставить и так называемую «divinatorische Kritik»[190].

Лучший свод правил исторической критики см в соч. *E. Bernheim*'а Lehrbuch, Кар. IV. Автор упустил, однако, из виду главнейшие общие критерии историко-критического рассмотрения, что отразилось и на общем построении всего его учения о критике; оно носит характер весьма обстоятельного свода правил и сведений преимущественно о технических приемах историко-критического исследования с массой хорошо подобранных примеров; он также чуть ли не смешивает понятие о неподлинном источнике с понятием об источнике поддельном или понятие о его подделке с понятием о его недостоверности или лживости, разумеется, устанавливаемых при помощи той критики, которую он называет «внутренней»; см., например, сс. 349, 354, 355, 356, 372. В нижеследующем изложении я пользуюсь некоторыми из примеров, приводимых автором, не считая нужным каждый раз ссылаться на его монументальный труд.

ся на изложении тех ее технических приемах, которые легче усмотреть из специальных научных исследований, посвященных обработке данного рода источников, или усвоить на практике.

§ 2. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника, как факта

[1. Понятие о критике, устанавливающей научно-историческую ценность источника, как факта]

Вообще, можно сказать, что критика источника, как факта, прежде всего выясняет, следует ли признать данный продукт существующим или мнимым источником; иными словами говоря, должно ли считать его действительным или поддельным.

В рассуждениях подобного рода, однако, понятие о действительном источнике оказывается довольно широким: легко подвести под него не только подлинный, но и неподлинный источник; каждый из них может служить для познания той исторической действительности, частью которой он представляется. Только подлинный источник оказывается прямым, а неподлинный источник — косвенным средством для достижения такой цели: ведь и неподлинный источник, не будучи тем именно источником, которым он представляется, все же признается действительно существующим, как источник, и, напротив, отличается от поддельного «источника», который не считается таковым для той культуры, к которой он будто бы относится и реальное существование которого, в сущности, принимается лишь в качестве факта подделки; следовательно, неподлинный источник, более или менее отражающий в себе подлинный, все же может косвенно служить для познания той культуры, которую нельзя познать из поддельного продукта, хотя бы последний и мог пригодиться для характеристики той культуры, в которой он действительно возник*.

* Впрочем, если различать термины «не подлинный» и «неподлинный», можно было бы называть «не подлинными» источники, подлинность которых отрицается, но положительное содержание которых еще не предрешается и, значит, применять тот же термин для обозначения и неподлинных, и «поддельных источников»; но во избежание смешения понятий и принимая во внимание некоторые характерные признаки последнего рода источников, их все же пришлось бы выделить в особую группу и сохранить за ними наименование «поддельных».

Ввиду того, что действительные источники составляют главный исторический материал и что без понятия о действительном источнике нельзя говорить и о более или менее случайной подделке источника, возникающей и обнаруживаемой лишь при некотором знакомстве с действительно данным историческим источником, критика источника, как факта, выясняет преимущественно те принципы и методы, при помощи которых историк изучает действительные источники; но она обращает внимание и на те дополнительные соображения и приемы, благодаря которым историк признает доступный ему материал поддельным источникообразным продуктом.

[2. Критерии и методы установления подлинности или неподлинности действительного источника]

[а) в применении к источнику вообще]

Нельзя утверждать, однако, что данный материал есть действительный источник, без всякого основания: оно состоит в том, что мы можем отнести свое представление об источнике, как таковом, к истине, в особенности к фактической истине, благодаря чему источник и представляется нам данным в действительности; смотря по тому, однако, к какой именно фактической истине историк относит источник, он и придает самому факту его существования различное значение: он различает подлинный источник от неподлинного.

Понятие о подлинности источника можно формулировать следующим образом: если историк имеет основание утверждать, что действительный источник есть тот самый факт, каким этот источник представляется ему, он и признает его подлинным. В самом деле, утверждая, что источник есть действительно тот самый факт, каковым этот источник представляется ему, историк признает, что автор его есть действительно то самое лицо (единичное или коллективное), которым он представляется; что этот источник действительно возник в то время и в том месте, которые в нем означены; что этот источник действительно сохранил ту самую форму и то самое содержание, какие он получил при своем появлении; что этот источник действительно имел то самое значение, какое он сам себе приписывает, хотя бы, например, значение оригинала, а не копии, и т. п. На основании таких суждений историк и приходит к заключению, что данный источник — подлинный.

Соответственно с понятием о подлинности источника можно формулировать и понятие о его неподлинности: если историк имеет основание утверждать, что действительный источник есть другой факт, а не тот самый, каким этот источник представляется ему, он и признает его неподлинным. С такой точки зрения историк называет неподлинным, например, произведение, которое принадлежит не тому автору, творчеству которого оно приписывается, или возникло не в том месте и не в то время, к которым оно будто бы относится, или имеет не то значение, какое будто бы ему придается, и т. п., хотя бы оно косвенно и могло более или менее служить для познания исторической действительности.

Вообще-то рациональное основание, в силу которого историк признает данный ему источник подлинным пли неподлинным, помимо общего значения, уже указанного выше, может иметь и более частные: каждое из них дает особый критерий. В числе главнейших из таких критериев можно отметить понятие о единстве или разъединенности сознания, с точки зрения которого источник рассматривается, а также понятия о его соответствии или несоответствии с той культурой и той индивидуальностью, к которой он относится. Рассмотрим каждый из указанных критериев в отдельности, в их применении к установлению подлинности или неподлинности источника.

Критерий единства сознания можно формулировать следующим образом: постоянно испытывая систематическое единство своего собственного сознания, историк с той же точки зрения подходит и к источнику, как продукту чужого сознания; если он с такой точки зрения может включить в систематическое единство своего собственного сознания свои представления об источнике, как о едином целом, он не сомневается и в единстве чужого сознания или субъекта, породившего источник, а значит, получает основание и для признания его подлинности; он пользуется принципом единства своего собственного сознания для того, чтобы в качестве предпосылки исходить и из понятия об единстве того чужого сознания, которое запечатлелось в изучаемом им источнике; если историк считает себя вправе утверждать, что это единство обнаружилось в данном источнике, т. е., что один и тот же субъект произвел его, он и получает некоторое основание признавать подлинность его продукта — источника.

Такое суждение, разумеется, можно высказать и о единичном, и о коллективном лице, творчеству которого данный источник приписывается. В самом деле, можно применять его даже в том случае, когда произведения собирательного лица или учреждения состоят из групп, каждая из которых представляет совокупность копий, снятых с одного и того же образца; можно называть «подлинными» не только образцы, но снятые с них копии в том смысле, что они действительно вышли из того учреждения, за фабрикаты которого они выдаются: в таком смысле историк говорит, например, о подлинности танагрской статуэтки или о подлинности эльзевировского издания[191] и т. п.

Нельзя, однако, сказать, что источник, составление которого историк фактически не может приписать определенному лицу, единичному или коллективному, тем самым теряет значение подлинника: он все же, при наличности единства его элементов (и при отсутствии других поводов к сомнениям), может признать его подлинным, хотя и анонимным; он не отрицает того, что автор источника, например, составитель известной древнейшей венгерской хроники[192], действительно существовал и т. п.; он только не знает его имени.

Итак, в качестве критерия для признания подлинности источника, естественно пользоваться понятием о единстве того сознания или индивидуального творчества, которое запечатлелось в нем. Впрочем, можно судить о единстве сознания субъекта не только по логической согласованности мыслей, но и по единству его цели, и по единству ее исполнения в источнике.

В самом деле, единство произведения становится иногда заметным скорее с точки зрения той цели, ввиду которой автор создал его, чем в координированности содержащихся в нем частей. Можно указать на источники, подлинность которых не вызывает сомнений, несмотря на диспаратное[193] их содержание. Судя по современному известию, например, фамилия де Круа обладает старинной картиной, прославляющей древность их рода; она изображает всемирный потоп: «вода быстро возвышается, Ноев ковчег уже плывет и тонущие члены семейства де Круа, едва поддерживаясь на воде, перебрасывают свои грамоты и гербы в руки молодой невестки Ноя, урожденной девицы де Круа»; ввиду указанной цели картина де Круа все же получает некоторое единство, свидетельствующее в пользу ее подлинности, как остатка культуры. С такой же телеологической точки зрения и другие источники, например, фантастическая генеалогия Московских царей, производивших Рюрика от Пруса, брата

«единоначальствующего на земле римского кесаря Августа», признаются подлинными*.

Впрочем, единство данного произведения может обнаружиться и в единстве его исполнения. Последнее состоит, главным образом, в его стиле; выдержанность стиля источника производит впечатление цельности, которая связывается с представлением о его подлинности. С такой точки зрения можно подыскать, например, новое основание для того, чтобы признать скульптурные изображения на восточном фронтоне Парфенона — подлинными произведениями Фидия, или диалог, известный под названием «Фэдон»[194] — подлинным сочинением Платона и т. п.

Понятие о единстве сознания субъекта находится в тесной связи и с понятием о его непрерывности, а последнее понятие лежит в основе того критического рассмотрения, путем которого историк, на основании предварительного своего знакомства с произведениями данного автора, приходит к заключению, что он может и изучаемый им источник приписать творчеству того же автора. Ясно, что исследователь не имел бы основания сделать такой вывод, если бы он не исходил из понятия о том, что в силу непрерывности своего сознания, данный автор обнаружил тождественные или весьма сходные черты творчества в целом ряде своих произведений, благодаря чему, усматривая такие же черты в новом произведении, историк признает его продуктом того же самого автора. Прием подобного рода часто употребляется, например, в тех случаях, когда историк приписывает известному автору данное произведение на основании его сходства с другими произведениями, несомненно принадлежащими тому же автору; или в том случае, когда он замечает, что сам автор в другом месте ссылается на данное произведение, как на свое, и не имеет достаточных оснований сомневаться в его подлинности. Благодаря вышеуказанным признакам историк приходит к заключению, например, что «Афинская полития», текст которой был найден на оборотной стороне одного папируса, — известное произведение Аристотеля, одна из тех его «политий», материал для которых он подбирал в связи с сочинением своей «Политики»[195].

* *С. Голубев*, Описание и истолкование дворянских гербов южно-русских фамилий в произведениях духовных писателей XVII в., см. Труды Киев. дух. Акад. 1872 г. т. III, сс. 304–307, 345–346. ср. ib. 1884 г., № 3, с. 441. П. С. Р. Л., т. XXI, ч. 1, с. 7.

С точки зрения непрерывности сознания, обнаруживающегося в его развитии, можно, наконец, придерживаться того же принципа и при изучении частей одного и того же произведения, возникших в разное время и не вполне согласованных друг с другом, или разновременных произведений отличных друг от друга, но гипотетически связываемых между собою непрерывным рядом переходов, ввиду которых они и признаются подлинными продуктами одного и того же сознания; в таких случаях можно судить по одному из них, уже признанному за подлинный, и о подлинности другого, если последнее удастся связать с ним при помощи такого рода переходов, доказав, что оба они оказываются обнаружениями одного и того же сознания, но только на разных стадиях его развития. При критическом изучении диалогов Платона, например, можно возвести «Федр», «Политию» и «Законы», несмотря на их различие, к одному и тому же автору — Платону, если принять во внимание, что «Федр» — относится к более раннему юношескому, «Полития» — к зрелому, а «Законы» — к старческому периоду развития философа; или можно устранить некоторые сомнения касательно принадлежности известного «dialogus de oratoribus» Тациту[196], если полагать, что он написал его в молодости, и с последней точки зрения, значит, признать его подлинным произведением автора «Аннал».

Таким образом, критерий единства, а, значит, и непрерывности сознания, приписываемого автору источника, получает широкое применение при решении вопроса о его подлинности; но с той же точки зрения можно установить и основной критерий неподлинности источника: если историк не может примирить в своем собственном сознании противоречивых и диспаратных элементов или частей данного источника, т. е. замечает в нем разъединенность тех элементов психики, которые обнаруживаются в изучаемом источнике, и если он не в состоянии объяснить ее, исходя из гипотезы о тех, а не иных свойствах творца, породившего источник, он получает основание сомневаться в его подлинности. Такое сомнение получает дальнейшее обоснование, если историку удастся объяснить вышеуказанную разъединенность сознания, исходя из предположения, что элементы той психики, которые обнаруживаются в данном источнике, не могли принадлежать одному и тому же субъекту, благодаря чему и оказывается, что одни элементы источника плохо согласованы с другими.

Впрочем, о разъединенности сознания можно также судить и по отсутствию единства замысла, и по отсутствию единства в исполнении источника.

В сущности, можно заметить отсутствие единства замысла уже в том источнике, составление которого приписывается лицу, которое по воззрениям своим едва ли могло составить его, на что уже было указано выше. Такое же отсутствие еще более заметно в источнике, составные части которого диспаратны и который, значит, признается неподлинным в некоторых из своих частей. Античная группа, известная под наименованием «Лаокоон», не представляла, например, в позднейшем ее виде, полного единства замысла: и действительно, некоторые из ее частей — новейшего происхождения и оказываются результатом плохой реставрации; или «Комментарии о войне римлян с галлами», приписываемые Юлию Цезарю, также не производят однородного впечатления; между первыми семью книгами и последней — восьмой легко заметить различие, которое объясняется тем, что восьмая книга — неподлинная: она не принадлежит автору остальных семи книг.

В других случаях разъединенность сознания можно обнаружить и в отсутствии единства исполнения источника, что иногда оказывается достаточным для того, чтобы сомневаться в его подлинности. На том основании, например, что скульптурные произведения, украшавшие Парфенон, не отличаются полным единством исполнения, приходится предполагать, между прочим, что «рука Фидия осталась чуждой исполнения фриза», который мог быть приготовлен мастерами старой аттической школы, работавшими, впрочем, под его же наблюдением; или ввиду того, положим, что рукопись, писанная на родине Павла Диакона[197] в IX в. и содержащая его историю лангобардов (Cod. ecclesiae cathedralis Forojuliensis, civitatensis), не лишена, однако, ошибок и представляет «отступления» в «выражении словесных форм», нельзя признать ее подлинником, надо считать ее только копией и т. п.*

В связи с понятием о некоторой разъединенности сознания, обнаружившейся в данном источнике, можно поставить и отсутствие непрерывности сознания; оно также служит для установления неподлинности источника, существенные признаки которого слишком

* M. G. SS. rerum Langobardicarum et italicarum. Han., 1878, p. 28; ср. pp. 38, 44.

расходятся с уже известными характерными особенностями того творчества, к продуктам которого он будто бы принадлежит. В некоторых случаях можно судить об отсутствии непрерывности сознания вообще по тем уклонениям от характерных его особенностей, которые замечаются в источнике. Если историк, например, уже предварительно знает характерные черты живописи Леонардо да Винчи, высоко ценит грацию и свежесть его фигур, изящество налагаемых на них драпировок, а также законченность и поэтичность его пейзажей, он, пожалуй, припишет ему известную картину Благовещения, находящуюся в одной из флорентийских галерей; но если исследователь, вглядываясь в технику и содержание картины, заметит, что она отличается некоторыми чертами от обычного стиля остальных произведений великого мастера, положим, большею отчетливостью и резкостью линий, наличностью архитектурных прикрас в обстановке (античный цоколь, служащий пюпитром для Богоматери) и в пейзаже, то он сочтет себя вправе все же сомневаться в принадлежности изучаемого им произведения Леонардо да Винчи*. Возьмем другой пример. На основании показаний самого Платона и Аристотеля можно составить список подлинных диалогов Платона; изучивши характерные особенности подлинных его сочинений, положим, его нравственные стремления, осуществляемые в «научном исследовании», художественную законченность их формы и т. п., историк вслед за тем пытается определить подлинность или неподлинность остальных его диалогов; в частности, замечая, например, в формах диалогов «Софист» и «Политик» общие им особенности (разговор в обоих ведется не Сократом, а иностранным гостем с педантическим схематизмом), он, в силу вышеуказанного принципа, должен признать оба или подлинными или неподлинными, что́ гораздо более вероятно.

В других случаях можно заключать об отсутствии непрерывности сознания с точки зрения его развития во времени. В сущности, непрерывность сознания во времени, по крайней мере, при достаточной степени его оригинальности, можно усматривать в том, что оно развивается, а не повторяется; оно, конечно, может долго искать мысль и долго подбирать подходящую форму для ее выражения, но

* *E. Müntz*, Une éducation d'artiste au XV sc; см. Rev. des Deux Mondes, t. 83 (1887), p. 669. Боде и Лифарт считают эту картину Uffizi произведением Леонардо да Винчи.

в таком ряде опытов оно, при вышеуказанном условии, не может довольствоваться механической компиляцией уже высказанных мыслей, и ограничиваться простым их повторением в одной и той же форме. С последней точки зрения, например, диалоги «Минос» и «Гиппарх», приписываемые Платону, но содержащие много совпадений с местами из подлинных его произведений, представляются сомнительными: принимая во внимание характер его творчества, трудно предполагать, чтобы он сам занимался механическим компилированием своих мыслей, дословно выписывая их из других своих трудов; следовательно, повторения в них мест, тождественных с местами из других диалогов, не только не свидетельствует в пользу непрерывности сознания их автора, а скорее, напротив, обнаруживает ее отсутствие, что́ и дает основание признавать их неподлинными*.

В сущности те же понятия о единстве сознания индивидуального творчества, его непрерывности и т. п. применяются и к установлению подлинности или неподлинности данного источника сравнительно с другими. В самом деле, если каждый субъект обладает некоторым единством сознания, его непрерывностью и т. п., то предположение, что два или несколько субъектов поймут, построят и изобразят один и тот же действительно бывший факт тождественным образом, весьма мало вероятно. Такое совпадение, правда, возможно, если его воспринимают лица, стоящие на совершенно одинаковой ступени развития, и если самый факт чрезвычайно элементарен, но условия подобного рода вообще редко встречаются; тем менее вероятно, что они будут иметь место при наблюдении над историческими фактами. Ведь каждый человек обыкновенно воспринимает факт по-своему, каждый подходит к нему с наличностью своего, отличного от других психического фонда, который всегда разно влияет на ложащееся на него новое восприятие; различно воспринимая факт, каждый воспроизводит и выражает свои восприятия и понятия по-своему, в свойственной ему форме. Вместе с тем реально-данный объект наблюдения в сущности становится элементарным лишь после его отвлечения от многосложной действительности, а такое отвлечение уже находится в зависимости от субъективного состояния сознания того, кто производит наблюдение над фактом. Даже ученый не свободен от субъективизма своих представлений: «чтобы сказать, какие мысли возникнут у физика при наблюдении того или иного оптического факта, мы должны знать его прошлые переживания, силу впечатления, которую они оставили, факты как общего, так и технического культурного развития, которые имели на него влияние, и, наконец, мы должны еще быть в состоянии принять в расчет настроение его в момент наблюдения»*. Если, таким образом, наблюдения ученых могут зависеть от столь разнообразных условий и, значит, легко разнятся друг от друга, даже при наличности изощренных орудий наблюдения, то с тем большим основанием можно сказать то же относительно наблюдений, производившихся без ученой подготовки и при случайных обстоятельствах над объектами, обыкновенно гораздо более сложными. А между тем, наблюдения над историческими фактами большею частью отличаются таким именно характером; значит, вероятность полного совпадения подобного рода наблюдений, если только предполагать, что они производились независимо друг от друга, чрезвычайно мала; можно сказать то же самое и о тех продуктах их психики, которые мы называем подлинными источниками. Следовательно, естественно прийти к заключению, что подлинный источник лишь в редких, исключительных случаях может совпасть с другими источниками и что некоторое различие в их содержании, например, в мыслях или подробностях факта, частью отмеченных в одном источнике, частью — в другом, но согласных с главным фактом и взаимно дополняющих друг друга, может даже говорить в пользу подлинности обоих. Наоборот, полное совпадение между данными источниками или весьма большое сходство в характерных их особенностях, в большинстве случаев, естественно вызывает сомнение в подлинности почти всех из них, т. е. всех, кроме того, который послужил образцом для остальных; историк старается объяснить совпадение подобного рода тем, что составители тождественных или очень сходных между собою источников подражали какому-либо общему образцу или один из них другому. В датском рассказе о Токо и швейцарском рассказе о Телле, например, нельзя

* *A. Boeckh*, Encyklopaedie SS. 219–222; не возводя этих примеров к разбираемому принципу, Бёк, впрочем, справедливо указывает на то, что данный автор может, конечно, делать более или менее обширные заимствования из других произведений и что он иногда ставит их себе даже в заслугу, подобно, например, Цицерону; в последнем случае единство сознания обнаруживается в намеренности заимствований.

* *Э. Мах*, Анализ ощущений, рус. пер., стр. 272. Ср. еще ниже, § 3.

не заметить целый ряд совпадений даже в мелких, но характерных подробностях; ввиду такого сходства можно предполагать, что старший из этих рассказов, сообщенный Саксоном Грамматиком[198], послужил образцом для составления позднейшего рассказа о Телле, включенного в Белую книгу, и что, значит, последний, во всяком случае, нельзя признать подлинным*.

Итак, принцип единства или разъединенности сознания получает широкое применение для установления подлинности или неподлинности источника. Следует иметь в виду, однако, что такой принцип получает надлежащее свое применение лишь к изучению тех продуктов, которые возводятся к сознательной деятельности человека, реализованной в историческом источнике. Вместе с тем нельзя не заметить, что принцип единства чужого сознания, его непрерывности и т. п. представляется нам в его чистом, т. е. общем и формальном виде лишь путем отвлечения: в действительном ходе исследования он обыкновенно комбинируется с другими принципами критики источника, как факта, и всегда получает конкретное, индивидуальное содержание применительно к тому, а не иному автору рассматриваемого произведения, что уже легко заметить из выше приведенных примеров.

В связи с критерием единства сознания можно рассматривать и критерий соответствия данного источника с характерными особенностями той культуры, к которой он будто бы принадлежит: знание, какое историк получает об источнике, как о факте, он с познавательно-объединяющей точки зрения стремится поставить в соответствие со своим знанием о том культурном целом, к которому источник будто бы принадлежит; если он может установить такое соответствие, он признает данный источник — подлинным. Впрочем, тот же принцип легко формулировать и в реалистическом духе; можно перенести понятие о единстве чужого сознания и о его непрерывности на коллективное лицо, т. е. на социальною группу, породившую ту культуру, элементом которой данное произведение оказывается, и с такой точки зрения полагать, что, значит, всякий источник, действительно принадлежащий к ней, должен находиться в некотором соответствии с нею.

* Впрочем, тот же сюжет встречается и в других сказаниях. Между прочим в одной старинной исландской саге и рассказ о Токо, в свою очередь, может оказаться неподлинным, не говоря уже о сомнительной его достоверности; ср. еще *L. Gomme*, The handbook of Folklore, p. 143.

Итак, ввиду того, что данная культура, т. е. культура данного народа, места и времени и т. п. представляется историку в известной мере объединенным целым, он может исходить из понятия о некоторой согласованности ее элементов, отчасти уже знакомых ему, для того, чтобы судить о подлинности одного из ее элементов, в данном случае источника, подлежащего исследованию. Если историк замечает согласованность между известной ему культурой и изучаемым источником, он признает его подлинным; иными словами говоря, если историк может установить, что данный источник действительно занимает то положение в системе данной культуры, какое будто бы ему принадлежит, т. е. что источник соответствует, по своему характеру, той культуре, частью которой он себе представляет его, то он и получает некоторое основание для того, чтобы признать его подлинность.

Такое соответствие может получить, однако, различные значения, смотря по тому, разуметь ли под ним фактическую согласованность источника с той культурой, к которой он будто бы относится, или соответствие его с теми правилами, которые данная социальная группа вообще признавала; в последнем случае историк выясняет фактическое значение данного источника путем отнесения его к общепризнанной в данной местности и в данное время ценности: он принимает во внимание, например, те правила составления источника, соблюдение которых говорит в пользу подлинности или неподлинности источника. В таких случаях историк, очевидно, пользуется критерием соответствия данного источника с правилами, признание которых характеризует объемлющую его культуру.

Разбираемый критерий получает иногда довольно существенное значение: можно указать на такие случаи, когда источник обнаруживает некоторую разъединенность привходящих в него элементов, и тем не менее признается подлинным на том основании, что отсутствие в нем полного единства сознания само оказывается признаком, характеризующим известный период культуры; в случаях подобного рода, историк рассуждает о подлинности источника главным образом с точки зрения его соответствия с такой именно культурой*.

* Ср. выше с. 535 <Т. 2. С. 171–172>.

В произведениях варварского искусства, например, можно заметить немало таких, в которых единство художественного замысла еще очень слабо выражено и затемняется черезмерным количеством орнаментальных деталей большей частью звериного стиля, далеко не согласованных между собою: но наличность подобного рода особенностей в каком-либо остатке культуры может скорее свидетельствовать в пользу его принадлежности к вышеуказанной культуре, т. е. его подлинности, чем обратно, в пользу его неподлинности. Аналогичную аргументацию позволительно прилагать и к остаткам культуры позднейшего времени. Положим, что критик замечает на старинной картине Бош'а (Bosch)[199], представляющей бегство св. семейства в Египет, между прочим и изображение на заднем плане фламандского трактира с толпою сельских жителей, увеселяющихся танцами; но из-за такого отсутствия единства в композиции ему едва ли придет в голову сомневаться в подлинности картины; напротив, он воспользуется указанной подробностью для того, чтобы выяснить, в каком месте она возникла. Внимательно всматриваясь в одно из «реймских полотен», на котором представлена Иудифь у Олоферна, критик, конечно, обратит внимание на то, что Олоферн лежит на койке в полном вооружении средневекового рыцаря и что на заднем плане солдаты, осаждающие город, стреляют по нем из пушки и ружей; но такая несообразность едва ли внушит исследователю сомнения в подлинности картины: он усмотрит в ней лишь указание на время, когда она приблизительно возникла. С такой же точки зрения можно применять критерий единства культуры и к историческим преданиям. Отсутствие единства в изложении, например, в каком-нибудь произведении церковно-полемической литературы XI–XII вв., оказывается иногда признаком, скорее характеризующим его принадлежность к данной культуре: в то время было принято щедро пересыпать свое изложение цитатами из творений отцов церкви и т. п., служивших взамен собственной аргументации автора, и постоянно прерывавших ход его мысли; следовательно, с точки зрения критерия соответствия с известной культурой такое именно произведение, отчасти лишенное единства, но по приемам своего изложения соответствующее требованиям данного состояния культуры, все же может быть, в основном его содержании, подлинным.

Соответствие данного источника с известной культурой может, однако, обнаружиться в довольно разнообразных отношениях: самое понятие об источнике находится в связи с понятием о возникновении его в том месте и в то время, которые оказываются ближайшими к изучаемому факту; следовательно, можно говорить о соответствии источника с культурой данной местности или о соответствии источника с культурой данного времени. Каждый из видов такого соответствия, взятый независимо от другого, оказывается не вполне достаточным критерием для того, чтобы, на основании его, судить о подлинности источника: в самом деле, источник, соответствующий культуре данной местности, хотя тем самым и признается незаимствованным из другой, но все же может быть позднейшего изделия; а источник, соответствующий культуре данного времени, может быть и заимствованным; лишь имея в виду оба вида соответствия, можно пользоваться ими в качестве довольно важного критерия подлинности источника. Впрочем, для удобства изучения, естественно рассмотреть каждый из указанных видов в отдельности.

Соответствие источника с культурой данной местности служит критерием для установления его подлинности, главным образом, в тех случаях, когда историк стремится установить, что источник действительно возник в пределах распространения данной культуры. В некоторых случаях место возникновения само собою обнаруживается. Остаток древности, найденный историком в соответствующей обстановке (например, погребальной); или надпись, высеченная на скале; или документ, который сохранился в ворохе бумаг, составлявших старинное делопроизводство какого-нибудь учреждения, получает в его глазах значение подлинника. Историческое предание, конечно, далеко не всегда оказывается в той среде, в которой оно возникло; правда, оно иногда само свидетельствует о месте своего возникновения и, особенно в случае, если оно — памятник письменности, сообщает точные сведения о месте своего написания или издания; но произведения народной словесности редко содержат такие показания и определение места их возникновения сопряжено иногда (например, при изучении «странствующих сказаний») с большими затруднениями, не говоря о том, что всякое показание исторического предания о факте своего возникновения в том, а не ином месте, разумеется, требует предварительной критической его проверки.

В том случае, когда историк не находит источника в соответствующей обстановке, он стремится установить место его возникновения путем исследования. При таком исследовании историк, в сущности,

пользуется приемами, однородными с теми, которые ему приходится употреблять преимущественно в систематической интерпретации источника, хотя и применяет их для достижения иной цели: он устанавливает, например, место возникновения данного остатка культуры на основании соответствия его материала, техники, формы и т. п. с условиями данной местности, а также может принимать во внимание и следы позднейшего их влияния на данный остаток*; или он изучает место возникновения данного исторического предания на основании проверки собственных его показаний о месте его написания или печатания, а также косвенных данных, например, особенностей его письма и языка, т. е., преимущественно, его диалектологических особенностей и правописания, терминов и формул, стиля и литературной формы, наконец, его содержания, и т. п.; на основании, например, более или менее обстоятельного знания той, а не иной местности; и незнания других местностей (в частности географической номенклатуры), обнаруживаемых составителем источника, тех, а не иных патриотических его тенденций, а также разных подробностей, можно, конечно, с большою вероятностью указать местность, в которой его произведение возникло: место возникновения какой-нибудь летописи часто определяют при помощи таких показаний, иногда случайно или непроизвольно высказанных летописцем.

Благодаря разысканиям подобного рода историк получает возможность установить место возникновения данного источника или его соответствие с культурой данной местности, что и дает возможность признать его подлинность. Ученый издатель грамоты короля Рупрехта городу Кёльну от 25 июля 1401 года заметил, например, что она некоторыми диалектологическими признаками отличается от общеимперских актов и гораздо ближе стоит к особенностям местной кёльнской культуры; с такой точки зрения он пришел к заключению, что эта грамота возникла из проекта, поданного самими жителями г. Кёльна; значит, они принимали участие в составлении грамоты, если рассматривать ее с точки зрения ее фактического содержания, а не юридического значения*. Такое соответствие гораздо труднее обнаружить при изучении некоторых исторических преданий, например, средневековых аннал, найденных в Люнебургском монастыре св. Михаила. Эти анналы содержат преимущественно саксонские известия и предназначались для читателей, которые могли понимать имена действующих лиц без дальнейших объяснений, и т. п., т. е., принадлежали к той же местности; далее, в числе приводимых летописцем известий есть такие, которые касаются графа фон Штаде, видимо, интересующего составителя, и Розенфельдского монастыря, находившегося в пределах его владений; наконец, одно из таких известий, притом относящееся к последнему — 1130-му сохранившейся части, повествует о смерти «аббата Куно», который, судя по другим источникам, и был настоятелем Розенфельдского монастыря. Ввиду вышеуказанных соображений ученые пришли к заключению, что анналы, найденные в монастыре св. Михаила, были составлены в Розенфельдском монастыре**.

Соответствие источника с культурой данного времени также служит критерием для установления его подлинности. С такой точки зрения исследователь интересуется временем возникновения изучаемого источника. В тех случаях, когда он не может пользоваться для его определения прямыми показаниями источника и проверить их, он обращается к изучению косвенных данных, т. е. стремится выяснить соответствие его характерных признаков с признаками других фактов, время возникновения которых уже известно. Вообще, для того, чтобы решить такую задачу, историк пользуется приемами, аналогичными преимущественно с методом эволюционной интерпретации, хотя и для иной цели: он изучает материал, технику и форму, стиль и содержание источника; приемы его изображения или обозначения; оббивку или полировку, краски и т. п.; или язык, бумажные знаки, письмо, правописание, аббревиатуры, термины и формулы;

* Manuel de recherches préhistoriques, publié par la Société préhistorique de France, Par., 1906, pp. 108 et ss. В числе признаков подлинности каменной поделки археолог признает, например, наличность в ее трещинах следов почвы, в которой она была найдена; или перемен, происшедших на поверхности, а также в составе изделия из кремня в зависимости от той породы, в которой он пролежал более или менее долгое время; или инкрустаций; или дендритов (маленьких кристаллов из марганца); или мха; или естественной политуры на предметах, подвергавшихся действию речной воды и действию песка; или следов ржавчины на вещах, которые, значит, пролежали в земле и подвергались ударам плуга; или отпечаток на них корней и т. п.

* Deutsche Reichstagsakten, Bd. IV, № 372.

** M. G. SS. t. XVI fol. (ed. G. H. Pertz, 1859) pp. 99–104; ср. *Ph. Jaffé*, Ueber die Rosenfelder Annalen в Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. XI (1858), SS. 850–851, 855–858.

или его построение и изложение, его содержание в связи с фактами данного периода культуры и т. п.; при исследовании остатка культуры он обращает внимание, в случае нужды, и на позднейшие «следы времени», оказавшиеся на нем*; а при критической оценке исторического предания и на те факты, время возникновения которых можно установить по другим данным, например, на затмения; он также принимает в расчет и то, не умалчивает ли автор таких фактов, которые он должен был бы знать, или, напротив, не ссылается ли на источники или не приводит ли факты, которые он не мог знать, например, такие, которые стали известны или возникли после появления его труда, не обнаруживает ли он тенденции, характеризующей данное время, и т. п.**

Путем такого рода приемов, часто получающих чисто технический характер, историк пытается установить время возникновения данного источника или его соответствие с культурой данного времени, что́ и дает ему возможность признать подлинность источника. При изучении некоторых императорских, папских, да и частных грамот X–XIII вв., например, исследователи обратили внимание на несообразности между сведениями о том, при ком и где акт был дан, и т. п. и его датировкой, что и дало повод сомневаться в их подлинности; но с течением времени одному из знатоков средневековой дипломатики удалось объяснить такие несообразности неправильными приемами их составления, свойственными некоторым канцеляриям того времени, и таким образом доказать, что эти грамоты подлинные***.

* Manuel de recherches préhistoriques etc., pp. 110, 113–114; при критическом изучении поделки из кремня археолог признает ее подлинной, например, по ее корке, т. е. по переменам, происшедшим на ее поверхности или глубже в зависимости от более или менее продолжительного пребывания ее в почве или даже просто на солнце и под дождем; или по следам прежнего ее употребления, притупленности ее краев или конечности и т. п.; в аналогичном смысле историк судит об относительной древности других остатков по их ветхости, по оплывшему лаку на картине, по пятнам от сырости на бумаге и т. п. Ср. еще *W. Wattenbach*, Das Schriftwesen im Mittelalter, 3, Aufl., 1896.

** См. выше с. 450 <Т. 2. С. 100–101>. Ср. *F. Westberg*, Die Frage des Toparcha Got., S.-Pt. 1901, SS. 109–118.

*** *R. Rosenmund*, Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon, München und Lpz., 1897, SS. 86–89; главные приверженцы старого взгляда — Böhmer и Stumpf; нового — Фиккер; см., в особенности, *J. Ficker*, Beiträge zur Urkundenlehre, Innsbruck, 1887–1878, Bd. 1, SS. 44–59 и др.

Аналогичный случай произошел и при более пристальном изучении другого рода источника, принадлежащего к разряду исторических преданий, а именно биографии Бенно, епископа Оснабрюкского, составление которой приписывалось аббату Норберту в конце XI в.; признанная вслед за тем подделкою одного из гуманистов, та же биография снова рассматривается теперь как подлинное предание, главным образом, на основании соображений, в сущности основанных на принципе соответствия источника с культурой данного периода: заметив, что ритм его фраз был в то время в употреблении и уже исчезает после 1450-го года, некоторые из новейших исследователей и приходят к заключению, что биография Бенно, вероятно, сохранилась в более или менее подлинном виде, хотя и в позднейшем списке*.

С точки зрения такого же соответствия данного источника с теми условиями места и времени, в которых он будто бы возник, можно рассматривать и следы его или упоминания о нем в источниках, относящихся приблизительно к той же местности, а главное, близких к тому же времени: ссылки на автора изучаемого источника или выдержки из него, сделанные в современных ему (подлинных) источниках, уже обнаруживают согласованность его с некоторыми другими элементами соответствующей культуры: достаточно припомнить хотя бы то значение, какое, например, цитаты Аристотеля из произведений Платона или намеки на них получают для решения вопросов о том, какие из диалогов его подлинны.

В связи с понятием о разъединенности сознания естественно рассматривать и понятие о несоответствии данного источника с характерными особенностями той культуры, к которой он будто бы принадлежит: стоит только придать отрицательное значение тому ряду понятий, которые уже были рассмотрены выше при выяснении критерия соответствия данного источника с известной культурой для того, чтобы прийти к такому заключению. Следовательно, в более или менее резком различии между изучаемым источником и остальными элементами культуры, к которой он будто бы относится, легко

* *R. Scheffer-Boichorst*, Norbert's Vita Bennonis Osnabrugensis episcopi eine Fälschung? см. Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wiss. 1901, Bd. VII, SS. 132, 159, 162. *P. von Winterfeld*, Der Rythmus der Satzschlüsse in der Vita Bennonis, ib., SS. 163–168.

усмотреть некоторое основание для того, чтобы признать его неподлинным. Само собою разумеется, что при установлении такого соотношения можно различать несоответствие фактическое от нормативного: историк принимает во внимание, что источник может оказаться в разногласии или с фактами, или с общепринятыми правилами его составления; замечая, в последнем случае, что правила, которых обыкновенно держались при сочинении данного рода произведений, нарушены и не будучи в состоянии объяснить уклонения от них другими соображениями, он сомневается в его подлинности или признает его неподлинным.

При изучении несоответствия источника с той культурой, к которой он будто бы относится, нельзя не принять во внимание его разногласие и с культурой данной местности, и с культурой данного времени.

Само собою разумеется, что если источник или, по крайней мере, его характерные особенности не соответствуют культуре данной местности, его нельзя признать местным, туземным произведением: хотя источник не туземного происхождения может быть и «подлинным» с точки зрения той культуры, из которой он заимствован, но в той мере, в какой он выдается за туземный в его отношении к культуре, в которой он не возник, он признается «неподлинным»; имея в виду, например, что известное сказание о Вильгельме Телле оказывается не швейцарским, сказание о верных женах в Вейнсберге — не вюртембергским, сказание об Алеше (Александре) Поповиче — не киевским, можно в вышеуказанном смысле считать их «неподлинными». Впрочем, нельзя не признать такое словоупотребление довольно условным: оно чаще применяется в тех случаях, например, когда какой-нибудь перевод, положим, славянский перевод греческой хроники Георгия Амортола[200], очевидно, не может быть назван подлинным его произведением и т. п.

Если прямые или косвенные показания источника о времени его возникновения или его характерные особенности не соответствуют культуре того периода, в течение которого он будто бы возник, то историк также получает некоторое основание утверждать, что данный источник неподлинный: известный бюст Афины, оказавшийся в музее города Болоньи, хотя и сохранил немало подлинных черт, однако признается позднейшей, римской копией, т. е. неподлинным произведением греческого искусства V-го века; или старейшая из рукописей, в которой история Фукидида[201] сохранилась, писана почерком X-го века и, значит, очевидно, не подлинник и т. д.[202]

Кроме вышеуказанного рода несоответствия источника с условиями места и времени, в которых он будто бы возник, можно было бы указать и на несоответствие его с данной группой источников, относящихся к той же культуре. Следует заметить, однако, что по молчанию современных источников об изучаемом произведении можно судить о его неподлинности разве только в том случае, если будет доказано, что, если бы оно, действительно, существовало, источники, современные ему, не могли бы не упомянуть о нем, и что, значит, раз они молчат нем, он — неподлинный; но убедительно доказать нечто подобное можно, пожалуй, только в довольно исключительных случаях*.

Критерий согласованности источника с известной культурой получает еще особого рода применение к сравнительному изучению нескольких источников, сходному с тем, какое уже было указано и относительно критерия единства сознания: чем больше такая согласованность, тем менее вероятно, что источник, принадлежащий данной культуре, окажется тождественным с источником, связанным с другой культурой; следовательно, можно сказать что тождество независимых друг от друга источников, относящихся к различным областям и различным периодам культуры, маловероятно и что его наличность, при таких условиях, вызывает сомнение в подлинности одного из сравниваемых источников. Впрочем, при пользовании таким принципом следует, конечно, иметь в виду, что среди народов, стоящих на низкой ступени развития, культура, сравнительно мало дифференцированная, может оказаться во многих из своих элементов сходной, что отразится и на ее продуктах-источниках, хотя бы они и возникли независимо друг от друга у разных народов: легко заметить, например, довольно значительное сходство в сюжетах народных сказок разных стран и признать, что простейшие из таких сюжетов могли возникнуть и независимо друг от друга; но при внимательном сравнении подробностей рассказа оказывается, что они обыкновенно меняются в зависимости от места и времени, примеры чего уже были приведены выше. Таким образом, можно сказать, что своеобразие разновременных и разноместных культур в известной степени должно соответственно отражаться и в источниках, а потому

* См. ниже § 3.

совершенное тождество источников, возникших независимо друг от друга в разных очагах культуры, особенно при некоторой их сложности, маловероятно. Следовательно, при наличности такого совпадения между источниками, будто бы независимыми друг от друга, или, по крайней мере, между главнейшими их частями, можно сомневаться в подлинности тех, которые не находятся в достаточном соответствии с той культурой, в среде которой они будто бы возникли. В качестве примера можно, пожалуй, указать хотя бы на известные предания о сдаче города Кремы в 1160-м г. и города Вейнсберга в 1140-м, с позднейшими воспроизведениями последнего из них. Рассказ о взятии города Кремы Фридрихом Барбароссой, да и то не в версии кёльнского летописца, производит впечатление подлинного: он содержит реальные, а не придуманные подробности, соответствующие данному месту и времени; сказание о вейнсбергских женах, возникшее под влиянием кёльнской версии о взятии Кремы, напротив, отличается «абстрактной» схемой: оно повествует, главным образом, о том, каким образом верные жены вынесли своих мужей из города при сдаче его неприятелю; то же сказание встречается с более или менее заметными изменениями и во многих других источниках применительно к весьма разновременным известиям о взятии разных городов: и немецких, и французских, и итальянских, и швейцарских; таких версий известно более 30; но, составленные по «абстрактной» схеме вейнсбергского сказания, они представляются более или менее неподлинными, т. е. заимствованными*.

Впрочем, следует иметь в виду, что культура, в отношении к которой данный источник рассматривается, может достигнуть полного единства разве только в момент наивысшего своего развития и, значит, в остальные его моменты представляется лишь в известной мере объединенным целым, уклонения от которого возможны; следовательно, даже тот историк, который выработал надлежащее понятие

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 352–355; существенные поправки — в статье *W. Norden*'а: Die Weiber von Weinsberg; см. Deutsche Literaturzeitung, 1912, № 10, SS. 581–608. В отличие от Бернгейма, Норден отвергает возможную достоверность вейнсбергского сказания в той именно абстрактной форме, в какой оно сообщено в кёльнской королевской хронике под 1140 г., вероятно, нужной, главным образом, для того, чтобы резче оттенить основной сюжет сказания; но и он приходит к аналогичному с Бернгеймом заключению, что рассказ о взятии Кремы, в урезанном виде, послужил кёльнскому летописцу для составления сказания о вейнсбергских женах; см. SS. 602, 608.

о данном типе культуры, не всегда имеет достаточное основание признавать источник, не соответствующий ему, неподлинным. Вместе с тем всякая культура создается путем индивидуальных актов творчества, продукты которого не соответствуют среднему ее уровню; но по несоответствию их с культурой историк также не может заключать о их неподлинности. Выше уже были указаны, например, такие случаи, когда принцип соответствия или несоответствия с культурой, сам по себе взятый, неприменим, когда произведение, тождественное с ней, оказывается неподлинным, а произведение в известной мере не соответствующее ей, считается подлинным: ведь источник, обнаруживающий отсутствие индивидуального отпечатка и тождественный с данной культурой, может оказаться копией; и, наоборот, источник, более или менее резко отличающийся от остальных продуктов культуры своими индивидуальными уклонениями, если только последние действительно индивидуальны, не вызывает сомнений в его принадлежности тому, кто проявил их в силу присущих ему особенностей мышления, стиля и т. п. Гениальное произведение, обнаруживающее высшую степень единства сознания, может оказаться, например, в значительном разногласии с данной культурной средой в ее типических признаках; сверх того, индивидуальное творчество может повести и к более частным уклонениям, которые все же не говорят в пользу его неподлинности. Многие чтения из произведений Тацита, например, казались прежде не соответствующими римской культуре его времени, т. е. неподлинными; но теперь они признаются особенностями его индивидуального стиля, что, разумеется, устраняет сомнения в их подлинности. С такой же индивидуализирующей точки зрения легко принять и те уклонения источника, которые можно назвать индивидуальными ошибками: чтения, ошибочность которых объясняется с точки зрения особенностей самого автора, его характера, тенденций и т. п., например, все же признаются подлинными и не подвергаются исправлению даже в том случае, если они оказываются в явном разногласии с общепринятыми правилами; случай произвольных вставок или опущений, принадлежащих, однако, самому автору, можно найти, например, в труде Диогена Лаертия[203] и т. п.*

* *A. Gercke und E. Norden*, Op. cit., SS. 68–69, 72–73 и др. Ср. *A. Gercke*, Die Analyse, als Grundlage der höheren Kritik в Neue Jahrbücher für das Klas. Altertum. Bd. VII (1901), SS. 3–5, 6–7, 95, 97, 102–112.

Вообще, критерии подлинности или неподлинности источника, рассмотренные выше, находятся в тесной связи еще с одним понятием, которое до сих пор оставалось в тени, а именно с понятием о той индивидуальности, к которой он относится. В самом деле, принцип единства сознания в его применении к данному источнику, очевидно, предполагает и наличность его носителя, т. е. того именно реально-данного автора, к творчеству которого источник возводится, а разъединенность сознания — существование нескольких личностей, работавших над его составлением. Принцип соответствия или несоответствия источника с известной культурой также получает возможно более точное применение лишь в комбинации его с понятием о той индивидуальности, которой составление его приписывается. В действительности можно отнести источник к определенному пункту пространства и к определенному моменту времени, лишь связав его возникновение с тою индивидуальностью, которая действовала в этом пункте и в этот момент и произвела источник: знание подобного рода дает возможность историку частью достигнуть синтеза обоих моментов в личности автора, всегда действующего в данной местности, а вместе с тем и в данное время, частью точнее определить место и время возникновения его произведения-источника. В самом деле, зная автора изучаемого источника и располагая биографическими сведениями о нем, известиями о тех людях, с которыми он имел сношения, и о событиях, в которых он принимал участие, историк получает возможность гораздо точнее определить и то положение, которое источник занимал (или занимает) в данном культурном целом; при таких условиях он действительно может вставить данный продукт в ту, а не иную культуру, а значит, и точнее применить критерий соответствия или несоответствия его с тою именно культурой, к которой он будто бы относится. Таким образом, историк может распутать те нити, которыми данный источник будто бы связан с известной культурой, и в зависимости от того, действительно ли они существовали или отсутствовали, признает источник подлинным или неподлинным. Следует заметить, однако, что без знания личности автора историк не может точно установить и самый факт возникновения источника: лишь при таком знании, уже подготовленном индивидуализирующей его интерпретацией, он может определить то положение, которое источник занимал не только в пределах данной местности и данного времени, но и в пределах жизни данного лица; лишь изучив его свойства и обстоятельства его жизни, он может окончательно установить момент появления его продукта-источника, выяснить его причины и последствия, т. е. убедиться в том, что последний есть именно тот самый факт, каким он представляется, или, наоборот, что он не может быть признан этим фактом, т. е. что он оказывается подлинным или неподлинным.

Итак, понятие об индивидуальности того, кому источник приписывается, служит для установления его подлинности или неподлинности: ведь понятие о подлинности или неподлинности источника связано с представлением о той индивидуальности, произведением которой источник признается или не признается; мы называем источник подлинным, если он действительно принадлежит тому автору, которому составление его приписывается, и неподлинным, если он не принадлежит тому автору, с именем которого возникновение его связывается. Всякий, кто говорит, например, что из фронтонов Парфенона, сделанных при Фидие, восточный — подлинный, разумеет, что восточный фронтон действительно создан Фидием; или всякий, кто утверждает подлинность первых семи книг Комментариев[204] Юлия Цезаря, в сущности, признает, что они действительно сочинены Юлией Цезарем, и т. п.; но для того, чтобы утверждать нечто подобное, исследователь должен иметь свои основания: он должен доказать, что данный источник есть действительно произведение того, а не иного лица; что Фидий, а не кто другой, действительно создал восточный фронтон Парфенона; что Юлий Цезарь, а не кто другой, сочинил первые семь книг Комментариев и т. п.; и только доказав, сверх того, что западный фронтон Парфенона исполнен не Фидием, а по всей вероятности, его учениками, или, что восьмая книга Комментариев написана не Юлием Цезарем, а, вероятно, Гирцием[205], историк может прийти к возможно более правильному выводу касательно подлинности или неподлинности вышеназванных источников.

Впрочем, в исследованиях подобного рода можно прибегать к весьма разнообразным понятиям и приемам, отчасти уже подготовленным исследованиями, которые основаны на вышеупомянутых принципах. В самом деле, такие исследования могут выяснить, приписывать ли данное произведение творчеству одной личности или нескольких, и могут дать понятие о тех типических чертах источника, по которым можно судить, например, о принадлежности его той

или другой национальности или о принадлежности автора источника к той, а не иной общественной группе: уже знание того, был ли автор изучаемого источника духовной или светскою особой, монахом или епископом, городским писцом или полководцем и т. п., а значит и знание типических особенностей того, а не иного круга людей, к которому он принадлежал, дает возможность исследователю оценивать его произведение с точки зрения критики, устанавливающей научную ценность источника, как факта*. Нельзя, однако, ограничиться такими исследованиями: историк стремится изучить, какая именно индивидуальность воплотила в себе типические черты данной культуры, какую именно комбинацию она им придала, в какой мере она, наряду с ними, обладала индивидуальными особенностями, и с такой индивидуализирующей точки зрения выясняет, соответствует ли им то произведение, которое приписывается ей или не соответствует.

Само собою разумеется, что личность автора устанавливается на основании непосредственных или посредственных показаний о нем источников. Непосредственные и прямые показания об имени автора историк почерпает из подписи автора или лица, от которого данный источник исходит, случайного его упоминания о самом себе и т. п.; непосредственные и косвенные — из указаний самого автора на место и время его жизни, на среду, в которой он действовал, людей, с которыми он вступал в сношения и т. п. За отсутствием непосредственных показаний об авторе источника, историк обращается к изучению посредственных данных о нем, т. е. принимает во внимание связь изучаемого источника с другими известными ему источниками. В некоторых случаях историк может пользоваться, например, посредственными и прямыми показаниями последних об имени автора, почерпая их из чужих надписей на остатках древности, на рукописях или книгах; из чужих упоминаний имени автора в письмах, грамотах, летописях или рассказах; из знака фирмы или скрепы канцелярских чиновников, названия общества или редакции издания, если труд — коллективный, и т. п. Впрочем, не всегда располагая посредственными, но все же прямыми показаниями, историк может еще привлечь и косвенные данные: если он знает другие источники, автор которых

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 406–407.

уже известен ему и творчество которых обнаруживает существенное сходство с творчеством изучаемого источника, он, с точки зрения вышеизложенного понятия о непрерывности сознания стремится установить связь между одним из таких продуктов и изучаемым им источником, что и дает ему основание приписать составление последнего тому, а не иному автору. Если же историк лишен такой возможности, он, благодаря критерию соответствия с культурой и добытым при его помощи выводам, путем сравнения, стремится установить, из какой именно культуры — центра, направления, кружка, школы и т. п., данный источник вышел, т. е. к какой из порожденных таким образом групп источников он, с наибольшей вероятностью, должен быть отнесен, что́ и дает ему иногда основания высказать дальнейшие предположения касательно того именно автора, которому интересующий его источник принадлежит.

В исследованиях подобного рода историк пользуется большею частью теми же приемами, что и при определении единства и непрерывности сознания, а также места и времени возникновения источника, но стремится в возможно большей степени индивидуализировать их; он принимает во внимание, например, индивидуальные особенности техники и формы источника или его письма (почерка), языка и стиля; он изучает такие же особенности его содержания, мировоззрения и тенденций его составителя и т. п.* При рассмотрении, например, большой всемирной хроники, приписываемой Эккегарду из Ауры (Aura)[206], один из новейших исследователей пришел, на основании палеографических и других признаков, к выводу, что составителем главной ее части следует признать монаха Михельсбергского монастыря — Фрутольфа; другой ученый, главным образом, на основании внимательного знакомства с содержанием любопытного для истории аверроизма[207] трактата «Impossibilia» восстановил принад-

* Приемы установления подлинности почерка, играющие некоторую роль в судебной экспертизе, в последнее время рассмотрены Фрэзером и Бертильоном; последний указывает на «l'insuffisance de l'écriture comme preuve d'authenticité»[208]; результаты такой экспертизы «условны»; см. *P. Frazer*, Examination of documents, 1894; *A. Bertillon*, La comparaison des écritures et l'identification graphique, в Rev. Scient., 1897, Decembre 18, pp.769–783. Само собою разумеется, что в той мере, в какой историк не только пользуется показаниями данного источника или других источников, но критикует их, он уже переходит в область критики таких показаний, т. е. устанавливает их достоверность или недостоверность, о чем см. ниже § 3.

лежность его Сигерию (Сижеру) Брабантскому*[209]. В прежнее время ученые приписывали продолжение летописи, известной под названием «Annales Laurissenses majors», одному только Эингарту[210], но внимательное изучение ее стиля обнаружило, что по крайней мере четыре автора последовательно работали над составлением вышеназванных аннал за время с 801-го по 829-ый год**.

Впрочем, при установлении подлинности или неподлинности источника, в связи с изучением индивидуального его генезиса, каждый отдельный случай нуждается в исследовании именно тех обстоятельств, при которых данный источник возник или изменился; следовательно, каждая из таких работ получает свой индивидуальный характер, зависящий от совокупности условий данного случая: лишь обладая хорошим знанием личности автора, можно, например, с некоторою уверенностью утверждать, что данная часть его произведения подлинная или неподлинная.

Знание индивидуальности автора, получаемое путем индивидуализирующей интерпретации, служит, таким образом, для доказательства подлинности или неподлинности приписываемого ему произведения; но знание факта, что данный источник есть продукт того именно лица, деятельности которого он приписывается, обыкновенно уже основано на показании о таком факте: ведь автор или, по крайней мере, его деятельность, породившая источник, большею частью известны историку лишь по показаниями о них, сделанным или в самом произведении, или в других источниках. Критика источника, как факта, не занимается, однако, рассмотрением показаний о нем: оно принадлежит критике показаний источника о факте. Лишь в том случае, если автор изучаемого источника уже известен по таким показаниям, как автор других произведений, соответствие или несоответствие с ними изучаемого источника становится основанием для признания приписываемого ему же произведения — подлинным или неподлинным. В таком смысле можно говорить о соответствии данного источника с индивидуальностью известного автора: располагая, например, автографом Петра Великого, историк легко может признать подлинность многих его заметок, писанных тем же характерным спешным почерком, хотя бы они и не были подписаны им; зная стиль автора, его образ мыслей и т. п., он признает подлинность произведения такого же стиля, образа мыслей и т. п. И, наоборот, по несоответствию с почерком, стилем, образом мыслей данного лица и т. п. историк судит о неподлинности приписываемого ему произведения.

* *H. Bresslau*, Bamberger Studien; см. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 1896, Bd. 21, SS. 197–226. *P. Mandonnet*, Siger de Brabant et l'Averroïsme latin au XIII sc., Fribourg, 1899, pp. CXL–CXLIX.

** *G. Monod*, Études critiques sur les sources l'histoire Carolingienne, Par., 1898, fasc. I, pp. 102–162 (Bibl. des Hautes Études, № 119).

Само собою разумеется, что разнообразные критерии подлинности или неподлинности источника употребляются обыкновенно в той или другой комбинации, а не порознь: вывод, сделанный на основании одного из них, проверяется выводом, который получается при пользовании другим применительно к тому же источнику. При рассмотрении одного из сборников городской библиотеки в Базеле, например, оказалось, что он содержит, между прочим, трактат, озаглавленный: «Quaestio Alberti de Saxonia de quadratura circuli», а за тем рассуждение под заглавием: «Item alia quaestio de preportione dyametri quadrati ad costam ejusdem». Современный ученый, издавший оба произведения, приписывает второе из них также Альберту Саксонскому[211], главным образом, на том основании, что автор его, подобно Альберту Саксонскому, придерживается одинакового с ним взгляда на несоизмеримость отношения между стороною квадрата и диагональю для того, чтобы опровергнуть учение о существовании неделимых, и охотно употребляет выражение «est dare»[212]; но только что названное учение и выражение «est dare» нисколько не характеризуют стиль и образ мыслей одного Альберта Саксонского: они встречаются и в других схоластических произведениях XIV-го века и, значит, не могут служить для решения того, признавать ли трактат с заглавием «Item alia quaestio» и т. д. подлинным или неподлинным произведением Альберта Саксонского*.

[b) в применении к частям источника]

Критерии, рассмотренные выше, часто применяются в самых разнообразных сочетаниях и для того, чтобы установить группы связанных между собою источников: достигнув более или менее ясного по-

* *P. Duhem*, Etudes sur Léonard de Vinci, Par., 1906, t. 1, pp. 341–343.

нимания их соотношения, историк с такой точки зрения определяет подлинность или неподлинность целого источника или частей источника, входящего в состав данной группы.

Вообще, под группой связанных между собою источников можно разуметь совокупность источников, находящихся в некоторой зависимости один от другого или друг от друга, а под зависимостью между источниками — реальное отношение между ними, действительное влияние одного из них на другой, «родство» или «генеалогическую связь» между ними и т. п.

При установлении группы связанных между собою источников историк должен иметь основание утверждать, что такая связь существует: помимо общих критериев, указанных выше, он пользуется и объективными признаками ее существования, преимущественно совпадением источников между собою в целом или в каких-либо частях; если он может объяснить такое совпадение влиянием одного источника на другой, он и приходит к заключению, что совпадающие источники связаны между собою и пытается определить, какой из них влиял на другой, т. е. выясняет их генеалогическую связь.

В самом деле, полное совпадение исторических источников, отличающихся некоторой сложностью своего содержания, как показано было выше, уже с точки зрения критерия единства и непрерывности сознания, может служить объективным признаком для заключения о том, что они, вероятно, связаны между собою*: хотя предположение о том, что они возникли независимо друг от друга, возможно, но оно маловероятно; так как полное совпадение относительно сложных источников или их соответствующих частей между собою, т. е. совпадение их и по содержанию, и по форме, особенно в ошибках, сделанных в соответственно тождественных местах, маловероятно, если они независимы, то, в случае их совпадения, можно, значит, предполагать существование некоторой зависимости между ними: если историк замечает такое совпадение или большое сходство в характерных особенностях двух или нескольких источников или их соответствующих частей, он имеет основание заключить о вероятной зависимости одного от другого или вообще, или в некоторых их частях.

* Ср. ниже в § 3 о совпадении показаний, которое следует отличать от совпадения исторических источников.

Высказанное общее положение можно выяснить хотя бы на следующем схематическом примере. Положим, что историк сравнивает источники *M* и *N*, касающиеся одного и того же сложного комплекса фактов *S*, и замечает; что авторы *M* и *N*, положим, *A* и *B*, при описании *S*, упоминают только об одних и тех же фактах ... *m, n, o, p, q*... в одной и той же последовательности. Вероятность, что *B*, независимо от *A*, упомянет из данного сложного комплекса фактов *S* те самые факты, положим ... *m, n, o, p, q*..., которые принял во внимание и *A*, мала, если выбор и последовательность их, в обоих случаях тождественные, обусловлены не только логическим ходом мыслей или фактическою связью событий, но и более или менее субъективным, произвольным отношением к ним. Такая вероятность, кроме того, быстро убывает в зависимости от возрастания сложности комплекса S, от числа фактов ... *m, n, o, p, q*..., которые остановили на себе внимание обоих авторов, и от степени субъективности или произвола в их выборе и расположении, а также в их оценке. Итак, совпадение *N* с *M* или *M* с *N*, при вышеуказанных условиях, весьма маловероятно; такое совпадение приходится толковать зависимостью *N* от *M* или *M* от *N*. Следовательно, можно в совпадении подобного рода усматривать основание для того, чтобы говорить о вероятной зависимости одного источника от другого, даже при некотором различии в их форме. Полное совпадение в ошибках, сообщаемых двумя (или несколькими) источниками, если ошибочность их уже доказана, тем более может служить признаком заимствования; если *B* сделал в соответственно тождественных местах источника *N* те же самые ошибки, что и *A* в источнике *M*, то предположение, что *B* заимствовал свои ошибки из *M* или что *A* заимствовал свои ошибки из *N*, более вероятно, чем предположение, что *A* и *B* сделали те же ошибки совершенно независимо друг от друга. Степень вероятности такого заключения, конечно, зависит и от числа совпадений, и от значения, какое исследователь придает сделанным в источниках ошибкам.

Впрочем, совпадения между источниками могут иметь различные степени. Полное совпадение, конечно, предполагает тождество или, по крайней мере, большое сходство содержания и формы источников, взятых в полном их составе; но при некотором сходстве в форме, например, отдельных выражений вроде «datum» и «actum» в грамотах или «obiit»[213] в летописях, нельзя еще говорить о зависимости их содержания; и, наоборот, при некотором различии в форме можно

признавать зависимость одного источника от другого по содержанию: ведь можно в известной мере изменить его форму или облечь его в иную форму, более пригодную для данной цели, в частности, хотя бы для того, чтобы скрыть его зависимость по существу от другого источника.

Таким образом, для установления зависимости, в какой источники данной группы находятся, историк принимает во внимание совпадение между источниками вообще или в некоторых их частях, различая сходство их по содержанию от сходства их по форме.

Легко заметить, однако, что совпадение источников получает значение для суждения о подлинности или неподлинности источников или составных частей каждого из них лишь в том случае, если оно объясняется предполагаемой реальной зависимостью одного источника от другого. Действительно, критический анализ состава источников опирается не только на вышеуказанные основные принципы, но и на особое понятие, а именно на понятие о реальном взаимоотношении источников, т. е. о группе источников, зависящих один от другого, или друг от друга, а потому и сходных между собою. В самом деле, при критическом анализе состава источников историк уже исходит из понятия о группе источников, находящихся в таком именно взаимоотношении, и, пользуясь понятием о нем, выясняет эмпирическим путем характер той именно реальной зависимости, в какой они находятся в действительности: представляя себе целую группу источников «родственных» между собою, историк-критик определяет подлинность или неподлинность источника, принадлежащего к этой группе, или составных его частей.

При построении группы связанных между собою источников, нельзя, однако, точно установить зависимость между ними, не зная, какой из них — основной, т. е. не зависит от других, и какие, напротив, стоят в более или менее близкой или отдаленной зависимости от него. Вообще, если историк может удовлетворительно объяснить весь источник *B* или некоторые части в источнике *B*, лишь предположением, что его составитель пользовался источником А или соответствующими частями источника *A*, то он и получает основание признать зависимость источника *B* от источника А и т. д.

Такое заключение получает несколько большую обоснованность, если исследователь может доказать, что место возникновения основного источника *A* действительно соответствует его предположениям,

т. е., например, что основной источник *A* появился в более культурном центре, чем производный *B*, а главное, возник раньше *B*, т. е. действительно предшествовал *B* во времени: в сомнительных случаях преемство родственных источников во времени может иметь большое значение для установления генеалогической связи между ними, т. е. для вывода, что В зависит от А, а не А от В; наконец, то же заключение получает еще большую вероятность, если исследователь имеет основание представить себе такую зависимость в смысле причинно-следственной связи, т. е. действительно подыщет те условия и мотивы, которыми он может объяснить заимствования, какие составитель *B* сделал из *A*; в последнем случае критик уже представляет себе *A* — условием, при наличности которого составитель *B* испытал мотивы, побудившие его образовать продукт *B*, и действительно образовал источник *B*.

С указанной точки зрения можно, пожалуй, формулировать и понятие о подлинности или неподлинности данного источника или его частей: тот источник, который не зависит от какого-либо другого источника, признается подлинным; и, наоборот, в той мере, в какой источник оказывается зависимым, он считается неподлинным; то же, разумеется, можно сказать и о частях источниках*.

Установление подлинности или неподлинности составных частей источника в только что указанном смысле равносильно установлению в пределах данной группы самостоятельности или зависимости частей данного источника от соответственных частей других родственных ему источников. С такой точки зрения можно сказать, что критический анализ состава источника сводится к определению степени зависимости его от других источников.

Возьмем схематический пример, на котором можно разъяснить сказанное.

Вообразим, например, что источники *A, B* и *C*, по разложении каждого из них на части, представляются в следующем виде:

$A = a_1 + a_2 + a_3 ..... + a_n$
$B = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 ..... + b_n$
$C = a_1 + c_1 + a_3 + c_2 + a_4 + c_3 ... + c_n$

При рассмотрении *A, B* и *C* в их разложениях, легко заметить, что между элементами одного и того же вида *a* или *b* или *c* и т. п. больше

* Ср. выше сс. 565–566 <Т. 2. С. 197–198>.

единства, чем между их сочетаниями вида $a+b$ или $a+c$ и т. п., и что, следовательно, *A* отражает большее единство сознания, чем *B* или *C*: *B* обнаруживает некоторую разъединенность сознания его составителя, так как содержит два ряда элементов, перебивающих один другой, причем каждый из рядов $(a_1+ a_2+ ...)$ и $(b_1+ b_2...+ b_n)$ состоит из элементов, представляющих некоторые черты сходства между собою; *C* также обнаруживает некоторую разъединенность сознания его составителя, так как сложный ряд образующих его элементов $a_1+ c_1+ a_3+ c_2+ a_4+ c_3... + c_n$ получился путем скрещивания двух рядов, из которых один — с пробелами. Вместе с тем на основании критериев соответствия с культурой и индивидуальностью, можно понять *B и* C в некоторых из их особенностей, положим, лишь приняв во внимание, что составители их, каждый по-своему, пользовались *A*, т. е. что составитель *B* дополнял *A*, а составитель *C* сокращал *A*; с такой точки зрения можно, например, объяснить наличность в *B* и *C* посторонних им элементов, порядок их расположения в *B* и *C*, соответствующий в каждом из них порядку расположения тех же элементов в *A*, сходство их расположения в *B* и *C* и т. п. Заключение о зависимости их от *A*, впрочем, подкрепляется еще рассмотрением обратного предположения о зависимости *A* от *B* или *C* или же о зависимости *A* и от *B*, и от *C*: при указанных условиях, оно, хотя и возможно, но маловероятно. В самом деле, предположение, что *A* — производный источник от источника *B* или *C* возможно лишь при том условии, если составитель *A* систематически выпускал элементы, характеризующие *B* или *C*, а, в последнем случае, сверх того еще вставлял элементы, недостающие для образования группы $a_1+ a_2+ a_3.....+ a_n$; но такая возможность маловероятна: для получения *A* из *B* или *C* составитель *A* должен был бы восстановить единство данной группы элементов $a_1+ a_2+ a_3.....+ a_n$, уже утраченное в *B*, а тем более в *C*, но при такой построительной работе, и особенно если принять, что составитель *A* не имел в виду научно восстановить группу $(a_1+ a_2+ a_3.....+ a_n)$, а просто пользовался *B* или *C*, трудно допустить, что составитель *A* не обнаружил бы никаких признаков самостоятельной мысли, и не внес бы каких-либо, хотя бы слабых изменений в группу $(a_1+ a_2+ a_3.....+ a_n)$, т. е. что он не взял бы для составления *A*, положим, элемент вида a'_x, а не a_x из *B* или *C* или не присовокупил бы к виду *a* какой-либо случайно захваченный или измененный элемент *b* или *c*, вида b'_x, c'_x и т. п.; при вышеуказанных условиях, трудно допустить и то, что источник *A*

менее соответствует данной культуре и индивидуальности его автора, чем более разъединенные по своему составу источники *B* или *C*. Наконец, еще труднее признать, что *A* зависит и от *B*, и от *C*, так как в последнем случае составитель *A* должен был бы систематически выпускать некоторые элементы соответственно характеризующие *B* и *C*, для получения одного и того же результата, что не имело бы смысла, и, следовательно, с такой точки зрения один из источников *B* или *C*, на основании замечаний, уже сделанных выше, все же представлялся бы зависимым от *A*. В силу подобного рода соображений можно прийти к следующему заключению: гипотеза, что в данной группе источников *A*, *B* и *C* источник *A* — основной, а *B* и *C* — зависимые от него, гораздо более вероятна, чем обратная гипотеза, что *A* — зависит от *B* или от *C* или же от *B* и от *C*. Если сверх того историк может доказать, что *A* возникло в более культурном центре, а в особенности раньше, чем *B* и *C*, он может, в случае нужды, подкрепить свой вывод или свое предположение относительно производного характера *B* и *C*; а зная место и время возникновения *A, B* и *C* и индивидуальность их составителей, он может также объяснить реальную связь их продуктов и различия в них и, таким образом, окончательно утвердить свой вывод, что *A* — основной источник, а *B* и *C* — зависимые или производные от него. При рассмотрении источников, один из которых представляет еще большую сложность и образован, положим, из элементов троякого, а не двоякого рода, историк, конечно, опирается на те же принципы, но соответственно осложняет свое рассуждение, смотря по тому роду зависимости, какая в данном случае наблюдается*.

Те же принципы принимаются во внимание и при решении аналогичной проблемы о соотношении между производными источниками. Если, например, историк имеет источник $A = a_1+ a_2+ a_3.....+ a_n$ и замечает, что из двух зависящих от него источников, *B* содержит элементы, которых нет в *C*, положим, a_2 и т. п., а *C* содержит элементы, которых нет в *B*, положим a_k и т. п., то он полагает, что *B* и *C*, по крайней мере в известных частях, не зависят друг от друга: при общей их зависимости от *A* более вероятно предположение, что различия их по *a*, особенно при достаточном их количестве и значении, находятся в связи с такою их зависимостью, чем предположение, что

* См. ниже § 2.

каждый из них сокращал или добавлял другой как раз теми элементами, которые уже даны в *A*; но вывод подобного рода не исключает, конечно, возможности при наличности известных данных относительно *B* и *C*, сходных с теми, какие были разобраны выше, прийти к гипотезе, что *C* зависит от *B* по *a* или по *b* или *B* зависит от *C* по *a* или по *c*; если, например, *C* содержит заимствования из *A* через посредство *B*, то *C* зависит от *B* по *a*; если *C* содержит заимствования из *B* характеризующих его элементов, *C* зависит от *B* по *b* или если *B* содержит заимствования из *C* характеризующих его элементов, *B* зависит от *C* по *c* и т. п.

Следует заметить, однако, что число возможных случаев зависимости между источниками или их частями возрастает гораздо быстрее числа самих источников или их частей и что, значит, с увеличением последнего, решение вопроса, какое из возможных сочетаний наиболее вероятно, становится все более затруднительным. Вместе с тем нельзя упускать из виду и качественное разнообразие такой зависимости, еще более осложняющее исследование: источник *B* может быть, например, копией с источника *A*, или содержать заимствования из *A*, или оказаться более или менее вольным подражанием *A* и т. п. Степень зависимости *B* от *A* также может быть различной: *B* может зависеть от *A* целиком или в некоторых частях; при составлении источника *N* автор может более или менее пользоваться одним из собственных своих произведений, положим, *P* или чужим произведением *R*; он может более или менее перерабатывать то, что он заимствует, или то, чему он подражает, соответственно видоизменяя части *P* или *R*; он может допускать такие изменения в одной только их форме, или вкладывать несколько иное содержание в их форму, или переделывать и содержание, и форму *P* или *R* и т. п. Ввиду такого разнообразия далеко не всегда удается точно определить ту именно зависимость между источниками, которую можно, с наибольшей вероятностью, признать бывшей в действительности, и приходится довольствоваться лишь более или менее правдоподобными догадками о ее характере.

Приемы, указанные выше, применяются к изучению самых разнообразных источников, например: статуи, известной по копиям; картины, написанной на основании различных исторических преданий; документа, включающего элементы традиции; хроники, отчасти заимствованной из других источников, и т. п.; но они чаще всего

прилагаются к критике летописных сводов. В качестве частных примеров ее можно указать на исследования, установившие зависимость Магдебургских аннал от Розенфельдских, или аннал Саксона и Магдебургских от хроники Эккегарда[214], или зависимость первого киевопечерского свода и древнего новгородского свода от древнейшего киевского свода по различным спискам[215], и т. п.*

Таким образом, объясняя известные случаи совпадения данных источников или их частей их зависимостью, можно уже подойти и к построению группы связанных между собою источников; но для надлежащего ее построения следует иметь в виду и те более специальные задачи, которые оно себе ставит, а также те приемы, которыми оно производится.

Вообще, можно сказать, что построение группы «родственных» источников состоит прежде всего в установлении того из них, который признается «архетипом», оригиналом или основным источником, повлиявшим на возникновение остальных производных членов группы, т. е. воспроизведенных с него копий или источников, содержащих заимствования из него и т. п.; далее, такое построение нуждается в изучении соотношения, в каком зависимые источники находятся между собою; наконец, по выяснении того положения, какое каждый из них занимает в группе, построение ее завершается в виде схемы, наглядно обнаруживающей изученные их соотношения.

Решение таких задач достигается при помощи общего приема, который можно назвать критикой составных частей источника: она стремится выяснить, можно ли говорить о подлинности или неподлинности такого источника, как целого, или следует высказывать суждения подобного рода лишь порознь о каждой из частей, входящих в его состав: в последнем случае она и пытается определить, какие из них подлинные, какие неподлинные. Критика составных частей источника и дает возможность установить архетип данной группы родственных источников, выяснить род зависимости, какая существует между ее членами и облегчает построение ее схемы.

Без «архетипа» или основного источника, очевидно, нельзя дать законченного построения группы связанных между собою источников. Установление его оказывается операцией сравнительно элементар-

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 421 ff. *А. Шахматов*, Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПб., 1908 г., сс. 419, 420–423, 532 и др.

ной или сложной, смотря по тому, сохранился ли он в действительности или не сохранился; если он сохранился, нужно разыскать его, т. е. в сущности, доказать, что один из источников данной группы и есть архетип; если он не сохранился, можно, по крайней мере в некоторых случаях, восстановить его. Следовательно, рассматриваемая операция состоит или в разыскании, или в восстановлении архетипа.

Разыскание архетипа производится, конечно, на основании общих критериев подлинности или неподлинности источника: оно состоит в различении оригинала от его копии или от сделанных из него заимствований, или от более или менее вольных подражаний ему и т. п.

Различие между оригиналом и копией проводится при помощи вышеуказанных критериев.

С точки зрения критерия единства сознания, например, нельзя отождествить данное оригинальное произведение с его воспроизведением, т. е. с его копией, как бы совершенна она ни была. Вообще, поскольку единство сознания, обнаружившееся в личном индивидуальном акте творчества и запечатлевшееся в данном произведении во всей полноте его индивидуальности, не приписывается составителю копии, всецело не отражается в ней, она не может быть признана оригиналом. Копия, хотя бы безупречно исполненная самим автором, очевидно, не может обнаружить той степени единства его сознания, какое отразилось в оригинале: при составлении копии творчество автора и его деятельность не могут представить того цельного и независимого состояния сознания, которое существовало при возникновении подлинника, т. е. продукта, в котором индивидуальный акт творчества и его исполнение слились воедино. Копия, даже точно воспроизведенная, тем и отличается от оригинала, что составление ее не требует такой степени единства и независимости: исполнение ее может оставлять ее составителю некоторый излишек психической энергии, благодаря которому мысль его и отвлекается в сторону от исполняемой им работы. В последнем случае, однако, нетрудно заметить иногда и мелкие погрешности в ее исполнении, уже явно обнаруживающие отсутствие в ней единства сознания, с точки зрения требований которого только и можно говорить о подобного рода погрешностях; и чем сложнее объект подражания, тем менее оно в состоянии соблюсти единство оригинала

и тем легче допускает индивидуальные уклонения от него*. Правда, известны случаи, когда один и тот же творец повторялся в своих произведениях; но даже если вообразить, что два или несколько его произведений можно было бы признать тождественными, надобно различать повторение одного и того же акта творчества от повторения одного и того же произведения. При повторении одного и того же акта творчества произведения его не зависят друг от друга; при повторении одного и того же произведения, напротив, предшествующее служит образцом для последующего или одного из последующих. Не говоря о том, что повторение одного и того же акта творчества едва ли мыслимо (второй акт уже не творческий в том именно смысле, в каком первый акт будет таковым, хотя бы потому, что он уже имеет свой прецедент, и т. д.), в действительности, повторение одного и того же акта творчества едва ли может иметь место независимо от влияния на него памяти о предшествующем образце: значит, и в таких случаях можно говорить о подражании, принимающем форму самоподражания, и, в известной мере, применять к нему сказанное выше. С тем большим основанием можно прийти к подобному же заключению относительно копии, сделанной с чужого оригинала: подражатель не производит оригинала, а только, в лучшем случае, воспроизводит чужой оригинал; наличность в его сознании представления о «чужом» образце уже делает его сознание менее объединенным, чем если бы такое представление было его собственным и по его содержанию; кроме того, раз образец уже дан, то и сознание подражающего далеко не так тесно связано с ним: оно может уклоняться в сторону, что также нарушает его единство, и т. п. Следовательно, нельзя приписывать полного единства сознания составителю копии: отсутствие такого единства, надо полагать, соответственно отражается и в его продукте.

* Ввиду известной познавательной цели можно, конечно, заменять оригинал механически точным его воспроизведением, например, путем фототипии или печатания, что, однако, еще не ведет к отождествлению понятия об оригинале с понятием о его копии, хотя бы и механически точно воспроизведенной: лишь для той именно цели, которую исследователь ставит себе, он может признать значение их одинаковым; но и в последнем случае он не может отождествлять оригинал с копией: иначе он будет обращаться с копией, как с оригиналом, и, значит, забыв, в каком именно отношении он только и считает возможным признать значение их одинаковым, легко может таким образом впасть в целый ряд ошибок.

Следует заметить, что различие между оригиналом и копией проводится и при помощи критерия соответствия: произведение, в вышеуказанном смысле соответствующее не той культуре и индивидуальности, к которой оно будто бы относится, вызывает предположение, что оно не подлинное, т. е. что оно не оригинал, а подражание ему, копия его, более или менее совершенная. В самом деле, историк часто называет копией тот источник, который возник не в том месте и не в то время, к которым он будто бы относится; он признает копией, например, греческую рукопись, писанную, однако, итальянским почерком позднейшего времени, или латинскую рукопись, представляющую местные или позднейшие уклонения в формах и выражениях речи. Само собою разумеется, что историк придает большое значение и индивидуальному характеру работы, в частности, почерку, и считает копией рукопись, писанную «чужим» почерком, и т. п.*

В действительности, однако, не всегда легко определить, имеем ли мы дело с оригиналом или с копией. Многие итальянские художники, например, изготовляли хорошие копии, иногда весьма близкие к оригиналам: Андреа дель Сарто[216] сделал для Фридриха II, герцога Мантуи, такую копию с известного портрета Льва X, писанного Рафаэлем, что ученик последнего — Джулио Романо[217], принял картину за подлинник, и только после того, как Джорджио Вазари[218] указал ему на марку Андреа дель Сарто, поставленную им на оборотной стороне холста, должен был отказаться от своего мнения. Аналогичные примеры можно привести и из другой области: специалисты заявляли, что они не в состоянии отличить автографы Людовика XIV-го от автографов его секретаря («secrétaire à la main») и т. п.**

В большинстве случаев, однако, копия (снимок или список) не может воспроизвести оригинала; она лишена свежести творчества, утрачивает «дух оригинала», допускает уклонения от него в разных деталях, более или менее характерных, отдает ремеслом, иногда носит на себе следы личных вкусов копииста и т. п. В виде примера достаточно припомнить хотя бы те старинные римские копии произведений древне-греческой пластики, по которым историку искусства нередко приходится составлять себе представление о последних, или те ошибки, в которые впадают переписчики при списывании чужого труда или типографии при его издании.

* *R. Rosenmund*, Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon, München und Leipzig, 1897, SS. 62, 69, 79. Ср. выше с. 451 <Т. 2. С. 101–102>.

** *A. Bertillon*, La comparaison en écriture в Rev. Scient. 1897, Décembre 18, p. 783; речь идет об известных торговцах рукописями — «les Charavay»; один из них известный «архивист-палеограф».

Впрочем, соотношение между оригиналом и копиями предполагает, что каждая из них повторяет оригинал или что каждая из последующих повторяет предыдущую или одну из предыдущих. В повторениях подобного рода могут быть, однако, разногласия; но в той мере, в какой копия существенно отличается от оригинала, ее уже нельзя назвать копией: она оказывается источником сложного состава, который, смотря по степени и характеру уклонений от оригинала, может более или менее отличаться от копии или оказывается новым источником.

Различие между оригиналом и сделанными из него более или менее значительными заимствованиями проводится, конечно, на тех же основаниях; но оно и само по себе гораздо более заметно. Оригинал, разумеется, отличается большим единством, чем сделанные из него, часто довольно отрывочные, заимствования: заимствующий, например, ссылается иногда на чужое произведение, или приводит дословно выдержки из него, или недостаточно сливает их с контекстом, или неудачно сокращает или пополняет то, что заимствует, или плохо понимает заимствуемое и т. п. Оригинал может отличаться от сделанных из него заимствований и с точки зрения меньшего несоответствия его частей с одной и тою же культурой или с тою индивидуальностью, которая делает заимствование и т. п.: за исключением разве инстинктивного воспроизведения чужих рефлекторных актов, заимствующий нередко уклоняется от формы и языка, стиля и содержания оригинала; он часто вносит в свой труд собственное свое творчество: и хотя бы проявления его были ничтожны или обнаруживались всего чаще лишь в мелочах, или в частностях, по ним уже можно, однако, судить о том, с чем имеешь дело: с оригинальным продуктом или с заимствованием из него, и т. п. «Всемирно»-историческая хроника, известная под названием «Cosmidromius», содержит, например, немало заимствований, иногда довольно резко бросающихся в глаза: под 783 и 784 годами составитель ее — Гобелин Персон явно и весьма неудачно сводит известия франкских аннал, далее сливает рассказы Титмара Мерзебургского[219] и «Vita Meinwerci» о римских путешествиях императора Генриха II

воедино и таким образом из двух поездок делает одну, смешивает короля Людовика Дитя с королем Людовиком Сильным Бургундским и т. п., т. е. делает промахи, которые и обнаруживают следы неудачной сводки разных известий, и т. п.*

Впрочем, при исследовании подобного рода соотношений можно также встретить немало затруднений: заимствующий, например, может и не сознавать вполне ясно, что он заимствует, или даже скрывает свою зависимость. В своих комментариях к механике Аристотеля Бальди[220] ссылается, например, на целый ряд трудов, которыми он пользовался, но не упоминает, что многими оригинальными воззрениями на механику он обязан Леонардо да Винчи[221], хотя он, по всей вероятности, и почерпнул их из трудов великого мыслителя, и т. п.**

С аналогичной точки зрения можно рассуждать и о различии между оригиналом и более или менее «вольным» или «манерным» подражанием ему. Сравнивая, например, два послания — к Колоссянам и Ефессянам, и замечая между ними сходство, один из современных критиков пытается выяснить связь между ними: послание к Колоссянам производит более цельное впечатление, чем послание к Ефессянам; последнее более развито и высказывает те же положения в преувеличенном виде; послание к Колоссянам хорошо соответствует историческим обстоятельствам, при которых оно было написано и изобилует подробностями; послание к Ефессянам, напротив, гораздо менее определенно; вообще все то, что отличает послание к Колоссянам от остальных посланий апостола Павла, еще более подчеркнуто в послании к Ефессянам; на основании таких соображений критик и приходит к заключению, что послание к Колоссянам — «оригинал», а послание к Ефессянам — «подражание» ему***.

Восстановление предполагаемого архетипа данной группы зависимых источников производится, конечно, на основании общих критериев, рассмотренных выше, но представляет гораздо более затруднений, чем его разыскание: они менее значительны, когда оригинал восстанавливается по его копиям, и, напротив, оказываются весьма существенными, когда приходится судить о нем лишь по заимствованиям, сделанным из него в других источниках.

* Cosmidromius Gobelini Person, ed. M. Jansen, Münster 1900, SS. XLIX–L.

** *P. Duhem*, Op. cit., t. I, pp. 100–108.

*** *E. Renan*, St. Paul, Par. 1869, pp. XVI–XVII.

Критика, восстанавливающая по копиям подлинный вид испорченных частей источника, т. е. отдельных его мест, прилагается и к остаткам культуры (например, плохим или неудачно реставрированным «репликам»), и к историческим преданиям. В том случае, когда критика стремится восстановить подлинный вид исторического предания, закрепленного письменными знаками, она может быть названа «критикой текста».

Критика текста, в сущности, изучает его историю со времени его возникновения и до того времени, когда он подвергается научному исследованию, с целью восстановить в подлинном виде испорченное его чтение. Поправки текста часто оказываются нужными ввиду того, что подлинник утрачен и что судить о нем приходится лишь по сохранившимся копиям или даже по копиям с копий, или по старинным изданиям, имеющим с ними аналогичное значение, и т. п. Итак, задача «критики текста» состоит в том, чтобы, по возможности, восстановить его подлинный вид в первоначальной его «чистоте», что, разумеется, иногда сводится лишь к тому, чтобы возможно более приблизиться к ней. В одном тексте из «Законов» Платона, например, все списки дают слово: «ἐνθεαστικόν»[222]; но такое слово, вообще, не встречается у Платона и не подходит к данному месту; отсюда можно заключить, что чтение «ἐνθεαστικόν» не согласуется с подлинным словоупотреблением Платона; наоборот, оно оказывается любимым термином у неоплатоников[223] и соответствует принятой ими терминологии; следовательно, можно предполагать, что чтение «ἐνθεαστικόν» не подлинное: оно, вероятно, «глоссема» одного из неоплатоников*. Впрочем, не входя в подробное рассмотрение всех приемов критики текста или поправок, достаточно лишь указать здесь на главнейшие из них.

Критика текста характеризуется особого рода приемами: главнейшие из них состоят в принятии известного чтения, а, в случае нужды, и в его исправлении; такие операции можно соответственно назвать рецензией и эмендацией текста[224].

Принять чтение, значит признать его единственно возможным или наилучшим из данных.

Если известное «место» действительно сохранилось только в одном списке или старинном издании, что, впрочем, можно

* *A. Boeckh*, Op. cit., S. 182; речь идет о Plat. Leges, III, 682 A.

утверждать лишь после предварительного расследования, остается принять данное в нем чтение, хотя бы оно и требовало последующего исправления*.

Если изучаемое «место» сохранилось в нескольких списках или изданиях, сделанных помимо автора, выбор наилучшего чтения становится в зависимость от целого ряда предварительных работ: нельзя выбрать наилучшее чтение, т. е. то, которое следует признать подлинным или ближе остальных подходящих к нему, не приняв во внимание внутреннего достоинства каждого из списков и предварительно не выяснив, какие из них независимы и какие, напротив, зависят друг от друга. Восстановление чтения по переводам, схолиям[225], цитатам и т. п. также может достигнуть значительной сложности, если произведение данного автора, например, Гомера, Платона, Аристотеля и т. п. пользовалось популярностью и распространялось в большом количестве списков, даже в позднейшее время.

В случае принятое чтение все же вызывает некоторое сомнение в его подлинности, оно подвергается эмендации: последняя имеет в виду восстановить чтение в подлинном его виде, т. е. в том его окончательном виде, какой сам автор придал ему в своем произведении, хотя бы и с теми ошибками, которые сам он допустил в нем, если только они не случайного происхождения. Вообще, при эмендации первоначальный текст восстанавливается по сохранившемуся в источнике испорченному месту, главным образом, путем двоякого рода операций: за отсутствием лучших терминов, можно назвать их — конъектуральной и текстуальной эмендацией.

В той мере, в какой конъектуральная эмендация оказывается критикой, а не интерпретацией, она состоит не столько в наукообразном угадывании наиболее правильного чтения по эмпирически данному неправильному, сколько в выяснении того, насколько предполагаемое чтение определенных слов, выражений и т. п. можно признать подлинным, т. е. первоначальным или более близким к нему, чем данное испорченое чтение. При конъектуральной его эмендации приходится обращаться к изучению ошибок (обмолвок или описок) и дефектов (пробелов или пропусков), допущенных самим автором

* *A. Gercke und E. Norden*, Einleitung in die Altertumswissenschaft, Bd. I (1910), SS. 39–40; «Афинская полития», Аристотеля, 5-я декада Ливия и др. известны, например, по одной только рукописи.

или писцом, их источников и последствий*. С такой точки зрения историк принимает в расчет возможные ошибки автора или писца в написании или передаче текста и те условия, которыми объясняется небрежность или непонимание того или другого из них: он объясняет ошибки переписчиков палеографическими особенностями предполагаемого оригинала, языком, на котором он был написан, произношением слов и т. п.; он обращает внимание на смешение одного начертания, слова и т. п. с другим; для очистки текста от таких искажений он прибегает к сравнительному изучению рукописей и их палеографических особенностей, старейших изданий, а также схолий и цитат, в которых текст более или менее сохранился, и не упускает из виду переводов с подлинника, пересказов и даже подражаний оригинальному тексту, иногда намекающих на то чтение, какое подражающий мог иметь перед глазами, и т. п. В отличие от конъектуральной эмендации, текстуальная состоит в исправлении состава текста, т. е. произвольно сделанных в нем перестановок, опущений, добавлений и т. п.: она обнаруживает элиминации, возникающие, например, в тех случаях, когда ученый принимает подлинную поправку самого автора за неподлинную и опускает ее из текста, или вскрывает наличность интерполяций, которые состоят большею частью из чужих толкований: глосс или глоссем, внесенных в текст**. При текстуальной эмендации историк пользуется, конечно, приемами, ана-

* *F. Schleiermacher*, Herm. und Kr. SS. 284–322. Происхождение таких «механических» ошибок весьма разнообразное: диктующий мог оговориться или пишущий допустил описку, или один из них что-либо просмотрел в оригинале или прочел его ошибочно; или писец забыл, что он уже написал раз то, что он пишет, или вообразил, что он уже написал то, чего не писал (например, не повторивши слога, который следовало удвоить или допустивши другие пробелы), или переставил что-либо, или смешал одно с другим, или ошибочно раскрыл аббревиатуру или плохо разъединил, или напрасно слил слова, или небрежно расставил знаки препинания и т. п. Подробности о возникновении и родах подобного рода ошибок см. *F. Blass*, Op. cit., SS. 252–274.

** Впрочем, поправки, называемые произвольными в противоположность случайным, нельзя смешивать с произвольно, т. е. без критики, внесенными в текст, или с намеренными поправками: писец мог произвольно внести вписанное между строками или приписанное на полях в текст, не входя в рассмотрение вопроса о том, принадлежит ли писанное автору или не принадлежит, и без намерения «исправить» или исказить текст; произвольная поправка может оказаться, однако, и намеренной, например, может быть сделана позднейшим полуученым и получить характер элиминации или интерполяции.

логичными с только что указанными: с такой целью он обращается, например к рассмотрению палеографических, а также стилистических признаков, отличающих собственно поправки от остального текста; он также исследует их содержание, не всегда согласованное с ним, хотя и должен иметь в виду, что последнее может быть вызвано и другими обстоятельствами, например, позднейшими исправлениями самого автора, не приведенными в соответствие с прежней редакцией; само собою разумеется, что в случае нужды он обращается и к сопоставлению данного места с его переводами, пересказами или подражаниями и т. п.

Много образцов и примеров подобного рода исправлений, сделанных путем конъектуральной и текстуальной эмендации, можно найти в научной обработке, какой подвергались тексты священного писания, произведения классических авторов, например, Гомера, Демосфена, Лукреция и других, некоторые из средневековых хроник XI–XII вв. и т. п.*

Вообще, при эмендации текста историк прибегает к самым разнообразным соображениям и приемам, которые, разумеется, не всегда укладываются в вышеуказанные рамки и находятся в зависимости

* *H. N. Madvigius*, Adversaria critica ad scriptores graecos et latinos, v. I (Hauniae, 1871); praemittitur artis criticae conjecturalis adumbratio (pp. 1–184). В своей «adumbratio» автор, главным образом, выясняет причины и разновидности ошибок (mendorum) в рукописях древних авторов и способы их исправления, а также «probabilitatis criticae in rebus grammaticis aestimandae leges», поясняя свои правила множеством примеров их приложения. См. еще *A. Gercke*, Op. cit. в Neue Jahrbücher für das Klas. Altertum, Bd. VII (1901), SS. 5 ff., 80 ff. Само собою разумеется, что при совершении подобного рода операций критик текста нуждается в широком и глубоком знакомстве с языком и его законами, в частности с правилами литературно-художественной техники, стихосложения и т. п., не говоря о знании истории, быта и т. п., что, например, легко заметить в знаменитых работах Германна, Лахмана и Ритчля над восстановлением подлинного текста Эсхила, Лукреция и Плавта, а также в трудах других ученых, например, Валена (Vahlen) и Бюхелера, показавших, что без правильного понимания текста нельзя подвергать его надлежащей критике. В самом деле, правильная интерпретация источника предостерегает от чрезмерного увлечения эмендацией и дает возможность, между прочим, выяснить те последовательные изменения, которые сам автор вносил в свое произведение (перестановки, сокращения, вставки и т. п.) и которыми он иногда нарушал прежнее его единство и проч.; возникающие отсюда ошибки все же признаются «подлинными исправлениями» самого автора и, значит, не подлежат «эмендации в качестве неподлинных; см. *A. Gercke*, Op. cit. в Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Bd. VII (1901), особенно SS. 102–112.

от всевозможных случайностей, каким данный текст подвергался в течение более или менее долговременного своего обращения; да и помимо самих текстов приходится применять такие же приемы и к цитатам или схолиям, к далеко не всегда удачным эмендациям старинных справщиков или даже новейших ученых и т. п.

Восстановление архетипа получает еще более сложный характер, если он не сохранился не только в оригинале, но и в копиях и если можно судить о нем лишь по заимствованиям, сделанным из него в источниках сложного состава. Следовательно, для того, чтобы восстановить архетип по таким источникам, нужно каждый из них подвергнуть критике состава, т. е. выяснить, можно ли относить суждение о подлинности или неподлинности источника ко всему источнику, уже очищенному от искажений и поправок и взятому в его целом, или только к отдельным его частям, взятым порознь.

На основании вышеуказанных принципов историк вырабатывает признаки сложного состава источника и прибегает к техническим приемам его исследования: кроме прямых указаний на заимствования, он замечает, например, некоторую разъединенность частей или противоречия в показаниях одного и того же источника; различие находящихся в нем оценок одного и того же факта или однородных фактов; запутанность изложения, хотя бы, положим, непоследовательность в хронологическом порядке рассказа, вообще принятом в данном источнике; повторения одного и того же известия в разных местах; резкость стилистических переходов и т. п.; он пытается объяснить такую смесь сложным составом изучаемого источника, для чего и обращается к разложению источника на его части, разыскивает более или менее значительные совпадения его с другими источниками, изучает те его уклонения, которые без сопоставления его с другим, основным источником оказываются непонятными, и т. п.*

При изучении такой зависимости историк, значит, стремится восстановить основной источник данной группы: путем критики состава производных источников, он пытается выделить из них те элементы, которые могли быть заимствованы из основного, и принимая во внимание связь между найденными отрывками, может иногда восстановить архетип. В самом деле, изучая каждый из производных источников, он пользуется косвенными указаниями на

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 421 и сл.; примеры см. там же.

утраченный оригинал, например, явной связью между порванными частями в формальном, грамматическом, синтаксическом или стилистическом отношениях, внутреннею связью между ними по содержанию, положим, естественным ходом мысли или хронологическою последовательностью рассказа, тенденцией, ссылками в одном месте на другое и т. п.; он выделяет такие части, подходящие друг к другу или неразрывно связанные между собою, и из них гипотетически восстановляет содержание, а иногда, при благоприятных условиях, даже форму источника. В настоящее время такие приемы часто применяются для реконструкции утраченного архетипа, например: подлинной статуи или картины по современным копиям или рисункам с нее; подлинной старинной народной песни по позднейшим ее формациям в детских песнях; подлинной грамоты по позднейшим ее подтверждениям; древнейшей летописи по позднейшим редакциям, в состав которых она вошла, и т. п. Для примера можно указать на попытку реконструировать античную статую Афины времен Фидия по римской копии с бюста, сохранившейся в Болонском музее, и по плохо реставрированному торсу Дрезденского музея; или на реконструкцию античной картины Полигнота[226] по рисункам на современных ему вазах, или на восстановление утраченного текста XII-го века, послужившего для составления нескольких других летописей того же времени, главным образом, Гильдесгеймских и Кёльнских летописей, а также известного труда Саксонского летописца[227]; или на выделение текста трех древнейших русских летописных сводов: древнейшего киевского, первого печерского и новгородского и т. п.*

Само собою разумеется, что восстановление архетипа не всегда возможно: оно едва ли осуществимо, например, если заимствования из него значительно переработаны или слишком ничтожны для того, чтобы позволительно было судить по ним об оригинале, или если намеки на него сохранились только в более или менее вольных подражаниях ему, и т. п. В таких случаях приходится довольствоваться

* *A. Furtwängler*, Meisterwerke der griechischen Plastik. Berl. u. Lpz., 1893, SS. 4–6, ср. SS. 6–11. *P. Schefer-Boichorst*, Annales Patherbrunnenses etc., Innsbruk, 1870, SS. 4 ff., 58–61. Падерборнские анналы, между прочим, вошли в состав труда Гобелина Персона, о котором см. выше сс. 490–491 <Т. 2. С. 134–135>. *А. Шахматов*, Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПБ., 1908 г.

предполагаемым, но неизвестным архетипом, к которому зависящие от него источники должны возводиться, и с такой точки зрения отказываться от построения цельной группы связанных между собою источников.

Принципы и приемы подобного рода построений также применяются и в тех случаях, когда нужно разыскать или восстановить несколько основных источников, от которых данный источник зависит. Такой источник, очевидно, производный от нескольких основных, подвергается критике состава: она устанавливает подлинность или неподлинность каждой из его частей порознь; она подвергает его анализу для того, чтобы возвести его к первоисточникам, вошедшим в его состав, и в такой зависимости выяснить подлинность или неподлинность частей, из которых он образован; она определяет, что именно источник *N* заимствовал из источников *A, B, C...* и т. п. Дигесты, например, не содержат системы римского права, выработанной одним и тем же творцом: они состоят из выдержек, сделанных из произведений самых разнообразных юристов, писавших на протяжении более чем четырех столетий; следовательно, научно пользоваться дигестами можно было бы, лишь если бы сохранившиеся отрывки одного и того же автора были собраны и критически обработаны, что и привело бы к возможности правильно судить о развитии системы римского права, вместо того, чтобы более или менее искусственно строить ее из разновременных отрывков*.

В некоторых случаях, однако, такая критика принуждена ограничиваться лишь приблизительным установлением места или времени возникновения соответствующих частей источника, но не имеет возможности достаточно выяснить, из каких именно других источников они заимствованы. В таком положении историк часто находится относительно карт, летописей и т. п. Старинная карта Певтингера[228], например, весьма сложного состава: она образовалась, вероятно, из разнородных источников и известий, полученных из разных мест, и принадлежащих разным периодам: некоторые из них восходят приблизительно к эпохе Августа[229] («Orbis Pictus»), другие — к правлению Траяна[230], третьи — ко времени сыновей Константина[231] и т. д.; значит, при пользовании Певтингеровой картой, нельзя забывать, что Италия и Галлия изображены на ней, главным образом, с теми област-

* *H. Usener*, Vorträge und Aufsätze, Lpz., 1907, S. 33.

ными делениями, какие установились при Августе; что Дакия[232] представлена такою, какою она была при Траяне; что сеть дорожных путей с городами и стоянками, которые они связывали, прибавлена, не без изменений в прежних легендах, уже в IV-м веке и т. п.; нельзя упускать из виду и некоторые позднейшие известия, относящиеся к царствованию Юстиниана[233], да и те добавления, которые были сделаны еще позднее — в XIII-м веке*. Аналогичные случаи можно, конечно, подобрать и в области летописей: при анализе, например, «общерусского свода» 1423 г.[234], вошедшего в состав новгородского свода 1448 г. и других летописных компиляций, удалось установить, что он состоит из нескольких сводных летописей, а именно южнорусской, владимирской, новгородской и московской, а также содержит выписки из местных летописей: московских, новгородских, тверских, ростовских, нижегородских, рязанских, смоленских и из других источников разновременного происхождения и т. п.**

Итак, построение группы связанных между собою источников состоит прежде всего в установлении архетипа; но такое построение нуждается и в дальнейшем выяснении того соотношения, в каком зависимые источники находятся между собою: ведь при разыскании или восстановлена архетипа приходится уже изучать такую связь, т. е. решать, какие из источников данной группы зависят только от основного, и какие, сверх того, зависят от одного или нескольких производных; каков род зависимости между этими источниками, и т. п. Вместе с тем установление того, а не иного соотношения между зависимыми источниками служит и для проверки выводов, сделанных относительно архетипа: они принимаются или отвергаются, смотря по тому, приложима ли данная гипотеза к объяснению изучаемого соотношения между зависимыми источниками или не приложима.

Построение такой зависимости производится, конечно, на основании принципов и при помощи приемов, которые уже были рассмотрены выше при изложении учения об установлении архетипа: исследователь рассуждает о зависимости источника *C* от источника *B*, подобно тому, как он рассуждает и о зависимости источника *B* от

* *E. Desjardins*, La table de Peutinger, Par., 1874, pp. 66–72, 253–254 и др.; автор относит древнейшие части карты ко времени Агриппы.

** *А. Шахматов*, Общерусские летописные своды XIV и XV в. в Жур. Мин. Нар. Просв. 1900 г., сентябрь и ноябрь и 1901 г. ноябрь, сс. 52, 53–58 и др.

источника *A*; но он не может упускать из виду, что, в таких случаях, *C* зависит и от *A*, через посредство *B*, и т. п.

С такой точки зрения, историк располагает источники, принадлежащие к данной группе, в иерархическом порядке их зависимости один от другого: во главе ее он ставит, конечно, архетип, т. е. источник, в большей или меньшей мере лежащий в основе остальных, и делит их на подгруппы, каждая из которых соответственно отличается от других.

Ввиду указанной цели историк и приступает к изучению соотношения между копиями или старинными изданиями данного произведения и обращает особенное внимание на общие им ошибки: он исходит, например, из предположения, что полное совпадение в ошибках нескольких переписчиков, каждый из которых воспроизводил бы архетип, если только последний свободен от них, маловероятно и что, значит, тождество в двух или нескольких списках одних и тех же ошибок, сделанных в одних и тех же местах, свидетельствует в пользу общего их происхождения или в пользу зависимости одного из них от другого. На основании подобного рода соображений историк выясняет соотношения списков, прямо списанных с оригинала или друг с друга, древнейших и позднейших, иногда более исправных, чем древнейшие, а также чистых и смешанных и т. п.* Такое соотношение зависит, разумеется, от количества списков, степени уклонения их от оригинала, их взаимозависимости и т. п. При критическом изучении текста Лангобардской истории Павла Диакона[235], которая не сохранилась ни в оригинале, ни в первоначальных четырех списках, например, можно образовать из остальных ее списков, число которых превосходит 100, 4 основных класса, в свою очередь распадающихся на несколько подклассов различных степеней**.

* *A. Gercke und F. Norden*, Op. cit., SS. 42, 45, 49. Сказанное в тексте относится и к памятникам народной словесности, а не только к летописям и т. п.: версия «Золушки», записанная Перро (Perrault) во второй половине XVII-го века, например, оказывается менее древней, чем версии той же сказки, известные в Карелии и Шотландии и впервые записанные лишь два века спустя; см. *E. Hartland*, Mythology and Folktales, Ld. 1900, p. 29.

** M. G., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX, ed. 80, G. Waitz, Hanov., 1878, pp. 28–42; стемму см. p. 43. Старинные издания (XV–XVII вв.) нередко сделаны по утраченным теперь рукописям, что и придает самим изданиям значение списков.

С аналогичной точки зрения историк изучает и соотношения между основным источником и производными от него, а также между производными источниками, каждый из которых более или менее отличается от других по содержанию и, значит, имеет некоторую самостоятельность, привносит новые известия. В отличие от главного источника или основной редакции он называет остальные подгруппы — производными редакциями или изводами, причем, разумеется, должен иметь в виду, что каждая из них может быть представлена или одним или несколькими списками: наши исследователи говорят, например, о летописи первоначальной южного извода, т. е. о списке Ипатьевском и сходных с ним, или о летописи первоначальной суздальского извода, т. е. о списке Лаврентьевском и сходных с ним[236] и т. п.

Благодаря установлению подобного рода зависимости между источниками можно построить и общую схему их родства, т. е. «стемму» рукописей или генеалогическую таблицу источников.

Смотря по тому, каковы характер и степень зависимости источников друг от друга, и схемы их родства оказываются довольно разнообразными. Рассмотрим некоторые из важнейших типов подобного рода построений в их графических изображениях.

Вообще, можно различать, по крайней мере, в теории одностороннюю зависимость *B* от *A*, от обоюдосторонней зависимости *B* от *A* и *A* от *B*, заметной, например, в том случае, если *A* известно в нескольких разновременных списках или изданиях, а тем более, если то же известно и относительно *B*.

При графическим изображении односторонней зависимости можно размещать источники, зависящие от других, под ними и связывать их вертикальными линиями, а в случае обоюдосторонней их зависимости располагать их друг за другом и связывать их горизонтальными линиями, хотя бы в следующем виде (см. рис. 1 и 2):

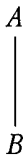


рис. 1.

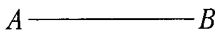


рис. 2.

В группе источников, находящихся в односторонней зависимости, можно также усматривать различие, если число членов группы более двух: односторонняя зависимость между тремя источниками *A, B, C* может быть, например, или линейной или разветвляющейся, а последняя оказывается или односложной или многосложной.

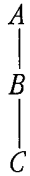


рис. 3.

В самом деле, в случае линейной зависимости между *A, B* и *C*, положим, что при независимости *A* от *B* и *B* от *C*, *B* зависит от *A* и *C* зависит от *B*. Такие соотношения можно построить графически в схеме, представленной на рис. 3.

В самом элементарном своем виде линейная зависимость уже обнаруживается между двумя источниками, если один из них зависит от другого, например, между списками истории Павла Диакона, известными под названием: Ватиканского (*D1*) и Парижского (*D2*), или между Розенфельдскими и Магдебургскими анналами, и т. п.; но в некоторых случаях такая зависимость может простираться и на большее число источников, образующих линейный ряд: она обнаруживается, например, в соотношении старейших наших летописных сводов — древнейшего Киевского, 1-го печерского, 2-го печерского[237] и т. д.

В свою очередь, разветвляющаяся зависимость между *A, B* и *C* односложна, если *B* зависит от *A* и если *C* зависит от *A*, и многосложна, если *C* зависит и от *A*, и от *B*. Графически изображая типы такого соотношения, можно получить схемы, представленные на рис. 4 и 5.

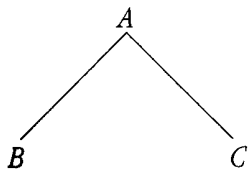


рис. 4.

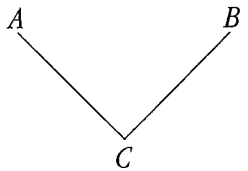


рис. 5.

Соотношения подобного рода, при наличности большого числа родственных источников, могут, конечно, значительно осложняться и обнаруживаются в группах самых разнообразных источников: и в остатках культуры, например в документах, и в исторических преданиях, чаще всего, конечно, в последних. Достаточно припомнить

Здесь те работы, которые обнаружили филиацию коммунальных хартий средневековых французских городов, например, по образцу Лорисской, Ланской, Руанской и т. п.[238]; или вскрыли существование древнейших летописей, послуживших источниками для аннал Ливия[239], Дионисия[240] и др.; или обнаружили что известия Плиния[241] лежат в основе рассказов Плутарха[242] и Тацита о Гальбе и Отоне и т. п. В виде примера можно привести хотя бы результаты новейших разысканий о составе всем нам известной «Повести временных лет»: в основе ее, вероятно, лежит древнейший Киевский свод, доведенный до 1039-го года; но он осложнился в 1-ом Печерском своде 1073-го года и Новгородском своде XI в., вошедших в состав первого общерусского свода — 2-го Печерского или Начального, образовавшегося около 1095-го года; наконец, последний лег в основание «Повести временных лет», основного источника всех позднейших летописных сводов, еще более сложных по своему составу. В тех же исследованиях над русскими летописными сводами можно найти и конкретные иллюстрации тех типов зависимости, которые были намечены выше лишь в общих чертах: односложная зависимость наблюдается, например, в соотношении между древнейшим Киевским сводом, 1-м Печерским и Новгородским XI-го в.; многосложная — в соотношении между 2-м Печерским сводом и двумя предшествующими, т. е. 1-м Печерским и Новгородским XI-го века и т. п.*

Кроме односторонней зависимости между источниками можно встретить и обоюдостороннюю: в том случае если *A*, повлиявшее на состав *B*, известно в нескольких разновременных списках или изданиях, отличающихся между собою, причем некоторые из них возникли позднее *B*, его списков или изданий и обнаруживают на себе следы влияния *B*, его списков или изданий, можно говорить об обоюдосторонней зависимости между *A* и *B*.

Вообще, графически представляя такое соотношение, согласно вышеуказанным правилам, а также разумея под a_1, a_2, a_{3000}, списки или издания *A*, под b_1, b_2, b_{3000}, списки или издания *B*, и приравнивая

* *J. Ficker*, Untersuchungen zur Erbenfolge der Ostgermanischen Rechte, Bd. I. (1891). *A. Luchaire*, Les communes françaises au moyen âge, pp. 137, 138. *К. Бестужев-Рюмин*, О составе русских летописей, СПБ. 1868 г.; *А. Шахматов*, Op. cit., сс. 527 и сл. Ср. *его же:* Общерусские летописные своды XIV и XV вв. в Жур. Мин. Нар. Просв. 1901 г.; Введение к изд. Радзивиловской или Кёнигсбергской лет. в изд. Общ. Люб. Древн. Письм., CXVIII и др.

значение косых линий к значению вертикальных, можно получить схему, представленную на рис. 6.

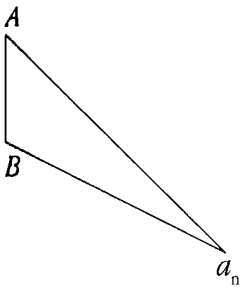


рис. 6.

Соотношение подобного рода можно заметить, например, между многочисленными списками одного и того же текста, взаимно влиявшими друг на друга (например, при изучении рукописей Septuaginta, т. е. 70 толковников) или между законом, его толкованием, разумеется предполагающим самый закон, и переработкою последнего; такие случаи можно найти в современных сборниках законодательства, например, в германском гражданском уложении*.

Впрочем, можно встретить аналогичный тип зависимости и в менее строгой, но более сложной форме хотя бы следующего вида: положим, что источник *Z* находится в некоторой зависимости от части некоего комплекса источников *M*, причем сам оказывает влияние на другую часть того же комплекса *M*; с такой точки зрения можно сказать, что *Z* и *M* находятся в некоторой обоюдосторонней зависимости. Графически можно построить соотношение подобного рода между *Z* и *M*, замкнув в пределы одной кривой совокупность источников, образующих комплекс *M* и находящихся в известном соотношении к *Z*, положим *A, B, C*, а также *N, P, Q*, и изобразив, согласно вышеуказанным правилам, их отношение к стоящему вне данного комплекса *Z*, в схеме, представленной на рис. 7.

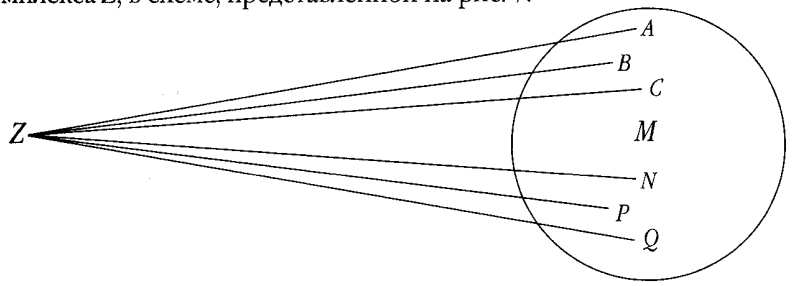


рис. 7.

* Bügerliches Gesetzbuch, erläutert von G. Planck etc., Berl. 1898. 2 Aufl., Lief 1. S. 27, § V. Auslegung des Bürgerlichen Gesetzbuchs. «Schon oben ist hervorgehoben, dass das B. G. B. eine Fortbildung (т. е. путем толкования) des bestehenden Rechtes ist und an dieses thunlichst auch dann anknüpft, wenn es neue Vorschriften giebt»[243].

В виде примера можно указать на те переводные сборники повестей, которые, проникнув в состав литературы, уже получившей более или менее туземный характер, видоизменяются в своих редакциях, благодаря тому, что заимствуют кое-что из ее среды, но вместе с тем сами воспринимаются ею в некоторых из своих элементов. Переводный сборник, известный у нас под названием Великого Зерцала[244], в позднейших своих редакциях, например, представляет такие именно особенности: развитие свода направляется вообще к распространенному в XVII–XVIII вв. характеру сборников повестей, в которых рядом с повестями «Великого Зерцала» помещались повести из Пролога[245], Патериков[246] и переводной литературы; но вместе с тем, благодаря общности многих источников (древне-христианских вообще и византийских в частности), а также общности направления (аскетического, поучительного и легендарного) «Великое Зерцало» настолько сближается с древне-русской литературой, что и самый сборник чуть ли не утрачивает характера переводного и повести его наравне с проложными входят в такие уважаемые древне-русские сборники, как синодики[247], лицевые сборники, а чрез них и в устную народную словесность, в духовные стихи, сказки и легенды*.

Вышеуказанные главнейшие типы соотношений между источниками, разумеется, получают дальнейшие видоизменения в зависимости от возрастающей сложности и других свойств изучаемых групп источников, что ведет и к большей сложности графических схем; в них иногда можно пытаться изображать относительную разницу во времени возникновения источников, положим, различною длиною связующих их линий, большую или меньшую близость между источниками — размерами образуемых ими углов, осложненные разветвления — построением генеалогического дерева, а не генеалогической таблицы (т. е. в трех, а не двух измерениях) и т. п.

Итак, пользуясь вышеуказанными критериями подлинности или неподлинности и разнообразными методами, а также техническими приемами, можно выяснить степень родства или зависимости между источниками, т. е. в какой мере они близки друг к другу или далеки друг от друга и каков характер той зависимости, в которой источники данной группы находятся друг от друга; можно обозначить и степень их родства тем положением, какое сравниваемые источники занимают в генеалогической таблице или генеалогическом дереве,

* *П. Владимиров*, Великое Зерцало, М., 1884 г., сс. 56, 67.

и принимать его во внимание при критической оценке каждого из источников данной группы, его подлинности, их степеней и т. п.

Впрочем, решение таких задач сопряжено иногда с немалыми затруднениями; не останавливаясь на подробном их рассмотрении, достаточно отметить здесь лишь те из них, которые возникают, если автор умышленно выдает чужое за свое, если он присвоет себе крупную мысль или целый ряд таких мыслей, даже в той форме, в какой они были выражены другими, для чего и старается скрыть источник своих заимствований, и т. п. Составители мемуаров, особенно с конца XVII-го века, например, часто выдавали чужие рассказы за свои собственные впечатления, т. е. присваивали их себе: в своих записках о «разговорах с Фридрихом Великим» де Катт[248] не раз придерживался приемов подобного рода.

Такое присвоение может быть частичным или полным.

Частичное присвоение состоит в умышленном и тайном заимствовании какой-либо части чужого произведения и получает, конечно, различное значение, смотря по важности заимствуемой части: оно называется плагиатом в широком смысле, если заимствованная часть имеет некоторую ценность, и плагиатом в более узком смысле, если она имеет особенно важное значение; в последнем случае плагиат состоит в присвоении себе чужих открытий, изобретений или оригинальных наблюдений и выводов с намеренным укрывательством самого источника заимствований и без самостоятельной переработки хотя бы формы заимствуемого. Плагиат чаще всего обнаруживается, конечно, при сплошном и значительном по объему заимствовании того, что из данного произведения присваивается, и при соблюдении той именно формы, в которой оно выражено в нем. Плагиаты уже практиковались в древности: даже Геродот, судя по свидетельству, сохранившемуся у Порфирия[249], будто бы заимствовал, при описании Египта, довольно значительные части из труда Гекатея[250]; то же, разумеется, бывало и в позднейшее время: Матвей из Вестминстера списывал труд Матвея Парижского[251], а Матвей Парижский так же обошелся с трудом Рожера, приора Вендовского (Wendoves)[252]; в своей истории Германии Барр, по словам Вольтера, повторил более 200 страниц из его истории Карла XII, впрочем, не без искажений, приписывая слова или поступки одних лиц другим, что дало повод обвинять Вольтера в заимствованиях, будто бы сделанных им из сочинения Барра, и т. п.*

* *J. M. Quérard*, Supercheries littéraires dévoilées, Par., 1869–1871, t. I, pp. 69–84, 464.

Полное присвоение чужих мыслей и т. п. наступает в том случае, если кто-нибудь, не довольствуясь частичными заимствованиями из чужого произведения, целиком воспроизводит его под своим именем. В начале XVII-го века, например, Пеллье опубликовал под своим именем «историю происхождения, возрастания и упадка Турецкой империи» (1614 г.); но подлинный автор ее — Люсенж, вопреки предположениям Пеллье, был еще жив и, будучи в то время в Париже, обратился к защите суда, который и восстановил его в правах авторства*.

[3. Критерии и методы установления поддельности мнимых источников]

Критика источника, как факта, не ограничивается, однако, установлением того значения, какое он имеет в качестве действительного источника, различением подлинных источников от неподлинных, разысканием степени их оригинальности или зависимости друг от

* *J. M. Quérard*, Op. cit., t. I, pp. 85–92 («des vols littéraires»). Ср. еще *Ch. Nodier*, Questions de littérature légale, 2 éd. Par. 1828. В современной уголовно-правовой доктрине, например, французской, издание произведения чужого ума «в целом или в части», совершаемое путем нарушения авторских прав, называется контрафакцией; впрочем, для признания ее наличности не нужно, чтобы имя автора воспроизводимого произведения было непременно скрыто; но частная контрафакция отличается в нем от плагиата, главным образом, тем, что последний не представляет ясно выраженного характера правонарушения (деликта) и не наносит достаточно явного вреда автору для того, чтобы подвергнуть виновного в его нанесении ответственности перед законом; «плагиат в узком смысле», однако, обыкновенно признается и частичной контрафакцией. В нашем уголовном законодательстве полное воспроизведение, путем издания, чужого произведения под своим именем называется «подлогом в авторстве». См. Pandectes françaises, S. v. «Propriété littéraire» (Par., 1894); §§ 664 ss., 1114–1127 и др. Улож. о наказаниях, ст. 1683,1685; ср. еще *И. Фойницкий*, Курс уголовного права, часть особенная, СПб., 1890 г., сс. 290–302. Бернгейм рассматривает плагиат в качестве разновидности подделки (Fälschung); но присвоение чужих мыслей с намеренным укрывательством источника заимствований едва ли можно отождествлять с подделкой тех самых мыслей, которые присвояются, по крайней мере, в употребленном ниже смысле; впрочем, автор касается понятия о плагиате довольно случайно, рассуждая о подделке аннал и хроник; см. *E. Bernheim*, Lehrbuch, S. 369. Кроме того, можно указать еще и на такие случаи, когда произведение одного автора, путем обмана, присваивается другому автору третьим лицом; припомним хотя бы случай с Куршаном, который выдавал один роман И. (или I.) Потоцкого за «мемуары Кальостро», о чем см. *J. M. Quérard*, Op. cit., t. I, pp. 91, 616–631.

друга и т. п.: в числе продуктов человеческой психики, с которыми ей приходится иметь дело, она встречает и такие, которые оказываются результатами подделки.

В широком, преимущественно психологическом смысле, понятие о подделке можно выяснить с точки зрения ее субъекта и ее объекта*.

Вообще, под субъектом подделки можно было бы разуметь всякого, кто умышленно выдает, посредством лжи или обмана, искусственный продукт за настоящий, т. е. за нечто такое, что он не есть в действительности, если бы предлагаемое понятие не было слишком широким: ведь не всякий лжец или обманщик, заявляющий, что данный искусственный продукт настоящий, есть уже составитель подделки; антикварий, торгующий поддельными продуктами, может и не подделывать их. Следовательно, приходится ограничить понятие о субъекте подделки прежде всего понятием об активном участии его в ее совершении: ведь для того, чтобы, в известном смысле, выдать свое за чужое, сам он придает некоему продукту искусственный характер, т. е. сам изготовляет тот продукт, который он выдает за настоящий, или, по крайней мере, пользуется чужими услугами для такой именно цели и поручает, например, знающему резчику или писцу сфабриковать тот продукт, который он, т. е. сам работодатель, будет вслед за тем выдавать за настоящий, и т. п. Итак, несколько ограничивая разбираемое понятие, можно назвать субъектом подделки всякого, кто умышленно, посредством лжи или обмана, выдает свой (в вышеуказанном смысле) искусственный продукт за настоящий.

Ввиду ближайшей цели подделки составитель ее обыкновенно подражает какому-либо объекту-образцу, но лишь постольку, поскольку это ему нужно для того, чтобы обмануть другого: составитель подделки обыкновенно не стремится добросовестно воспроизвести данный оригинал, т. е. не ставит себе такое воспроизведение — самостоятельною целью, а пользуется им в качестве средства для подделки его и, следовательно, довольствуется более или менее внешним сходством между своим продуктом и оригиналом, достаточным, по его мнению, для того, чтобы выдать его за настоящий. С такой точки

* Известное определение Фаринация: «falsum est veritatis mutatio dolose et in alterius praeiudicium facta»[253] слишком широко, если брать его в фактическом смысле, и слишком узко, если принимать его в правовом смысле.

зрения не столько содержание источника, сколько его внешняя форма служит главным объектом подражания. Согласно с тою же ближайшей целью составитель подделки не чувствует достаточного «пиетета» к своему образцу; он может задаться целью выбрать из него несколько наиболее привлекательных, по его мнению, элементов или черт и делает то же по отношению к другим, часто позднейшим, оригиналам; в случаях подобного рода он подражает не одному, а нескольким образцам, наиболее эффектные элементы которых он насильственно вырывает из соответствующих целых и более или менее искусственно совмещает в одной какой-либо форме, получающей таким образом чисто внешнее объединяющее значение.

Понятие о подделке стоит, конечно, в тесной связи и с понятием о ее результате — поддельном продукте: в широком, преимущественно психологическом смысле под ним можно разуметь всякий продукт, искусственно созданный для того, чтобы умышленно выдавать его, посредством лжи или обмана, за настоящий.

С познавательной точки зрения критерий поддельности продукта, значит, оказывается сложнее критерия неподлинности источника: само собою разумеется, что историк имеет в виду понятие о разъединенности сознания, обнаруживающейся в продукте, составитель которого подделывается под чужое сознание для совершенно чуждых последнему целей; что он же принимает во внимание и несоответствие данного продукта с тою культурой и той индивидуальностью, к которой последний будто бы относится; но для того, чтобы прийти к заключению, что изучаемый им продукт — поддельный, историк должен иметь основание утверждать, что составитель его обнаружил в нем свою злую волю, а именно желал выдать, путем лжи или обмана, свой искусственный продукт за «настоящий». Следовательно, критерий поддельности представляет немало проблематичного: пользуясь им, историк утверждает реальное существование такого именно намерения в чужом сознании, поскольку оно обнаружилось в самом результате подделки; но он принимает гипотезу подобного рода лишь в том случае, если он может признать ее наиболее пригодной для того, чтобы объяснить искусственность изучаемого продукта, а в особенности, если он может вполне конкретно установить личность самого составителя подделки, мотивы которого и обусловили ее появление: с последней точки зрения он получает возможность приписывать вполне реальное значение мотивам подделки и поста-

вить самый факт подделки, а значит и поддельный характер продукта вне сомнений.

Следует заметить, однако, что понятие о поддельном продукте можно употреблять или в историко-познавательном, или в правовом смысле.

В историко-познавательном смысле можно умышленно выдавать, посредством лжи и обмана, искусственный продукт за настоящий, если приписывать ему значение действительного источника. С такой точки зрения историк признает источник поддельным, если он может приписать обманщику злое намерение подделать именно исторический источник, т. е. совершить подделку самого факта его существования, как источника, и выдать результат своей подделки за действительно существующий источник или за его часть.

Такое понятие о поддельном источникообразном продукте, а также о главнейших критериях его поддельности легко обнаружить и на частных примерах. Несколько лет тому назад Луврский музей приобрел за большие деньги роскошную золотую тиару, известную под названием тиары Сайтафарна[254]; но при ближайшем рассмотрении оказалось, что она страдает отсутствием единства и цельности, что ее материал и техника отзываются современным производством; что сюжеты, представленные на тиаре и мотивы ее орнаментики относятся к разным векам; что главный из них заимствован из рельефов на колонне Марка Аврелия, а большинство — из мало известного сборника рисунков (Weisser'a); что некоторые из них, например, летающие гении и вазы — совсем новейшего фасона; что едва ли можно было, в беспокойное время Митридата[255], подыскать художника, который способен был бы изготовить столь сложный памятник, и т. п.; подделка была окончательно доказана, когда резчик Рушумовский был разыскан и приглашен в Париж для объяснений, между прочим вскрывших и некоторые из способов, которыми он думал достигнуть своей цели*. В других случаях труднее довести расследование до конца. В числе источников, на который любили ссылаться для обо-

* *A. Furtwängler*, Die Tiara des Königs Saitapharnes., см. журн. «Cosmopolis», 1896 г. № 8. *S. Reinach*, La tiare dite de Saïtapharnes; см. Rev. Archéol. 4-me sér. t. II, (1903), pp. 105–112; ср. снимки с тиары, приобретенной Лувром в 1896-м году, в соч. *A. Furtrwaengler*'a: Neuere Faelschungen der Antiken, Berl. u. Lpz., 1899, SS. 30–31.

снования папских претензий, Исидоровы декреталии занимали одно из видных мест. Сами декреталии не претендовали на полное единство и цельность; но выдавая себя за коллекцию старинных копий преимущественно с писем целого ряда римских пап I–VIII ст., сборник представляет организацию христианской церкви будто бы вполне уже завершившейся в течение первых веков даже на западе, что вовсе не согласуется с тем понятием о ней, какое нам известно из других источников, да и в остальных характерных своих особенностях соответствует средневековой культуре, примерно середины IX века и написан одним и тем же стилем; значит, автор сборника составлял его в позднейшее время и его произведение нельзя признать собранием разновременных писем; если принять во внимание, сверх того, и «злую волю» составителя, т. е. ту единообразную тенденцию, которая заметна в письмах, будто бы писанных разными папами, и которая состоит, главным образом, в превознесении епископской власти, можно признать данный сборник — подделкой, хотя в точности автор ее и остается неизвестным*.

В правовом смысле можно умышленно выдавать, посредством лжи или обмана, искусственный продукт за настоящий, если приписывать ему правовое значение, которого он, однако, не имеет; деяние подобного рода называется подлогом в широком смысле и характеризуется тем, что оно совершается исключительно благодаря «материализованной лжи» и направлено к тому, чтобы при помощи овеществляющего ее продукта посягнуть на известные правоохраненные интересы; с указанной точки зрения рассуждают, например, о подлоге денежных знаков, печатей, документов и т. п.** Впрочем, термин «подлог» чаще употребляется в еще более узком смысле, применительно к одним только «документам», т. е. к таким предметам или «писаниям», которые символически удостоверяют юридические отношения, права и обязанности, или события, имеющие юридическое значение. С последней точки зрения под подлогом документа, преимущественно в криминалистическом смысле, можно разуметь умышленное искажение истины в «писании» с целью употребить его под видом настоящего документа для посягательства на чьи-либо правоохраненные интересы*.

В таком смысле, но, разумеется, сообразуясь с правовыми понятиями данной страны и известного времени, можно рассуждать и о подложных исторических документах. В недавно изданном сборнике грамот Пипина[259], Карломана[260] и Карла Великого (их всего 319, из них 262 — Карла Великого), например, немало подложных: «Карл Великий был популярнейшим государем средневековья и его именем больше, чем каким-либо другим, любили прикрывать фальшивые документы»; более трети всего числа грамот указанного сборника состоит из документов, которые оказываются неподлинными, подверглись частичным переделкам и т. п.**

---

* *E. Seckel*, Pseudo-Isidor в Realencykl für protest. Theologie und Kirche. 3-te Auflage (1905), SS. 265–307. Последний из ученых, специально занимавшихся критическим изучением псевдоисидоровых декреталий, Фурнье, приходит к заключению, что сборник не мог быть закончен до 848 года и позднее 856 года; см. *P. Fournier*, Études sur les fausses décrétales, Louvain, 1906 г. Ср. предшествующее примечание.

** *A. Lenz*, Die Fälschungsverbrechen in dogmatischer und rechtsvergleichnder Darstellung, Stuttgart, 1897, Bd. I Urkundenfälschung: в своем «Litteraturverzeichniss» автор упустил из виду соч. *P. Frazer*, A manual of the study of documents to detect fraud and forgery, Philad., 1895; впрочем, я не мог воспользоваться им. *А. Жижиленко*, Подлог документов, СПб., 1900 г., сс. 5–11, 84, 515–524 и др., ср. еще: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Bd. VII, Berl. 1907. SS. 243–403 (*Weismann*, Urkundenfälschung). Вообще, можно сказать, что вышеустановленное понятие о подделке шире понятия о подлоге, хотя нельзя забывать и того, что не всякий подложный продукт может получить значение поддельного источника. Юристы различают обыкновенно два вида подлога: материальный и интеллектуальный; но критика источника, как факта, очевидно, не может заниматься рассмотрением «интеллектуального подлога», который едва ли можно подвести под подделку, если только не понимать его в том смысле, в каком французское законодательство понимает его, говоря, что он возникает «en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties»[256] (art. 146); интеллектуальный подлог можно было бы скорее называть фальшивым удостоверением; в последнем случае немецкие юристы говорят о «Falschbeurkundung»[257], а не об «Urkundenfälschung»[258]; но еще вернее, пожалуй, было бы говорить в таких случаях о словесном или письменном удостоверении ложного или лживого показания, т. е. рассуждать о них с точки зрения критики показаний источника, их достоверности или недостоверности и т. п.; об интеллектуальном подлоге см. «Vergleichung» etc., S. 250, *А. Жижиленко*, Op. cit., сс. 715 и сл.

* Pandectes françaises, t. 33, p. 39. Впрочем, и здесь понятие о подлоге не совсем ясно формулировано, так как при подлоге, «писание» выдается за настоящий документ (в правовом смысле). Следует заметить, что такое деяние можно совершать и путем составления поддельного писания, и путем искажения уже данного документа, т. е. его переделки; нужно также различать подлог в собственном смысле от действительного употребления подложного документа.

** M. G., Die Urkunden der Karolinger, Bd. I, bearb. von E. Mühl bacher unter Mitwirkung von A. Dopsch, J. Lechner, M. Tangl, Berl. 1906, S. 80 и др.

Впрочем, в разбираемом виде критики, понятие о подделке, конечно, построяется преимущественно в историко-познавательном, а не в правовом смысле: с такой точки зрения, подложный продукт получает особого рода интерес лишь в том случае, если ему придается значение действительного источника; тогда приходится усматривать момент злой воли, т. е. лжи или обмана, характеризующих совершение подделки, или в составителе подлога и признавать наличность поддельного источника, лишь как его последствия; или еще в том, кто умышленно выдает подложный продукт за настоящий источник, пользуясь им, например, для образования какого-либо исторического предания, и т. п. В качестве примера можно припомнить хотя бы известный подложный документ, которым император Константин Великий будто бы предоставил папе Сильвестру «все провинции Италии и западных областей» (provincias, loca et civitates), а также право назначать «патрициев и консулов», но который был сфабрикован, вероятно, в Риме вскоре после 754-го года; или подделку известия о том, будто бы некто Евд ле Мэр («Eudes le Maire»), живший в XI столетии, за услугу, оказанную им королю Филиппу I[261], получил от него привилегию, освобождавшую его и его потомство на вечные времена от податей; потомки Евда ле Мэра никогда не представляли ни мнимого подлинника, ни даже копии с него, а ссылались только на запись, редактированную тремя аббатами около 1250-го года; вслед за тем, они добились нескольких официальных ее подтверждений («vidimus») и продолжали пользоваться своей «привилегией» вплоть до 1752-го года, когда она окончательно была признана подложной*. Итак, хотя подделку источника нельзя смешивать с подлогом и последний обыкновенно ближе поддельного источника стоит к той культуре, к которой он будто бы относится, однако, можно и подложный продукт, в вышеуказанном смысле, называть поддельным источником; в некоторых случаях трудно даже провести резкую грань между ними: при изучении Псевдо-исидоровых декреталий, например, современный исследователь может, конечно, рассматривать сборник, составленный из них, в обоих смыслах.

Понятие о подделке получает, однако, разные оттенки частью в зависимости от того, какими мотивами объясняется факт ее появления, частью соответственно степени искусственности поддельного продукта.

В самом деле, легко заметить, что мотивы подделки могут быть чрезвычайно разнообразны: люди подделывали источники из-за «страсти» к подделке; из-за личной выгоды; из-за стремления к славе или к богатству; из-за генеалогического расчета; из-за желания услужить или повредить кому-либо; из-за партийных или других политических интересов; из-за патриотизма, и т. п. Впрочем, мотивы составителя подделки не всегда совпадают с целями подделки: он может руководиться, положим, корыстными соображениями для того, чтобы составить подделку, преследующую иную цель. Известный де Бар, например, промышлявший поддельными грамотами, сфабриковал несколько документов и для генеалогической истории Оверньского дома, главная цель которой состояла в том, чтобы доказать, что герцоги Бульонские происходят от древних графов Оверньских и могут быть поставлены наряду с царствующим домом*. Такое разнообразие мотивов следует иметь в виду при обнаружении подделки.

Вместе с тем и степень искусственности поддельного продукта принимается во внимание: проявляя разную степень активности, составитель его может, например, прибегать к частичной или полной подделке источника**.

При частичной подделке фальсификатор умышленно выдает искусственный продукт за какую-либо часть действительного ис-

* *E. Loening*, Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde; см. Hist. Zeit. Bd. 65 (1890), SS. 193–239. *E. Mayer*, Die Schenkungen Constantins und Pipins; см. Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Dritte Folge, Bd. XIV (1904), SS. 9, 15, 35, 67. Ср. еще *A. Giry*, Manuel, pp. 877–878. Поучительный образец доказательства подделки известного «Privilegium majus», будто бы выданного императором Фридрихом I и помеченного 17 сентября 1156 г., см. у *E. Bernheim*'а, Lehrbuch, SS. 340–345.

* *A. Giry*, Manuel, pp. 881–883; вообще многие документы подделывались из-за генеалогических расчетов или для удостоверения прав на имущество, о чем см. там же, pp. 871–872, 874–876, 880–886.

** Ср. выше с. 602 <Т. 2. С. 228>. В учении о подлоге различают «переделку», например, при подлоге удостоверения или подтверждения документа, от его «подделки» в целом его составе; последний термин, разумеется, нельзя смешивать с тем понятием о подделке в широком смысле, которое указано было выше; здесь он употребляется в более узком смысле — известного правонарушения; для того, чтобы не употреблять одни и те же термины в разных смыслах, я предпочитаю говорить о «частичной» и «полной» подделке.

точника и, заменяя им одну из его частей или вставляя его в состав действительного источника, подвергает последний искажению; он снабжает, например, подлинный предмет древности поддельным изображением или поддельною надписью, разумеется, предназначенными для того, чтобы, путем лжи или обмана, придать ему большее значение*; или подменивает в подлинном тексте одни имена, термины и т. п. другими, намеренно делает в нем произвольные вставки между строками, буквами или словами и т. п. Такие частичные подделки встречаются, например, на античных глиняных сосудах, хотя бы на древней «Нефелефой чаше», украшенной позднейшим, вероятно, поддельным рисунком с изображением Фрикса, Геллы и проч., а также заметны в некоторых документах, например, в известной «donatio Caroli magni» 774-го года; но и некоторые предания, например, сказание о Телле можно считать, в том же смысле, поддельными, если полагать, что составитель Белой книги намеренно подменил в рассказе о Токо его имя именем Телля и приноровил содержание рассказа к событиям, относящимся ко времени образования известного союза трех швейцарских кантонов на Рютли, и т. п.**

При полной подделке обманщик целиком фабрикует исторический источник, т. е. стремится придать своему продукту значение цельного исторического источника; благодаря собственной фантазии и некоторому знанию памятников данной культуры, часто тех, которые открыты недавно, он пытается сообразовать с ними свою подделку и выдает ее за исторический источник, будто бы пригодный для изучения той культуры, к которой последний, в сущности, вовсе не относится. Само собою разумеется, что и при полной подделке составитель более или менее подражает какому-либо образцу, оригиналу или копии и т. п. В некоторых случаях,

* *Ch. Clermont-Ganneau*, Les fraudes archéologiques en Palestine, Par., 1885 г., pp. 95–96, 343–346; частичная подделка иногда называется «фальсификацией».

** *A. Furtwaengler*, Op. cit., SS. 33–36. *I. Kehr*, Die sogenannte Karolingische Schenkung von 774; см. Hist. Zeit. Bd. 70 (1893). SS. 388–389; Зиккель и Шефферр-Буагорст усматривали в ней интерполяции; Кэр другого мнения, о чем см. S. 437 и др. *G. Meyer von Knonau*, Die historische Kritik und die geschichtlichen Gedächtnisstagen der schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahre 1891; см. Hist. Zeit., Bd. 70 (1893), SS. 245, 247; ср. S. 259. Такие же частичные подделки, разумеется, делаются и в копиях.

например, обманщик довольствуется воспроизведением действительного источника: по возможности не изменяя его содержания и точно соблюдая его форму, он умышленно выдает, положим, свою копию за оригинал, что часто встречается при подлоге документов*; в других случаях, напротив, он только «подделывается» под данный образец и допускает изменения в его содержании и форме. Впрочем, и в подделках последнего рода можно различать несколько степеней. Составитель подделки может, например, довольно близко придерживаться данного образца: он подделывается под стиль какого-либо знаменитого автора, а затем снабжает свое произведение «псевдоэпиграфом», т. е. приписывает его составление этому автору, для чего и выставляет на своем произведении нужный ему титул, или подпись, указывает на то, что оно принадлежит, положим, Аристотелю или Св. Бернарду[262], или Вольтеру и т. п.** Далее составитель подделки может более или менее произвольно пользоваться подходящим для своей цели материалом, из которого он и фабрикует источник: монахи аббатства С.-Дени; получившего многие пожалования от короля Дагоберта[263], например, при подделке своих грамот, почерпали нужные ими сведения из летописи, известной под названием: «Gesta Dagoberti»; Роберт граф Бомон, около 1300-го года представил поддельные грамоты, снабженные, однако, подлинными печатями его деда и тетки, и т. п. Наконец, составитель подделки может еще менее внимательно относиться к источнику: не довольствуясь более или менее искусным подражанием настоящему типу, он сам придумывает его: на базаре в Иерусалиме, например, одно время обращались бронзовые монеты с фантастическим изображением Моисея и соответствующими еврейскими надписями, взятыми из библейских книг, но начертанными современным нам письмом; монеты имели большой успех; впрочем, такие явно придуманные произведения, как, положим, вышеназванная монета

* *K. T. Rietsch*, Handubch der Urkundenissenschaft, Berl., 2 Aufl. 1904. S. 602 («Fälschung» и «Verfälschung»); с правовой точки зрения можно различать подлог документов без изменения их содержания, когда подлинное правовое значение приписывается не только самовольно воспроизведенному прежнему, но и новому их тексту.

** *J. M. Quérard*, Les supercheries littéraries dévoilées, 2 éd. Par., 1869–1861, t. I, pp. 4–25.

Моисея или «Cronica del rey don Rodrigo», написанная в XVI-м веке, но выдававшая себя за летопись VIII-го века, не могут долго вводить в заблуждение исследователей*.

Следует также иметь в виду, что полная подделка может выдаваться или за оригинал, или за копию, или содержать только пересказ мнимого источника, ссылки на него и т. п.: составитель Псевдоисидоровых декреталий, например, выдавал их за копию, Розьер[264] включал искаженные им тексты грамот, в качестве выписок будто бы из настоящих источников, в свою историю Лотарингии, напечатанную в 1580-м г., потомки Эвда ле Мэра ссылались на сохранившееся предание о данных ему льготах, Макферсон[265] уверял, что его песни — перевод с гельского языка, и т. п.

Итак, понятие о подделке оказывается довольно сложным: хотя в основе его и лежит несколько общих признаков, но оно может иметь весьма различные оттенки; пользуясь общим понятием о подделке, историк стремится выяснить, какое из более частных его значений получает свое приложение к данному случаю.

Ввиду того, что подделка есть искусственный продукт злой воли человека, «материализованной лжи» и т. п., методы ее обнаружения, во многом, впрочем, сходные с методами установления неподлинности источника, сводятся, главным образом, к установлению такого именно ее характера. Подделка обнаруживается, например, в искусственности общего вида продукта: он не производит достаточно цельного впечатления; его черезмерная сохранность, не соответствующая данным условиям, или, напротив, демонстративная архаичность иногда слишком резко бросается в глаза, чтобы не вызвать подозрения, особенно в искусственности его материала, техники и стиля. В самом деле, историк признает, например, данный предмет поддельным, если он сделан из иного или нового материала и при помощи новейших технических средств, оставляющих свои следы

* *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 30, 31–32, 52. *A. Furtwaengler*, Neuere Faelschungen der Antiken, Berl.-Lpz., 1899; SS. 16, 25. *E. Kautzsch und A. Socin*, Die Aechtheit der Moabitisehen Alterthümer Strassburg, 1876, SS. 138, 187–189. *A. Giry*, Manuel, pp. 874, 878; ср. еще сведения о поддельной «истории завоевания Испании Маврами» Абул-Касима Тарифа Абентарика, появившейся в конце XVI века и пользовавшейся большим авторитетом до 1708 года, о чем см. в соч. *J. M. Quérard*, Supercheries etc., t. I, pp. 23, 170.

на предмете; если его техника не выдержана; если его назначение и употребление порождают сомнения, и т. п.; он также заключает иногда о подделке памятника письменности по бумажному знаку, обнаруживающему, что бумага сделана в позднейшее время, и по другим палеографическим признакам, например, по характеру письма, почерка и сокращений; по невыдержанности языка и стиля, формул, правил стихосложения, приемов изложения и т. п.; вообще, он признает искусственность состава источника признаком его поддельности, если представляемая им комбинация элементов оказывается при наличности данных условий невозможной или слишком мало вероятной, например, в том случае, когда он приходит к заключению, что составитель пользовался такими источниками, которые при известных условиях (в данное время и в данном месте) не могли быть доступны мнимому автору, или даже вовсе не существовали, или когда он замечает, что подделыватель, видимо, не понял оригинала или каких-либо характерных подробностей его техники или стиля, часто известных ему лишь по какой-либо плохой копии, и т. п. В том случае, когда историк обнаруживает искусственность содержания источника, он также подозревает в нем подделку; с такой точки зрения он обращает внимание, например, на анахронизмы, в широком смысле, т. е. на противоречия между содержанием, положим, представлениями, чувствами и т. п., уже известными из однородных источников данного времени и содержанием изучаемого продукта или на какие-либо другие следы искусственной работы составителя подделки, дисгармонирующих с подлинным характером того источника, который он желал бы выдать за оригинал, например: на его форму или язык и стиль, которые могут прикрывать иногда вложенное в них новейшее содержание; на тенденции не одного только автора подлинника, но и предполагаемого составителя подделки, встречающиеся рядом в одном и том же источнике; на его стремление сделать свою подделку возможно более интересной для ученого или любителя и подчеркнуть с такою целью некоторые особенности мнимого подлинника, или, во избежание подозрений, принять слишком много предосторожностей, которые очень трудно выдержать в их совокупности, намеренно подвергнув его, например, порче, не касающейся, однако, тех его частей, которые казалось бы, должны были всего более подверг-

нуться ей или оказываются наиболее ценными, и т. п.* В некоторых случаях, наконец, историк принимает во внимание и искусственность нахождения или передачи источника: он имеет в виду, например, что поддельный продукт мог быть искусственно снабжен указаниями на место и время мнимого его происхождения или даже заблаговременно помещен в соответствующую обстановку, подобно, например, части моавитских древностей и т. п.** В некоторых случаях исследователь легко может заподозрить такие показания, например, наивное показание жития св. Плацидия, которое рассказывает, что сам святой передал его автору и даже позаботился о том, чтобы позвать живописца, который списал бы с него образ, и т. д.; но он должен иметь в виду, однако, что составитель подделки, напротив, часто прибегает, подобно Вагенфельду, и к более ловким приемам для указания мнимого места и времени нахождения источника, вскрытие которых и обнаруживает подделку, и т. п.

Само собой разумеется, что методы исследования источников, вызывающих подозрение в подделке, чрезвычайно разнообразны: принимая во внимание, смотря по нужде, приемы, употребляемые для установления неподлинности источника, историк пользуется еще и другими добавочными, часто техническими средствами для того, чтобы обнаружить следы подделки и судить о ней иногда по довольно случайным или мелким, но все же характерным признакам: он знает, например, как трудно подделать ровную и блестящую патину античной бронзы, или политуру античной вазы, или выцветшие начертания древнего палимпсеста[266] и т. п.; он заключает, что источник — поддельный по тем новейшим приемам технической его обработки, которые он возводит к личности подделывателя. В таких случаях археолог обращает внимание, например, на признаки позднейшей обработки вещи, на следы медной окиси на каменной подделке, т. е. на те свойства ее поверхности, которые получаются, положим, путем варки подделанного предмета в котле, на искусственный характер окисления металлического изделия, не тождественного с естественным его процессом, на следы ударов, нанесенных вещи, положим, из мрамора или из золота, чтобы скрыть новейшее ее происхождение; на искусственное пропитывание стенок глиняного сосуда селитрой или такое же покрытие мраморной статуи слоем грязи, будто бы свидетельствующим о ее древности; на смазывание вещей разными составами или воздействие на них путем разных химических реакций, благодаря которым поверхность мрамора точно выветривается, поверхность бронзы получает архаичный вид, и т. п.* Археограф также рассматривает свойства материала, служившего для письма, например, кожи, пергамина или бумаги, а также чернил и приемы письма интересующего его произведения; в некоторых случаях он может при помощи фотографии или микроскопа увеличить данный образ и выяснить то непроизвольное, хотя и не всегда заметное, простому глазу, дрожание почерка, который свидетельствует о непривычной руке составителя подделки; или при помощи тех же средств обнаружить подчистку, сделанную на бумаге, благодаря изменениям в ее толще, и т. п.; он также обращает внимание на состояние материала, послужившего для письма, на степень сохранности бумаги и чернил, на нарочно сделанные на ней пятна, и т. п.**

* *E. Kautzsch und A. Socin*, Op. cit., SS. 163, 165,166–177. *A. Furtwaengler*, Op. cit., SS. 11, 21, 35 и др. По поводу поэм Ровлэя, оказавшихся подделкой Чэттертона, Вальтер Скотт заметил: «всякий раз, как мы подставляем в них новые выражения вместо древних, мы вовсе не изменяем ни их смысла, ни энергии мысли (составителя), — результат, которого невозможно было бы достигнуть относительно какого-либо другого поэта»; см. A. *Thierry*, Les grandes mystifications littéraires, Par., 1911, pp. 57–58.

** *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., p. 145; ср. pp. 46, 164. Везер, например, сам раскопал несколько предметов при Медебе, не подозревая, что они, по всей вероятности, были предварительно зарыты в том месте, куда его ловко направили; см. *E. Kautzsch und A. Socin*, Op. cit., SS. 32–45, 65.

* Manuel de recherches préhistoriques, pp. 116 et ss. *S. Reinach*, La tiare de Saïtapharnés, ib., pp. 108, 109. *A. Furtwaengley*, Neuere Faelschungen, SS. 2 ff. При исследовании моавитских древностей ученые даже сами пытались воспроизводить их для того, чтобы дать себе отчет в том, насколько трудно было сделать их, и т. п.; см. *E. Kautzsch und A. Socin*, Op. cit., SS. 175–177.

** *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 185–266 и др. *A. Bertillon*, L'expertise en écritures; см. Rev. Scient. 1898, Janvier 1, pp. 1–9. Вообще для установления подложности источника историк, подобно судье, мог бы пользоваться самыми разнообразными, иногда очень мало заметными признаками: памятник вещественный или письменный, подделанный фальсификатором, в сущности, носит следы его прикосновения, когда он, например, переворачивал или складывал бумагу и т. п.; между тем конечности пальцев, отпечаток которых на бумаге можно обнаружить путем известных химических реакций, могут обладать индивидуальным характером, а самый отпечаток, в таком случае может, значит, указывать на личность фальсификатора и быть равносильным, как бы его подписи. Историк не может, конечно, применять прием подобного рода для установления личности давно умерших фальсификаторов; но люди, занимающиеся подделками, существуют и в настоящее время: ср. *R. Munro*, Archaeology and false antiquities, Ld., 1905, pp. 274.

Во многих случаях историк принужден ограничиться вышеуказанными соображениями для того, чтобы судить о данном продукте, и конечно, не всегда может прийти к положительному заключению, что он поддельный; но иногда ему удается обнаружить и личность самого составителя подделки и таким образом окончательно убедиться в том, что изучаемый продукт — подлинное его произведение, посредством лжи или обмана выдаваемое за чужое, т. е. за «настоящий источник»: сомнения в научном значении тиары Сайтафарна или перевода девяти книг Санхуниатона[267], например, окончательно разрешились, когда исследователям удалось доказать, что они возникли благодаря изобретательности Рушумовского, Вагенфельда и т. п.*

Критерии, методы и технические приемы, рассмотренные выше, получают широкое применение ввиду распространенности подделок. В самом деле, следует иметь в виду, что источники издавна подделывались и продолжают подделываться. Уже древние, особенно в эпоху Птолемеев[268], занимались подделками; со времени Возрождения можно указать на целый ряд лиц, прославившихся деяниями подобного рода: следовательно, старинная подделка может иногда носить на себе подлинный отпечаток старины, оставаясь тем не менее подделкой, чего, разумеется, нельзя сказать про новую.

Подделки практикуются и относительно остатков культуры, и относительно исторических преданий.

В числе остатков будто бы древнейшей культуры можно встретить поддельные орудия из камня, иногда изготовляемые в особых мастерских**. Особенно много подделок древностей на Востоке; в настоящее время целые фабрики занимаются такими работами в Египте, в Персии, в Палестине, на Кипре и т. п. Предметы, будто бы принадлежащие к остаткам классической древности или западноевропейской культуре, также далеко не все можно признать подлинными: в Афинах, Стемнице (в Аркадии), Неаполе, Риме, Париже, Брюсселе, Очакове, Одессе и других местах занимаются подделками разного

* См. выше с. 601 <Т. 2. С. 227>; другие примеры см. в соч. *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 58, 106, 116, 126, 151–160; автор указывает, между прочим, на забавную подделку, будто бы древнего бюста, воспроизводившего черты самого составителя ее — Мартына Булоса. *A. Giry*, Op. cit., p. 880, 881.

** Manuel des recherches préhistoriques, publ. par la Société préhistorique de France, Par., 1906, pp. 117–119. *A. E. Jenks*, A remarcable counterfeiter; см. Americ. Anthropol. Journal, N. S. № 2 (1900), pp. 292–296.

рода древностей, для чего употребляют иногда древний материал или подлинные фрагменты старины*. Подделывают преимущественно золотые вещи, монеты и терракотты[269], но также и другие предметы: расписные вазы, резные камни, статуи, картины, надписи, документы, в том числе генеалогические и крепостные акты, жалованные грамоты, статейные списки, даже соборные деяния и т. п. В качестве примеров можно указать хотя бы на те монеты, которые прекрасно подделывались Кавино из Падуи, а также Дюшулем и Ле-Пуа уже в XVI-м веке; или на картины различной величины, будто бы найденные в окрестностях Рима, в Помпеях или в Геркуланум, и сделанные Гверрой; или на надписи, сочиненные Фурмоном; или на документы, изготовленные Шоттом, или на письма Паскаля и многих других лиц, сочиненные Врен-Люкасом, и т. п.**

В числе исторических преданий можно также отметить немало поддельных: помимо надписей, многие анналы и хроники, разные генеалогии, сказания и легенды, биографии и мемуары, народные песни и сказки и т. п. оказываются поддельными; достаточно припомнить, например, известный сборник песен Оссиана, составленный Макферсоном; перевод девяти книг Санхуниатона, сочиненный Вагенфельдом; мемуары Людовика XVIII-го, принца Талейрана и других, фабрикованные Ламотом; сборник «Carya Magalonensis», будто бы содержавший описание нравов, обычаев и учреждений жителей Монпеллье в средние века и придуманный Мокэн-Тандоном, и т. п.***

* *K. Sittl* Archäologie der Kunst, SS. 802–805; там же указания на литературу; ср. еще *R. Munro*, Op. cit., pp. 30 ff. В современных музеях, например, С.-Жерменском (близ Парижа), а также Руанском устроены особые витрины с поддельными орудиями. В Париже устраивается, по инициативе E. Guimet, даже особый музей археологических подделок.

** *Э. Фон Штерн*, О подделке классических древностей на юге России в Тр. X Археол. съезда в Риге, т. I, сс. 189–195. [*D. Toustain et D. Tassin*], Nouveau traité de diplomatique, t. VI. Par., 1765, pp. 110–208 и др.; *A. Thierry*, Op. cit., pp. 243–279; см. еще предшествующие примечания. О подделке русских монет см. *А. Лакиер*, История подделки монет в России до времен Петра Великого в Зап. СПб-ого Археол. Общ., т. X, 1853 г., сс. 248–281. *Гр. И. Толстой*, Древнейшие монеты вел. кн. Киевского, СПб., 1883 г., гл. V; о грамотах князя Льва Галичского см. указания в соч. *А. Лаппо-Данилевского*, Печати последних галичско-владимирских князей и проч. в сборнике «Болеслав-Юрий II». СПб., 1906 г., с. 214.

*** *A. Thierry*, Les grandes mystifications littéraires, Par., 1911, pp. 187–206, 227–241 и др. *А. Пыпин*, Подделка рукописей и народных песен; см. Пам. древн. писм. № CXXVII, СПб., 1898 г. Сами подделки вызывали иногда подражания, о чем см. *A. Thierry*, Op. cit., pp. 162.

Вышеуказанные принципы и приемы прилагаются и к обсуждению достоинства целых групп, связанных между собою продуктов; сомнение в действительном значении одного из них, при таких условиях, естественно переносится и на остальные, так как признаки, вызывающие подозрение в его подделке, получают значение и для оценки всей группы. Впрочем, при подделке целой группы источников, признаки их искусственного происхождения могут обнаружиться с большею ясностью: фабрикуя несколько источников, подделыватель не находит, например, достаточно разнообразных типов для своих продуктов и слишком часто повторяется; если он оставляет их в возможно более сохранившемся виде, чрезмерная сохранность совокупности их представляется менее вероятной, чем сохранность одного из них; если же он стремится придать им архаичный стиль, ему приходится соответственно выдержать его относительно всей группы, что нередко оказывается затруднительным и ведет к несогласованности ее элементов между собой; само собою разумеется, что при таких условиях он легче может сделать и другие ошибки, по которым можно судить о подделке. Наглядные примеры применения критики к таким группам можно найти хотя бы в той литературе, которая была порождена известными подделками моавитских древностей или «арборейских пергаминов»; ученые разных специальностей подвергли их рассмотрению с самых разнообразных точек зрения: археологической, технической, палеографической, филологической, литературно-исторической, собственно-исторической и т. п.*

Итак, критерий, в силу которого историк называет данный источник или какую-либо из его частей подделкой, оказывается довольно сложным и применяется к области продуктов человеческой психики, вызванных злой волей их составителей и преднамеренно выдаваемых ими за действительные источники; при помощи разнообразных

* *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 101–183. *E. Kautzch und A. Socin*, Op. cit. SS. 166–171, 177–178, 179; ср. 186–187; моавитские древности стали появляться с 1872 г. *W. Foerster*, Sull'azenticita dei codici d'Arborea; см. Atti del Congresso Intemazionale die scienze storiche, v. IV. pp. 53–56. «Pergamene di Arborea» (на о. Сардинии) стали известны с 1845 г.: они отличаются, например, такими особенностями языка, которые относятся к позднейшему времени, содержат рассуждения о происхождении неолатинских языков от латинского, о единстве Италии и т. п.; Фёрстер, впрочем, замечает касательно несколько позднейших сборников №№ 13 и 14: «mi parve autentico per la sua scrittura»[270].

методов и технических приемов, изложенных выше, историческая критика устанавливает отрицательную ценность таких источников для научного построения той исторической действительности, к которой они будто бы относятся.

Если применить все вышесказанное о критике, устанавливающей научную ценность источника, как исторического факта, легко прийти к заключению, что она служит весьма важным подспорьем для большинства исторических построений; но она все же не может удовлетворить всех запросов историка, стремящегося научно построить историческую действительность. В самом деле, источник может быть подлинным и тем не менее оказаться недостоверным; или, обратно, неподлинный источник может заключать достоверные показания. Итак, следует отличать понятие о достоверности или недостоверности источника от понятия о его подлинности или неподлинности: понятие о достоверности или недостоверности источника лежит в основе критики, устанавливающей научную ценность показаний источника.

§ 3. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника

[1. Понятие о критике, устанавливающей научно-историческую ценность показаний источника о факте]

Вообще можно сказать, что всякий, кто высказывает какое-либо суждение о факте, дает показание о нем.

Простейшее из таких показаний, казалось бы, состоит в утверждении или отрицании факта; но и оно обыкновенно оказывается довольно сложным.

В самом деле, утверждая или отрицая факт, субъект уже включает в свое показание несколько понятий, в сущности, заключающих суждения, хотя бы в скрытой форме; вместе с тем он обыкновенно судит о том, что факт случился или не случился, по нескольким признакам, не выделяя каждый из них, что также осложняет содержание его показания, далее, он часто оценивает факт, и, значит, включает в свое показание более или менее ясно сознаваемый критерий своей оценки, свое «настроение» и т. п.; наконец, высказывая свое мнение о факте, он, с принятой им точки зрения, понимает, построяет и изображает его, далеко не всегда выделяя его из других связанных с ним

фактов; следовательно, он часто дает показание не об одном, а о нескольких фактах и легко смешивает вышеуказанные суждения о них между собою. В громадном большинстве случаев историк и имеет дело со сложными показаниями: каждое из них может содержать несколько суждений, более или менее связанных между собою и касающихся одного или даже нескольких фактов.

Естественно, что при таких условиях даже то показание, которое высказывается на основании данных собственного своего чувственного восприятия, может быть истинным или неистинным и, значит, может оказаться пригодным или непригодным для познания исторической действительности: каждое из суждений, входящих в его состав, подлежит проверке, прежде чем опираться на них для построения исторической действительности.

На основании принципа систематического единства сознания каждый из нас признает показание истинным, если содержание его согласуется с таким принципом, и, обратно, считает показание неистинным, если содержание его противоречит такому принципу: в той мере, например, в какой я могу отнести содержание данного показания к какой-либо истине, уже опознанной мною, я могу включить его элементы в систематическое единство моего собственного сознания и, значит, имею основание признать показание истинным; и, наоборот, если я не могу включить их, я не считаю его истинным.

Истинное показание дает основание сделать достоверный вывод, неистинное — ведет к выводу недостоверному; в таком смысле можно говорить и о достоверности или недостоверности самого показания; но историк придает этим терминам особый смысл в зависимости от того рода истины или неистины, с точки зрения которой показание получает свое значение для истории: оно может быть фактически истинным или неистинным, т. е. содержать истинные или неистинные суждения о действительно бывшем, и в таком смысле давать достоверное или недостоверное знание о факте, т. е. быть фактически достоверным или недостоверным; оно может обладать также большей или меньшей степенью фактической достоверности или недостоверности, что соответственным образом отражается и на источнике, образованном из таких показаний.

В самом деле, историк приписывает достоверность источнику, если он может отнести его показания к фактической истине; и, обратно, он приписывает ему недостоверность, если он не может отнести его показания к такой истине. Следовательно, историк признает источник достоверным, если он на основании его показаний о факте может научно судить о том же факте, как если бы он сам испытал или не испытал его в своем чувственном восприятии; и обратно, он считает источник недостоверным, если на основании его показаний он не может судить о таком факте в вышеуказанном смысле.

Действительно, можно приписывать достоверность показанию и в положительном, и в отрицательном смысле. Понятие о связи между отнесением показаний к фактической истине и суждением на его основании о факте, как если бы тот, кто о нем судит, испытал его в своем чувственном восприятии, ясно само по себе; но понятие о связи между таким же отнесением и основанным на нем суждением о факте, как если бы сам судящий не испытал его в своем чувственном восприятии, пожалуй, нуждается в некотором пояснении: дело в том, что историк может приписывать достоверность и такому показанию, которое сообщает, что (мнимый) факт, интересующий историка, не существовал в действительности; в таком случае историк судит на основании показания о факте, как если бы он сам не испытал его в своем чувственном восприятии. В соответственном, но обратном смысле те же понятия входят и в определение понятия о недостоверности показаний источника.

Понятие о достоверности или недостоверности источника формулировано мною с той теоретико-познавательной точки зрения, которая уже была обоснована выше: но оно может показаться слишком сложным, например, приверженцу позитивизма. С точки зрения последнего, пожалуй, проще всего было бы определить понятие о достоверности или недостоверности источника в смысле «соответствия или несоответствия его показаний с действительностью». Такое определение едва ли можно, однако, признать удовлетворительным: ведь всякий, кто «судит» о действительности, в сущности имеет дело со своим представлением о действительности, т. е. с построением ее, хотя бы и очень элементарным, а не с действительностью, самой по себе взятой в ее целостности. Вместе с тем легко заметить, что определение, формулированное с той теоретико-познавательной точки зрения, которая была принята выше, покрывает собою и понятие о достоверности отрицательного показания, что не имело бы места, если бы оно было построено с реалистической точки зрения: ведь нельзя подвести понятие об отрица-

тельном показании под понятие о достоверности показания в смысле соответствия его с действительностью.

Легко заметить, что в том случае, если показание признается безусловно истинным или безусловно неистинным, нельзя рассуждать о степени его достоверности или недостоверности; но если оно безусловно не заслуживает одной из таких квалификаций, приходится выяснить степень его достоверности или недостоверности.

Следует иметь в виду, что такое понятие прилагается не к факту, а к знанию о факте, обнаружившемуся в показании о нем; но знание о факте может быть более или менее достоверным или недостоверным; значит, и знание, осложненное показыванием того, что знаешь о нем, т. е. показание, также может быть более или менее достоверным или недостоверным. В самом деле, нельзя говорить, например, о степени достоверности или недостоверности факта, который случился или не случился, но можно рассуждать о степени достоверности или недостоверности знания показывающего о том, что факт случился или не случился в действительности, тем более, что его показание часто состоит из нескольких суждений о факте, и что не все они могут оказаться правильными. Следовательно, можно сказать, что в той мере, в какой всякое показание есть некоторое знание о факте, и показание источника о том, что факт случился или не случился, может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Впрочем, следует различать понятие о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт случился, от понятия о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт не случился; ведь и отрицательное суждение подобного рода может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Во всяком случае и наше знание о том, что факт случился или не случился, основано на чужом показании и, значит, может иметь соответствующую степень достоверности или недостоверности в той мере, в какой оно зависит от данного показания.

Степень достоверности показания находится в зависимости от того соотношения, в каком «верные его элементы» находятся ко всей совокупности включенных в показание элементов; но точно установить соотношение подобного рода чрезвычайно затруднительно. Простой подсчет таких элементов, очевидно, нуждается в достаточно ясном их расчленении; но не легко различить в показании все привходящие в него понятия и суждения и точно исчислять их; далее

такой подсчет предполагает или равнозначимость элементов или, по крайней мере, наличность групп равнозначимых элементов; но ни отдельно взятые элементы, при таком условии, в сущности, уже теряющие свое значение, ни группы их не равнозначимы. Следовательно, для того, чтобы выяснить соотношение верных элементов показания к совокупности всех привходящих в него элементов, нельзя довольствоваться их подсчетом; приходится взвешивать значение каждого из элементов, показавшихся верными, и значение остальных, вместе с верными образующих данную совокупность, что и ведет к критике показания. Аналогичное рассуждение можно сделать, конечно, и относительно степени недостоверности показания: понятие о ней получается путем выяснения того соотношения, в каком «неверные его элементы» находятся к совокупности всех элементов, образующих показание; но и в подобного рода случае понятие о степени его недостоверности выясняется не столько путем подсчета его элементов, сколько благодаря критике показания. Таким образом, можно хотя бы приближенно установить фактическое значение показания, обладающего некоторой степенью достоверности или недостоверности, подвергнув исторической критике все его элементы, что и дает возможность проверить вывод касательно степени его достоверности выводом касательно степени его недостоверности.

Все сказанное о степени достоверности или недостоверности показаний тем более применимо к показаниям о собственно исторических фактах: каждый из них представляется весьма сложным, и знание о нем, а, значит, и показание о нем может иметь весьма различные степени достоверности или недостоверности.

В связи с понятиями о степени достоверности или недостоверности показания можно рассматривать и понятие о «вероятности» или «невероятности факта». Следует, конечно, иметь в виду, что в рассуждениях подобного рода речь идет не о степени вероятности или невероятности самого факта, а о степени вероятности или невероятности нашего знания о нем, т. е. нашего суждения или нашего заключения о том, что описанный факт (в том виде, в каком он описан) происходил или не происходил в действительности; но степень вероятности или невероятности такого суждения или заключения находится в зависимости от степени достоверности или недостоверности показания о том же факте. В самом деле, степень достоверности, какую мы приписываем показанию, обусловливает и степень

вероятности заключения, что основанное на нем суждение об историческом факте имеет положительную ценность, т. е. приближается к фактической истине; и, наоборот, степень недостоверности показания обусловливает и соответствующую степень невероятности такого заключения или вероятности погрешности, которую можно сделать, если судить об историческом факте на основании того же показания*.

Замечания, сделанные выше о степени познавательной ценности показания, разумеется, в еще большей мере относятся и к источнику: он обыкновенно состоит из нескольких показаний; в числе их могут быть показания достоверные; но могут быть и показания недостоверные; да и каждое из них может иметь отличную от других степень достоверности или недостоверности; следовательно, можно говорить о степени достоверности или недостоверности источника в двояком смысле: или в том, что источник состоит из смеси достоверных и недостоверных показаний; или в том, что он включает показания, имеющие разную степень достоверности или недостоверности; значит, можно соответственно различать и степени вероятности или невероятности заключений, делаемых на основании такого источника: но в обоих случаях приходится выяснять соотношение между показаниями, образующими данный источник, а не только между элементами одного и того же показания, что, разумеется, соответственно осложняет и критику источника.

При пользовании вышеуказанными понятиями следует различать основания, в силу которых показание признается достоверным или недостоверным, от причин, которыми объясняется, почему оно оказывается достоверным или недостоверным; иными словами говоря, нельзя смешивать критерии его достоверности или недостоверности с генезисом достоверного или недостоверного показания.

* Впрочем, под «вероятностью факта» можно было бы разуметь и вероятность наступления ожидаемого факта или степень достоверности такого ожидания и придавать соответственно обратное значение «невероятности факта» или степени недостоверности его ожидания; но если историк имеет дело с наступившими фактами, то и критика разбираемого вида должна изучать показания о таковых; понятие же о степени вероятности или невероятности нашего знания о факте по показаниям о нем сводится к понятию о степени вероятности или невероятности наших заключений о нем по таким показаниям. Ср. еще ниже § 3 и отдел II, гл. 1.

[2. Критерии и методы установления достоверности или недостоверности показаний источника]

В самом деле, достоверность или недостоверность показания, а, значит, и степень их устанавливается лишь на основании известных критериев; можно различать такие критерии в зависимости от того, решается ли вопрос о том, мог или не мог случиться показываемый факт, или вопрос о том, был ли он или не был в действительности.

[а) с точки зрения абсолютной истины]

При решении вопроса о том, мог ли или не мог случиться показываемый факт, историк, в сущности, исходит из понятия о систематическом единстве сознания вообще и с точки зрения отнесения к «абсолютной» истине данного показания судит о его значении: он придает ему положительную или отрицательную ценность, смотря по тому, может ли оно быть включено в такое единство или не может, соответствует ли оно или не соответствует «законам сознания» или «законам природы».

Критерий «абсолютной» истины показания сводится, значит, к понятию о тех законах сознания или природы, которые историк признает (разумеется в формальном смысле) «абсолютно» истинными и согласно с которыми, по его убеждению, описываемый факт и должен был произойти: если показание или точнее, его содержание, т. е. суждение показывающего о каком-либо факте, соответствует тем законам, согласно которым он должен быть представлен, то историк и признает его «возможным»; в обратном же случае он считает его «невозможным»; таким образом, он соответственно приходит к заключению, что показание может быть достоверно или недостоверно.

С указанной точки зрения соблюдение или нарушение «законов» логики, заключаемое в данном показании, уже служит основанием для суждения о «возможности» или «невозможности» сообщаемого факта, а значит и о научной ценности самого показания: если историк сознает, что основные правила логики соблюдены в нем, он полагает, что показание может быть достоверным; и наоборот, если он сознает, что они нарушены в нем, он полагает, что показание, по крайней мере, в его целом не может быть достоверно; если историк находит, например, самопротиворечивое показание или показание,

одновременно утверждающее и отрицающее нечто об одном и том же факте, т. е., в сущности, содержащее противоречивые показания об одном и том же факте, он, разумеется, получает основание сомневаться в достоверности одного из них, может признать одно из них недостоверным и т. п.

Следует иметь в виду, однако, что критерий логического единства сознания теряет свою силу, если объекты показаний различны; нельзя искать логическое единство в показаниях одного и того же свидетеля о сложном историческом факте, не подвергнув предварительному исследованию, действительно ли объект показания оставался одним и тем же; сложный исторический факт мог представляться свидетелю в виде совокупности более мелких фактов, и, одинаково называя данную их совокупность в разных своих показаниях, он мог относить их, в сущности, к разным объектам; тогда и противоречие между показаниями данного субъекта о такой совокупности может оказаться кажущимся или мнимым. Если, например, *A* называет *B* и правдивым, и лживым, то противоречие между показаниями *A* о *B* окажется лишь в том случае, если *A* называет *B* правдивым и лживым в одном и том же отношении; но может случиться и то, что *A* называет *B* правдивым, имея в виду, положим, строгость его научных приемов исследования в какой-либо специальной области, и называет того же *B* лживым, имея в виду его суждения о нравственных достоинствах своих конкурентов, противников и т. п. Так как источник может содержать несколько показаний его автора — свидетеля об одном и том же факте, то и вышеприведенная аргументация может с тем большим основанием получить применение, особенно в тех случаях, когда историк обсуждает достоверность или недостоверность источника.

Впрочем, предложенная выше формулировка критерия «абсолютной» истины показания предполагает возможность судить о нем и с точки зрения его соответствия или несоответствия с «законами природы»; но соответствие показания с законами природы может и не иметь значения критерия его достоверности, поскольку всякое показание, в известном смысле, есть естественный продукт данной совокупности условий и, значит, всегда, даже будучи недостоверным по своему содержанию, находится в соответствии с законами природы; следовательно, в данном случае, под показанием нужно разуметь суждение показывающего о факте, на основании которого и историк

может заключать не о факте показания, а о показываемом факте, и знание о котором считается достоверным или недостоверным, смотря по тому, соответствует ли оно или не соответствует «законам природы».

Соответствие показания или целого источника с законами природы, согласно с которыми описываемые факты должны были совершаться, — необходимое, хотя и недостаточное условие фактической его достоверности: если изучаемое показание по своему содержанию соответствует законам природы, оно может оказаться фактически достоверным; и наоборот, показание, не соответствующее им, признается фактически недостоверным.

В самом деле, на основании показания, которое противоречит законам природы, историк еще не может рассуждать о факте, как о таком, который произошел в действительности, а только как о таком, который мог произойти в действительности; но в случае противоречия показания с законами природы, он, напротив, вправе отрицать самую возможность факта, и, значит, иметь основание заключить, что он не случился в действительности: ведь невозможный факт — такой (мнимый) факт, который не мог быть, а, значит, и не был в действительности.

Впрочем, для того, чтобы утверждать, что фактическое содержание показания противоречит законам природы, надобно обладать полным знанием законов природы; можно привести случаи, когда историк готов был бы утверждать недостоверность показания лишь потому, что он слишком мало знает те законы, с которыми содержание изучаемого им показания находится в соответствии.

В самом деле, широко понимая соответствие между содержанием показания и «законами природы», можно подводить под него и понятия о соответствии его содержания с законами душевной и даже общественной жизни. Так как они, однако, далеко не все прочно установлены, то и противоречие с ними показаний не всегда можно доказать; значит, в таких случаях тем легче ошибиться в признании факта невозможным, т. е. не бывшим в действительности.

Многие явления душевной жизни далеко еще не настолько обследованы, чтобы можно было с точки зрения категорий возможности или невозможности принимать или отвергать известия о них, хотя бы содержание их и казалось сомнительным. В прежнее время, например, некоторые ученые готовы были признать рассказы о появ-

лении «стигматов» на руках и ногах, на боках и на лбу мистиков — плодом расстроенного воображения; но позднейшие изыскания в области истеро-эпилепсии доказали, что рассказы подобного рода могут быть достоверными, поскольку они констатируют наличность самого факта появления стигматов: кожа такого субъекта под влиянием проведения по ней линий или нажимания на нее каких-либо предметов может, вдоль внушенных таким образом направлений, покраснеть или испускать кровь*; значит, и известия о фактах подобного рода, повторявшихся и в позднейшее время (ср. рассказ о стигматизированной девушке Maria Mörl в Кальтерне подле Боцена в 1830-х годах), могут быть достоверны. Впрочем, отсюда, разумеется, еще не следует, чтобы все они действительно произошли, или чтобы объяснения, которые современники давали происшедшим фактам, были приемлемы.

Тем легче ошибиться в тех случаях, когда речь идет о несоответствии данных показаний с «социологическими законами». Всем знакома, например, легенда о Ромуле и Реме, основателях Рима, будто бы вскормленных волчицею, но не всем, может быть, известно, что в ней, пожалуй, заключается зерно правды, хотя бы легенда и не имела прямого отношения к собственно римской истории. Судя по рассказам целого ряда лиц, в числе которых можно указать и очевидцев, в Индостане бывали случаи, когда дети вырастали среди волков; в их сообществе будто бы находят детей четырех и даже десяти лет. Когда им предлагают пищу, они обнюхивают ее перед тем как взять, и предпочитают сырое мясо; чтобы доставить им особенное удовольствие, стоит только предложить им кости, на которые они набрасываются с жадностью; от всех этих детей-волчат отдает специфическим запахом хищных зверей, которым они пропитаны настолько сильно, что даже самое энергичное мытье мылом не избавляет их от этого запаха. Дети-волчата представляются в высокой степени одичавшими; они не могут говорить, а лишь ворчат подобно собакам, или взвизгивают; умственная их деятельность находится на самой низкой степени развития. Один свидетель, взявший к себе такого ребенка, рассказывает, что спустя некоторое время его пришли навестить три волка; когда они увидели своего названного брата, то бросились к нему и принялись играть с ним; дня через три они опять явились, но на этот

* *W. James*, Principles, v. II, стр. 612–613.

раз уже с двумя другими волками и т. п*. Положим, что такие известия заслуживают некоторого доверия; тогда и содержание известной легенды о Ромуле и Реме нельзя признать безусловно баснословным: она могла возникнуть на такой же почве, хотя бы и не имела прямого отношения к собственно римской истории.

Таким образом, можно говорить об отсутствии соответствия между содержанием показания и законами природы, в особенности с законами душевной и социальной жизни, только тогда, когда есть достаточное основание утверждать, что нельзя допустить их; без такой оговорки заключения подобного рода могут страдать «гиперкритикой» и оказаться ошибочными.

[b) с точки зрения фактической истины]

Во всяком случае, для того, чтобы установить научно историческое значение показания, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине в той мере, в какой она отождествляется с какими-либо законами: показание может соответствовать им и тем не менее содержать суждение лишь о том, что могло быть, а не о том, что было в действи-

* *H. Coupin*, Les enfants-loups; см. La Nature, 1898, t. II, pp. 90–91; известия о детях-волчатах были сообщены проф. М. Мюллером, сэром Р. Мёрчисоном, В. Боллем (V. Ball), членом индийского геологического общества, ген. Слимэном, кап. Эджертоном, кап. Николетсом, г. Виллоком, разными миссионерами, например, г. Эрардом, и другими очевидцами. Личность Рема считается позднейшею выдумкой, о чем см. *Th. Mommsen*, Gesammelte Schriften, Bd. IV, SS. 1–21. Предлагаемая гипотеза — одна из возможных, что еще не предрешает, однако, степени ее вероятности. Можно указать и на другие объяснения того же предания, не придающие его содержанию такого реального значения. Новейшие исследователи признают, например, наиболее вероятным этиологическое происхождение этого сказания: в «lupersi»[271] усматривали волчат, что и привело к образованию известной легенды; см. *А. Энман*, Легенда о римских царях, СПб., 1896, сс. 26–27; ср. ниже, сс. 752–753 <Т. 2. С. 355–356>. Современные фольклористы указывают на то, что предания о происхождении от волка встречаются и у других народов, что волк получает иногда значение «тотема», оказывающего помощь или содействие своей родне и, пожалуй, могли бы сблизить такие представления, а также то, что уже было сказано мною касательно мифа о Персее, на с. 480 <Т. 2. С. 126>, с рассказами о зачатии Реи Сильвии, встретившей волка в роще и бежавшей в пещеру, где ею овладел бог Марс, о волчице, вскормившей Ромула и Рема, и т. п.; но такие предположения, разумеется, потребовали бы дальнейшей проверки и обсуждения. Сведения о волке-тотеме и проч. см. у *G. L. Gomme*, Folklore etc., pp. 276–278, 283; изложение самой легенды у *B. G. Niebuhr*, Römische Geschichte, 2-te Aufl., Berl. 1827, SS. 223–226.

тельности; и хотя обратное суждение, что нечто не могло быть, ведет к отрицанию того, что действительно было, такой вывод все же не имеет положительного исторического значения, да и прийти к нему далеко не всегда оказывается возможным.

В самом деле, смешение критерия абсолютной истины с критерием истины фактической ведет к ложной оценке показания (в широком смысле) о факте: если ценить такое показание с точки зрения абсолютной истины, можно признать сообщение о том, что могло быть в действительности, истинным, хотя оно с точки зрения фактической истины и не дает основания утверждать, что возможное в действительности произошло на самом деле, и, значит, может оказаться в таком смысле неистинным. Нельзя, без смешения понятий, заявлять, что «свидетельство людей есть, в сущности, свидетельство моего собственного разума»: для того, чтобы оценить его, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине; нужно придать ему фактическое значение, нужно найти в последнем основание для чужого опыта, т. е. данных чувственного восприятия не моего, а чужого «я», вызванных фактом, которого я не наблюдал в действительности; нужно установить степень доверия, с каким я могу принять такое показание. Следовательно, нет возможности смешивать и доказательства, приводимые в пользу одного рода истин, с доказательствами в пользу другого рода истин*.

Итак, при решении вопроса о том, был ли или не был показываемый факт в действительности, нельзя довольствоваться критериями «абсолютной» истины показаний: приходится устанавливать еще критерии фактической истины показаний; историк пользуется ими для того, чтобы выяснить фактическую достоверность или фактическую недостоверность показаний; он принимает только те из них, которые фактически достоверны, т. е. на основании которых он может положительно утверждать, что известный из них факт был или не был в действительности, и вместе с тем, по возможности, должен доказать, что остальные недостоверны, т. е. не могут служить для заключений подобного рода.

* *E. Naville*, L'importance logique du témoignage; см. Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et poliiques, t. 128 (1887), p. 270. Слова, приведенные в кавычках, высказаны Руссо в его «Profession de foi du Vicaire Savoyard».

В числе главнейших критерием фактической достоверности или недостоверности показания о том, что факт был или не был в действительности, можно, в сущности, отметить те принципы, которые, с иной точки зрения, уже были затронуты выше при рассмотрении критики источника, как факта: и тут приходится иметь в виду понятие о единстве сознания, обнаружившемся в данном показании, а также понятия о соответствии его с той культурой и той индивидуальностью, которой он принадлежит*.

Критерий единства сознания в его приложении к оценке фактической достоверности или недостоверности показания получает, однако, особое значение и находится в тесной связи с понятием о фактической истине, с точки зрения которой историк может усмотреть некоторое единство в интересующем его показании.

Само собою разумеется, что тот, кто рассматривает фактическую достоверность или недостоверность показания, опирается и на понятие о фактической истине в объединяющем для его сознания смысле: историк исходит из нее, когда он принимает или отбрасывает показание, смотря по тому, имеет ли он или не имеет основание включить его содержание в совокупность своих представлений о фактах, объединяемых им с точки зрения такой истины; он пользуется ею, когда стремится установить более или менее непосредственную связь между содержанием показания и теми фактами, которые он сам испытал в действительности.

Ввиду того, однако, что понятие о фактической истине предполагает наличность данного конкретного факта, в отношении к которому она кем-либо утверждается и за отсутствием которого она кем-либо отрицается, даже в том случае, если историк принимает, что свидетель высказал «абсолютную» истину, он, в сущности, интересуется самым фактом ее высказывания и, значит, должен признать действительное существование того именно, кто ее высказал; если же он ссылается на показание о действительно бывшем факте, он уже предполагает наличность того именно, кто испытал его в собственном своем чувственном восприятии, хотя бы показание давалось не им, а с его слов сторонним лицом; лишь с такой точки зрения историк может говорить о фактической достоверности показания, или, при обратных условиях, о фактической недостоверности показания.

* См. выше, сс. 533 <Т. 2. С. 170> и сл.

В своих рассуждениях о научной ценности показания историк, значит, уже пользуется фактической истиной и в той мере, в какой он переносит общезначимые критерии своего сознания на то «чужое я», которому он приписывает действительное существование: он полагает, что и свидетель руководился ими или нарушил их и что такое состояние его сознания соответственно отразилось и на его показании. Действительно, историк пользуется понятием о единстве или разъединенности сознания для того, чтобы путем перенесения его на составителя источника, в качестве предпосылки, исходить из понятия о единстве или разъединенности его сознания при критической оценке его показаний. В сущности, каждый историк рассуждает таким образом, когда пользуется критерием единства или разъединенности сознания для установления научной ценности данного показания*.

Такой предпосылки, однако, недостаточно для того, чтобы установить научно-историческую ценность показания с точки зрения отнесения его к фактической истине: желая придать ему объективное значение, историк исходит еще из понятия о ценности фактической истины для человеческого сознания вообще и применяет его к тому индивидууму, который дал показание или составил источник**. Без такого критерия историк, в сущности, не может признать показание фактически истинным: лишь исходя из вышеуказанной предпосылки, он рассуждает о том, что автор-свидетель говорит правду или неправду, т. е. что его показание с точки зрения рассматриваемого критерия имеет или не имеет ценность фактической истины.

Итак, критерий единства сознания в его приложении к изучению фактической достоверности показания находится в тесной связи с признанием ценности фактической истины: последнее придает особого рода единство или связанность его мысли с опытом, т. е. сосредоточивает его мысль на эмпирически данном содержании показания и таким образом обусловливает фактическую достоверность самого показания; и, наоборот, пренебрежение к фактической истине, в лучшем случае, открывает простор мысли, принимающей возможное за действительное, и ведет к недостоверному показанию.

Предпосылка подобного рода лежит в основе многих рассуждений о достоверности или недостоверности показаний, имеющих генетический характер. Историк исходит из нее, например, когда доверяет «искренности» автора, его «правдивости» и «откровенности» или «простоте» и «безыскусственности» его рассказа или когда он не доверяет автору, показание которого производит на него обратное впечатление — скрытости, искусственности и т. п.* Историк пользуется тем же понятием о признании всяким ценности фактической истины и в том случае, когда ссылается на совпадение нескольких независимых друг от друга показаний об одном и том же факте для доказательства их достоверности: он придает положительное значение подобного рода совпадению, лишь исходя из предположения, что каждый из свидетелей был способен признавать и в данном случае

* Свидетель может обнаружить некоторую разъединенность сознания даже в тех способах, какие он употребляет для выражения своих мыслей: вообразим, что человек заявляет о своих чувствах привязанности к известному лицу, но в то же время сжимает кулаки; такой двойственный способ выражения, пожалуй, показывает, что мысли свидетеля диспаратны, что он, вероятно, желает скрыть свои враждебные чувства в своем показании, но невольно обнаруживает их в своих жестах, и т. п. и что, значит, его показание недостоверно. Известный криминалист Гросс в качестве судебного следователя пользовался таким приемом, не возводя его, однако, к принципу единства сознания, а только пользуясь выводами из него; но историк, конечно, лишь в редких случаях может оказаться в таком положении. См. еще: *E. Claparède*, La psychologie judiciaire в L'année psychologique, Par., 1906, p. 278.

** Даже лгун в известном смысле все же одновременно может признавать ценность истины; он сознает, например, что он лжет; или он рассчитывает на то, что его ложь будет принята другими за истину, и что для других она получит ценность истины; с такой точки зрения всякая ложь есть самопротиворечие: лжец нарушает своею ложью тот самый принцип (признание ценности истины), на который он опирается, в расчете на признание его лжи, например, касающейся интересующего его факта, ценностью со стороны других людей.

* *G. Dromard*, Essai sur la sincerité, Par., 1911, pp. 4–5, 44, 48–49; впрочем, автор придерживается чисто психологической, преимущественно «интроспективной», точки зрения, и едва ли достаточно обосновывает и развивает ее, а также очень мало заботится о доказательстве и об эмпирической проверке своих положений. Арнольд довольно ясно выразил значение такого критерия для историка в следующих выражениях: «first of all then, in estimating whether any history is trustworthy or no. I should not ask whether it was written by a contemporary, or by one engaged in the transactions, which it describes, but whether it was written by one who loves the truth with all his heart, and cannot endure error. For such a one, we may be sure, would never attempt to write a history if he had no means of writing it truly; and therefore although distant in time or place, or both from the events which he describes, yet we may be satisfied that he had sources of good information at his command, or else that he would never have written at all...»[272]; см. *Th. Arnold*, Introductory lectures, p. 380.

действительно признавал ценность некоторой фактической истины; в противном случае, т. е. предполагая совершенно случайное совпадение подобного рода, историк, в сущности, был бы не в состоянии доказывать им достоверность показаний: случайное совпадение может обнаружиться и между ложными показаниями; и наоборот, историк придает отрицательное значение разногласию независимых показаний относительно одного и того же факта, поскольку оно обнаруживает, что те, которые подавали их, не все признавали ценность фактической истины, и, следовательно, могли дать недостоверные показания*.

Во многих частных случаях историк, действительно, пользуется критерием ценности фактический истины: с такой точки зрения, он устанавливает, например, значение мемуаров Тюренн[273] или Наполеона I: он замечает, что Тюреннь высоко ценит фактическую истину показаний, так как сам сознательно приводит факты, свидетельствующие о его промахах и ошибках, а Наполеон I, напротив, слишком мало ценит ее, так как сам старается скрыть их, хотя бы они и не наносили большого ущерба его славе; на основании рассуждений подобного рода историк приходит к заключению, что мемуары Тюренн гораздо более достоверны, чем мемуары Наполеона I-го**.

Тем не менее вышеуказанный принцип, сам по себе взятый, все же представляется во многих случаях довольно слабым основанием для суждения о достоверности данных показании, главным образом, потому, что нельзя смешивать предпосылку о наличности в сознании вообще критерия ценности фактической истины с понятием об истинном, т. е. правдивом в каждом отдельном случае показании о факте.

Прежде всего следует иметь в виду, что полное признание ценности фактической истины, в сущности, предполагает ее опознание: лишь сознав все различие между истинным и ложным, человек в состоянии вполне и соответственно приписать одному положительную, а другому отрицательную ценность; но человек далеко не всегда способен возвысится до такого сознания. Далее ведь субъект, способный признавать ценность истины вообще, все же может ошибаться

* Ср. однако, ниже сс. 636–637 <Т. 2. С. 257–258> (о малой вероятности совпадения ложных показаний).

** *Th. Arnold*, Introductory lectures, pp. 399, 399–400. Впрочем, Тюреннь преследовал в своих записках и военно-педагогические цели.

при констатировании данного конкретного факта, и действительно, в таких случаях легко ошибается, сам того не сознавая; вот почему, формулируя основную предпосылку, можно говорить только о способности субъекта признавать ценность фактической истины в формальном ее значении, а не о том, что он в каждом конкретном случае действительно будет давать правдивые показания о факте: они могут быть и часто бывают ошибочными, хотя бы субъект и желал говорить правду. Наконец, нельзя не заметить, что субъект, дающий показание о факте, в действительности иногда сознательно извращает его по собственному желанию и даже может с мнимою силою убеждения высказывать о нем ложные суждения, сообщать лживые известия, обставляя его разными правдоподобными подробностями, и т. п. Следовательно, историк может утверждать, что каждый субъект не только способен признавать ценность истины, но признает ее на самом деле, в данном конкретном случае, лишь если он в состоянии доказать, что у него нет достаточно сильных причин или мотивов для того, чтобы сказать неправду. Во многих случаях, однако, историк не в состоянии обосновать такое отрицательное суждение и должен, значит, оставить вопрос открытым или ответить на него, опираясь на другие критерии.

Хотя последнее из указанных соображений видимо ослабляет значение разбираемого критерия, однако, оно же может придавать ему и новую силу. В тех случаях, когда историк замечает, что субъект дает такие показания о факте, которые противоречат основной его тенденции и не вызваны какими-либо другими мотивами искажения, он получает основание приписывать им некоторую достоверность именно потому, что мотивы свидетеля, казалось бы, должны были побуждать его сказать обратное. Нельзя не заметить еще, что, с точки зрения мотивации показаний, вероятность совпадения ложных или лживых показаний сравнительно мала: ведь мотивы дать ложное или лживое показание о факте вообще отличаются более субъективным характером, чем мотивы дать истинное показание, так как подача ложного показания обыкновенно имеет в виду более или менее случайные личные выгоды свидетеля, а, значит, и совпадение между его показаниями и показаниями других людей, вызванных такими же мотивами, об одном и том же факте менее вероятно.

Итак, можно пользоваться вышеуказанным критерием, но не без предосторожностей: следует иметь в виду, что даже целые народы обна-

руживали разное отношение к фактической истине, по крайней мере в некоторых видах источников: ученые полагают, например, что ассирияне в своих исторических надписях и летописях ближе придерживались ее, чем египтяне, и конечно стояли гораздо выше индийцев; что греки сохранили в своих исторических преданиях гораздо более мифических элементов, чем древние римляне — в своих анналах и т. п.*

С точки зрения разбираемого критерия наибольшее значение для исторического построения имеет, конечно, то показание, податель которого сознает ценность фактической истины, высказываемой им на основании своего собственного чувственного восприятия. Лицо, более или менее сознающее ее, называется свидетелем: строго говоря, свидетель есть тот, кто имеет ценное для сознания основание дать фактически истинное показание о факте, так как он испытал его в данных своего собственного чувственного восприятия; но и в том случае, если свидетель неясно сознает значение такого основания, он все же не может не переживать ценности фактической истины, включаемой в самый акт испытывания им данного факта. В самом деле, мы признаем свидетелем того, кто, например, сам видел или слышал именно то, о чем он показывает и кто, значит, высказывает суждение о факте, основанное на данных своего собственного чувственного восприятия и в форме, доступной чужому восприятию. Такое показание мы и называем «свидетельским»**.

---

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 490, 491; здесь указания на соответствующую литературу; впрочем и ассирийские надписи рассказывают только о более или менее блестящих победах ассириян, что, разумеется, вызывает сомнения в их достоверности; см. *A. Kuenen*, Op. cit. S. 11.

** Лейбниц уже указывал на значение свидетельских показаний для историка; см. *L. Davillé*, Leibniz-historien, Par., 1909, pp. 465 et ss. Свидетель может, конечно, давать показание и о состоянии своего собственного сознания. Не поднимая здесь вопроса о том, в какой мере возможны состояния подобного рода совершенно независимо от данных чувственного восприятия, хотя бы ранее бывших, я замечу только, что такое показание, кажется, может иметь двоякое значение: или оно становится своего рода свидетельским показанием, но скорее для психолога, чем для историка (ср. учение об историческом значении факта), или оно получает характер остатка культуры, а не показания источника о факте: произведение, которое показывает настроение своего автора, есть остаток культуры, применительно к которому разбираемый вид критики не применяется; но, поскольку субъект судит об испытанных им состояниях своего собственного сознания, а не только переживает их, его суждение, разумеется, можно также называть свидетельским показанием.

Следует заметить, однако, что понятие о свидетеле может иметь различные оттенки, а в соответствии с ними и понятие о значении его показания получает разный смысл. В самом деле, мы считаем свидетелем преимущественно того, кто показывает о факте, который он испытал в разных своих чувственных восприятиях, взаимно дополнявших друг друга, кто проверил, например, то, что он видел, тем, что он осязал или обонял, и т. п.; но во многих случаях мы разумеем под свидетелем и того, кто показывает о факте лишь по одному роду ощущений, впечатление от которых он не мог проверить впечатлением от другого рода ощущений, вызванных тем же объектом; мы готовы, пожалуй, приписать аналогичное значение даже тому, кто испытал, в одном из вышеуказанных смыслов, хотя бы частицу факта, например, того, кто сообщает, что было сражение, на том основании, что он встретил одного из участвовавших в нем, и т. п.

Итак, нельзя упускать из виду, что «свидетельские» показания могут иметь разное значение и что, в зависимости от большей или меньшей полноты восприятия факта, свидетельское показание о нем легко может оказаться более или менее независимым, смотря по тому, в какой мере свидетель пополняет свои восприятия чужими восприятиями и, таким образом, дает показание, отчасти уже зависящее от чужих показаний.

В той мере, однако, в какой показание основано на чужом восприятии факта, оно уже, собственно говоря, не может быть признано «свидетельским» и получает название «известия»: фактическая ценность его состоит или в факте точной передачи чужого свидетельского показания о факте или в обнаружении его оценки, которая сама также оказывается фактом; следовательно, можно применять критерий фактической ценности показания и к известию для выяснения его значения в том или другом смысле, что обыкновенно и делается при помощи критики состава известия и критики достоверности или недостоверности оценки данного в свидетельском показании факта, а также самой оценки, как более или менее правдивого или неправдивого обнаружения настроения составителя известия в его отношении к тому же факту.

Таким образом, при помощи критерия ценности фактической истины, историк может различать свидетельские показания от известий и постоянно пользуется подобного рода различением для научной оценки источников: он различно ценит, например, показания

Эйнгарта о Карле Великом, лично знавшего его, и показания Псевдо-Тюрпена, сообщавшего легендарные известия о нем; или показания Флодоарда[274], принимавшего участие в некоторых событиях, воспоминания о которых он записывал чуть ли не ежедневно, и показания его современника Ришера, составлявшего свои «истории», между прочим, на основании записей Флодоарда, которые он пополнял и приукрашивал, и т. п.*

Понятие о единстве сознания, преимущественно в смысле признания фактической истины, получает еще более широкое применение в научно-критической оценке показаний, если иметь в виду тесную связь между понятиями о единстве сознания и его непрерывности, уже отмеченную выше. Последнее также имеет свое приложение в области критики фактической достоверности или недостоверности показаний, и в особенности пригодно для установления некоторого единства целой их совокупности с точки зрения такой именно их достоверности или недостоверности.

В самом деле, если историк пришел к заключению, что автор источника в некоторых случаях дает фактически верные показания, то он может предполагать, что тот же автор обнаружит то же свойство и в других своих показаниях, в случае у него нет каких-либо особых мотивов вводить в заблуждение или обманывать читателя; и, обратно: если историк убедился, что ему нельзя опираться на одни показания свидетеля, оказавшиеся недостоверными, он с той же точки зрения относится и к другим его показаниям.

В основе подобного рода заключений, очевидно, лежит понятие о некотором единстве и непрерывности или, наоборот, о некоторой разъединенности и прерывчатости сознания данного субъекта в его показаниях: только на основании таких понятий можно переносить свое суждение об одних его показаниях на другие. Если, например, историк убедился, что данный субъект в ряде своих показаний обнаружил, что он ценит истину и, значит, сознательно и бережно относится к своим показаниям, то он (историк) получает некоторое основание доверять и другим его показаниям, по крайней мере боль-

* *A. Molinier*, Op. cit., t. I, pp. 199, 208, 279, 284. О различии между «свидетельскими показаниями» и «данными из вторых рук» в доказательственном праве см. *Дж. Стифен*, Очерк доказательственного права, пер. П. Люблинского, СПб., 1910 г., сс. LXXVI–LXXXII; ср с. 154.

ше, чем если бы он не мог сделать вышеприведенного заключения. В своих записках Токвилль, например, сознательно упоминает только о таких фактах, свидетелем которых он сам оказывался; и наоборот, Шатобриан дискредитировал свои «мемуары» тем, что довольно произвольно подбирал факты и столь же произвольно относился к ним. Если историку удалось сделать такие выводы на основании критического рассмотрения некоторых показаний Токвилля и Шатобриана, то он соответственно ценит и другие их показания, еще не проверенные или не поддающиеся проверке; он принимает во внимание ту же точку зрения даже при критическом изучении тех показаний, которые находятся в других произведениях тех же авторов.

Нельзя не отметить дальнейшего применения того же принципа критического рассмотрения еще к одному специальному роду случаев: достоверность или недостоверность источника можно изучать и по показаниям, фактическое содержание которых само по себе не имеет значения для собственно исторического построения, но пригодно для того, чтобы выяснить, в некоторых типических или почему-либо более известных исследователю случаях, фактическую достоверность или недостоверность этих показаний (напр., описание какой-либо местности, упоминание о затмении и т. п.); вслед за тем суждение о их ценности он переносит и на другие показания того же источника, содержание которых уже может иметь значение и для построения исторической действительности.

Само собою разумеется, что всякое перенесение подобного рода в каждом отдельном случае нуждается в специальном исследовании. С точки зрения единства и непрерывности сознания данного автора можно переносить суждение о ценности одного показания на другое его показание, преимущественно в пределах одного и того же источника; но и в последнем случае такое перенесение делается не без предосторожностей. Свидетель иногда с большою уверенностью дает показание, которое отличается отчетливостью и тем не менее может содержать ошибки; автор может, например, оказаться достоверным в одном отношении и недостоверным в другом, положим, в том случае, когда он, хорошо зная обстоятельства, происходившие в местности, где он живет, и во время, когда он пишет, плохо осведомлен о том, что делается за их пределами; таковы, например, известия Ламберта фон Герсфельда[275] об итальянских делах. Наоборот, свиде-

тель, в одном отношении не заслуживающий доверия, может быть достойным его в других и по разным соображениям, особенно, например, в тех случаях, когда он сообщает известия, противоречащие основной его тенденции; таковы некоторые известия того же Ламберта фон Герсфельда о подвигах Генриха IV, к которому он вообще относится враждебно, и т. п.

В силу подобного же рода оснований, если историк обнаружил недостоверность одного из показаний автора, он переносит свое недоверие и на остальные, не принимая ни одного из них без предварительной проверки. Впрочем, соответственно вышесказанному, последнее требование может получить и более ограниченное приложение: при изучении хроники Ламберта фон Герсфельда историк подвергает, например, строгой проверке не все его известия, а, главным образом, только те, которые касаются отношений Генриха IV к Италии.

С познавательно-объединяющей точки зрения историк постоянно пользуется еще одним критерием, пригодным для установления фактической достоверности показания: знание, которое он получает о каждом новом факте, интересующем его, должно быть поставлено в соответствие с его знаниями об остальных, уже известных ему фактах. Если такая координация достигается, то и показание о факте, соответствующем остальным, представляется ему в известной степени достоверным; если же нельзя достигнуть ее, то и достоверность показания может вызвать в нем сомнения.

В таких случаях содержание показания или целого источника рассматривается в качестве некоторой части того культурного целого, к которому оно будто бы относится. В самом деле, если историк может доказать, что факт, известный из данного показания, действительно был частью того культурного целого, к которому оно будто бы относится, то он и получает основание приписывать некоторую степень достоверности показанию, а значит и соответствующую степень вероятности своему предположению о том, что изучаемый факт действительно был; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, был в действительности», или же с чисто-реалистической точки зрения рассуждает о «вероятности факта». И обратно, если историк усматривает фактическое противоречие между изучаемым показанием и тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, он получает основание приписывать некоторую степень недостоверности данному показанию, а значит и вероятность того, что его суждение о факте, как о действительно бывшем, ошибочно; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, не был в действительности», или, уже с чисто реалистической точки зрения, рассуждает о «невероятности факта».

Ввиду того, однако, что факты прошлого известны лишь из остатков культуры или показаний других источников, независимых от изучаемого, соответствие данного показания с фактами, в сущности, сводится к соответствию его содержания с остатками культуры и содержанием независимых от него показаний, заключающихся в других источниках. Впрочем, следует различать два вида такого соответствия: если только сравниваемые данные не обнимают всего культурного целого, легко заметить, что они могут относиться или к разным объектам, входящим в его состав, или к одному из них; следовательно, можно устанавливать некоторую согласованность между содержанием изучаемого показания и другими фактами, т. е. различными по содержанию данными, почерпаемыми из остатков культуры и из исторических традиций, поскольку каждое из таких содержаний представляется в качестве части данного культурного целого; но можно говорить и о совпадении изучаемого показания о некоем факте с другими независящими от него показаниями о том же факте. Таким образом можно различать две разновидности соответствия показаний друг с другом: я назову их согласованностью показаний и совпадением показаний.

Понятие о согласованности показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько разноречивых, но не противоречивых показаний взаимно дополняют наши знания о какой-либо совокупности фактов, связанных между собою, они и называются согласованными друг с другом; иными словами говоря: если историк может сказать, что факт, о котором он узнает из изучаемого им показания, согласуется с другими фактами, происходившими в одной и той же местности и в одно и тоже время и уже известными ему по остаткам культуры или по другим проверенным показаниям, т. е. если он может включить этот факт в целое, образуемое им, вместе с остальными фактами, и указать то место и тот момент, к которым этот факт вполне подходит в качестве его части, то

и показание об этом факте представляется ему согласованным с остальными данными, относящимися к тому же культурному целому. На основании такой согласованности он приписывает известную степень достоверности изучаемому показанию: он принимает во внимание, например, что известие Тацита о битве между римлянами и германцами в Тевтобургском лесу[276] соответствует вообще расположению римского «Limes»[277], местонахождению римских «castra»[278] и т. п., а также, в особенности, тем находкам костей, оружия и римских монет, которые были сделаны приблизительно в пределах той же местности, тому камню, который был найден подле Ксантена, с надписью в память погибшего в «битве Вара» легионера, и т. п.; опираясь на сопоставления подобного рода, он заключает, что письменное известие о месте и времени сражения находится в некотором соответствии с сохранившимися от него остатками (костями и проч.), питает соответственно большее доверие к самому известию, получает возможность пользоваться вышеуказанными остатками для его изучения и т. п.; с аналогичной точки зрения он может рассуждать о достоверности того же известия, поскольку оно согласуется с другими известиями Тацита, Диона Кассия и других, положим, о борьбе римлян с германцами, о походе римских легионов внутрь Германии под предводительством Вара, о херусках и их вожде Арминии[279] и т. п.*

Понятие о несогласованности показаний можно построить в соответственно обратном смысле: она обнаруживается в том случае, если показания даются о разных объектах, реально не связанных или недостаточно связанных между собою. Показания Страбона о людоедстве среди ирландцев или Цезаря о древних бриттах, прибегавших к татуировке, например, хотя и сходны с показаниями современных путешественников о диких, положим, об австралийцах и полинезийцах, но не согласованы или, по крайней мере, слишком мало согласованы с ними**.

* *Tacit*, Ann., l. I, cc. 60, 61–62. *F. Knoke*, Das Varuslager im Habichtswalde bei Stift Leeden с прибавл. 1896–1897; Eine Eisenschmelze im Habichtswalde bei Stift Leeden, 1901; Ein Urteil über das Varuslager in Habichtswalde geprüft, 1901; Das Schlachtfeld im Teutoburger Walde, 1899; Das Varuslager bei Iburg, 1900 и др.

** *G. L. Gomme*, Folklore as an historical science, Ld., 1908, p. 112. Татуировка, впрочем, продолжает практиковаться и у более цивилизованных народов.

Пределы согласованности показаний могут быть весьма различны; историк устанавливает их в каждом отдельном случае, а в зависимости от вывода своего о большей или меньшей согласованности с остальными фактами того факта, который ему приходится изучать по данному показанию, он признает и разные степени его достоверности; и обратно, имея достаточные основания отрицать такую согласованность, он вместе с тем получает право признать известную степень недостоверности данного показания.

Следует заметить, однако, что самое установление согласованности или несогласованности изучаемого показания с остальными представляет немало затруднений: ведь в случаях подобного рода историк принимает во внимание не логическое, а фактическое значение сравниваемых показаний и, следовательно, должен иметь уже более или менее обстоятельное понятие о той совокупности фактов, показания о которых признаются согласованными или несогласованными. В одной из древних пещер, в Мас-д'Азиль (Mas-d'Azil)[280], оказались, например, какие-то предметы с начертаниями, подобными «финикийским» или «архаичным греческим» письменам; весьма трудно сказать, однако, согласованы ли или несогласованы показания о письменных знаках на азилийских предметах с такими же показаниями на финикийских или древнегреческих надписях: значение начертаний на предметах из Мас-д'Азиля далеко еще не выяснено и вопрос о том, могли ли ее обитатели находиться в каком-либо отношении к финикийским или древнегреческим колониям или не могли, все еще остается без ответа*.

Вместе с тем согласованность показаний легко переходит в совпадение показаний, если разные объекты их оказываются частями одного и того же целого. Если полагать, например, что оружие, найденное приблизительно в той местности, где происходила битва между Варом и Арминием, действительно принадлежало их солдатам, можно сказать, что письменное известие об этой битве совпадает с показаниями, почерпаемыми о ней из остатков культуры, так как оружие солдат, сражавшихся в Тевтобургском лесу, было частью того

* *E. Piette*, Notions complémentaires sur l'Asylien в Rev. d'Anthropologie, t. XIV (1903), pp. 641–653; в другой статье автор указывает еще на сходство азилийских начертаний с «кипрскими», также известными по надписям; ср. pp. 162, 164, 165.

именно события, которое засвидетельствовано другими источниками. Аналогичное замечание можно сделать и относительно несогласованных показаний: они, конечно, не совпадают; показания даже о сходных фактах, если только они не согласованы между собою, хотя бы, например, вышеприведенные показания Страбона об ирландцах или Цезаря о бриттах и показания современных путешественников об австралийцах или о полинезийцах, не совпадают между собою: исторические факты, о которых они показывают, разные*.

Тем не менее нельзя смешивать разбираемые виды соответствия или несоответствия: смешение понятия о согласованности показаний с понятием о совпадении показаний ведет иногда к ложным выводам. Источники, которые будто бы показывают об одном и том же, в сущности, могут касаться различных предметов: известные рассказы Цезаря и Тацита о частной земельной собственности и землепользовании у германцев, например, противоречат друг другу, если полагать, что они относятся к одному и тому же племени; но Цезарь говорит о Свевах, а Тацит мог говорить о других племенах: Хауках, Херусках и т. п.** Источники могут содержать также согласованные друг с другом, хотя и не совпадающие показания об одном и том же факте. При чтении, например, рассказов о том, как Пипин решил помочь папе Стефану[281] против лангобардов, мы замечаем некоторое разноречие показаний в доброкачественных источниках, каждый из которых заслуживает внимания. Составитель биографии папы Стефана II-го повествует о том, что соглашение их состоялось в Киерси (Kiersy)[282], продолжатель же хроники Фредегара[283], что оно произошло в Бернако (Braisne). Это разноречие получает свое разрешение с точки зрения согласованности, а не совпадения показаний. В самом деле, следует обратить внимание на то, что известия о съезде в Киерси и о съезде в Бернако занимают соответственно разные положения в изучаемых источниках: биограф папы Стефана II-го говорит о съезде, участники которого постановили оказать помощь папе, продолжатель хроники Фредегара — о съезде, решившем предпринять войну; съезд, о котором повествует биограф папы Стефана II-го, происходил до посольства к королю Аистульфу[284], съезд, упоминаемый продолжателем хроники Фредегара, — после того, как

* Ср. выше сс. 627 и 645 <Т. 2. С. 249 и 264>.

** *D. Fustel de Coulanges*, Recherches, 2 éd., p. 294.

Аистульф отклонил предложение послов мирно кончить все дело. Таким образом, римский и франкский источники, вероятно, говорят о разных съездах и, значит, только потому, что биограф папы Стефана II-го не упоминает о съезде в Бернако, а продолжатель хроники Фредегара — о съезде в Киерси, можно было смешать их известия и упустить из виду возможность их согласования*.

Понятие о совпадении показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько показаний об одном и том же факте тождественны по содержанию и независимы друг от друга, то они совпадают. Совпадение показаний имеет значение, аналогичное с тем, какое приписывается повторению одного и того же наблюдения, или ответа. Подобно тому, как я проверяю или контролирую свое наблюдение чужими наблюдениями, положим, наблюдениями *A* и *B*, я могу проверять и контролировать чужое наблюдение *A* чужим наблюдением *B*: имея в виду, что каждое из них выразилось в соответствующем показании, я, значит, могу проверять или контролировать показание *A* показанием *B* и т. д. Каждое из них оказывается, в сущности, чрезвычайно сложным продуктом; следовательно, если независимые друг от друга показания *A* и *B* совпадают, случайное совпадение их маловероятно, а вероятность того, что оно обусловлено истинностью показаний, больше вероятности того, что оно обусловлено ложностью показаний. С такой точки зрения историк и пользуется принципом совпадения показаний**. Итак, понятие о совпадении показаний получает полноту своего научного значения лишь под условием тождественности и независимости показаний.

Тождественные показания показывают одно и то же об одном и том же факте и, значит, должны совпасть; такое совпадение взаимно подкрепляет достоверность каждого из совпадающих показаний, если только они независимы; но взаимоотношение подобного рода легко разложить и на два односторонних, взаимно пополняющих друг друга отношения, каждое из которых рассматривается порознь, в зависимости от того, какое из показаний изучается: следовательно, в нижеследующем рассуждении достаточно иметь в виду преимущественно то значение, какое совпадение показаний имеет для установления достоверности изучаемого показания.

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 540–541.

** Ср. сс. 662–663; 765–766 <Т. 2. С. 279–280; 365–366>.

Показания могут оказаться тождественными или в полном их составе или в некоторых из их частей и, значит, могут совпасть вполне или отчасти, что и ведет к различению полного совпадения от частичного совпадения. Рассмотрим простейшие случаи полного и частичного совпадения показаний, поскольку оно имеет значение для становления достоверности того из них, которое изучается.

Положим, что два свидетеля Q и R дают показания о факте X, т. е. высказывают мысль о некоторой системе реально-связанных между собою элементов вида: $\Sigma\ (a, b, c, \ldots m, n)$; обозначим показания Q и R о факте X через Q_x и R_x, функцию показывания — через σ, общее показаниям содержание — через u, а части, взаимно отличающие их друг от друга, — через v и w; тогда, при

$$Q_x = \sigma\ (u)$$
$$R_x = \sigma\ (u)$$

можно сказать, что совпадение между показаниями Q_x и R_x полное; а при

$$Q_x = \sigma\ (u, v)$$
$$R_x = \sigma\ (u, w)$$

где, впрочем, v или w может быть равно нулю, можно сказать, что совпадение между Q_x и R_x частичное.

Полное совпадение показаний, очевидно, в большей мере подтверждает достоверность изучаемого показания, чем частичное совпадение: последнее дает возможность судить лишь о некоторой степени его достоверности в вышеуказанном смысле; но историк обыкновенно принужден довольствоваться частичным совпадением показаний и, значит, пользуется им, смотря по его предметам, для установления той, а не иной степени достоверности изучаемого показания.

В самом деле, трудно ожидать полного совпадения между показаниями об одном и том же, всегда относительно сложном историческом факте, взятом в его целом.

Если показания Q_x и R_x — идеально полные, исчерпывающие показания, т. е., если каждое из них может быть изображено в виде: $\sigma\ (u_1) = \sigma\ (a, b, c, \ldots m, n)$, то показания Q и R о факте X, конечно, вполне совпадают во всей полноте мыслимого содержания факта; но полное совпадение идеально-полных, исчерпывающих показаний само

оказывается идеальным, предельным случаем; вероятность, что такое совпадение произойдет в действительности, очевидно, очень мала.

Если показания Q_x и R_x — относительно полные показания, т. е., положим, охватывают несколько элементов факта X, так что каждое из них можно изобразить хотя бы в виде: $\sigma\ (u_2) = \sigma\ (a, b, d, \ldots m)$, то показания Q и R о факте X вполне совпадут в некоторой части мыслимого содержания факта X; но вероятность такого относительно полного совпадения, т. е. того, что Q и R действительно выберут как раз те же самые элементы X и упомянут их без каких бы то ни было изменений в одном и том же порядке, так что каждое из них будет равно, положим, $\sigma\ (u_2)$, также мала.

Итак, при изучении исторических показаний, в большинстве случаев можно ожидать лишь частичного их совпадения, т. е. совпадения, в котором показания тождественны лишь в некоторых своих частях. Такой вывод, сделанный a priori, подтверждается и эмпирическим путем: экспериментальные исследования обнаружили, что несколько показаний хотя бы о сравнительно простом факте обыкновенно обнимают далеко не все его моменты, и, значит, даже главнейшие могут совпадать, при показывании об одном и том же факте, в сведениях лишь о некоторых из его элементов или признаков*; показания, с которыми приходится иметь дело историку, кроме того, часто даются людьми, слишком мало подготовленными для производства научных наблюдений, и касаются гораздо более сложных фактов, что, разумеется, делает полное или относительно-полное их совпадение еще менее вероятным; и действительно, если исторические показания совпадают, совпадение их обыкновенно оказывается частичным.

При рассмотрении частичного совпадения между показаниями можно придерживаться схемы, уже приведенной выше: если Q_x и R_x суть показания об одном и том же факте X и $Q_x = \sigma\ (u, v)$, $R_x = \sigma\ (u, w)$ то показания Q_x и R_x совпадают лишь отчасти. С такой точки зрения можно, при известных условиях, придавать тем большую достоверность изучаемому показанию, положим R_x, чем больше оно совпадает с данным показанием Q_x, т. е. чем менее значения v и w или одно из них, в случае другое равно нулю, имеют для различения R_x от Q_x.

---

* *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche в Beiträge zur Psychologie der Aussage, II Folge, SS. 15, 16, 27, 28.

В действительности, однако, не всегда легко установить, в чем именно показания совпадают. Положим, что историк имеет дело с известиями о смерти Александра Великого[285]: Арриан[286] сообщает, что он умер от лихорадки, Плутарх приводит известие, что он мог быть отравлен; и тот и другой, в сущности, не отрицают факта смерти Александра Великого от болезни (в 323-м году до Р. Х.); они только различно объясняют его и, в обоих случаях утверждая, что исход болезни был смертельным, не сходятся в ее характеристике, т. е. в утверждении факта, что Александр Великий умер от лихорадки или от яда*. С такой точки зрения историк может усмотреть даже некоторое совпадение между показаниями Арриана и Плутарха относительно смерти царя от какой-то внутренней болезни, а не, положим, от раны и т. п., хотя и не в состоянии точно определить рода его болезни; следовательно, в указанном и, разумеется, довольно ограниченном смысле, он может воспользоваться показанием Плутарха вместе с показанием Арриана для соответствующего заключения о преждевременной смерти Александра Великого от болезни, но не о роде его болезни, и т. п.

Частичное совпадение может обнаружиться не только в утверждении или отрицании факта, положим, хотя бы факта смерти Александра Великого от болезни, но и в суждениях о его главном, наиболее существенном содержании. В случае подобного рода совпадений показание R_x в полном своем объеме все же может и не быть тождественным с показанием Q_x; но мелкие разногласия в показаниях, касающихся одного и того же предмета, иногда говорят в пользу достоверности главного их содержания: если, например, факт очень сложный; если наблюдатели или средства наблюдения не однородны; если разноречия пополняют друг друга (а не взаимно противоречат друг другу); если разногласия можно вывести из различий авторов или их наблюдательных средств, то и вышеуказанным разногласиям нельзя придавать решающего значения: они поддаются учету. В области исторических разысканий можно указать на такие частичные совпадения: часть известного рассказа книги Царств о войнах моавитского царя Меши[287] с Израилем подтверждается, например, надписью приблизительно середины IX-го века до Р. Х., в которой царь сообщает немало подробностей о своих завоеваниях и других славных деяниях[288]. Показание нашей летописи о том, что царь Иван Грозный[289] «поймал кормленым окупом, с которых волостей имати всякие доходы на его государской обиход, жаловати бояр и дворян, и всяких его государевых дворовых людей, которые будут у него в опричнине», оказывается «верным, но не полным указанием на доход с опричных земель»: оно подтверждается и дополняется грамотами того времени, свидетельствующими, что в состав таких доходов входили и прямые, и разного рода косвенные налоги, и т. п.*

* Arriani expedit., L. III, cap. 25 (rec. C. Müller, 1846). *G. Grote*, History of Greece, (Ld., 1870), v. XII, pp. 78–79.

С гораздо меньшею вероятностью можно ожидать совпадения показаний о факте, поскольку они содержат его более или менее субъективное объяснение или делают из него какие-либо выводы, или подвергают его какой-либо оценке и т. п. Легко представить себе, например, такие случаи, когда показания совпадают в утверждении или отрицании факта, но не в его объяснении или оценке. Совпадение может даже состоять и в дальнейшем содержании показаний, хотя бы в скрытом виде, при относительно резком противоречии в оценках. В показаниях враждебных партий или сторон, каждая из которых уверяет, что она одержала верх над другой, можно иногда вскрыть совпадение: каждая из них, в сущности, полагает, что их столкновение не имело настолько решительного исхода, чтобы нельзя было истолковать его в свою пользу, т. е. что столкновение их не увенчалось решительной победой одной из них, хотя бы каждая и приписывала ее себе, подобно тому, например, как то делали русское и французское правительства по поводу сражения при Бородине.

Совпадение показаний получает, однако, надлежащее значение в качестве критерия для установления их достоверности лишь в том случае, если каждое из них признается независимым от остальных, т. е. если тождественность их не объясняется их зависимостью друг от друга.

Вообще понятие о независимом показании можно поставить в связь с понятием о свидетельском показании: вполне независимое показание о факте, очевидно, дается кем-либо на основании одних

* *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 13–14; ср. p. 21 и друг. соч. о той же стеле; *С. Платонов*, Очерки по истории Смуты, СПб., 1899 г., сс. 148–149; ср. еще *А. Кони*, Свидетели на суде в сборнике «Проблемы психологии», изд. под ред. П. Холчева, с. 132.

только собственных своих чувственных восприятий от этого факта и, значит, не зависит от других показаний о нем. Согласно с предлагаемым пониманием, нельзя признать свидетелем того, кто получил свое представление о факте лишь через посредство другого лица, в зависимости от его показаний о том же факте; такое показание с чужих слов можно назвать известием; совпадение известий, разумеется, не может иметь то значение для установления достоверности источников, какое приписывается совпадению независимых показаний: они могут зависеть от одного общего им источника или друг от друга.

Итак, совпадение показаний получает достоверность лишь при независимости каждого из них от остальных. Необходимо, однако, ясно сознавать, в каком именно смысле независимость их понимается: хотя, строго говоря, независимость показания сводится к понятию о свидетельском показании, но возможны случаи, когда рассматриваемые показания, в сущности, уже не вполне независимы. Вообразим, например, что *A* и *B* — свидетели факта *X*, но что показание *B* сохранилось лишь в известии, которое *C* сообщает о нем. Если историку удастся доказать, что известие, сообщаемое *C*, не зависит от показания *A*, он может признать показания *A* и *C* независимыми относительно друг друга, хотя *C* и не был свидетелем факта *X* и его показание зависело от показания *B* об *X*. Возьмем еще другой пример: положим, что *A* и *B* свидетели очень элементарного факта *X*, но что *B* предпочел дать свое показание о факте *X* в форме, принятой *A*, т. е. сам испытавши факт *X*, выразил, однако, испытанное им в форме, уже предложенной *A*; тогда можно различать два случая: или показание *B*, в сущности, осталось независимым от *A* по своему содержанию и зависит от него только по форме его выражения; или последняя оказала влияние на оттенки мысли *B*, и его показание уже зависит от показания *A* и по его содержанию, а не только по форме. Легко представить себе еще более сложные комбинации, например, в тех случаях, когда показание *B*, зависящее по форме от *A*, известно лишь по известию *C*, и т. п.* Если принять, что такие показания, не будучи

* Бернгейм едва ли прав, рассматривая случай зависимости показания *B* по форме от показания *A*, как исключение из общего правила совпадения независимых показаний: показание *B* может зависеть от показания *A* не по содержанию, а только по форме его выражения и все же может совпадать с показанием *A* по содержанию, которое он, т. е. *B*, испытал независимо от *A*, в собственном своем чувственном восприятии; см. *E. Bernheim*, Lehrbuch, S. 526.

в строгом смысле свидетельскими, все же в известном отношении независимы друг от друга, то и понятию о совпадении независимых друг от друга показаний можно придать более широкое значение. Впрочем, в некоторых случаях, может быть, осторожнее было бы говорить не о независимых показаниях, а о показаниях, подтверждающих данное: ведь если *B* повторяет только форму суждения *A*, он может представить его себе в виде вопроса, на который он же и отвечает утвердительно; если свидетель *A* говорит, например, что «факт *X* действительно случился», свидетель *B* может повторить то же суждение, более или менее сознательно, мысленно или явно прибавляя к нему: «да», т. е. говорить «да, факт *X* действительно случился», что и обнаруживает наличность вопросительной формы, в которой *B* представил себе суждение *A*, прежде чем ответить на него в утвердительном смысле, т. е. принять и повторить его. В противном случае *B*, повторяя суждение *A*, легко может перейти к заимствованию, при котором его показание потеряет некоторую независимость своего содержания и превратится в известие о факте *X*.

Не трудно подыскать такие соотношения и в исторических источниках. В числе современников, рассказывавших о Людовик Св.[290], например, кроме, конечно, Жуанвилля[291], можно пользоваться и записками духовника королевы Маргариты Прованссской[292]: Гильом де С.-Патю (St.-Pathus) не мог лично знать короля, но многое слыхал от вдовствующей королевы и от свидетелей, которые давали показания по поводу канонизации короля, что и придает его сообщениям существенное значение. Составители пасхальных аннал[293] обыкновенно отличаются очень бедным языком: «описывая один и тот же факт, они употребляют одно и тоже слово или выражение, которое они повторяют до пресыщения»; но на основании такого сходства нельзя еще заключать о тесной зависимости предшествующего писателя от последующего и т. п.*

Понятие о совпадении независимых показаний может иметь разный объем, смотря по тому, разуметь ли под независимыми показаниями и такие, которые даются одним и тем же лицом, или ограничивать его только такими, которые даются разными лицами об одном и том же факте. Вопрос о том, в состоянии ли одно и то же лицо давать совершенно независимые друг от друга показания об одном и том же факте, едва ли можно, однако, разрешить, не считаясь со сделанным

* *A. Molinier*, Les sources, fasc. V, pp. XXIX, CXIII–CXIV.

выше рассуждением о повторении одним и тем же творцом собственного своего произведения: оно применимо и к данному роду случаев; и тут естественно прийти к заключению, что сделанное показание, одним и тем же лицом об одном и том же факте независимо от предшествующего показания, мыслимо лишь при некотором разрыве в сознании показывающего; но в большинстве случаев мало вероятно, чтобы одно и то же лицо давало показание об одном и том же факте совершенно независимо от своего же предшествующего показания о нем; между тем, показывая об одном и том же факте под влиянием памяти о прежнем показании, оно, в сущности, повторяет его, а не дает нового вполне независимого от него показания о факте. Следовательно, под совпадением независимых показаний приходится преимущественно разуметь совпадение между изучаемым показанием и независимыми от его подателя чужими показаниями.

В таком смысле историк часто прибегает к принципу совпадения показаний: он придает, например, гораздо большую ценность известным показанием Геродота о Египте после того, как они стали подтверждаться свидетельствами, почерпаемыми из египетских древностей; он контролирует показания, делаемые Коминем[294] в его мемуарах, итальянскими депешами, касающимися его посольства; он выясняет степень достоверности былин Киевского или Новгородского циклов, сопоставляя их с Киевскими и Новгородскими летописями, а также другими источниками и различая в былинах исторически-бытовые элементы от чудесных, сказочных или заимствованных, и т. п.*

Во всяком случае, для того, чтобы пользоваться критерием совпадения показаний, историк должен предварительно доказать, что они независимы: совпадение зависимых друг от друга показаний само по себе, конечно, не имеет никакого значения для установления достоверности изучаемого показания. Ведь в той мере, в какой основное показание, независимое от других зависящих от него показаний, достоверно, и суждение историка, основанное на нем, истинно; и, наоборот, в той мере, в какой оно недостоверно, и суждение историка не истинно; истинность или не истинность его суждения, значит, зависит от достоверности или недостоверности основного источника,

* См. Комментарий A. Wiedemann'a к II книге Геродота, труды K. de Lettenhove о Коммине, А. Н. Веселовского и В. Ф. Миллера о былинах и др.

а не от совпадения его показаний с показаниями других заимствованных из него показаний*.

Следовательно, совпадение показаний, соотношение которых критически не проверено, легко может ввести исследователя в заблуждение.

В некоторых случаях, например, приходится иметь дело с показаниями смешанного характера, совпадающими частью в том, что они показывают независимо друг от друга, частью в том, что они показывают в некоторой зависимости от других. При таких условиях не всегда легко выяснить, в чем именно показания совпадают, как независимые, а не как зависимые. В виде иллюстрации тех затруднений, какие возникают в таких случаях, можно припомнить хотя бы одно старинное дело из французской уголовной практики, а именно дело Леружа: оно возникло по поводу обвинения его в убийстве. Десять свидетелей уверяли судей, что они видели, как Леруж, среди белого дня, убил своего хозяина; на основании их показаний Леруж был приговорен к смерти и казнен в Эксе в 1793-м году; лишь долгое время спустя, совсем другой человек, приговоренный к той же казни за другое преступление, уже на эшафоте, сознался, что он совершил и убийство, за которое казнили Леружа: преступник, при совершении его, нарядился в парик и передник Леружа, что, при легком сходстве с ним, и породило иллюзию**. Показания о Леруже (в той мере, в какой они могли быть независимыми), значит, совпадали лишь в общем признании, что парик и передник преступника действительно принадлежали Леружу; а суд, не разобравши, в чем именно показания совпадали, как независимые, а не как зависимые, приговорил его к смертной казни, что и было исполнено. Между тем, историки очень часто находятся в гораздо худшем положении, чем судьи, судившие Леружа: они имеют дело не со свидетелями, которых можно опрашивать несколько раз, а только с теми из их показаний, которые сохранились, но не могут быть повторены, и далеко не всегда в состоянии различать независимые показания от зависимых.

* Совпадение показаний, которые оказываются результатом заимствования, может иметь значение для доказательства неподлинности заимствованных показаний, но не имеет значения для доказательства их недостоверности.

** *M. Lailler et H. Vonoven*, Les erreurs judiciaires et leurs causes, Par., p. 15.

В других случаях показания, по-видимому, основанные на данных собственного чувственного восприятия каждого из свидетелей, тем не менее зависят от одного общего источника, а потому и совпадение их не может иметь значение для доказательства их достоверности; напротив, содержание их, при таких условиях, часто оказывается недостоверным. Под влиянием «внушения», например, многие могут повторять суждения того, кто впал в иллюзию, даже несмотря на то, что данные их собственного чувственного восприятия не согласны с нею. Возникшая, таким образом, идея может сделаться центром особого рода кристаллизации, которая завладевает вниманием и парализует всякую критическую способность: то, что тогда «видит» новый наблюдатель, есть уже не самый объект, а субъективный образ, вызванный в его душе пропагандистом иллюзии. Вообразим, например, что человек очень впечатлительный разыскивает дорогую ему личность и внезапно натыкается на труп, хотя бы и не особенно сходный с нею, но представляющий особенность или деталь в туалете, способную вызвать идею об этой именно личности; при данных условиях он легко может впасть в иллюзию и заразить ею других. Несколько времени тому назад, например, г-жа Шавандрэ разыскивала своего сына и ошибочно признала его в трупе одного ребенка, найденного в Париже: находясь под впечатлением того, что личность ребенка была уже «удостоверена» его товарищем, она по шраму на его лбу окончательно убедилась в том, что перед нею похищенный и убитый ее сын — Филибер Шавандрэ; его родственники, соседи и школьный учитель, при виде трупа, вынесли то же впечатление. Расследование дела обнаружило, однако, что пострадавший совсем другой ребенок, привезенный из Бордо в Париж. В данном случае совпадение показаний целого ряда лиц не имело значения: они зависели от главного показания, а может быть и друг от друга. Впрочем, можно привести примеры, в которых зависимость ошибочных показаний друг от друга проступает яснее. Однажды в полдень, при ярком солнце фрегат «Belle Poule» кружился по морю, ища корвет «Le Berceau», с которым его разлучила сильная буря. Вдруг часовой подал сигнал о появлении судна с перебитым рангоутом. Весь экипаж устремил свои взоры по направлению сигнала, и все офицеры и матросы ясно увидели плот, нагруженный людьми; лодки тащили его на буксире и сигнализировали о крайней опасности. Адмирал Дефоссэ сейчас же отрядил лодку для спасения погибающих; офицеры и матросы, сидевшие в ней, утверждали, что они видели массу людей, с мольбою протягивавших руки, а также слышали глухой и неясный шум многочисленных голосов. Меры, принятые адмиралом, оказались, однако, совершенно излишними: когда спасательная лодка приблизилась к мнимому плоту, то оказалось, что это просто несколько древесных веток, покрытых листьями. Таким образом, хотя показания, какие могли бы дать офицеры и матросы «Belle Poule» до того момента, когда они приблизились к плоту, совпадали бы, но они оказались бы ложными: мысли их не были независимыми; они зависели от показания часового, возникли на почве общего напряженного ожидания встречи с разыскиваемым корветом и, очевидно, взаимно и заразительно действовали друг на друга; при таких условиях ошибка в показании часового стала с убеждением повторяться и другими, что и повело к совпадению зависимых и ошибочных утверждений*. Само собою разумеется, что такое внушение может принимать и другие формы: в тех случаях, например, когда судебный следователь задает вопросы свидетелю, находясь под впечатлением какой-либо предвзятой мысли, он вызывает показания, в сущности, зависящие от той тенденции, которую он тем легче проводит на допросе, чем менее он следит за собою и чем более свидетель подчиняется его воле, а суд, опираясь на такие показания и считая их, без предварительной критики, независимыми, хотя они часто возникают под влиянием внушения, впадает в ошибку, которая может повести и к наказанию невинного. Случаи подобного рода известны из целого ряда дел, например, знаменитого в XVII веке процесса супругов Пивардьер. Историк часто находится в аналогичном положении: хотя сам он, конечно, не внушает свидетелям их ответов, но имеет дело с ответами, внушенными им другими лицами, общественным мнением, прессою и т. п., а потому и не независимыми от них: он знает, например, что в той мере, в какой два свидетеля, показывая об одном и том же факте, связывают данные своего восприятия с какой-либо общей им точки зрения, показания их могут совпадать; но разбираемый случай он не признает полным совпадением независимых показаний, если точка зрения, общая обоим свидетелям, заимствована каждым из них, хотя бы независимо от другого, из одного общего источника, положим,

* *G. Le Bon*, Psychologie des foules, 2 éd., pp. 30–31, 33–34; там же и много других примеров.

из какого-либо учения, или сложилась под влиянием известных партийных взглядов и т. п.* Многие из современников императора Генриха IV, итальянцы, швабы и саксонцы, например, писали о его «тирании»; но, по ближайшем рассмотрении их показаний, оказывается, что все они находились под влиянием той вражды к императору, которая порождена была клерикально-партикуляристическими тенденциями; значит, и их показания не могут быть признаны независимыми от общего их источника, тенденциозность которого, разумеется, отразилась и в их рассказах о Генрихе IV**.

Приемы различения независимых показаний от зависимых, в сущности, те же, что и критические приемы изучения состава источников, уже изложенные выше; применяя их к оценке показаний, историк выделяет те из них, которые оказываются независимыми и затем, путем сравнения их содержания, может прийти к установлению конкретного факта совпадения изучаемых источников, который с точки зрения вышеуказанного критерия, и признается доказательством в пользу достоверности их содержания.

В предшествующих рассуждениях совпадение показаний преимущественно рассматривалось в наиболее простых его формах, т. е. применительно к двум из них; но оно может обнаруживаться и при более значительном числе показаний. Значительного числа совпадений, очевидно, можно ожидать с большею вероятностью между показаниями о простом, элементарном факте, чем между показаниями о сложном факте; но чем проще факт, тем он менее обращает на себя внимание, по крайней мере, обыденных наблюдателей, если только такой факт не оказывается вместе с тем внезапным или необыкновенным; и, наоборот, сложный факт иногда в большей мере затрагивает их; значит, вероятность того, что сложный факт вызовет несколько показаний, может быть больше, чем вероятность множественности показаний об элементарном факте, а при наличности нескольких показаний об одном и том же сложном факте, совпадения между ними, хотя бы частичные, все же могут достигнуть известного числа.

* *M. Lailler et H. Vonoven*, Op. cit. pp. 2, 18–19, 27–45, 50–51, 53–54, 80–85; уже Бинэ, по другому поводу, заметил: «il y a des questions qui, rien que par leur forme, sont de formidables machines à suggestion»[295]; см. *A. Binet*, La science du témoignage в «L'Année psychologique», t. XI, Par., 1905, p. 129; ср. еще *Schrenck-Notzing*, Über Suggestion und Erinnerungsfälschung im Berchtold-Process, Lpz., 1897, SS. 23, 29–30, 105, 109 и др.

** *E. Bernheim*, Lehrbuch, S. 528.

С вышеуказанной точки зрения пользуясь понятием о тождественности независимых показаний, можно, значит, рассуждать и о значении числа совпадений показаний, преимущественно частичных, для установления степени достоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и совпадающих с тем, которое изучается, тем более достоверным оно представляется. Историк, определяющий, например, время вступления на царство какого-либо правителя, положим, египетского фараона, признает показание о нем тем более достоверным, чем больше число источников, которые содержат совпадающие с ним показания, прямые или косвенные, о том, в какой год изучаемого царствования каждый из них написан или обнародован, и т. п.

Впрочем, можно подсчитывать лишь такие показания, которые признаются равноценными или соизмеримыми. В действительности, однако, весьма трудно принять, что два, а тем более несколько показаний имеют совершенно одинаковое значение; частичное их совпадение, в особенности, уже предполагает некоторые различия в их составе, едва ли остающиеся без влияния и на те элементы каждого из них, которые в отдельности взятые оказались бы вполне сходными между собою. Такие показания несоизмеримы в количественном смысле, а при различии в их качестве, лучшее показание может оказаться более достоверным, чем несколько совпадающих между собою показаний об одном и том же объекте, в особенности если совпадение их состоит в забвении или отрицании некоторых его признаков*.

Следует также иметь в виду, что совпадение тождественных и независимых показаний не может служить безусловным критерием достоверности показуемого: нельзя отрицать, что и совпадение недостоверных показаний возможно**. Вообще, хотя вероятность совпадения таких показании не велика, если только они действительно независимы друг от друга, но степень ее все же может колебаться: чем более показания зависят от общего им условия ошибки, тем более вероятно и совпадение показаний, обнаруживающих ее; и наоборот,

* *A. Fribourg*, Nouvelles expériences sur le témoignage, в Rev. de Synthèse Hist., t. XIV (1907), p. 164.

** *A. Fribourg*, Op. cit., в Revue de Synthèse hist., t. XIV (1907), p. 167 (опыты Клапареда).

чем менее показания зависят от условий подобного рода, тем менее вероятно совпадение между ними в их индивидуальных ошибках. С указанной точки зрения легко заметить различие между показаниями, содержащими более или менее непроизвольные ошибки, и показаниями преднамеренно ложными или лживыми: показания с невольными ошибками возникают в тех случаях, когда какое-либо общее им условие, например, привычная, но ошибочная ассоциация между двумя представлениями естественно вызывает в каждом свидетеле склонность, при показывании об одном из них, упоминать и о другом; преднамеренно ложные или лживые показания, напротив, возникают при менее общих условиях: они преимущественно зависят от личных интересов; последние придают каждому из них, а следовательно и сделанным в нем ошибкам, индивидуальный характер, благодаря которому и совпадения между ними представляются маловероятными. И действительно, трудно указать примеры совпадения ложных или лживых показаний, высказанных независимо друг от друга; преднамеренно ложные или лживые показания свидетелей на суде могут совпасть между собою, но они обыкновенно зависят от воли того, кто думает воспользоваться ими, и т. п.

Соответственно вышеуказанному понятию о совпадении показаний понятие о несовпадении или о фактическом противоречии между изучаемым показанием и другими показаниями вызывает в историке сомнение в его достоверности и может привести к заключению, что изучаемое показание недостоверно. В своих мемуарах, например, Меттерних[296] сообщает, что в 1813-м году, «29-го мая в 4 часа дня он получил через посредство курьера из Дрездена вести о неудачном исходе сражения при Бауцене»; но уже 26-го мая Гумбольдт писал из Вены: «вчера прибыли два курьера от Стадиона с известиями о сражениях, происходивших с 19-го до 21-го», а 27-го мая сообщал: «вчера вечером я узнал от графа Меттерниха об исходе сражения 19-го — 22-го мая»; легко заметить несовпадение между показаниями Меттерниха и Гумбольдта и, в силу некоторых соображений, отдавая предпочтение последнему, прийти к заключению, что показание Меттерниха недостоверно*.

Впрочем, вывод подобного рода можно сделать лишь в том случае, если изучаемое показание действительно противоречит другому, достоверность которого уже признана. Между тем, ввиду вышеуказанных соображений об относительно разной форме соответствия показаний, разноречие между ними может быть и кажущимся; оно иногда, например, сводится к согласованности, а не к совпадению показаний, что видно хотя бы из вышесделанного рассмотрения показаний биографа папы Стефана II-го и продолжателя хроники Фредегара о съездах в Киерси и Бернако, или ограничивается одною терминологией, положим, в том случае, когда одно и то же сражение называется различно, смотря по тому, какое из ближайших мест, при которых оно происходило, принимается во внимание, например, сражение при Бауцене или при Вуршене[297].

* *P. Bailleu*, Die Memoiren Metternichs в Hist. Zeit., Bd. 44 (1880), S. 231.

В случае большого числа несовпадений, последнее может получить значение и для установления степени недостоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и не совпадающих с тем, которое изучается, тем менее достоверным оно представляется. Ввиду существенных затруднений, возникающих, однако, при подсчете таких показаний, обыкновенно приходится ограничиваться научно-качественною оценкой их. С такой точки зрения историк рассматривает, например известный (18-ый) бюллетень Наполеона о сражении при Бородине, несовпадающий с показаниями Кутузова[298], Ермолова[299], Липранди[300] и др.

Понятие о фактическом противоречии между независимыми показаниями, в сущности, лежит в основе и того доказательства не достоверности источника, которое называется «argumentum ex silentio»[301]. Такая аргументация могла бы иметь две формы, смотря по тому, противоречит ли рассматриваемый источник остальным положительным или же молчаливо-отрицательным показаниям о факте: можно было бы представить себе, положим, что источники *A, B, C* упоминают о факте *X*, а источник *N* молчит о нем; или, наоборот, что источники *A, B, C* молчат о факте *X*, а *N* упоминает о нем; иными словами говоря, можно было бы различать два вида случаев, т. е.

$$+A_x, +B_x, +C_x, \text{ и } -N_x,$$

или

$$-A_x, -B_x, -C_x, \text{ и } +N_x.$$

Случай вида: $+A_x, +B_x, +C_x$, и $-N_x$, по понятным соображениям, не имеет, однако, большого значения: совпадение положительных,

тождественных и независимых показаний A_x, B_x, C_x считается обыкновенно достаточным для того, чтобы пренебречь молчаливо отрицательным показанием – N_x, разумеется, если его значение не превышает значения остальных показаний; но случай вида $-A_x$, $-B_x$, $-C_x$, и $+N_x$ требует более подробного рассмотрения.

В последнем смысле «argumentum ex silentio» можно формулировать следующим образом: если историк имеет основание думать, что отсутствие в одном или нескольких источниках одного или нескольких показаний о факте *X* лучше всего объясняется предположением, что факта *X* не было, и, значит, может прийти к заключению, что, если бы данные источники показывали о факте *X*, то показания их были бы отрицательными, он заключает о недостоверности положительного показания, свидетельствующего в пользу того, что факт *X* будто бы был в действительности.

Аргументация подобного рода основана на том, что молчание одного или нескольких данных источников о факте *X* признается равносильным отрицанию того, что факт *X* был в действительности; иными словами говоря, такие молчаливо-отрицательные показания о факте *X* признаются более или менее достоверными, частью на том основании, что автор или авторы, не упоминающие о факте *X*, не могли бы не знать о нем, если бы он действительно случился, и вместе с тем, не могли бы не упомянуть о нем, частью и ввиду того, что молчаливо-отрицательные показания, если их несколько, совпадают между собою. Итак, лишь полагая, что такие показания достоверны и что источник с положительным показанием о факте *X* или не имеет определенной ценности, или признается менее ценным, можно судить о степени недостоверности положительного его показания о том же факте, и обратно. Если, например, источники, ближайшие по времени и месту к (мнимому) факту, ничего не показывают о нем, а какое-нибудь позднейшее или иноземное сказание одно только и повествует о нем, историк может сомневаться в его достоверности; или если факт был настолько важен для современников или для ближайшего потомства, что он не мог не произвести впечатления на них и что ближайшие к нему по месту и времени источники, по самому характеру своему, не могли бы не упомянуть о нем, если бы он существовал, но все же не упоминают о нем, исследователь имеет основание предполагать, что показание о его существовании сомнительно или недостоверно, и т. п.

Вместе с тем argumentum ex silentio получает некоторое значение лишь под условием, что такое предположение обосновано применительно к отсутствию показаний в соответствующих источниках, а не к отсутствию отдельно взятых показаний; отсутствие таких показаний в источниках или молчаливо-отрицательные показания источников и говорят против достоверности положительного показания критикуемого источника; ведь без источника, в котором показание отсутствует, нельзя судить о том, действительно ли оно отсутствовало: лишь по совокупности включенных в источник показаний, положим, о фактах, близких к обсуждаемому, можно судить о действительном отсутствии показания о том факте, который известен только из изучаемого источника; да и каждый источник, умалчивающий о факте, подлежит внимательному рассмотрению прежде, чем утверждать, что он действительно обнаруживает отсутствие показания о факте, который, напротив, упоминается в разбираемом источнике.

Само собою разумеется, что чем более источников, превышающих по своей ценности разбираемый или, по крайней мере, равноценных с ним и не содержащих показаний о факте, и чем более времени протекло с того момента, когда факт будто бы случился, и до того момента, когда он упоминается в разбираемом источнике, тем более вероятно и заключение, что положительное его показание недостоверно. Критики библейских книг, например, между прочим, пользуются такой аргументацией при обсуждении предания о факте возникновения книги Даниила: «Иисус бен Сирах не называет ни Даниила, ни трех его товарищей, хотя упоминание их в его хвалебном песнопении было бы вполне уместно»; да и в еврейском каноне книга Даниила не оказывается среди «пророков», т. е. там, где каждый, приписывающий ей древнее происхождение, должен был бы разыскивать ее и куда ее переместили уже составители александрийского перевода; на основании соображений подобного рода, подкрепляемых, впрочем, еще и другими доказательствами книга Даниила, согласно предположению критиков, признается произведением более поздним, относящимся ко времени Маккавеев[302], вопреки показанию составителей александрийского перевода*. Наиважнейший источник

* *A. Kuenen*, Abhandlungen, SS. 28–31. Один ученый доктор Сорбонны XVII-го века — Лонуа (Launoy) пытался установить предельный срок молчания письменных источников, по истечении которого положительное показание о факте нельзя признать достоверным, и довольно произвольно ограничивал его двухсотлетним периодом; но положительное упоминание о факте может быть основано и на устном предании о нем, которое долго сохраняет его и не всегда становится своевременно известным историку; ср. *Ch. de Smedt*, Principes, pp. 216–221.

для истории Карла Великого, т. е. его биография, составленная Эингартом, да и некоторые другие источники не упоминают о подвигах, рассказанных в так называемой хронике Псевдо-Тюрпена; ввиду молчания важнейших источников, известия ее признаются легендарными и т. п.*

Следует иметь в виду, однако, что «argumentum ex silentio» часто теряет свою силу. При дальнейшем исследовании, например, источники с молчаливо-отрицательными показаниями могут оказаться менее ценными, чем источник с положительным показанием о факте; тогда совокупность молчаливо-отрицательных показаний, каждое из которых, в отдельности взятое, сравнительно мало достоверно, но совпадает с остальными показаниями той же совокупности, может оказаться в противоречии с положительным показанием, обладающим сравнительно высшей степенью достоверности, и т. п. Ведь молчание данного источника о факте может происходить и от того, что его составитель не знал того факта, который упоминается в разбираемом источнике; или забыл упомянуть о нем; или не считал его достойным внимания или упоминания; или имел желание скрыть его и т. п. Следовательно, заключать по отсутствию показания о факте, кроме одного, что этот факт не существовал, во многих случаях рискованно, особенно если научно-историческая ценность источника с положительным показанием еще не установлена или даже превосходит значение источников с молчаливо-отрицательными показаниями о том же факте. Помимо только что указанного затруднения, возникающего при пользовании подобного рода аргументацией, можно указать еще и на другое: правильное употребление «argumentum ex silentio» предполагает безусловное знание всех источников, умолчавших о факте и противопоставляемых одному источнику, упоминающему о том же факте; но историк не может быть уверен, что он знает все источники; а если один из утерянных также упоминал бы о том же факте и был бы найден, ему пришлось бы признать наличность совпадения двух положительных показаний о факте, что, разумеется, уже не дало бы ему основания, без дальнейшего рассмотрения, отрицать достоверность разбираемого положительного показания о том же факте. При таких условиях «argumentum ex silentio» более пригодно для того, чтобы вызвать сомнение в достоверности

* *A. Molinier*, Les sources etc., t. I, №№ 648, 679 и др.

положительного показания, чем категорическое утверждение, что оно недостоверно.

Принцип, разъясняемый здесь, конечно, получает свое приложение и к научной оценке составных элементов показаний: доверие к части показания, в случае ее совпадения с другими показаниями, может в известной мере распространяться и на другие части того же показания, если они не противоречат остальным показаниям; но степень вероятности таких заключений, разумеется, подлежит в каждом отдельном случае самому внимательному обсуждению.

Само собою разумеется, что изучение совпадения или несовпадения показаний распространяется и на целые совокупности связанных между собою показаний, известий и т. п., образующих целые источники. В таких случаях большая достоверность, приписываемая источнику, совпадающему в некоторых из его показаний с показаниями других источников, дает возможность, на основании принципа единства сознания и других критериев, указанных выше, с большим доверием отнестись и к тем его показаниям, которые хотя и не совпадают с показаниями других источников, но связаны с остальными показаниями разбираемого источника; и, обратно, недоверие к показаниям источника, не совпадающим с показаниями других источников, переносится, разумеется, не без предосторожностей, и на другие показания разбираемого источника. В основе подобного рода исследований лежат те же принципы и приемы, какие были указаны выше; но оно значительно осложняется разнообразием возможных соотношений и, конечно, редко прилагается к целым источникам, так как вероятность совпадения больших совокупностей показаний мала. С такой точки зрения критики изучают, например, евангелия: подобно Сигелию[303] и его преемникам, они сравнивают рассказы евангелистов о земной жизни Иисуса Христа: выясняют, в чем именно и в какой мере эти рассказы совпадают или не совпадают; усматривают в первых трех, синоптических евангелиях более фактического содержания, чем в четвертом, и приписывают гораздо больше достоверности «речам» первого евангелия, чем четвертого; некоторые из них полагают даже, что последнее имеет характер не столько истории, сколько «аллегории» жизни Иисуса Христа и т. п.*

* *E. Renan*, Vie de Jésus, Par., 14-e éd., pp. X–XII, XLVII–XCII, 477–541 и др.; ср. *A. Jülicher*, Einleitung in das Neue Testament, 5–6 Aufl., Tüb. 1906. SS. 328 ff., 345 ff.; о некоторой зависимости Mt и Lc от Mc см. ib. SS. 306 ff.

Итак, принимая во внимание все сказанное выше о соответствии или несоответствии показаний, можно прийти к заключению, что оно имеет весьма важное значение для выяснения их достоверности или недостоверности. В самом деле, на основании одного показания историк не всегда может с достаточною уверенностью утверждать, что факт, о котором показание дается, действительно был: труднее установить достоверность, чем недостоверность одного показания; но из недостоверного показания нельзя даже заключать, что факт в действительности не был, ибо в последнем случае пришлось бы пользоваться отрицательным показанием, которое, однако, признавалось бы достоверным, поскольку оно отрицает, что факт был в действительности; из недостоверного показания историк может вывести лишь то, что оно непригодно, в качестве источника, и что, следовательно, им нельзя пользоваться. Согласованные или совпадающие показания, напротив, взаимно подтверждают друг друга или подкрепляют одно из них, а несогласованные или несовпадающие дают возможность сразу обнаружить, что именно в некоторых из них вызывает сомнение и нуждается в дальнейшей критике.

Степень вероятности заключения о факте также возрастает, если показания источника, на основании которого оно сделано, подтверждаются благодаря соответствию их с показаниями о том же факте других источников. Вообразим, например, что ученый находит в прирейнской стране, где некогда жили аламанны[304], древне-римскую монету; на основании такой находки он еще не может высказать достаточно обоснованного заключения о существовании там в прежние времена какого-либо римского поселения: ведь одна древне-римская монета могла попасть сюда и по какой-либо случайности; но если такие находки сделаны в нескольких местах той же страны, он может сделать свое заключение на основании нескольких согласованных между собою данных, что, конечно, придаст его выводу больше доверия: более или менее сплошное распространение таких монет не могло быть случайным, хотя и могло быть вызвано какими-либо другими причинами, например, частыми сношениями местных жителей с римлянами, а не их поселениями. Положим, далее, что такие находки оказались еще более значительными и что в некоторых из указанных мест удалось наткнуться на целые клады однородных монет: в таком случае ученый может опереться на совпадение данных касательно

одного и того же места и на согласованность более значительных данных относительно разных мест и, значит, будет придавать своему заключению еще большую вероятность, все еще, однако, недостаточную для того, чтобы вполне устранить сомнения. Представим себе, что вместе с монетами в тех же местах раскопки обнаружили, однако, и другие древности, относящиеся к римской культуре: остатки стен и домов, алтари, посуду и т. п.; принимая во внимание такое соответствие, которое также может оказаться, смотря по условиям, согласованностью или совпадением данных, ученый может уже без особенных колебаний признать довольно вероятным свое заключение о существовании в таких местах в прежнее время римских поселений. Впрочем, изучая остатки римской культуры в стране аламаннов, исследователь, конечно, не упускает из виду и соответствия их с письменными показаниями, например, с известиями о войнах Каракаллы[305] с аламаннами, с рассказами Аммиана Марцелина[306] о борьбе с ними Констанция[307] и Юлиана[308], о более или менее продолжительных походах римлян в страну аламаннов, об устройстве разных укреплений и других сооружений в подходящих местах и т. п. Такие показания также частью согласуются, частью совпадают; положим, показания, сообщаемые Дионом Кассием, Спартианом[309] и Аврелием Виктором[310] и т. п. Вместе с тем историк замечает соответствие между разнородными группами источников, остатками культуры и преданиями: оно еще более подтверждает его заключение о существовании римских поселений в стране аламаннов. Само собою разумеется, что чем больше число соответствующих данных в пределах каждой из качественно различных их групп, чем больше, например, было найдено монет и других римских древностей в разных местах прирейнской области, чем больше оказалось соответствующих с ними письменных показаний и т. п., тем рассматриваемое заключение о древнеримских поселениях в той же области становится более вероятным. И, наоборот, несоответствие вышеприведенных данных привело бы к крушению и ту гипотезу, которая была бы высказана на основании одного или даже нескольких из них: много римских монет того же времени, например, найдено в области Днепра, но ни результаты раскопок курганов и городищ в той же области, ни показания и рассказы Диона Хризостома[311], Аммиана Марцелина и других писателей о движении варварских племен с востока на запад не дают

оснований заключать о существовании собственно римских поселений на берегах Днепра*.

Само собою разумеется, что заключение, основанное на показании, которое заслуживает некоторого доверия, теряет, однако, полноту своего значения, если оно не согласуется или не совпадает с другим показанием, которое не может быть устранено: такое заключение нельзя признать безусловно истинным, если не удастся вполне разрешить противоречие между тем показанием, которое послужило ему основанием, и тем, которое противоречит ему; следовательно, заключение подобного рода представляется, при данных условиях, лишь более или менее вероятным, смотря по тому значению, какое приписывается противоречивым показаниям. Впрочем, даже при наличности группы показаний, часть которых противоречит другой части, подсчет их, в случае разной их ценности, все же оказывается фикцией, которая не может служить для точного определения сравнительной вероятности заключений, соответственно основанных на каждой из частей. В большинстве случаев, притом, историк имеет дело не столько со свидетельскими показаниями, сколько со сложными источниками, содержащими наряду с ними разные известия, слухи и т. п., которые также могут совпадать или не совпадать с главными показаниями или между собой; при таких условиях он часто не может высказать свое заключение иначе, как в виде более или менее вероятного предположения, которое иногда опирается не на положительные показания, а на более или менее правдоподобные намеки источников. Историк располагает, например, довольно значительным числом показаний касательно известного углицкого дела о смерти царевича Дмитрия 15 мая 1591-го[312] года, сыгравшего видную роль в политической идеологии Смутного времени[313]; но он не может признать их одинаково ценными и принужден считаться с противоречиями между ними; зная, что «власть объявляла Бориса святоубийцею» и что «церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, приявшему от него смерть», исследователь замечает, однако, что почти во

* *L. Lindenschmidt*, Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz etc., 1889 и др. *В. Б. Антонович*, Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее университета св. Владимира, Киев, 1896 г. *A. Holländer*, Die Kriege der Alamannen mit den Römern in dritten Jahrhunderte nach Chr. Karlsruhe, 1874; здесь можно найти указания и на других писателей, сообщающих сведения об аламаннах, Геродиане, Евтропие и т. д.; см. SS. 8 ff.

всех произведениях литературы XVII-го века, посвященных изображению Смуты и не принадлежащих к агиографическому[314] кругу повествований, «личность Бориса получает оценку, независимо от углицкого дела, которое или замалчивается или осторожно обходится»; он сравнивает ценность показаний, заключающихся в следственном деле, которое производилось кн. В. И. Шуйским[315] и окольничим Андреем Клешниным[316], в «повести» 1606-го года, панегирически настроенной в пользу Шуйских, во временнике дьяка Ивана Тимофеева[317] и в речах «многих» других, говоривших, «яко же убиен благоверный царевич Дмитрий Иванович Углицкой повелением московского боярина Бориса Годунова» — с показаниями Андрея Палицина[318], который, хотя и не принадлежал к безусловным его поклонникам, однако ограничивается сообщением, что враги и ласкатели «от многия смуты ко греху сего низводят, его же, краснейшего юношу, отсылают и не хотяща в вечный покой», с довольно аналогичным отношением к Борису и к тому же делу кн. И. А. Хворостинина[319] и других, некогда говоривших, «яко неповинна суща Бориса закланию царского детища». Внимательно сравнивая показания во вред Борису Годунову с показаниями, авторы которых, несмотря на официальную традицию, на «житие» царевича и чин службы новому чудотворцу, не решались, однако, прямо обвинить «властодержавного правителя», хотя и писали свои сказания и повести после его смерти, исследователь полагает, что заключение, основанное на намеках тех лиц, которые составляли их, представляется более вероятным, чем вывод, который навязывается ему официальным преданием*.

Критика стремится, однако, применять вышеуказанные критерии фактической истины или неистины показания в связи с изучением личности его составителя: она рассматривает индивидуальные особенности его показаний с целью выяснить, какое значение они имеют для установления их достоверности или недостоверности. В самом деле, можно сказать, что понятие о личности показывающего в значительной мере обусловливает и ценность его показаний: ведь без понятия об индивидуальности нельзя реально представить себе ни единства, ни непрерывности его сознания, ни того именно

* Собр. Гос. Гр. и Дог., ч. II, № 60. Рус. Ист. Библ. XIII, изд. 2-ое, сс. 301, 475, 535, 879–884, 901–910, 970 и др.; ср. *С. Платонов*, Очерки по истории Смуты, СПб., 1899 г., сс. 210–215, 592.

положения, которое показывающий субъект занял относительно показываемого объекта в данном культурном целом. В сущности можно составить себе надлежащее представление о свидетеле данного показания лишь в виде той личности, которая, в известном пункте пространства и в известный момент времени, действительно присутствовала при совершении описываемого факта и действительно восприняла его в своем чувственном восприятии; и, наоборот, если затруднительно возвести данное показание к личности того именно свидетеля, который воспринял факт, приходится сомневаться в достоверности сообщаемых в нем сведений или, зная ненадежность того, кто передал известие, заключать о большей или меньшей степени его недостоверности.

Ввиду подобного рода соображений следует пользоваться критериями, рассмотренными выше, применительно к тому именно субъекту, который дает показание, для того, чтобы судить о фактической его достоверности или недостоверности; но приложение такого принципа при рассмотрении фактического характера показания, дает плодотворные результаты, очевидно, лишь в том случае, если можно доказать, что этот субъект был или не был свидетелем того факта, о котором он показывает, что он действительно был в том месте, где факт произошел, и в то время, когда он случился, что он действительно испытал его в собственном чувственном восприятии, действительно наблюдал этот факт и т. п.; в противном случае нельзя признать его показание более или менее достоверным. Итак, при критически-индивидуализирующем рассмотрении показаний источника нельзя не принимать во внимание личности автора; без понятия о его индивидуальности нельзя надлежащим образом выяснить содержание и объем его показаний и критически отнестись к тем из них, которые отличаются более или менее субъективной окраской собственных его личных переживаний и которые, следовательно, всегда могут содержать, кроме сведений о факте, и более или менее субъективную его оценку; а последняя, конечно, обусловливает достоверность или недостоверность его показаний. При пользовании, например, мемуарами Комминя, нельзя упускать из виду некоторые особенности его характера и обстоятельства его жизни, разумеется, отразившиеся и на его показаниях: умный и ловкий, он обнаруживал склонность к наживе и к интриге и не любил обращаться к насильственным средствам в тех случаях, когда можно было действовать

иначе, а потому и не питал сочувствия к Карлу Бургундскому[320], которого он тайно покинул под стенами Э (Eu); будучи одним из главных конфидентов Людовика XI[321], он не понимал, однако, возрастающей слабости феодального режима и враждебно относился к правлению Божё[322]; он был также недоволен тем предпочтением, какое молодой Карл VIII[323] оказывал лицам, которые его не стоили, и враждебно относился к сенешалю[324] Бокэру; он был решительно против экспедиции в Италию, сыграл в ней второстепенную роль и не без пристрастия оценивал главных ее приверженцев — Брисоннэ[325] и Веска, много содействовал миру в Версейле, заключение которого он подробно описывает в своих мемуарах, и т. п.*

Рассмотрение индивидуальных особенностей показания с целью выяснить, какое значение они получают для определения его достоверности или недостоверности, легко переходит, как видно, в изучение генезиса показания; но исследование его происхождения имеет и свое самостоятельное значение.

[3. Критико-генетическое изучение достоверных и недостоверных показаний источника]

[а) Понятие о генезисе показаний источника]

В самом деле, критика фактической достоверности или недостоверности показания дополняется изучением его генезиса: такое исследование эмпирически обусловливает суждение о достоверности или недостоверности показания и дает возможность проверить вывод относительно его значения, выяснив, почему оно оказывается достоверным или недостоверным. Подробно изучая обстоятельства, обусловившие возникновение данного показания, можно с такой точки зрения понять, почему данный субъект сказал правду или неправду, почему он сохранил или нарушил единство своей мысли и ее последовательность, почему его показание находится в соответствии или в несоответствии с тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, или с собственною его индивидуальностью, и т. п.

* *B. de Mandrot*, Mémoires de Philippe de Commynes в Collection de textes pour servir à l'étude de l'enseignement de l'histoire, t. 33, Par., 1901, pp. III, VI, XI, XXIX ss., XXXVII, LXVII, XCI–C.

Впрочем, изучение генезиса показаний получает еще особого рода значение в тех случаях, когда историк, располагающий несколькими из них, признает одни и отвергает другие; гипотетически принимая, что речь идет о том, а не ином факте, что последний совершился так, а не иначе, он объясняет, почему одни показывали о нем согласно с истиной, другие — несогласно с ней, и, таким образом, подкрепляет гипотезу, с точки зрения которой он и имеет возможность объяснить происхождение не только правдивых, но и неправдивых показаний.

При помощи генетического исследования показаний легче установить и фактическое значение их разновидностей, т. е., обнаружить, например, какие именно показания оказываются свидетельскими, какие — известиями, какие независимы друг от друга, и какие, напротив, зависят друг от друга, что́ и дает возможность признать достоверность или недостоверность одного из них или целой их группы, соединенных в источнике.

Такое генетическое исследование тем более необходимо, что далеко не всегда можно по первому впечатлению правильно судить о значении показания. В том случае, например, когда свидетель высказывается с большими колебаниями о данном факте или характеризует его только в «общих чертах», показание его может вызвать сомнения; но тот, кто бережно относится к факту, может из боязни ошибиться, обнаружить ее при подаче показания, и, значит, последнее может оказаться более достоверным, чем оно казалось; или в том случае, когда свидетель с уверенностью показывает о факте или придает своему показанию «отчетливость» и «точность», его показание может произвести впечатление достоверности, которой оно, однако, не имеет. В судебной практике, например, нередко бывает, что свидетель, в особенности под конец допроса, начинает путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в правде своих слов, хотя бы они и не заключали ошибки, или, наоборот, с уверенностью дает ошибочное показание, например, bona fide[326], воображает, что он узнает и хорошо узнает человека, который оказывается вовсе не тем, за кого он принимает его*. Такое же обманчивое впечатление

* *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, в Beiträge, II Folge, S. 12. *A. Binet*, La suggestibilité, Par., 1900, pp. 283 et ss; ср. любопытные примеры у *M. Lailler* et *H. Vonoven*, Op. cit., pp. 72, 83, 87–96. «Точность» старинных цифровых показаний также часто оказывается мнимой, не говоря уже об известной привычке выражать их в «круглых числах»; ср. «Проблемы психологии», сс. 114, 124, 191 и ниже.

получается иногда и от сравнительно обстоятельного показания, изобилующего подробностями: полнота его сама по себе еще не свидетельствует в пользу его правдивости; подробное показание может, конечно, быть правдивым; но оно может оказаться и неправдивым; оно может содержать больше ошибок, чем скудное, но точное показание. Свидетели даже на суде иногда рассказывают, например, о подробностях, которые не существовали*.

[b) Генезис свидетельских показаний и рассказов]

[aa) Образование показаний без давления внешних условий]

В разысканиях подобного рода следует различать, однако, генезис свидетельского показания от генезиса известия или того предания, в состав которого оно входит: генезис свидетельского показания получает особенно важное значение и для выяснения достоверности зависящего от него известия или предания, хотя, разумеется, недостоверность такого показания также отражается в его передаче; генезис известия или предания, напротив, имеет интерес для выяснения не столько достоверности, сколько недостоверности, возникающей при передаче показания.

Впрочем, и при изучении свидетельского показания нельзя смешивать генезис самого показания с генезисом его подачи, т. е. безразлично говорить об образовании его в сознании свидетеля, конечно, более или менее связанном с его формулировкой, и о его высказывании под влиянием каких-либо внешних условий: в действительности оба момента, разумеется, тесно связаны между собою, но в теории, да и на практике в тех случаях, когда такая связь извращена, исследователю приходится различать два момента: образование показания и факт его подачи.

Вообще, изучение образования свидетельских показаний оказывается довольно сложным: можно интересоваться их генезисом с разнообразных точек зрения. Рассмотрим, хотя бы в самых общих чертах, психогенезис таких показаний, разумеется, применительно к задачам собственно исторического исследования, и отметим

* *M. Lailler* et *H. Vonoven*, Op. cit. p. 15.

главнейшие исторические условия, под влиянием которых они слагаются.

В таком рассмотрении нельзя смешивать возможность с действительностью, т. е. вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, с вопросом о том, какое показание он действительно дал; ответы на такие вопросы могут быть разными и далеко не всегда совпадают друг с другом. Само собою разумеется, что в области исторических разысканий приходится исходить из уже данных показаний. Генетическое изучение таких показаний сводится, конечно, к выяснению главнейших условий и факторов их образования; смотря по преобладанию того, а не иного рода факторов легко установить и соответствующие более или менее отвлеченные виды или типы образования показаний.

В исследованиях подобного рода можно различать двоякие условия образования свидетельских показаний: нормальные и ненормальные. С генетической точки зрения каждое из них находится в более или менее заметной связи с состоянием субъекта: больным или здоровым, особенно в психическом смысле. Душевно-здоровый субъект, сохранивший единство и целостность сознания, очевидно, оказывается в таких благоприятных условиях для познания, которые недоступны душевно-больному, более или менее утратившему их в той мере, в какой его психические функции уже поражены болезнью, что́ соответственно отражается и на результатах их показаний. Понятия подобного рода, правда, далеко еще не вполне установлены, и в действительности, разумеется, существует ряд переходов, которые затрудняют резкое разграничение, по крайней мере в сфере душевной жизни, «нормального» от «ненормального», часто имеющего более или менее относительный характер; но с такими оговорками все же можно рассуждать о душевно-здоровых или душевно-больных людях, а, значит, и о нормальных или ненормальных условиях образования данных ими показаний.

С указанной точки зрения следует несколько остановиться на изучении образования нормальных показаний, имеющих для историка, конечно, гораздо большее значение, чем ненормальные, т. е. выяснить главнейшие условия и факторы — познавательные и эмоционально-волевые, под влиянием которых они образуются.

Вообще, исходя из уже данного показания и рассуждая о его генезисе, историк интересуется не тем, мог ли свидетель дать показание

или не мог, и даже не тем, мог ли бы он сказать истину или не мог бы, а задается только вопросом о том, мог ли он в уже данном им показании сказать истину или не мог, и, смотря по ответу на него, признает изучаемое показание надежным или ненадежным в той мере, в какой оно зависит от такого знания или незнания*.

Итак, вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, естественно свести к вопросу о том, мог ли он сказать истину или не мог и, в свою очередь, поставить его решение, главным образом, в зависимость от того, знал ли он истину или не знал ее. В самом деле, показывающий может сказать истину, если он знает факт, о котором он показывает; и, наоборот, он не может сказать истину, если он не знает факта, о котором он показывает.

В таких случаях следует, конечно, придавать истине объективное значение, т. е. понимать ее в смысле того, что должно быть высказано о данном факте для того, чтобы иметь основание признать показание о нем фактически истинным; в соответственно обратном смысле можно, значит, рассуждать и о незнании истины. Итак, можно сказать, что знание или незнание фактической истины становится общим и необходимым условием образования надежного или ненадежного показания.

Впрочем, субъект может знать фактическую истину лишь при совокупности довольно разнообразных, более или менее частных условий. В самом деле, субъект в качестве свидетеля может обладать таким знанием, если он, при наличности единства сознания и связующих его функций, располагает известным запасом чувственно воспринятого, из которого он и почерпает материал для своего показания о соответствующем ему объекте**; если он хотя бы в некоторой мере интересуется тем фактом, который

---

* Надежное показание можно было бы назвать истинным в генетическом смысле, ненадежное — не истинным в генетическом смысле; ввиду чрезмерной сложности таких выражений и во избежание смешения понятий, которое возникало бы при сокращенном их употреблении, пришлось заменить их терминами, принятыми в тексте.

** Такой запас обыкновенно превосходит материал, почерпаемый из него для показания, что не трудно заметить при сравнении самопроизвольных показаний в форме рассказа (Bericht) с показаниями, вызванными опросом свидетеля (Verhörsprodukt); см. *W. Stern*, Die Aussage, als geistige Leistung und als Verhörsprodukt (Beiträge zur Psychologie der Aussage, III Heft), Lpz., 1904, SS. 10, 15, 61–63, 82–86.

он воспринимает, с теоретической, а не с практической точки зрения, т. е. инстинктивно или сознательно питая некоторый интерес к факту, все же, однако, не «заинтересован» в нем, наблюдает его, но не участвует в его совершении или, участвуя в нем, принимает во внимание свое участие в нем лишь для того, чтобы лучше понять то, что произошло, а не для того, чтобы подвергнуть происшедшее более или менее субъективной оценке. Вместе с тем свидетель может знать фактическую истину, конечно, лишь в том случае, если, при таком отношении к факту, он имеет возможность воспринять его в том месте, где факт происходит, и в то время, когда факт совершается; если он возможно полнее испытывает его в данных своего чувственного восприятия; если он отличается некоторым самообладанием, внимательно следит за фактом, т. е. с возможно большею объективностью «регистрирует» то, что он испытывает, преждевременно не примешивая к нему субъективную переработку или оценку воспринятого; если он располагает достаточным образованием и техническими средствами, нужными для удовлетворения требованиям подобного рода, и т. п. Ввиду того, что воспринятое легко поддается «действию времени», свидетель, в момент показания, может знать фактическую истину лишь в том случае, если он дает его на основании еще яркого и свежего впечатления от факта; если его настроение соответствует тому, что он вспоминает; если он помнит испытанное достаточно точно; если он отдает себе ясный отчет в том, что́ именно он знает и чего именно он не знает, что́ он запомнил и чего он не запомнил. Само собою разумеется, что свидетель, показывающий при подобного рода условиях, способен дать надежное показание, лишь если он владеет своим воображением и своими чувствами, не поддается действию других факторов, порождающих невольные ошибки в показаниях, в особенности если он хочет знать истину, т. е. сознательно и неуклонно стремится к некоторой познавательной цели, и т. п.*

* Желание или нежелание знать истину, разумеется, нельзя смешивать с желанием или нежеланием сказать правду: могут быть случаи, когда человек хочет знать истину, но не хочет выразить ее, не хочет сказать правду; ср. еще ниже замечания о волевых показаниях.

При наличности обратных условий, позволительно предполагать, что показывающий не может знать истину или не может обладать полным знанием ее. Само собою разумеется, что если он не испытал факта в своем чувственном восприятии, он не может дать надежное показание о нем; если он не интересуется фактом, он часто плохо воспринимает его, или забывает его, смешивает то, что он испытал от его восприятия с другими состояниями сознания, дает волю своему воображению и т. п.; если он слишком «заинтересован» в его совершении, он часто вносит свое субъективное настроение в его оценку, не хочет знать истину и т. п. В таких случаях, надо думать, он не может знать истину в объективном ее значении или не может обладать полным знанием ее.

Итак, при наличности целой совокупности условий, главнейшие виды которых были указаны выше, можно полагать, что свидетель знает фактическую истину; а в противном случае, можно полагать, что он не знает ее. Само собою разумеется, что такие предположения большею частью приходится высказывать и в гораздо менее категорической форме, т. е. полагать, что свидетель более или менее знает фактическую истину или более или менее не знает ее и т. п.

Впрочем, разнообразные частные источники и примеры надежных или ненадежных показаний, обусловленных знанием или незнанием истины, можно рассмотреть в связи с эмоционально-волевыми факторами их образования.

В самом деле, нельзя упускать из виду, что показание образуется не только в зависимости от знания или незнания истины: знание или незнание ее оказывается общим и необходимым, но недостаточным условием генезиса реально-данного показания: ведь то именно, что свидетель показал в действительности, зависит и от других условий, имеющих ближайшее отношение к эмоционально-волевой сфере его душевной жизни: в действительности он, конечно, дает и надежное, и ненадежное показание под влиянием факторов подобного рода, т. е. импульса или воли, получающих таким образом решительное значение в образовании самих показаний. Смотря по тому, какого рода факторы играют преобладающую роль в генезисе показаний, можно различать два вида свидетельских показаний, которые я назову импульсивными и собственно волевыми: в импульсивных показаниях воля свидетеля не имеет решающего

значения, в волевых показаниях он, напротив, сознательно хочет сказать правду или неправду*.

Следует иметь в виду, что импульсивные показания могут оказаться более или менее верными или неверными: даже свидетель, импульсивно показывающий о факте, который он сам испытал в своем чувственном восприятии, инстинктивно говорит правду или невольно говорит неправду. В таких случаях свидетель испытывает импульс дать показание о том, что он знает, или о том, чего он, в сущности, не знает; при импульсивном показании свидетель, знающий истину, дает обыкновенно верное показание, а свидетель, не знающий истины, дает неверное показание в той мере, в какой он не знает ее.

Действительно, в числе импульсивных показаний немало таких, которые оказываются верными: они образуются благодаря тому, что свидетель испытывает инстинктивное стремление объективировать состояния своего сознания, вероятно, тесно связанное с полнотою их переживания, завершающегося в соответственном их разряде; во всяком случае, при некоторой его напряженности, он обыкновенно стремится вместе с тем выразить испытываемое жестами, голосом, словами, письменными знаками и т. п., хотя его стремление, конечно, может и не получить достаточной силы под влиянием какого-либо задерживающего процесса. Свидетель обнаруживает стремление подобного рода, например; в тех случаях, когда он дает показание о факте, который поразил его или «навязывается» его сознанию и напрашивается на полотно или на бумагу; когда он «признается» или

* В недавно напечатанной статье Кемзис предлагает свою группировку разновидностей «знания, лежащего в основе показаний вообще и ложных показаний (Lügen) в особенности»; но, полагая в основу своего деления истинное (richtige), ошибочное (falsch) знание и совершенное отсутствие знания в связи с уверенностью субъекта, что его знание истинно, ложно, сомнительно и т. п., автор статьи едва ли достаточно различает установление познавательной ценности показания от его генезиса; он также пренебрегает различием между импульсивными и волевыми показаниями, на мой взгляд, весьма важным для изучения их генезиса, хотя и говорит, например, о воле «zur Unwahrheit», преувеличивает значение уверенности и т. п., которая скорее оказывается результатом оценки, какой показывающий подвергает свое показание, чем фактором его образования; в результате автор получает довольно искусственное деление показаний, в котором он, не вполне выяснив основные виды правдивых и неправдивых показаний, дробит их на мелкие разновидности, числом до 27; см. *F. Kemsies*, Zur Einteilung der Lügen und Aussagen в Zeit. für Pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene, VIII Jahrg., Berl., 1905, SS. 183–192. Ср. еще ниже.

«сознается» в чем-либо, в особенности, если его «признание» или «сознание» говорит против него и т. п.* В «дневниках», например, такая потребность обнаруживается нередко: составитель дневника стремится объективировать состояния своего сознания, высказаться, «поверить свои тайны бумаге», записать некоторые факты скорее для себя, чем для публики, и т. п.

Верные показания находятся, конечно, в зависимости от степени знания субъекта, от тех эмоций, которые он более или менее ярко переживает в связи с объектом своего наблюдения, и т. п.; но такие показания зависят и от свойств объекта: показания об отношениях в пространстве, например, вернее показаний о действиях (во времени?); показания о лицах (но не о личных их признаках) и о форме предметов также более пригодны, чем показания о их числе и, в особенности, о их окраске; показания о других свойствах отличаются, судя по некоторым опытам, сравнительно большей верностью, чем полнотой, и т. п.**

Само собою разумеется, что верные показания о сложных исторических фактах образуются и под влиянием многих других условий.

Верные показания, например, могут иметь различные оттенки в зависимости от того рода исторических фактов, о которых они делаются. Факты, которые, при относительно меньшей сложности, отличаются большею яркостью индивидуальных особенностей и резче выделяются, больше привлекают к себе внимание свидетеля и побуждают его высказаться, не давая ему времени одуматься, внести в их изображение свое толкование, переработать свои впечатления о них, и т. п. Выдающиеся личности, например, Карл Великий, Людовик Толстый[327] и др. скоро находят своих биографов в лице Эингарта,

* См. выше сс. 632–633 <Т. 2. С. 253–254>, прим. *Дж. Стифен*, Очерк доказательственного права, пер. П. Люблинского, сс. LXXXVIII–LXXXIX, 42 и сл.

** *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, в Beiträge, II Folge, SS. 13, 14. *Его же*: Die Aussage и проч. SS. 32, 34, 49–52, 87; *A. Binet*, La science du témoignage, в «L'Année psychologique», t. XI. Par., 1905, p. 133; ср. с. 687. Ввиду того, что малые количества предметов (например: 2–3) могут восприниматься непосредственно, ошибки в показаниях о них могут иметь и качественный, а не часто-количественный характер; см. *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, в Beiträge, II Folge, S. 8. Ошибки в отождествлении личности не редки, пример чего см. у *M. Lailler et H. Vonoven*, Op. cit., pp. 73–80; под «признаками» лица разумеют сведения о внешнем его виде, костюме, позе, росте, облике и т. п.; см. *J. Larguier des Bancels*, Op. cit., ib. pp. 219, 224–225, 226–227.

Сюжера[328] и др. Внезапно случающиеся события также не позволяют свидетелю подойти к ним с заранее подготовленной точки зрения или теории, что соответственно отражается и на его показаниях: они имеют сравнительно менее искусственный характер и большею частью явно отличаются от присоединенных к ним размышлений, нравоучений и т. п. Анналы монастыря св. Аманда (St. Amand) и другие, возникшие с конца VII-го века из приписок к пасхальным таблицам, например, содержат немало таких показаний: они обыкновенно упоминают о важнейших «событиях каждого года»; об избрании и смерти аббатов монастыря, поступлении реликвии и проч.; о разных бедствиях, неурожаях, эпидемиях, пожарах и наводнениях; о землетрясениях, проливных дождях, бурях, холодах и засухах; о затмениях, северных сияниях и т. п.; наконец, в связи с интересами данного монастыря, о некоторых фактах, касающихся фамилии его покровителей, их рождениях и смертях, о их военных предприятиях и т. п.* В позднейшее время аналогичные показания о выдающихся современных событиях стали появляться в «реляциях», газетах и т. п.: в 1605-ом году, например, антверпенский типограф Вергевен получил от эрцгерцога Альберта привилегию на то, чтобы «печатать и гравировать на дереве или металле и продавать все новости о победах, осадах и взятии городов». Факты более или менее обычные, например, нравы, обычаи, учреждения и т. п., напротив, менее приковывают к себе внимание привыкшего к ним свидетеля и часто упоминаются мимоходом, как нечто естественное, само собою разумеющееся или просто подразумеваются. Составители житий, например, Иона в своей биографии св. Колумбана и другие агиографы позднейшего времени, между прочим, сообщают ценные сведения о топографии данной местности, нравах ее обитателей, их культуре и т. п.

Показания о сложных исторических фактах могут оказаться тем более верными, чем более свидетель сам испытал их или сочувственно переживал их и чем менее он скрывает свою «симпатию» (в широком смысле) к тем людям, через посредство которых факт совершился, к их действиям, к достигнутым ими результатам и т. п.: в таких случаях он может инстинктивно вскрыть в своем показании внутреннюю психическую сторону факта. В своих мемуарах любознательный С.-Симон, например, обнаруживает большое чутье людей; он

* *A. Molinier*, Les sources etc., t. V, pp. XXVII–XXX и LVI; cf. pp. LXXXI–LXXXII.

быстро и верно распознает их, чувствует в одном — человека высоко честного, в другом — глубокого лицемера, схватывает иногда тон и даже стиль того лица, о котором он пишет, большею частью передает читателю верное впечатление того, что он воспринял из придворной жизни времени Людовика XIV-го, и т. п.*

В образовании таких показаний инстинктивная потребность высказать истину, вероятно, играет известную роль, хотя, разумеется, может соединяться и с другими факторами, обусловливающими возникновение волевых показаний, известий и т. п.

Нельзя упускать из виду, однако, что импульсивные показания в действительности редко оказываются вполне верными. В самом деле, свидетель часто невольно говорит неправду; его показание обыкновенно содержит случайные ошибки, т. е. оказывается в некоторой мере неверным; такие ошибки легко ускользают от его внимания, но знание их необходимо для того, кто желает определить ценность его показания**.

Ввиду того, что без субъекта не может быть перцепции[329] объекта, что последняя есть акт индивидуального его сознания и, значит, подчинена его пределам и в известной мере отражает в себе его индивидуальные особенности, колебания и т. п., можно сказать, что свиде-

* Mémoires du duc de St.-Simon, t. I, Par., 1856, pp. VI–VII, XXIV.

** *W. Stern*, Zur Psychologie der Aussage, в Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. XXI (1902) SS. 315–371. Ср. *его же*: Die Aussage и проч., SS. 86–112. Автор приходит к заключению, что ошибочность свободно данного показания (spontane Bericht), т. е. отношение ошибочных данных к совокупности положительных данных показания в среднем составляет около 6% и считает возможным признать «постоянство» такой «средней ошибки». В своей работе, посвященной тому же предмету, Врешнер приходит к заключению, что число ошибок, обнаруживающихся в показании о виденном на картине, значительно больше того числа, которое было принято Штерном; см. *A. Wreschner*, Zur Psychologie der Aussage, в Archiv für gesammte Psychologie, Bd. I (1903). S. 174 и др. Ср., впрочем, ниже упоминаемые Beiträge, II Folge, S. 9; *J. Larguier des Bancels*, La psychologie judiciaire. Le témoignage, в «L'année psychologique», Par., 1906, pp. 157–233. Beiträge zur Psychologie der Aussage издаются с 1903 г., под редакцией L. W. Stern'a, сборник: «Проблемы психологии» — под ред. О. Гольдовского, В. Потемкина и И. Холчева. В. I: «Ложь и свидетельские показания», М. (без года), и др. До сих пор, однако, Бинэ, Штерн и другие исследователи, к сожалению, сосредоточивали свое внимание преимущественно на показаниях об объектах, существующих в пространстве, а не следующих во времени; между тем показания последнего рода всего более интересуют историка. Ср. «Проблемы психологии», сс. 62–64, 82, 112, 157, 163, 249–258; *W. Stern*, Die Aussage и проч., SS. 5–6.

тель, при совершении такого акта, не застрахован от ошибок; вместе с тем при восприятии сложного объекта он едва ли может обойтись без памяти, далеко не всегда, однако, надежной; следовательно, и при рассмотрении источников верных показаний свидетеля можно прежде всего различать «ошибки восприятия» от «ошибок памяти»; они, конечно, часто переплетаются между собою и осложняются действием его воображения, а также другими состояниями его сознания*.

В сущности, наблюдатель, даже хорошо подготовленный, не в состоянии сразу обнять в своем чувственном восприятии сложный факт во всей совокупности его элементов: в каждый данный момент он перцепирует их не вполне и не в одинаковой мере, а для апперцепции каждого из них сверх того нуждается в известном усилии внимания; но он часто не в силах удержать апперцепцию на каждом из них: внимание его легко отвлекается другими одновременно действующими раздражениями или «упорствующими» представлениями, аффектами и т. п.** Итак, можно сказать, что наблюдатель испытывает в своем чувственном опыте не более или менее сложный факт, а апперцепирует только его элементы, не всегда находится на надлежащем расстоянии от того, что он воспринимает, и редко может или умеет всецело отдаться длительному его восприятию. При таких условиях, его ошибки состоят скорее в пропусках того, что дано в действительности, чем в прибавках к тому, из чего она слагается; впрочем, принимая одно за другое, он может подвергнуть ее и некоторому искажению.

Более или менее удачно связывая данные своего восприятия, свидетель подвергает, однако, свое построение схематизации, отдаляющей его от действительности; он легко может обнаружить и некоторый произвол в упрощении действительного факта, в выборе и в сочетании его признаков: ведь свидетель, ясно не сознающий критериев такого упрощения, может выбрать несколько случайных элементов и, произвольно изменяя положение хотя бы одного из них, уже нарушает смысл целого.

* *J. Sully*, Les illusions des sens et de l'esprit, 2 éd., pp. 7, 12, 191.

** *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, в Beiträge, II Folge, S. 12. Присяга, между прочим, повышает внимание, с которым показание дается, а данное под присягой показание оказывается значительно более достоверным, чем показание, данное без присяги; Штерн приходит к выводу, что ошибочность показания, данного под присягой, падает с 19% до 7%; см. ib., S. 9; ср. S. 23.

Наконец, такое упрощение часто благоприятствует появлению дальнейших ошибок, вызванных какой-либо привычной ассоциацией или какой-либо временно охватившей сознание мыслью: свидетель смешивает, например, образ того, кто действовал, с образом того, кто мог действовать, или полагает, что он уже испытал то, что испытывает, и т. п.*

Такие ошибки наблюдаются, конечно, и в показаниях, имеющих отношение к историческим событиям, или продуктам, если только можно проверить их другими данными. Английский государственный деятель и писатель Рэлей (Raleigh), заключенный в Тоуэр вскоре по вступлении на престол короля Иакова I, например, сидел однажды у окна своей тюрьмы и внимательно наблюдал за кровавым столкновением, происходившим в одном из ее дворов. На следующий день Рэлей принимал одного из своих друзей и рассказал ему то, что случилось на его глазах; каково же было его удивление, когда его гость, лично участвовавший в происшествии, доказал ему, что дело происходило совсем иначе. Предание повествует, что Рэлей, пораженный своим открытием, бросил в огонь только что оконченную им последнюю часть своей всемирной истории: ему казалось, что, раз он столь ошибся, давая показание о том, что он видел своими глазами, он ничего не знает из того, что он написал на основании чужих показаний. Подобные случаи бывали, конечно, и с позднейшими наблюдателями: Тэн, один из выдающихся французских критиков, например, подробно описывая впечатления, вынесенные им при созерцании мадонны Рафаэля, известной под наименованием «del Granduca» (в галерее Питти), между прочим уверяет, что голова ее покрыта «длинным зеленым покрывалом»; но стоит только взглянуть на самую картину для того, чтобы убедиться, что Тэн дал ошибочное показание о его окраске**.

В сущности, всякое наблюдение над сложным фактом основано, однако, не на одном только чувственном восприятии: оно нуждается еще в памяти; наблюдатель удерживает в памяти свое представление о факте, хотя бы на самый краткий промежуток времени, прежде чем дать устное или письменное показание о нем; но свидетель далеко

* *M. Lailler et H. Vonoven*, Op. cit., pp. 74; о парамнезии см. исследования Рибо, Сольe, Виньоли, Грассе и др.

** *A. Aulard*, H. Taine, historien de la Révolution française, Par., p. 13.

не всегда находится в условиях, благоприятствующих памяти, например: более или менее яркого переживания того, что запоминается, сочувствия к нему и т. п.; притом, разве только научно настроенный наблюдатель производит свои наблюдения, пользуясь строго установленным методом и более или менее совершенными орудиями, и сейчас же по наблюдении записывает его при помощи системы обозначений, смысл которых точно установлен и всеми понимается одинаково; обыденный наблюдатель, напротив, часто воспроизводит то, что он наблюдал, лишь по истечении некоторого промежутка времени, по памяти, а иногда и довольно случайно. Следовательно, такой наблюдатель легко впадает в ошибки, которые состоят в забвении воспринятого, т. е. в понижении энергии представления, в постепенной утрате свежести и ясности образов, в пропусках, которые восполняются преимущественно под влиянием воображения, и т. п. Свидетель, например, плохо помнит или забывает мимолетное представление или то, что уже поблекло; он легко спутывает представления, потерявшие свежесть или утратившие некоторые черты, в особенности, если связь между этими представлениями не успела еще окрепнуть или уже разлагается; он еще легче упускает из виду такую связь, если одно из них уже исчезло, и, благодаря более привычной для него ассоциации, произвольно заменяет одно из ранее связанных между собою представлений с другим, сходным или смежным с удержанным в памяти представлением или даже с тем, которое он сейчас не может точно припомнить, и смешивает его с подставным; следовательно, он принимает одно из них за то, чему оно, в сущности, не соответствует и таким образом впадает в ошибку; продолжая упрощать удержанное в памяти и выбирать из него характерные признаки, он еще более усиливает неверность показания и т. п.*

* *A. Binet*, Op. cit., в «L'Année psychologique», 3-e an., P. 1897, pp. 306–312; автор экспериментально доказывает, что описание факта по памяти обыкновенно менее полно, чем описание его в «натуре»; такое явление обнаруживается и в «упрощении» действительности, и в подборе признаков, нужных для ее характеристики; он приходит к заключению, что ребенок в таких случаях забывает $^1/_3$ «предметов», обративших на себя его внимание в натуре. Разнообразные примеры ошибок, вызванных забвением и проч., см. у *З. Фрейда*, Психопатология обыденной жизни, рус. пер. В. Медема, М. 1910 г. Односторонняя теория автора вызвала возражения П. Раншбурга; см. *P. Ranschburg*, Das kranke Gedächtniss, Lpz., 1911, SS. 6–8, 14–22, 27–31 и др.

Заблуждения памяти, конечно, тем более возможны, чем больше промежуток времени, протекший между восприятием предмета или факта и показанием нем. Такие заблуждения заметны, даже если этот промежуток равен двум секундам и в особенности, если ощущения и восприятия, наполняющие интервалы, относятся к тому же самому виду ощущений и восприятий, какие мы стремимся сохранить в памяти. Само собою разумеется, что ошибочность показаний возрастает по мере увеличения того же промежутка, но, в зависимости от потери впечатлений, едва ли не идет все более медленным темпом. Судя по расчетам одного из исследователей касательно показаний заранее предупрежденных свидетелей, например, число сделанных ими ошибок возросло на 1,5% в течение 5 дней, на 4,3% в течение 14 дней, на 6,0% в течение 21 дня и т. п. Время влияет и на полноту показания, и на его верность: они постепенно убывают, впрочем, не всегда в одинаковой мере*.

Вышеуказанные ошибки получают дальнейшую спецификацию в зависимости от разновидностей памяти: свидетель может обладать смешанным или преимущественно тем, а не иным видом памяти, например, зрительной, слуховой, моторной и т. п. и, значит, не всегда в состоянии исправлять ошибки одного рода памяти при помощи другой ее разновидности, тем более, что последняя может оказаться менее пригодной для воспроизведения припоминаемого объекта**. Свидетель, который имеет, например, преимущественно слуховую, а не зрительную память, т. е. плохо воспроизводит данный объект

* *J. Larguier des Bancels*, Op. cit., pp. 174, 206–208. Судя по опытам Штерна «неверность» показания, т. е. процент ошибок в нем возрастает даже довольно равномерно: относительно наблюденных им случаев он пришел к заключению, что «неверность» показания увеличивается ежедневно на 0,33%; ср. «Проблемы психологии», сс. 47, 83, 111, 243. Следует иметь в виду, однако, что показание, содержание которого беднеет под влиянием времени, может сохранить то, что в нем более достоверного, и утратить лишь то, что уже в самом начале представлялось более или менее смутно и показание о чем не обладало достоверностью; в таком смысле, пожалуй, можно сказать, что верность показания может даже возрасти, но, разумеется, лишь на время, по прошествии которого и она все же падает; уверенность в верности хотя бы и неверного показания, по-видимому, не находится в столь тесной и прямой зависимости от времени, по крайней мере, в тех пределах, какие принимались до сих пор при производстве опытов. Ср. еще *P. Ranschburg*, Op. cit., SS. 36, 49, 74 ff.

** *Th. Ribot*, Les maladiés de la mémoire, p. 110.

или факт во всей полноте его линий, формы, освещения и красок, и, значит, получает лишь относительно бледный образ действительности, стремится восполнить его при помощи разных суррогатов, в особенности слуховых впечатлений, к которым можно причислить и слова, более или менее тесно ассоциируемые с письменными их обозначениями; но, пользуясь слуховыми впечатлениями взамен зрительных, он, конечно, может впасть в новые погрешности. Следовательно, хотя вышеуказанные ошибки памяти у одного и того же лица иногда оказываются ошибками памяти одного рода и могут быть исправлены памятью другого рода, но они часто могут встречаться в зависимости от ошибок то одного, то другого рода памяти и соответственной их замены.

Следует заметить, что показание об историческом факте основано не только на памяти, но на воспоминании: субъект, дающий показание об историческом факте, должен не только знать, что он его испытал где-то и когда-то, но должен помнить ту совокупность представлений, ту обстановку, словом, то конкретное целое, в котором вспоминаемый образ был действительно испытан им и, значит, то положение, которое соответствующий ему конкретный факт занимал в пространстве и во времени, т. е. в данном коэкзистенциальном или эволюционном целом. Естественно, что при воспоминании субъект легко может поместить факт, удержанный в памяти, не в то положение, какое он занимал в данном целом.

Все сказанное, конечно, объясняет происхождение тех ошибок, которые делаются и в показаниях об исторических фактах, в особенности при воспоминании о них. Достаточно припомнить, сколь долгий промежуток времени иногда протекает между моментом восприятия исторического факта и показанием о нем, например, при составлении мемуаров и т. п., чтобы прийти к заключению, что в них ошибки подобного рода могут очень часто встречаться. Ксенофонт[330], например, писал свои воспоминания о Сократе много лет спустя после его смерти, что и отразилось на их содержании: автор воспоминаний указывает, между прочим, на такие поводы к беседам, которые относятся к позднейшему времени, когда философа уже не было в живых. В своих мемуарах Меттерних описывает некоторые факты, случившиеся лет за сорок до их составления; обладая довольно слабой памятью, он при описании фактов, даже позднейших, впадает в целый ряд ошибок; ввиду того, однако, что он составлял свои записки

в разное время, и степень неверности его записей, в той мере, в какой она была обусловлена последним, оказывается различной: составитель мемуаров делал более или менее значительное число ошибок в некотором соответствии с тем промежутком, который отделял время, когда факты случились, от времени, когда он записывал их. В записках Меттерниха можно встретить случаи ошибочного размещения фактов и в пространстве, и во времени: упоминая, например, о своем пребывании в Страсбурге в 1788-ом году, он рассказывает, что Бонапарт только что оставил город; но известно, что Бонапарт в 1788-ом году стоял со своим артиллерийским полком в Оксонне (Auxonne), а о пребывании его в Страсбурге, хотя бы и в другое время, более надежных сведений не имеется; повествуя о своем учении в Майнце, законченном в июле 1792-го года, Меттерних уверяет, что студенты записывали лекции по республиканскому календарю[331], очевидно, забывая, что в то время во Франции еще не было ни республики, ни республиканского календаря, и т. п.* Свидетель, показывающий о сложном историческом факте, легко может, под влиянием вышеуказанных условии, так же исказить порядок, в каком моменты его следовали во времени, и таким образом уже придает ложную окраску историческому факту. В одном из наших губернских городов, например, собравшиеся 17 октября 1905 г. в здании земской управы подверглись нападению разъяренной толпы: она подступила к зданию, стала бросать камнями в окна и т. п. При допросе свидетелей разногласия в показаниях касательно последовательности только что указанных фактов не было: ввиду логически необходимой связи между ними, каждый из свидетелей утверждал, что сперва толпа подступила к зданию земской управы и затем стала бросать в нее камнями; но в числе фактов, происшедших во время нападения, судьи интересовались еще одним, а именно — выстрелом, сделанным из окна управы; они допрашивали свидетелей о времени, когда выстрел произошел: до бросания или после бросания камней. Последовательность, в какой эти факты случились, далеко не представляла такой строгой необходимости, какую легко было заметить в предшествующем случае: вы-

* *P. Bailleu*, Die Memoiren Metternich's, в Hist. Zeit., Bd. 44 (1880), SS. 228, 229, 230 и др. *A. Fribourg*, Op. pit., в Rev. de Synthèse hist., t. XII (1906), p. 274; автор сличил автобиографию, написанную Меттернихом в 1829, 1844 и 1852, с подлинными документами, письмами, реляциями и проч.

стрел мог произойти и до бросания камней, и после бросания камней, и нельзя было a priori, без ясного и точного воспоминания о случившемся, утверждать, что именно случилось раньше, а что позже; вместе с тем утверждение той, а не иной последовательности этих фактов, связывалось и с разным толкованием их значения: отвечая на выстрел бросанием камней, толпа оказывалась менее виновной, чем в противном случае. В самом деле, рассказывая о том, что произошло, свидетели впали в разногласие: одни показывали, что выстрел был сделан до бросания камней, другие, что он наступил после бросания камней; такие разноречивые показания, очевидно, получали разное значение и для суждения о степени виновности тех, которые были замешаны в дело. В результате расследования оказалось, однако, что истина лежала посередине: толпа бросала камни и до выстрела, и после выстрела.

Впрочем, при изучении заблуждений памяти и воспоминания следует иметь в виду и те ошибки, которые обнаруживаются под влиянием продуктивного воображения: оно порождает не столько пропуски в том, что дано в действительности, сколько прибавки и способствует ее извращению. Действительно, воображение может односторонне влиять на содержание воспоминания или искажать его точность, открывая широкий простор игре ассоциаций. Свидетель часто запоминает лишь то, что поразило его воображение; вместе с тем он испытывает естественную склонность, при помощи воображения, заполнить пробелы, образовавшиеся в его представлении о факте, и интерполирует данные своего чувственного восприятия продуктами собственной фантазии, которые он не различает, однако, от действительности или искажает ее*.

В самом деле, по мере того, как воспоминание о событии слабеет, свидетель, под влиянием фантазии, часто вносит в свое описание придуманные им дополнения, прикрасы, подробности и т. п. Такое обстоятельство чаще всего обнаруживается в том случае, если воспоминание не содержит точных указаний на конкретный факт во всей его полноте; утрачивая многое из испытанного, сам вспоминающий заполняет пробелы в схематическом и обезличенном образе конкретным содержанием, разумеется, придуманным им самим. На картинке с изображением переселяющегося живописца, которая служила для многих опытов над свидетельскими показаниями, например, изображены: дроги, на них диван, а на диване «жена живописца», переезжающая со всем своим домашним скарбом; один из опрошенных свидетелей, очевидно, помнил, что «она сидит на чем-то», но забыл на чем именно; желая восполнить образовавшийся таким образом пробел, он в своем показании заявил, что «жена живописца» сидит на «ящике» и т. п. Вместе с тем свидетель принимает иногда одни изображения за другие: летающий мяч — за солнце, кошку — за таксу или даже за голубя, а также увеличивает число воспринятых объектов, или сливает их; описывая, например, вышеназванную картинку, он говорит о двух лошадях вместо одной или представляет себе, положим, метлу, на которую надета корзина и насажен горшок, вместо метлы с корзиной и палки с горшком, и т. п.

Историк, разумеется, не может пренебрегать ошибками подобного рода: он постоянно должен иметь в виду те из них, которые возникают под влиянием воображения. Современный ученый, посетивший город Аделаиду, например, в следующих выражениях описывает его: «я видел у моих ног на равнине, прорезаемой рекой, город в 150 000 жителей, из которых ни один никогда не будет испытывать ни малейшего опасения относительно того, будет ли он есть три раза в день». В действительности, однако, оказывается, что город Аделаида построен на возвышенности, что нет реки, которая протекала бы сквозь город, что численность его населения в те времена едва ли превосходила 75 000 и что значительная его часть тогда именно была накануне голода*.

В некоторых случаях свидетель придает своему показанию особого рода субъективную окраску: он воображает себе, что он принимал более или менее деятельное участие в совершении факта, а не только наблюдал его. В особенно резкой форме такая подстановка обнаруживается у детей: один из исследователей в области экспериментальной детской психологии сообщает, например, сведения о четырехлетней девочке, которая без всякой критики смешивала воспо-

* *A. Pick*, Zur Psychologie der Confabulation; см. Neur. Centralblatt, XXIV Jahrg., 1905, SS. 509–516; автор называет конфабулацией — стремление заполнить пробелы памяти поддельными продуктами воспоминания, главным образом, стремление локализировать припоминаемые представления в пространстве.

* *N. Fisher*, Modern historians, в Fortnightly Rev., N. S. v. 56 (1894), p. 815; речь идет о Froude'e.

минание с фантазией и с большою уверенностью приписывала себе все переживания своего старшего, шестилетнего брата. Аналогичное явление не трудно наблюдать и относительно тех, которые преувеличивают свое значение на счет других; нечто подобное можно заметить и в показаниях исторических деятелей, например, Гвичиардини[332] или Наполеона I, вызванных, впрочем, и другими мотивами, благодаря которым их записи и получили ложный характер*.

В связи с только что перечисленными «ошибками памяти» или воспоминания, возникающими под влиянием воображения, можно указать и на такие, которые проистекают от инстинктивного стремления разума дополнить или объяснить данные опыта. В таких случаях свидетель выдает свое толкование факта за испытанный им действительно бывший факт. Свидетель видит, например, человека, сидящего за столом, но не то, на чем он сидит, и тем не менее, в показании своем говорит, что он видел человека, сидящего за столом на стуле; свидетель наблюдает, положим, трех людей, собравшихся вокруг стола и приступающих к обеду, причем один из них в вышеуказанном положении, другой сидит на скамье, а третий собирается занять стул, который стоит спереди у стола, но в своем показании о виденном говорит, что, соответственно числу обедающих, при столе было три стула; свидетель замечает собаку и оглядывающуюся даму, и превращает эти два ничем не связанные в действительности образа в яркую сцену нападения собаки на даму и т. п.**

Благодаря таким условиям, свидетель, сам того не замечая, легко переходит от простого констатирования испытанного им, к его объяснению или оценке, что, разумеется, может повести и к дальнейшим ошибкам в его показании: он смешивает иногда объяснение факта с его описанием; или обобщает частный случай, не имея на то достаточных оснований, и, таким образом, упускает из виду его индивидуальное значение; или сообщает иногда то, что должно быть или то, что обыкновенно делается, а не то, что было в действительности; или, подставляя свою одушевленность под данные положения и действия, вместе с тем подвергает их соответствующей оценке и т. п. В последнем случае свидетель нередко обнаруживает инстинктивное стремление и объяснить, и оценить факт, о котором он показывает: в описании, положим, иллюстрации к известной басне о крестьянине-земледельце и его детях, он рассказывает и о чувствах, волновавших их, импульсивно относится к ним с оттенком одобрения или порицания и т. п.* Само собою разумеется, что случаи подобного рода подстановок встречаются и в исторических источниках, например, в записках иностранцев: маркиз Кюстин[333], во время путешествия своего по России, присутствуя при совершении обряда бракосочетания, видел, как в то же время птица влетела в церковь, и, обобщив случайный факт, вывел из него то заключение, что в России существует «трогательный обычай» выпускать птиц во время совершения этого обряда, и т. п.

Впрочем, припоминание часто ассоциируется и с тем, а не иным субъективным чувством, которое заслоняет собою описание или объяснение факта и приводит к более или менее субъективной его оценке. Такие настроения заметны даже в простейших показаниях: те, которые, не без ударения, говорят, например, о выстроенной в их округе церкви, что она «большая» или «малая», или рассказывая о пожаре, называют его «ужасным» и т. п., уже привносят в свое показание субъективную оценку факта**; пострадавшие от какого-либо несчастного случая часто сводят свои показания о нем к «описанию борьбы личного чувства самосохранения с внезапно надвинувшейся опасностью», забывая упомянуть о многом, чего «несомненно, нельзя было не видеть или не слышать»; потерпевшие от преступления, в особенности те, которые и пострадали от него, «вполне добросовестно склонны преувеличивать обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав», и, значит, часто дают ошибочные показания; самая мысль о том, что могло бы произойти, уже влияет на наиболее впечатлительных из них и на качество сообщаемых ими сведений. Показания пострадавших о народных бедствиях, вроде, например, того извержения Этны, которое описано в Энеиде[334], или о кровопролитных сражениях, закончившихся, подобно известному сражению при Маренго 14 июля (н. с.)

* *C. und W. Stern*, Erinnerung, Aussage und Lüge, Lpz., 1909, SS. 103–107.

** *W. Stern*, Die Aussage проч., SS. 94, 98. «Проблемы психологии», сс. 163, 168.

* *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, ib. SS. 28–29; автор рассказывает, как студенты, знавшие, что нельзя уносить книги из семинарской библиотеки, засвидетельствовали, что один из них, при пользовании такой книгой, которую он унес с собою, будто бы положил ее на место. Ср. еще «Проблемы психологии», с. 149.

** *J. M. Chladenius*, Op. cit., SS. 120, 121.

1800 г.[335], паническим бегством пораженных, часто отличаются таким именно характером.

При изучении генезиса неверных показаний нельзя не принимать во внимание и свойств того объекта, о котором что-либо показывается: невольные ошибки чаще возникают применительно к тем, а не иным даже привычным объектам или фактам. Показания относительно некоторых предметов чувственного восприятия далеко не всегда надежны: выше мне уже приходилось указывать на то, что показания, касающиеся, например, чисел, и в особенности красок, заслуживают мало доверия; хотя они преимущественно основаны на данных чувственного восприятия, многие из них, в том числе и показания о признаках данной личности, тем не менее чаще показаний о других объектах страдают ошибками*. Само собою разумеется, что показания об объектах, в сущности, построяемых на основании принципа признания чужой одушевленности, а не одних только чувственных восприятий, еще чаще оказываются неверными, особенно если они касаются чужих настроений, внутренних побуждений тех, а не иных действий и т. п.: представляя себе настроение того лица, о котором он показывает, свидетель, в сущности, дает показание соответственно своему представлению о его одушевленности: он часто невольно вносит в свое показание о субъекте предполагаемый его тон, замалчивает или подчеркивает отдельные его выражения и таким образом уже несколько искажает действительность, а иногда подвергает ее и дальнейшим превращениям. В своих мемуарах впечатлительный С.-Симон, например, очень живо представлял себе тех людей, о которых он писал, но нередко в том именно, что его трогало и интересовало; отдаваясь своему влечению ярко изображать воспринятое, он впадал иногда в преувеличения, придавал слишком много ре-

* *J. Larguier des Bancels*, Op. cit. ib., pp. 224–225, 226–227. Показания количественного характера могут давать преувеличенные или преуменьшенные сведения об объективно-данном числе предметов в зависимости от его величины: показания, касающиеся малой протяженности (положим, пространства < 1 метра) и, в особенности малой длительности (положим, < 5 минут), обыкновенно выше действительности; показания, касающиеся относительно большой протяженности (например, > 4 метров) и большей длительности (например, > 10 минут), оказываются ниже действительности. Возможно, что аналогичные заключения позволительно было бы сделать и относительно показаний качественного характера, например, о степенях окраски, если бы они поддавались более точному измерению. Ср. выше с. 681 <Т. 2. С. 296>.

льефа и красок тому, что он описывал, наоборот, упускал из виду многое, что его слишком мало интересовало, представлял иногда некоторые факты в ложном освещении, в особенности факты позднейшего времени, века Вольтера и т. п.*

В связи с только что указанными соображениями не мешает принимать во внимание и то, дает ли свидетель показания о повторяющемся или о единичном факте. В обыденной жизни немало предметов и фактов, которые повторяются и которые, казалось бы, можно подвергать целому ряду наблюдений. В таких случаях, однако, повторяемость объекта далеко не всегда соответственно повышает ценность показания: человек, часто воспринимавший данный объект, перестает живо интересоваться им, и, если он показывает о нем после того, как внимание его к данному объекту уже притупилось, он легко отдается склонности показывать о нем по памяти, даже если наблюдает его в действительности, и может допустить много пробелов или впасть в целый ряд ошибок**. С такой точки зрения и показания источников о нравах, обычаях страны и т. п. могут вызывать некоторые сомнения. Показания о единичных фактах часто еще менее надежны. Всякому известно, по собственному опыту, что, при некоторых условиях, труднее описать конкретный факт, чем высказать о нем несколько общих замечаний; что запоминание имени собственного требует больших усилий памяти, чем запоминание общего, часто употребляемого термина и т. п. Такие затруднения, разумеется, возрастают при наблюдении над единичными скоропреходящими фактами: оно требует особой напряженности внимания; притом, необычайные факты далеко не всегда хорошо запоминаются в подробностях, так как представления о них труднее ассоциировать с обычными представлениями; описание фактов подобного рода, а тем более целого ряда быстро сменяющихся событий обыкновенно страдает неточностями, в особенности если такие события имеют исторический характер. В своих «мыслях и воспоминаниях», например, Бисмарк не всегда точно воспроизводит даже те факты, быструю смену которых

* Mémoires du duc de Saint-Simon. I, pp. VII–VIII, XVIII–XIX.

** *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche; ib. S. 15. *A. Fribourg*, Nouvelles expériences sur le témoignage, в Rev. de Synthèse hist. t. XIV (1907), pp. 162–165; автор ссылается на опыты Клапареда, но не дает объяснения неудовлетворительности таких показаний.

он сам пережил в сравнительно недавнее время*. Показания об исключительных и внезапных фактах, выходящих из ряда обыкновенных, могут страдать ошибками и потому, что они слишком «трогают» свидетелей. Под влиянием, например, чувства ужаса или отвращения, заполнившего их души, присутствующие испытывают некоторую связанность внимания и не всегда удовлетворительно излагают то, что было в действительности. Нечто подобное заметно хотя бы в рассказах очевидцев об известном убийстве купеческого сына Верещагина, происшедшего в Москве в день вступления французов, в 1812-м году: «последующий ужас притупил их внимание к предшествующему»; Дмитриев, Обрезков, Бестужев-Рюмин и другие различно рассказывают о том, как Ростопчин[336] приказал «рубить» Верещагина, хотя согласно повествуют о последовавшей за тем сцене расправы толпы с указанным ей «изменником»**.

Нельзя не заметить, что эти источники невольных ошибок осложняются еще другими, связанными со способами выражения показаний: пробуя выразить то, что он испытал, свидетель часто затрудняется точно и ясно описать даже сравнительно простой объект своего восприятия и, пользуясь жестами, словами или письменными знаками, имеющими более или менее общее значение, для изображения его индивидуальных особенностей, нередко впадает в ошибки; свидетель, кроме того, далеко не всегда вполне владеет речью, заменяет одно слово другим, противоположным ему по смыслу, не всегда умеет высказать то, что он испытал, слишком мало обладает искусством выражать свои мысли, не совсем удачным подбором слов и оборотов речи, метафор и т. п. вызывает в слушателе или читателе ложные впечатления, допускает обмолвки или описки, и т. п. Такие ошибки еще более осложняют критику показаний, примеры чего были уже приведены выше при изложении критики поправок исторических текстов. Легко дополнить их ссылками и на другие случаи, возникающие хотя бы при обмолвках или описках, между которыми немало общего. Показывающий может, например, под влиянием предшествующего звукового представления исказить последующее и сообщает, положим: «это

* *H. Ulman*, Kritische Streifzüge in Bismarks Memoiren, в Hist. Vierteljahrschrift, 1902, SS. 73, 76. Ср. в дальнейшей литературе *G. Wolf*, Einführung, S. 392.

** *А. Кони*, Свидетели на суде, в сборнике «Проблемы психологии», сс. 129–132; ср. в том же сборнике с. 164.

было на 7 год (правления) императора Фоки[337], в 607-м году», вместо того, чтобы сказать «в 609-м году»; или он смешивает данное словесное представление с другими, ассоциированными с ним, и, желая, положим, выразить, что чешская королевская корона была перенесена в Чехию, заявляет: «sie wurde nach Bro... Böhmen geführt», т. е. вероятно, смешивает три словесных представления: «Böhmen», «Prag» и «Krone» и таким образом, собираясь начать с «Böh...», ошибочно сочетает звук «B» со звуком «r» (из «Prag») и со звуком «o» (из «Krone»), что и ведет к ошибочному «Bro...», вместо «Böh...» и т. п.*

При изучении образования импульсивно-неверных показаний нельзя не принять во внимание еще одного момента: повторение их иногда обусловливает и более заметное действие вышеуказанных факторов их образования.

В случае повторения показания можно наблюдать, например, явления, связанные с извращением его содержания под влиянием воображения: повторяющий показание обнаруживает склонность к его упрощению или, в особенности, к его преувеличению. В последовательных своих показаниях о вышеназванной картинке с изображением переселяющегося живописца один и тот же свидетель сообщает: что живописец «идет» (перед дрогами), что он «идет большими шагами», и что он «идет спешными шагами»; в других случаях свидетель, при повторении показания, удваивает один и тот же предмет или уснащает свой рассказ новыми, придуманными им подробностями: в вышеприведенном примере свидетель, повторяя свое показание о той же картинке, говорит уже не о «воротах», а об «узких воротах» и т. п. При повторении своего показания свидетель часто уклоняется, однако, от вторичного воспроизведения того, что он испытал, и, в сущности, ограничивается повторением уже ранее сказанного: при-

* *R. Meringer und K. Mayer*, Versprechen und Verlesen, Stuttgart, 1895, SS. 48, 69, 151, 153. Авторы указывают и на другие виды ошибок, наблюдаемых при оговорках, но менее останавливаются на описках; о них см. с. 580 <Т. 2. С. 209–210>. Ср. еще *З. Фрейд*, Op. cit., рус. пер., сс. 37–69. Свидетель может также употреблять в своем показании более или менее привычные и условные выражения своих мыслей, например, «круглые цифры», или приветствия в начале письма, уверения в «совершенном уважении и преданности» в его конце и т. п.; при «буквальном» понимании таких выражений, конечно, легко впасть в ошибку; но она совершается скорее истолкователем показания, чем самим показывающим; см., например, *R. Hirzel*, Über Rundzahlen, в Berichte über die Verhandl. der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.-Cl., Bd. 73 (1885), SS. 3–4, 69–70.

поминая не то, что он испытал при восприятии факта, а то, что он сказал, он даже смешивает его со своим истолкованием. С некоторым трудом воспоминая, например, слова, сказанные или написанные им самим, субъект легко может придать им иное значение: один из новейших исследователей сообщает, например, что свидетель, повторяя свое показание о виденной им картинке с изображением переезжающего на другую квартиру живописца, понял собственное свое выражение, что последний выезжает («zum Thore hinaus»), не в фигуральном, а в буквальном смысле: он заявил, что живописец «проезжает сквозь узкие ворота». Случаи подобного рода могут встречаться и в области исторических показаний: Кларендон[338], например, показывает о некоторых фактах и в своей истории английской революции, и в своей автобиографии; но последняя написана лет двадцать спустя после составления истории и вообще гораздо менее достоверна: рассказ хотя бы о парламенте 1640-го года, сравнительно краткий в «истории», значительно длиннее в автобиографии и полон ошибок*.

Само собою разумеется, что можно было бы значительно расширить обозрение факторов, влияющих на образование импульсивных показаний, если иметь в виду, что они действуют различно в зависимости от антропологического типа, темперамента и характера лица, которое дает показание, его возраста, пола, социального положения и т. п. Исследователь не может упускать из виду, например, что судя по некоторым опытам, впрочем, едва ли достаточным, женщины, пожалуй, «менее забывают, но больше искажают», чем мужчины; или что они более мужчин преувеличивают промежуток времени, которое кажется им длиннее действительно протекшего, и т. п.: с такой точки зрения он не без некоторых предосторожностей относится, положим, к мемуарам г-жи Ролан[339] и т. п.**

Итак, свидетельское показание, данное более или менее импульсивно, может оказаться верным или неверным. В обоих случаях воля свидетеля не имеет, однако, решающего значения для образования самого показания: он высказывает иногда ту правду, которую ему хотелось бы скрыть; и, наоборот, он ошибается в том, что ему хотелось

* *C. Firth*, Clarendon's Rebellion, в Engl. historical Review, v. XIX (1904), pp. 260–262.

** *W. Stern*, Wirklichkeitsversuche, ib., SS. 24, 25. *Его же*: Die Aussage и проч., S. 131. «Проблемы психологии», сс. 118 и 190; ср. с. 249.

бы выразить безошибочно; он делает такие ошибки помимо того, хочет ли он сказать правду или неправду: и в том, и в другом случае, например, он может впасть в одну из вышеуказанных погрешностей.

Волевое показание свидетеля также возникает, конечно, под влиянием вышеуказанных факторов; но оно характеризуется главным образом тесной его зависимостью именно от того, хочет ли свидетель сказать правду или хочет сказать неправду. В обоих случаях историк исходит, разумеется, из данного показания: рассуждая о том, хотел ли свидетель сказать правду или не хотел, он, согласно с вышеуказанными принципами, не отождествляет такого суждения с суждением о том, хотел ли свидетель дать показание или не хотел, и принимает, что свидетель свободно дал показание, но намеревался сказать в нем правду или неправду; с такой же точки зрения историк, очевидно, не может исходить из предположения, что свидетель воздержался от показания, но может обсуждать между прочим и значение отрицательного показания свидетеля, заявляющего, что он не может сказать правду, что он ничего не знает о данном факте, противопоставляет его неправдивому показанию о том же факте и т. п.

Итак, принимая во внимание вышеприведенные соображения о том, что свидетель может знать истину или может не знать истины, легко получить четыре разновидности волевых показаний, имеющих разное познавательное значение: свидетель хочет сказать правду, зная истину; или он хочет сказать правду, не зная истины; или он хочет сказать неправду, зная истину; или он хочет сказать неправду, не зная истины*. Следовательно, принимая во внимание одни только свободно данные показания и различное их значение в зависимости от знаний и воли свидетеля, можно предложить и соответствующую

* *P. Laplace*, Oeuvres, t. VII, Par., 1886, p. 455; здесь автор делит свидетельские показания на такие, в которых «le témoin ne trompe point et ne se trompe point»[340] и т. д.; ср. *S. F. Lacroix*, Traité élementaire du calcul des probobilités, 4 éd., Brux., 1835, p. 234. Нельзя, однако, принять схему Лапласа–Лакруа без существенных оговорок, сделанных выше, в тексте: следует относить ее не к свидетельским показаниям вообще, а преимущественно к волевым показаниям, и, при историко-критическом разборе их, понимать истину в смысле фактического ее значения, в смысле того, что должно быть высказано о данном факте для того, чтобы показание получило такое же значение; да и «незнание» свидетеля приходится принимать условно: ведь если «свидетель» сам действительно ничего не знает о факте из данных собственного восприятия, показание его, собственно говоря, нельзя назвать свидетельским; ср. выше замечания о понятии «свидетель» и ниже.

их группировку. Если свидетель хочет сказать правду, зная истину, показание его правдиво. Если свидетель хочет сказать правду и, не зная истины, впадает в ошибки, показание его ошибочно. Если свидетель хочет сказать неправду, зная истину, т. е., в сущности, не хочет сказать правду, показание его ложно. Если, наконец, свидетель хочет сказать неправду, не зная истины в вышеуказанном смысле, т. е. оказывается, в сущности, мнимым «свидетелем» и, например, выдает придуманный им «факт» за действительно происшедший, показание его лживо.

Во всех этих случаях, «истина» понимается так же, как и в предшествующих, т. е. в объективном ее значении; если же придавать ей субъективный смысл, т. е. принимать во внимание «уверенность» самого свидетеля в том, что он знает истину, хотя бы он не знал ее, или, что он не знает истины, хотя бы он знал ее, то можно свести такие случаи на разобранные выше импульсивные показания. Если, например, свидетель, не желающий сказать правду, говорит правду, которой сам он, однако, в качестве таковой, «не знает», по крайней мере в момент показания, его показание можно, кажется, сблизить с инстинктивно-верным показанием; и, наоборот, если, свидетель воображает, что он «знает» истину, хотя бы он не знал ее, естественно ставить в связь его показание со случайно ошибочным неверным показанием. Следовательно, в дальнейшем рассмотрении генезиса волевых показаний достаточно иметь в виду понятия знания или незнания истины в объективном ее значении, указанном выше*.

В зависимости от предлагаемой группировки волевых показаний, историк, при изучении их генезиса, пытается с генетической точки зрения, объяснить правдивость или неправдивость каждого из них; в большинстве случаев он, однако, имеет в виду не столько генезис правдивого, сколько генезис неправдивого, т. е. ошибочного, ложного или лживого показания.

Впрочем, теоретическое различение вышеуказанных разновидностей показаний далеко не покрывает всех их оттенков: одно и то же показание может обнаружить различные свойства и, в таком случае,

* См. выше с. 707 <Т. 2. С. 317> прим. Само собою разумеется, что с этической, а не чисто познавательной точки зрения достаточно наличности намерения солгать, для того, чтобы признать сказанное ложью; с последней точки зрения и изучение генезиса показаний может получить иное направление.

причисляется к той, а не другой разновидности лишь по преобладанию одного из них, или признается смешанным и т. п. Тем не менее, при изучении генезиса волевых показаний можно различать правдивые показания от неправдивых, т. е. ошибочных, ложных и лживых, и остановиться на рассмотрении приемов исследования генезиса каждой из этих разновидностей в отдельности.

Вообще, для того, чтобы выяснить генезис правдивого показания, нужно принять во внимание, хотел ли свидетель, знающий истину, сказать правду.

В том случае, если свидетель хочет сказать правду, его показание может возникнуть в зависимости от довольно разнообразных мотивов. Главнейшие из них нельзя не отметить, хотя бы в самых общих чертах, так как они влияют на волевое решение свидетеля и соответственно отражаются на общем состоянии его сознания, на его интересе к объекту, на направлении и степени его внимания, памяти и т. п.

В числе мотивов, вызывающих правдивые показания, можно, конечно, прежде всего упомянуть о тех, которые имеют нормативный характер. Свидетель, сознающий ценность истины, добра и красоты, стремится сказать правду или потому, что испытывает к ней чисто теоретический интерес; или потому, что считает себя нравственно обязанным сказать правду; или потому, что ценит правдивость рассказа в качестве условия, нужного для того, чтобы придать ему красоту. В своей истории Фукидид[341], например, стремился к «отысканию истины», чувствовал на себе нравственную ответственность за произведение, которое он желал сделать «достоянием на веки», а не временной забавой для слушателей, и, в сущности, желал достигнуть художественной правды изображения прошлого*.

Впрочем, и утилитарные соображения также могут вызывать правдивые показания. Автор, пишущий о событиях, близких к нему по месту и времени своего происхождения, иногда не без влияния таких соображений обращается с ними менее произвольно, чем с события-

* *B. Бузескул*, Введение, сс. 51–52, 54–55. *E. Meyer*, Forschungen, Bd. II, SS. 362 ff., 379 ff. Хотя Фукидид и употреблял речи, но пользовался ими преимущественно в качестве художественного средства изображения для ознакомления читателей с общими условиями и обстоятельствами, при которых происходило действие, с мотивами действующих лиц и т. п. и отрицательно относился к преувеличениям и прикрасам.

ми, более отдаленными от него по месту и времени. Тацит, например, старается, по возможности, получить больше сведений об изображаемых им фактах и чаще приводит доказательства в пользу их реконструкции, чем его предшественники: такая обстоятельность, вероятно, объясняется тем, что Тацит писал о людях, сыновья и внуки которых были еще живы, и о событиях, которые еще составляли предмет споров для его современников*. Свидетель, которому выгодно дать правдивое показание, конечно, по возможности, стремится сказать правду; с такой точки зрения, например, показания, цель которых и состоит в том, чтобы сделать какой-либо факт общеизвестным, положим, официальные сообщения об объявлении войны или о заключении мира, представляют значительную степень правдивости. Личная выгода также может, конечно, порождать правдивые показания: Талейран[342], например, правдиво рассказывает о той роли, какую он играл на Венском конгрессе[343], так как, благодаря ей, он мог представить себя в самом выгодном свете перед королем и роялистами, для которых он писал свои мемуары. В некоторых случаях свидетель, даже склонный ко лжи, дает, однако, правдивое показание потому, что ему невыгодно дать неправдивое показание о «громком» факте, всем известном, например, если он опасается изобличения во лжи, что, впрочем, далеко не всегда достаточно для того, чтобы удержать его от тенденциозного его изображения и примеры чего легко заметить хотя бы в тех же мемуарах Талейрана**.

Впрочем, правдивое показание, даже при знании «истины», редко отличается большим богатством содержания: трудно охватить в своем показании все то, что дано в действительности, и чем точнее становится наблюдение, тем уже оказывается поле наблюдения: сознательно скудное показание может быть гораздо более правдивым, чем показание, изобилующее, казалось бы, самыми точными подробностями. Следовательно, правдивое и точное показание обыкновенно содержит лишь фрагментарные данные о его объекте; даже в том случае, если оно правдиво, оно все же бывает в известной мере односторонним; но еще чаще показание бывает не безусловно правдивым.

Правдивость показания, значит, имеет свои степени: свидетель не о всем объекте показывает одинаково правдиво.

* *G. Boissier*, Tacite, pp. 69, 79–80; ср. p. 91.

** *A. Sorel*, Lectures historiques, 2 éd., pp. 89, 93–95, 97.

Такие колебания вообще зависят от того, что в данном объекте считается более или менее «важным»: экспериментальные исследования обнаружили, что свидетель обыкновенно дает более доброкачественные показания о «важнейших» частях предъявленной ему картины, чем о второстепенных ее элементах и т. п. Судя по наблюдениям над современными детьми школьного возраста, человек больше интересуется «бытием и небытием», чем свойствами или отношениями и т. п.; он обнаруживает гораздо больше интереса к людям и их действиям, чем к вещам, их признакам и соотношениям и т. п.* Свидетель может также придавать разное значение моментам данного факта и преимущественно сосредоточивать свое внимание, например, или на процессе его возникновения, или на конечном его результате: он подробно излагает все в порядке последовательной постепенности; или, наоборот, спешит скорее передать «развязку»**.

Степень правдивости показания находится в зависимости и от многих других более конкретных условий: состояние свидетеля и свойства того объекта, о котором он показывает, влияют на правдивость его показания.

В самом деле, смотря по свойствам и характеру свидетелей, показания их об одном и том же объекте могут быть весьма различны: свидетель, обладающий трезвым умом, знанием и умением точно наблюдать и описывать факт, может дать более правдивое показание, чем человек, наделенный сильным воображением или легко поддающийся эмоциональной реакции; астроном, наблюдающий затмение солнца с высоты своей обсерватории, при помощи усовершенствованных орудий наблюдения, конечно, дает гораздо более точное показание о нем, чем простой свидетель, повествующий о том же факте; известный стратег сообщает такие сведения о ходе военных действий, каких не может сообщить человек, не располагающий его средствами, и т. п. Следует иметь в виду, однако, что и свидетель, способный ярко вообразить себе или подметить состояние духа или положение, в каком находился тот, о ком он рассказывает, симпатизирующий или даже враждебный ему, может иногда лучше подметить его побуждения и ярче представить его действия; он, значит, может

* *W. Stern*, Die Aussage etc., SS. 82–83, 87, 124–130.

** *А. Кони*, Op. cit., в сборнике «Проблемы психологии», с. 124.

дать более жизненное показание и об историческом факте, в некоторых отношениях отличающееся большею правдивостью*.

Впрочем, степень правдивости показания зависит, конечно, и от объективных условий, т. е. от того, каков именно объект показания, в какой мере он доступен чувственному восприятию и т. п. Легче регистрировать рождение или смерть человека, чем изобразить его характер и деятельность; проще констатировать вступление на престол какого-либо правителя или его падение, чем описать государственный переворот, вызвавший его; менее затруднительно рассказать о единоборстве двух героев или рыцарей, чем представить столкновение целых масс, совокупность и комбинацию тех духовных и материальных сил, которые участвовали в сражении, разнообразные их передвижения и т. п. Само собою разумеется, что чем сложнее объект, тем он труднее поддается научному наблюдению: чрезвычайно сложные явления социальной жизни, например, борьба общественных классов или политических партий, в сущности, требует изощренных методов психологического и социологического исследования для того, чтобы надлежащим образом показывать о них.

Степень правдивости показания зависит, конечно, и от многих других свойств субъекта и объекта; но на рассмотрении их было бы слишком долго останавливаться. Достаточно заметить здесь, что историк постоянно стремится выяснить, какие из свидетельских показаний он может признать правдивыми в том смысле, что они высказаны при знании истины: он ценит, например, те показания Геродота, в которых отец истории сознательно заявляет о том, что он сам видел, в отличие от того, что он только слышал; или показания Фукидида, который был сам стратегом и обнаружил свои знания при описании пережитых им битв[344]; или показания Комминя, хорошо знакомого с дипломатическими интригами того времени, об итальянских делах; или показания знаменитого полководца Тюренна о тех многочисленных войнах, в которых он участвовал, и т. п. В других случаях историк обращает внимание и на объекты свидетельских показаний: он различно ценит, положим, показания Флодоарда, просто записывавшего изо дня в день точные сведения о Франции, Лотарингии, Германии и папстве, и показания хотя бы

* *A. Binet*, La description d'un objet, в «L'année Psychologique» 3-e année. Par., 1897, pp. 299, 318–320.

Оттона Фрейзингенского о борьбе между папством и императорской властью, которую он изображает в своем «liber de duabus civitatibus»[345], и т. п.

Волевые показания могут быть даны, однако, и при менее благоприятных условиях: свидетель хочет сказать правду, но может и не знать истины. При изучении таких показаний следует различать два рода случаев: если свидетель хочет сказать правду о факте, относительно которого он ничего не знает, ему, очевидно, приходится воздержаться от показания или заявить самый факт своего незнания; но он может оказаться и в другом положении: желая сказать правду, он может не обладать достаточным знанием истины; в последнем случае показание его может оказаться ошибочным. Если он действительно хочет сказать правду, например, о факте, который он плохо знает и не в состоянии ясно различить то, что́ он знает, от того, чего он не знает, он часто впадает в невольные заблуждения и в своем показании*. Свидетель, поверхностно воспринявший какой-либо факт, в особенности мелкий, ничем его не поразивший, и тем не менее показывающий о нем, легко заблуждается. Свидетель, оказавшийся в сравнительно невыгодном положении относительно наблюдаемого факта, также может ошибиться, например: тот, кто не имел возможности надлежащим образом наблюдать факт, происходивший, положим, в тайном заседании какого-либо верховного совета, или тот, кто не располагал достаточно совершенными средствами наблюдения. Свидетель, слишком «заинтересованный» в исходе дела, положим, тот, кто сам участвовал в каком-либо споре или сражении, часто вносит свое субъективное настроение в показание и т. п. Каждый из таких свидетелей легко может и при желании сказать правду дать ошибочные показания, т. е. показания, страдающие теми невольными ошибками, примеры которых уже были указаны выше.

Впрочем, знание истины может затемняться, помимо невольных ошибок, и теми предвзятыми идеями, с точки зрения которых слиш-

* *E. Coustet*, La photografie appliquée à l'astronomie, в Rev. Scient. 1908, Mars, 7, p. 302 и др.; с такой точки зрения весьма поучительно, например, сопоставить рисунки туманных пятен, сделанных для научных целей от руки, с их фотографиями: оказывается, что в большинстве случаев такие рисунки не соответствуют фотографическим снимкам, разумеется, гораздо точнее воспроизводящим действительность, и представляют, за исключением разве некоторых спиралевидных форм, более или менее фантастический вид.

ком недостаточные или довольно случайные данные чувственного восприятия подвергаются истолкованию; последнее влияет на представление о факте, что и ведет к ошибочному показанию о нем.

Во многих случаях религиозные идеи или предрассудки благоприятствуют образованию ошибочных показаний. Суеверные люди, например, ожидающие «знамения», под влиянием такой идеи представляют себе некоторые факты. В старинной книге «о чудесах Божиих в природе при появлении комет» рассказывается о том, как 11 октября 1527-го года люди видели страшную комету кровавого цвета, на которой они будто бы заметили руку с мечем, готовую поразить врага, а кругом меча много человеческих голов и т. п., причем вслед за тем действительно наступило несколько бедствий: турки напали на Европу, а «Бурбон» на Рим, где папе едва удалось удержаться в крепости св. Ангела и выкупиться за 40 000 дукатов.

Предвзятые идеи более или менее наукообразного свойства также могут ослеплять свидетеля: он охотно описывает факт по общей, заранее готовой схеме и не видит того, что в нем есть — его индивидуальных особенностей; не всегда достаточно контролируя те ассоциации, которые возникают между ранее известными ему готовыми мыслями и наблюдаемым фактом, или слишком предаваясь ходу собственных своих мыслей и не проверяя их данными своего опыта, он легко может поддаться искушению усмотреть в нем то, чего в нем нет, смешивает субъективное его истолкование с его описанием и т. п.* В старину, не позднее середины XIV века, например, уже говорили о существовании какого-то большого и странного существа, прозванного «monachus marinus»[346]. Датский летописец, Гвитфельд, повествует, что в Эрезунде в 1550-м году нашли такого «монаха» с «человеческой головой» и рыбьим хвостом. В тех же водах в 1853-м году действительно поймали громадную каракатицу, по цвету и по очертаниям напоминавшую монаха в монашеской рясе: прежние наблюдатели, видимо, подвели под готовый образ «монаха» несколько отрывочных признаков каракатицы и назвали ее «monachus marinus»**. Подобные же ошибочные показания можно встретить и в «сказаниях» иностранцев: иностранец часто слишком мало или поверхностно знаком с тем, о чем он свидетельствует, не вполне понимает то, о чем он показывает, и т. п. Образованный Герберштейн[348], уже с молодых лет любивший наблюдать «обыкновения иноземцев», впал, однако, в ошибки при описании русских обычаев и нравов; впрочем, в некоторых случаях он сам различал описание факта от его толкования: описывая, например, царское угощение, он замечает, что хлебы, имеющие вид хомута, означают, по его мнению («mea opinione»), «жестокое иго и вечное рабство»; но можно указать и на таких путешественников, которые не считают нужным делать оговорки подобного рода: припомним, например, приведенное выше описание обряда бракосочетания, который Кюстин будто бы наблюдал в России***.

Аналогичные деформации происходят и под влиянием этических идей: свидетель-моралист воспринимает факт не во всех его существенных чертах, а преимущественно в тех, которые производят на него хорошее или дурное впечатление, и соответственно показывает о факте, представляя его в более или менее светлом или темном виде. Тацит изображал германцев, вероятно, не без морализирующей точки зрения: он противополагал чистоту их домашних нравов римской распущенности, что, разумеется, не осталось без влияния на его показания. Щербатов[349] также противопоставлял «весьма простую жизнь», которую вели наши предки, позднейшей роскоши и повреждению нравов, породивших упадок «духа благородной гордости и твердости в сердцах знатнорожденных россиян», и с такой точки зрения изображал многие факты из ближайшего ему прошлого и т. п.***

---

* *A. Binet*, Op. cit., в «L'année psycholgique», 3-e an., P. 1897, pp. 302, 309, 313, 315–318, 326–327; автор различает «le type descripteur» от «le type observateur»; представители последнего уже схватывают «сюжет сцены», а не только предметы, входящие в его состав, см. ib. pp. 318–320; 327–328; см. еще «le type érudit» — ib., pp. 323–324, 328–329. В вышеприведенной статье Кустэ замечает, что астрономы дают своим наблюдениям «une trop torte part d'interprétation personnelle», чем и объясняет, например, что «deux astronomes, installés à tour de rôle devant le même astre, en donnent presque toujours des croquis tout à fait different»[347]; см. *E. Coustet*, Op. cit., ib., p. 229.

* *A. Lehmann*, Aberglaube und Zauberei, deutsch von D-r Petersen. Stuttgart, 1898, SS. 351–364.

** *И. Корелкин, И. Григорович и И. Новиков*, С. Герберштейн и проч. в Сбор. студ. Спб-ого Университета, СПб., 1857 г., сс. 22 и сл. Ср. выше с. 699.

*** *G. Boissier*, Op. cit. pp. 41–42. *Кн. М. Щербатов*, Соч. т. II. сс. 138, 150, 185, 217 и др.

Нельзя не заметить также, что свидетель, рассказывающий о факте, часто поддается желанию придать своему рассказу большую эстетическую ценность и стремится таким образом произвести большее впечатление на публику, хотя бы он и не испытывал его на самом деле. Тацит соблюдал, например, некоторые из требований ораторского искусства в своих анналах; аббат Сугерий в своей жизни Людовика VI охотно влагает в уста действующих лиц «благородные» слова и в том же духе описывает их позы и действия; Гвиччиардини прибегает в своей истории Италии к «речам», содержание которых далеко не всегда правдиво и т. п.*

Само собою разумеется, что, кроме подобного рода идей, затемняющих знание фактической истины, можно было бы указать и на другие условия, приводящие к такому же результату: свидетель, переживающий более или менее личное сильное настроение, радость или горе, любовь или вражду и т. п., также далеко не всегда может знать истину и, даже при желании сказать правду, дает ошибочные показания. В случаях подобного рода свидетель или рассказчик нередко антиципирует идеи, чувства и намерения, испытанные им в позднейшее время, и переносит их на предшествующее. В своих известных мемуарах г-жа Ролан, например, обнаруживает настроение, сложившееся у нее во время ее тюремного заключения: вообще, обладая энергичным характером, она твердо решила до последнего вздоха геройски выдержать постигшие ее притеснения; перенося такое настроение в свое прошлое, она впала в некоторый самообман: в своих показаниях о прежней своей жизни она изобразила себя гораздо более активною, чем то видно из ее корреспонденции и было на самом деле**.

Во многих случаях, однако, сам свидетель хочет сказать неправду, даже если он знает истину, и при таких условиях дает ложное показание: он интересуется скорее своей оценкой факта, чем простым констатированием его, высказывает более или менее субъективное мнение о нем и т. п.***; он может, например, поддаться стремлению подвергнуть данные своего восприятия нормативной оценке, но производит ее с лично-субъективной, более или менее тенденциозной точки зрения, или часто дает свое показание под влиянием настроения или аффекта; он нередко воображает, будто бы видит, слышит, и т. п., то именно, что ему хочется видеть, слышать и т. п., и включает то, что ему хочется показать в свое показание; он не может не проявить симпатии или антипатии к тому, о чем сообщает, оказывается пристрастным и т. п.

Таким образом, свидетель часто руководится в своих показаниях и утилитарными соображениями или часто личным своим интересом, удовлетворение которого далеко не всегда благоприятствует правдивости его показания. Перечислять все в высшей степени разнообразные побуждения подобного рода было бы, конечно, излишне; достаточно лишь заметить, что в зависимости от того, а не иного рода их, и показание страдает теми, а не иными недостатками. Слаборазвитый и малообразованный свидетель, например, легко сносит противоречия и другие погрешности, вкравшиеся в его показание, или примиряется с ними, если только он не чувствует, что личные его интересы затронуты ими. Апатичный или ленивый свидетель, в случае нужды, сообщает то, что ему легче всего дается, и охотно признает вероятное за действительное. Впечатлительный свидетель, поддающийся эмоциональной реакции, припоминает скорее те чувства, которые он испытал от данного факта, чем самый факт, что и придает особого рода субъективную окраску его рассказу, часто довольно бедному по своему фактическому содержанию. Мечтательный свидетель с сильным воображением дает ему волю и в своем показании: он иногда с такой настойчивостью уверяет других в его истине, что, наконец, освоившись с высказываемым, сам верит в истину того, что он говорит, и с «искренней» уверенностью утверждает то, чего не было, или отрицает то, что было в действительности. Проказливый свидетель может играть ложью и лгать из-за удовольствия лгать или тешиться над заблуждениями других. Тщеславный свидетель, желающий играть известную роль, может дать должное показание даже в ущерб своей собственной выгоде. Мало самостоятельный свидетель, подверженный разного рода предрассудкам, или усвоивший те, а не иные национальные или партийные интересы, разумеется, часто придает своему показанию соответствующую тенденцию, сообразуется с интересами того именно круга лиц, который он всего более

* *L. v. Ranke*, Werke, Bd. 34, SS. 19–24.

** *H. Glagau*, Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. Marburg, 1903, SS. 91, 157, 162.

*** Ср. о различии между показанием свидетеля, констатирующего факт, и «мнением», которое признается «не относящимся», если лицо, высказывающее его, не вызвано в качестве эксперта, в соч. *Дж. Стифена*, Очерк доказательственного права, пер. П. Люблинского, сс. LXXXII–LXXXIV, §§ 48–53; ср. с. 154.

ценит, или со вкусами той публики, для которой он пишет, хочет нравиться ей, приноравливается к ее страстям и предрассудкам. Тенденциозный свидетель, чувствующий личную привязанность или вражду, соответственно искажает свое показание. Бессовестный свидетель, преследующий свои личные выгоды, охотно льстит или злословит в своем показании и т. п.*

Такие извращения обнаруживаются, конечно, в самых разнообразных формах. Нет возможности, однако, пересмотреть здесь все разновидности подобного рода: достаточно привести несколько примеров, иллюстрирующих некоторые из типов ложных показаний, их мотивировку и их содержание.

Вообще, тот, кто не хочет сказать правду, зная истину, очевидно, пренебрегает абсолютной ее ценностью и пользуется своим знанием для достижения какой-либо посторонней ей цели. В отличие от Фукидида, например, не упоминающего о некоторых общеизвестных фактах, так как он не считал возможным приписывать им достаточное историческое значение, такой свидетель часто замалчивает то, что он, по совершенно другим побуждениям, не желал бы, чтобы знали или помнили, то, что невыгодно его партии или ему самому и т. п. В своих мемуарах Талейран, например, обнаруживает большое умение самым беззастенчивым образом эскамотировать[350] факты: ему невыгодно было, при Людовике XVIII-ом[351], рассказывать об учредительном собрании[352], в котором он принимал деятельное участие, об апологии реформ 1789 года и 10 августа[353] и т. п., и он не упоминает о них; с такой же точки зрения он изображает многих людей и разные события 1789–1814 гг.[354], представляет их значение в заведомо искаженном виде и т. п.**

Во многих случаях, особенно когда сам свидетель принимал участие в показываемом факте, он легко может перенести свою оценку и на собственное свое я: он порицает или одобряет себя и т. п. В своих «Confessiones», например, Августин[355] резко и довольно искусственно противополагает свою духовную жизнь до обращения — своей духовной жизни после обращения в христианство: великий отец церкви изображает время «разъединенности» своего «я», «затерянности» его во «множественном» уже с христианской точки зрения, под влиянием которой он нашел в Боге силу и единство духовного своего существа*. Впрочем, свидетель, разумеется, чаще готов извинять, чем обвинять себя; в таких случаях он иногда склонен смешивать то, что он сказал или сделал в действительности, с тем, что он, по его мнению, должен был бы сказать или сделать, и с последней точки зрения сообщает сведения о долженствовавшем быть под видом бывшего в действительности. В своих мемуарах Наполеон I, например, иногда «возводит свои намерения на степень уже совершенных актов»; в своей автобиографии Меттерних уверяет, что он «никогда не уклонялся от правил вечной справедливости» и т. п.** Показывающий может, конечно, обнаружить аналогичное отношение и к событиям, т. е. обвинять или оправдывать людей за те действия, которые породили их. Под 1237-м годом, например, наш летописец рассказывает о том, как «проклятии безбожнии татарове» поразили великого князя Юрия Всеволодовича при Сити и убили его, а также Василька Константиновича у Шерньского леса[356]. В своей известной «истории завоевания Константинополя», приведшего к основанию Латинской империи, Виллегардуэн[357] с большим искусством старается оправдать предприятие крестоносцев, проходит молчанием факты, не благоприятствующие его тенденции, и придает правдоподобие истины произведению, которое, не без основания, называют «настоящим романом».

В других случаях побуждение придать своему рассказу больший драматизм также вредно отзывается на правдивости показаний и о лицах, и о событиях. Классические писатели не чуждались такого приема, даже лучшие из них, например, Фукидид или Тацит, который, согласно со вкусами своего времени, придавал иногда своим рассказам слишком драматический характер. Позднейшие мемуаристы поддавались такому же искушению: рассказывая, например, в своих мемуарах об известной сцене, разыгравшейся на приеме Наполеоном I 15-го августа 1808-го года дипломатического корпуса, Меттерних драматизирует ее, что видно хотя бы из сравнения позднейшего его описания с его же собственным донесением, составленным по свежей памяти: сдержанный разговор с Меттернихом,

* *A. Binet*, La description d'un objet, в «L'année psychologique», 3-e an., Par., 1897, pp. 320–322, 329. *M. Lailler et H. Vonoven*, Op. cit., pp. 34, 60–64, 527.

** *A. Sorel*, Lectures historiques, 2 éd., pp. 77, 81, 93.

* *A. Harnack*, Reden und Aufsätze, Bd. I, SS. 55, 63, 77.

** Nouv. biogr. générale, t. 37, p. 448 (14) et ss. *P. Bailleu*, Op. cit. ib., S. 235 и др.

в котором Наполеон, по его же словам, возражал, главным образом, лишь против нового набора рекрут в Австрии, превращается в мемуарах в резкую манифестацию Наполеона против Австрии, которая встретила отпор со стороны австрийского посла: на крики Наполеона он будто бы отвечает с иронией, не изменяя тона, и ответ его производит на других впечатление «лекции», данной им Наполеону; последовавший затем разговор Меттерниха с министром иностранных дел Шампаньи[358], из которого он выносит впечатление, что Наполеон не имеет в виду объявить войну Австрии, представляется в мемуарах в совсем ином свете: через несколько часов после сцены, происшедшей на приеме, Шампаньи будто бы отправляется к Меттерниху для того, чтобы от имени императора принести ему своего рода извинение, и т. п.*

В числе побуждений, вредно отзывающихся на правдивости показаний, можно было бы указать, конечно, и на многие другие, более или менее прикладного характера. В том случае, например, если свидетель или автор имеет в виду какую-либо педагогическую цель, он уже не может давать вполне правдивые показания. Составители автобиографий, даже те, которые, подобно Августину или Руссо, известны своей искренностью, не чужды были стремления поучать читателей и соответственно относились к тем фактам, которые могли служить для такой цели.

Само собою разумеется, что церковные или политические соображения также часто вызывали ложные показания. В своей «Historia Francorum», например, Григорий Турский, верный сын христианской церкви и достойный представитель епископата, с такой именно точки зрения интересуется многими фактами и изображает их: он расточает похвалы или ругательства варварским князьям, например, Хлодвигу[359] и Хильперику[360], смотря по тому, уважали ли они привилегии церкви или пренебрегали ими**. Эингарт рассказывает, что Карл Великий (вскоре после нашествия саксов на пограничную гессенскую область) решил усмирить их, путем обращения их в христианскую веру или окончательного их уничтожения; но монах Корвейского монастыря — Видукинд[361] в своих саксонских историях

* *G. Boissier*, Tacite, pp. 86–88. *P. Bailleu*, Op. cit., ib., SS. 245–248.

** *H. von Eicken*, Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschaung, Stuttgart, 1887, SS. 651–656.

(res gestae) ставит те же войны в исключительную зависимость от намерения Карла Великого обратить их в христианскую веру, что, разумеется, придает другую окраску и изображению событий*. Парижский буржуа, написавший известный дневник[362], тайный приверженец бургундской партии, и решительный противник арманьяков[363], явно обнаруживает в нем те чувства симпатии и вражды, которые волновали людей его круга в 1410-х годах и с такой точки зрения относится к водворению английского владычества, к возвращению Валуа и т. д. Кларендон писал свои записки об английской революции не без желания оправдать Карла I[364], хотя и критиковал промахи его политики, а потому изображает его отношения к парламенту в ложном свете. В тех бюллетенях, которые Наполеон I представлял нации о действиях французских войск, он часто преувеличивает свои успехи и скрывает свои неудачи, считая такое уклонение от правды одним из лучших средств действовать на общественное мнение: знаменитый 30-й бюллетень Великой армии, например, повествует о некоторых ее подвигах под Аустерлицом, где будто бы до 20 000 неприятелей погибло в водах Меницкого и Затчанского прудов; многие бюллетени из России, даже 28-й, посланный уже из Смоленска 30 октября (с. с), представляет, между прочим, сражения при Вязьме и Полоцке[365] под видом блестящих побед, отступление С.-Сира — под видом движения навстречу Виктору и т. п.[366]**

В зависимости от личных побуждений, наконец, показания также нередко получают ложный характер. Исторические деятели склонны, например, из-за славолюбия или тщеславия, преувеличивать свое значение и внушать, что они стояли во главе событий. В своей истории Италии Гвиччиардини изображает себя главным действующим лицом при защите Реджио, Пармы и Модены[367], а также во время флорентийского восстания 1527-го года[368], что в настоящее время

* *H. v. Eicken*, Op. cit., SS. 657–664. Впрочем, Видукинд гордился своим народом и прославлял его храбрость; он неохотно говорит о войне Карла Великого с саксами и, может быть, сознательно уклонился от упоминания о их уничтожении.

** *A. Molinier*, Les sources etc., t. V, pp. CXLIII–CXLIV. *C. Firth*, Clarendons History of the Rebellion, в Engl. Hist. Rev. v. XIX (1904), pp. 28–29, 38, 249 и др. *A. Slovak*, La bataille d'Austerlitz, documents inédits etc. trad. de Leroy Daragon, 1908. *М. Богданович*, Ист. отеч. войны 1812 г., т. III, сс. 305–306.

отвергается критикой. В своих записках Меттерних охотно, хотя и не всегда основательно, приписывает себе главную роль в целом ряде случаев: он утверждает, например, что брак Наполеона I с Марией Луизой[369] совершился благодаря его искусству и должен быть причислен к его заслугам; он совершенно напрасно придает большое значение известной сцене, происшедшей 15-го августа 1808 года на приеме у Наполеона I, во время которого сам Меттерних будто бы играл главнейшую роль, и т. п. Показывающий иногда хочет оправдать себя и обвинить противников. Гинкмар[370], глава галликанской церкви[371] и аристократической партии, составляя продолжение королевских аннал IX-го века, стремился защитить собственную свою политику и осудить своих противников. В своих записках Талейран охотно следовал примеру реймского архиепископа. В мемуарах, которые Наполеон I диктовал своим генералам на острове Св. Елены, он пытался, не щадя ни врагов, ни даже друзей, оправдать свое личное поведение и свою политику. Г-жа де Стаель[372], из вражды к Наполеону старалась превозносить всех его противников; и наоборот, Биньон[373], преклонявшийся перед Наполеоном, отрицательно относился к ним. Личная выгода также подсказывает самые разнообразные формы ложных показаний. В своих мемуарах Талейран, например, хотел оправдать себя перед Людовиком XVIII-м и партией роялистов, выставить себя как самого ловкого и самого полезного из слуг монархии и убедить в том и самого короля, и его приверженцев. С такой точки зрения Талейран и дает тенденциозное изображение эпохи революции и империи, в течение которых он будто бы все свое искусство направлял лишь к тому, чтобы давать советы, которым, однако, не следовали, и исправлять ошибки, которых он не делал. Ввиду того круга читателей для которых он пишет, Талейран стремится придать людям и событиям то значение, какое ему желательно: он устраняет то, что ему хочется, чтобы забыли, и подчеркивает то, что ему хочется, чтобы помнили, без зазрения совести замалчивает то, что он желал бы искоренить из памяти и нагло утверждает то, к чему он желал бы внушить доверие; он низводит великих деятелей на уровень салонных актеров и принижает значение великих событий; он льстит людской злобе своим злословием, любопытству — своими анекдотами, тщеславию — своими осуждениями. Талейран выставляет также свой талант рассказчика, свое умение соблюдать оттенки, «ловко дает понять, что в его лице говорит глубокий политик и из-за

будуарной обстановки открывает широкие политические горизонты». Такие свойства Талейран обнаруживает, например, в своих рассказах о Шуазеле[374] или об эпизоде в Эрфурте*[375].

При ближайшем рассмотрении ложных показаний легко заметить, что не все они имеют одинаковое значение: в таких случаях свидетель, желающий сказать неправду, или изменяет истину, т. е. убавляет из того или прибавляет к тому, что он испытал, или подменяет истину, которую он знает, ложными сведениями**.

В ложном показании, изменяющем истину, можно усмотреть некоторую долю ее; но нелегко выделить ее из того, что свидетель намеренно убавил или прибавил, ослабил или усилил в своем показании. Один из средневековых писателей, например, уже различал рассказ, «in quo certum est non deesse deliktum»[377], от рассказа, в котором «adulationis studio rerum gestarum articulis involvunt impudenter mendacia»***[378]. Такие изменения легче подметить в целом комплексе показаний, например, в житиях святых или героев, авторы которых (полагая, что они сами выступают в роли свидетелей) часто замалчивают то, что может повредить славе изображаемых ими лиц, и, наоборот, преувеличивают то, что может содействовать ей. Впрочем, указанные виды изменений встречаются и порознь в разных источниках. Можно, например, преднамеренно допускать пробелы в изображении фактов и, следовательно, «скрывать» истину. Такие пробелы часто встречаются в официальных рассказах, бюллетенях, депешах и сборниках вроде «синих»[379] и других книг; между тем, при таких условиях самый подбор фактов уже производится с тенденциозной точки зрения; относительное значение их, т. е. соотношение их, представляется в произвольно измененном виде; это мешает пра-

* *L. von Ranke*, Werke, Bd. 34, SS. 33–36, 45–49. *A. Sorel*, Lectures historiques, 2 éd., pp. 111–112.

** Такое широкое понимание термина: «ложное показание» может вызвать возражения; уже Августин писал: «Non est ergo mendacium cum silendo absconditur verum, sed cum loquendo promitur falsum»[376]. См. *Augustinus*, Lib. contra mendacium, у Migne, P. L., t. 40, p. 533, с. 23, но если свидетель хочет сказать неправду, для чего и замалчивает правду, он, в сущности уже дает ложное показание, по крайней мере в том смысле, что он произвольно изменяет соотношение оставшихся в нем элементов. Ср. *G. L. Duprat*, Le mensonge, Par., 1909, pp. 23, 25.

*** *M. Schulz*, Op. cit., S. 58; речь идет о Вильгельме Тирском, известном историке крестовых походов.

вильной их оценке: она становится односторонней*. Можно также преднамеренно прибавлять кое-что в изображении фактов. Такие прибавления, разумеется, гораздо более пробелов сообщают показанию или целой их совокупности характер ложного источника, а при значительности их дают основание сближать его и с лживым источником. После переправы через Березину и по прибытии в Варшаву[380], Наполеон говорил, например, в известном разговоре с прибывшими к нему польскими министрами и де Прадтом[381], что у него осталось 120 000 солдат, что он постоянно разбивал русских, и т. п.**

В ложном показании, подменяющем истину, трудно, однако, разыскать ее элементы: свидетель, знающий истину, намеренно выдает в нем свою фантазию за действительно бывший факт. Следовательно, такое ложное показание уже близко подходит, по своему содержанию, к тому лживому показанию, которое дается незнающим истину; но оно все же отличается от последнего тем, что свидетель — не мнимый и что он, в качестве знающего истину, может воспользоваться и обыкновенно пользуется некоторыми из ее элементов, включив их в свое ложное показание, или случайно проявляет знание их, что и может придавать его показанию кое-какое положительное познавательное значение.

Впрочем, при изучении ложных показаний, в которых истина подменивается, можно различать такие, в которых свидетель ограничивается простым отрицанием истины, от таких, в которых он выдает свою фантазию за истину. В известном показании апостола Петра, который «отрекся с клятвою», что он «не знает» Иисуса Галилеянина, можно признать простое отрицание истины***. В других показаниях, напротив, легко усмотреть гораздо более сложный акт сознательной подмены истины. Дипломатия старого времени, например, прибегала к такого рода приемам: правительства XV-го века снабжали своих посланников двоякого рода инструкциями: предназначенными для собственного своего употребления и составленными для предъявления иностранной державе; сами дипломаты иногда оказывались на содержании иноземных правительств и, значит, сообразовывались с их интересами при составлении своих донесений, или нарочно извращали их, в тех случаях, когда знали, что их бумаги попадут в чужие руки, и т. п. В своих депешах графу Сольмсу[382] Фридрих II имел в виду, например, не столько своего посланника, сколько русское правительство, по поручению которого они подвергались перлюстрации. В военное время такие сообщения, разумеется, часто оказываются обманчивыми: в 1812-м году, например, Кутузов нарочно подсылал к французам курьеров с донесением к государю «о бедственном положении армии, об упадке духа войск и общем желании мира, составляющего будто бы единственное средство к спасению империи». В одном из своих писем от 26 мая н. с. из Дрездена Наполеон писал брату своему Иерониму[383]: «распустите слух, что вы намерены присоединиться с 100 000 войском к австрийцам, хотя на самом деле движение ваше будет обратным, о чем я сообщаю только вам и желаю, чтобы вы сохраняли это в строжайшей тайне, ничего не передавая об этом даже начальнику военного штаба», и т. п.*

В последнем случае легко обнаружить и ту зависимость, в какой ложное показание все же может находиться от знания истины: в вышеприведенном письме Наполеон давал и велел распространять показание, в котором он хотел сказать неправду, зная истину; он высказал в нем как раз обратное тому, что сам он считал истинным; он требовал, чтобы брат его распространял слух, что его войска двигаются в направлении, противоположном тому, в каком они должны были двигаться.

Впрочем, ложные показания получают иногда и более злонамеренный характер, благодаря которому их легко сблизить с клеветою. В своих мемуарах Барер[384] уверяет, что Робеспьер[385] предложил пре-

* *H. Ulmann*, Über den Wert diplomatischer Depeschen als Geschichtsquellen, Lpz., 1874, S. 4 и др. Официальные издания, известные под названием «синих», «красных», желтых», «зеленых», «белых» книг и т. п., также отличаются пробелами подобного рода; ср. *G. Wolf*, Einführung, SS. 729–731.

** *H. Любович*, Наполеон в Варшаве в 1812 году, Варшава, 1912 г., с. 11. Ср. еще *A. Fournier*, Napoléon I, Bd. III, SS. 100–101; *M. Богданович*, История царствования Александра I, т. III, с. 366.

*** В казуистической иезуитской «морали» отрицание истины, благодаря «reservatio mentalis» или «доктрине экивоков», признается дозволенным средством. Саншец писал: «можно клясться, что не сделано того, что было сделано в действительности, если втихомолку подразумевать, что оно не сделано в известный день или до времени своего рождения», ничем, однако, не проявляя такого ограничения мысли, и т. п.

* *H. Ulmann*, Op. cit., SS. 4, 7–8,10. *M. Богданович*, Op. cit., t. III, стр. 364, 366; ср. ib., прим. стр. 48.

дать Марию Антуанетту[386] суду; но Бонапарт категорически заявляет, что Робеспьер противился преданию ее суду, а «Монитёр»[387] подробно описывает, как 1 августа 1793-го года один оратор, депутат комитета общественного спасения, обратился к конвенту с речью, в которой он требовал суда над «австрийскою женщиной». Между тем, сам Барер был этим депутатом; он, конечно, не мог забыть о своей инициативе в одном из первых и притом самых громких кровавых дел, в которых ему приходилось участвовать, и, надо думать, дал ложное показание, впрочем, не единственное в его мемуарах: он оклеветал Робеспьера*.

Ввиду соображений, приведенных выше, нельзя, однако, смешивать лживое показание с ложным: тот, кто дает лживое показание, хочет сказать правду, не зная истины; значит, он уже лжет в том отношении, что выдает себя за свидетеля того факта, которого он не знает, т. е. не испытал в собственном своем чувственном восприятии; он лжет сверх того, произвольно выдавая продукт своей фантазии за фактическую истину, т. е. за факт, будто бы происходивший в действительности. Добровольные или подставные лжесвидетели часто дают лживые показания; в американских, да и других газетах печатаются иногда сенсационные известия, придуманные репортерами, и даже будто бы подтверждаемые почтенными людьми, самое существование которых оказывается, однако, тоже фиктивным, и т. п.** История Карла Великого и Роланда, приписываемая Тюрпену[388], архиепископу Реймскому, теперь признается произведением «невежественого подделывателя»; она, действительно, содержит явные выдумки, выдаваемые, однако, за факты, хотя бы, например, известный рассказ о том, как Карл Великий созвал собор в Компостелле и повелел, в знак любви к св. Иакову, чтобы все духовные и светские власти, прелаты и короли христианские, настоящие и будущие, повиновались, в Испании и Галиции, епископу того города, в котором покоились мощи св. Иакова. Такая выдумка, очевидно, была сочинена

* *Th. Macaulay*, Biographical essays. Tauch. ed., pp. 195–198; ср. там же pp. 198–199.

** «Проблемы психологии», сс. 141–142, 144. Лжесвидетели могут, конечно, сообщать и чужие показания (т. е. известия) под видом своих собственных «свидетельских» показаний, не входя в рассмотрение достоверности или недостоверности таких известий.

для возвеличения епископской кафедры в Компостелле*. В поддельных источниках можно также встретить лживые показания. «Агиографический роман», написанный Гильдуином о Св. Дени Парижском[389], в настоящее время признается фальсификацией и содержит немало совершенно пустых показаний; «Liber de compositione castri Ambaziae», прославляющий генеалогию дома Амбуаз[390], оказывается «легендой»; мемуары кардинала Дюбуа[391], сочиненные библиофилом Жакобом, а также записки г-жи Аврильон, главной камеристки императрицы Жозефины[392], придуманные и написанные Виллмаре, содержат немало таких же лживых показаний, разумеется, не имеющих никакого фактического значения, и т. п.**

В действительности, однако, одно и то же показание может оказаться частью ложным, частью лживым; оба момента часто переплетаются в одном и том же источнике, например, в псевдоепиграфе, при подмене на статуе какого-либо фараона прежней надписи новой, при подделке источника и т. п.

Итак, можно прийти к заключению, что даже «психически-нормальный» субъект часто дает показания, на которые нельзя положиться; но далеко не всегда легко выяснить, был ли свидетель в таком именно состоянии, когда он давал свое показание, и соответственно отличить нормальное показание от ненормального.

В том случае, если свидетель обладает единством и целостью сознания, хотя бы оно и страдало неполнотой его содержания, он все еще может быть назван «нормальным» в психическом смысле; но болезненные уклонения от нормального организма и его отправлений, т. е. органические заболевания, могут вредно отражаться и на полноте его показаний. Если свидетель дает, например, показание в зависимости от патологического состояния стоящих в известном отношении к центральной нервной системе органов чувств, положим, в зависимости от болезни органов зрения, или слуха, осязания или речи, и т. п., он, конечно, впадает в ошибку. Слепой свидетель, подобно

* *R. Dozy*, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne, t. II, 2 éd. Leyde, 1881, pp. 372, 407–408.

** *A. Thierry*, Op. cit., pp. 196, 254 et ss. Ввиду тесной связи, какая оказывается между лживым показанием и подделкой, мотивы его образования и его значение уже были разобраны выше в учении о подделке исторических источников; см. сс. 597–618 <Т. 2. С. 224–241>.

Саундерсону[393], например, может давать точные показания о внутренних своих переживаниях и даже о предметах внешнего мира, преимущественно основываясь на тактильных восприятиях; но если он станет рассуждать о цветах, показания его не могут быть надежными; тот, кто страдает цветовою слепотою, например, слепотою к красному и не отличается наблюдательностью Дальтона[394], еще легче может дать ошибочное показание о соответствующей окраске предмета, сам не подозревая о сделанной им ошибке и т. п.*

Аналогичное замечание можно, пожалуй, сделать и относительно тех субъектов, которые, хотя и признаются психически-ненормальными, но не страдают общим или постоянным расстройством сознания: ведь и душевно-больной субъект может давать верные показания в той мере, в какой его психические функции, обусловливающие показание в момент его образования и высказывания, еще не затронуты болезнью. Душевно-больные, вышедшие из состояния, называемого «stupor», например, с поразительной точностью воспроизводят если не все события, происходившие вокруг них в период болезни, то, по крайней мере, некоторые из них; меланхолики «из категории не слишком тяжелых» также дают «самые объективные, точные, вполне достоверные показания» о некоторых простых явлениях, не касающихся сферы их нервно-психического расстройства; то же, разумеется, и с тем большим основанием позволительно сказать о людях, подверженных галлюцинациям и т. п., если только можно установить факт, что психические их функции в момент восприятия и показывания о воспринятом не находились под влиянием болезни**. Жанна Д'Арк[395], историю которой пытались рассматривать и с психиатрической точки зрения, например, давала, на известном процессе, довольно толковые показания о своей домашней жизни в Домреми, о том, как она отличалась умением прясть и шить и т. п.; она сообщала также и другие сведения, которые совпадают с рассказами очевидцев. Ввиду того, однако, что далеко не всегда можно точно установить, в каком именно состоянии такой субъект находится, трудно пользоваться и его показаниями: Жанна Д'Арк часто про-

* *D. Diderot*, Oeuvres, t. I, Par. 1875, pp. 302, 306.

** *А. Крамер*, Влияние душевных болезней и смежных с ними состояний на качество свидетельских показаний, в сборнике: «Проблемы психологии», сс. 179, 183, 188, 193, 194, 196; ср. *Th. Ribot*, Les maladies de la volonté, 27 éd., p. 50.

должала говорить и действовать под влиянием «голосов», испытывала галлюцинации, преследовавшие ее в Руанском замке, утверждала на суде, что она целовалась со св. Екатериной и св. Маргаритой, и т. п.*

Во всяком случае, если душевно-больной свидетель уже утратил единство и целость осознания, т. е. страдает более или менее общим его расстройством, его показания, в той мере, в какой они даны в зависимости от тех его психических функций, которые уже поражены болезнью, конечно, представляются ненормальными. Под влиянием той или другой душевной болезни такие функции, действительно, нарушаются: память, например, утрачивается («беспамятство») или заметно ослабевает, что, впрочем, бывает и без собственно-душевного расстройства, хотя бы при «amnesia senilis»; внимание болезненно сосредоточивается на каком-либо «навязчивом» представлении или рассеивается; эмоциональный тон чрезмерно понижается или повышается; воображение оказывается слишком подвижным и подсказывает иногда больному самые ужасные события, в которых он будто бы принимал деятельное участие; продукты расстроенного воображения смешиваются с действительностью; мысли становятся бессвязными; воля сменяется абулией[396], ослабляется или разлагается, уступает место своего рода автоматизму или слишком поддается чужому влиянию и т. п.** В области исторических разысканий, конечно, лишь в редких случаях приходится иметь дело с показаниями безумцев, маниаков, слабоумных и т. п.; но не всегда позволительно пренебрегать показаниями меланхоликов, испытывающих угнетение в сфере чувств, или лиц, страдающих маниакальной экзальтацией преимущественно в той же сфере; нельзя упускать из виду и показания тех, которые находятся на границе психической болезни, например, истерических субъектов, отличающихся черезмерным преобладанием эмоций и столь подвергнутых мимолетным импульсам, хотя бы при изучении того неистовства с демономаническим бредом, которое играло некоторую роль в истерических эпидемиях, распространявшихся в средние века. Сюда же можно отнести, по крайней мере, в известной степени, и те бредовые идеи и навязчивые представления, под влиянием которых свидетель дает более или менее ошибочное

* *H. Wallon*, Jeanne D'Arc. Par., 1877, pp. 238, 271 и др. *П. Якобий*, Иоанна Дарк, в Вест. Евр., 1909 г., июнь, с. 479 и сл.

** Ср. выше сс. 689, 693 <Т. 2. С. 302–303, 305–306>, прим.

показание: под давлением таких представлений он более или менее чуждается восприятий внешнего мира; или обнаруживает болезненное внимание к каким-либо сторонам предмета, даже его уродливостям и т. п. и пропускает остальное; или вносит свои настроения в наблюдаемые факты; или искажает действительность и т. п. В своей автобиографии Св. Тереза[397], например, подробно описывает те состояния экстаза, которые она переживала, когда душа ее «искала Бога», и рассказывает, как в то же время, она испытывала сильное ослабление чувственных восприятий, как при виде букв, она все же не могла «ни различить, ни соединить их», как, слыша голос, она не была в состоянии разобрать отдельные слова, и т. п. Следовательно, трудно полагаться на показания таких лиц, если они касаются не одной только их собственной душевной жизни: Сведенборг[398], например, полагал, что он написал основное свое сочинение (Arcana Coelestia, 1749–1756 гг.) при непрерывном внушении свыше; в приложенных к нему «Memorabilia» он сообщает, что в то время его «внутренний человек находился в средних небесах, в сердечной области Господа, в левом желудочке...»; а в несколько позднейшем произведении «de ultimo judicio...»[399] он утверждает, что в духовном мире страшный суд уже совершился в 1757 году, и описывает его, как «допущенный Богом свидетель»*.

В числе источников ошибок, чаще возникающих у душевнобольных, чем у «здоровых» субъектов, можно отметить и обманы чувств, под влиянием которых они относят свои ошибочные или мнимые восприятия к внешнему миру и соответственно дают неверные показания. Галлюцинации представляются явлениями далеко не исключительными: количество галлюцинаций, приходящееся средним числом на каждого, довольно значительно; статистика галлюцинаций, произведенная одним американским ученым, показала, что средним числом, по крайней мере, один из десяти опрошенных им людей в своей жизни когда-нибудь пережил галлюцинацию; иллюзии, разумеется еще менее редки**.

* «Проблемы психологии», сс. 128–129. *T. Ribot*, Les maladies de la volonté, pp. 129–135. *В. Соловьев*, Сведенборг, в Энц. слов. Ф. Брокгауза и Евфрона, т. XXIX, сс. 76, 77 и 79.

** *W. James*, The principles of psychology, v. II, p. 117. *J. Sully*, Les illusions des sens et de l'esprit, 2 éd., pp. 2–3. Впрочем, ошибочным в иллюзии оказывается не то, что непосредственно дано, а то, что из него выводится; ср. *W. James*, Op. cit., v. II, p. 86. См. еще замечания о помешанных, эпилептиках и страдающих истерией в соч. *G.-L. Duprat*, Le Mensonge, Par., 1909, pp. 34–46 и др.; дегенераты бывают иногда «болезненно правдивыми», а иногда и «неисправимыми лжецами»; см. ib., pp. 47–51. О различии понятия длительности у больных см. в соч. *P. Ranschburg*, Op. cit., S. 42.

Агиографическая литература содержит немало примеров подобного рода: можно думать, что обращение Савла[400] на пути к Дамаску сопровождалось такими состояниями сознания; что видение св. Антония[401] — случай зрительной галлюцинации; что голос, укорявший св. Иеронима[402], — случай слуховой галлюциниции, и т. п. Лютер и другие исторические и не исторические личности также испытывали на себе обманы чувств, преимущественно зрительные и слуховые галлюцинации или иллюзии и соответственно давали показания, важные для характеристики их душевных состояний, но не объектов внешнего мира*. Большинство людей способно также поддаваться внушению, а способность давать показания под его влиянием приводит иногда к самым грубым заблуждениям даже в таких показаниях, которые, казалось бы, основаны на непосредственном чувственном восприятии показывающего: он с большою уверенностью может давать ошибочные показания, изобилующие реальными подробностями; под влиянием самовнушения, например, человек может испытывать на себе указанное выше влияние навязчивых идей; он также легко может внушить себе, что то, что могло быть, должно было быть и, «значит», было в действительности, и т. п. Исторические деятели, например, склонны поддаваться мысли, что все, что они предвидели, случалось в действительности. Меттерних уже в 1798-м году писал жене из Раштатта: «tout ce que je prévoyais arrive»[403] и в своих мемуарах, под влиянием такой мысли, часто дает показания, не соответствующие действительности. Впрочем, свидетельства подобного рода легко переходят в волевые ложные показания**.

Само собою разумеется, что субъект, находящийся в ненормальном состоянии, дает ошибочные показания под влиянием таких объ-

* *E. Renan*, Les apôtres, Par., 1866, pp. 175–183. Mémoires de Luther, écrits par lui même, traduits et mis en ordre par J. Michelet, t. II, Brux., 1840, pp. 156–183; о сравнительном преобладании галлюцинаций того, а не иного рода у субъекта в болезненном состоянии см. *J. Sully*, Les illusions etc., p. 86.

** *P. Bailleu*, Op. cit., в Hist. Zeit., Bd. 44 (1889) SS. 232 ff.; о показаниях, возникающих под влиянием чужого внушения, см. ниже.

ективных условий, которые могут не оказывать вредного действия на нормального свидетеля: в зависимости от того, а не иного объекта он может испытывать приступы того ненормального состояния, которое, между прочим, отзывается и на характере его показаний. Некоторые зрительные и слуховые иллюзии, например, находятся в довольно заметной зависимости от «окружающей обстановки», от какого-либо «исключительного обстоятельства» и т. п. Лютер следующим образом рассказывает о проделках Сатаны, которые он испытал в Вартбурге: «я был далеко от мира, в комнате, куда никто не мог проникнуть, кроме двух благородных юношей, которые два раза в день приносили мне пищу и питье. Однажды они купили мне мешок с орехами, который я спрятал в ящик. Вечером, когда я перешел в другую комнату, потушил свет и лег, мне показалось, что орехи приходят в движение, сильно постукивают друг о друга и звонко ударяются о постель...»*

Вышеуказанные болезненные уклонения от нормы могут осложняться еще и такими же расстройствами в способности высказывания показаний. Душевно-больной, хорошо воспринявший и даже запомнивший данный объект, может оказаться, однако, под влиянием болезни, не в состоянии воспроизвести в своем показании испытанное им событие: он не может вымолвить ни слова или страдает одним из расстройств речи, например, парафазией[404] или аграфией[405], менее всего передает то, что было в действительности, совершенно произвольно описывает или изображает пережитое им впечатление и т. п. Такие болезненные уклонения от нормальной способности репродукции в особенности обнаруживаются у истеричных**. Хотя историку редко приходится иметь дело со столь извращенными показаниями, но он все же должен обращать внимание на некоторые их особенности хотя бы при изучении той глоссолалии[406], которая появлялась среди некоторых религиозных сект, например, в той общине «конвульзионистов»[407], которая образовалась в Кюнгейме, подле Кольмара, не позднее 1844-го года***.

* *J. Sully*, Les illusions etc., pp. 52–67, 83. Mémoires de Luther, t. I., pp. 97–98.

** *A. Крамер*, Op. cit, ib. cc. 177, 190–192. *W. Wundt*, Völkerpsychologie, Bd. I, 1, SS. 501–508. *R. Meringer und K. Mayer*, Op. cit. SS. 121 ff.

*** *A. Teste*, Le magnétisme animal expliqué, Par., 1845, pp. 54–55.

Впрочем, следует обращать внимание и на другие более специфические факторы, играющие известную роль в образовании ненормальных показаний: на антропологический тип свидетеля, на его темперамент и характер, на его возраст, пол и т. п. Легко заметить, например, что женщины более подвержены истерии, чем мужчины, что соответственно должно отражаться и на их показаниях. Врачи указывают на то, что первое видение Иоанны Дарк произошло в период полового назревания, в одиночестве, в минуту религиозной экзальтации, после поста и т. п.

Предлагаемая группировка свидетельских показаний представляет, конечно, лишь довольно грубую схему и не дает понятия о постепенных переходах от одной разновидности к другой или о тех весьма разнообразных оттенках, которые могут встречаться в одном и том же показании: показание не всегда может быть безусловно нормальным или ненормальным; оно редко оказывается безусловно надежным, верным и правдивым или безусловно ненадежным, неверным и неправдивым; но при помощи таких категорий легче разобраться и в той смеси разнородных элементов, которую данное показание иногда представляет, даже в том случае, если нельзя отнести его без оговорок, к одной из основных групп, а, значит, легче судить и о том, почему оно достоверно или недостоверно.

Впрочем, генезис показания выясняется не только в связи с общими свойствами человеческой природы, но и в зависимости от условий той именно культуры, среди которой оно возникло, на что́ уже было указано выше при рассмотрении типизирующего метода интерпретации исторических источников. Благодаря данной культуре свидетель может, например, обладать большей или меньшей образованностью или располагать более или менее совершенными средствами для наблюдения или для закрепления своего показания, что, конечно, отражается и на его содержании; он может избрать ту, а не иную форму для своих показаний; но избирая, положим, литературную форму, более или менее принятую в данном обществе, он уже ставит содержание своих показаний в некоторую зависимость от нее: сообщая, положим, факты из жизни Генриха IV в биографии, предназначенной для друзей покойного императора, он изображает их иначе, чем в летописи, и т. п.

Генезис показания находится в зависимости от условий данного места, т. е. от того, где именно свидетель или автор показания нахо-

дился или какое именно положение он занимал в обществе, и в зависимости от таких условий становится более или менее достоверным или недостоверным. Юлий Цезарь, например, знал лишь пограничные германские племена, что не осталось без влияния на его известия о германцах. Адемар[408], один из лучших представителей той культуры, которая водворилась в ангулемских и лиможских монастырях феодального времени, дает в своей хронике много точных показаний относительно Аквитании; но говоря о том, что происходило на севере от Луары, он часто допускает крупнейшие промахи относительно действующих лиц и событий и т. п.

Вместе с тем генезис показания находится в зависимости и от условий времени, когда оно возникло. В древности, например, свидетель вообще мог относиться более легкомысленно к своему показанию, хотя бы потому, что менее теперешнего чувствовал себя ответственным за него: Гекатей, хотя и считал правдоподобное критерием исторической истины, но выводил свой род в 15-м колене от божества. В средние века довольно поверхностно относились к самым элементарным требованиям исторической критики: даже Оттон Фрейзингенский, лично способствовавший появлению известного австрийского привилея от 17 сентября 1156 г.[409], счел возможным передать его в труде о славных подвигах своего героя — императора Фридриха I по памяти, не справившись с подлинником, и допустил в его передаче целый ряд неточностей; но в позднейшее время, при более высоком уровне научных требований, такое отношение к фактической истине со стороны образованного историка противоречило бы самым общепринятым правилам исторической критики. Само собою разумеется, что, при относительно малом развитии общества, свидетель находится в условиях, благоприятствующих его легкомыслию или тенденции: он гораздо более может рассчитывать на доверчивое отношение общества к сообщаемым им известиям, а в противном случае, не боится оглашения своего показания через посредство печати, его критики, общественного мнения о нем и т. п.; в позднейшее время, с изменением таких условий, и отношение свидетеля к своим показаниям начинает меняться.

Вообще национальные, племенные и бытовые особенности свидетеля играют существенную роль и в образовании его показаний: язык той среды, к которой он принадлежит, его культура, в частности городские или сельские условия его жизни, его социальное положение и даже его обычные занятия, в отношении к которым он иногда особенно интересуется некоторыми подробностями происходившего, конечно, влияют на характер его показаний. Соответственно с данной культурой свидетель или автор преимущественно приписывает значение тому, а не иному роду фактов, стоющих внимания и сообщения, что придает его рассказу односторонний или тенденциозный характер. Тацит, например, занимаясь составлением своей «Германии», все же оставался римлянином времен империи, оценивал чужую народность и ее нравы с точки зрения римской культуры и писал свое сочинение для своих же соотечественников — римлян; ярый католик Карл IX[410] ложно хвастался тем, что он будто бы подготовил Варфоломееву ночь; Магдебургские центурии[411], составление которых было предпринято под руководством Матфея Флациуса[412] протестантскими учеными, резко расходятся в своей оценке папства с церковными анналами, писанными Цезарем Баронием[413] в защиту католицизма; С.-Симон, в своих мемуарах, — является противником абсолютизма Людовика XIV[414] и убежденным аристократом, порицающим планы короля оставить престол своим незаконным сыновьям, пользуясь покровительством регента — герцога Орлеанского[415] и т. д.; под влиянием интересов, соответственных тому социальному кругу, к которому он принадлежал, автор дает иногда довольно ложные показания о придворной жизни при Людовике XIV-ом и т. п.*

При изучении генезиса показания нельзя, однако, принимать во внимание одни только общие условия культуры и с такой точки зрения выяснять причины и мотивы того, а не иного рода показаний: каждая данная личность свидетеля более или менее отличается от других, что соответственно отражается и на его показании; оно зависит от личности свидетеля в ее целом, а не только от отдельных его свойств. Следовательно, генетическое рассмотрение показания должно быть возможно более индивидуализировано: оно должно

* Mémoires de Saint-Simon, v. I, pp. XII, XV–XVI; ср. *A. Sorel*, Lectures historiques, p. 42. Доверие общества к известного рода сказаниям находится иногда в зависимости от специальных причин: в средние века, например, благодаря твердой вере в то, что «Deus omnia quaecunque voluerit in caelo et in terra sine ulla difficultate potest efficere», т. е. вере в непосредственное вмешательство Бога в совершающиеся события, сказания о чудесах пользовались гораздо большим доверием, чем в позднейшее время; ср. *M. Schulz*, Op. cit., SS. 138–139.

преимущественно сосредоточиваться на изучении личности автора показания для того, чтобы возможно точнее объяснить его происхождение. Историк должен, подобно судье, знать личность свидетеля, его индивидуальные особенности для того, чтобы пользоваться его показанием, принять или отвергнуть его*: он выясняет положение, которое свидетель занимал в данном обществе, и его биографию; его способности и свойства его характера; его искренность или скрытность; его бережное или небрежное отношение к фактам; его образованность или невежество; его понимание или непонимание тех именно фактов, о которых он сообщает; его моральный облик; его эстетические вкусы; его беспристрастие или тенденциозность и т. п.; он обращает внимание и на те именно обстоятельства, при которых этот свидетель давал свое показание, на то место, в котором он показывал, и на тот момент его жизни, когда он показывал, и т. п. Таким образом, благодаря своему знакомству с личностью автора, историк получает возможность индивидуализировать критическую оценку его показаний.

С последней точки зрения, например, можно различать показания, в которых показывающий умеет сохранить объективность возможно более бесстрастного свидетеля, от показаний с эготическим характером, т. е. таких, в которых личность свидетеля постоянно оказывается центром изображаемых событий: он всему придает значение лишь постольку, поскольку и в чем оно касается его личности, он преимущественно сосредоточивает свое показание лишь на том, что непосредственно задевает его, хотя бы оно, само по себе, и не имело существенного значения. Историк различно ценит, например, показания Фукидида, который заставляет факты «говорить за себя», и показания генерала Марбо[416], который при описании пережитых им сражений, напротив, дает понять, что он именно «был там», что он действовал на поле сражения, что он несся во главе своих солдат против неприятеля и т. п.**

* *M. Lailler et H. Vonoven*, Op. cit., pp. 60–69; хотя авторы и не дают общей постановки проблемы генезиса показания, но приводят немало примеров того значения, какое знание биографий свидетеля имеет для правильной оценки судьей его показания.

** *А. Кони*, Op. cit., в сборнике: «Проблемы психологии», сс. 120–121; впрочем, автор говорит лишь об «эготической памяти». Ср. *A. Sorel*, Lectures historiques, p. 36. Об аналогичном отношений к газете см. *G. Wolf*, Einführung, S. 324.

Само собою разумеется, что индивидуально-генетическое рассмотрение показания не ограничивается такими общими различениями, а входит в подробности характера и жизни данной личности: лишь выяснивши, например, личность Юлия Цезаря, автора известных комментариев о войне римлян с галлами, его умение наблюдать факты и судить о них, его стратегические способности, его положение во главе римских легионов, его долговременное пребывание в Галлии, наконец самое время составления комментариев, по свежей памяти, вскоре по окончании галльской войны (51–46 гг. Р. Х.), историк может испытывать то чувство доверия, с каким он обращается к ним для изучения географии древней Галлии, религии и нравов ее обитателей и т. п. С аналогичной точки зрения приходится судить и об источниках позднейшего времени: историк не может, например, критически оценить мысли и воспоминания Бисмарка, не имея понятия о его характере, о его государственном уме, и в особенности о его железной воле и активности; не считаясь с тою объективностью и чувством ответственности, которые он испытывал, как государственный человек, но не как историк; не имея в виду, что он писал свои мемуары с национально-объединительной немецкой, а не только прусской, точки зрения и что он преимущественно останавливался лишь на тех событиях, в которых ему самому приходилось принимать личное и деятельное участие, часто умалчивая о других из-за политических соображений, хотя бы они и были нужны для понимания его собственного рассказа; историк не может выяснить происхождение рассуждений Меттерниха о «вечной справедливости», и объяснить источник его ложных и лживых суждений о собственной своей политике, не принимая во внимание личность Меттерниха, влияние на него религиозно-библейских и научно-либеральных идей, а также его связей с тем светским кругом, в котором он вращался, и т. п.*

В таких случаях историк прибегает, между прочим, и к индивидуализирующей интерпретации данного показания для его критики, не забывая, однако, что одно и то же показание может содержать несколько суждений разного достоинства и что, следовательно, каждое из них требует особого критического рассмотрения, которое нельзя отождествлять с исследованием его генезиса.

* *F. Meinecke*, Zur Geschichte Bismarks, в Hist. Zeit., Bd. 87, SS. 26, 27, 33. Ср. еще выше 695 <Т. 2. С. 307>, прим.

Итак, можно изучать генезис показания преимущественно с точки зрения его образования; но в некоторых случаях приходится еще особо рассматривать и генезис его подачи или высказывания. Свидетель может, например, мимоходом испытать известный факт, но не дать о нем положительного показания или ограничивается иногда молчаливо-отрицательным показанием, которое остается не высказанным или не записанным, или старается воздержаться от показания ввиду какой-либо «профессиональной тайны» и т. п.* Впрочем, и в тех случаях, когда свидетельское показание имеется налицо, генезис самого факта его подачи часто нуждается во внимательном исследовании.

[bb) Образование показаний под давлением внешних условий]

Всем известны случаи, когда свидетель хотел дать показание, но, под давлением внешних, преимущественно социальных и политических условий, не мог дать его в том виде, в каком он хотел или не хотел дать показание, и тем не менее, под влиянием условий подобного рода, принужден был дать его.

В тех случаях, когда свидетель не может свободно высказаться, так как высказывание его стеснено какими-либо внешними условиями, его показание можно назвать связанным. Свидетель дает его хотя и произвольно, но не без стеснений, например, под влиянием страха порицания, преследования, наказания и т. п., а потому и не может выразить его с полной откровенностью: он искусственно порывает связь между содержанием своего показания и естественной формой его обнаружения; даже в том случае, если он хочет сказать правду, он прибегает к намекам на то, что ему хочется выразить, к разным аллегориям и т. п.; он сглаживает свой стиль, говорит «эзоповским языком» и т. п.; при таких условиях он, разумеется, не может дать вполне удовлетворительное показание: ввиду несоответствия между затаенным содержанием и формою, умалчивания или даже легкого искажения некоторых фактов, иногда представляющих наибольший интерес, свидетель не всегда может придать полную достоверность своему показанию, хотя бы и желал избежать упрека в его недостоверности.

* Ср. ниже, с. 747 <Т. 2. С. 351>, прим.

В таких условиях часто находится тот, кто принужден высказываться под давлением цензуры: заблаговременно вызывая со стороны самого свидетеля меры к тому, чтобы прикрыть свое показание, она, в обратном случае сама изменяет его. Деятельность цензуры распространяется на самые разнообразные показания. В последние годы своего правления английская королева Елисавета[417] заботилась, например, о том, чтобы ее изображение на монетах возможно менее соответствовало оригиналу: состарившись и подурнев, она осталась недовольна тем портретом, который и теперь еще можно видеть на одной большой серебряной монете, где королева представлена в профиль с ее ястребиным носом, наморщенным челом и сжатыми губами. В награду за такую работу, слишком хорошо напоминавшую оригинал, Елисавета велела посадить художника-гравера, резавшего матрицу, под арест, а самую матрицу уничтожить, заменив ее более красивыми образцами. Влияние цензуры духовной и светской отразилось, конечно, на многих показаниях: доктора Сорбонны, например, долгое время применяли цензуру к трудам, касавшимся богословия, благочестия и философии; в 1848-ом году, по словам одного из наших благонамеренных писателей, цензура в России делалась «неслыханным бичем»... и решительно запрещала ему употреблять слова: «низшие классы», «рабочий народ» или «класс», даже в тех случаях, когда он вовсе не касался русской жизни, и т. п.*

В тех случаях, когда свидетель не может, согласно своему желанию, воздержаться от показания, т. е. вынужден дать требуемое показание, можно назвать его вынужденным. Дальнейшее его изучение может получить двоякое направление: или такое обстоятельство не отразилось на показании, и, значит, исследователь может пренебречь им; или оно носит на себе следы своего искусственного происхождения, т. е. следы влияния чужой мысли. В последнем случае можно часто признать его зависимым показанием и, следовательно, пользоваться теми принципами и методами различения зависимых показаний от независимых, которые уже были указаны выше.

Впрочем, показание может быть вынуждено различными способами, например, путем внушения или насильственного давления.

* *G.-L. Duprat*, Le Mensonge, p. 73 (о влиянии страха на детские неправдивые показания). *А. Хомяков*, Сочинения, т. VIII, с. 172; автор имеет в виду свою статью об Англии.

Вынужденные показания часто возникают под влиянием внушения: оно прививает воспринимающему лицу идеи, чувства или эмоции без участия его воли и нередко даже без ясного с его стороны сознания, заставляет его говорить то, что хочет за него другой, хотя бы самому воспринимающему его показание и казалось самопроизвольно данным. Более или менее явно выраженное ожидание опрашивающего и самая постановка вопроса может уже внушать свидетелю то направление, в каком он «должен» ответить. Такая форма показания часто лишает свидетеля возможности придать ему индивидуальный характер, а иногда выпытывает у него сведения, которые он хорошо не помнит или не знает и при сообщении которых он впадает в ошибки*. Показания подобного рода можно встретить, например, в старинных и даже позднейших процессах о колдунах и ведьмах: папы, проповедники и другие лица внушали населению веру в их сношения с дьяволом или поддерживали ее, а инквизиторы принимали простые доносы на них, не требуя доказательств, чем и благоприятствовали появлению внушенных показаний; люди подавали их иногда из самозащиты: они обвиняли другого для того, чтобы оградить себя от такого же обвинения. В древности и в средние века некоторые уверяли, что «видели», как, благодаря чудесной силе заклинания или молитвы, духи выходили вон из одержимого: остяки[418] и тунгусы[419] и теперь еще «видят», как духи покидают шамана; и т. п.**

* *A. Binet*, La Sugestibilité, Par., 1900, pp. 246–247; ср. p. 287. *J. Larguier des Bancels*, Op. cit., ib., pp. 184–190. Хотя историк обыкновенно имеет дело с произвольными показаниями, не вызванными вопросами, однако, он должен иметь в виду, что такие «произвольные показания» сами могли возникнуть иногда путем опроса свидетелей, показания которых записывались и выдавались за произвольные, хотя могли уже быть результатом того внушения, какое оказывает тот, кто ставит вопросы, на того, кто отвечает на них; в случаях подобного рода, даже интонации или жесты допрашивающего уже могут влиять на характер ответа; последний, правда, может быть полнее произвольного показания, но легко становится и менее достоверным; впрочем, восприимчивость ко внушению, очень заметная у детей, с течением лет убывает. Ср. еще выше с. 532 <Т. 2. С. 169> и сл. (критику подл. и неподл.), а также работы: *E. Bernheim*'a, Suggestion et persuasion, в Rev. Scient. 1905, Mars 4. *А. Елистратова и А. Завадского*, О влиянии опросов без внушения на достоверность свидетельского показания, Казань, 1905 г. и *W. Stern*'a, Die Aussage, SS. 44–45, 62, 67–77.

** *A. Lehmann*, Aberglaube und Zauberei, nep. Petersen'a. Stuttgart, 1898, SS. 91–95, 99–101. Ср. *O. Snell*, Hexenprocesse und Geistesstörung, 1891. *W. Soldan*, Geschichte der Hexenprozesse, neu bearb. von Heppe, Stuttgart, 1880, Bd. 1–2.

Вынужденное показание вызывается и более или менее насильственным давлением. Показания, которые вымогала, например, инквизиция[420] или наша тайная канцелярия[421], уже по самому способу своей подачи далеко не всегда могут внушать доверие: сделанные под влиянием пытки и инстинктивного стремления избавиться от нее, они часто содержат недостоверные оговоры третьих лиц, даже мнимые признания в собственной виновности. Григорий Турский рассказывает, между прочим, что, по случаю смерти в 580-м году двух сыновей известной Фредегунды[422], их сводный брат Хлодвиг был обвинен в том, что он причинил им смерть при помощи двух женщин через посредство злых чар; одна из них была подвергнута пытке, пока не созналась в своей «вине», и была сожжена, несмотря на то, что до смерти успела отказаться от своего признания, и т. п.*

[cc) Образование совокупности таких показаний или рассказов]

Все сказанное выше об отдельных показаниях можно, конечно, более или менее относить и к целым совокупностям их, т. е. к рассказам. Само собою разумеется, однако, что, чем сложнее рассказ, тем более он может оказаться достоверным или недостоверным: в пределах данной совокупности показания могут взаимно подкреплять или контаминировать друг друга, да и та комбинация, которая им придается, может иметь разное значение. В самом деле, комбинация показаний может быть правильной; но она часто оказывается и неправильной. В том случае, например, если свидетель стремится, не искажая правды, представить ее, однако, в таком виде, чтобы произвести большее впечатление на воспринимающего, он уже придает рассказываемому обманчивую форму, способную ввести его в некоторое

* *J. Hansen*, Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter. München und Lpz., 1900, S. 113 и др. «Слово и дело государевы», материалы изд. под ред. Н. Новомбергского, Томск, 1909–1911 гг., тт. I–II и др. В числе вынужденных показаний можно отметить еще такие, которые возникают путем законного принуждения: по мнению некоторых английских юристов, например, и врачи и (вероятно) духовные лица могут быть принуждаемы к открытию сообщений, сделанных им конфиденциально при отправлении профессии (см. *Дж. Стифен*, Op. cit., стр. 125); но такие специальные случаи не представляются особенно характерными для рассматриваемого рода показаний и едва ли часто встречаются в области исторических разысканий.

заблуждение: тот, кто определяет, например, военные силы, может произвести разное впечатление, смотря по тому, исчисляет ли он их по дивизиям, батальонам или еще менее значительным частям войск, которых соответственно окажется больше в итоге, и т. п. Самая форма рассказа может усиливать источники ошибок, рассмотренных выше. Действительно, в рассказе о факте свидетель может относиться к нему более «свободно», чем в отдельном показании о нем, менее сосредоточивает свое внимание на чем-либо одном, легче переходит от одного к другому, больше опирается на память, дает больший простор своему воображению и т. п. Вообще, рассказывая о факте, свидетель должен, например, начать его с описания того, а не иного из его моментов, затем перейти к следующему и т. д.; но при таких условиях он может допустить большее число пробелов в запоминании своих восприятий и их высказывании, чаще вносит в рассказ свои собственные переживания или оценку, легче искажает факт под влиянием тех или иных побуждений, тенденций и т. п. С такой точки зрения, например, отрывочные записи, делаемые изо дня в день в дневниках, оказываются более надежными, чем целые рассказы, встречающиеся в автобиографиях: в последнем случае свидетель сливает многие показания в одно целое, что и может породить новые ошибки, обусловленные самой формой принятого им рассказа.

[c) Генезис известий, пересказов и слухов]

Итак, при изучении генезиса показаний или образованных из них рассказов приходится обращать особенное внимание на те из них, которые называются свидетельскими: ведь их происхождением легко объяснить достоверность, а отчасти и недостоверность зависящих от них известий или пересказов. В самом деле, верность передачи состоит в возможно более точном воспроизведении и правдивого, и неправдивого показания или рассказа; следовательно, известие или пересказ сами по себе не могут отличаться большею достоверностью или недостоверностью, чем то показание или тот рассказ, содержание которого передается, если только сам посредник не внес каких-либо изменений в известие или пересказ, не обнаружил своего отношения к содержанию передаваемого и т. п.

Такая оценка может иногда оказаться довольно удачной. В самом деле, некоторые известия, пожалуй, обладают самостоятельным значением в качестве правдивых оценок передаваемых в них фактов. Возьмем хотя бы известное предание о том, как Аттила[423] со своей ордою явился перед стенами Рима, как он грозил ему разрушением и как он отступил перед римским епископом Львом I[424], который вышел к нему навстречу, окруженный своим причтом. Предание повествует, что в то время, когда Лев I уговаривал Аттилу отказаться от осады города, царь внезапно увидал рядом с ним апостолов Петра и Павла с обнаженными мечами и в ужасе велел отступить. Приведенное сказание, конечно, — легенда; но оно содержит правдивую оценку могучей личности Льва I, твердо убежденного в том, что он — преемник св. Петра, и такую же оценку преимуществ римско-христианской культуры над полудикою ордой*.

В большинстве случаев, однако, известие может, в зависимости от передачи, оказаться гораздо менее достоверным, чем свидетельское показание; следовательно, выяснение генезиса известия получает некоторое значение преимущественно для лучшего понимания его недостоверности. Главная причина, порождающая ее, состоит, конечно, в небрежной или недобросовестной передаче чужого показания: в силу естественной склонности человека верить тому, что передается, тот, кто передает чужое показание, редко относится к нему критически и, впадая в погрешности, уже указанные выше, часто обращается с ним более поверхностно или произвольно, чем тот, кто повторяет собственное свое показание. Посредник легко может, при самой передаче чужого показания, извратить его и, без умысла или с умыслом, внести в него какие-либо изменения; следовательно, в зависимости от той, а не иной передачи, он может сообщить неверное или неправдивое известие**.

---

* *A. Harnack*, Legenden als Geschichtsquellen, в Reden und Aufsätze, Bd. I (1904), S. 14; другие примеры собраны там же SS. 13–16.

** *J. M. Chladenius*, Op. cit. SS. 297, 301; в шестой и седьмой главах своего труда автор дает и до сих пор еще не бесполезное обозрение тех разнообразных метаморфоз, которым рассказ часто подвергается при его передаче; см. SS. 115–202. Ср. выше о разновидностях неумышленных ошибок с. 581 <Т. 2. С. 210–211>. Средневековые писатели отмечали, например, вслед за Иеронимом, что «aliter enim narrantur visa, aliter audita» (Regino v. Prüm), что «solent enim visa auditis notiora esse cordique tenacius adhaerere»[425] (Anonymus Haserensis) и т. п., см. *M. Schulz*, Die Lehre von der historischen Methode bei den Geschichtsschreibern des Mittelalters, Berl. u. Lpz., 1909, SS. 17, 18, 22. Ошибки часто оказываются, например, при передаче имен собственных и цифровых показаний, о чем см. *A. Boekh*, Encyklopaedie, S. 208.

Невольное извращение чужого показания часто касается только одной его формы, что, впрочем, может уже отразиться и на его содержании. В самом деле, случайное искажение чужого показания, например, нередко состоит в тех «ослышках» или оговорках, недосмотрах или описках, которые ведут к образованию неверного известия: посредник может неверно передать слова мало знакомой ему речи или письма. Плиний жалуется, например, на иллирийские «nomina ineffabilia»[426], Мела[427] заявляет, что он будет приводить лишь те имена, которые римлянин может выговорить, Герберштейн пишет «Хева» вместо «Нева» и т. п. Передаваемое показание может, конечно, подвергаться самым разнообразным метаморфозам. Достаточно припомнить те ошибки, которые возникают благодаря невежественным писцам и особенно наглядно обнаруживаются также при передаче имен собственных: переписчики географии Птолемея[428], например, превратили чтение «Ἀσπουργιανοί»[429] в «Ἀστουρικανοί»; переписчики известного сочинения Плиния переделали чтение «Utii Aorsi Anjterae»[430] в «Utidorsi Aroteres» и т. п.* Сюда же можно отнести и те ошибки, которые бывают при переделке туземных имен на иностранный лад: передающий их сообразуется с законами своего языка и искажает чужеземное имя, что так часто встречается у старинных писателей в особенности при передаче имен собственных; они вносили иногда и довольно произвольные толкования в передаваемые ими термины, и, под влиянием известных ассоциаций, превращали, например, слово «Славяне» в слово «Sclavi», или слово «Татары» в слово «Tartari» и т. п.

Впрочем, невольное извращение показания при его передаче может распространяться и на его содержание: опыты пересказа чужих показаний обнаружили, что передающий часто невольно опускает или прибавляет, а также искажает то, что он слышал или читал. В своих реляциях о разных событиях эпохи реформации Цазий[431], например, едва ли точно передавал сведения, которыми он хотел занять своих читателей**.

* *R. Meringer und K. Mayer*, Op. cit., SS. 101, 152, 157, 220. *A. L. Schlözer*, Nord. Geschichte, Halle, 1771, SS. 106–108. *C. Ptolemaei* Geographia X. 8, 12; rec C. Müllerus, Par., 1883, v. I, pp. 428, 918.

** «Проблемы психологии», сс. 90–91. Hist. Ziet. Bd. 95 (1905), SS. 228 ff.

Вместе с более или менее невольными извращениями чужого показания известие нередко содержит и более или менее произвольные или преднамеренные его изменения.

В последнем случае известие становится ложным или лживым: генезис преимущественно такого известия, в особенности, ложная или лживая передача чужого показания или рассказа, заслуживает несколько более внимательного рассмотрения.

Ложное известие нередко возникает так же, как и ложное свидетельское показание: посредник может кое-что убавить из него или прибавить к нему, ослабить или усилить некоторые его черты и т. п. Передавая чужое показание не в полном его виде, т. е. скрывая часть его, посредник может, конечно, и не вполне извратить, а только урезать его содержание. После сражения при Бородине, например, Кутузов прислал императору Александру I донесение, в котором он сообщил, что «неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными силами», но что вместе с тем, ввиду значительных потерь, он «взял намерение отступить» за Можайск. При чтении донесения Кутузова в Невском монастыре, перед молебном, а затем и при напечатании его в «Северной почте»[432] последние его слова были исключены, что придало несколько иной смысл всему донесению*. Передача может еще более извратить чужое показание путем разного рода произвольных добавлений к нему. Посредник нередко включает в известие свою собственную субъективную оценку сообщаемого им факта. В некоторых случаях, например, субъект, передающий чужое показание о факте, вместе с тем предлагает и научную его оценку, т. е. объясняет его, не имея на то достаточно данных, т. е. придумывает свое объяснение данному факту и, присоединяя его к известию, может придать ему такое фактическое значение, какого чужое показание не имело. Особый вид источников, а именно «этиологические сказания», возникает под влиянием желания объяснить значение какого-либо имени собственного, названия лица или места, прозвища или геральдического знака и т. п. В виде примера можно припомнить хотя бы возникновение известной тюрингенской легенды о графе Глейхене. Легенда повествует о том, как граф Глейхен в 1227 г. отправился в святую землю, как он был взят в плен и женился на дочери султана, как он возвратился с нею к прежней жене и мирно про-

* *Н. Шильдер*, История императора Александра I, т. III, 108–109.

жил свой век двоеженцем; но легенда о графе Глейхене возникла из желания народа объяснить значение одного надгробного камня, на котором изображен мужчина между двумя женщинами, причем одна из них имеет своеобразный головной убор, и, значит, едва ли заслуживает доверия. Рассказчик-моралист также охотно примешивает к сообщаемым известиям свою оценку. При составлении известных своих жизнеописаний Плутарх[433] пользовался многими источниками, и с морализирующей точки зрения оценивал почерпаемые из них сведения: желая выставить в лице своих героев образцы известных качеств, он идеализировал их, смягчал темные их стороны, касался лишь тех фактов, которые нужны были ему для достижения его цели, и опускал многие другие, даже важные; один из писателей XII-го века — Павел из Бернридского монастыря составил биографию папы Григория VII[434], которого он представляет мучеником, и биографию императора Генриха IV-го[435], которого он изображает односторонне в виде своего рода Нерона[436], и т. п. Рассказчик, желающий при передаче придать эстетическую ценность или интерес своему рассказу, также прибегает к соответствующим приемам изображения передаваемых фактов, особенно в тех случаях, когда он комбинирует несколько известий и пересказывает их: для того, например, чтобы придать больше единства пересказу, касающемуся целой группы или целого ряда фактов, он концентрирует их вокруг одного какого-нибудь лица или события, что и порождает известное впечатление внешнего единства. Легенда охотно прибегает к персонификации или к концентрации: она переносит действия целых групп или поколений на одно лицо или сосредоточивает целую совокупность фактов (группу или ряд) в одном центральном событии. Легенда приписывает, например, заимствование греками письменных знаков у финикиян Кадму[437]; она представляет завоевание греками малоазиатских берегов в виде осады Илиона[438], вековую борьбу между французами и сарацинами — в битвах при «Алискансе» и «Ронсево»[439], целые сражения — в виде единоборств между двумя героями, описываемых в тех же и многих других сказаниях, и т. п.* Впрочем, для того, чтобы придать бóльшую живость рассказу, составитель подвергает его содержание и драматизации; он дает яркие характеристики своих героев, хорошо знает мотивы их действий,

* *V. Vedel*, Heldenleben, Lpz., 1910, SS. 22, 91, 94–95.

а, в случае нужды, дополняет их, нарочно придумывает эффектные положения и сцены, вводит в свой рассказ много подробностей и т. п., например, хотя бы в известном сказании о Вильгельме Телле и о его подвигах. Рассказчик часто приноравливает, сверх того, свой рассказ к требованиям той литературной формы, которую он избрал для своего рассказа, что, разумеется, также влияет на степень его достоверности или недостоверности. Мотивы искажений в таких случаях находятся в зависимости от тех целей, какие преследуются данным литературным родом: автор лирического произведения подкупает читателя откровенностью и интимностью своих сообщений, но они иногда мнимые; творец драматического произведения стремится растрогать читателей и соответственно изображает ход действия, хотя бы оно в таком виде и не происходило; оратор стремится своей речью произвести эффект, который рассчитан, однако, лишь на данный момент и на то, чтобы склонить слушателя к действию, и т. п. Аналогичные приемы литературного изложения могут отражаться и в историческом предании; образцы подобного рода были уже приведены выше, например, из сказаний о Роланде и т. п.

Вообще, для того, чтобы поднять значение какого-либо лица или описываемого факта или поддержать интерес к рассказу, передающий его привносит в него разные эффектные известия из других рассказов, и, следовательно, одному лицу или событию приписывает свойства или деяния совсем другого, что часто встречается в легендах о святых, о героях и т. п. В средние века, например, Карл Великий приобрел славу законодателя; ему же стали приписывать составление многих законодательных актов, происхождение которых, в сущности, было неизвестно, и т. п.

Передача известий или рассказов, разумеется, может затемняться еще более субъективными настроениями посредника, аналогичными с теми, какие обнаруживаются и у свидетеля. Биньон, например, преклонялся пред личностью Наполеона I, что отразилось и в сообщаемых им сведениях; де Прадт, напротив, не сочувствовал Наполеону I и придавал некоторым сведением о нем соответственную окраску и т. п.

Пересказ, т. е. передача рассказа или целой совокупности известий представляет, конечно, еще более удобных случаев для преднамеренных его изменений, чем передача отдельно взятого известия. Такой пересказ может содержать, например, урезки или добавления,

часто затемняющие или искажающие смысл передаваемого. Процесс редукции рассказа встречается хотя бы у средневековых писателей, заявляющих, что они не могут всего рассказывать «по порядку», опасаясь впасть в черезмерное многословие: в своей жизни Анскария[440] Римберт заявляет, что он сообщает только один пример «преступного» восстания народа и т. п. Процесс амплификации[441] рассказа наблюдается также, например, в пересказах, попавших в Густынскую летопись[442], и т. п.*

В числе пересказов можно отметить между прочим, и особый вид, возникающий в том случае, если кто-либо передает об ожидаемом факте, как о случившемся. Саксонский летописец Видукинд рассказывает, например, о коронации Оттона I отчасти со слов одной грамоты, предписывавшей порядок предстоящей коронации; некоторые средневековые анналисты описывают иногда маршрут короля на праздник, руководствуясь предварительно сделанными распоряжениями, а не действительным ходом путешествия; современные репортеры при составлении своих известий часто пользуются предварительно изданными программами разных торжеств, не справляясь с тем, что̀ из них действительно было осуществлено, и т. п.**

Итак, ложная передача чужого показания или рассказа, хотя бы содержание их было правдиво, может породить ложное известие или ложный пересказ.

Передача показания, рассказа и т. п. может оказаться, однако, частью ложной, частью лживой, например, при частичной его подделке, или становится преимущественно лживой по мере того, как фабрикация его приближается к полной подделке. Макферсон, например, пользовался шотландскими легендами, впрочем, не старше

* *M. Schulz*, Op. cit., S. 111 и др. Процесс «сгущения» мысли замечается также в тех случаях, когда рассказ или басня превращается в пословицу, т. е. когда все ее типическое содержание сосредоточивается в пословице или когда конечное ее изречение, путем ее инверсии, получает такой же характер. Простонародная пословица «счастье лучше богатырства» возникла, по предположению одного из наших исследователей, из сказки о Фомке Беренникове, который оказался счастливее богатырей Ильи Муромца и Алеши Поповича; но в таких случаях содержание рассказа уже теряет свой конкретный характер; см. *А. Потебня*, Из лекций по теории словесности, Харьков, 1894 г., сс. 86 и сл., 93 и сл. *В. Иконников*, Опыт, т. II, сс. 1520–1526.

** *E. Bernheim*, Lehrbuch, SS. 488–490; автор называет такие пересказы: «Nachbildungen»[443].

XII-го века, для составления своего эпического цикла «Оссиана»; но он не сохранил в своем произведении часто попадающихся в них перечислений оружия и разных предметов обстановки и, наоборот, вставил описания ландшафтов, вовсе не встречающихся в песнях старинных бардов: он совершенно переделал их, изменил хронологию, имена героев и характер быта: вместо прославления героев и их подвигов он умилялся перед красотами природы; вместо изображения диких и жестоких нравов он представлял людей того времени чувствительными, утонченными и изысканно-вежливыми; вместо того, чтобы изображать факты в той последовательности, в какой они представлялись бардами, он перетасовывал их: он превращал ирландских наемников в шотландских героев, вместо восьмого века, заставлял их появляться на берегах Ирландии в третьем и т. п. Само собою разумеется, однако, что подделки вроде указанной выше хроники короля Родриго[444], содержат не столько лживую передачу чужих показаний или рассказов, сколько продукты фантазии тех, которые их подделывали*.

Критика чужих показаний или рассказов становится еще более сложной, если они прошли несколько передаточных инстанций и, благодаря такому процессу, превратились в повторяющиеся пересказы: ведь вероятность ошибки возрастает пропорционально возрастающему числу передаточных инстанций, по крайней мере, до известного предела, т. е. до того времени, когда данное предание получает общепризнанную форму, в которой оно и продолжает повторяться. Таким образом, нельзя пользоваться известиями или пересказами, не попытавшись выяснить, через посредство каких именно передаточных инстанций они возникли.

В самом деле, известия или пересказы, достигающие до нас через посредство целого ряда передаточных инстанций, путем повторения, часто подвергаются дальнейшим изменениям. Более тонкие оттенки мысли при таких условиях могут совершенно исчезнуть в последующей ее передаче: А высказывает, например, предположение, что факт X мог случиться, В, при передаче показания А, уже сообщает, что факт X вероятно случился; С, при передаче известия В, идет еще дальше: он

* *A. Thierry*, Op. cit., pp. 20–22. Ср. выше сс. 597 <Т. 2. С. 223–224> и сл.; 729 <Т. 2. С. 335–336> и сл.

уже прямо утверждает, что факт X действительно случился, и т. п.* Повторение рассказа, разумеется, чаще приводит к преувеличению, чем к преуменьшению его содержания. В песне о Роланде полугодовой поход Карла Великого в Испанию превратился в семигодовой, а в позднейших песнях растягивается на двадцать семь лет и т. п. По мере изменения условий культуры повторяющийся пересказ может придавать и иное значение излагаемым фактам: многие мифы, например, превратились в народные или даже детские сказки; такой процесс и теперь еще можно наблюдать у некоторых народов, например у Тодасов (Todas)[445]; он приводит к образованию таких наших сказок, как, положим, «Мальчик с пальчик» и др. Предание вносит иногда и субъективную оценку в изображение фактов и таким образом искажает их. Сказания о походе Карла Великого в Испанию, например, представляют его поражение при Ронсево в совсем другом свете: он возвращается из Испании после целого ряда завоеваний, а не отступает после неудачного похода; он сражается с многочисленными полчищами сарацинов, а не с мелкими баскскими племенами[446]; потерпев поражение при Ронсево, вызванное постыдной изменой, он, однако, страшно мстит изменникам и т. д.**

В тех случаях, когда религиозная санкция или обычай поддерживают неприкосновенность рассказываемого, оно, конечно, довольно быстро кристаллизуется в известную общепризнанную форму, которая сама содействует его сохранению, например, при помощи ритма, напева или рифмы и т. п.; да и сами слушатели готовы исправить того, кто уклоняется от общепринятого содержания и такой же формы предания; но повторение «из уст в уста» одного и того же сказания, разумеется, может вносить в него и большие изменения. По мере увеличения передаточных инстанций содержание рассказа может сокращаться или нарастать. Сокращение рассказа можно наблюдать, хотя бы при письменной передаче устных народных легенд. Григорий Турский заявляет, например, что он нашел одну древнюю легенду об Андрее[447], отличавшуюся, однако, «излишним многословием» и, желая вернуть ей прежнее значение, выпустил из нее те чудеса, которые

* *W. Stern*, Op. cit., в Zeit. für gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. XXII, SS. 326–365. (Конкретный опыт подобного рода переделки.)

** *V. Vedel*, Heldenleben, Lpz., 1910, S. 24; ср. SS. 32, 33. *G. L. Gomme*, Op. cit., pp. 148–149, 150.

были «менее интересны». Гинкмар рассказывает, что легенда о св. Ремигии[448] существовала в пространном пересказе и вытеснена была краткой ее переработкой, которая сделана была Фортунатом[449], и т. п.* Процесс нарастания также часто встречается. В Гренландии, например, эскимосы — сказители «древних» преданий сочиняют и новейшие сказания, пользуясь рассказами стариков о приключениях их ближайших предков и примешивая к ним немало сверхъестественного или чудесного; арабы-рассказчики часто включают в предания, при передаче их, продукты своей фантазии и т. п. В образовании исторических легенд можно заметить аналогичный процесс нарастания: древнейшие версии сказания об основании Рима, уже известные в середине V столетия до Р. Х., например, касаются одного только Ромула: с течением времени, однако, и, может быть, под влиянием желания при основании вечного города усмотреть то двоевластие, которое развилось в консулате[450], легенда, в позднейших своих редакциях, рассказывает о близнецах Ромуле и Реме[451], и локализирует аусписции Рема[452] на Авентинском холме, что нельзя не признать «чистой выдумкой»**. Такой процесс нарастания может обнаружиться и в других формах, хотя бы в виде слияния или смешения двух различных сказаний: полагают, например, что известная сказка о Синей бороде сложилась из сказания о Жиле де Ретце, сиере де Лавале[453], бывшем маршале Франции, и из легенды о проклятом Коморе, графе Поэрском. Малейшего сходства между именами и событиями достаточно для того, чтобы дать повод к самым разнообразным комбинациям подобного рода. Различные лица, носившие имя Карла, а также франкские Теодорихи[454] и Теодеберты[455] смешиваются друг с другом; различные французские Вильгельмы[456], в течение нескольких веков сражавшиеся с сарацинами, и их битвы сливаются в образе Вильгельма Оранского[457] и в изображении сражения при Алискансе и т. п.

Пересказ, состоящий в посредственной передаче известия или предания, получает особенно характерные формы в тех случаях,

* *M. Schulz*, Op. cit., SS. 110–111. Целый эпос или роман может дать пословицу, а пословица может сократиться до одного слова, вроде: «сдуру», «везет» и т. п.; но и тут следует иметь в виду оговорку, сделанную выше на с. 755 <Т. 2. С. 357–358> прим.; ср. *А. Потебня*, Op. cit., сс. 102, 111.

** *S. Hartland*, The Science of fairy tales, Ld. (1891), pp. 12–13, 16, ff. *Th. Mommsen*, Gesammelte Schriften, Bd. IV, SS. 1–21.

когда оно становится анонимным «слухом», который распространяется через посредство «молвы». Передача «слуха», к которому «толпа» вообще относится с доверием, и многократное его повторение может привести к смешению его с воспоминанием о будто бы бывшем и породить, наконец, веру в достоверность его содержания, заразительно действующую на большинство, хотя бы такое содержание возросло до чрезвычайных размеров*. Весьма поучительный пример можно привести из недавнего нашего прошлого. «В одном из восточных уездов Самарской губернии крестьяне двух соседних сел подрались между собой на сенокосе, заспорив о меже. Побитые, удаляясь, похвалялись, что нагонят в отместку орду. Эта угроза смутила победителей, и призрак идущей орды до такой степени овладел их воображением, а равно и всего околотка, что все население, с детьми, женами, стариками, с возами, нагруженными домашним добром, двинулось к Самаре. Весть о нашествии орды произвела всеобщую панику, которой отдались не одни крестьяне, но даже некоторые помещицы, а один из священников послал, кажется, приглашение к уральским или оренбургским казакам явиться на защиту. Более 40 тыс. человек спасающегося от орды населения появилось у самой Самары, и едва-едва удалось губернским властям успокоить их и убедить возвратиться восвояси»**.

«Слухи» проникают, конечно, и в письменное предание. Геродот, например, многое заимствовал из устной традиции. Средневековые летописцы Павел Диакон, Беда, Гинкмар и другие, считали возможным передавать те слухи, которые они почерпали из «fama vulgante»[458], и, хотя иногда, в общих выражениях, снимали с себя ответственность за достоверность таких пересказов, однако, в других случаях, подобно Фольквину, считали возможным принимать их без всяких оговорок; еще Фруассар[459] довольно безразлично пользовался слухами наряду с другими источниками***. Рассказы, образованные на основании «слухов», нередко служат для тенденциозного изображения фактов, например легенды, которыми окутана ранняя история христианской церкви, легенды о Карле Великом, о Фридрихе Великом, о Наполеоне I

* *G. Le Bon*, Psychologie des foules, 2 éd., pp. 27–37.

** *А. С. Хомяков*, Сочинения, т. VIII, с. 289–290, примечание И. С. Аксакова.

*** *M. Schulz*, Op. cit., SS. 36–38.

и т. п.* В таких случаях, однако, «слух» уже закрепляется в письменном предании, что́ и может задержать дальнейшее его искажение.

В самом деле, устное предание получает более или менее окончательную форму лишь по превращении его в письменное, если только само оно не подвергается дальнейшим метаморфозам в последующих его редакциях. Фруассар, например, закрепил в своей хронике многие рассказы своих современников: Эспена (Espaing de Lyon), Спенсера, Брюса и других; но многие из таких рассказов подвергаются более или менее продолжительному обращению прежде, чем в виде повторяющихся пересказов попадают в письменное предание и закрепляются в нем**.

Нельзя не заметить, однако, аналогичный процесс и в передаче письменных известий: один из участников в сражении при Сольферино[460] рассказывает, например, что официальные донесения о нем, образованные, конечно, на основании множества свидетельских показаний, подверглись, однако, целому ряду изменений со стороны тех, через руки которых они проходили, пока они не достигли до начальника штаба и самого маршала, которые также не преминули «исправить» их, так что от первоначального их текста «почти ничего не осталось» и т. п.***

[4. Заключительные замечания о разнообразных комбинациях вышеуказанных принципов и методов в применении их к разным видам источников и дальнейшее их осложнение]

Все сказанное выше о свидетельских показаниях, известиях, пересказах, слухах и т. п., разумеется, относится и к источникам сложного состава****. Даже «первоисточники» редко состоят из одних только свидетельских показаний; многие источники содержат преимущественно или исключительно одни только известия и пересказы, например: история Тита Ливия, большие французские хроники, составленные Приматом[461] и другими авторами в XIII–XV вв., наш «общерусский

* *A. Harnack*, Legenden als Geschichtsquellen, в Rede und Aufsätze, Bd. I (1904), SS. 6 ff.

** *A. Molinier*, Op. cit., pp. CXXXVIII–CXXXIX; ср. p. LXXX.

*** *G. Le Bon*, Op. cit., p. 35.

**** Ср. выше сс. 584–597 <Т. 2. С. 213–224>.

свод» 1423 года[462], не говоря уже о таких компилятивных сборниках, которые подобно «Theatrum Europeum»[463], передают много разных слухов, и т. п.* Ввиду того, однако, что такие источники заключают данные далеко не одинаковой ценности, изучение их генезиса становится еще более затруднительным: оно не всегда может привести к объяснению причин и мотивов их достоверности или недостоверности.

Вышеуказанные принципы и способы исследования достоверности или недостоверности источников применяются, конечно, в различной мере и в разных комбинациях, смотря по тому, к какому именно виду данный источник преимущественно относится. В той мере, например, в какой источник, принадлежащий к числу остатков культуры, содержит элементы исторического предания, он уже нуждается в критике показаний: автор дневника или письма, высказывающий в нем свои настроения, далеко не всегда оказывается искренним и может, например, льстить тому, для кого или кому он пишет; сочинитель автобиографии или мемуаров нередко поучает потомство, восхваляет или оправдывает себя и своих близких и, наоборот, принижает или осуждает своих врагов и их поступки; сооружающий надпись также придает ей один из таких оттенков и возвеличивает или умаляет чьи-либо деяния; дипломатический агент часто включает в свою депешу разные известия или передает слухи, подлежащие внимательной проверке, и т. п.** Само собою разумеется, что чем ближе источник к историческому преданию, тем более он требует такой же проверки: составитель погодных записей или аннал, например, уже делает некоторый подбор интересующих его фактов и часто смешивает достоверное с недостоверным; подвергая такие сведения несколько более систематической обработке, летописец часто обнаруживает в своей хронике и то мировоззрение, под влиянием которого он писал ее; слагатель мифа или сказания, или тот, кто передает их, часто прибегает к персонификации или какой-либо иной переработке, что вызывает необходимость подвергать их, в целом их объеме, самой строгой критике, и т. п.*

* *A. Molinier*, Les grandes chroniques de France, в сборнике: Études d'histoire du Moyen âge, dédiées à Gabriel Monod, Par., 1896, pp. 307–316. Ср. выше с. 587 <Т. 2. С. 215 >. *A. Molinier*, Les grandes chroniques de France, в сборнике: Études d'histoire du Moyen âge, dédiées à Gabriel Monod, Par., 1896, pp. 307–316. Ср. выше с. 587 <Т. 2. С. 215–216>.

** *H. Ulmann*, Op cit., S. 5; здесь можно припомнить, например, донесения папских нунциев и венецианских послов XVI–XVIII столетий; о них см. *G. Wolf*, Einführung, SS. 605–613, 620–621.

Такие разнообразные оттенки следует, конечно, принимать во внимание при критическом изучении данного рода источников: но общие его начала уже были рассмотрены выше, а изложение специального их приложения к каждому из таких типов порознь все же не удовлетворило бы запросов специальной историко-критической работы, в сущности, предполагающей исследование каждого отдельного случая; лишь подвергнув его детальному критическому рассмотрению, можно сделать достаточно прочный вывод относительно достоверности или недостоверности изучаемого показания, «вероятности» или «невероятности» изучаемого факта, а тем более целой совокупности показаний, образующих источник.

Возможны и такие случаи, когда историк в результате своего исследования должен отказаться от какого-либо окончательного вывода и не может произнести ни оправдательный, ни обвинительный приговор; но он не всегда способен оставаться в таком выжидательном положении: ввиду естественного стремления поскорее успокоиться на каком-либо выводе, он часто не воздерживается от него, не удовлетворяется суспенсивным[464] суждением, и, давая определенное заключение, впадает в ошибку. Такие заключения могут быть вызваны и недостатком критики, и ее избытком, т. е. «гиперкритикой»; но в обоих случаях они оказываются ошибочными, так как исследователь преждевременно ищет в одном из них разрешения своих сомнений, на которых он не хочет остановиться.

Глава пятая. Общее значение исторических источников

Вообще, можно сказать, что исторические источники имеют и теоретическое, и практическое значение: в теоретическом отношении они важны для познания исторической действительности, в практическом нужны для того, чтобы действовать в ней и соучаствовать в культурной жизни человечества.

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, Кар. IV, § 4, 1, SS. 465–506. Впрочем, автор смешивает здесь несколько задач, а именно: 1) исследование генезиса показаний, основное теоретическое значение которого для настоящего отдела все же слишком мало выяснено им; 2) приложение такого исследования к историческому материалу в зависимости от его разновидностей и 3) значение их для исторического построения, о чем см. ниже гл. V.

С общей теоретико-познавательной точки зрения исторический источник получает особого рода значение: в той мере, в какой он содержит показание о каком-либо действительном факте, познание которого нельзя в достаточной степени удовлетворить на основании другого источника, т. е. одного только собственного разума или собственного опыта, он не только подтверждает и контролирует истину, опознанную разумом и добытую путем чувственного восприятия, но становится самостоятельным источником познания действительности*. В самом деле, легко заметить, что даже в том случае, если источник содержит какую-либо абсолютную истину, значение его, как исторического материала, состоит, главным образом, в том, что он свидетельствует об особого рода фактической истине, т. е. о самом факте высказывания содержащейся в нем абсолютной истины; с собственно исторической точки зрения такое показание, главным образом, тем и интересно, что по нему можно судить об историческом факте, т. е. о том, где и когда известная истина была действительно высказана, кто открыл ее, кто делал соответственные наблюдения и опыты, и т. п., а не тем, что оно будто бы может доказать истину, в сущности постигаемую лишь разумом и только подтверждаемую или контролируемую чужими свидетельствами**. Аналогичное замечание, разумеется, с тем большим основанием можно сделать о тех исторических источниках, которые содержат показания о фактической истине, т. е. показывают о том, что происходило в действительности: они, очевидно, служат для распознания исторических фактов, и дают понятие о том, каким образом произошло то, что действительно случилось и что имеет историческое значение.

В сущности, каждый из нас пользуется историческими показаниями или источниками в широком смысле, примешивая их даже к собственному наблюдению фактов, происходящих в действительности.

* *E. Naville*, L'importance logique du témoignage, в Séances et travaux de l'Academie des Sciences morales et politiques, t. 128 (1887), pp. 273–281.

** Впрочем, чужие показания играют роль и в генезисе научных обобщений, в употреблении личного разума и пользовании личным опытом; но ученый прибегает к чужим обобщениям не для того, чтобы установить истину, а для того, чтобы установить тот факт, что и другие рассуждают так же, как и он, и ими контролировать или подтвердить собственную свою теорию: математик обращается для проверки своих вычислений к чужой помощи, физик ищет подтверждения своего опыта в экспериментах, сделанных другими, и т. п.

«Однажды, — пишет один из женевских философов, — я был в Париже и видел на набережной, подле Тюльери[465], императора Наполеона III[466]: он проезжал в кабриолете, которым сам правил. Вот факт, который я сам констатировал. Сведем, однако, этот факт к элементам, которые состоят из личных моих восприятий, отделив их от идей, которые проистекают из другого источника. Я видел большое здание; но каким образом узнал я, однако, что это здание называется Тюльери и что оно служит резиденцией императора французов? Благодаря показаниям других. Я видел проезжавшего мимо человека; но каким образом узнал я, что этот человек называется Наполеоном и что он император французов? Благодаря показаниям других»*. Этот факт, очевидно, не заинтересовал бы наблюдателя или утратил бы для него значительную долю своего интереса, если бы наблюдавший его не воспользовался чужими показаниями: благодаря им он мог пополнить свое наблюдение над фактом и придать ему то индивидуальное значение, в силу которого этот факт и стал для него «интересным».

Само собою разумеется, что исторические источники получают тем большее значение в суждениях о фактах, которые, сами по себе, давно перестали существовать. Лишь на основании исторических источников можно говорить, например, о Тутмесе III[467] или Рамзесе II[468], о составлении Ахмесом[469] или Амазисом[470] учебника геометрии во втором тысячелетии до Р. Х., может быть, при помощи еще более древнего образца, о постройке в XIII-ом столетии до Р. Х. канала между Нилом и Красным морем, об обнародовании вавилонским царем Хаммураби[471] законов и т. п.

Итак, без исторических источников нельзя конструировать историю человечества, о которой можно узнать только из них; ведь прошлое развитие человечества в его полноте не существует в настоящем: оно известно только по более или менее явным следам, какие оно оставляет в настоящем; последние доступны непосредственному научному исследованию в исторических источниках. С такой точки зрения можно, пожалуй, сказать, что история есть научная гипотеза, при помощи которой мы объясняем эмпирически данные исторические источники; гипотеза подобного рода возникает применительно к тем источникам, которые объясняются ею, и обратно, те теории, которые не соответствуют источникам и не оправдываются ими, ис-

* *E. Naville*, Op. cit., ib., pp. 272–273.

ключаются из истории: они не могут служить для ее построения*. Впрочем, и с другой точки зрения можно придавать историческим источникам в узком смысле самое решительное значение для реконструкции истории человечества: без них исторические факты были бы известны лишь по влиянию их на последующие факты; но, не говоря о том, что такое влияние за известными пределами ускользает от нашего внимания, исторический факт, еще не отошедший в прошедшее и непосредственно обнаруживающий данную психику в самом процессе ее обнаружения, хотя и может служить объектом для познания другого связанного с ним факта, однако, еще не обладает некоторыми признаками, характеризующими понятие об историческом источнике в узком смысле: скоро преходящий факт сам нуждается в каком-либо закреплении для того, чтобы стать объектом научного исследования; собственно исторический источник, напротив, отличается обыкновенно большим постоянством формы, благодаря чему он и поддается более длительному изучению, к которому исследователь может возвращаться любое число раз.

В какой мере, однако, историческое значение, основанное на исторических источниках, достоверно? Вообще, можно сказать, что, с теоретической точки зрения, такое знание могло бы иметь характер достоверного знания о фактической необходимости, если бы историк был в состоянии располагать достаточным количеством ценных источников и мог подвергнуть их исчерпывающей интерпретации и критике; но в действительности знание его оказывается лишь более или менее вероятным частью ввиду того, что материал, которым он располагает, довольно случайного происхождения, частью и потому, что ему редко удается достигнуть полного его понимания и надлежащей его оценки.

Действительно, историческое знание зависит от случайно сохранившегося материала, случайно уцелевших обломков или отрывок старины и т. п. Может ли, однако, такой материал иметь серьезное научное значение?**

Нельзя не заметить, что поставленный выше вопрос уже предполагает со стороны историка некоторое знание, хотя бы в самых общих, но и в главнейших очертаниях того целого, по отношению

* *A. Kuenen*, Gesammelte Abhandlungen, SS. 24, 41.

** *E. Meyer*, Zur Theorie der Geschichte, SS. 35 и сл.

к которому данный материал признается «случайным»; а так как самое понятие о целом основано на том же материале, то и его «случайность» окажется относительной; в противном случае историк даже не будет в состоянии решить, представляется ли он относительно случайным.

В самом деле, можно привести несколько соображений против такого черезмерного скепсиса. Следует иметь в виду, например, что благодаря тесной связи между проявлениями культуры, т. е. частями данного культурного целого, случайные пробелы одного рода источников иногда несколько восполняются данными, почерпаемыми из других источников; с последней точки зрения данное культурное целое и изучается по совокупности относящихся к нему источников. Такая связь, правда, гораздо менее заметна в древнейшей культуре, чем в позднейшей: но древнейшая культура, положим, «доисторическая», отличается гораздо большим однообразием своих проявлений, благодаря чему и случайность материала, при изучении его, менее чувствуется; и наоборот, чем более развита в данном обществе культура, тем большими и лучшими средствами оно обладает для воспоминания и оценки значительных фактов: оно все более и более сознает их «важность», что не может не повести и к воспоминанию о них или к их оценке, закрепленных в каком-либо источнике; оно располагает все более и более разнообразными способами закреплять данный факт и все более и более ценить такие источники, т. е. принимает меры для охраны памятников старины, для сохранения их в музеях и архивах, для воспроизведения их в изданиях, слепках и снимках и т. п. Можно также заметить, что понятие о «случайности материала» более применимо к остаткам культуры (в строгом смысле слова), чем к историческим преданиям: чем важнее факт для данной социальной группы с ее точки зрения, тем более вероятно, что он как-либо отразится в сознании современников или даже нескольких поколений и вызовет со стороны их какое-либо воспоминание или какую-либо оценку: положительную или отрицательную. Помимо только что указанных соображений, следует принять во внимание, что случайные пробелы, образовавшиеся в данной группе источников или в одном из них иногда восполняются и путем реконструкции недостающего источника или его частей: благодаря восстановлению архетипа по зависимым от него источникам, или реставрации историк получает возможность пользоваться и теми источниками, кото-

рые были утрачены или лишены некоторых из своих частей, и т. п. В некоторых случаях такая техника может получить дальнейшее развитие и бороться с исчезновением или разрушением исторических источников*.

Нельзя не признать, однако, что материал, которым историк располагает, действительно оказывается иногда довольно случайным. Многие произведения древней культуры погибли или сохранились только отчасти, и такие пробелы иногда очень чувствительны. Целые языки, а не только отдельные слова исчезли из обращения, например, языки фригийский[472], фракийский[473] и скифский[474]. В числе памятников вещественных достаточно припомнить хотя бы судьбу храма Афины на острове Эгине[475] или самого Парфенона[476] и т. п.; то же можно сказать и про некоторые памятники письменные: во время взятия крепости Александрии Юлием Цезарем[477] множество драгоценных рукописей ее библиотеки погибло от пожара; наибольшая часть аннал и истории Тацита не сохранилась: значительное число книг знаменитого труда Поливия исчезло и т. п. Даже источники нового времени далеко не всегда достаточны: богатое собрание рисунков, собранных Булем (Boule)[478] сгорело в 1720-м году; весьма ценные бумаги парижских секций, сыгравших очень крупную роль в разных событиях французской революции, особенно в 1792–1795-х годах, большею частью подверглись такой же участи во время

* В области истории античного искусства, например, копии имеют весьма существенное значение: многие из древних оригиналов утрачены, но можно судить о них по позднейшим их копиям: рельефам, изображениям на монетах, резным камням и т. п. При известных условиях можно прибегать, помимо вышеуказанных способов, к особого рода реконструкции памятников письменности: можно узнать, например, содержание листка рукописи по тем следам ее письма, какие отпечатлеваются на внутренней стороне конверта, на противоположном данному листе записной книги, на страницах книги, в которую листок был вложен, и т. п. Благодаря тому, что чернила содержат сахаристые и смолистые вещества, сохраняющие некоторую вязкость и после того, как чернила «высохли», стоит листку, написанному хотя бы несколько дней тому назад, полежать несколько часов под слабым давлением, в соприкосновении с другим, чистым листом бумаги, чтобы чернила, а, значит, и письменные знаки впитались в него; правда, они бывают недоступны простому глазу; но весьма простые способы (например, умеренное нагревание, неспособное, однако, вызвать соответствующее разложение целлулозы) дают возможность вскрыть такие следы на бумаге, а затем и прочесть утраченный текст; см. *A. Bertillon*, La comparaison des écritures, в Rev. Scient., 1898, t. I, pp. 8–9.

коммуны[479], не будучи еще надлежащим образом использованы; значительная часть весьма ценных мемуаров Георгия Шателэна также утрачена и т. п.*

Такие пробелы, конечно, весьма ощутительны; но они все же обнаруживаются не во всей совокупности материала, а в отдельных случаях; нельзя распространять на всю его совокупность скепсис, вызванный дефектами в некоторых его частях.

Помимо вышеуказанных затруднений следует иметь в виду, что каждый источник получает полное свое значение лишь по предварительной его научной обработке, т. е., главным образом, благодаря его интерпретации и критике; но во многих отношениях интерпретация не может достигнуть вполне точных результатов и принуждена довольствоваться пониманием источника, лишь более или менее приближающимся к истине, т. е. такими выводами, которые более или менее вероятны; то же можно сказать и о критике: лишь под условием знания той фактической истины, к которой источник относится, он и получает надлежащую ценность; но большею частью трудно предполагать наличность безусловно-точного знания той именно фактической истины, с точки зрения которой источник ценится, особенно если иметь в виду, что оно часто почерпается в большей или меньшей мере из того самого источника, который ценится; следовательно и выводы, получаемые путем критики источника, легко могут оказаться лишь более или менее вероятными. При таких условиях далеко не всегда можно точно установить его значение и приходится судить о нем лишь с большей или меньшей вероятностью: историки часто различно судят об одном и том же источнике, например, об истории Фукидида или о произведении Григория Турского и т. п.**

Во многих случаях, однако, возможно более непосредственное и глубокое переживание источников, контролируемое интерпретацией и критикой, дает достаточно надежный материал для научного построения действительности, разумеется, не тождественного с целостным переживанием ее самой; впрочем, приходится иногда довольствоваться тем «впечатлением» от действительности, которое

* *Н. Кареев*, Неизданные документы по истории парижских секций в 1790–1795 гг., в Зап. Ист.-Фил. Отд. Академии Наук за 1912 г., т. XI, № 2, с. 3. *A. Molinier*, Op. cit., p. XCLII.

** См. выше сс. 409, 521–522, 764 <Т. 2. С. 66, 160–161, 365>.

получается от источников, и конструировать ее лишь в общих чертах для выяснения ее исторического значения. С такой точки зрения можно сказать, что исторический материал все же пригоден для познания исторической действительности. Вообще чем шире круг источников, к которым историк обращается, тем более он может рассчитывать на достижение своей цели; при изучении прошлого он стремится использовать самые разнообразные источники: и данные языка, и пережитки, и предметы древности, и произведения фантазии, и теоретические трактаты, и документы, и законы, и полемические сочинения, и публицистику, не говоря уже о собственно повествовательной литературе, и т. п.

Не все источники, однако, имеют одинаковую ценность для построения исторической действительности. С такой точки зрения историк и пытается выяснить, какое именно значение данный род источников имеет для исторической конструкции тех фактов, которые интересуют его, и какого рода источники всего более пригодны для изучения их характерных особенностей.

Выше мне уже пришлось заметить, что источники изображающие и источники обозначающие получают различное значение в глазах историка: благодаря источникам изображающим он непосредственно переживает остаток факта в данных своего чувственного восприятия; а при пользовании источниками обозначающими он конструирует свое представление о факте лишь на основании условных знаков. С такой точки зрения источники изображающие имеют особенно большое значение для наглядного ознакомления с конкретными проявлениями культуры, а источники обозначающие — для изучения обобщенных и отвлеченных ее продуктов. В самом деле, источники изображающие могут давать наглядное преставление о чужой мысли; они иногда любопытны и по той наивности и грубоватости, с которой она выражается. На одном из расписных стекол Шартрского собора св. Илария Пинэгрие представил, например, в виде аллегорической сцены благие последствия Искупления: тело Спасителя лежит на виноградных тисках; кровь из него льется со всех сторон; евангелисты собирают ее; отцы церкви наполняют ею бочонки, которые они перевозят на телеге, руководимой ангелом; папы, короли, епископы и кардиналы складывают бочонки в погребах или раздают их народам; на заднем плане патриархи возделывают виноградную лозу, пророки собирают виноград, а апостолы приносят его к виноградным тискам, кроме, впрочем, апостола Петра, который давит его. Картина Пинэгрие

имела большой успех и послужила образцом для целого ряда копий*. Напротив, источники обозначающие могут дать понятие о таких общих течениях мысли, которые плохо поддаются изображению: трактаты Сижера Брабантского «de anima intellective»[480] и о других предметах метафизики и логики, например, конечно, лучше всяких картин, знакомят нас с зарождением и развитием в средневековых школах Аверроизма, т. е. со стремлением его приверженцев познакомиться с подлинным учением Аристотеля, не «исправленным» Фомою Аквинским**[481]. Аналогичные замечания можно высказать и относительно других источников, но в несколько ином смысле: изображение римской виллы на помпеянском ландшафте, например, дает наглядное представление о типически-реальных внешних ее чертах, но не может заменить тех сведений, которые мы почерпаем хотя бы из произведений Горация[482] для характеристики землевладения в римском мире при самом появлении принципата, для ознакомления с устройством сабинского поместья поэта и т. п.*** Следовательно, можно сказать, что изображающие и обозначающие источники взаимно дополняют друг друга: портретные бюсты римских императоров, например, иллюстрируют их характеристики, сделанные Тацитом, но последние содержат такие черты, которые резец скульптора не мог воспроизвести; знаменитая помпейская мозаика дает наглядное представление о битве при Иссе[483] между Александром и Дарием, описанной Аррианом****; произведения Дюрера[484] и Гольбейна[485] существенно облегчают понимание реформации, известной нам по трудам Слейдана и других писателей, и т. п.*****

---

* Curiosités de l'archéologie et des beaux arts. Par., 1855, p. 212. Аналогичные сюжеты встречаются и на других рисунках; ср. *Г. Спенсер*, Изуч. Соц., т. I, сс. 202–203.

** *P. Mandonnet*, Siger de Brabant et l'Averoïsme latin au XIII sc., Fribourg, 1899, pp. CLIV–CLIX.

*** *М. Ростовцев*, Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж. СПб., 1908, сс. 50–58. *И. Гревс*, Очерки из истории римского землевладения, т. I. СПб., 1899, сс. 63–72,124–131 и др.

**** Неапол. музей, № 10020; припомним еще чудесный надгробный рельеф с изображением римлянина и римлянки в Ватиканском музее (№ 388), портреты булочника Paquius'a Proculus'a и его жены в неаполитанском музее (№ 9058) и др.

***** *A. Réville*, Prolegomènes etc., p. 17 и др.

Впрочем, взвешивая относительное значение источников изображающих и обозначающих, легко заметить, что они и в другом отношении не одинаково пригодны для построения исторической действительности.

Источник изображающий обыкновенно дает представление о данном факте или культуре в моментальном ее разрезе, а, значит, и о том соотношении элементов, которые одновременно даны в таком разрезе. В самом деле, памятник вещественный представляется нам, главным образом, как бы в виде картины; но «картина не слово; она дает одну минуту и в этой минуте должно быть все: взглянуть — и все...; а нет этого — нет и картины*. Таким образом, памятник вещественный дает понятие, главным образом, о соотношении элементов данного явления в пространстве, а не во времени; стадии развития одного и того же явления не могут быть в полной мере осуществлены в одном и том же вещественном образе; он может представить только одну из таких стадий, а не эволюцию данного явления, один из ее моментов, а не их совокупность, т. е. не процесс их следования во времени.

Источник обозначающий или памятник письменности, напротив, воспроизводит явление путем символического его описания; последнее может дать историку понятие и о соотношении элементов данного явления во времени, т. е. о его развитии. Впрочем, историк может найти в памятнике письменности лишь построение эволюционного процесса в том его виде, в каком последний представлялся составителю памятника и не может таким построением заменить действительно бывшей эволюции; но, во многих случаях, при соблюдении нужных предосторожностей, он может воспользоваться чужим представлением о данном процессе для его понимания. В таком случае изучение соответственного памятника письменности облегчает историку его дело: принимая во внимание и другие источники, он легче и с большей надеждой на некоторый успех строит свое собственное научное представление о том же эволюционном процессе. Вышеприведенным рассуждением обосновывается предпочтение историков, вероятно, у большинства бессознательное, к памятникам письменности*.

* *Т. Сухотина-Толстая*, Друзья и гости в Ясной Поляне в Вест. Евр. 1904 г., ноябрь, с. 16; это мнение принадлежит художнику Н. Ге.

Среди памятников вещественных, правда, можно указать и на такие, которые дают некоторое представление о последовательности культурных наслоений. Собор св. Марка в Венеции[486], например, в основе своей, представляет древнюю христианскую базилику в романском стиле, но перестройки его делались уже по византийским образцам и украшались произведениями византийского искусства или подражаниями ему; его фасад был дополнен декорациями в готическом виде; наконец, еще позднее собор был украшен произведениями старейшего и позднейшего ренессанса и т. п. По мере осложнения такого процесса, памятник, изображающий его, теряет, однако, в наглядности: последовательные моменты непрерывной эволюции, отразившиеся в нем, в сущности, расположены в пространстве, отделены друг от друга известными пробелами и связываются между собою во времени только в мысли творца памятника или наблюдателя, а не в самом явлении. Даже совокупность памятников вещественных не дает вещественного изображения непрерывного процесса эволюции: ведь они все же остаются размещенными в пространстве, а не следуют во времени. Город Рим, например, отражает целый ряд наслоений культуры: и древний Рим — в части форума[487], и императорский Рим — в дворцах на Палатине[488], в Колизее[489], в банях Каракаллы[490] и т. п.; христианский Рим — в церквах св. Агнесы и Сабины, Козьмы и Дамьяна и т. д.; но они не дают еще того понятия об истории Рима, какое мы почерпаем из трудов Тацита, из Liber pontificalis[491] и т. п.

Впрочем, если брать памятники вещественные не порознь, а целыми сериями, научно построенными, они также могут дать нагляд-

* Хотя памятники письменности, конечно, относятся ко времени сравнительно более позднему, чем памятники вещественные, однако, не следует упускать из виду, что зачатки письма могли восходить к переходному времени, предшествовавшему четвертичному периоду и что произведения письменности содержат также некоторые из древнейших преданий человеческого рода. Пиетт нашел в пещере «Mas d'Azyl» (Пиринеи) валуны с начертаниями в виде линий и кружков, имеющих, может быть, значение цифр, а также со знаками, похожими на некоторые буквы финикийского и греческого алфавитов; таких знаков до 11-ти; см. *E. Piette*, Notions complémentaires sur l'Asylien, в L'Anthropologie, t. XIV, (1903 г.), pp. 641–653; ср. pp. 655–660 и др.; ср. выше с. 646 <Т. 2. С. 265–266>.

нос представление о некоторых сторонах эволюционного процесса, в особенности об эволюции форм разных предметов быта материального и духовного, например: об эволюции форм разного рода орудий, письменных знаков, украшений, художественных типов и т. п.; но такая эволюция отчасти предварительно реконструируется самим историком на основании разных источников, а затем уже воспроизводится в серии материальных образов, представляющих скорее известного рода последовательность, чем непрерывность изучаемого ряда. С такой же точки зрения и памятники письменности, также взятые не порознь, а сериями, могут дать понятие об эволюционном процессе, и становятся в особенности ценными для изучения истории идей, например: эволюции понятий, эволюции литературных родов и т. п. Такие серии, образуемые из источников, т. е. памятников вещественных или письменных, часто имеют, однако, типическое, а не чисто реальное, конкретно-исторические значение.

Во всяком случае можно сказать, что преимущественно те вещественные памятники, которые уже оказываются, в известном смысле, историческими преданиями, лучше других сами по себе могут отражать последовательные стадии развития данного конкретного факта; припомним, например, серии картин Рубенса[492] или Пуссена[493], или даже серию сцен, изображаемых каким-нибудь кинематографом. Тем не менее памятники письменности, имеющие такой же характер, сохраняют преимущественное значение для изучения непрерывности в последовательном ряде конкретно данных моментов, поскольку между ними, т. е. между каждым предшествующим и последующим за ним звеном такого ряда приходится устанавливать причинно-следственное соотношение, понимаемое в смысле исторической связи, а не одно только внешнее преемство: ряд картин, которые представляли бы например, битву при Пуатье[494], все же не мог бы заменить ясного и обстоятельного рассказа, в котором Фруассар, с большою последовательностью, изображает битву в ее целом и в мельчайших ее подробностях, дает понятие об общем ее плане и об отдельных столкновениях, приведших к поражению французов, описывая вместе с тем характеры действующих лиц, их отношения друг к другу, и т. п.*

Остатки культуры и исторические предания также имеют разное значение для познания исторической действительности.

* *C.-A. Sainte-Beuve*, Causeries du Lundi, t. IX, Par., 1855, pp. 83–95.

Ввиду того, что остаток культуры оказывается лишь частью бывшего факта и, собственно говоря, как таковой, часто не предназначается для потомства, он более нуждается в интерпретации, чем в критике; но, в случае его подлинности, он уже тем самым имеет и достоверность: в подлинном остатке культуры чувствуется остаток прошлой жизни; он дает историку представление хотя бы о части действительно бывшего, а не его построение. Историческое предание, напротив, составляется ввиду потомства, с тем намерением, чтобы быть понятным последующим поколениям, и с такой точки зрения легче понимается, что важно и для интерпретации остатка культуры, но в большей мере требует критики показаний о факте, примеры чему уже были приведены выше.

Вместе с тем, однако, остаток культуры дает понятие лишь о части факта, а не о целом факте; историческое предание, напротив, может дать более или менее цельное понятие о факте, которое автор имел о нем; остаток культуры не имеет достаточных указаний на положение факта в данной совокупности; историческое предание, напротив, содержит, обыкновенно, сведения о целой совокупности фактов, в которой данный факт и получает известное положение. С такой точки зрения можно указать и на некоторое различие между остатками культуры и историческими преданиями: документ, например, не дает понятия о целом, а только о какой-либо его части, нередко довольно формального свойства; рассказ, напротив, обыкновенно касается целого; следовательно, документ часто оказывается более отрывочным и менее понятным, чем рассказ, что, впрочем, еще не предрешает вопроса о степени его достоверности или недостоверности. Стэла Меши[495], например, содержит лишь отрывочные сведения о войне между царем моавитским и израильским, подробно рассказанной в книге Царств[496]. Трактат, датированный в Кампо-Формио 17 октября 1797-го года[497], не дает понятия о последовательности крупных и мелких событий, наступивших со времени обмена ратификации в Леобене[498] и обусловивших заключение мира, о чем Наполеон I подробно повествует в своих записках, и т. п.*

Впрочем, некоторые остатки культуры почти исключительно служат для изучения целого ее состояния, например, доисторические

* *E. Freeman*, The methods of historical study, 170. *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., pp. 13–14. Correspondance de Napoléon I, t. XXIX, pp. 367–386.

древности, благодаря которым историк может проводить некоторые аналогии между современным дикарем и доисторическим человеком для восстановления его быта и понимания его остатков; но последние оставались бы мало понятными без таких аналогий и играют исключительную роль лишь за отсутствием исторических преданий. В других случаях, напротив, исторические предания получают преобладающее значение, например, книги ветхого завета для построения древней истории израильского народа*.

В большинстве случаев, однако, вышеуказанные разновидности источников взаимно дополняют друг друга. Наглядную иллюстрацию такого соотношения можно усмотреть в остатках и преданиях, относящихся к римской истории. В области последней остатки культуры, и в особенности документы эпиграфического характера, конечно, важные и для истории «Вечного города», получили, однако, особого рода значение для ознакомления с прошлою жизнью его провинций: изучение эпиграфического материала привело к эмансипации от того взгляда на нее, который основывался на литературном предании и сводился к изображению республиканского строя города Рима; надписи дали возможность ознакомиться и с развивавшейся жизнью провинций, входивших в состав Римской империи. Остатки и предания, ввиду различного их значения, разумеется, могут взаимно дополнять друг друга и при изучении одного и того же факта, что видно хотя бы из вышеприведенных примеров касательно заключения Кампоформийского мира и т. п.

Наконец, источники получают различное значение для исторического построения и по своему содержанию.

В числе остатков культуры можно указать на такие, которые отличаются весьма разнообразным содержанием, более или менее общим целой социальной группе, например, на язык. В самом деле, по языку можно судить и о душевной жизни человека вообще, и о принадлежности его к данной народности, и о душевном складе народа, и о географических границах его распространения, и о его культуре и ее наслоениях, и о его культурном влиянии на другие народы и т. п.; кроме

* *A. Kuenen*, Gesammelte Abhandlungen etc., SS. 432, 444. В свое время Клермон-Гано, между прочим, указывал на то, что финикийская и еврейская археология отличается большою бедностью эпиграфического материала; см. *Ch. Clermont-Ganneau*, Op. cit., p. 270.

того, если признавать язык «организмом, который в каждом индивидууме развивается особым, свойственным ему путем»,* можно даже, пожалуй, выяснить на основании данных языка и некоторые признаки, характеризующие личность, например, поскольку они обнаружились в ее «стиле»; в последнем случае, однако, изучение языка обыкновенно связано с изучением того ее продукта, в котором стилистические особенности ее речи запечатлелись, т. е. источника письменности. В числе источников, относимых к разделу исторических преданий, также легко встретить произведения с разнообразным содержанием, например, мемуары: они дают понятие о внутреннем мире человека, его побуждениях и мотивах, симпатиях и антипатиях, мнениях и доктринах; о его действиях и поступках; об интимной стороне жизни людей данного круга, их характерах, нравах и привычках; о событиях, иногда рассказываемых на основании собственных чувственных восприятий, а иногда, сообщаемых и по чужим показаниям, рассказам или слухам; об оценках изображенных в них лиц и событий и т. п.**

При менее разнообразном содержании источник может отличаться, однако, более специальным его характером, например: многие заговоры, заклинания, причитания и т. п. имеют большое значение для изучения переживающих в них религиозных поверий и обрядов; специальные сочинения по разнообразным отраслям знания дают понятие об уровне их развития в данном обществе; музыкальные произведения выражают иногда такие глубокие настроения, которые «невыразимы» другими средствами; отдельные повести и сказания знакомят нас с единственными в своем роде более или менее сложными историческими событиями и т. п.

Впрочем, источники получают разное значение для исторического построения и в зависимости от того, оказывается ли их содержание преимущественно фактическим или нормативным. Такое деление можно применять к разным видам источников; но оно в меньшей мере приложимо к источникам изображающим, чем к источникам обозначающим.

* *W. D. Whitney*, The life and growth of language, Ld., 1875. *A. Darmsteter*, La vie de mots, Par., 2 éd., 1887. *K. Nyrop*, Das Leben der Wörter, übers. von R. Vogt, Lpz., 1903. *H. Paul*, Principien der Sprachgeschichte, 3-te Aufl., S. 25.

** *G. Wolf*, Einfürung, SS. 334–404; указания на литературу см. там же; ср. еще *A. Sorel*, Lectures historiques, Par., 1894, pp. 33–46, 71–112 и др.

В самом деле, источники изображающие преимущественно характеризуются их фактическим содержанием, например: материальные остатки культуры с идейным или бытовым содержанием, предметы культа, техники, домашнего обихода, военного искусства и т. п. Рисунки, между прочим, получают иногда, подобно автобиографическому материалу, значение для выяснения более или менее интимных переживаний человека, его настроений, обычаев и нравов; картины часто дают сведения, аналогичные с повествовательной литературой; иконы и каррикатуры, наряду с легендами и памфлетами, нередко предлагают оценку лиц или событий и т. п. Детские рисунки, например, обнаруживают иногда элементарные состояния сознания, пригодные для заключения по аналогии и о первобытных людях; рисунки «доисторических» обитателей Пиринейских и других пещер указывают на некоторые из их настроений; рисунки Лионардо да Винчи[499] ярко характеризуют круг интересовавших его идей; наброски Луи Буллонь (Boullongne)[500] вскрывают интимные переживания его времени, столь мало соответствующие его картинам, написанным еще в строгом, натянутом стиле начала XVIII-го века*; помпеянские пейзажи[501] отражают типы реальной эллинистическо-римской архитектуры, между прочим, архитектуру сакрально-гробничного характера, или изображают помпеянские виллы**; картины Джиотто[502] возвеличивают св. Франциска Ассизского[503], в особенности та из них, которая представляет славу святого и его торжество над науками и искусствами; политические каррикатуры выставляют смешные стороны выдающихся деятелей, например, одного из министров Людовика XVI-го[504] — Калонна[505], Тьера[506] и Гамбетты[507], Дизраели[508] и Глэдстона[509] и т. п.***

* *K. Lamprecht*, De l'étude comparée des dessins d'enfants, в Rev. de Synth. hist., t. XI (1905), pp. 54–57; *E. Cartailhac et H. Breuil*, Les peintures et gravures murales des cavernes Pyrénéennes; см. жур. «L'Anthropologie», t. XV (1905), pp. 629, 637–638 и др. *P. Marcel*, L'étude des desseins dans l'histore de 1'art français, в Rev. de Synth. hist., t. XVI (1908), pp. 26–27.

** *М. Ростовцев*, Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж, СПб., 1908 г. с. 59 и сл. *G. Rodenwaldt*, Die Komposition der Pompejanischen Wandgemälde, Berl., 1909, SS. 48 ff.

*** Curiosités de l'archéologie et des beaux arts, p. 167. Ср. между прочим, *H. Taine*, Notes sur l'Angleterre, Par., 1872, p. 265 и сл., где автор, основываясь на каррикатурах Punch'a, дает характеристику английских нравов.

Впрочем, можно указать и на такие изображающие источники, которые ближе подходят к источникам с нормативным значением. Сюда можно причислить некоторые изображающие остатки культуры, воплощающие какую-либо форму, например: религиозные символы (крест и т. п.); или такие продукты, как телескоп Галилея[510], Страшный Суд Микель Анджело[511], Сикстинская Мадонна Рафаэля; или обряды и учреждения, осуществляющие известные общественные или политические нормы, положим, передачу куска дерна из рук в руки при продаже недвижимой собственности, помазание елеем царя на царство[512], «зерцало»[513], в качестве символа государственной справедливости, и т. п. Впрочем, можно указать и на некоторые изображающие предания с нормативными элементами, например, на изображение астрономической обсерватории Тихо де Браге[514], на старинную картину Бордоне[515], представляющую заседания совета десяти в Венеции, и т. п.

Вышеуказанное деление получает, однако, большее приложение при выяснении значения источников обозначающих, в особенности письменных; а потому в качестве иллюстрирующих его примеров достаточно указать здесь несколько подробнее хотя бы на некоторые разновидности памятников письменности, с более или менее фактическим или нормативным содержанием.

В числе таких источников произведения литературы едва ли не отличаются наиболее разносторонним значением, т. е. наибольшим разнообразием своего содержания, частью фактического, частью нормативного характера и могут служить для построения весьма различных сторон исторической действительности. Произведения фантазии или вымысла вводят исследователя во внутренний мир человека известной культуры и дают возможность, хотя бы отчасти, пережить те настроения, аффекты, стремления и идеи, которые оказывались фактами его душевной жизни и обусловливали его действия. Один из представителей романтизма давно уже придавал большое значение, например, «голосам народов в их песнях» в качестве «древнейших документов человеческого рода» и усердно занимался изучением «духа еврейской поэзии»*[516]. Впрочем, следует заметить, что произведения литературы, в особенности эпической, могут иметь, подобно, например, песням Гомера, и более фактиче-

* *J. G. Herder*, Sämtliche Werke, herausgegeben von B. Suphan, Bd. XI–XII и др.

ское значение; они важны для историка частью тем общим впечатлением, какое они могут дать об отразившейся в них действительности, частью содержащимися в них реальными подробностями. В самом деле, произведение литературы может порождать такое впечатление, даже в том случае, если оно не отличается особенною точностью в деталях. Шекспир[517], например, собственно говоря, ценен для историка не тем, что он изображает действительность, а тем, что он ярко выражает то впечатление, какое она на него производила, и сообщает его другим: то, что он описывает, не только представляется читателю, но чувствуется им; таким образом произведение Шекспира способно непосредственно вызвать в читателе чувство действительности, хотя бы содержание его и не вполне точно соответствовало данной конкретной действительности, не давало точного ее описания. Вместе с тем, можно указать, конечно, и на такие произведения литературы, которые содержат ценные фактические сведения, например, стихотворения Пиндара[518] и Горация, поэмы Данте, романы Гёте и т. п. Произведения литературы нередко содержат также указания и на то субъективное оценочное отношение, с точки зрения которого факты изображаются; достаточно припомнить Книгу Иова[519], в высоко поэтических образах противополагающую бедствиям земной жизни ту справедливость, какой жаждет человеческая душа, известную поэму Байрона[520] («Каин») и т. п.; или «Персы» Эсхила[521], написанные под влиянием подъема чувств, которые были вызваны победой при Саламине; или «Всадники» Аристофана[522]; или социальные романы Тэккерея[523] и т. п. Произведения литературы отражают также культурные идеалы данного общества или писателя, нормы, которые признаются им, и т. п. На основании, например, средневековых эпических поэм и «chansons de geste»[524] можно представить себе идеал воина, на основании романов и лирической поэзии — идеал рыцаря; на основании легенд и житий — идеал монаха; на основании произведений Джиотто и Ганса Сакса[525] — идеал буржуа того времени и т. п.*

Впрочем, большинство важнейших разновидностей письменных источников характеризуется преобладанием одного из вышеуказанных моментов: источник оказывается ценным преимуществом по фактическому или по нормативному своему содержанию.

* *V. Vedel*, Mittelalterliche Ideale, Bd. I, Heldenleben, Lpz., 1910; Bd. II, Ritterromantik, Lpz., 1911. Ср. выше сс. 403–404 <Т. 2. С. 61–62>.

Письменные источники с фактическим содержанием могут служить для самых разнообразных познавательных целей: можно пользоваться ими, например, и для того, чтобы проникнуть во внутренний мир человека и постигнуть мотивы его действий, и для того, чтобы изучить их результаты или собственно исторические факты, и для того, чтобы принять во внимание те оценки, которым последние подвергались и которые, в свою очередь, оказывали влияние на последующие факты, и т. п.

С точки зрения изучения внутреннего мира человека и мотивов человеческих действий в более узком смысле особенно важное значение получают, например, произведения автобиографического характера: сам автор-деятель сообщает в них сведения о своих побуждениях, в сущности, не поддающихся наблюдению сторонних лиц. Следовательно, дневники, автобиографии и т. п. имеют единственное в своем роде значение и не могут быть заменены другими источниками, в особенности если автобиограф сам стремится, подобно, например, Августину, Кардано[526] или Морицу[527], сказать правду. Такие источники дают тем более важные показания, что не всегда эти цели или идеалы осуществляются в фактах, подлежащих чужому наблюдению, или воплощаются в них лишь отчасти, в более или менее искаженном виде и т. п.; между тем историк должен иметь понятие о них для того, чтобы правильно истолковать поведение данного лица при данных обстоятельствах; лишь с такой точки зрения он может судить, например, о том, в какой мере человек остался верен своему идеалу даже в том случае, когда ему не удалось осуществить его, как он пострадал за него, как такое страдание, в свою очередь, получило историческое значение и т. п. Само собою разумеется, что историк может найти в автобиографии и другие ценные известия и подробности, на перечислении которых слишком долго было бы останавливаться. Заметим только, что составитель автобиографии может оказаться, например, подобно Челлини[528], типическим представителем той социальной группы, к которой он принадлежит, и давать в своем произведении понятие о настроении, внутренних побуждениях и мотивах, целях и идеалах этой группы; или, подобно Руссо, обладать особенно характерной индивидуальностью, переживания которой, если только она имела историческое значение, объясняют многое из про-

исшедших под ее влиянием событий*. Близкое к автобиографическим источникам значение имеют и письма: письмо также отражает личность писавшего, его первые впечатления, его минутные настроения и т. п.; но последние определяются и отношением его к своему корреспонденту: настоящий представитель эпистолярного стиля пишет не только так, как он один мог писать, но и так, как он мог писать лишь тому именно, кому он писал в данном, специальном случае. В своих письмах Цицерон, например, живо и непосредственно передает свои чувства и сообразно с личностью своего корреспондента меняет тон своих писем и т. п**. Мемуары и некоторые другие произведения литературы, в некоторых отношениях довольно сходные с предшествующими, дают возможность выяснить, подобно, например, запискам Токквилля[529], и мотивы отдельных лиц, а также правительственной деятельности, и ее роль в событиях и т. п.

Впрочем, кроме источников письменных с более или менее идейным содержанием, особенно важным для выяснения мотивов человеческих действий, можно указать и на такие, которые скорее пригодны для ознакомление с их результатами, т. е. на источники с бытовым содержанием. Источники делового характера, например, знакомят нас преимущественно с историей человеческой деятельности; таковы разные документы, счеты, каталоги, административные распоряжения, дипломатические депеши и т. п. «Domesday book»[530] и тому подобные описи весьма важны для истории хозяйства, матрикулы старейших университетов[531] — для истории просвещения, списки

* *G. Misch*, Gechichte der Autobiographie, Bd. I. Das Altertum, Lpz., 1907. *H. Glagau*, Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle, Marburg, 1903. К числу наиболее известных автобиографий можно отнести автобиографии Августина, Петрарки, Эннея Сильвия, Челлини, Кардано, Платера, Берлихингена, Швейнихена (Schweinichen), Застрова (Sastrow) и др.; из автобиографий нового времени в особенности известны автобиографии: Руссо — «Confessions», Морица (Karl Philipp Moritz) «Anton Reiser», Гёте «Bekenntnisse einer schönen Seele», впрочем, относящиеся скорее к разряду поэтических произведений, г-жи Ролан (Roland) — «Mémoires» и др.

** *G. Boissier*, Cicéron et ses amis, 5 éd., pp. 1–23; кроме писем Цицерона можно припомнить еще письма Иеронима, который, благодаря яркому темпераменту и большой чуткости к чужой личности, стал одним из лучших представителей раннего христианского эпистолярного стиля; письма г-жи де-Севинье, в которых отразились ее живое воображение и большая отзывчивость к людям и событиям, и др. Ср. еще *G. Steinhausen*, Geschichte des deutschen Briefes, Berl., 1889–1891, T-le I–II.

архонтов[532] или consularia[533] — для истории правительства в государствах древнего мира и т. п. Впрочем, такие источники не дают того представления о целой совокупности фактов, какое историк может получить на основании памятников повествовательной литературы: деловые бумаги могут отличаться большею надежностью своих показаний, но имеют меньшее значение для синтетического изображения прошлого.

Действительно, во главе письменных источников с фактическим содержанием, заключающих сведения о собственно исторических фактах, взятых в более или менее сложной их совокупности, следует поставить произведения с повествовательным содержанием, например: анналы и хроники, биографии, разного рода повести, сказания и записки, в особенности те, которые принадлежат иностранцам, официальные известия и т. п. Само собою разумеется, что такие источники могут иметь самое разнообразное фактическое значение: хроника, например, может быть всемирно-исторической, подобно знаменитому труду Евсевия Кесарийского, или местной городской, подобно известной аугсбургской хронике Буркарда Цинка; церковной или «гражданской», подобно произведениям Барония или Лейбница[534] и т. п.; составитель записей может давать сведения или об одном роде фактов или касаться разнообразных сторон внутренней и внешней жизни данного общества, подобно, например, папским нунциям[535], нередко изо дня в день доносившим папской курии о всем, что происходило в стране, куда они были посланы, венецианским послам и т. п.*

В числе источников с фактическим содержанием можно указать, однако, и на такие, которые преимущественно интересны их точкой зрения на излагаемые факты: они оценивают их и, значит, уже приближаются к источникам с нормативным содержанием. Человек редко передает факт, не обнаруживая своего отношения к нему и даже часто оценивает его, не позаботившись о его проверке или о точной его передаче: житие, иногда сопровождаемое изложением посмертных чудес святого, героическое сказание, легенда или произведение прессы нередко представляет именно интерес подобного рода.

Легенда, например, получает особенное значение в той мере, в какой она отражает чью-либо оценку исторических фактов; такая

* См. выше сс. 492, 763 <Т. 2. С. 136, 364>.

оценка — тоже факт, но факт из истории идей, обращавшихся в среде данной социальной группы, а не из истории ее деятельности. В самом деле, легенда преимущественно дает оценку выдающихся личностей или событий, а не описание их; она может непосредственно и долго отражать жизнь идей, возникших по поводу фактов, которые давно уже миновали: могила апостола Иоанна в Ефесе все еще поднимается и опускается соответственно дыханию уснувшего в ней евангелиста; император Карл все еще живет в Унтерсберге и т. п. Известный рассказ о том, как папа Лев III[536] возложил царский венец на главу Карла Великого на праздник Рождества Христова в 800-м году, также получил особого рода значение благодаря тому, что происшедшую тогда церемонию стали рассматривать как акт пожалования; с такой точки зрения легенда о пожаловании приобрела особый политический смысл и служит весьма важным источником для истории отношений между авторитетами духовным и светским в средние века*.

Более или менее субъективная оценка фактов, в особенности имеющих общественное или политическое значение, отражается также в прессе: в летучих листках, памфлетах, газетах и т. п. Газета не только осведомляет общество, но стремится выразить его мнение или воздействовать на него; она хочет открыто и возможно скорее обнаружить свое отношение к тому, что оказывается в данный момент наиболее важным или интересным для разных кругов общества и старается сделаться возможно более общедоступной им. Уже Цазий сообщал свои корреспонденции в довольно пикантной форме; Ренодо[537] стал, согласно с видами французского правительства, давать в своей «газете» политические вести; Визэ, в своем «Mercure gallant»[538], напротив, стремился забавлять парижскую публику разными известиями и слухами; Шлёцер придал своему органу (Staatsanzeigen) явно публицистический характер и т. п.**

Письменные источники с нормативным содержанием непосредственно заключают норму, которая в них устанавливается, или самый акт подчинения себя данным лицом (физическим или юридическим) или данными контрагентами общепризнанной норме. Источники с таким содержанием имеют большое значение для одной из главнейших операций всякой исторической конструкции, т. е. для отнесения изучаемого факта к объективно-данной относительной ценности, каковою и оказывается норма, более или менее признаваемая социальной группой и выраженная в соответствующем источнике. Факт, обнаруживающий соблюдение или нарушение нормы, известной по данному источнику, некоторую степень приближения к ней или уклонения от нее, получает с такой точки зрения относительную ценность для историка, положительную или отрицательную: пользуясь соответствующими источниками, он судит, например, о несколько отсталых «астрономических» воззрениях Платона с точки зрения учения пифагорейцев[539], о безнравственном облике Нерона — с точки зрения морали ранних христиан, о «варварском» слоге Григория Турского — с точки зрения литературных требований римских стилистов и т. п.

Помимо указанных выше источников, с чисто нормативным содержанием — научным, этическим или эстетическим, можно отметить здесь и источники с утилитарно-нормативным содержанием, например, памятники законодательства и частные акты: они служат для ознакомления с теми правилами, которые государство предъявляло своим членам и под условием которых они имели право действовать, а также о их правоотношениях: из законов вавилонского царя Хаммураби, начертанных на большом диоритовом камне за несколько тесячелетий до Р. Х., например, мы узнаем о целом ряде норм, главным образом, относящихся к гражданскому и уголовному праву; из него видно, что в вавилонском царстве население делилось на свободных и рабов, что господин признавался собственником раба, так как он мог отыскивать его, в случае бегства, и т. п.; законы Хаммураби, значит, служат для ознакомления с существованием в древней Вавилонии норм, установлявших институт рабства и обусловливавших заключение разного рода сделок, например, договоров касательно продажи и покупки рабов, и т. п.*

Таким образом, источник с нормативным содержанием дает понятие об общих нормах, которые более или менее признавались данным обществом, но не о том, в какой мере они действительно соблю-

* *В. Ключевский*, Курс Русской истории, ч. II, сс. 319–323. *A. Harnack*, Reden und Aufsätze, Bd. I. SS. 10 ff., 17.

** *G. Wolf*, Einführung, SS. 248–281.

* *R. Dareste*, Nouvelles Études d'histoire de droit, 3-me série, Par., 1906, p. 37. Кодекс Хаммураби, найденный в Сузе, относят ко времени около 2250 до Р. Х., или несколько позднейшему.

дались. С последней точки зрения, подобного рода источник может иметь гораздо меньшее значение. Английские юридические теории XIII века дают, например, представление об английском виллане[540], очень сходное с тем, какое мы имеем о юридическом положении римского раба; но если перейти от рассмотрения юридического трактата и углубиться в чтение любой описи английского поместья того же XIII века, отчета управляющего поместья или протокола поместной судебной курии, где тот же виллан изображается в его действительной повседневной обстановке, легко будет заметить, до какой степени теория, подвергшаяся сильному влиянию римских юридических доктрин, не совпадает с практикой, с действительными условиями Англии XIII века: в то время виллан во многих отношениях уже являлся свободным человеком и даже, в известной мере, гражданином государства; его отношения к сеньору были регулированы всемогущим обычаем, едва ли уступавшим по своей обязательной силе закону; да и сам закон далеко не всегда был для него безмолвен*.

Впрочем, кроме источников с более или менее чистым нормативным содержанием, и другие могут служить для выяснения общепризнанных ценностей. Апологетика и полемика, или критика, дают, например, немало для их изучения, хотя они так же, как и сатира и публицистика, окрашены более или менее субъективным отношением к ним. Апологетика (Apologeticum) Тертуллиана[541], например, имеет большое значение для истории раннего христианского мировоззрения; полемика Беллярмина[542] — для характеристики римского католицизма; критические опыты Монтеня[543] — для рассмотрения того скептического настроения, которое стало обнаруживаться в 1580-х годах, и для суждения о нравах того времени; сатирические «письма» Монтескье[544] — для оценки современного

* *Д. Петрушевский*, Очерки из истории средневекового общества и государства, в журн. «Научное Слово», 1904 г., кн. III, с. 98. Само собою разумеется, что и исторические предания могут служить для ознакомления с общепризнанными нормами: они иногда содержат более или менее точный пересказ таких норм, весьма ценный в том случае, когда оригинальный текст их утрачен: древние договоры русских с греками, например, 912 и 945 гг. известны из летописи по Ипатьевскому и Лаврентьевскому спискам и т. п.; но сами они все же не оказываются источниками с нормативным содержанием, по крайней мере, в вышеуказанном смысле.

ему общества; «Defensio pro populo anglicano» Мильтона[545] — для понимания политических идеалов либеральных приверженцев парламента (Rumpparliament) и того общего движения, которое его «защита» вызвала в европейской публицистике, и т. п.

Предлагаемая группировка, разумеется, далеко не дает надлежащего понятия о всем богатстве исторического материала, а только оттеняет то значение, какое некоторые группы источников имеют для познания некоторых категорий фактов: но каждая из них изучается, конечно, и при помощи других групп. Внутренний мир человека и, в частности, мотивы его действий познаются, например, не только из автобиографического материала, но и из летописей, житий, легенд, законодательных актов, в прежнее время охотно указывавших на мотивы установления тех, а не иных норм, и т. п.; фактические сведения, положим, об историческом прошлом данного монастыря или о ходе какой-либо реформы и последствиях принятых мероприятий также часто встречаются и в «исторических хартулариях»[546], и в законодательных актах; более или менее резкая оценка лиц и событий, чужой и своей политики придает особый интерес некоторым официальным нотам, указам и т. п.; но такие комбинации слишком разнообразны для того, чтобы можно было остановиться здесь на подробном их рассмотрении.

Все, сказанное выше, разумеется, относится к действительным источникам: можно однако приписывать некоторое значение и мнимым, т. е. поддельным источникам, с известной точки зрения принимая их за действительные: ведь и они оказываются остатками культуры, только не той, к которой составители хотели причислить их, а той, под влиянием которой сами они совершили свои подделки. В самом деле, историк может иногда пользоваться поддельным источником для понимания той культуры, в которой подделка действительно была совершена, например, для характеристики господствующих интересов данного времени, или той степени исторических знаний, т. е. знания той культуры, к которой подделка будто бы относится, что́ обнаруживается и в степени искусства, с которым подделка была сделана, и в отношении к ней современных ей ученых; или для выяснения материальных средств данной социальной группы, ее стремления к роскоши и т. п.; историк пользуется подделкой и для изучения личности подделывателя, если он имел значение в историческом отношении, и т. п. Сборник песен Оссиана, подделанных

Макферсоном, например, все же представляет и положительный интерес: в нем отразилось то литературное движение, представители которого стремились освободиться от господства псевдо-классицизма и искали вдохновения в меланхолически-мечтательном и сентиментальном настроении, находившем пищу и в природе, и в источниках народного творчества. Другие подделки имеют не столько культурное, сколько политическое значение: достаточно припомнить, например, поддельную генеалогию дома Бульонов, в свое время наделавшую много шума; или историю Эльзасского, Лотарингского и Австрийского домов, в которой известный Винье[547] старался возвести их происхождение к св. Одиле, для чего и подделал ее житие*; или «Любушин Суд»[548] и «Краледворскую рукопись»[549], которые хотя и не могут быть причислены к древнейшим памятникам и признаются «новейшими» произведениями «древне-чешской литературы», однако, очень любопытны для характеристики возникшего в то время национального возрождения Чехии, и т. п. Поддельный источник получает иногда значение и для истории тех более или менее известных лиц, которые были заинтересованы в подделке, например, Бульонов, Балузия[550], Мериме[551], Нодье[552] и других. Следует иметь в виду, однако, что в таких случаях поддельные источники признаются, в известном смысле, действительными лишь в качестве остатков культуры, а не исторических преданий, что, впрочем, не мешает различать их значение и по их содержанию.

Впрочем, ценность источников может оказаться различной и с точки зрения индивидуального их значения, уже затронутого несколько выше: она определяется не только тем, к какому виду источник принадлежит, но, разумеется, и тем, кто был его творцом; чем более источник отражает в себе личное творчество, тем более индивидуально и его значение. При помощи такого принципа можно судить об индивидуальной ценности действительных источников для построения исторических фактов, например, о пригодности хотя бы мемуаров С.-Симона для изображения «века Людовика XIV-го» и т. п. Благодаря тому же принципу можно ценить даже мнимые источники: некоторые из подделок представляют настолько переработанные продукты индивидуальной мысли, что они могут получить значение самостоятельных произведений того именно автора, который действительно создал их;

* *A. Giry*, Manuel, pp. 881–884. *J. Havet*, Questions, t. I, pp. 19–90.

поэмы, которые Чэттертон[553] обнародовал под именем мнимого поэта Ровлея, например, обратили на себя серьезное внимание английской критики; она связывает их с последующим поэтическим возрождением, представленным Бёрнсом[554] и другими писателями*.

В рассуждениях о значении источников для познания и построения исторической действительности нельзя также упускать из виду, что сами они оказываются фактами из истории культуры, возникшими под ее влиянием, и что они могут более или менее существенно действовать на ее последующее развитие. Такое значение источников выясняется при помощи методов, изложенных выше: можно указывать и на те заимствования, какие автор сделал из чужих сочинений (fontes), и на то влияние, какое его произведение в свою очередь оказало на последующую литературу, в виде сделанных на него цитат (testimonia или testes), и т. п. В некоторых случаях легко обнаружить действие данного источника на целый круг произведений или на литературное движение известного времени: «исповедь» Руссо, например, вызвала немало подражаний; «поэмы Оссиана» произвели заметное впечатление на лирические настроения и поэтические формы раннего романтизма и т. п.** Исследования подобного рода уже входят, однако, в область построения исторической действительности: в таких случаях источник рассматривается в качестве факта из истории культуры, вызванного известными причинами и в свою очередь порождающего известные следствия***.

Итак, на основании замечаний, сделанных выше, можно прийти к заключению, что не следует чрезмерно принижать значение исторического материала для познания и построения исторической действительности: он страдает, конечно, существенными пробелами и не всегда поддается успешной интерпретации и критике; но он содержит и такие сокровища человеческой мысли, исследования которых достаточно для того, чтобы конструировать историю нашей культуры, по крайней мере, в главнейших ее чертах и содействовать ее развитию в будущем.

* *A. Thierry*, Op. cit., pp. 28–29, 59.

** *A. Thierry*, Op. cit., pp. 10–18, 141; cf. p. 184. Гёте, например, заставляет говорить своего героя, за несколько дней до самоубийства: «Оссиан занял в моей душе место Гомера»... и т. д.

*** См. ниже отд. II, гл. 2.

С последней точки зрения исторические источники имеют весьма важное значение и в практическом отношении. В самом деле, не обращаясь к помощи исторических источников, никто из нас не может хотя бы несколько удовлетворить свой интерес к действительности и к тому положению, какое он занимает в ней: ведь самый факт своего рождения человек узнает в значительной мере из «предания»; он знает, что родился от тех, а не иных родителей, по рассказам, подтверждающим то смутное чувство родства, которое он испытывает при общении с ними. Без помощи исторических источников человек лишился бы возможности переживать действительность в той ее полноте, которая получается лишь при связывании настоящего с прошедшим: великие памятники прошлой культуры превратились бы для него в груды камней, тряпок, бумажек и т. п.; он страшно обездолил бы свою духовную жизнь и лишил бы ее самой значительной части ее содержания. Без обращения к историческим источникам человек, во многих случаях, не мог бы испытывать на себе благотворного влияния и поддерживать преемство той культуры, в которой он родился и непрерывному развитию которой он служит. Вообще, без постоянного пользования историческими источниками, человек не может соучаствовать в полноте культурной жизни человечества.

Дополнения[555]

К стр. 364 <Т. 2. С. 28>, прим. 3.

Ср. еще *A. Gercke und E. Norden*, Einleitung in die Altertumswissenschaft, Bd. I, Lpz. u. Berl., 1910; Methodik von *A. Gercke*; особенно SS. 26–93, а также отделы под заглавием: Quellen und Materialien, Gesichtspunkte und Probleme zur Erforschung der griechischen und römischen Literaturgeschichte, написанные *E. Bethe*, *P. Wendland*'ом и *E. Norden*'ом; ib., SS. 399–450 и 547–588. Руководство Герке и Нордена интересно преимущественно частными указаниями и примерами.

К стр. 403 <Т. 2. С. 60>, после четвертой строки сверху.

Впрочем, из источников с фактическим содержанием, кроме тех, которые отличаются идейным или деловым содержанием, можно выделить в особую группу и источники с повествовательным содержанием, т. е. источники, преимущественно рассказывающие о событиях: анналы и хроники, биографии и мемуары, повести и сказания и т. п.; сюда можно отнести, например, «анналы Флодоарда», «повесть временных лет», быть может, принадлежавшую (в первоначальной своей редакции) Нестору, повесть об экспедиции императора Фридриха I в св. землю, сказание о Мамаевом побоище, мемуары С.-Симона и т. п. Ср. еще сс. 788–789.

К стр. 405 <Т. 2. С. 63>, прим.

До последнего времени принадлежность трактата: Περὶ ἑρμηνείας Аристотелю подвергалась большим сомнениям; но Г. Майер приписывает его составление Аристотелю; см. *H. Maier*, Die Echtheit der Aristotelischen Hermeneutik, в Archiv für die Geschichte der Phil., Bd. XIII (1900), SS. 23–72.

К стр. 487 <Т. 2. С. 131–132>, прим.

Лёнинг уже указал, однако, на то, что союз «seu» употребляется в источниках того времени то в смысле «и», то в смысле «или»; см. *E. Loening*, Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde, в Hist. Zeit., Bd. 65 (1890), S. 232.

К стр. 629 <Т. 2. С. 251>, прим.

Предлагаемая гипотеза — одна из возможных, что еще не предрешает, однако, степени ее вероятности. Можно указать и на другие объяснения того же предания, не придающие его содержанию такого реального значения. Новейшие исследователи признают, например, наиболее вероятным этиологическое происхождение этого сказания: в «luperci» усматривали волчат, что и привело к образованию известной легенды; см. *А. Энман*, Легенда о римских царях, СПб., 1896 г., сс. 26–27; ср. ниже, сс. 752–753. Современные фольклористы указывают на то, что предания о происхождении от волка встречаются и у других народов, что волк получает иногда значение «тотема», оказывающего помощь или содействие своей родне и, пожалуй, могли бы сблизить такие представления, а также то, что уже было сказано мною касательно мифа о Персее, на с. 480 <Т. 2. С. 126>, с рассказами о зачатии Реи Сильвии, встретившей волка в роще и бежавшей в пещеру, где ею овладел бог Марс, о волчице, вскормившей Ромула и Рема, и т. п.; но такие предположения, разумеется, потребовали бы дальнейшей проверки и обсуждения. Сведения о волке-тотеме и проч. см. у *G. L. Gomme*, Folklore etc., pp. 276–278, 283;

изложение самой легенды у *B. G Niebuhr*, Römische Geschichte, 2-te Aufl., Berl. 1827, SS. 223–226.

К стр. 648 <Т. 2. С. 267>, строке 7-ой сверху.

Совпадение показаний имеет значение, аналогичное с тем, какое приписывается повторению одного и того же наблюдения, или ответа. Подобно тому, как я проверяю или контролирую свое наблюдение чужими наблюдениями, положим, наблюдениями *A* и *B*, я могу проверять и контролировать чужое наблюдение *A* чужим наблюдением *B*: имея в виду, что каждое из них выразилось в соответствующем показании, я, значит, могу проверять или контролировать показание *A* показанием *B* и т. д. Каждое из них оказывается, в сущности, чрезвычайно сложным продуктом; следовательно, если независимые друг от друга показания *A* и *B* совпадают, случайное совпадение их мало вероятно, а вероятность того, что оно обусловлено истинностью показаний, больше вероятности того, что оно обусловлено ложностью показаний. С такой точки зрения историк и пользуется принципом совпадения показаний. Ср. сс. 662–663; 765–766.

К стр. 668–669 <Т. 2. С. 285>, перед 7-ой строкой снизу.

Принцип, разъясняемый здесь, конечно, получает свое приложение и к научной оценке составных элементов показаний: доверие к части показания, в случае ее совпадения с другими показаниями, может в известной мере распространяться и на другие части того же показания, если они не противоречат остальным показаниям; но степень вероятности таких заключений, разумеется, подлежит в каждом отдельном случае самому внимательному обсуждению.

Замеченные опечатки

Страницы	*Строки*	*Напечатано*	*Должно быть*
294	8 сверху	экзистенциональное	экзистенциальное
295	1”	экзистанциальное	экзистенциальное
356	4 снизу	они сохранились	он сохранился
360	4 сверху	о герменевтике и критике	герменевтики и критики

421	11 ”	можно было бы ожидать	можно ожидать
463	6 ”	исторической интерпретации	интерпретации исторических источников
467	прим. 1	относится	к с. 470
489	18 сверху	Q	Q_4
491	16 ”	Эингарду	Эингарту
521	14 ”	Общее о понятие	Общее понятие о
522	18 сверху	отвернуть	отвергнуть
556	11 снизу	Лаертский	Лаертий
568	11 сверху	a^n	a_n
629	15 снизу	басносовным	баснословным
643	3 ”	вышеуказанного соответствия	соответствия показаний друг с другом
683	1 сверху	283	683

Отдел II.
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ[556]

Введение

Во введении к предлагаемому курсу я попытаюсь установить понятие о методологии исторического построения и сообщить несколько сведений о литературе предмета. Понятие о методологии исторического построения до сих пор еще, в сущности, мало выяснено, а между тем то, а не иное понимание главной ее задачи предопределяет и ход дальнейших рассуждений о методах исторического построения; следовательно, нельзя не остановиться на выяснении такого понятия. Впрочем, некоторое представление о его содержании, и главным образом, о разнообразных приемах исторического построения и изображения можно подчерпнуть[557] из литературы предмета; обозрение ее дает понятие о постепенном развитии наукообразного его понимания и несколько указаний на современное положение данной области знания.

[§] 1. Понятие о методологии исторического построения

В изложенной выше (ч. I) теории исторического знания я уже указал на те критерии, в силу которых историк интересуется тем, а не другим фактом; методология исторического построения исходит из таких критериев: на основании их признавая, что данный факт имеет значение, она занимается только научным построением действительности в той мере, в какой последнее нужно для того, чтобы понимать ее; но и с такой точки зрения легко усмотреть тесную связь между общей методологией истории и методологией исторического построения.

Если историк интересуется историческим материалом с номотетической точки зрения, он должен отвлечь от него сходные между собою данные, обобщить их в одну формулу и т. п., словом дать научное построение в номотетическом смысле.

Если историк интересуется тем же материалом с идиографической точки зрения, он также должен будет принять во внимание тесную связь между своей теорией исторического знания и методологией исторического построения; но с идиографической точки зрения она оказывается более существенной и требует более внимательного рассмотрения.

В познавательной цели обеих дисциплин можно заметить нечто общее прежде всего с точки зрения того значения, какое научное построение некоего целого или факта имеет для признания его действительно существующим.

Признание изучаемого объекта действительно существующим, конечно, логически предшествует научному его построению, но оно вместе с тем определяется в нем. В самом деле, утверждать реальное существование факта, в сущности, значит утверждать, что он именно случился в данном месте и в данное время, что он оказался в связи с теми, а не иными другими фактами, что он был вызван определенными, т. е. именно этими причинами и повел к определенным, т. е. именно этим следствиям и т. п.; лишь при помощи такого построения историк может в полной мере судить о действительном существовании и придает наибольшую степень обоснованности своему представлению о факте как об определенной части систематического и, в особенности, эволюционного целого. Между тем, методология исторического построения и стремится установить принципы

и приемы, на основании и при помощи которых историк мог бы разрешить задачи подобного рода.

Вместе с тем историк не может удовлетворить своего научного интереса к действительности путем непосредственного ее переживания; переживание действительности есть, конечно, некое знание ее; но с научно-познавательной точки оно не достаточно для понимания ее.

В самом деле, непосредственное переживание действительности не есть еще научное понимание о ней: для понимания ее в научном смысле историк должен подвергнуть ее предварительному анализу (аналитическому объяснению ее и т. п.); но по разложении действительности, например, какого-нибудь факта на его элементы, историк вместе с тем утрачивает впечатление его реальности как такового: каждый элемент, каждое отношение и т. п., добытое аналитическим путем, есть абстракция; они отвлечены от факта; при доведении анализа до конца от него ничего не остается; он будет разложен без остатка. Как ни удовлетворяет такое разложение чувству научной пытливости историка, но оно еще не дает научного представления о факте в его целом, обладающем конкретною реальностью во всей полноте его составных частей. Такой пробел восполняется путем научного синтеза, преследующего цель научно построить из добытых элементов разложенный на них факт.

Историк не может, однако, ограничиться и таким построением отдельных фактов: для научного построения действительности он должен установить то положение, какое данный факт занимает в данном положении. Между тем, ни простое переживание факта или каких-либо обломков действительности, ни построение отдельно взятого факта не даст понимание его как части данного целого. Последнее предполагает уже наличность представления о целом, частью которого данный факт оказывается; а представление о целом, и в особенности об историческом целом во всей его сложности нельзя достигнуть путем простого переживания — оно уже требует весьма сложной построительной работы. Вместе с тем для понимания факта как части данного целого историк должен выяснить отношение, в каком данная часть находится к целому; такое отношение, а следовательно, и значение факта нельзя выяснить иначе, как путем научного построения того целого, в котором данный факт оказывается частью, и определением того значения, какое оно имеет для данного целого.

Нельзя не заметить также, что действительность, изучаемая историком (в характерных, собственно «исторических» своих особенностях), обыкновенно оказывается бывшей; значит она должна быть восстановлена: иначе ее нельзя себе представить в ее целостной индивидуальности и пережить ее; восстановление ее и происходит путем научно-систематического ее построения.

Следовательно, ни с точки зрения своей научно-познавательной цели, ни фактически историк не в состоянии понимать действительность путем непосредственного ее переживания; для того, чтобы представить себе действительность в ее целостной индивидуальности, историк должен научно построить действительность, т. е. создавать, благодаря своему научному творчеству и путем применения научных принципов и методов к эмпирическим данным своего опыта, такое построение действительности, которое он имел бы основание признать наиболее удовлетворяющим его интересу к действительности.

В самых кратких чертах выяснивши, в каком смысле данная теория исторического знания обусловливает и соответствующее понимание методологии исторического построения, обратимся к изучению того значения, какое оно получает среди методов исторического изучения (ср. ч. II, отд. введ. пар. I).

Само собою разумеется, что та, а не иная теория исторического знания вместе с тем обусловливает те, а не иные методы исторического изучения; значит, методология источниковедения и методология исторического построения, поскольку они подчинены принятой в теории исторического знания той, а не иной теорико-познавательной точке зрения, — должны иметь общую научно-познавательную цель; следовательно, с такой точки зрения между обеими дисциплинами должно признать тесную логическую связь.

Впрочем, и помимо вышеуказанного соподчинения между познавательной целью методологии источниковедения и познавательной целью методологии исторического построения можно установить известное соотношение, по крайней мере с идиографической точки зрения.

Следует прежде всего с аналитической точки зрения заметить, что нельзя утверждать существование факта, не утверждая вместе с тем, что «этот», а не другой факт существовал, что уже предполагает наличность построения данного факта. Следовательно, можно сказать, что методология источниковедения и методология исторического

построения взаимно пополняют друг друга: их положения соотносительны и взаимно предполагают друг друга. В самом деле, методология источниковедения устанавливает, на каком основании историк утверждает, что данный факт был в действительности, а методология исторического построения устанавливает, на каком основании историк утверждает, что данный факт был именно таким, а не иным, этим самым, а не другим.

Само собою разумеется, что связь между методологией источниковедения и методологией исторического построения можно установить и с генетической точки зрения: ясно, что историк пользуется выводами, которые он добыл путем интерпретации и критики источников, чтобы построить факт, бывший в действительности, а затем уже переходит к определению того положения, какое он занимает в данном целом, и т. п.

Тем не менее, однако, методология исторического построения ставит себе особую познавательную цель, отличную от той, которая принимается во внимание методологией источниковедения. Последняя имеет в виду установить принципы и приемы, на основании и при помощи которых историк может утверждать, что интересующий его факт действительно существовал или был; но основная специальная задача методологии исторического построения формулируется иначе: она состоит в том, чтобы установить те принципы и приемы, которыми историк пользуется для того, чтобы объяснить, каким образом произошло то, что было, или то, что есть в действительности.

Итак, объясняя, каким образом то, что было или то, что есть в действительности произошло, он и приходит к объяснению, почему данный факт оказался в том, а не ином месте и почему он случился в то, а не иное время, т. е. почему он занимает то, а не иное положение в данном систематическом или эволюционном целом.

Можно ли, однако, исполнить такую задачу относительно всякого факта.

Легко прийти к заключению, что если историк задается целью выяснить, почему каждая из материальных точек, образующих данное целое, занимает в нем то, а не иное положение, он не будет преследовать той познавательной цели, которая ставится историей человечества, да и фактически не окажется в состоянии привести свое исследование к окончанию.

Историк имеет дело с фактами гораздо большей сложности (см. ниже) и, исходя из данных фактов подобного рода, стремится определить их историческое значение для данного целого. С такой точки зрения он может упрощать действительность, т. е. включать в ее построение лишь те факты, которые имеют историческое значение для данного целого, но такое упрощение должно быть научным; последней цели историк может достигнуть лишь в том случае, если ему удастся установить критерии упрощения или выбора. Выше уже было сказано, что критерии упрощения возводятся к тем ценностям, в отношении к которым данный факт получает свое значение для данного целого (ч. I); вместе с тем историк принимает во внимание и понятие о «действительности» факта; значение факта он может, конечно, признать более или менее важным, положительным или отрицательным; наконец он пытается установить и степень значения данного факта или его значительность (ср. понятие о «длительности последствий), причем ставит историческое значение факта в соотношение и с тем положением, какое он занимает в данном систематическом или эволюционном целом.

С только что указанной аксиологической точки зрения, задача методологии исторического построения получает дальнейшую свою квалификацию; ее можно формулировать следующим образом: методология исторического построения устанавливает те принципы и методы, на основании и при помощи которых историк дает научное построение действительности, т. е. благодаря которым он определяет, каким образом произошло то, что имеет историческое значение, и какое именно историческое значение следует приписывать каждому из фактов, образующих то историческое целое, которое он построяет.

[§] 2. Методология исторического построения в прошлой и современной литературе

Несмотря на скудость литературы, специально посвященной методологии исторического построения, она уже имеет довольно длинную историю; следя за нею, можно выяснить, каким образом историки постепенно пришли к наукообразному пониманию задач, преследуемых методологией исторического построения, что, разумеется, должно было отразиться и на ее изложении в общих учебниках по методологии истории, и в специальных монографиях.

В истории воззрений на задачи и приемы методологии исторического построения легко установить несколько периодов. На первых порах писатели находились под обаянием классических образцов и рассуждали о таких методах главным образом в связи с изложением правил художественно-литературного изображения истории и исторического стиля; с такой точки зрения они имели в виду не столько метод исторического построения, сколько «искусство писать историю», а рассматривали его в связи с поэтическим или ораторским искусством. Вслед за тем, под влиянием философии, углубляя и расширяя свое понятие об истории, историки стали соответственно видоизменять и учение о методах исторического построения; наконец, еще позднее ученые стали приближаться к более точному пониманию основных задач собственно исторического знания, благодаря которому они или с номотетической, или с идиографической точек зрения приступили к выработке методологии исторического построения. Обратимся к краткой характеристике каждого из вышеуказанных периодов в отдельности.

Писатели классической древности оставили нам много образцов изображения истории, но очень мало рассуждений о методах ее построения; их приходится разыскивать преимущественно в сочинениях, имеющих отношение к ораторскому искусству.

Такое явление объяснить не трудно: хотя сами составители подобного рода сочинений (например: Цицерон, Лукиан) требовали от историка правдивости и беспристрастия, но все, в большинстве случаев, научно-историческое построение или было предназначено, ввиду какой-либо посторонней истории цели, убеждать читателей в приемлемости некоторых рассуждений, или во всяком случае должно было подчиняться требованиям художественно-литературного изложения; между тем искусство убеждать кого-либо было тесно связано с ораторским искусством; для того, чтобы удовлетворить эстетическим требованиям, историки также прибегали к искусственным приемам изложения; они заставляли, например, своих героев говорить речи (Фукидид), или допускали разные отступления, поддерживавшие внимание читателя и т. п., что роднило «искусство писать историю» с искусством оратора или поэта*.

* Tacit. Dial. de orat., cc. 29, 39: orationes et excessus.

В самом деле, старейшие из рассуждений о приемах исторического изображения и изложения сохранились именно в трактатах об ораторском и поэтическом искусстве. В своем рассуждении «Об ораторе» Цицерон[558], например, указывал на то, что «созидание истории предполагает изучение предмета и искусство изложения»; затрагивая понятие о построении исторического целого, он облекает его в форму требований литературного изложения: рассказ историка, по его словам, не должен представляться совокупностью случайно собранных рассказов; нить его должна быть непрерывной; элементы его должны быть также тесно связаны между собою; течение его должно быть естественным, быстрым и т. п.

[1.] Смешение искусства историка с искусством поэта или оратора

Такое же сочетание легко усмотреть и в позднейшей литературе: писатели Возрождения часто находились, конечно, под влиянием вышеназванных авторитетов классической древности, но иногда слишком мало различали искусство историка от искусства поэта или оратора. Смешение подобного рода, разумеется, особенно долго держалось в изложении правил исторического рассказа или построения: под «искусством историка» чаще всего разумели искусство писать историю и такое искусство смешивали с искусством поэта или оратора.

В XV в., например, Понтан приписывал историческому знанию поэтический характер и признавал историков своего рода ораторами, а в связи с такими взглядами излагал и правила, «как писать историю». В следующем столетии Виперано в труде, озаглавленном «De scribenda historia», назвал историческую науку «rerum gestarum ad docendum rerum usum, sincera illustrisque narratio»[559], отсюда видно, что историческое построение сводится, по его мнению, к блестящему рассказу деяний и уподобляется речи, составленной по правилам ораторского искусства. Маскарди, бывший профессором риторики в Риме и назвавший свой объемистый трактат (ars historica) в 1630 г. в отделе, озаглавленном «Struttura dell'istoria», устанавливает естественную связь между искусством историка и искусством поэта или оратора. В довольно серьезном труде об историческом искусстве (Ars historica. 1623) Фосс (Vossus) также вполне допускает для историка

употребление «речей и отступлений». Даже в конце того же века автор трактата «Об истории» (De l'histoire. 1670), отличавшегося довольно видными достоинствами, Лемуан (Le Moyne) еще указывает на то, что историк должен быть поэтом: без поэтического дара он не сочинит рассказа, не будет в состоянии дать художественное изображение прошлого, а значит и не сумеет рассказать о нем. С такой точки зрения естественно было сводить методологию исторического построения к правилам «об искусстве писать историю» и связывать его с искусством оратора или поэта.

Лишь с того времени, когда стали проводить различие между искусством историка и искусством оратора или поэта, понятие о методологии исторического построения могло получить более самостоятельное значение.

Такое выделение произошло частью под влиянием развития методологии источниковедения и, в особенности, исторической критики, частью благодаря возраставшему вниманию историков к той связи, в какой история находится с юридическими и политическими науками, а также благодаря усилившемуся их интересу к внутренней культурной истории. В самом деле, требования, предъявляемые исторической критикой, т. е. стремление установить подлинность и достоверность источников, заметно усилившееся в XVIII в., часто могло оказываться в противоречии с приемами поэтического или ораторского искусства. Рапен, например (XVIII в.), указывал на то, что употребление «речей» в рассказе далеко не всегда совместимо с требованиями его достоверности, а потому к ним можно прибегать лишь с большой осторожностью; он высказывается и против «отступлений». С такой же точки зрения Даламбер, требовавший от историка фанатической преданности истине, осторожно замечает, что сами историки сочли бы очень обидным для себя, если бы читатели поверили, что речи, приводимые ими, были действительно сочинены теми героями, которым они приписывают их составление; он же высказывается против употребления такого приема в историческом рассказе, долженствующем отличаться строгой достоверностью.

Вместе с тем историки начали обнаруживать большой интерес к истории внутренней; они стремились поставить изучение истории в связь с характером данной нации (Боден), с юридическими и политическими науками (Бодуэн в XVI в., позднее Вольтер, Вегелин и др.); и с общей историей культуры (Лемуан, Вольтер и др.); они стали

обращать большее внимание не только на прагматическое изложение (Рапен и др.), но и на процесс культурного развития человечества (Гердер и др.).

С такой точки зрения и прежние рассуждения об «искусстве писать историю» и о тесной его связи с приемами ораторского или поэтического искусства становились недостаточными. Уже Бодуэн (XVI в.), а затем Бени (Béni. De scribenda historia. 1614) проводят различие между искусством историка и искусством поэта или оратора. Рапен ставит исторический род возможно далее от поэтических родов, Мабли, один из последних историков XVIII века, рассуждавший об «искусстве писать историю», уже обнаружил тенденцию придать истории более наукообразный характер, а вместе с тем пытался установить и более научные приемы исторического построения.*

Действительно, под влиянием вышеуказанных новых требований исторической науки Мабли приближается и к более научному пониманию приемов исторического построения. Вообще, признавая, что историк должен стремиться к правдивости рассказа, автор трактата проводит различие между поэтом или оратором, которые задаются целью увлечь читателя, и историком, который является как бы свидетелем, обязанным давать правдивые показания. Вместе с тем автор требует от историка знания естественного права и политики, благодаря которым он может правильно оценивать начала и формы правления, государственную деятельность правительств и т. п. Уже заметно интересуясь историей культуры и права, Мабли с такой точки зрения рекомендует историку соблюдать единство построения и советует ему изучать права, законы и управление данной нации, привязывая к ним подробности, которыми факты связаны между собой.

Впрочем, в своих трудах об изучении истории и искусстве писать ее Мабли еще не пришел к определенному пониманию главной цели исторической науки, а потому и в понимании задач исторического построения допускает довольно значительные колебания. Все же тесно связывая, например, понятие о законосообразности в истории

* De l'art d'écrire l'histoire. 1773 in Oeuvres complètes. Toulouse, t. XIX, 1793. Нем. пер. T. R. Salzman'a с учен. предисловием A. L. Schlözer'a. Другое сочин. того же автора, известное под заглавием «De l'étude de l'histoire», трактат, составленный им для молодого принца, сделавшегося герц. Пармским и Пьяченским в 1765 г. — см. Oeuvres Compl. Toulouse, t. XVIII, 1793. Русск. пер. Е. Чиляева: «О изучении истории» в 3-х часть. СПб.

с практическою пользою почерпаемого нами из исторической науки, Мабли высказывает соображения, не лишенные значения для исторического построения: в номотетическом смысле история, по его словам, должна служить школой морали и политики; но уже с такой точки зрения надо разбираться в массе исторических фактов, а не всецело подчиняться им; с политической точки зрения история представляет интерес, если она дает правителю указания на «основные начала благоденствия или падения государств», на причины, влияющие на общественную жизнь, на средства, при помощи которых можно ускорять или замедлять их действие и т. п.; из истории правитель подчерпает также понятие о том, что «одни и те же законы, одни и те же страсти, одни и те же нравы, одни и те же добродетели, одни и те же пороки постоянно производили одни и те же последствия». С такой точки зрения задача исторического построения, значит, сводится к установлению более или менее общих законосообразностей исторического процесса.

Мабли не удерживается, однако, на такой точке зрения: он уже предчувствует и новые приемы исторического построения. Для того, чтобы судить о людях, оказавших воздействие на народную массу, надо, по его мнению, определить ту «страсть» (passion), которая образует основу его характера, господствующую его добродетель или главенствующий порок (ср. faculté maîtresse Тэна); и тогда построить его характер, а затем объяснить из него и особенности его воздействия на общество. Мабли уже останавливается и на приемах построения исторического целого: историк, по его мнению, должен соблюдать единство в своем построении (ср. выше) и выбирать важнейшие дела, оказавшие решительное влияние на историю, как бы центрами, в отношении к которым он и будет располагать остальные факты.

Тем не менее Мабли все еще сохраняет некоторые из особенностей старинного понимания исторического построения; он полагает, например, что история без «речей» не может быть поучительной.

[2.] Переходное время. Дону

Не только Мабли, но и писатели новейшего времени все еще продолжали рассуждать об «искусстве писать историю» под влиянием старинных учений.

С такой точки зрения к ближайшим преемникам Мабли можно причислить известного Дону; он начал читать свои лекции по методологии истории в 1819 году в Collège de France[560] и, за исключением курса об исторической критике, все остальное посвятил изложению того отдела, который я называю методологией исторического построения. Курсы, читанные таким образом с 1819 г. по 1830 г., образовали объемистое сочинение, 19 томов которого содержат учение о приемах исторического построения и изложения*.

Дону — представитель старого направления: он почитатель классической школы древности, «экспериментальной философии Бакона»[561] и «просвещения» XVIII века; он не признает никакой идеально или априори построенной истории, хотя с похвалами отзывается о трактате Канта об идее всеобщей истории человечества; он отрицательно относится к эклектизму и романтизму, борется со взглядами Кузена и Гизо и т. п.

Дону обнаруживает свою приверженность к старому направлению уже во втором томе своего труда; здесь он, по примеру Мабли, изучает применение истории, т. е. значение исторического знания для моральных и политических наук. Впрочем, он в том же томе приступает к изложению приемов исторического построения, а именно изучает средства размещать факты в пространстве (историческая география: II, 293–525) и во времени (историческая хронология: тома 3 и 4); затем он переходит к изложению «искусства писать историю» (т. VII). Автор признает значение «точных методов», применению которых в области моральных и политических наук он и приписывает их успехи, и усматривает связь между историей и такими науками (стр. 6); но в настоящем труде он имеет в виду изложить приемы «сочинения истории» (т. XII, 51), т. е. правила сочинения исторических произведений, причем исходит из известных четырех «законов», изложенных еще Цицероном в его рассуждении «Об ораторе», и изучает искусство художественно изображать факты в «рассказах». Старинное понимание задач исторического изображения легко заметить и в подробных рассуждениях автора о поучительности исторических фактов, об отступлениях (maximes, digressions etc.) от общего хода исторического изложения, об употреблении в нем «речей» и об историческом стиле. В следующих

* *P. C. F. Daunou*, Cours d'études historiques, Par., 1842–1849. [Т. I–XX].

томах своего курса Дону иллюстрирует такие правила на частных примерах (Геродот, Фукидид и др. греческие и римские историки классической древности; см. тт. VIII–XIX).

Труд Дону, разумеется, значительно устарел. Нельзя согласиться ни с его пониманием истории и ее задач, ни с его методологическими рассуждениями; в сущности, он и не устанавливает ни принципов, ни методов научно-исторического построения, а излагает правила, пригодные, по его мнению, для сочинений исторических произведений, и правила историко-литературного, художественного изображения и стиля.

Впрочем, в своем объемистом труде Дону сообщает и полезные сведения; он дает, например, обстоятельное обозрение «трактатов об искусстве писать историю», начиная с Цицерона до Мабли, а также историко-географических и историко-хронологических сочинений и систем; он же характеризует и различные роды исторических произведений; при изложении историографии он также высказывает иногда любопытные замечания.

Впрочем, сам Дону уже сознавал, что историк должен быть знаком с философскими системами и с похвалой отзывался о попытке Канта свести историю человечества в систему, хотя сам скептически относился к таким построениям. Автор «Курса» предпочитает «экспериментальный метод»; но ему не удалось, однако, закончить свой труд, и подробнее выяснить приложение «экспериментального метода» к построению исторического процесса, «цепи причин и следствий», и применение.

Второй период развития литературы по методологии исторического построения начинается с того времени, когда такие методы стали ставить в зависимость от основных задач исторического изучения и его объектов, а не только от требований художественного изображения прошлой жизни человечества и стилистических правил.

Уже Рапен (в XVIII в.) требовал от историка универсального ума, способного вынашивать великие идеи, создавать широкий план и распределять в нем бесчисленное множество подробностей. Дону также посвятил последнюю часть своего, впрочем, неоконченного курса изложению философских систем и признавал в некоторой мере значение попытки Канта свести историю в систему. Тем не менее новое направление в понимании истории и методов истори-

ческого построения сложилось несколько позднее, а именно с того времени, в 1830 годах, немецкий идеализм стал оказывать влияние и на рассуждения историков о задачах и приемах их науки: оно отразилось и в вышедшем тогда кратком рассуждении Гервинуса об историческом искусстве.*

Гервинус уже находился под некоторым влиянием немецкого идеализма: в своем труде он, правда, не ссылается на Гегеля, но во всяком случае сочувственно относится к Гумбольдту. Хотя Гервинус и пишет, что ему пришлось основываться почти исключительно на собственных размышлениях и опыте, однако, сам он хвалит «прекрасное» рассуждение Гумбольдта и, в сущности, заимствует из него учение об идеях. Гервинус рассуждает, например, о наличности некоего мирового плана в истории; о целом человечестве, о борьбе между свободою и необходимостью в истории, о значении в истории того, в чем можно усмотреть отношение к какой-либо исторической идее, о воплощении идеи в великих людях и т. п. Вместе с тем и историк, по мнению автора, не должен упускать из виду, что он изучает идеи, обнаруживающиеся в исторической действительности. Задача истории состоит в том, чтобы рассматривать вещи согласно данным нашего опыта только в их проявлениях в действительном, кажущимся нам случайным мире, и разыскивать их истинное отношение друг к другу. Только в том случае, если историк поставит часть, изучением которой он занимается, в отношении к целому человечеству, он будет в состоянии дать настоящее историческое произведение. С такой точки зрения автор усматривает в художественном изображении главным образом лишь средство представить историю в ее целом: ибо произведение художественное прежде всего требует внутренней законченности или целостности.

Тем не менее Гервинус не дает ни общей методологии истории, ни даже одного из ее главнейших отделов. В своем труде он устанавливает только те условия, которые, по его мнению, должны быть соблюдаемы историком для достижения «внутренней целостности» путем художественного изображения прошлого, и с такой познавательно-эстетической, объединяющей материал точки зрения намечает главнейшие роды исторической литературы.

* *G. G. Gervinus*, Grundzüge der Historik. [Lpz., 1837. Ср.: *Dörfel J.* Gervinus, als] historischer Denker. [Gotha, 1904.]

Историческое изложение начинается с простой генеалогии, затем переходит в хронику (т. е. главным образом запись событий), а затем в мемуары, объясняющие мотивы человеческих действий, что в свою очередь ведет к прагматической истории; не отрицая необходимости и теперь считаться с требованиями хронологического и прагматического изложения, историк не может ограничиться им: он должен стремиться к историческим комбинациям и изучать сущность тех идей, в которых он усматривает одновременно и силы, движущие человечеством, и цель (его истории); историк следит за действием таких сил, проникающих собою всю историю и придающих ей внутреннее единство, за их возникновением, за их стремлением к победе и господством и за их исчезновением под напором новых идей. Следовательно, историк будет придавать значение фактам в зависимости от того, в каком отношении они находятся к таким идеям; но как только историк начинает с указанной точки зрения «группировать» факты, он придаст своему произведению «наикрасивейшее единство», благодаря чему оно в качестве художественного произведения будет действовать на всего человека (читателя) и облагораживать все его существо.

Таким образом, Гервинус в своей книжке применяет учение об идеях к теории исторического построения; но он слишком мало выясняет свою теоретико-познавательную точку зрения (что такое, например, «сущность идей», их действие и т. п.); смешивает научное построение исторического целого с художественным его изображением, да и самое понятие о целом (особенно об «эволюционном целом») оставляет без надлежащего внимания.

Третий период в развитии методологии исторического построения можно начинать с того времени, когда задачу исторической науки стали определять преимущественно с теоретико-познавательной, а не с метафизической точки зрения, что, разумеется, отразилось и на понимании приемов исторической работы.

Впрочем, легко различить в нем два момента в зависимости от того, вырабатывалось ли учение о таких методах под влиянием номотетической или идиографической точки зрения.

Развитие номотетического построения истории естественно должно было обнаружиться в учениях о методах исторического построения; с такой точки зрения о них рассуждали, например, и Вундт,

и Лакомб (см. выше, ч. I) и другие писатели. Между ними можно указать и на Бурдо; его труд об истории и историках относится главным образом к методологии исторического построения*.

В своем труде Бурдо исходит из понятия истории как «науки» о развитиях (sic) разума: она изучает не царство животных, а «человеческое царство», характеризуемое деятельностью разума, т. е. те факты, «которые разум направляет или влияние которых он на себе испытывает». Задача научно-исторического построения состоит в том, чтобы формулировать «законы постоянной метаморфозы», которой человеческий вид подвергается; значит, историк должен заниматься построением таких законов на основании изучения факторов и фактов, имеющих общее значение и постоянно действующих или повторяющихся.

С такой точки зрения автор противополагает повествовательному методу метод статистический, от применения которого он ожидает «обновления истории», указывает на «специальные» и «общие» законы истории (законы сходства и последовательности, законы прогресса), доказывает их наблюдением над фактами, постоянно повторяющимися, и распространяет свои обобщения на прошлое и будущее человечества.

Сам Бурдо, однако, допускает обмолвки, которые вызывают сомнения в правильности его теории. По его мнению, например, нельзя встретить двух людей, которые, за исключением «вещей очевидных или доказанных», «думали бы одинаково по всем вопросам, а может быть и по одному из них»; но много ли «вещей очевидных и доказанных», и не придется ли историку заниматься в таком случае логикой, а не историей? Вместе с тем автор готов признать, что задача исторической науки — рассказать историю человеческого вида «великого коллективного существа, характеризуемого способностью разума»; но не оказывается ли такой вид своего рода индивидуальностью? Многие другие положения автора могли бы также вызвать возражения, но едва ли необходимо останавливаться здесь на их разборе: он ничего не прибавил нового к представлению о книге, написанной довольно поверхностно и не имеющей крупного значения для методологии исторического построения.

* *L. Bourdeau*, L'histoire et les historiens: essai critique sur l'histoire, considerée comme science positive. [P., 1888.]

С большою умеренностью и не без существенных отклонений в противоположную сторону аналогичные взгляды высказывались и в позднейшее время, например К. Брейзигом в его истории человечества и других трудах. Не усматривая принципиального различия между историей и другими науками (например, биологией), он полагает, однако, что историк стремится познать «личность и общество в их отношении друг к другу», но сам преимущественно интересуется социальной историей. В своих сочинениях автор пытается установить некоторые исторические понятия, главным образом, понятия о различных социальных группах и «движениях», об «основных формах духовного творчества и его социальном значении», а также понятия об историческом развитии и о периодизации исторического процесса, т. е. те понятия, которыми он пользуется в своем построении «сравнительной» истории развития человечества*.

Развитие идиографического направления в понимании истории также отразилось в учении о методах исторического построения. В связи с общей теорией исторического знания, оно было изложено Хладением, а за ним и некоторыми другими в общих трудах по логике и методологии истории (см. выше I и II, I); но развитая ими точка зрения не получила еще достаточно широкого применения в сочинениях, специально посвященных изложению методологии исторического построения, а потому мне и приходится здесь ограничиться довольно случайными указаниями.

В 1872 году Фримэн уже выступил с лекцией, в которой он развил мысль о «единстве истории»**, и с такой точки зрения настаивал на том, что, лишь принимая во внимание отношение изучаемого периода ко всему целому исторического развития человечества, можно понимать его. Указанный принцип, по мнению автора, имеет большое значение, по крайней мере применительно к истории арийских или европейских народов.

Впрочем, Фримэн не обосновал своей точки зрения и не развил ее применительно к методологии исторического построения; хотя и посвятил в позднейшее время целую книгу изложению «методов исторического изучения».

* *K. Breysig*, Kulturgeschichte der Neuzeit. 2 B-de, Berlin, 1900. — Die Geschichte der Menschheit, 1-e Bd., Berlin, 1907.

** *E. Freeman*, The Unity of history (1872); см. Comparative. Politics. Ld., 1873, pp. 296–341.

В русской литературе, в сущности, идиографическое понимание истории, а вместе с тем и методов исторического построения также отчасти обнаружилось, например, в трудах Н. И. Кареева.

В своих «основных вопросах философии и истории» Н. И. Кареев имел в виду подвергнуть критике ранее высказанные философские теории исторической науки «как методологии философии истории» (т. е. «историософии»); но он вместе с тем хотел дать и «общую теорию исторического процесса, исторической эволюции и исторического процесса», а также постоянно рассуждает о «философии истории» в смысле «изображения всемирной истории с философской точки зрения».

В таких рассуждениях автор немало места уделяет обсуждению исторического построения; он развивает мысль, что философия истории не занимается разысканием законов, но пользуется законами психологии и социологии для философского изображения всемирной истории; он касается, например, вопроса о единстве истории и человечества и ее планомерности; он выясняет, что без руководящей идеи и объединяющего принципа «нельзя ни выбирать, ни группировать факты» и что историк должен пользоваться «историософическим критерием, т. е. философской меркой для оценки истории»; причем усматривает ее в развитии личности; он занимается также изучением понятия «прогресса», дает «опыт теории исторического прогресса» и даже формулирует общие его законы.

В позднейшем труде, составляющем продолжение «Основных вопросов», Н. И. Кареев рассуждает о «сущности исторического процесса и роли личности в истории», но сосредотачивает свое внимание главным образом на изучении: роли личности в истории «событий» (прагматической) и ее роли в истории «внешнего быта, образованности и гражданственности народов»; — автор заканчивает свой труд, «выясняя взаимодействие прагматизма и культуры». Таким образом в последнем труде Н. И. Кареев изучает, с точки зрения уже выясненной в «основных вопросах» — некоторые факторы исторического процесса, т. е. предмет, входящий в область методологии исторического построения, но скорее с историко-философской, чем с методологической точки зрения.

Автор «основных вопросов» писал свой труд еще в то время, когда чисто логическое различие между двумя познавательными целями науки или точками зрения: номотетической и идиографической, еще слишком мало было выяснено в литературе; тот же пробел обнаружи-

вается и в его собственном труде, посвященном не столько теории исторического знания, сколько «историософии».

Впрочем, затрагивая в нем чрезвычайно много разнообразных тем, автор часто касается преимущественно того учения о методах исторического изучения, который можно назвать «методологией исторического построения» и хотя не отводит специального отдела для ее изложения, однако, сообщает много полезных соображений и указаний, имеющих отношение к ней.

Вообще систематического учения о методах исторического построения, написанного с идиографической точки зрения и изложенного в виде особой монографии, кажется, до сих пор не появлялось; лишь отдельные положения такого учения затрагивались, например, Гротенфельтом в его сочинениях (ср. выше). В одном из них он пытается выяснить общие принципы всякой оценки и в особенности принципы исторической оценки, и останавливается, главным образом, на обозрении тех критериев, которыми историки и даже люди, специально не занимающиеся историей, пользовались для оценки исторических событий, начиная с древнейшего времени и кончая позднейшим. В своем историческом обзоре автор дает много материала для изучения разновидностей критериев оценки (телеологического, этического, эстетического, утилитарного и пр.), с точки зрения которых ученые строили понятие прогресса; он также касается некоторых других исторических понятий и дает характеристику оценок: гедонистической и идеалистической, националистической и универсально-исторической.

Сам Гротенфельт пытается возвести принцип исторической оценки к высшим абсолютным ценностям, в особенности этическим: во главе их он ставит «божественное» или «божественную мировую идею», которая осуществляется в истории. Таким образом, автор переходит в область метафизики, но с такой точки зрения не обосновывается его мировоззрение, слишком мало развитого в книге; последнее имеет преимущественно характер историко критического обзора теорий, уже ранее высказанных или только приложенных другими авторами к историческому построению*.

* *A. Grotenfelt*, Geschichtliche Wertmaßtäbe in der Geschichtsphilosophie bei Historikern und im Volksbewußtsein, Lpz., 1905.

Кроме вышеуказанного направления (номотетического и идиографического), с точки зрения которых методы исторического построения обсуждались в современной литературе, можно еще указать на направление, представители которого пытаются в известной мере комбинировать обе точки зрения, не всегда, впрочем, ясно различая вышеуказанные теоретико-познавательные цели. Такое смешение иногда обнаруживается уже в заглавиях их сочинений, посвященных «философии истории» (а не теории исторического знания или методологии исторического изучения), а также отражается и в конструируемых ими исторических понятиях.

В числе новейших историков, придерживающихся такого отчасти смешанного направления, например, Линднер занимает довольно видное место*. В его труде по «философии истории» можно найти несколько соображений касательно понятий об историческом процессе, об исторических факторах (идеях, «массе», «великих людях») и важнейших исторических группах («народах и нациях»), из которых главное значение он приписывает монголам, семитам и индогерманцам. Автор рассуждает также об условиях жизнедеятельности народов, государств, церкви и т. п., и историческом развитии в совокупности его культурных, социальных и политических проявлений.

В русской литературе можно также отметить труд, автор которого Е. Н. Щепкин, кажется, стремится в некоторой мере применить оба направления**. Автор пытается исходить из «теории познания, господствующей среди представителей критического эмпиризма» и придает употребляемым им терминам «тот смысл, который укрепился в литературе критического эмпиризма». Действительно, автор рассуждает о «коллективном опыте», «о функциональной зависимости» в смысле причинно-следственной, об «экономическом описании» явлений в смысле их объяснения и т. п. Вместе с тем, однако, автор находится под заметным влиянием Вундта, учение которого, разумеется, нельзя отождествлять с эмпирио-критицизмом: соответствующий отдел в его учении о методах, по словам автора, все еще остается «лучшим» очерком логики истории. Тем не менее автора нельзя назвать и строгим последователем Вундта; «так как число

* *Th. Lindner*, Geschichtsphilosophie, Einleitung zu einer Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Stuttgart, 1901.

** *Е. Щепкин*, Вопросы методологии истории. Одесса, 1905 год.

причинных рядов, сходящихся для обоснования (sic) события, по его словам, может доходить до бесконечности, то объекты истории носят более или менее единичный, иногда не повторяющийся даже приблизительно характер. Только в этом смысле неповторяемости тождеств, все явления могут быть названы случайными, хотя ни одно из них не разрывает нитей причинности» (с. 3). С такой же точки зрения, едва ли, впрочем, отличающейся определенностью (ср. выражение «может», «более или менее» и «все явления»), автор рассуждает и о личности. Вопреки Вундту, он вообще как будто склоняется к отрицанию собственно исторических законов.

Впрочем, в своей брошюре Е. Н. Щепкин останавливается лишь на двух вопросах, а именно выясняет, в чем состоит психологическое истолкование исторических фактов и значение идей в истории.

В учении о психологическом истолковании исторических фактов, автор преимущественно придерживается учения Вундта. Психологическая интерпретация истории становится преимущественно «волевой ее интерпретацией»: разумея под «свободой воли» способность человека, благодаря характеру и воле, перерабатывать импульсы внешнего мира в цели, определяющие его поступки, автор, подобно Вундту, на таком «постулате» обосновывает историю человеческого духа и его влияния на природу и жизнь. Под видимым влиянием того же философа и его законов об исторических производных, исторических контрастов и исторических соотношений, автор излагает частные приемы психологического истолкования*.

В статье о значении идей Е. Н. Щепкин следит за «превращением идеализма вне-мирового, трансцендентного в идеализм имманентный»; но под последним он в сущности разумеет психологизм. Автор считает, например, особенно плодотворным то течение философской мысли XIX в., которое старалось понять идеи с чисто психологической точки зрения, как силы доступные, имманентные миру ощущений**. Впрочем, в своей статье автор дает беглое и едва ли всегда точное обозрение предшествующих теорий с психологической точки зрения, рассуждает об идеях «нравственных и этических» (логические, научные не упомянуты), направленных на все, что само по себе имеет абсолютную ценность.

* *W. Wundt*, Log., I^{e}. 649.

** *W. Wundt*, Log., III^{e}. 468 ff.

Таким образом, из предшествующего обзора видно, что литература по методологии исторического построения далеко не в достаточной степени разработана. Впрочем, методы исторического построения можно и должно изучать не только по общим учебникам методологии истории или специальным монографиям, но и в применении таких методов к построению истории более или менее значительных общественных групп, т. е. по выдающимся образцам исторической литературы, например по историческим трудам Фукидида и Тацита, или Ранке, Момзена[562] и Буркгардта, или Гизо, Фюстеля и Сореля, или Гиббона[563] и Маколея и т. п. Указания на их произведения и на труды многих других историков, преимущественно занимавшихся конструктивно-исторической работой, можно найти в курсах по новейшей историографии разных стран, в годовых обозрениях исторической литературы, в специально исторических журналах и т. п.*

Наконец, кроме перечисленных выше трудов, можно было бы, конечно, упомянуть и о целом ряде более специальных работ, посвященных обсуждению методологии общественных наук или отдельных отраслей исторической науки; но подробное рассмотрение таких трудов, иногда имеющих отношение и к методологии исторического построения, чрезмерно расширило бы настоящий обзор. Краткие указания на важнейшие из сочинений подобного рода будут сделаны в соответствующих местах курса.

[Глава] I. Понятие об историческом факте

С теоретико-познавательной точки зрения нам приходится вообще говорить о своих представлениях о вещах, а не вещах в себе[564]; значит и в данном случае я попытаюсь остановиться на определении того, что разуметь под представлением о факте, а не то, что разуметь под фактом в себе.

С теоретико-познавательной точки зрения вообще можно сказать, что представление, о содержании которого я высказываю экзистенциальное суждение, я и называю представлением о факте. В самом деле, если я стану высказывать суждение только о действительном существовании своего представления, а не его содержании, то в таком случае я должен буду иметь представление о своем представлении

* *Ch.-V. Langlois*, Manuel de bibliographie historique, P. 1901 г.

и последнему приписывать действительное существование; во всяком случае в таком суждении я еще не буду утверждать действительное существование чего-либо «данного» моему сознанию, мыслимого мне и независимо от него, словом, я не буду формулировать суждение о действительном существовании объекта внешнего мира: поскольку я испытываю свое представление, я, конечно, всегда имею основание утверждать его существование в моем сознании, но отсюда до утверждения действительного существования того, что именно я себе представляю, т. е. содержание моего представления, — еще далеко: лишь последнее представление можно назвать представлением о факте.

Итак, для того, чтобы признать данное представление — представлением о факте, я должен признать его содержание — реально существующим; я должен иметь основание высказать относительно такого содержания экзистенциальное суждение, т. е. ассерторическое суждение, что оно действительно существует (или существовало). Следовательно, мое представление о факте есть прежде всего экзистенциальное суждение о содержании моего представления, т. е. о том именно, что в нем содержится.

С номотетической точки зрения только что приведенная формула, однако, не может быть раскрыта до конца. С такой точки зрения я буду приписывать реальное существование лишь общему содержанию моего представления. Лишь с идиографической точки зрения можно говорить о реальном существовании содержания своего представления в полной мере. В самом деле, я не могу утверждать реальное существование чего-либо вообще, в такое утверждение, собственно говоря, я всегда включаю утверждение о существовании данного определенного конкретного содержания в данном месте и в данное время.

Какого рода содержание моего представления о факте я, однако, должен признать реально существующим для того, чтобы назвать такой факт историческим? Ответить на такой вопрос можно лишь исходя из различия между бытием и быванием и несколько выяснив себе понятие об изменении.

В вышеуказанном широком смысле всякое бытие представляется мне фактом: все то, о чем я, на известном основании, говорю, что оно существует, я могу назвать фактом; но можно употреблять тот же термин, придавая ему более узкое значение, относя его не к бытию, а к быванию, не к тому, что пребывает, а к тому, что бывает, т. е. к тому, что происходит или случается в действительности.

В таком случае понятие о факте или о событии есть экзистенциальное суждение не о всяком содержании моих представлений, а о том его содержании, которое называется изменением.

Понятие об изменении можно формулировать следующим образом: в том случае, если я (на основании принципа тождества) отношу к одному и тому же объекту два различаемых мною (на основании принципа противоречия) содержания моего сознания и, признавая их объективно существующими, приписываю им реальную связь во времени, причем мыслю такую связь, как данную моему сознанию, я, в сущности, и говорю об «изменении».

С такой точки зрения я интересуюсь не понятием о постоянном пребывании субстанции, а понятием об изменении в состояниях того, что пребывает.*

Вышеуказанное понятие о факте — изменении входит и в понятие об историческом факте: и в него, разумеется, должно включать понятие о том, что изменяется; например, понятие о совокупности живых существ, обнаруживающих признаки психической жизни, о человечестве, о народе, о государстве и т. п., того, что пребывает, поскольку оно не изменяется, очевидно, не составляет предмета исторического изучения: только бывание, изменение того, что бывает, изменяется, интересует историка.

Можно, однако, интересоваться изменением или с номотетической, или с идиографической точки зрения: с номотетической точки зрения историк будет изучать то, что есть общего между изменениями, с идиографической то, что характеризует данное изменение, отличает его от других и таким образом придает ему индивидуальное значение в данном процессе; с последней точки зрения историк и имеет основание интересоваться теми изменениями, которые можно назвать относительными случайностями (см. ч. I, разд. 3, гл. 2, пар. 3).

Если перевести такое различие на почву реальности, т. е. интересоваться понятием о факте (в смысле изменения) с точки зрения приписываемого ему (т. е. понятию) объективно реального содержания, то последнее придется представлять себе или повторяющимися, или единичными.

* Кант писал: «возникновение и прекращение не есть изменение того, что возникает или прекращается, а изменение только его состояния; *I. Kant,* Kritik der R. V., 2 te. Aufl., S. 230.

С указанной точки зрения собственно историк (какого бы направления он ни придерживался), едва ли сможет интересоваться фактами, которые признаются безусловно всеобщими, т. е. мыслятся повторяющимися везде и всегда (при наличии данных условий). В таком случае ученый интересуется ими с логической точки зрения их всеобщности, а не реального их существования, и самое выражение, что они мыслятся повторяющимися везде и всегда, теряет свое значение. В том случае, например, когда я говорю, что тело Т упало сегодня так же, как оно упадет завтра и т. д., я интересуюсь повторением процесса падения тела при известных условиях; но, если они даны всюду и всегда, для меня совершенно безразлично, где и когда наличность таких условий будет дана в действительности: в вышеприведенном случае я в сущности интересуюсь всеобщностью закона падения тел, тем, что при известных условиях тело Т должно будет упасть, а не тем, что падение «этого» тела действительно произошло при наличности «этих» условий.

С экзистенциальной точки зрения историк, значит, может иметь в виду только факты, которыми он интересуется, поскольку он может мыслить их или повторяющимися во времени, или повторяющимися в пространстве, или же случающимися один раз; в нижеследующем изложении я попытаюсь выяснить то значение, какое они могут иметь для историка, причем не забывая только что сказанного, для упрощения терминологии я уж буду говорить просто о повторяемости фактов, а не о том, что я мыслю их повторяющимися или случающимися один раз.

Можно представить себе такие факты, которые повторяются во времени, а не в пространстве: факт прохождения данной кометой данной точки небесного меридиана или ее орбиты в данный момент времени, например, может повторяться бесконечное число раз, хотя бы интервалы повторения были велики, но он будет происходить только в одной точке мирового пространства.

Такие факты не могут интересовать историка, поскольку он имеет в виду построение эволюционного целого; ибо факт, постоянно повторяющийся во времени (а не в пространстве), не может быть помещен в эволюционную серию, в которой факты следуют один за другим именно во времени же (а не в пространстве). Историк не будет иметь основания признать факт, постоянно повторяющийся во времени, именно этою, а не иною определенной частью данного эво-

люционного целого; значит он не будет в состоянии поместить факт именно в это, а не в иное положение в таком целом.

Если представить себе, положим, что данное целое образуется из ряда значений некоего X, которые оно проходит во времени, например X_1, X_2, X_3....X, и если X_1, X_3 ..... не будет в состоянии расположить их во временной ряд; он будет постоянно пересекаться повторением одних и тех же фактов. Только принимая во внимание элементы X_2, X_4 ....., которые, положим, не повторяются, историк получает основание, предварительно построив ряд .....X_2 ... X_4... и усмотрев в нем пробелы, расположить группу (X_1, X_1, X_1...) и группу (X_3, X_3, X_3...) относительно X_2, X_4 и т. п.; но в таком случае историк будет в сущности оперировать для построения интересующего его целого не над фактами, повторяющимися во времени, а наоборот, над фактами, которым он не приписывает такой именно повторяемости.

Впрочем, можно представить себе факты, которые повторяются в пространстве, а не во времени; но в другом смысле, чем мы мыслим факты, повторяющиеся во времени, а не в пространстве.

В самом деле, легко вообразить себе один и тот же факт, повторяющийся во времени, но нельзя, строго говоря, мыслить один и тот же факт, повторяющимся только в пространстве, а не во времени. Ведь единовременное возникновение одного и того же факта в разных местах, собственно говоря, нельзя себе представить: в таком случае мы мыслим несколько фактов, возникающих единовременно, ввиду тождества или сходства условий, и более или менее сходных между собою; то сходство, что данный факт имеет с другими, мы и называем повторяющимся в пространстве, а не во времени, т. е. обнаруживающимся в каждом из фактов, единовременно возникающих в разных пунктах пространства; но в таких случаях мы, в сущности, всегда имеем дело с несколькими фактами, хоть бы и вполне сходными, а не с одним.

Правда, можно мыслить повторяемость «одного и того же факта» в пространстве, но только под условием, что пределы времени, в течение которых он повторяется, невелики и что мы, считая их не важными, можем пренебречь ими. Действие, возникшее в данной среде, например, вызывает подражание. Если такой процесс признается заслуживающим внимания лишь с точки зрения его распространения в данный период времени, причем временем, потребным на его распространение, историк может пренебречь, то он в таком

именно смысле и признает факт повторяющимся в пространстве, а не во времени.

В обоих случаях, однако, нельзя представить себе собственно исторических фактов повторяющимися в беспредельном пространстве: ведь исторический процесс всегда мыслится протекающем в известных пределах пространства; кроме того, повторение одного и того же факта нельзя представить себе в беспредельном пространстве, ибо в таком случае нельзя было бы пренебрегать временем его распространения, а принимая во внимание и повторяемость во времени, мы вернулись бы к случаю, уже разобранному выше.

Как бы то ни было, факты подобного рода историк, очевидно, легко может расположить и в эволюционный ряд; раз они представляются ему повторяющимися в пространстве, а не во времени, они могут быть расположены друг за другом во времени; значит, они могут представляться ему в виде частей одного и того же эволюционного целого; следовательно, с относительно идиографической точки зрения, историк будет интересоваться ими. В силу других соображений, которые я изложу ниже, такие факты представляются историку даже преимущественно обладающими историческим значением: будучи в сущности единичными фактами, они повторяются лишь в том смысле, что оказывают влияние на окружающую их среду.

С такой же точки зрения историк интересуется и фактами, случившимися один раз: их положение в данном эволюционном целом может быть только одно и историк, конечно, займется его определением, если он может признать за фактами подобного рода некоторое значение для такого целого.

Выше установленное понятие о факте, реальное содержание которого признается повторяющимся в пространстве или единичным изменением, все еще недостаточно для того, чтобы характеризовать понятие о факте в историческом смысле.

Легко прийти к заключению, что хотя историк и обращает внимание на количественные изменения (например, рост или убыль населения), он все же, главным образом, интересуется качественными изменениями. По крайней мере, с идиографической точки зрения он будет изучать именно такие изменения: лишь качественно отличному от остальных факту он может приписывать значение самостоятельной, индивидуальной части данного целого.

В связи с только что приведенными соображениями, историк также обращает внимание преимущественно на изменения, происходящие не в пространстве, а во времени. Изменение в пространстве, т. е. движение данной вещи (например, передвижение населения), очевидно само по себе еще не составляет предмета исторического изучения; историк имеет в виду преимущественно изменения во времени, те перемены, которые с течением времени произошли в данной общественной группе и т. п.

Впрочем, и такое определение факта для целей собственно исторического исследования все еще недостаточно: многие науки занимаются изучением качественных изменений, историку необходимо выяснить, какого рода качественные изменения во времени он разумеет, когда рассуждает об исторических фактах.

Согласно с вышеуказанным различием в познавательных целях, историк может понимать факт или событие в смысле качественного изменения интересующего его или в том, что в нем есть общего с другими изменениями, или в том, что в нем есть особенного, благодаря чему он получает особое значение в данном целом. С номотетической точки зрения историк интересуется фактами; повторяющимися во времени, с идиографической — преимущественно фактами, повторяющими в пространстве или единичными, но влияющими на данную общественную группу: последнее понятие всего более соответствует тем событиям, которые признаются собственно «историческими».

Тем не менее и такое понятие о факте все еще оказывается слишком широким. Лишь в том случае, если понятие о качественном изменении связывать с понятием о той причине, которая вызывает данное изменение и действие которой в нем обнаруживается, можно ближе подойти и к понятию об историческом факте.

С такой точки зрения понятие о факте уже значительно сложнее понятия о событии: оно включает понятие о некоем причинно-следственном отношении, в силу которого само изменение ставится в зависимость от действия некоей причины, т. е. появление того именно, что дает повод говорить об изменении.

Понятие о факте в только что указанном смысле есть понятие о результате некоего действия, характеризующем некое изменение. Лишь принимая во внимание хотя бы гипотетические факторы, «действию» которых историк приписывает изменение или его характерные свойства, он может признать в нем то, что нужно для того, чтобы считать такое изменение историческим фактом.

В таком именно смысле историк и может рассуждать или о действии среды на индивидуум, или о воздействии индивидуальности на среду; изменение, вызываемое таким действием, он, значит, может называть фактом; но для того, чтобы последний признать историческим фактом, ему нужно еще квалифицировать свое понятие подобного рода действий: иначе он не будет иметь основание называть и вызываемое им изменение историческим фактом. Ясно, что под «средой» и «индивидуальностью» историк (в специальном смысле слова, т. е. историк человечества) разумеет преимущественно «общественную среду» и живую человеческую индивидуальность; отсюда легко заключить, что историк, рассуждающий о таких действиях или воздействиях, не может ограничиться пониманием их в механическом смысле; он преимущественно интересуется «психическим» характером таких действий и воздействий (см. ниже), а значит и соответственным характером вызванных им изменений.

Смотря по тому, с какой точки зрения ученый интересуется фактом, он и будет изучать такие действия или воздействия. Историк, изучающий прошлое человечества с номотетической точки зрения, интересуется преимущественно действием среды (в ее уравнительном значении) на индивидуумов; он все социальные явления, возникающие под давлением социальной среды, может подвести под такое понятие. Историк, изучающий действительность с идиографической точки зрения, разумеется, будет пользоваться для ее объяснений, в числе прочих обобщений и такими, которые получаются путем изучения подобного рода социологических фактов, но для научного построения индивидуальной конкретно данной действительности, он нуждается и в другом понятии о факте, на выяснении которого следует несколько остановиться.

С идиографической точки зрения надо подобрать такое содержание для представления об историческом факте, которому историк с наибольшим основанием мог бы приписывать реальное существование и индивидуальный характер. Между тем представление историка о воздействии индивидуальности на среду всего более удовлетворяет таким именно требованиям.

В самом деле, говоря о воздействии индивидуальности на среду, историк уже включает в свое понятие о нем и понятие о реальном его

существовании: он представляет себе такое воздействие «данным ему», действительно существующим. Такой характер с гораздо большим основанием можно именно приписывать понятию о воздействии индивидуальности на среду, а не обратно, понятию о действии среды на индивидуум: ведь с понятием о воздействии данной индивидуальности на среду историк связывает и понятие о вполне определенном месте и времени действия, значит и о совершении его в конкретных условиях данного пункта и момента в пространстве и во времени, чего нельзя сказать относительно понятия о воздействии среды на индивидуумов, если саму среду не представлять себе с индивидуальными особенностями, отличающими ее от какой либо другой среды. Вместе с тем воздействие индивидуальности на среду должно признать индивидуальным его воздействием на среду*: и чем больше такой индивидуум обладает индивидуальностью, тем более и воздействие его на среду и продукт, в котором оно обнаруживается, отличается индивидуальным характером, т. е. оказывается «случайным» в относительно познавательном смысле, единственном в своем роде фактом, подлежащим научно историческому (аналитическому) объяснению и в его генезисе, и в его последствиях для данной социальной группы. Таким образом можно сказать, что под историческим фактом, в его специфическом значении историк преимущественно разумеет воздействие индивидуальности на среду.

Впрочем, вышеприведенное понятие легко еще несколько ограничить, если припомнить, что с известной точки зрения, можно представить себе индивидуальность, имеющую значение в смысле части некоего целого. С такой точки зрения, под специфически историческим фактом можно разуметь воздействие индивидуальности на то целое, частью которого она оказывается.

Обратимся к дальнейшему выяснению того общего содержания, которое историк вкладывает в свое представление о факте в вышеуказанном смысле слова.

Самая этимология слова заслуживает внимания: слово *factum* означает то, что сделано: но историк не может довольствоваться таким чисто механическим построением о факте; для него *factum*

* Воздействие данной среды на индивидуум можно также назвать индивидуальным, поскольку она отличается от другой среды, а значит и ее воздействие будет отличаться от воздействия другой среды на того же индивидуума.

означает то, что сделано кем-либо; под фактом он разумеет воздействие индивидуальности на окружающую его среду, мертвую или живую, или воздействие части на целое. В таком смысле скребок, сделанный из кремня, есть факт; удар, нанесенный А его врагом В, есть факт; слово, сказанное С его другу Д, есть факт и т. п.

Воздействие индивидуальности не представляется историку механическим процессом уже потому, что такая индивидуальность понимается им в смысле субъекта, характеризуемого единством сознания, придающего единство и его действиям; значит, и воздействие такого субъекта на среду или целое, частью которого он оказывается, характеризуется не механическими, а психическими его особенностями; следовательно, можно сказать, что историк изучает те факты, которые состоят в психо-физическом воздействии индивидуальности на среду или на то целое, частью которого она оказывается и обращает внимание преимущественно на психический характер такого воздействия; даже воздействие субъекта на мертвую среду характеризуется теми превращениями энергии и перемещениями материальных точек, которые субъект производит в виду какой-либо цели; тот же психический характер его воздействия, разумеется, обнаруживается еще яснее в его отношении к живой человеческой среде или целому человечеству.

Итак, нисколько не отрицая механического воздействия человека на среду, я думаю, что оно не представляет самостоятельного интереса для историка; в качестве историка ученый специально интересуется психическим воздействием индивидуальности на среду или же на данное целое: но психическое воздействие индивидуальности характеризуется воздействием ее сознания на сознания, на среду или на данное целое; значит можно прийти к заключению, что под историческим фактом в узком, специфическом смысле следует разуметь воздействие сознания данной индивидуальности на среду или на целое, частью которого она оказывается.

Предположенная формула для правильного ее понимания нуждается однако в некоторых дополнительных разъяснениях.

Следует заметить прежде всего, что под понятием «индивидуальности» можно разуметь коллективное лицо, поскольку оно в каком-либо отношении может быть представлено в виде индивидуальности; значит, под «индивидуальностью» в вышеприведенной формуле можно разуметь и все человеческое, поскольку в качестве носителя сознания

воздействует на окружающую его среду, а его воздействие признавать главным историческим фактом, обнимающим все остальные. Смотря по тому более или менее широкому значению, какое историк будет приписывать тому же термину, например, смотря по тому, будет ли он разуметь под индивидуальностью — группу народов, между собою родственных, или отдельный народ, или государства, или город, или общественные слои, или союз, или наконец, отдельное физическое лицо, он может говорить о факте воздействия такой индивидуальности на среду или на то целое, частью которого она является.

Понятие среды или целого можно также расширить или суживать в зависимости от его содержания: историк может говорить, например, о воздействии человечества на окружающую его среду вообще, или на мертвую или на органическую среду в частности, о воздействии данного народа или государства на данную группу соседних народов или государств, о воздействии данного индивидуума на общество и т. п. целые. Понятию о воздействии можно также придавать различные значения в зависимости от его содержания. Последнее может быть чрезвычайно разнообразным: задаваясь, например, вопросом о том, какой род таких воздействий всего более интересует историка, естественно ответить, что наибольшее внимание он обратит на волевое воздействие данной индивидуальности. В самом деле, всякое действие будет тем менее чисто механическим, чем в большей мере оно окажется результатом психических, а не одних только физических факторов; но наиболее характерным в психическом отношении фактором действия должно признать волю; без воли и в частности волевого решения нельзя представить себе и целесообразного действия, т. е. действия, сознательно направленного самим действующим субъектом к известной цели. Вместе с тем наиболее непосредственное воздействие индивидуальности на среду или на целое будет иметь характер волевого воздействия. «Исторические деятели» — обыкновенно оказываются людьми, наделенными сильной волей, благодаря которой они и бывают в состоянии с большей, чем другие, решительностью, настойчивостью и постоянством преследовать свою цель и таким образом воздействовать на общественную группу. Достаточно припомнить имена хотя бы, например, Фемистокла, Юлия Цезаря, Лютера, Петра Великого, Фридриха Великого, Наполеона, Бисмарка и т. п. и приписываемое значение в истории, для того, чтобы прийти к заключению, что историк преимущественно интересуется волевым воздействием таких индивидуумов на данное целое, т. е. на ход истории.

Впрочем, и факты с индивидуальным характером, в свою очередь, могут оказывать подобного рода воздействие; но последнее все же сводится к воздействию коллективного лица (напр. войска) на среду или на целое и к нему можно приложить вышеуказанное построение: только объект его будет отличаться большею сплошностью.

С точки зрения того понятия о факте, которое включает понятие о факте некоего действия, характеризующем изменение, не само воздействия человеческого сознания на среду или на целое, а продукты такого воздействия и будут преимущественно называться историческими фактами.

Даже если называть наличность самого воздействия историческим фактом, все же приписывая последнему действенность (см. выше), нельзя рассматривать это воздействие вне его отношения к результатам.

В самом деле, не всякое воздействие индивидуума на среду или части на целое признается историком заслуживающим названия исторического факта: мне уже выше приходилось указывать, что лишь тот факт, которому историк приписывает ценность, а также действенность, численность и длительность его последствий получает в его глазах значение собственно исторического факта: следовательно, уже с такой точки зрения историк, пользующийся термином «факт» в его узко-специально историческом смысле (факт из истории человечества), связывает его с понятием о некотором результате. Сверх того, такое воздействие ведь только и доступно чужому наблюдению в его результатах.

Итак, *factum* можно понимать в смысле того, что уже сделано; не процесс его воздействия, а его результат. Само воздействие обнаруживается в таком результате; последний и становится обыкновенно доступным восприятию самого историка или, в громадном большинстве случаев, стороннего наблюдателя, по показанию которого историк и судит о факте.

Таким образом, легко объяснить, почему историк обыкновенно под фактом разумеет результат данного воздействия индивидуальности на среду или части на целое. Такая спецификация содержания представления историка о факте может служить основанием употребления термина «факт» в более узком смысле.

Наконец, вышеустановленное понимание термина «факт» удобно и в том отношении, что под него легко подвести и всякий продукт или состояние культуры: они всегда не что иное, как результат воздействия индивидуальности на среду или части на целое.

Итак, с специфически исторической точки зрения под понятием об историческом факте можно разуметь всякое изменение действительности, объясняемое психическим воздействием индивидуальности на среду или на то целое, частью которого она охватывается.

Такая предпосылка чужого одушевления делается историком или относительно действующего субъекта или, вместе с тем, и относительно того целого, на которое он в качестве части оказывает свое воздействие. Лишь при помощи подобного рода предпосылки он получает основание выбирать из действительности те именно факты, которым он приписывает историческое значение; лишь делая такую предпосылку, он в состоянии гипотетически установить те факты, действием которых он только и может объяснить себе данное изменение в смысле его исторического значения, и пользуясь такими фактами, приступить к научному построению исторического целого.

При установлении понятия об историческом факте в вышеуказанном смысле следует еще принять во внимание, что его содержание может быть или сравнительно простым, элементарным или очень сложным.

В научном исследовании важно иметь дело с возможно более элементарными простейшими фактами; но столь же важно не терять из виду характерных особенностей изучаемого факта, что и мешает полному его разложению на простейшие элементы, даже в случае, если бы оно и было возможно.

С такой точки зрения простейшим историческим фактом будет самое элементарное, происходящее в данном пункте пространства и в данный момент времени воздействие индивидуальности на среду, или на целое, частью которого она оказывается.

Историк обыкновенно имеет дело, однако, не с простейшими, а с относительно весьма сложными фактами. Под сложным фактом можно разуметь целую систему воздействий индивидуальности на среду, или целое воздействие, объединенных единством цели, или даже их результат. Данное орудие есть, например, сложный факт, ибо он есть результат целой системы воздействий его творца на данное вещество (положим, кремень), объединенных единством цели

(т. е. представлением этого орудия, связанным с желанием его именно делать и т. п.). Субъект, в котором такая система воплощается, может быть или физическим лицом или собирательным; отряд, который будет приступом брать крепость, систематически выполняет группу или ряд действий, результат которых, положим, состоит во взятии крепости; историк называет взятие крепости — фактом.

Впрочем, во многих случаях историк изучает не одну систему таких воздействий, а производную систему воздействий, которую он представляет себе образованной по крайней мере из двух более простых систем воздействий. Каждая из таких систем воплощается в одном субъекте, находящимся в противодействии или взаимодействии с другим и т. п., а субъект может мыслиться или в единичном или в собирательном смысле. Сражение представляется, например, историку такой именно производной системой воздействий, ибо каждая из враждебных сторон (субъектов в собирательном смысле) совершает ряд воздействий, направленных на противника. В таких случаям можно или говорить о сложном воздействии (т. е. системе воздействий) на среду, в частности разумея под ней и того, на кого подобного рода воздействие направлено (например, на противника), или представлять себе систему воздействий, которые субъекты оказывают друг на друга (напр. самое сражение) своего рода воздействием взаимодействующих или противодействующих субъектов на среду, т. е. на соответствующие народы, или государства, представителями которых сражающиеся оказываются, или на группу народов или на государства, частями которых можно считать вышеназванные народы или государства и т. п.

Следует иметь в виду, однако, что ощущение с идиографической точки зрения психологического воздействия данной индивидуальности на среду или на целое, к которому она принадлежит, не исключает изучения распространения такого воздействия в той же или более широкой среде, например, припомнив, что историк разумеет под историческим значением факта (его действенность и пр.), можно сказать, что последнее находится в прямом отношении к сфере распространения данного воздействия (или его результата) путем внушения, подражания, авторитета и т. п.

С такой точки зрения под выше установленное понятие об историческом факте можно подвести и такие факты, которые представляются нам повторяющимися преимущественно в пространстве, а не во

времени. В самом деле, положим, что изобретение, сделанное данным лицом, распространяется в данном обществе; такой факт есть все же факт воздействия изобретателя на среду; сила его обнаруживается в объеме его действия. Само собой разумеется, что в таком случае историк прибегает к обобщению, поскольку он, например, изучает степень всеобщего увлечения данного общества этим изобретением; но он пользуется таким понятием, чтобы судить об историческом значении (в частности силе) индивидуального воздействия по объему его действия и т. п. В широком смысле он может даже самое распространение данного изобретения (а не другого) в данной сфере признать индивидуальным фактом. Если иметь в виду, что термин «изобретение» можно понимать в очень широком смысле, то и вышеприведенное рассуждение получит широкое применение. Я уже не говорю о таких случаях, когда изобретение одного субъекта путем подражания воспроизводится другими субъектами с изменениями, зависящими от индивидуальных свойств воспроизводителя; в случаях подобного рода само повторение может оказаться в значительной мере фиктивным.

[Глава] II. Построение исторического факта

Всякий «предмет» есть уже наше построение, основанное частью на объединяющей, комбинирующей функции нашего сознания, частью на данных нашего чувственного восприятия, служащих материалом для нашего построения. В таком же смысле всякий «факт», поскольку он представляется нам в виде некоего образа, есть уже наше построение; но из выше предложенного понятия об историческом факте следует, что представление о нем нуждается еще в дальнейшем и гораздо более сложном построении.

Прежде всего нужно заметить, что если бы даже факт происходил перед историком, он должен был бы прибегнуть к весьма сложным приемам психологического истолкования данных своего чувственного восприятия для того, чтобы дойти до научного его построения.

Далее в громадном большинстве случаев, историк принужден иметь дело даже не с собственными чувственными восприятиями, на основании которых он подвергает факт психологическому истолкованию, а с чужими впечатлениями от него, сохранившимися в остатках культуры или в традиции, всего чаще в символической передаче;

тогда историку предстоит восстановить факт в совокупности его элементов прежде чем приступить к окончательному его психологическому истолкованию.

Наконец, если бы историк задался целью построить и особенно восстановить факт во всей совокупности его элементов, то он, конечно, не достиг бы своей научной цели и не кончил бы своей работы; из бесконечного числа таких элементов ему нужно сделать выбор тех, которые достаточны для характеристики факта, и надлежащим образом комбинировать их, ибо характеризовать факт приходится комбинацией признаков, а не каждым из них в отдельности.

Следовательно, в построении исторического научного факта можно различать несколько главных научных операций, которые я назову: 1) психологическим истолкованием факта; 2) восстановлением факта, после которого он и подвергается окончательному психологическому истолкованию; 3) комбинацией признаков, выбранных для характеристики факта.

[§] 1. Психологическое истолкование факта

Если историк интересуется преимущественно психическим характером воздействия индивидуальности на среду (или обратно, среды на индивидуальность), то и факты подобного рода ему приходится построять. Ведь те психические особенности, которыми он характеризует подобного рода воздействия, недоступны непосредственному его восприятию: ему нужно обратиться к психологическому истолкованию того, что из интересующего его исторического факта действительно доступно его чувственному восприятию.

Общее понятие о психологическом восприятии уже было установлено выше*; а потому я обращусь к изложению в общих чертах лишь того применения, которое оно получает в построении исторических фактов.

Психологическое истолкование фактов основано на признании чужого одушевления; но историку недостаточно признать чужое одушевление вообще, а надо уметь воспроизводить в себе то именно одушевление, которое он приписывает изучаемым им людям, и с точки зрения которого он объясняет их действия, их культуру и т. п.

* См. выше ч. II, отд. I, гл. 3.

В сущности, историк, сознающий реально-объективное значение тех состояний своего сознания, которые он, однако, считает «чужими», уже признает чужое одушевление; но он может достигнуть воспроизведения чужого одушевления лишь воспроизведением его в себе по возможности во всей полноте его конкретного содержания, а последнее не исчерпывается, конечно, одними только отвлеченными понятиями данной индивидуальности, более или менее общими у нее с другими лицами; историк должен по возможности воспроизводить в себе и чужие чувства, и волевые процессы, характеризующие данную индивидуальность.

Такое различение между признанием одушевления и его воспроизведением естественно приводит и к различению двух основных операций психологического истолкования исторических фактов, которые я назову: сознательно научным признанием чужого одушевления и воспроизведением чужого одушевления.

Признание чужого одушевления, представление о котором сливается с собственным одушевлением представляющего, преследует в историческом построении научную цель познания исторической действительности. Значит, признавая чужое одушевление, историк должен постоянно сознавать такую именно познавательную цель; он должен иметь основание вместе с тем признавать одушевление, воспроизводимое им в своем собственном сознании, все же чужим, данным его сознанию, т. е. приписывать ему реально-объективное существование и вне своего собственного сознания. Только при таком условии его воспроизведение чужого одушевления может иметь значение для исторического знания: лишь то представление чужого одушевления, которое сопровождается сознанием представляющего его субъекта, что оно все же чужое, т. е. принадлежит чужому «я», можно назвать представлением, удовлетворяющим требованиям исторического знания.

Следовательно, историк сознательно должен пользоваться своими состояниями сознания, для объяснения данных своего чувственного восприятия, которые он приписывает деятельности чужой психики, но только поскольку такое пользование не вводит в объяснение факта состояния его собственного сознания, которые он не имеет достаточного основания приписывать другому сознанию. Лишь постоянно и строго различая в состояниях своего собственного сознания те, которые он не в праве приписать чужому сознанию, от тех, которые, на основании известных соображений, он считает возможным приписать и чужому сознанию, и сознательно пользуясь только последними, историк может достигнуть некоторой точности в воспроизведении чужого одушевления, а значит, и в воспроизведении исторического факта.

Само собой разумеется, что при соблюдении вышеуказанного условия, такое воспроизведение может оказаться неполным; но все же фрагментарное воспроизведение факта окажется более точным, чем мнимо-полное его воспроизведение; в последнем (если только произвольно сделанные в нем вставки специально не оговорены) ни историк, ни читатель его работы не будет в состоянии сказать, что в нем признается соответствующим действительности, а что придумано.

В каждом историческом факте запечатлено известное состояние человеческой психики, с точки зрения которого этот факт только и может надлежащим образом понят и восстановлен.

Историк должен, значит, квалифицировать свое психологическое истолкование данного факта: он должен подобрать такие состояния сознания, которые нужны для понимания именно этого, а не другого факта; чем более историку удается индивидуализировать такие состояния чужого одушевления, тем он ближе подойдет к пониманию того именно факта, который находится с ними в связи, и, значит, тем менее рискует ошибиться при построении факта.

Никто не может, однако, достигнуть полной индивидуализации чужого одушевления, ибо одна индивидуальность не может, не переставая быть индивидуальностью, отождествляться с другой индивидуальностью; но если бы даже вообразить такой случай, то надобно будет сказать, что личность, утратившая свою индивидуальность, вместе с тем теряет свое личное сознание, с точки зрения которого она признает чужое одушевление объектом своего познания, и лишает себя реальной основы самого понятия о единстве субъекта, без чего она не может представить себе и единство чужого сознания, т. е. главного признака одушевления.

Следовательно, можно сказать, что историк в состоянии достигнуть лишь относительной индивидуализации чужого одушевления, что, разумеется, достигается путем возможно полного восприятия его в себе. Мысленно ставя себя в условия данного действия, переживая его мотивы и следствия, даже делая внешние движения (т. е. принимая соответственные позы, выражения и пр.), в которых дан-

ное состояние сознания обнаруживалось или которыми данное действие сопровождалось или вызывалось, историк может достигнуть и более глубокого понимания факта, нужного для его построения.

Психологическое истолкование факта предполагает таким образом прежде всего понимание мотивов, вызвавших данное воздействие индивидуальности на среду или целое; но такое понимание нельзя достигнуть без некоторого понимания действующего субъекта. В случаях подобного рода, однако, историк пользуется предпосылаемым им понятием о субъекте, единстве его сознания и т. д., исходя из некоторого понятия о его «характере», «намерениях» и т. п., он получает возможность понять отдельное его действие.

В самом деле лишь с точки зрения понятия о единстве действующего субъекта, совершающего ряд действий, действие, взятое из такого ряда, становится в достаточной мере понятным; чем цель, которой субъект стремится достигнуть более постоянна, тем в большей мере она подчиняет себе второстепенные действия субъекта, тем больше и действия его образуют непрерывный ряд, который мы называем деятельностью. В таких случаях мотивы, заставляющие субъекта действовать, становятся понятными, если за ними предполагать некоторое единство сознания, в котором они (мотивы) и получают соответствующее место; а действие субъекта, для надлежащего его понимания, приходится вставлять в соответствующий ряд и значит, объяснять его с точки зрения его деятельности. Словом, если предполагать, что субъект I проходит известный ряд значений, то значение I_m возможно уяснить себе лишь в его отношениях к I_{m-1}, I_{m-2} ... и к I_{m+1}, I_{m+2}.., причем все эти значения относятся к данному субъекту (единство объекта) и образуют из себя ряд, члены которого располагаются в зависимости от цели, приписываемой историком данному субъекту и обнаруживающейся в его деятельности.

Впрочем, предпосылая понятие о действующем субъекте истолкованию данного его воздействия, историк должен помнить, что его предпосылка нуждается в обосновании, или, по крайней мере, в научном оправдании ее негодности: сознание субъекта может иметь разные степени объединенности; значит, понятие о таком единстве не всегда в равной мере может служить для понимания и построения изучаемого действия.

Без психологического истолкования историк не в состоянии [достичь понимания] факта и в смысле результата действия некиих факторов, характеризующих данное изменение: ведь характерным будет то, что вызвано в изменении факторами, которым историк приписывает психическое значение; но он не может воспринимать их в действительности, а только построяет гипотетически для того, чтобы их действием объяснить характерные особенности изменения (ср. еще ниже).

С точки зрения понятия о действительности или только что указанного понимания исторического факта, ученый интересуется результатами воздействия субъекта на среду и обращается к психологическому истолкованию действенности факта в его результатах. Внимательно выясняя мотивы действия для правильного понимания его результатов, историк изучает и то впечатление, которое действие субъекта оказало на данную общественную группу. Последнее также интересует историка преимущественно с точки зрения его психических особенностей; значит понятие о факте воздействия субъекта на среду зависит и от понимания того влияния, какое он оказал на ее психику, что в свою очередь возможно лишь после предварительного изучения того состояния сознания, которым данная группа характеризуется до воздействия и после воздействия на нее субъекта.

В большинстве случаев историк разумеет под действующим субъектом еще более сложное понятие: ведь он часто имеет дело с собирательным лицом, т. е. с общественною группою, более или менее элементарною, например, с толпой, обществом, с народом и т. п. и изучает действия или воздействия такой группы. Между тем в случаях подобного рода представление историка о действующем субъекте уже оказывается чрезвычайно сложным: он должен дать себе отчет, на каком основании он признает данную группу субъектом и в какой мере он может ей, взятой в ее целом, приписывать содержание данного воздействия, после чего он, естественно, обратится к построению самого воздействия в его психических особенностях и соответствующих его результатов в данной среде.

Историк имеет основание признать данную общественную группу за действующий субъект в двояком смысле: или в смысле сознания каждым из элементов такой группы своей принадлежности к ней, сознания каждым из них некоторой общности своего психического настроения с психическим настроением остальных членов той же группы, например, единство цели у всех и т. п.; или в смысле единства действия: историк считает тех людей, которые действуют вместе, коллективным субъектом.

Ясно, что приписывая данной общественной группе объективно-телеологическое единство (т. е. полагая, что ее члены сознают одну общую им цель), особенно в том случае, если оно выражается и в действии, историк с бóльшим правом будет признавать такую группу субъектом, чем в том случае, если он будет в состоянии усмотреть только единство действия или единство прагматическое: ведь люди могут действовать и из-за разных целей вместе. Между тем в большинстве случаев историк только по внешнему единству действия может констатировать наличность коллективного субъекта, произведшего такое действие. Понятие о объективно-телеологическом единстве данной группы — результат построения самого ученого, опирающегося на более или менее удачном психологическом истолковании прагматического единства той же группы.

Историки почти не выясняют себе, кому, собственно говоря, следует приписывать совершение интересующего их воздействия; они могут приписывать народу действия, в сущности совершенные или какою-либо его частью, или отдельными индивидуумами, и, следовательно, забывают, что народ есть часто собирательное только имя, за которым скрывается большое разнообразие его содержания, в своей совокупности, может быть, и не имеющее реального единства: один и тот же народ может представлять такое разнообразие культурных наслоений, при котором группы, весьма различные по своей культурности, уживаются вместе и нет возможности, без предварительного исследования, распространять то, что нам известно об одной из них, на другую. В таком случае собирательный субъект фиктивный: в действительности он распадается на несколько субъектов, каждый из которых может иметь свою сферу действия. Аналогичные замечания можно, разумеется, высказать и относительно других общественных групп, например, общества, сословия, партий и т. п., поскольку каждая из них представляется историку собирательным лицом, воздействующим на целое, частью коего она оказывается. На основании разных периодических изданий, летучих листков и т. п., можно, например, составить своего рода программу данной партии; но лишь установив, что такие произведения литературы исходили от представителей известной партии, а не от случайно попавших в нее лиц, что выставленные положения не вызывали возражения со стороны партии, или разделялись другими ее представителями или даже были официально приняты партией, можно приписывать эту программу;

в противном случае, легко предполагать у партии наличность таких намерений, каких она не имела, исходя из них ошибочно приписывать ей некоторые действия и т. п.

Само собою разумеется, что и при истолковании действия данной общественной группы историк, по возможности, имеет в виду те же понятия о единстве субъекта и его деятельности, которые уже были затронуты выше: данную общественную группу можно представить себе в виде коллективного субъекта и с точки зрения общей его цели объяснять характер и степень обнаруженной им восприимчивости, да и самое обнаружение ее в соответствующем действии вставлять в деятельность данной группы. Ввиду того, однако, что такой группе далеко не всегда можно приписать достаточно высокую степень единства сознания и строго выдержанной целесообразности в ее деятельности, и понятия подобного рода при истолковании группового воздействия на среду далеко не всегда могут получить подобное применение. Следовательно, все сказанное выше о психологическом истолковании действительности исторического факта получает свое применение и к такому же истолкованию коллективного воздействия данной группы на окружающую ее среду, но только в значительно осложненном виде: степень объединенности воздействия или его продуктов может быть весьма разнообразна, что порождает и великое разнообразие его результатов.

Во всяком случае следует всегда иметь в виду, что психологическое истолкование исторического факта нуждается не в одних только общих психологических предпосылках: из понятия природы человеческого сознания вообще, нельзя еще в полной мере понять действие человека, действовавшего в данном месте и в данное время. Историку приходится погружаться в условия того места и времени, когда субъект действовал, да и конкретно представлять себе самого субъекта для того, чтобы соответственно квалифицировать свои предпосылки о характерных особенностях его одушевления для того, чтобы в нем по внешним признакам его воздействия или его результатов, подыскать подходящие мотивы воздействия, благодаря которым оно и может быть построено и т. п. Если припомнить, что даже общее психологическое истолкование принуждено считаться с понятиями о единстве сознания данного субъекта и целесообразности его деятельности, то такая квалификация станет еще более нужной в исторической науке, чем сложнее комплекс данных, подлежащих ис-

толкованию, тем в большей мере историку приходится обращаться к изучению местных и временных индивидуальных условий, с точки зрения которых можно истолковать его, а следовательно, и данный его элемент, мотив, действие и т. п.

Итак, психологическое истолкование факта исходит из понятия о целом для объяснения его частей, из понятия о единстве субъекта и целесообразности его деятельности для истолкования отдельных его действий. Вышеизложенное может, однако, породить некоторые сомнения: не попадает ли таким образом историк в ложный круг. Ведь ему придется конструировать целое для понимания частей, но то же построение уже нуждается в знании частей, из которых целое образуется.

Сомнения подобного рода легко устранить, если принять во внимание, что в данном случае речь идет о логическом порядке, а не о фактическом ходе истолкования. Общий принцип об истолковании части в ее отношении к целому, в его чисто формальном значении (т. е. в качестве общего логического требования), еще не заполненный конкретным определением такого отношения, может и должен быть принят во внимание при истолковании каждой отдельной части; придерживаясь такого принципа историк уже правильнее будет толковать и значение каждой отдельной части. Вместе с тем логический порядок истолкования нисколько не предрешает фактический ход изучения материала: можно, оставляя в силе общий принцип в его формальном значении, фактически начинать с исследования данной части, чередуя его с исследованием других частей (поскольку последнее окажется нужным с точки зрения предположения о связи ее с другими данными же частями), и, таким образом, то восходя из части к целому, то нисходя от целого к части, постепенно совершенствовать понимание последней.

[§] 2. Восстановление исторического факта

Ввиду того, что всякий факт с теоретико-познавательной точки зрения только наше представление о нем, восстановление исторического факта есть построение известного образа, содержанию которого историк имеет научное основание приписывать объективно реальное значение. В большинстве случаев, однако, историк построяет исторический образ, пользуясь даже не своими собственными

представлениями об отдельных чертах действительности, а доступными ему чужими представлениями об ее элементах.

В учении о восстановлении факта следует различать те принципы и критерии, на основании которых историк считает себя вправе соединять разрозненные элементы своих представлений в один цельный образ, называемый фактом, и те научные операции, посредством которых он достигает такого соединения.

В самом деле, ввиду сложности исторических фактов историк должен иметь какие-либо принципы или критерии, на основании которых он мог бы объединять разрозненные элементы своих представлений в один целый образ. В противном случае он не будет в состоянии обосновать своего мнения, что данный элемент относится к тому, а не иному факту.

В числе таких принципов главным можно признать понятие о единстве действующего субъекта, которое уже было принято во внимание выше при изложении учения о психологическом истолковании исторических фактов.

В самом деле, лишь исходя из понятия о некотором единстве действующего субъекта, т. е. о единстве и непрерывности его сознания, можно представить себе и некоторое единство его воздействия на среду, т. е. получить представление об историческом факте в виде цельного образа, построяемого из разрушенных элементов.

Так как под субъектом можно разуметь и коллективное лицо, то и с такой точки зрения, т. е. поскольку историк может приписывать ему некоторое единство действия, он и последнее в смысле его воздействия на среду, т. е. самый факт такого воздействия, в состоянии представить себе в виде цельного образа. Воображая себе, например, Римскую империю в виде своего рода единого целого, т. е. субъекта, стремящегося к господству над варварским миром, или обратно, «варварский мир» наступающим на Римскую империю, историк получает возможность с такой точки зрения объединять в один целый мир разрозненные и разнородные известия (элементы), какими он располагает относительно данного факта, т. е. столкновения римлян с германцами, положим битвы между ними в Тевтобургском лесу. Ведь желая представить себе сражение Вара с Арминием в Тевтобургском лесу в виде цельного образа, историк должен представить себе множество элементов, из которых его исторический образ складывается: 1) условия данной местности; 2) группы людей,

сражающихся друг с другом; последнее представление прежде всего возникает в самых общих чертах по аналогии с современными фактами борьбы, схваток и т. п., которые сам историк наблюдал в действительности, но подлежит дальнейшей квалификации; значит, историк должен представить себе а) людей разных типов, т. е. «римлян» и «германцев», что происходит частью по аналогии с его представлениями о современных ему итальянцах и немцах, частью на основании остатков культуры, например, картин или рельефов, изображающих римлян и варваров на основании описания их внешнего вида и т. п.; в) людей, различно вооруженных соответственно тем предположениям о римском и германском вооружении, прежде всего слагающимся под впечатлением вещественных древностей военного быта, собранных в Майрукском музее и иных хранилищах, а затем на основании других историков; с) людей, действующих сообразно некоторым правилам, а именно правилам военного искусства того времени, разумеется отличных у римлян и у германцев, что нельзя представить себе без знакомства с такими правилами, почерпаемыми из соответствующих описаний и руководств; 3) мотивы сражения, т. е. цели и страсти его вызвавшие (господство римлян, строгость Вара и т. п.; любовь к свободе у германцев; ненависть германцев к римлянам и т. п.), о которых он догадывается, прибегая к психологическому истолкованию целого ряда памятников и т. п.; 4) вместе с тем историк должен подвергнуть все вышеперечисленные свои представления возможно большей индивидуализации: он должен представить себе условия данной местности не вообще, а в том именно виде, какой она имела во время битвы, происходившей в начале первого века, он должен представить себе не римлян вообще, и не германцев вообще, а римлян и германцев-херусков определенного времени; он должен, по возможности, представить себе не римское и германское войско вообще, а те именно войска Вара и Арминия, которые сражались в Тевтобургском лесу в 9 г. по Р. Х., что тесно связано и с представлением об индивидуальностях самого Вара и Арминия и т. п.

Если бы историк не имел какой-либо объединяющей точки зрения, он не мог бы соединить такое множество разнообразных элементов в один цельный образ: он и пользуется вышеуказанным понятием о единстве субъекта (римлян, германцев), чтобы переносить свои представления о типе данного лица на тот момент его действия, относительно которого он не имеет достаточно конкретного представления: лишь предполагая некоторое единство и постоянство субъекта (римлян, германцев), историк приписывает, например то, что он вообще знает о римлянах или германцах того времени, и тем римлянам или германцам, которые как бы представляли собою римлян или германцев вообще и которые сражались в Тевтобургском лесу в 9 г. по Р. Х. Ведь он, в сущности, или ничего не знает или очень мало знает, положим, о внешнем виде, вооружении, тактических правилах, привычках, взглядах тех именно людей, которые участвовали в сражениях 9-го г. в Тевтобургском лесу; но, исходя из понятия о некотором единстве и непрерывности сознания данного субъекта (римлян, германцев и т. п.), историк считает себя вправе (разумеется, в известных пределах) переносить представление о его свойствах и на такой момент, относительно которого он не имеет достаточного числа конкретных представлений. Следовательно, такое переселение во многих, а иногда и в весьма важных случаях обусловливает самую возможность построения конкретного образа, разумеется, дополняемого всеми теми элементами, которые историк может почерпнуть из известий, уже прямо касающихся изучаемого факта; но и последние он относит к тому же субъекту.

Вышеуказанное понятие о единстве субъекта дает основание историку рассуждать о некотором единстве продукта его действия или деятельности: предполагая в последней наличность некоторой цели, объединяющей действия данной индивидуальности, он с точки зрения такой идеи представляет себе ее продукт в виде цельного образа, построяемого из разрозненных элементов. С точки зрения предполагаемой им «идеи» историк усматривает между ними известную согласованность, благодаря которой они и сливаются в один цельный образ. При помощи понятия подобного рода историк констатирует сложнейшие культурные факты. Так, например, исходя из понятия о просвещенном абсолютизме французского правительства, стремившегося возложить на себя все попечения о народе, не предоставляя, однако, простора его свободной самодеятельности, историк устанавливает факт возникновения полицейского государства во Франции в XVII в. или аналогичные факты в Пруссии и в России в начале XVIII века и т. п. С такой точки зрения он объединяет массу подробностей в один исторический образ.

Кроме вышеуказанных понятий о единстве действующего субъекта и соответственном единстве продукта его воздействия или един-

ства культуры, согласованности ее элементов (см. выше) и т. п., историк пользуется еще понятием об историческом значении факта для построения его образов из разрушенных элементов.

С точки зрения исторического значения, какое он признает за изучаемым фактом, историк соединяет в один образ все представления, содержанию которых он приписывает общее им значение. Если, например, историк приписывает решающее значение Саламинской битве в смысле победы древне-греческой цивилизации над персидским могуществом, то такое понятие станет для него своего рода принципом синтеза тех подробностей, какие он знает о Саламинской битве. Впрочем, понятие об историческом значении факта служит главным образом критерием выбора признаков, характеризующих факты, и их комбинации, а потому и будет рассмотрено несколько ниже, в связи с учением о комбинации признаков, характеризующих данный факт.

Итак, пользуясь вышеуказанными принципами синтеза, историк восстанавливает факт, т. е. построяет себе его образ; но он достигает такого результата лишь через посредство целого ряда научных операций.

В основу их можно положить процесс постепенной индивидуализации такого образа, поскольку последняя удовлетворяет задачам исторического знания, т. е. интересу к действительности. В самом деле, конструируя свой исторический образ, историк начинает обыкновенно с представления, еще лишенного плоти и крови; лишь постепенно, иногда после долговременной и упорной работы, ему удается заполнить свое общее представление конкретным содержанием. Тогда образ теряет свои прежние туманные очертания, становится, по мере вставок в него элементов конкретного характера, все более ясным и ярким, словом все более индивидуализируется.

Впрочем, в восстановлении факта следует различать две подчиненных операции, а именно: восстановление факта на основании наличного материала, уже готового для исследования, т. е. подвергнутого надлежащей интерпретации и критике, и восстановление тех элементов факта, которые не даны в наличном материале, но о которых можно только догадываться на основании наличного материала, для того, чтобы пользуясь вместе с данными элементами и такими элементами, о существовании которых можно лишь заключать на основании данных, восстановить факт в его целом.

В самом деле, восстановление факта на основании наличного материала уже представляет большие затруднения: ввиду многообразия действительности, даже научно-образованный наблюдатель, принужденный ограничиться только наблюдением факта, теряется перед нею: ему трудно сосредоточить свое внимание на одном простейшем факте, мысленно выделив его из остальных. Между тем, свидетель, показания которого в том или ином виде становятся доступными историку, обыкновенно не обладает достаточною подготовкой для производства наблюдений над фактами; при отсутствии технических средств для производства наблюдений он еще в меньшей мере, чем научно-подготовленный наблюдатель, способен сосредоточить свое внимание на простейшем факте; он не выделяет его из сложнейшего факта, а ввиду тесной связи последнего с другими сложными фактами, слишком мало различает такой сложный факт от остальных. Не будучи в состоянии охватить сложный факт во всей полноте его конкретного содержания и не давая точных показаний о нем в отдельности, свидетель обыкновенно сообщает свое впечатление от целой группы сложных фактов, не исчерпывая содержания ни одного из них.

Следовательно, можно прийти к заключению, что один и тот же источник может содержать и обыкновенно содержит данные, касающиеся различных фактов, но о каждом из них едва ли достаточно полные и что, значит, историку для восстановления данного факта в достаточно полном виде трудно довольствоваться одним источником, а приходится обращаться к возможно большему числу независимых друг от друга источников.

Если один и тот же источник заключает в себе данные, касающиеся различных фактов, например, если источник F содержит, положим, известия a_m, b_n, c_p... касательно фактов M, N, P..., то очевидно ближайшая задача восстановления одного из них, положим N, будет состоять из анализа содержания F с целью выделить из образующей его совокупности, т. е. из $a_m + b_n + c_p + ...$ известие, относящееся к факту N. Такая задача осложняется в том случае, если известие b_n вплетено в рассказ F, а не механически приставлено к другим известиям. Если $\Sigma (a_m, b_n, c_p...)$, а не их сумм, то историк подвергает изучению все содержание источника, с целью выделить из него все, что составляет b_n и что, следовательно, имеет отношение к факту N.

Выше я уже заметил, однако, что один источник еще не дает обыкновенно понятие о целом факте. В том случае, когда источник оказы-

вается остатком культуры, он уже не может по самому существу дать представление о целом факте, остатком которого он является. В том же случае, когда источник — историческое предание, он обыкновенно не содержит полные и надежные во всех частях сведения, чтобы можно было, полагаясь на один этот источник, восстановить факт во всей его полноте; с большей вероятностью можно предположить, что наблюдатель [допустил] ряд пробелов или ошибок в своем изображении данного факта, и что ученый не сочтет возможным удовлетвориться известиями одного только источника об интересующем его факте и обратится к восстановлению факта на основании возможно большего числа независимых друг от друга и правильно использованных источников.

Положим например, что F_1, F_2, F_3... независимые друг от друга источники и что в содержании их есть нечто общее касательно фактов *M, N, P*..., т. е. что

$$F_1 = a_m + b_n + c_p + \ldots u_x$$
$$F_1 = a_{m2} + b_{n2} + c_{p2} + \ldots u_y$$
$$F_1 = a_{m3} + b_{n3} + c_{p3} + \ldots u_z$$

Тогда сравнивая содержание F_1, F_2, F_3..., касающееся факта *M*, историк выделяет из них элементы: a_{m1}, a_{m2}, a_{m3}... и переходит к обсуждению, можно ли сказать, что образ, который он мог бы получить от *M*, т. е. $\varphi(M) = \Sigma(a_{m1}, a_{m2}, a_{m3})$.

Прежде, однако, чем утверждать что-либо подобное, надо выяснить, в каком отношении a_{m1}, a_{m2}, a_{m3} находятся друг к другу, например, не повторяется ли a_m, целиком или в некоторых элементах в a_{m2}, a_{m2} в a_{m3} и т. п.

С точки зрения методологии исторического построения (а не методологии источниковедения), такие повторения (независимо друг от друга высказанные) не представляют интереса; если то же известие *X* повторяется в a_{m1} и a_{m2}, то при одинаковой достоверности показаний F_1 и F_2 об *X* достаточно принять во внимание $a_{m1} + (a_{m2} - x) + \ldots$ или обратно $(a_{m1} - x) + a_{m2} + \ldots$. и т. п.; в противном случае историк возьмет, конечно, *X*, положим, из F_2, если F_2 дает более достоверное показание об *X*, т. е. $(a_{m1} - x_1) + a_{m2} + \ldots$ и т. п.

Таким образом, при восстановлении факта историк обыкновенно принужден пользоваться разрозненными элементами чужих представлений о факте и из них сам построяет свой образ о нем.

Уже на основании вышеприведенных соображений, легко прийти к заключению, что при построении исторического факта, историк обыкновенно не может ограничиться наличным материалом, он часто нуждается в восстановлении других фактов, не данных в источниках, для правильного построения изучаемого факта.

Мотивы данного действия известного индивидуума, например, часто остаются скрытыми от глаз историка; но он должен знать их для правильного построения самого факта, выбора и комбинации признаков, его характеризующих. В таких случаях историк строит гипотезы о мотивах данного действия, исходя из косвенных намеков на них, обнаруживающихся в совокупности условий, при которых данное действие возникло, обращает внимание на его результаты, а также на отношение, которое действующее лицо к ним обнаружило, о чем в свою очередь он иногда может заключить по последующим его действиям и т. п. Принимая гипотезу о тех мотивах, которыми особенности данного действия лучше всего объясняются, историк приписывает им объективно-реальное значение и таким образом восстановляет утраченные и скрытые от него моменты того процесса, в результате которого данное действие получилось, и только тогда он в состоянии приступить к дальнейшему психологическому истолкованию факта в его восстановленном виде.

Восстановление утраченных элементов или звеньев становится еще более затруднительным в том случае, когда такая операция нуждается в соответствующих специфически исторических значениях. В разных странах или в одной и той же стране, но в разные периоды времени человек может руководиться совершенно разными мотивами для совершения одного и того же действия, или в разное время согласованность фактов может быть различна, восстановление фактов дает удовлетворительные результаты лишь в том случае, если историк принимает во внимание при формулировке своих гипотез тот характер связи между ними, который всего более кажется в соответствии с условиями данного места и времени. В разные периоды времени одно и то же наказание, например, может быть вызвано желанием или отомстить виновнику, или устрашить наказанием и преступника и общество, или исправить наказуемого и т. п.

Наконец во многих случаях историк принужден восстановлять не только мотивы известных действий и т. п., но и целые факты, без принятия которых он не в состоянии объяснить действительности.

Значение, приписываемое действию (поступку) известного лица становится, например, иногда понятным лишь в том случае, если не только знать ближайшие мотивы этого действия, но вставить его в группу или ряд действий того же лица, т. е. изучать данное действие с точки зрения целой деятельности данного лица, ее направления, совокупности или последовательности его действий и т. п. Ведь случай или действие, давно уже прошедшее в жизни данного лица, оказывают иногда, при наступлении благоприятных условий, влияние на позднейшее действие; между тем построение такой группы или серии действий часто нуждается в восстановлении утраченных ее элементов или звеньев.

Даже сравнительно очень простые факты восстановляются при помощи подобного рода вставок. Историк, положим, знает, что такой-то средневековый король находился 6-го февраля такого-то года в Вюрцбурге, а 9-го февраля того же года в Нюрнберге. На основании этих данных историк может восстановить факт передвижения короля, т. е. определенного фактора в данной системе реальных отношений, из одного центра — Вюрцбурга, в другой — Нюрнберг. Для того чтобы представить себе самый факт передвижения, историк пользуется, однако, целым рядом построенных им частных представлений, благодаря которым он может представить себе местные и временные условия передвижения. Например, он создает себе представление о человеке, способном к движению и пользующемся соответствующими тому времени средствами передвижения, о средствах передвижения того времени вообще и о тех из них, которыми король и именно этот король мог располагать в Вюрцбурге в данное время и т. п. Вместе с тем он делает еще ряд других заключений, вытекающих из сопоставления известных ему расстояний между Вюрцбургом и Нюрнбергом и местными и временными условиям изучаемого им передвижения. Зная, положим, что расстояние между Вюрцбургом и Нюрнбергом считается в 13 миль и что при обычных в то время способах передвижения, такое путешествие требовало по крайней мере 3–4 дня, историк заключает, что король, употребивший на переезд из Вюрцбурга в Нюрнберг всего 3–4 дня, ехал по кратчайшему пути, существовавшему в то время; а такое заключение, уже придающее гораздо большую конкретность представлению о данном передвижении, в свою очередь служит основанием для ряда предположений о том, в каком именно направлении, а значит, и по каким именно местам и мимо каких именно поселений, король проезжал для того, чтобы добраться до Нюрнберга. Лишь при таких условиях представление о вышеуказанном факте передвижения, относительно очень простом (количественное изменение) заполнится конкретным содержанием.

Аналогичные приемы, разумеется, применяются в еще большей мере для реконструкции сложнейших фактов.

[∫] 3. Комбинация признаков

Согласно замечанию, уже сделанному выше, и в данном случае, и ниже под «признаками факта» «я разумею частные представления» историка о конечных элементах, образующих факт и добытых путем возможно более детального его анализа; значит, и комбинация его признаков, в сущности, есть комбинация принятых во внимание исторических частных своих представлений об элементах факта. В дальнейшем изложении я буду рассуждать и об «элементах» факта в смысле представлений о них.

Само собою разумеется, что историк при построении исторического факта не перечисляет всех его элементов. Выше мне уже приходилось указывать на то, что цель исторического знания таким образом все же не была бы достигнута: научное историческое построение действительности тем и отличается от фотографического воспроизведения всех ее подробностей (если бы оно даже и было возможно), что имеет в виду дать не простое перечисление всех элементов исторического факта, а такую комбинацию его признаков, которая бы имела научное значение. Впрочем, и фактически историк не в состоянии исчерпать действительность до дна, он не может перечислить всего, что образует данный факт, всех его элементов; он должен выбрать из них те, которые имеют значение для научно-исторического построения действительности.

Можно производить подобного рода операции с двух различных точек зрения: с номотетической и с идиографической. С номотетической точки зрения историк будет подбирать те признаки факта, которые оказываются у него общими с другими фактами, с идиографической — те признаки, которые его характеризуют.

С номотетической точки зрения, значит, данный факт становится материалом для построения понятия о группе однородных фактов

и теряет значение определенного этого, а не иного факта; но сама группа однородных фактов признается своего рода фактом, отличающимся от остальных, т. е. обладающим особыми признаками, значит с такой точки зрения — характеризуется этими именно признаками. Следовательно, и в подобного рода случаях историк уже подбирает признаки, характеризующие данную группу, а потому достаточно будет в нижеследующем изложении остановиться на рассмотрении последней операции, в сущности применяемой и к характеристике группы однородных фактов и к характеристике отдельных собственно исторических фактов в узком смысле слова.

Итак, можно сказать, что научно историческое построение факта завершается комбинацией признаков, характеризующих этот факт. Такая комбинация, очевидно, предполагает предварительный выбор из бесконечного числа элементов, образующих факт, тех, которые его характеризуют, что в свою очередь можно произвести лишь при помощи какого-либо критерия, с точки зрения которого самый выбор производится.

Каков же критерий, на основании которого историк производит подобного рода выбор. Главнейшим критерием следует, кажется, признать понятие об историческом значении, какое историк приписывает факту. Подобно тому, как можно исходить из понятия о единстве субъекта, его сознания и пр. для построения факта его воздействия на среду, так и в данном случае можно исходить из понятия об историческом значении факта для выбора характеризующих его признаков, не замыкаясь в ложный круг. Следовательно, можно сказать, что историческое построение характеризует факт в его историческом значении. Впрочем, так как под историческим значением факта следует разуметь главным образом значение, какое он получает путем отнесения его к некоей ценности и установления его действенности, и вышеназванный критерий («историческое значение факта») может получить разные значения, смотря по тому, исходить ли из обоих понятий или одного из них и какого именно.

С формальной точки зрения, ценность факта определяется степенью его индивидуальности, чем менее данный факт можно заменить другим, тем больше его значение; но такое понятие легко сочетать и с понятием о его действенности: чем более факт отличается индивидуальным характером, тем большее действие именно этот факт и оказывает (разумеется *ceteris paribus*[565]) на действительность; например, чем воздействие данной индивидуальности более индивидуально, тем большее влияние оно получает на исторический процесс.

Само собою разумеется, что в зависимости от того, какую ценность приписывать данной индивидуальности, абсолютную или относительную, положительную или отрицательную, и факт ее воздействия на среду получит соответствующее значение. С точки зрения ценности, какую он приписывает изучаемому факту и той действенности, которую он в нем усматривает, историк и подбирает признаки, характеризующие факт. Построяя, например, образ сражения при Саламине, историк должен иметь в виду его значение, положим, его ценность, поскольку в нем выразилась стойкость греческого духа, полного национального сознания превосходства эллинской культуры, и его действенность, поскольку победа греков над персами при Саламине оградила греческую цивилизацию от преждевременной варваризации и обеспечила дальнейшее ее развитие; с таких точек зрения историк и будет подбирать элементы своего сложного представления о Саламинской битве. Возьмем другой пример: положим, что историк усматривает во французской революции великий подъем национального духа в его общечеловеческом значении (ценность) и ее влияние на европейские народы и правительства; в зависимости от такого рода критериев историк, очевидно, и будет характеризовать французскую революцию*.

С точки зрения исторического значения изучаемой индивидуальности или данного факта ее воздействия на среду историк и старается установить главную черту, характеризующую эту индивидуальность в ее воздействии на то целое, частью которой она оказывается.

Само собою разумеется, что при усмотрении главенствующей черты характера данной индивидуальности историк пользуется понятием о единстве ее сознания; но в зависимости от исторического значения, которое он приписывает данной индивидуальности, он и определяет главенствующую черту ее характера.

В самом деле, лишь опираясь на понятие о единстве сознания индивидуальности, историк может говорить о главенствующей черте ее именно характера и пользоваться только чертой для синтеза остальных элементов той же индивидуальности: ведь единство сознания

---

* *A. Sorel*, L'Europe et la Révolution française, t. I, pp. 547, 550, 140 и др.

или степень его объединенности служит основным принципом синтеза ее особенностей. Тем не менее, пользуясь подобного рода понятием, историк должен иметь в виду, что даже индивидуальное сознание отдельной личности представляет не столько полное единство, сколько иерархию подчиненных центров; и что, значит, в действительности он не может сказать с полной достоверностью, служит ли такая черта в данном случае истинным принципом группировки всей совокупности элементов. Вместе с тем историк подбирает такую черту в ее отношении не только к той, а не иной ценности, но и в отношении к действенности индивидуальности или того факта, который она характеризует; с последней точки зрения историку приходится характеризовать человеческую личность преимущественно степенью развития ее воли: отвлеченный мыслитель может, например, ценить личность, поскольку она заключала в себе какую-либо великую идею и независимо от того, оказала ли она, опираясь на нее, влияние на среду, историк, например, будет ценить ту же личность в такой зависимости, что, разумеется, даст основанием соответственным образом подбирать признаки, характеризующие такого деятеля.

В аналогичном смысле можно рассуждать и о главенствующей черте индивидуальности, разумея под нею не отдельную личность, а целую группу: понятие о единстве сознания такой группы имеет, конечно, еще более условный смысл и также находится в зависимости от понятия об историческом ее значении, с точки зрения которого историк и подбирает главенствующую черту характера данной исторической группы.

Само собою разумеется, что то же самое можно сказать и относительно факта воздействия индивидуальности на среду или на то целое, частью которого оно оказывается, а также и относительно результата ее воздействия; значит, и в таких случаях историк будет пользоваться тем же принципом комбинации: он устанавливает также главную черту характера какого-либо факта в зависимости от его исторического значения, примеры чему уже были приведены выше. Даже какое-либо состояние культуры данной общественной группы можно, пожалуй, назвать сложнейшим фактом и с вышеуказанной точки зрения на его историческое значение определять и главную характерную его черту, по отношению к которой и остальные получат соответствующее положение; но в таком случае историк пользуется еще понятием о некотором единстве этой культуры, обуславливающем синтез характерных ее признаков в одно целое.

Таким образом, устанавливая связь между понятием об историческом значении факта и главенствующей его чертой, историк пользуется (за вышеуказанными оговорками) понятием о главной черте, характеризующей факт, в качестве принципа для комбинации остальных характеризующих его признаков. В самом деле, если факт A характеризуется главенствующей чертой A_1 и если (с точки зрения исторического значения A) его еще характеризуют $a_2, a_3 \ldots a_n$, то комбинация $\Sigma_n (a_1, a_2, a_3, \ldots a_n)$ получится путем установления того отношения, в каком $a_2, a_3, \ldots a_n$ будут находиться к a_1.

Так как главенствующею чертою будет та, которую всего более характеризует данный индивидуальный факт, то, очевидно, делая ее принципом комбинации остальных признаков, историк может самою комбинациею признаков характеризовать факт; такая комбинация будет в полной мере обозначать данный факт в его историческом значении.

Впрочем, историк далеко не всегда имеет возможность установить такую комбинацию; он или не в состоянии подчинить главенствующей черте остальные все, характеризующие факт в его историческом значении; или даже не находит такой черты, хотя бы за отсутствием источников или ввиду чрезмерной сложности факта. В случаях подобного рода ему приходится ограничиваться тем, что он характеризует факт не комбинацией признаков, а отдельными признаками, все же подбираемыми с точки зрения исторического значения факта.

Таким образом, научное построение исторического факта уже обнаруживается в его психологическом истолковании, без которого историк не может признать изучаемый им факт — собственно историческим. Построение исторического факта зависит, однако, и от того материала, которым историк пользуется для восстановления утраченного его образа. Такое восстановление достигает цели лишь в том случае, если историк построяет образ факта, имея в виду его историческое значение; можно даже сказать, что научное построение состоит, в сущности, в комбинации признаков, характеризующих факт в его историческом значении.

Нельзя забывать, однако, что такое «построение» все же преследует цели научного познания «действительности»; иными словами го-

воря, историк должен вполне ясно сознавать, в какой мере он может приписывать своей комбинации признаков объективно-реальное значение.

Самая тонкая критика показаний источников еще недостаточна для правильного восстановления факта, если комбинация его элементов произвольна, в особенности если иметь в виду, что произвольное представление о факте, в свою очередь, служит основанием для дальнейших, еще более сложных, еще более произвольных комбинаций. Следовательно, при построении факта историк должен путем целого ряда детальных исследований всех его элементов выяснить, возможна ли только одна их комбинация, та самая, которую он предполагает; или ввиду разрозненности элементов, которыми он располагает и между которыми он не в состоянии установить сплошной зависимости, его заключение о том, что предполагаемая им комбинация имеет объективно реальное значение, только вероятно. В последнем случае ему, конечно, нужно попытаться установить степень вероятности такого заключения; но установление степени вероятности, с какой историк может приписывать добытой им комбинации элементов своего сложного представления о факте, объективно-реальное значение, находится в связи с аналогичными рассуждениями о степени такой же вероятности относительно комбинации целых групп или рядов фактов.

[Глава] III. Построение причинно-следственной связи между историческими фактами; понятие об исторических факторах и продуктах

[§ 1. Построение причинно-следственной связи между историческими фактами]

Научное построение исторического факта, взятого в отдельности, все еще не имеет в наших глазах значения окончательного результата научной деятельности специфически исторического характера; она обнаруживается яснее лишь тогда, когда мы исследуем, каким образом этот факт стал именно тем, что он есть, а такое объяснение состоит прежде всего в построении причинно-следственной связи между фактом (или фактами), причинившим (или причинившими) данный факт, и тем фактом, который оказывается его (или их) следствием.

Во избежание недоразумений, надобно установить смысл, какой придается такой связи, и то понятие о фактической необходимости, которое лежит в ее основе*.

Попытаемся установить то значение, какое следует придавать понятию о факте — причине и понятию о факте — следствии. Под фактом — причиной можно разуметь реальное основание некоего изменения в действительности; значит, с точки зрения вышеизложенного учения о специфически историческом «факте», исторической причиной можно называть воздействие индивидуальности на ту среду или целое, частью которого она является; но такое воздействие предполагает известное действие и со стороны среды; так что в сущности можно говорить о взаимодействии между индивидуальностью, воздействующей на данную группу, и последней, само взаимодействие подобного рода становится фактом, причиняющим изменение в среде или в целом. Под фактом — следствием с той же специфически исторической точки зрения естественно понимать самое изменение, происходящее в среде или в данном целом. С точки зрения такого понимания легко включить в понятие причины взаимодействие двух или нескольких субъектов, а под следствием разуметь изменения, вызванные ими в данной общественной группе и т. п.

Вообще, если означать субъект через I, целое через S_1, изменение в S_1 через $(S_2 - S_1)$, а следствие через R, то $R = S_2 - S_1 = F(I, S_1)$.

При построении причинно-следственной зависимости между историческими фактами в вышеуказанном смысле, историк усматривает фактическую необходимость такой связи.

Понятие о фактической необходимости связи между фактами можно разъяснить на следующей схеме. Если $R = F(a, b, c \ldots n)$, где $a, b, c, \ldots n$ причины его воздействия, то, при значительном количестве причин R, само стечение их в данном месте и в данное время представляется историку фактически данным. Вместе с тем, при значительной сложности этого именно сочетания, нет возможности предсказать, повторится ли оно в действительности. В таком двояком смысле историк, значит, и рассуждает о фактической необходимости той связи, которую он усматривает между R и $F(a, b, c \ldots n)$.

Следовательно, при построении причинно-следственной связи между R и $F(a, b, c \ldots n)$ историк не может исходить из причины, т. е.

* См. выше, ч. I, отд. III, гл. 2.

из F *(a, b, c ... n)*; лишь после того, как действие ее уже обнаружилось в следствии, он, исходя из последнего, стремится подыскать то действительно бывшее сочетание обстоятельств, которым он может объяснить себе появление данного результата.

Тем не менее историк не может остановиться на такой операции. В самом деле, вообразим, что ему удалось выяснить то именно стечение обстоятельств, которым появление данного результата объясняется; но для того, чтобы получить уверенность, что данное объяснение правильно, он должен опознать логическую необходимость данной фактической связи, т. е. те логические основания, в силу которых он утверждает, что раз дано было такое именно сочетание, оно и должно было вызвать такое именно следствие, хотя бы это явление и совершилось только один раз. Впрочем, если историк не имеет возможности усмотреть логической необходимости в связи между данным стечением обстоятельств и их следствием, то он, по крайней мере, должен выяснить себе такую же связь между возможно большим числом каждого из отдельно взятых элементов причины и возможно большим числом соответствующих им элементов следствия, что в сущности предполагает то же движение от причины к следствию, а не наоборот.

Итак, можно сказать, что при построении причинно-следственной связи между фактами мысль историка последовательно движется в двух направлениях: от следствия к причине и от причины к следствию: он исходит из следствия (результата) для выяснения того именно стечения обстоятельств, которое действительно его вызвало, и таким образом восходит к причине; а затем он пробует исходить из причины для того, чтобы обосновать свое утверждение, что раз она была дана в действительности, то и должна была, при отсутствии противодействующих причин, породить данное следствие или результат. Восходящее движение мысли историка от следствия к причине я назову индуктивным объяснением связи или зависимости между фактами; нисходящее движение ее от причины к следствию — дедуктивным объяснением связи или зависимости между фактами.

Индуктивный метод объяснения связи между фактами состоит в построении причинно-следственной связи между ними на основании изучения данного результата, судя по которому историк заключает и о том стечении обстоятельств, которое его вызвало.

Такой метод предполагает возможность по данному следствию заключать о породившей его причине, что, однако, далеко не всеми признается и требует некоторого рассмотрения. В самом деле, можно ли по данному следствию заключать о породившей его причине и не бывает ли случаев, когда одно и то же следствие можно объяснить действием разных, взаимно исключающих друг друга причин.

Ответ на такой вопрос будет зависеть от того, придерживаться ли строгой логической, в частности этиологической, точки зрения или принимать во внимание практические соображения, касательно состояния наших знаний.

С чисто логической точки зрения между причиной и следствием должна быть логически необходимая связь и нельзя себе представить, чтобы одно и то же следствие могло быть вызвано разными логически взаимно исключающими друг друга причинами: если с логической точки зрения A признается причиной B, а B следствием A и если A дано, то при отсутствии противодействующих причин, должно быть B: значит, раз B дано в действительности, я могу по B заключить о действии A; в противном случае я должен был бы отрицать, что A «переходит» или «продолжается» в B, что действие A эквивалентно происшедшему в B изменению, что такое следствие есть результат взаимодействия AB и т. п.

С практической точки зрения, однако, естественно утверждать, что B могло бы быть вызвано разными причинами, положим X или Y, и в двояком смысле: или ввиду ограниченности нашего знания, или ввиду отсутствия нужды в точном знании той именно причины, действию которой приписывается данное следствие.

В самом деле, если знание мое об изменении в [B] недостаточно, я не буду в состоянии решить, какая именно причина его вызвала, и буду колебаться в выборе причины, действительно вызвавшей изменение в B, но не потому, что отрицаю, чтобы B имело только причину A, а потому, что за недостаточностью моего знания о всех особенностях данного изменения, я приписываю изменение в B действию X или Y. Во многих случаях я ввиду моих целей и не нуждаюсь в том, чтобы объяснить все особенности изменения в B; я принимаю во внимание не данное следствие, а то, что из него меня интересует; мне безразлично знать, что именно случилось, а важно только из того, что случилось, непосредственно меня интересующее, и я с такой преимущественно практической точки зрения могу подыскать несколь-

ко причин, каждая из которых по моему мнению достаточна для объяснения случившегося.

Историк, преследующий научную цель — познание действительности, и изучающий особенности в высшей степени сложных изменений, правда, менее другого ученого в состоянии всякому следствию подыскать причину; но если ему удалось подыскать причину, он, с большею вероятностью, может сказать, что именно эта причина и вызвала данное следствие.

Такой метод состоит в научном анализе данного результата, благодаря которому историк получает возможность выяснить, какого рода обстоятельства (элементы причины) породили данный факт, и в научном смысле полученных им элементов в одно сложное представление о их совокупности, вызвавшей этот факт.

При изложении учения об аналитическом объяснении и синтетическом построении действительности я уже изложил те общие принципы, которые лежат в основе только что указанных операций: анализа следствия и синтеза его причины; здесь я ограничусь лишь более специальными их приложениями к построению причинно-следственной связи между фактами, имеющими историческое значение с такой точки зрения. Рассмотрю каждую из вышеуказанных операций в отдельности.

При анализе следствия историк обыкновенно испытывает многие затруднения, сопряженные с самым характером тех фактов, с которыми он имеет дело.

Прежде всего, историк должен помнить, что всякий исторический факт, а значит и изучаемое следствие — есть его построение; что собственно исторические факты, подлежащие научному его исследованию, суть факты, бывшие в действительности, и что они в их конкретной индивидуальности не повторяются. Следовательно, анализ таких фактов, в том числе и изучаемого следствия, может быть только мысленным: историк подвергает анализу лишь свое сложное представление о следствии, им же самим построенное, для того, чтобы по следствию судить о причине. Далее самыми характерными особенностями исторических фактов историк признает их психическое значение (см. выше); но применяя чужое одушевление к данным внешним его обнаружениям, обыкновенно известным историку через посредство чужих показаний, он вместе с тем относит их к данному субъекту, действиями которого они ему представляются. С такой точки зрения, анализ следствия оказывается еще более затруднительным: историку приходится исходить из понятия о единстве чужого сознания, обнаружившегося в данном результате, и разыскивать для каждого из его элементов то именно положение, какое представление о нем должно было получить в таком единстве; самая раздельность элементов становится проблематичной, и в составе следствия и в составе причины, которая для него подыскивается. Наконец, если бы даже историку и удалось разложить (а не разрубить) данный результат на составные его элементы, подыскание соответствующих им элементов сложной причины затрудняется еще тем, что отношение между причиной и следствием построяется не в чисто механическом, а в психологическом смысле. С такой точки зрения в высшей степени затруднительно установить то направление, в котором историку нужно подыскивать причину для данного следствия. Представляя себе, например, действие в более или менее общих чертах, допустим, наблюдение, он может поставить его в связь с самыми разнородными мотивами; часто мудрено решить, какой из них вызвал данное действие, а значит и построить надлежащую причинно-следственную связь между ними; а ведь историк имеет обыкновенно дело с целыми системами и рядами действия. Правильная постановка и решение задачи затрудняется еще тем, что между двумя отдельно взятыми смежными состояниями одного и того же сознания, едва ли можно устанавливать причинно-следственную зависимость, не относя их при конструировании последней к субъекту, испытывающему такие состояния и обнаруживающему к ним то, а не иное отношение. Значит, связь между данным состоянием сознания и соответствующим действием представится историку еще в более запутанном виде, если он вспомнит, что самое конструирование ее оказывается делом спорным: его производят или с точки зрения теории психофизического параллелизма, или с точки зрения учения о «взаимодействии души с телом»; только с последней самое понятие о причинно-следственной связи между субъектом, в данном состоянии его сознания, и соответствующим его действием можно было бы признать прочно установленным. Между тем историк обыкновенно имеет дело с еще более сложными конструкциями; ему часто приходится разуметь под субъектом «коллективное лицо», а под его действием — сложную систему взаимодействий, объектом которой оказывается такое же собирательное лицо.

Историк едва ли в состоянии выйти из таких затруднений, исключительно придерживаясь одной только этиологической точки зрения; ему приходится обращаться к гипотетически-дедуктивной, телеологической точке зрения для того, чтобы при ее помощи построять причинно-следственную связь между историческими фактами. Действительно, в тех случаях, когда историк не имеет достаточных оснований для того, чтобы исходя из своего представления о данном факте — следствии, восходить путем его анализа к представлению о вызвавшей его причине, он прибегает к телеологическому построению причинно-следственной связи: представляя себе данное следствие целью, он с последней точки зрения и подыскивает причины, вызвавшие ее осуществление.

Такое представление можно устанавливать, однако, с двух различных точек зрения: историк может прибегать к понятию о цели с теоретико-познавательной точки зрения, в качестве регулятивного принципа, пригодного для подыскания таких фактов, которые он мог бы признать причиной данного следствия и которые, значит, в достаточной мере объясняли бы появление нового факта — следствия; или он пользуется понятием о цели и с психологической точки зрения, не только как своим принципом для объяснения факта, но и приписывая такому понятию объективно-реальное значение. С последней точки зрения понятие о цели историк признает не только своим, но и чужим представлением, получившим в сознании того субъекта, которому он его приписывает, значения реального мотива его действий, вызвавших осуществление его цели в следствии, изучаемом историком.

Историк превращает субъективное свое понятие в понятие с объективно-реальным значением следующим образом: он воображает, что его представление о данном факте — следствии в совокупности его проанализированных элементов есть цель, которую некий субъект мог иметь в виду. С такой телеологической точки зрения историк стремится подыскать и те мотивы, которые данный субъект, при данных условиях места и времени, мог иметь для того, чтобы преследовать такую именно цель; если между подысканными таким образом элементами и представлением цели обнаружится достаточная степень согласованности и она подтверждается имеющимися у историка сведениями о данном субъекте, историк получает основание утверждать, что его представление о данном следствии — цели

послужило телеологическим мотивом, деятельности которого оно (следствие) приписывается.

Историк проверяет сделанное им заключение и другим путем: он представляет себе те средства, которые данный субъект, при известных условиях места и времени, мог употребить для достижения известной ему (историку) цели, т. е. того следствия, из представления о котором ученый исходит в своем построении; если он в бывшей действительности находит факты, согласующиеся с его представлениями, т. е. получает возможность заключить, что данный субъект действительно пустил в ход означенные средства или некоторые из них, то историк получает новое основание усматривать в изучаемом следствии — результат целесообразной деятельности данного субъекта.

В силу подобного рода соображений историк приписывает свое представление о следствии, в смысле цели, действовавшему субъекту в качестве мотива-цели. Таким образом историк получает основание приписывать своему представлению о данном факте — следствии объективно-реальное значение цели, из-за которой данный субъект действовал, а значит и подбирал соответствующие средства; исходя из такой более или менее обоснованной и оправдываемой ее приложением гипотезы, историк и устанавливает ту причину (сложную совокупность элементов), которой он объясняет появление данного результата.

Следовательно, можно прийти к заключению, что историк производит анализ следствия, в сущности, не со строго индуктивной точки зрения; помимо пользования априорными категориями, обусловливающими собою (в аналитическом смысле) всякую индукцию, историк сверх того привносит в свой анализ гипотетически-дедуктивную, телеологическую точку зрения; при ее помощи он и пытается разобраться в стечении обстоятельств, которым он объясняет появление данного исторического факта — следствия.

В таком стечении обстоятельств историк различает условия от причины возникновения данного факта, и причину (в узком смысле слова) от повода и старается установить, какие именно условия, причины и поводы объясняют возникновение данного результата.

В понятие факта — причины историк, следовательно, вводит прежде всего понятие о совокупности тех условий, которые необходимы, но сами по себе еще недостаточны для того, чтобы определенный факт действительно произошел.

Против такого построения можно было бы, конечно, возразить ссылкой на то, что в тех случаях, когда ученый в состоянии установить эквивалентность между причиною и следствием, он охотно переносит самое понятие причины на совокупность условий, при наличности которых некое превращение энергии обнаруживается; но историк не может установить такого равенства (см. выше) и пользуется понятием об условиях, например, в тех случаях, когда он рассуждает о «географических условиях», в которых факт произошел, или в общественной среде, в которой он обнаружился, в противоположность «мотивам» воздействия данной индивидуальности на такую же среду (ср. выше $S_2 - S_1 = F(I,S)$) и т. п.

Следовательно, построяя факт — причину, историк пытается выяснить, какими именно условиями объясняется возникновение данного факта — следствия. Так как условия возникновения последнего оказываются более или менее общими у него с другими фактами, взятыми в данных пределах пространства и времени, то и самое подыскание таких условий оказывается, конечно, относительно более легким; но чем более условия возникновения факта отличаются общностью, тем менее можно ограничиваться ими для объяснения возникновения именно данного факта — следствия: принимая во внимание такие условия, историк пытается, исходя из следствия, установить, какие именно причины в достаточной мере объясняют появление именно данного факта — следствия.

В совокупности таких причин, о наличности которых историк заключает по следствию, он различает причины «отдаленные» от «ближайших». Такое различие можно установить на основании двоякого рода соображений: или с точки зрения времени их появления относительно следствия, или с точки зрения степени их относительной сложности.

Действительно, отдаленные причины можно отличать от ближайших прежде всего по времени наступления их действия относительно следствия. Положим, что в $R=F(a, b, c, d, \ldots n)$ a предшествует b во времени, b предшествует c во времени и т. д.; тогда, рассматривая время появления каких-нибудь причин a и n или групп причин (a, b) и $(\ldots m, n)$ в их отношении ко времени появления следствия R, мы называем причины (a, b...) отдаленными сравнительно с причинами (...m, n); а причины (...m, n) ближайшими сравнительно с причинами (a, b...).

Возможно, однако, проводить различие между причинами отдаленными и ближайшими и по степени сложности их состава в качестве их добавочного признака к тому, который был изложен выше. Возьмем, например, три группы причин: $(a, b\ldots)$, $(\ldots i, k\ldots)$, $(\ldots l, m, n)$ и вообразим, что можно пренебречь по отношению к R разновременностью действия l, m, n, т. е. представить их себе как бы действующими одновременно; тогда, обозначив $\Sigma (l, m, n)$ через S_n, мы получим отдаленные причины $(a, b\ldots)$ и ближайшую S_n. В данном случае отдаленные причины отличаются от ближайших меньшей сложностью. Последнюю можно понимать в двояком смысле: или в том смысле, что причины $a, b\ldots$ легче выделить из потока бывания; или в том смысле, что они проще по своему составу.

Историк часто называет условия отдаленными причинами изучаемого им воздействия данной индивидуальности на среду: такие условия (например, географические, социальные, политические и т. п.) обыкновенно рассматриваются как данные иногда задолго до того момента, когда наступает факт — следствие.

Следовательно, подыскание отдаленных причин факта представляется, с такой точки зрения, менее затруднительным, чем подыскание ближайших; но вместе с тем оно еще не дает достаточного объяснения факта.

В исторических построениях ученый обыкновенно понимает под отдаленными причинами те, время появления которых относительно следствия предшествовало времени появления ближайших причин того же следствия и действия которых можно рассматривать в более отвлеченном виде. С такой точки зрения, историк, пренебрегающий изучением ближайших причин данного факта — следствия, может приходить к некоторым обобщениям, т. е. к установлению некоторых законосообразностей; но указанным путем он еще не будет в состоянии объяснить появление данного факта — следствия в данном месте и в данное время. Для достижения последней специфически исторической цели он должен принять во внимание и ближайшие причины.

В выше приведенной конструкции ближайшая причина отличается от отдаленных, помимо относительно более позднего наступления момента действия, во всяком случае, и большею сложностью своего состава. В самом деле, чем менее историк может ввиду преследуемой им познавательной цели, отвлечь l от S_n, m от S_n и т. д., тем

более S_n будет представляться ему единовременно данным комплексом элементов, который можно назвать фактом.

Историк обращается к изучению ближайших причин для объяснения характерных особенностей следствия, т. е. тех его особенностей, в силу которых оно именно, а не иное следствие, и получает определенное историческое значение. Под «ближайшей» причиной он обыкновенно разумеет мотив воздействия или самое воздействие данной индивидуальности на среду, на то целое, частью которого оно оказывается.

Для подыскания мотива, соответствующего данному воздействию, историк чаще всего пользуется именно тою гипотетически-дедуктивною, телеологическою точкой зрения, с которой причина устанавливается им, исходя из следствия. Действительно, объяснение факта его ближайшими причинами и составляет главную задачу исторического объяснения действительности, а потому характерный прием исторического объяснения реальной связи между фактами в такой операции всего лучше и обнаруживается. Само собою разумеется, что для подыскания мотива воздействия данной индивидуальности историк должен обладать самыми разнообразными знаниями и вдаваться в возможно более детальное изучение действующего субъекта, например, он должен знать условия его действия в данном месте и данное время, географические, культурные, политические и т. п.; он должен знать психологию характера данного типа и в частности данного субъекта; он должен знать особенности общественной группы, соучаствующей в его действии (ср. выше), и т. п. Понятие о ближайшей причине получит, однако, слишком широкое значение, если подводить под него и понятия повода.

Ближайшая причина именно обусловливает собою характерные особенности данного следствия, т. е. те его особенности, в силу которых оно именно, а не иное следствие, и получает определенное историческое значение. Повод, напротив, не имеет такого влияния на следствие: данный конкретный повод, именно он, а не иной, не необходим для появления следствия в тех его характерных особенностях, которые и имеют историческое значение и с такой точки зрения может быть заменен другим поводом, способным вместо него разрядить данную цепь причин в следствие. Взрыв негодования, накопившийся в данной массе людей, например, может быть вызван различными поводами: и каким-либо в данный момент пущенным

слухом, и криком или ругательством, и выстрелом и т. п.; какой-нибудь повод, являющийся моментом данного стечения обстоятельств, конечно, нужен для разряда, но поскольку историк считает пренебречь именно теми малыми по своему значению различиями, какие обнаруживаются в следствии, в зависимости от того, какое именно из вышеуказанных обстоятельств случилось в действительности, и, значит, с точки зрения категорий возможности, признает заменимость одного обстоятельства другим, он такое обстоятельство и будет называть поводом.

Совокупность причин, действие которых вызывало данный факт, может отличаться значительною сложностью: задача исторического анализа и состоит в том, чтобы исходя из данного следствия, разобраться в такой сложной совокупности, пользуясь вышеуказанными понятиями об условиях, причинах: отдаленных и ближайших, а также о поводах данного факта — следствия. При изучении, например, того стечения обстоятельств, благодаря которому Париж стал столицей централизованной Франции, историк должен будет обратить внимание 1) на географическое положение Парижа, условия климата данной местности и степень пригодности или непригодности ее для жительства, для земледелия, для торговли и промышленности, для культурного общения, словом, условия, сделавшие данную местность притягательным центром для Северной Франции, а затем и для остальных ее частей; 2) на характер парижского населения; 3) на политику французских королей; 4) на роль церкви; 5) на значение в нем рынка, фабрик, торговли, школ (Университета и пр.); 6) на действие Франции на Европу через посредство Парижа (действие, в котором, конечно, сама Европа соучаствовала; см. выше); 7) на разные случайные обстоятельства и т. д., словом, на много серий фактов, между собой связанных и сходящихся на одном общем вызванном ими результате — т. е. в образовании из Парижа столицы централизованной Франции, столицы, через посредство которой она действовала на Европу, причем такое действие в свою очередь становилось причиной дальнейшего возвышения Парижа в глазах самих французов.

Входя в рассмотрение вышеуказанной сложной совокупности обстоятельств, историк попытается выяснить, какие из них можно назвать условиями (положим № 1), какие отдаленными причинами (положим № 2), какие ближайшими (положим № 3–6), какие поводами (положим, из числа случайных обстоятельств № 7); он вместе с тем

попытается установить, какие именно обстоятельства в каждой группе следует принять во внимание для объяснения изучаемого факта – следствия, — т. е. превращения Парижа в столицу централизованной Франции.

В вышеприведенных обстоятельствах анализ следствия уже переплетается, конечно, с синтезом элементов («обстоятельств»), образующих в совокупности факт — причину; тем не менее такой синтез нуждается в особом рассмотрении именно применительно к построению факта — причины.

В самом деле, хотя историк, конечно, прибегает к синтезу элементов, образующих и тот факт, который он называет следствием в его отношении к предполагаемой причине, но такая операция ничем существенным не отличается от построения исторического факта вообще; историк, восходящий от него, в качестве следствия, к причине, пользуется уже готовым построением факта — следствия: он только называет его «следствием» в отношении к другому факту, предполагаемой его причине; но его построение не входит в задачу построения собственно причинно-следственной связи между ним и другим фактом — причиной. В ином положении историк находится относительно установления факта — причины: такой факт заранее построить нельзя; его построение зависит от наличности данного факта, называемого следствием. При сложном характере исторических фактов вообще (см. выше), историк не будет в состоянии объяснить себе данный факт — следствие иначе, как путем подыскания к проанализированным его элементам соответствующих элементов факта — причины; но понятие о факте — причине он получит лишь в совокупности его элементов; значит, наряду с анализом следствия, он должен заняться синтезом элементов, уже добытых им путем вышеуказанных операций, и в общей совокупности образующих факт — причину.

Для того, чтобы доказать, что данный факт *A*, в присущем ему одному значении, оказался причиной, вызвавшей данное событие — следствие *B*, недостаточно показать, что между *A* и *B* есть зависимость в элементах общих у них с другими комплексами, но надобно еще сверх того, что именно этот и только этот факт *A*, т. е. данное в действительности стечение обстоятельств, благодаря признакам, отличающим его от других явлений, мог вызвать этот результат *B* или что последний в противном случае не представляется нам в той мере

действительно бывшим или существующим, в какой он был или есть на самом деле.

Такой вывод, однако, можно сделать лишь прибегая к категории возможности: принимая во внимание и отвлекая прежде всего более или менее постоянные условия места и времени, повлиявшие на такое явление, а затем воображая себе, что событие, которое предположительно считается причиной другого, не наступило, историк пытается решить вопрос, что последовало бы. Пользуясь номотетическими своими знаниями относительно остальных условий (без данного события — причины), он старается вывести его следствие, которое вероятно произошло бы из них. Если такое исследование в результате породит убеждение, что данное событие — следствие могло бы произойти и другим путем (т. е. могло бы быть вызвано и не предположительно принятым за его причину событием), то историк должен будет подыскать другие причины интересующего его события, пока не удастся ему найти такие, без которых оно не могло получиться в том именно значении, которое признается исторически важным.

Принцип синтеза элементов, полученных путем анализа следствия, состоит, значит, прежде всего в самом понятии о следствии как об историческом факте: если историк при установлении причинно-следственной связи исходит из уже построенного им представления о следствии, то он и подыскиваемые им элементы будет синтезировать в отношении их к готовому своему представлению о следствии как о факте с историческим знанием. Такой синтез предполагает, однако, возможность превращения построяемой историком серии элементов в одну цельную их систему: оно и производится на самом деле в отношении их к данному факту — следствию. Действительно, в выражении $R = F(a, b, c... m, n)$ элементы *a, b, ...*, хотя бы и предшествовали в своем действии *m, n*, все же могут рассматриваться как действующие единовременно с *... l, m, n*, поскольку речь идет об объяснении появления *R*, взятого в его целом; значит под S_n можно разуметь $\Sigma (a, b... m, n)$ и в таком смысле переносить на него, во всей совокупности элементов его системы, понятие о факте, которое возникло применительно к $\Sigma (l, m, n)$. Таким образом, понятие о серии элементов, путем проектирования их на данное следствие, превращается в понятие о системе элементов, которая получает название факта — причины с точки зрения вызванного им факта — следствия.

Такой именно факт — причину историку и приходится конструировать, исходя из своего сложного представления о данном следствии.

Синтезируя элементы причины в отношении их к уже готовому своему представлению о следствии, историк, значит, получает возможность пользоваться принципами построения факта — следствия и для построения данного комплекса элементов, называемого причиной: те элементы факта — причины, действием которых историк объясняет себе то, а не иное историческое значение факта — следствия, получают в его глазах наибольшее значение; с точки зрения исторического значения факта — причины он и будет производить синтез его элементов.

Следует заметить, однако, что представление об историческом значении факта — следствия включает представление о его действенности на данное целое. С такой точки зрения историк, построяющий свое представление о факте — причине, уже пользуется понятием о причинно-следственной связи факта — следствия с последующими, зависящими от него фактами. Историк, значит, может применить вышеуказанный принцип синтеза в полной мере лишь постепенно, построяя целую серию фактов, находящихся в причинно-следственном отношении друг к другу.

Впрочем, кроме вышеуказанного принципа синтеза, историк пользуется и другими дополнительными, например, телеологическим принципом, также указанным выше. С точки зрения той цели, которую субъект, согласно предположению историка, осуществляет в данном результате, он усматривает некоторое единство в элементах, образующих факт — причину и т. п.

Выше мне уже приходилось указывать на то, что построение причинно-следственной связи между фактами, положим между *A* и *B*, завершается обратным движением мысли от причины к следствию, т. е. от *A* к *B*, что и характеризует дедуктивный метод объяснения реальной связи между ними.

В самом деле, для того, чтобы иметь основание утверждать, что *A*...*B* не простая последовательность, а что они находятся в причинно-следственной связи, историк должен опознать логически необходимую связь между причиной и следствием или по крайней мере между некоторыми элементами *B* и соответствующими элементами *A*. Путем аналитического объяснения *B* (ср. выше «аналитическое объяснение

действительности»), подыскав соответствующие элементы *A*, историк стремится установить значение данного элемента *B*, положим A_m, в смысле реального основания B_m и выводит из своего понятия о действии A_m как реальное основание B_m, понятие о соответствующем изменении в *B*, выразившееся в наличности B_m. Если историку удастся установить такую логически необходимую связь между *A* и *B*, хотя бы в некоторых из их соответственных элементов, т. е. логически конструировать реально-данную связь между ними, он получает некоторое основание утверждать причинно-следственную связь между *A* и *B*: ведь вышеуказанные элементы *A* и *B* соответственно находятся в реальной связи с остальными элементами *A* и *B*; значит, заключение, сделанное относительно логической связи между некоторыми элементами *A* и некоторыми элементами *B*, гипотетически получает значение и для построения отношения между *A* и *B*.

Вместе с тем, историку нужно иметь достаточное основание признать именно *A*, а не положим *C*, причиною, достаточно разъясняющею появление *B*; но для того, чтобы иметь основание высказать такое суждение, он по построению *A* должен усмотреть, что его достаточно для объяснения *B*. При объяснении, например, факта — следствия *B* одними общими условиями его возникновения легко заметить, что они недостаточны: конструировав такие условия в их совокупности, беспристрастный историк все же не будет в состоянии из понятия о них вывести данный факт — следствие; ему придется обратиться к изучению частных условий и ближайших причин и поводов факта — следствия и лишь тогда, когда он получит уверенность в том, что их достаточно для объяснения *B*, т. е. что он сможет удовлетворить *A*, а не *C*, положим равного $A+\kappa$ для объяснения *B*, он признает совокупность элементов, образующих факт *A*, причиною факта — следствия *B*.

[§] 2. Исторические факторы и продукты

Историк имеет дело с такими сложными причинами и с такими сложными следствиями, что нуждается в особого рода терминологии для обозначения соотносительных элементов исторических причин и следствий. Хотя термины для обозначения их далеко еще не вполне установлены, но можно условиться называть элементы сложной причины факторами, а соответственные им элементы сложной причи-

ны[566] — историческими производными, в совокупности образующими известный исторический продукт.

Понятие «фактор» (*factor*) — соотносительно с понятием о «факте» (*factum*). Слово фактор (делатель, творец, виновник) в переносном смысле и в применении его к действительности могло бы означать всякую причину, породившую факт; но ему можно придавать и более узкий смысл. Подобно тому, как математики — французы употребляют термин факторы (*facteurs*) в соотносительном смысле, называя им множители, из умножения которых друг на друга получается данное произведение: так и историки в аналогичном смысле пользуются тем же термином, но применяя его к исторической действительности. С такой точки зрения в исторической науке можно было бы называть факторами соотносительные элементы сложной причины или комплекса причин, вызвавших совокупность фактов, т. е. сложный результат в их отношении к такой именно совокупности или сложному результату.

Итак, следует иметь в виду, что термин «фактор» в последнем смысле вдвойне соотносителен: называя данную причину фактором, историк уже, конечно, мыслит ее в отношении к известному следствию; вместе с тем, говоря о факторе, историк не должен забывать, что самое понятие о нем зависит от понятия о соотношении его к другим причинам — факторам, совокупным действием которых он объясняет появление данного сложного результата.

Впрочем, предполагаемое понимание термина «фактор» нельзя считать общепризнанным: некоторые ученые под факторами разумеют, например, «общие причины и условия данной совокупности связанных между собою фактов»*. Такая формула может вызвать, однако, сомнения: что разуметь, например, под общими причинами и условиями? признавать ли их «всеобщими» в логическом смысле? но историк применяет тот же термин «фактор» и к причинам, не удовлетворяющим подобного рода условию. В каком смысле понимать выражение «данной совокупности связанных между собою фактов»? ведь историк может рассуждать и о факторах, породивших данный факт, а не совокупность фактов; правда такой факт как, положим, возвышение Москвы, — факт очень сложный; его можно рассматривать как совокупность связанных между собою «фактов»; но для определения понятия о «факторе» понятие о «совокупности фактов» едва ли оказывается необходимым: оно только оттеняет мысль, что продукт совокупного действия нескольких факторов, очевидно, должен быть сложным фактом; та же мысль, пожалуй, выражена и словами: «данная совокупность связанных между собою фактов».

* *E. Bernheim*, Lehrbuch, 6 aufl., s. 633; автор не останавливается на выяснении понятия об исторических факторах, хотя много места уделяет учению о их группировке и разновидностях (Кар. V, пар. 4, 633–685), но последнее относится не столько к учению о построении причинно-следственной связи между фактами, сколько к учению о систематике или о построении исторических групп.

Само собою разумеется, что в данной совокупности фактов историк может различать менее сложные совокупности и с точки зрения последних рассуждать о соотносительности факторов. Например, выделяя из данной совокупности совокупность всех условий, которые он признает внешними по отношению к данной индивидуальности, и называя ее «сферой», историк может выяснить соотносительное значение ее элементов для деятельности данной индивидуальности. Тогда каждый из таких элементов будет рассматриваться в качестве элементов всей группы, т. е. в его соотношении к остальным факторам всей сложной совокупности и, сверх того, в соотношении данного элемента (например, климата) к другим элементам одной и той же подчиненной группы (например, к почве и другим элементам среды) и т. д.

Можно различать два рода факторов: общие и частные.

Под общими факторами историк разумеет причину, более или менее постоянным действием которой (в совокупности с другими причинами) он объясняет более или менее однородные изменения действительности; постоянство действия такой причины, а соответственно ему и однородность представляются историку данными в известных пределах пространства и времени. С такой точки зрения историк часто называет «факторами» преимущественно общие условия человеческой деятельности или более или менее отдаленные ее причины. В самом деле он обыкновенно называет факторами климат страны, орографические[567] и гидрографические условия, свойства почвы и т. п., антропологический тип, расу, потребности и мотивы людей вообще, национальный характер, состояние культуры (данный тип государственного устройства) и т. п.*, значит, посколь-

* *G. Monod*, La Méthode en histoire, p. 491; здесь автор называет физические потребности человека, например, голод, половое влечение и вообще экономические нужды (necéssités) «факторами», поскольку историческое развитие объясняется их действием.

ку они рассматриваются в их действии на развитие человечества или его истории.

Под частными факторами можно разуметь те обстоятельства, которые придают порождаемому им факту индивидуальный характер: и действительно можно называть, например, частным фактором всякую индивидуальность, поскольку ее особенностями можно объяснить особенности произведенного ею действия. В таком смысле «общим факторам» противополагают «личности с их творческой деятельностью» — и даже рассуждают об «индивидуальных мотивах» (и индивидуальных факторах), произведших данное действие*.

Впрочем, и историки называют иногда общие факторы «коллективными», а частные индивидуальными; но такая терминология указывает не столько на логическое различие понятий, сколько на различие их по содержанию, преимущественно в психологическом смысле. Вместе с тем, оно обыкновенно суживается. Понятие о «коллективных факторах» сводится преимущественно к понятию о социально-психических факторах, о влиянии общественной группы, ее (культурных) «состояний», ее деятельности, или продуктов последней на индивидуума и т. п., а понятие об индивидуальных факторах легко переходит в понятие об индивидуально-психических факторах, о влиянии отдельной человеческой личности на общественную группу и т. п.**

С точки зрения содержания, какое вкладывается в понятие о факторах, можно, конечно, различать: «физические факторы» от «психических» (индивидуальных и социальных) и от «культурных» или же, с точки зрения деления, до некоторой степени пересекающего вышеприведенное, обращать главное внимание на факторы экономические и идеальные, приписывая, например, «производственным отношениям» или «идеям» и т. п. значение факторов в историческом процессе.

В сущности историк занимается группировкой факторов прежде всего, чтобы выяснить относительное их значение для возникновения интересующего его исторического продукта. Чем факторы исторического процесса отличаются более постоянным действием, тем менее такой процесс представляет жизненности, действия, перемены, развития, прогресса или регресса в истории данной общественной группы; и наоборот, чем более факторы оказываются временно-действующими, индивидуальными силами, тем в большей мере и самый процесс представляется нам историческим.

* *E. Meyer,* Geschichte des Alt., Bd. I[2], 1, ss. 188–192.

** *K. Lamprecht,* Moderne Geschichtswissenschaft, s. 1 и др.

Вместе с тем, различая, например, факторы общие и частные, историк склонен придавать общим факторам преимущественное значение в «истории культуры», а факторам частным, особенно «индивидуальным», преимущественное значение в «политической истории». Следует иметь в виду, однако, и обратное отношение. В самом деле, историк, изучающий политическую историю, не может обойтись без изучения общих факторов, например, поскольку действие их обнаруживается в массовых движениях, хотя бы, например, в движении войска, его панике или воодушевлении и т. п. В свою очередь, историк культуры должен принимать во внимание индивидуальные факторы, действующие в культурной истории иногда гораздо более заметным образом, чем в политической: индивидуальность изобретателя, например, основателя какой-нибудь религии или ученой теории, или художника, или техника, или законодателя и т. п. отражается в его произведении; и от степени его индивидуализирования в известной мере зависит и степень его действенности.

Понятие о факторах в особенности применяется к объяснению более или менее значительной исторической эволюции; с такой точки зрения историк с большей охотой называет факторами общие условия, влиявшие на данный более или менее продолжительный процесс, чем какие-либо случайные обстоятельства или поводы данного, хотя бы и сложного факта*. Далее различая в числе общих факторов «физические» от «культурных», историк приходит, например, к заключению, что «физические факторы» имеют относительно большее значение для общественной группы, еще мало развитой в культурном отношении, и что значение «культурных факторов» (техники, печати и т. п.) возрастает по мере ее развития; он также пытается установить относительное значение экономического и идеального

* Бернштейн[568], например, следующим образом отзывается о рассуждениях Ксенополя касательно «общих сил»: «er ausfuhrt, dab die historisehen. Er scheinungen ans der Wirkung allgemeunes Krafte (was ich "Factoren" henne) und individueller Umstande (circonstances) resultieren»[569]... *E. Bernheim,* Lehrbuch, 6. aufl., § 634. Во всяком случае нельзя, подобно Ксенополю, рассуждать о «силе эволюции», как об историческом факторе; см. *A. Xénopol,* La théorie de l'histoire.

факторов в жизни изучаемого им общества; переходя к рассмотрению частных факторов, он, положим, замечает, что личный произвол имеет относительно меньшее значение на высших ступенях развития данной общественной группы и т. д.

Само собою разумеется, что историк стремится возможно более дифференцировать такое рассмотрение и выяснить значение, по возможности, каждого фактора для возникновения данного продукта культуры со всеми его характерными особенностями, причем не упускает из виду и той комбинации факторов, которою всего лучше объясняется изучаемый продукт (ср. выше).

Следовательно, историк изучает факторы в их отношении к данному историческому продукту, что уже указывает на значение такого понятия в разбираемой конструкции и дает основание несколько остановиться на его выяснении.

Всякий сложный результат, вызванный совокупным действием нескольких факторов, можно, с такой точки зрения, называть их продуктом; в том же смысле позволительно говорить и об историческом продукте. Если историк рассматривает данный исторический факт в его отношении к вызвавшей его совокупности факторов, он может назвать такой сложный факт историческим продуктом. Например: принимая во внимание совокупность обстоятельств, вызвавших возвышение Парижа или Москвы, он такие факты, что Париж — столица Франции, или что Москва была столицей Московского государства, признает историческими продуктами.

Впрочем, с понятием об «историческом продукте» легко связать и понятие о последствии, вызванном данною совокупностью факторов: под их последствием историк может разуметь такой факт, который хотя и объясняется их действием, но может быть представлен в некоторой мере и независимо от его продолжения, в качестве исторического продукта, более или менее постоянно пребывающего в известных пределах пространства и времени. Всякий продукт культуры, например, исторический источник, обычай, учреждение и т. п. можно понимать в таком именно смысле. С такой точки зрения можно говорить об историческом последствии применительно к таким историческим продуктам, которые продолжают существовать и помимо действия всей совокупности первоначально породивших их причин; значит «пережитки» и «произведения культуры» можно называть

историческими последствиями*. Впрочем, под последствием можно разуметь и такие продукты, которые вызваны данною совокупностью факторов или не ими одними, а ближайшим ее результатом, обусловившим и появление данного продукта. В таком смысле, например, возвышение Москвы можно называть последствием Татарского нашествия.

Соответственно с различаемыми в данном стечении обстоятельств факторами историк может различать и соотносительные элементы в данном историческом продукте: с такой точки зрения можно называть их историческими производными.

Подобно тому, как факторы данного продукта представляются историку соотносительными понятиями, так точно и данную историческую производную он всегда представляет в ее соотношении с остальными производными одного и того же продукта. Если, например, рассматривать в факте главенства Парижа над Францией сочетание факта центрального его значения для Франции с фактом его влияния на Европу, то факты такой централизации и влияния можно назвать историческими производными данного исторического продукта: главенства Парижа над Францией.

Следует заметить, однако, что историческая производная представляется историку не столько результатом фактора, взятого в отдельности, сколько одною из частей данного исторического продукта, на которые его можно разложить: будучи качественно отличной от каждого из факторов, взятых в отдельности, каждая производная получает таким образом значение части данного исторического продукта. Следовательно, соотношение факторов не будет тождественным с соотношением исторических производных; последнее устанавливается с точки зрения исторического значения самого продукта.

Подобно тому, как историк выясняет относительное значение факторов, он пытается разобраться и в относительном значении исторических производных данного продукта: пользуясь, главным образом, вышеуказанным понятием об историческом значении данного продукта, он с такой точки зрения стремится установить соответственное значение его исторических производных, благодаря чему и получает возможность комбинировать их в одно цельное понятие о продукте.

---

* См. выше: ч. II, отд. 1, гл. 4, § 1.

Таким образом, пользуясь общими принципами и методами построения причинно-следственной связи между историческими фактами и применяя их в более или менее осложненном виде к изучению реальной связи между данной совокупностью факторов и их продуктом, историк устанавливает относительное значение разнообразных факторов в их отношении к той совокупности исторических производных, которую он признает данным их историческим продуктом, и выясняет значение самих производных как частей данного продукта; но для производства такой работы он прибегает к еще более сложным конструкциям, находящимся в связи с построением исторических групп и исторического целого.

[Глава] IV. Построение исторических групп

Историк имеет дело с бесконечным количеством фактов; для того, чтобы несколько разобраться в них, он стремится группировать их. Правда, прибегая к систематике исторических фактов, он в известной мере отрывает их от действительности и принимает во внимание лишь общие им признаки, а не каждый из фактов в отдельности; но без некоторой систематики их историк не в состоянии ни выяснить историческое значение индивидуальных фактов, их действенность, длительность их последствий и т. п., ни образовать понятия о состоянии культуры или об эволюционной серии, в свою очередь нужные для научного построения единичного исторического целого.

При построении исторических групп историк должен, однако, иметь некоторое общее понятие о группе; группируя факты с какой-либо научной точки зрения, т. е. на основании какого-либо научно установленного принципа, он пользуется и особыми методами, при помощи которых он производит их группировку.

[§] 1. Понятие о группе в его приложении к задачам исторического построения

Всякое общее понятие объемлет совокупность более частных понятий, по содержанию своему сходных между собою в каком-либо отношении; но мысля такое единство в данной совокупности представлений, наше сознание все же может представлять себе каждое из них раздельно. Такое именно сочетание единства с возможною раз-

дельностью дискретных представлений, в каком-либо отношении сходных между собою, но не исчезающих в нем, можно, кажется, с логической точки зрения признать характерным для понятия о группе; оно оттеняет дискретность представления об отдельных экземплярах, привходящих в нее.

Хотя термин «группа» употребляется и в математических науках, но в вышеуказанном смысле он получает особенно широкое применение в науках о действительности, которая мыслится в качестве единства раздельных, т. е. конкретных ее элементов. Вообще понятие о «группе» есть преимущественно понятие о совокупности конкретно данных экземпляров, представления о которых не растворяются в нем; группою мы называем совокупность нескольких наших восприятий, преимущественно звуковых («групповое» в музыке) или зрительных (группа цветов, например, в радуге), совокупность нескольких вещей, нескольких животных, нескольких людей (ср. фотографическая группа) и т. п. Такая совокупность представляется нам некоторым единством; но мы продолжаем различать в нем конкретно данные экземпляры. В аналогичном смысле и историк человечества рассуждает о социальной группе, и о группе фактов и т. п.

Понятие о группе, значит, связывается прежде всего с понятием о реальности ее содержания и о конкретном его характере. Ввиду познавательной цели, преследуемой исторической наукой (в специфическом ее значении), история стремится к научному построению действительности, значит, она должна приписывать содержанию своего понятия о группе объективно-реальное значение: историческая группа должна быть реальной по своему содержанию; т. е. понятие о ней должно состоять из таких представлений, каждому из которых приписывается реальное содержание; последнее представляется нам в качестве реально данного «экземпляра». Историк, значит, пользуется понятием об исторической группе в той мере, в какой он рассуждает об объектах своего исследования как о совокупности в каком-либо отношении сходных между собою реально данных экземпляров.

С такой точки зрения, например, легко усмотреть различие между понятиями о «математическом среднем» и о «статистической группе». Понятие о математическом среднем нельзя смешивать с понятием о статистической группе: математическое среднее фиктивно, т. е. не существует в действительности; статистическая группа, напротив,

всегда признается реально-существующей совокупностью объектов, в чем-либо сходных между собою.

С такой же точки зрения нельзя смешивать понятие типа с понятием исторической группы: тип может быть совокупностью признаков, которая в таком именно сочетании может и не существовать в действительности; историческая группа, напротив, образуется из действительно-существующих объектов, сходных хотя бы по одному какому-либо признаку.

Последовательно развивая такую точку зрения, можно прийти к еще более узкому пониманию термина «историческая группа». В самом деле, для того, чтобы приписывать действительное существование группе, а не только ее элементам, отдельно взятым, надо признать действительное существование некоей связи между ними; значит, под исторической группою надо разуметь совокупность не только в чем-либо сходных между собою объективно-данных, но и реально связанных между собою экземпляров. Такая связь ясно обнаруживается при наличности некоторой зависимости элементов данной группы друг от друга, а зависимость их друг от друга можно разуметь или в смысле причинно-следственного отношения или в смысле взаимодействия. Действительно, в тех случаях, когда историк рассуждает, например, о какой-либо социальной группе, он представляет ее себе в виде взаимодействия нескольких индивидуумов, частью обусловленном, частью обусловливающем некоторое сходство между ними и т. п.

На основании вышесделанных рассуждений можно прийти к заключению, что понятие о группе в приложении его к задачам собственно исторического построения отличается довольно большим разнообразием, не ограниченным содержанием и бедным объемом.

В самом деле, образуемая группа с тем большим основанием будет называться «исторической», чем она будет ближе к действительности; но она будет тем ближе к действительности, чем разнообразнее будет ее содержание, т. е. чем более она будет состоять из экземпляров, каждый из которых будет взят в возможно большей совокупности конкретных его признаков; значит, чем больше признаков можно сохранить при заключении его в образуемую группу *(A, B, C...)*, тем в большей мере и образуемая из них группа будет исторической; но по мере возрастания числа таких признаков, число экземпляров, очевидно, должно убывать; значит, число элементов, образующих историческую группу, всегда мыслится в известных пределах и нельзя в полной мере выяснить понятие об исторической группе, не установив ее пределов, в действительности всегда довольно ограниченных. Вместе с тем следует заметить, что в отличие от общего понятия, объемлющего систему более частных и подчиненных ему понятий, группа может иметь очень малый и довольно случайный объем: объем понятия в группе отличается не логическим, а эмпирическим характером; при построении групп, подгрупп и т. д. не все возможные комбинации признаков принимаются во внимание, а только те, которые даны в действительности; значит, и объем понятия о данной исторической группе образуется эмпирическим путем (с теми, впрочем, оговорками относительно «эмпиризма» исторического наблюдения, которые уже были сделаны выше); подгруппы данной группы получаются в зависимости от эмпирических данных и т. п.

Таким образом, в зависимости от вышеуказанной познавательной точки зрения или цели историк стремится заполнить свое понятие о группе возможно более разнообразными данными, что, разумеется, ограничивает ее содержание известными пределами в пространстве и времени, а также суживает ее объем.

Ввиду познавательной цели, преследуемой при образовании понятия об исторической группе, оно получается путем отвлечения, но не может быть названо общим понятием в строгом смысле слова. Если в действительности даны элементы *A, B, C, ... N*, положим, сходные между собою по признаку *X*, то историк и может образовать понятие о группе таких элементов, т. е. о $\Gamma_x(A, B, C, \ldots N)$; но получить такое понятие он может лишь последовательно отвлекая от *A, B, C, ... N* признак X, и по нему (конечно, путем обобщения) зачисляя *A, B, C, ... N* в одну группу. Реальность и конкретность группы будут, однако, нарушены, если ученый начнет благодаря обобщению переносить признак X на другие элементы или ненаблюденные им в действительности случаи, положим *P, R, U...*

Понятие об исторической группе употребляется, однако, в весьма различных значениях, далеко не всегда различаемых. Попытаемся выяснить важнейшие из них.

Следует заметить прежде всего, что можно говорить о группе в количественном или в качественном смысле; но понятие о группе в чисто количественном (математическом) смысле не приложимо в исторической науке: ведь если историк и занимается исчислением

экземпляров, то лишь таких, которым он приписывает реальное существование, значит таких, которые уже обладают некоторым качеством: субстанциальностью.

Впрочем, в той мере, в какой безусловно всем экземплярам любой исторической группы приписывается субстанциональность, можно было бы рассматривать ее в виде постоянного коэффициента, и, мысленно выводя его за скобки, все же производить исчисление; но историк приписывает экземплярам, подвергаемым им исчислению, гораздо большее число отличающих их качеств; он зачисляет в свои группы живых людей, культурные факты и т. п. Следовательно, даже при образовании историко-статистических групп ученый уже пользуется понятием группы, но в чисто количественном смысле, а не качественно-количественном смысле: в образуемую им группу он включает не простые единицы, а экземпляры, наделенные общими им всем качествами, и лишь в той мере, в какой он считает возможным рассматривать последние как постоянные признаки каждого экземпляра и, значит, вправе признать их характеристикой всей группы, он исчисляет в ее пределах подводимые под нее экземпляры; но при наличности одного или малого числа общих признаков историк, в сущности, исчисляет не самые экземпляры, а только данный признак или данные признаки, т. е. он исчисляет экземпляры по такому-то признаку или по совокупности таких-то признаков. Если, например, даны экземпляры *A, B, C, Д, ... N* — их можно характеризовать (ввиду образования из них группы) какими-либо признаками, положим *X* и *Y*, то историк, образуя группу *Г (A, B, C, Д, ... N)*, должен помнить, что он, в сущности, образует ее не из *A, B, C, D, ... N* , а из *A*, взятого лишь по *X* и *Y*, *B*, взятого лишь по *X* и *Y*, и т. д. и что, значит, он имеет дело не с *Г (A, B, C, Д, ... N)*, а с $Г_{ху}$ *(A, B, C, Д, ... N)*. И чем меньше число таких общих признаков, тем более сама группа оказывается фиктивной, тем менее она исторична.

Следовательно, можно сказать, что историк ограничивается употреблением термина «группа» преимущественно в качественном смысле. Впрочем, надо различать и те значения, в каких историк пользуется понятием об исторической группе в качественном смысле: содержание таких групп может быть весьма различным. Можно, например, под группою разуметь совокупность индивидуумов или совокупность фактов. Под группою в смысле совокупности индивидуумов историк, обыкновенно, разумеет всякое коллективное лицо

или общественную группу, которой он приписывает совершение какого-либо действия или в отношении к которой он рассматривает известный факт и т. п. Установление такой группы, точных ее пределов и т. п., очевидно, служит и для того, чтобы придавать большее или меньшее значение соответствующему культурному факту; выяснить степень его всеобщности, распространенности и т. п. Под группою в смысле совокупности фактов историк обыкновенно разумеет данное состояние культуры, или культурную группу. Само собою разумеется, что под культурною группою можно разуметь или всю систему культуры данного народа (или группы народов) или отдельные ее части; например, группу фактов религиозного или экономического или правового характера и т. п. Впрочем, то же понятие группы можно прилагать и к какой-либо совокупности эволюционных серий.

Следует иметь в виду, однако, что понятие о группе в различных смыслах применяется к понятию о культурном состоянии (типе) и к понятию об эволюционной серии.

Понятие о социальной группе, в которой данное культурное состояние обнаруживается, или о совокупности людей, однородные действия которых в совокупности и образуют из себя данное культурное состояние, очевидно лежит в основе понятия о таком состоянии; впрочем, и совокупность однородных культурных фактов, реально связанных между собою, можно называть состоянием культуры. Культурная группа представляется историку реальной системой взаимодействующих между собою проявлений культуры или культурных фактов.

Понятие о группе можно употреблять и для обозначения данной совокупности звеньев одной и той же эволюционной цепи; но только в довольно условном смысле. В самом деле, при построении эволюции историк имеет дело с каким-либо субъектом эволюции (коллективным или единичным) и, располагая факты в известном отношении к нему, признает их сходными в том смысле, что все они относятся к одному и тому же субъекту развития; с такой точки зрения, он, значит, может говорить о группе в смысле совокупности звеньев данной эволюционной цепи. Понятие группы в только что указанном смысле приложимо даже к эволюционной серии, поскольку данное звено ее рассматривается как зависящее от предшествующих или в смысле причинно-следственной связи или в смысле взаимодействия. Тем не менее нельзя упускать из виду, что понятие ряда или

серии во многих и важнейших отношениях отличается от понятия «группа» и что только довольно условно его можно прилагать и к эволюционной серии. Понятие о группе, приложимое к понятию о состоянии культуры, очевидно, в меньшей мере приложимо к понятию о какой-либо одной эволюционной серии: ведь ее звенья сменяют друг друга, значит реально не сосуществуют друг с другом; значит, понятие о группе таких звеньев представляется своего рода фикцией; кроме того, характерною особенностью всякой эволюции мы считаем то, что звенья данной эволюционной цепи отличаются друг от друга; в противном случае, нельзя говорить об эволюции; но в той мере, в какой мы отличаем звенья одной и той же эволюции друг от друга, мы не можем подводить их под понятие одной и той же группы. В большей мере можно применять понятие о группе к понятию об эволюции, лишь рассуждая не о группе звеньев одной и той же эволюционной цепи, а о группе в чем-либо сходных и связанных между собой эволюционных серий.

Следовательно, историк пользуется понятием об исторической группе преимущественно для построения понятия о данном состоянии культуры и применяет его к построению понятия о некоей совокупности эволюционных серий, что уже отвлекает его скорее в область социологических, чем чисто исторических построений.

Таким образом, понятие о группе может получить весьма разнообразные значения; в зависимости от его содержания говорят и о группе в количественном смысле, и о группе в качественном смысле, и о группе в смысле совокупности индивидуумов, или совокупности фактов, и о группе фактов, образующих данное состояние культуры, и о группе эволюционных серий. Тем не менее из вышеуказанных значений одно получает наибольшее значение: историк чаще всего разумеет под группою в специфическом ее значении, «исторической группы» — группу индивидуумов, реально связанных между собою, т. е. совокупность людей, которым он и приписывает совершение одного и того же действия, или ряда действий или деятельности, или продукта культуры, или состояние культуры и т. п.

Понятие об исторической группе предполагает понятие о некотором единстве группы, обусловленном реальною историческою связью между соответствующими ее индивидуумами.

Такое реальное единство можно представить себе прежде всего в виде единства происхождения. Принцип подобного рода лежит уже в

основе понятия о виде, разновидности, расе и т. п. При образовании таких понятий ученый пользуется понятием о единстве происхождения данной совокупности особей и о наследственной передаче признаков от родителей к детям и т. д.*

Само собою разумеется, что понятие об единстве исторической группы не исчерпывается понятием о единстве происхождения и может даже помимо него, т. е. в таких случаях, когда точно установить генеалогическое родство нет возможности, основывается и на других понятиях: единство происхождения, например, очевидно, обусловливает некоторое единообразие организации, а значит и некоторое единообразие в психике данной группы, обнаруживающееся прежде всего в единообразной речи, которая удерживается в данной совокупности индивидуумов частью благодаря наследственности, частью путем подражания. С такой точки зрения можно конструировать исторические группы по языку; язык служит для историка одним из самых устойчивых (разумеется, в относительном смысле слова) признаков, на основании которого он группирует людей по национальностям (народностям)**.

В такой мере, в какой можно предполагать, что единство происхождения или реальное взаимодействие членов группы обусловливает и некоторое сходство в их привычках, можно разуметь под единством группы и такое сходство, т. е. называть группою совокупность индивидуумов с одними и теми же привычками, приобретенными ими преимущественно путем подражания***.

С последней точки зрения можно производить самые разнообразные группировки людей и получать группы весьма различные по содержанию и по объему: реальная связь, объединяющая членов данной группы может быть или духовной, или материальной, или политической и т. п.

---

* *Chr. Sigwart.* Log. II[e]. 716.

** A. L. Schlözer, а за ним и многие другие.

*** *Ch. Langlois et Ch. Seignobos,* Introduction etc [aux études historiques. P., 1898,] p. 206: c'est la collection d'individus de mêmes habitudes que nous appelons groupe. Авторы, как видно, под группою вообще разумеют только совокупность индивидуумов с одними и теми же привычками; таким образом, чрезмерно суживая самое понятие о группе, они в своем определении упускают из виду понятие о реальной связи между образующими ее индивидуумами, хотя сами же рассуждают о ней несколько ниже, и не упоминают о подражании.

В той мере, в какой данная группа может быть признана субъек том, можно приписывать ей объективно-телеологическое или же прагматическое единство (ср. выше) и с такой точки зрения рассу ждать об объективно-телеологическом или же прагматическом един стве исторической группы; что, впрочем, придает ей уже значени союза, общества, государства и т. п.

При построении понятия об исторической группе в вышеуказан ном специфическом значении историк стремится возможно точнее установить его содержание и его объем.

Понятие об исторической группе будет, конечно, иметь различ ное содержание в зависимости от того, сколько индивидуумов, взя тых по одному или нескольким признакам, историк считает себя вправе включить в данную группу, в каких пределах пространства и времени он может рассматривать ее в ее единстве. С такой точки зре ния историк интересуется не только численностью членов данной группы, но и тем, какое пространство они занимают, и в течение ка кого именно промежутка времени они обладают признаками, по ко торым их можно зачислить в данную группу. В самом деле, историче ская группа обыкновенно представляется нам существующей в из вестных пределах пространства и времени: они могут быть более или менее широкими; народ может занимать обширную территорию и жить целые века, а группа людей, собравшаяся по какому-либо поводу на улице, может присутствовать всего несколько минут, но все же и такая совокупность, занимающая весьма малую площадь в течение указанного кратковременного срока может быть названа группой.

Понятие об исторической группе может также иметь и различный объем: группа может, например, обнимать некоторое число подгрупп и т. п., впрочем довольно ограниченное и случайное.

В той мере, в какой в составе данной группы можно установить меньшие совокупности людей, друг от друга отличные, каждая из таких совокупностей, понятие о которой осложняется добавочными признаками, общими только членам этой совокупности, и получает название подгруппы. Группу людей, говорящих, например, на одном и том же языке, можно расчленить на подгруппы, каждая из которых отличается от других некоторыми диалектологическими особенностями; или группу людей, образующих один и тот же народ, разбить на подгруппы — племена, с местными, областными отличиями в привычках каждого из них и т. п. Можно брать и более специальные

группы и подыскивать их подгруппы, например, делить группу людей, исповедующих одну и ту же религию, на разные религиозные секты (если только можно их подвести под общую группу) или группу людей, объединенных некоторыми общими экономическими интересами, на профессиональные подгруппы; или общество представлять себе разделенным на классы или на сословия, или на политические партии и т. п.

С реально-исторической точки зрения понятие об исторической группе в вышеуказанном специфическом значении, собственно говоря, лежит в основе и понятия о состоянии культуры, культурном типе, системы культуры, и понятия об эволюционной серии (развитие данного типа или системы культуры). В самом деле, для того, чтобы рассуждать о некотором состоянии культуры, нужно, в сущности, знать, кто ее переживает, кто ее носитель и т. п.; для того, чтобы рассуждать об эволюционной серии, надобно также знать, к кому именно относить ряд состояний, кто именно переживает их. Следовательно, правильное построение понятия об исторической группе, в специфическом значении слова, уже в известной мере предрешает и правильное построение понятия о состоянии культуры и эволюционной серии.

Впрочем, безусловно ограничивать вышеуказанное словоупотребление одним только понятием о социальной группе едва ли возможно: историки часто рассуждают о группах фактов, обнаруживающих какое-либо сходство между собою и находящихся в какой-либо реальной связи между собою, и даже преимущественно занимаются «группировкой» фактов, придерживаясь или социологической, или собственно исторической точки зрения.

§ 2. Принципы и методы группировки исторических фактов

Принципы, на основании которых историк образует исторические группы, или принципы группировки и ее методы, могут быть, конечно, различны, в зависимости от познавательной точки зрения обще-исторической или специальной, нужной для данного исследования. В дальнейшем изложении я обращу внимание лишь на некоторые принципы и методы группировки исторических фактов, всего более употребительные в истории. В зависимости от того, какие

именно принципы систематики исторических фактов принимаются во внимание, можно различать и три вида их группировки, которые я назову: предварительной, социологической и исторической группировкой исторических фактов. Обратимся к рассмотрению каждой из них в отдельности.

1. Предварительная группировка исторических фактов в пространстве и во времени

Общие принципы научного построения действительности суть те общие формы познания, в которых сознание вообще воспринимает действительность. Подобно другим фактам и исторические факты мы также воспринимаем или в пространстве, или во времени; можно, значит, различать исторические факты в пространстве или во времени по общему признаку или сосуществования, или последовательности данных фактов, образуя из них соответствующие группы.

Положим, что даны факты: *a, b, c... n.* Если историк может приписать фактам *a, b, c... n* один и тот же общий им признак — сосуществования, т. е. сказать, что *a* существует с фактом *b*, с фактом *c* и т. д. вплоть до факта *n*, что *b* — тоже и в таком же смысле существует с *a, c... n* и т. д., то он размещает их в пространстве, ибо он не может представить себе, что факты *a, b, c... n*, сосуществуя, находятся в одно и то же время в одном и том же месте, т. е., что факт *b* находится на том же самом месте, что и факт *a* и т. д. Если же историк может приписать фактам *a, b, c... n* один и тот же общий им признак — последовательности, т. е. что каждый из них предшествует другому или (за исключением *a*) следует за другим, и что *a* предшествует *b*, *b* следует за *a* и т. д., он размещает их по времени, ибо в противоположном случае, он не будет в состоянии удовлетворить тому условию (последовательности), под которым он мыслит их.

Следовательно, самый элементарный принцип группировки фактов — топографический или хронологический: историк размещает факты или в пространстве, или во времени. С такой топографической или с хронологической точки зрения историк стремится прежде всего установить пределы распространения в пространстве или повторяемости во времени фактов, представляющих некоторую однородность: пределы их распространения или повторяемости дают

более ясное представление об изучаемой группе, на что уже было указано выше. Вместе с тем историк старается выбрать такой критерий, при пользовании которым топографическое или хронологическое расположение изучаемых групп вскрывало бы какие-либо характерные их особенности, поскольку они зависили от местных или временных условий их образования. Техника таких работ состоит в построении историко-географических карт, картограмм и т. п. или хронологических, синхронических таблиц и т. п.

Впрочем, размещение[570] исторических фактов в пространстве может иметь значение и для размещения их во времени и, обратно, размещение исторических фактов во времени может иметь значение для размещения их в пространстве.

В самом деле, относительно широкие пределы распространения однородных фактов, например, одного и того же обычая, уже намекает на его долговечность, а размещение их в пространстве может давать понятие и о некоторой последовательности, в какой факты могли происходить или действительно происходили: например, карта разных степеней развития одного и того же явления в группе смежных между собою стран, положим, степени проникновения в данную среду инородцев какого-нибудь господствующего над ними народа, карта распространения данного обычая, религии, предприятия, учреждения, формы правления и т. п.; или (в несколько ином смысле) карта, изображающая, положим, движение какой-либо группы, переселение каких-либо племен и т. п., что очевидно происходит только во времени.

В свою очередь, размещение фактов во времени дает основание или, при однородности их, заключать об устойчивости данного рода фактов, или, в противном случае, устанавливать не только последовательность фактов, но группы синхронических фактов, между которыми могло быть и некоторое взаимодействие; для установления синхронических фактов историк нуждается в наличности нескольких рядов фактов, каждый из которых образован путем размещения их во времени, и из фактов, случающихся приблизительно в одних и тех же пределах времени или смежных во времени, образует горизонтальные ряды, пресекающие вертикальные ряды фактов, расположенных в хронологическом порядке. В самом деле, синхроническая таблица фактов, одновременно происходивших, положим, в разных государствах, во всяком случае ограждает историка от извращений

в установлении последовательности фактов, а иногда сама же наводит его на мысль о их взаимодействии*. Историк, ввиду большей или меньшей широты предполагаемой им зависимости между фактами, и устанавливает пределы своих синхронических таблиц: лишь имея в виду возможность взаимозависимости и между пространственно весьма отдаленными друг от друга фактами, он может правильно установить связь между фактами (ср. например, связь между фактами, влияющими на биржевые операции, на дипломатические сношения, на ход военных действий, переговоров и т. п.).

Принцип размещения в пространстве или во времени находится в соответствии с идиографическим построением исторического знания: он оказывается наиболее широким способом предварительного образования какого-либо систематического или эволюционного целого, и допускает некую группировку фактов при сохранении индивидуальных их особенностей.

Принцип размещения в пространстве и во времени употребляется для группировки самых разнообразных фактов: его можно применять и к истории неба и к истории человечества; им можно пользоваться для размещения фактов, весьма отличных друг от друга, представляя их себе в некоем сосуществовании или некоей последовательности.

Размещение фактов в пространстве или во времени получает, однако, значение лишь предварительной операции, далеко не исчерпывающей задач собственно исторического построения. В самом деле, путем размещения фактов в пространстве или во времени нельзя еще научно построить из них какое-либо реальное целое: ведь оно предполагает взаимодействие частей, а не простое их сосуществование в пространстве; или необратимую зависимость факта последующего от предшествующего, а не одну только последовательность их во времени. Вместе с тем размещение фактов в пространстве или во времени, будучи приложимо к чрезвычайно разнообразным фактам, недостаточно для группировки фактов из истории человечества в двояком

* Ранке славился умением комбинировать факты синхронически (Ranke [L. v.] — Weltgeschichte. [1888]). Альберт Сорель, известный автор истории Европы и французской революции, по свидетельству [не разобрано], составлял синхронические таблицы с возможно большею точностью, напр.: «le 15 juillet 1795 dans la [не разобрано],» A. Sorel et son œuvre, в сборнике по случаю празднования окончания его труда. Par., 1905, pp. 84–85.

отношении: оно упускает из виду особенности, характеризующие именно такие факты (например, их психическое значение и т. п.): оно само по себе еще не дает возможности историку образовать группу однородных между собою фактов. Последняя задача и достигается путем социологической группировки исторических фактов.

2. Социологическая группировка исторических фактов

При изучении истории человечества историк встречается с фактами, представляющими в данных пределах пространства и времени относительную однородность; устанавливая такие пределы, он нуждается в группировке исторических фактов по их сходству для того, чтобы построив группы однородных фактов, вслед за тем попытаться выяснить значение каждой группы как части данного целого.

Построение подобного рода можно назвать социологической группировкой исторических фактов: она стремится расположить исторические факты, взятые в данных пределах пространства и времени, по группам, каждая из которых отличается от остальных признаками, общими всем «экземплярам» или индивидуумам данной группы, а значит и вызываемым их действием фактам. Таким образом, например, историк образует, например, понятие об обычае, характеризующем данную социальную группу и более или менее общем всем ее членам и т. п. При подобного рода группировке ученые пользуются разными принципами; обратим внимание на некоторые из них.

Относительно общим принципом группировки можно признать тот, который состоит в различии фактов по потребностям или мотивам, вызвавшим соответствующие действия: располагая потребности по степени настоятельности, с какою они требуют от человека своего удовлетворения, и различая их по их характеру, можно, например, группировать человеческие потребности, положим, следующим образом: 1) потребность в самосохранении; 2) потребность в поддержании своего существования, т. е. в удовлетворении первичных телесных потребностей (голода, жажды и проч.); 3) потребность в удовлетворении полового влечения (рождение детей); 4) потребность в соблюдении личного своего достоинства (желание уважения и страх презрения); 5) потребность в симпатии; 6) потребность в знании; 7) потребность в удовлетворении нравственного чувства; 8) потреб-

ность в эстетическом наслаждении и т. п. Соответственно указанным потребностям легко различать порождаемые ими действия и их результаты*.

Такая группировка производится, однако, на основании двойственного принципа: интенсивности потребности (urgence) и ее характера, но в сущности основана скорее на различии потребностей по их характеру; с такой точки зрения в ней еще нет единства самого принципа деления. Вместе с тем, оно производится скорее с чисто психологической, чем с собственно исторической точки зрения и дает систему мотивов человеческих действий, а не систему фактов, которые изучаются историком. Наконец, самые мотивы, с исторической (а не номотетической точки зрения) известны нам в действительности лишь в действиях, да и получают историческое значение только в них, а действия обнаруживаются лишь в фактах.

Аналогичные замечания можно было бы отчасти сделать и по поводу тех систем, в основу которых историк полагал бы различие исторических факторов, положим, физических, психических (индивидуально и социально психических), и культурных, соответственно которым он устанавливал бы и группы фактов физических, психических, культурных и т. п.

Само собою разумеется, что нельзя устранить психологическую точку зрения из систематики исторических фактов, но при установлении главнейших групп следует исходить из общего понятия об историческом факте; тогда можно будет получить как бы социологическую группировку исторических фактов.

Если исходить из установленного выше понятия об историческом факте, то, очевидно, и группировать исторические факты придется по характеру воздействия данной индивидуальности на то целое, частью которого она оказывается.

С точки зрения детерминизма, понятие о таком воздействии будет различно, смотря по тому, будем ли мы его связывать с понятием о внешнем или внутреннем детерминизме; т. е. с понятием, например,

* *P. Lacombe*, De l'Histoire [considerée comme science. P., 1894.], ch. IV; исходя из таких начал, автор дает схему несколько иную, чем предложенная выше: он опускает №№ 1, 6, 7 и называет «Les besoins» особыми терминами: l'économique (тут же упоминает он и l'industrie, l'honoritique, le générique, le sympathique, l'artistique и определяет несколько иначе.

о рефлекторном акте или о свободном действии. В свою очередь, понятие о воздействии субъекта на среду, построяемое на основании предпосылки о «свободном» его действии, получит различные значения в зависимости от того, какой смысл приписывать такому понятию*. Вообще с историко-социологической точки зрения под свободным действием можно разуметь действие, объясняемое с точки зрения внутренней мотивации: можно рассуждать о свободе действия в той мере, в какой последнее объясняется внутренними мотивами данного лица, а не внешними физическими условиями его деятельности; приписывая субъекту свободу выбора, т. е. способность взвешивать значение для него тех или других мотивов и совершать соответствующие действия, историк принимает во внимание такой момент для объяснения фактов.

Следовательно, смотря по тому, какое из вышеуказанных значений придавать понятию о воздействии субъекта на среду, можно различать и несколько групп исторических фактов, которые я за отсутствием какой бы то ни было установившейся терминологии, назову фактами, объясняемыми с точки зрения или внешнего, или внутреннего детерминизма, т. е. с точки зрения или эксономии или энтономии. Факты, объясняемые внешним детерминизмом, характеризуются их зависимостью от такого рода воздействия человека, которые представляются нам как бы автоматическими и совершаются преимущественно под давлением внешних условий, под влиянием рефлекса или инстинкта и т. п.; некоторые историки объясняли, например, наступательное движение германцев на римлян инстинктивным влечением северянина к югу. Факты, объясняемые внутренним детерминизмом (энтономией) действующего субъекта, характеризуются их зависимостью от состояния его сознания. Между такими фактами можно различать, однако, факты с характером гетерономии[571] и факты с характером автономии. Факты, понимаемые с точки зрения гетерономии, характеризуются тем, что человек при совершении вызывающих их действий ищет закон, который должен определять его волю не в собственном своем самоопределении, а в свойствах объекта своего воления: тогда не сама воля дает себе закон, но объект

* *W. Windelband*, Ueber Willens Freiheit: [zwölf Vorlesungen. Tübingen] 1904 г.; есть русск. пер.

через отношение свое к воле дает ей этот закон*. Факты, понимаемые с точки зрения автономии, характеризуются свободным подчинением себя со стороны данного субъекта (личности, группы, нации и т. п.) опознанным им нормам, что и порождает соответствующие его действия и факты. Следует заметить, однако, что такое различие между фактами и гетерономным, и автономным характером, в социологической их группировке, может быть установлено лишь с точки зрения различия между мотивами по их содержанию или между характерными особенностями самого воздействия: факты с характером автономии в данном случае выделяются в особую группу только на том основании, что они объясняются особого рода мотивами, например, религиозными или моральными чувствованиями (ср. «моральное чувство», «уважение к закону») и т. п. и характеризуются особого рода единством воздействий субъекта на то целое, частью которого он оказывается.

Само собою разумеется, что каждую из вышеуказанных основных групп можно расчленить на более мелкие деления, хотя бы, например, следующим образом:

I. Факты с характером внешнего детерминизма, т. е. эксономии, или факты действия природы на историю человечества:

1) Влияние естественной среды: климата, орографических и гидрографических условий, почвы, флоры и фауны данной страны на ее жителей; образование рас.

2) Влияние человеческой природы: антропологического типа (его нормальных анатомических и физиологических особенностей и патологических уклонений); половое сближение.

3) Влияние социальной среды: численности населения, отношения полов и возрастов, рождаемости и смертности, работоспособности и заболеваемости.

II. Факты с характером внутреннего детерминизма, т. е. энтономии, или факты, обнаруживающие воздействие человеческого сознания на природу.

1) Факты с характером гетерономии.

а) Воздействие человека на естественную среду ввиду удовлетворения своих потребностей в пище, одежде, жилище, и т. п.; занятия, нужные для их удовлетворения и их результаты: промышленность и

* *[I.] Kant*, Ww. [Sammtliche Werke] (herausg. v. [G.] Hartenstein) IV, 289.

торговля, индустриальная техника, пути сообщения и способы передвижения или обращения товаров, деньги и кредит; распределение богатств (в смысле результата); образование искусственной среды: состояние культуры, возникающей благодаря вышеуказанному воздействию и обусловливающей деятельность отдельных лиц.

в) Воздействие индивидуальности на общественную среду:

аа) воздействие индивидуальности на общественную среду: вожак и толпа, герой и толпа; вождь и общественная группа, реформатор и народ и т. п.; внутренний детерминизм действий индивидуума на общественную среду: его мотивы, эгоистические или альтруистические, его цели и т. п. и распространение его влияния путем симпатии, подражания, авторитета и т. п. на данную группу.

вв) воздействие социальной группы на общественную среду.

α) Образование социальных групп и интересов, побуждающих их к воздействию на общественную среду; средства человеческого общения: язык, письмо и т. п. Семейная организация (единство происхождения, религия, хозяйство, собственность); социальная организация (ед. культуры, религии, хозяйства, собственности); социальные группы: временные (союзы, кружки, общества и т. п.) и постоянные: касты, классы и сословия.

β) Воздействие социальных групп друг на друга и отношение важнейших из них к совокупности остальных (например, сословная борьба, распределение собственности и т. п.)

сс) воздействие сложной социальной группы на остальные:

α) Субъект такого воздействия: народ, его характер и политическая его организация (верховная власть и подчиненные власти; система учреждений центральных и местных правительственных и общественных; отношение власти к населению и т. п.); церковь и ее учреждения и т. п.

β) Воздействие народов и государств друг на друга и отношение важнейших из них к совокупности остальных международных отношений: мирных (дипломатия и другие международные связи: духовные и материальные) и враждебные (война).

2) Факты с характером автономии.

а) Воздействие человеческой личности ввиду ее автономии на среду: опознание человеческой личностью абсолютных ценностей или норм; идеи: религиозные, философские, научные, этические, эстетические; процесс их реализации в истории.

в) Воздействие коллективной индивидуальности: в силу ее автономии на ее части и на другие такие же индивидуальности или на их совокупность: опознание норм, поддерживаемое авторитетом данной группы (государства), т. е. распространение их признаний путем воспитания, образования и т. п.; подчинение себя общим правилам или нормам (абсолютным или относительным); нравы и обычаи в качестве общепризнанных правил, обрядовые учреждения и правовые нормы (право гражданское и государственное, уголовное, международное и проч.); система законодательства и международно-правовых отношений.

Само собою разумеется, что факты одной разновидности могут оказывать влияние на факты других разновидностей, указанных выше. Такие факты взаимодействия в свою очередь подлежат группировке; но их легко рассматривать в связи с тою группою, факты которой вызывают подобного рода влияние; можно, например, зачислять факты влияния, оказываемого природой на законодательство, в группу фактов с характером гетерономии, а факты обратного влияния законодательства на некоторые изменения в природных условиях, — в группу фактов с характером автономии, обнаруживающейся в коллективной индивидуальности и т. п.*

Социологическая группировка исторических фактов имеет, конечно, положительное значение и для историка; благодаря ей он получает возможность ясно различать те составные элементы, из которых данное целое образуется; с помощью такой группировки он выясняет объем и характер групп, входящих в состав данного целого, что облегчает и изучение их взаимоотношения; принимая во внимание факты взаимодействия между группами однородных элементов, он уже приближается и к пониманию того относительного значения, какое каждая из групп — частей имеет в данном целом. Впрочем, историк не может остановиться на социологической группировке исторических фактов; она оказывается недостаточной для целей собственно исторического построения. При группировке фактов историк должен обратить особое внимание на те из них, которые наиболее характерны для истории человечества, т. е. на факты с характером автономии; но для того, чтобы придать такой группе самостоятельное значение, он, в сущности, пользуется понятием о «свободе хотения» и относит соответствующие действия к известным нормативным целостям; в той мере, в какой он ценит факты с точки зрения автономии человеческой индивидуальности, он уже выходит, однако, за пределы чисто социологической их группировки и придерживается той аксиологической точки зрения, которая тесно связана с идиографическим пониманием истории. Само собою разумеется, что социологическая группировка фактов не может удовлетворить историка и в другом отношении: она не принимает во внимание действительность в ее индивидуальном значении. В самом деле, объединяя факты по одному или нескольким общим им признакам в одну группу, историк, в сущности, изолирует такие признаки от самих фактов и, значит, утрачивает представление об индивидуальном их характере. Если достаточно иметь в виду индивидуальный характер группы, а не каждого из составляющих ее экземпляров, то, разумеется, и опущение подобного рода лишь облегчает историческое исследование; но если нет оснований для того, чтобы ограничиваться индивидуализацией группы, то историку приходится обратить внимание на индивидуальные особенности каждого из экземпляров, ибо каждый из них может иметь свое историческое значение; наконец, если историк имеет основание приписывать какому-либо из фактов данной группы историческое значение, его уже нельзя подводить под группу, ибо такое субсуммирование возможно лишь, если отбросить от него самые характерные особенности, ему именно и приписываемые. Вместе с тем, социологическая группировка исторических фактов не дает принципа группировки самих групп в той мере, в какой каждой из них приписывается индивидуальный характер и соответствующее ему значение; между тем историк (а не социолог) не должен упускать из виду индивидуальные особенности изучаемых им групп, ибо не принимая их во внимание, он не будет в состоянии объяснить исторической действительности, исторического процесса и т. п. Следовательно, историк не может остановиться на социологической группировке исторических фактов: ему нужно обратиться к исторической их группировке. Прежде, однако, чем приступить к ее характеристике, рассмотрим главнейшие методы социологической группировки исторических фактов.

С социологической точки зрения, группируя исторические факты, историк преимущественно пользуется двумя методами: ста-

* Несколько разновидностей подобного рода взаимодействий см.: *F. Iodl*, Die Kulturgeschichtschreibung et Halle, 1878, ss. 115–119.

тистическим и сравнительным. При помощи статистического метода ученый устанавливает понятие о группе с количественной точки зрения, а при помощи сравнительного метода выясняет то же понятие с качественной точки зрения. Само собою разумеется, что статистик также пользуется сравнением: но он сравнивает интересующие его данные главным образом с количественной точки зрения, а не с качественной; и хотя можно под сравнительным методом в широком смысле разуметь те приемы сравнения цифровых показателей, которые употребляются в статистике, однако, сравнительный метод тут далеко еще не получает того значения, какое он имеет для изучения сходства или различия в качественном смысле. Следовательно, можно различать два метода социологической группировки исторических фактов: статистический и сравнительный. Ввиду того широкого применения, какое вышеуказанные методы получают и в области исторических построений, следует несколько остановиться на рассмотрении каждого из них в отдельности.

Статистический метод употребляется для того, чтобы эмпирически установить наличность некоторой законосообразности в какой-либо совокупности наблюденных отдельных случаев, отвлеченно рассматриваемых как однородные в каком-либо отношении, и путем подсчета объединяемых в группах*. Следовательно, статистический метод и в его приложении к изучению исторических фактов должен состоять прежде всего в исчислении наблюденных случаев, а затем в обработке полученных таким образом результатов, группировке их и т. п.; но применение таких приемов в истории довольно ограничено и сопряжено с большими затруднениями.

В самом деле, для исчисления объектов нужно иметь раздельное представление о каждом из них, придавая, однако, такой дискретности возможно более общее формальное значение: исчисляемые объ-

* *Chr. Sigwart*, Logik. Bd. II, § 101, 102. *W. Lexis*, Statistik в HWB des Staatswissenschaften, Bd. VI2 ss. 1006 ff. Указания на литературу см. там же; см. еще *Th. v. Tnama-Sternegg*, Geschichte und Statist. в Statist. Monatschriff. Bd. VIII (1882), Ian. Ueber histirische Statistik в Bulletin de L'Institut International de statistique, t. II, v. 1, p. 160; *Н. Любович*, Статистич. метод в применении к истории в Варшавск. Унив. Извест.; ср. *Th. v. Tnama-Sternegg*, Deutsche Wirtschattsgeschichte in den Letzten Iahrhunderten des Mittelalter; *K. Lamprecht*, Deutsches Wirtschaftsleben leben im Mittelater и др.; ср. еще нижеследующие примечания.

екты должны представляться ученому единицами, каждую из которых, с известной точки зрения, он может прибавить к другой; но для подсчета их он должен представлять их себе возможно более однородными, т. е. они должны иметь по крайней мере один точно установленный признак, по которому он мог бы все наблюденные экземпляры или случаи зачислить в одну и ту же группу.

Итак, следует прежде всего установить полную однородность исчисляемых данных в том именно отношении, которое нас интересует, и сходство тех условий, среди которых они обнаруживаются, а также выяснить, добыты ли показания одинаковыми способами регистрации и представляют ли они одинаковую степень вероятности; одинаковый % ошибочности все еще допускает сравнение абсолютно неверных показаний, хотя и требует некоторых предосторожностей. Эти требования надо, конечно, иметь в виду при сравнении: разновременных статистических данных касательно одной и той же страны; или одновременных статистических данных касательно разных стран. Сравнивать же разновременные статистические данные касательно разных стран большею частью невозможно, ибо, не говоря уже об ошибочности показания, самые степени такой ошибочности почти всегда различны, а учесть их чрезвычайно затруднительно*.

В статистическом исчислении следует, однако, различать две операции, далеко не в одинаковой мере приложимые к изучению социальных фактов, а именно: измерение и перечисление. Измерение предполагает возможность точно определить интенсивность интересующего нас признака в какой-либо единице счета, которою можно пользоваться, по крайней мере применительно ко всем экземплярам данной группы; перечисление же дает точное понятие лишь о числе случаев повторения данного признака в изучаемой совокупности, т. е. об его экстенсивности, сфере распространения и т. п.

В сущности, измерение применимо в социальных науках лишь к небольшому количеству материальных условий общественной жизни, имеющих для собственно исторического построения относительно малое значение; можно примерять, например, рост или возраст людей, вес продуктов, ценность денег, которая, впрочем, меняется сообразно с условиями и т. п. При помощи такого измерения исто-

* *R. Giffen*, On International Statistical comparisons в The Economic Journal, 1892, June, pp. 209–239, много примеров.

рик может сделать несколько полезных обобщений касательно материальных условий существования данной социальной группы, но не будет в состоянии построить хотя бы одно какое-либо социальное явление. При изучении остальных фактов историк может прибегать только к их перечислению; а перечисляет он их, начиная с того, что условным образом определяет явление, или даже просто с того, что выбирает какой-нибудь условный факт, который ему легко узнать по известному признаку (например, брак, преступление, журнал, синдикат). Такое перечисление указывает лишь на то, сколько раз выбранный для характеристики факта признак оказался налицо в тех явлениях, количество которых определяется: последний, однако, не даст еще возможности сделать какой-либо вывод о количественных свойствах изучаемого явления, в особенности же о психологическом его значении. Цифра имеет смысл только тогда, когда мы применяем ее к явлениям уже определенным и, следовательно, известным; но не объясняя сущности явлений, она не дает возможности подвергнуть их группировке по их качествам.

Исчисление случаев, конечно, лишь подготовляет тот статистический материал, который подлежит обработке; пользуясь законом больших чисел, статистик устанавливает те средние, по которым он может судить о некоторой законосообразности изучаемых явлений и достигает эмпирических обобщений касательно соотношений между полученными им группами, рядами изменений и т. п.

В самом деле, статистика называется иногда «наука о больших числах». Строго говоря, закон больших чисел формулируется в виде следующей математической теоремы: вероятность того, что (эмпирически добытое) при известном числе испытаний отношения чисел повторения определенного события к общему числу испытаний будет отличаться от (математической) вероятности этого события, не более как на малую величину, произвольно взятую, с увеличением числа испытаний приближается к I, т. е. к достоверности. Хотя закон больших чисел в полной мере получает свое значение лишь для неосуществимого предельного случая, бесконечно большого числа испытаний, однако, можно сказать, что применение его к изучению некоторых фактов социальной жизни уже обнаружило довольно плодотворные результаты. Статистика рядом изображающих распределение рождающихся и умирающих мальчиков и девочек по полу, например, обнаружила их «нормальную» устойчивость. Во многих других областях она, правда,

оказывается еще «поднормальной», т. е. не соответствует математической вероятности, превосходя математически ожидаемые колебания в 5, 10 и даже 20 раз; но все же она с некоторым успехом применяется к демографии и этнографии, к изучению денежного обращения цен и вообще обращения товаров, вывоза и ввоза, заработной платы, профессий и финансов и т. п.

Применение закона больших чисел в области историко-статистических данных, однако, оказывается затруднительным: большие числа получаются лишь путем систематической регистрации отдельных случаев; ее не было или, по крайней мере, не осталось до XVI в. Историк располагает в большинстве случаев лишь относительно «малыми числами». В какой мере, однако, можно научно пользоваться статистическим методом применительно к относительно малым числам, т. е. какова будет ошибка, которую делает ученый, пользующийся для своего вывода относительно малым числом наблюдений, установить трудно.

Статистика иногда называется и «наукой о средних величинах». Впрочем, всякий пользующийся средним, должен иметь в виду, что даже в лучшем случае, т. е. тогда, когда он располагает возможно большим числом наблюдений, близким к бесконечности, получаемое им среднее имеет фиктивное значение; самое понятие о среднем связывается с таким именно его значением*. В самом деле, каждое среднее (а их бывает много родов) есть своего рода фикция, заменяющая собою в нашем сознании множество действительно существующих, естественно представляющихся нам или искусственно добытых нами данных; значит, такая фикция не может на самом деле заменять собою совокупность действительно бывших случаев; степень значения, какое замена подобного рода имеет для науки, зависит, главным образом, от познавательной цели, которая имеется в виду, а также от того, какого рода факты изучаются**. Статистик пытается даже комбинировать несколько средних, каждое из которых он выводит из наблюдений над данным отдельным признаком для того, чтобы такой комбинацией дать понятие о типе, характеризуемом совокупностью этих признаков. Во всяком случае, по отношению к громадному большинству наблю-

* О различии между общим понятием и фиктивным см. *Chr. Sigwart*, Logik. Bd. II. § 101, 7.

** *I. Venn*, On the nature and Uses of Averages в Journal of the Royal Statistical Society. Vol. LIV, p. III., 1891., Sept., p. 447.

денных случаев среднее, в особенности сложное среднее, полученное путем такой комбинации, имеет значение лишь идеального, а не репрезентативного типа, на основании которого можно судить об общем характере всей группы, а не о характере отдельных ее экземпляров.

С точки зрения вышеприведенного понятия о законе больших чисел историк встречает существенное затруднение в пользовании статистическим методом: для того, чтобы вывести среднее из известного числа наблюдений (хотя бы только арифметическое, в большинстве случаев удовлетворяющее научным требованиям), число наблюдений должно быть велико, а историк часто располагает лишь весьма ограниченным их числом. В случаях подобного рода историку приходится отказаться от вывода средней величины; он ограничивается простым статистическим описанием: т. е. пользуется перечислением для характеристики образуемых им по одному или нескольким признакам групп с количественной точки зрения. Во многих случаях историк лишен возможности, однако, дать полное перечисление всех интересующих его фактов и принужден довольствоваться приближенным. Такие приближенные цифры он образует путем количественной оценки: если он располагает статистическими сведениями об одной части случаев, и имеет основание предполагать, что остальные части той же совокупности сходны с тою, относительно которой перечисление было сделано, он переносит основанные на нем выводы на остальные части; например, установив какое-либо отношение между группами населения в одной местности, он делает заключение, что и в сходной с нею по условиям жизни местности отношение между ними приблизительно такое же. Количественная оценка, разумеется, может быть основана на изучении более или менее значительной части или даже нескольких отдельных случаев, выбираемых из данной совокупности на основании предварительного исследования; тогда статистическое описание получает «монографический характер»*. С этой точки зрения можно останавливаться

* Известно, что Лепле (Le Play) и его школа настаивают на том, чтобы «социолог» пользовался не историческим и статистическим, а монографическим способом исследований. Под монографией Le Play разумеет изучение бюджета семейства, которое он выбирал, преимущественно пользуясь показаниями местных жителей. Последователи Лепле разделились на два лагеря: одни строго придерживаются доктрины и издают «La Réforme sociale»; другие с более научными тенденциями и выражают их в сборнике социальных наук (Les Science sociale).

на возможно более детальном изучении такого случая, который по предварительному исследованию можно было признать типическим для данной совокупности случаев; репрезентативный тип подобного рода и подвергается статистическому описанию. Таким образом можно изучать, например, бюджет данного семейства* или писать статистическую монографию о какой-либо группе, о данной деревне, городе, провинции и т. п.** Статистико-монографическое описание все ближе подходит к требованиям собственно-исторического изучения действительности.

Вообще можно сказать, что при осторожном пользовании статистическим методом, он может принести существенные услуги для социологического построения исторических групп с количественной точки зрения и даже для более сложных исторических построений.

В самом деле, благодаря такому методу и в особенности простому статистическому описанию, историк получает возможность относительно точно представлять себе объем интересующей его исторической группы и ее подгрупп, а также изменения в численном составе таких совокупностей, и пользуется статистическими данными для характеристики целых групп, для констатирования некоей связи между их общими признаками и для указания на индивидуальные уклонения, требующие исторического объяснения***.

Пока мы не получили, например, представления о количестве населения в европейских городах XIV–XVI вв., трудно было надлежащим образом судить о степени их процветания: чтобы нарисовать

* *H. Higgs*, Workmen's Budgets in Journal of the Statist. Soc. 1893, June, pp. 255–285.

** *W. Troeltsch*, Die Colwer Zeughandle Kompagnie und Ihre Arbeiter, Iena, 1897. С картой и статист. таблицами. Г. Calsi на левом берегу р. Nagold в старинном Вюртемберге, «in den Vorbergen des Schwewalds»; компания существовала с 1650–77.

*** *Th. v. Tnama-Sternegg*, Die Quellen der historischen Bevolkerungs statistik в Statist. Monatschr., Bd. XII, 1886 г. S. 387 и сл.; *K. Bücher*, zur Mittelalterlichers Bevölrerungs statistik mit Besonderer Rüksicht auf Frankfurt M. Zeit für die gesam Staatwincschaft 1881, U. S. 35 ff.; 1882, ss. 52 и 344 и сл.; *его же*: Die Bevölkerung von Frankfurt a M. im XIV und XV Tahrh., Tubingen, 1886. Во Франции уже в 1539 г. ордонансом в Виллье-Котрэ вменено в обязательность приходским священникам вести записи рождений и смертных случаев; такое же постановление было на Тридентском Соборе в 24-м заседании 11 ноября 1563 г. Протестанты начали заводить метрические книги тотчас после распространения реформации; случаи смерти стали вноситься позднее, нежели отметки о рождениях.

картину прошлой их жизни до некоторой степени приходилось заимствовать краски у современных нам больших городов; но когда довольно точные статистические исследования показали нам, что такие оживленные и промышленные города Германии, как Нюренберг, Ульм, Аугсбург и Страсбург имели в XV веке всего тысяч по двадцати населения, то наши представления о них сразу получили более реальную почву. Далее, изучая состав населения в городах со статистической точки зрения, историки пришли даже к неожиданным результатам, в силу которых они должны были сильно видоизменить некоторые из своих взглядов на различные стороны социальной жизни прежнего времени: подводя итог исследованию состава народонаселения во Франкфурте на Майне с 1387 года, один из таких исследователей указывает, например, на то, что этот состав оказывается далеко не столь простым и несложным, как прежде думали, и следовательно, при помощи статистического метода, подмечает такие стороны жизни, которые при обычных способах исследования ускользают от внимания ученого.

Историки применяют статистический метод и к изучению других проявлений социальной жизни. Продукты материальной культуры, например, легко поддаются подсчету, а потому можно, например, заниматься исчислением цен, заработной платы и т. п.*; но даже некоторые признаки духовной культуры могут быть исследованы путем цифр. Прежде думали, например, что число сочинений, напечатанных в течение XV ст., равнялось 13 000; теперь же высчитано, что их появилось в это время 25 000, т. е. почти вдвое. Возьмем другой случай применения статистического метода к изучению той же области явлений: на основании матрикул[572], изданных в последние годы многими Университетами, можно точными цифровыми данными установить, какие территории Германии давали наибольшее число студентов, а следовательно, и какие из них стояли в данном отношении выше других, какие лекции всего более привлекали слушателей и т. п.

* *Th. Tooke,* A history of prices etc., 6 vv., Ld., 1838–1857. *J. Rogers,* History of agriculture and prices in England (1258–1793), 7 vv. Oxf., 1866–1902; *его же:* Six centuries of work and wages, 2 vv. Ld., 1884. *G. D'Avenel,* Histoire économique de la propriété des salaires, des denrées de tous les prix en général (1200–1800), 4 vv. 1898 и др.

Статистический метод дает также некоторое основание характеризовать группу, объем которой установлен одним или несколькими признаками: само собою разумеется, что такие признаки выбираются ввиду соображений, не обусловленных статистическим методом, но последний предоставляет возможность выяснить степень устойчивости данного признака, на основании которого он и считается более или менее характерным для всей группы и т. п.

Итак, благодаря применению статистического метода к изучению социальной жизни прошлых веков, историк может получить более точное представление о некоторых из ее сторон, поддающихся исчислению. В то время, как прежде он был в состоянии уяснить себе главным образом лишь различные формы социальных и правовых отношений, теперь он иногда может еще сверх того определить размеры и количественное соотношение разных общественных групп, а также судить о распространенности и устойчивости некоторых общественных явлений. Вместе с тем статистический метод дает возможность образовывать и ряды цифр, т. е. следить за их движением, за ростом или убылью их, причем сопоставление соответствующих друг с другом рядов изменений приводит и к формулировке некоторых эмпирических обобщений.

На основании статистических данных, историк может следить за постепенным ростом населения. В течение XVI ст. население некоторых германских городов, например, заметно возросло: в конце этого века население Страсбурга и Нюренберга повысилось с 20 000 до 30-и 40–50 тысяч, а в Аугсбурге оно достигало до 50 тысяч человек. В то же время население Берлина доходило только до 14 000 душ; за последние три века оно, значит, возросло до 3 мил., т. е. более чем в 200 раз. В свою очередь и убыль населения, например, после чумы[573], после смутного времени в России и т. п. можно подвергать исчислению и с количественной точки зрения следить за вымиранием некоторых племен, например, андаманцов[574], северо-американских индейцев и т. п. Таким же образом легко следить за ростом или убылью в численности каких-либо продуктов материальной или духовной культуры. В области материальной культуры, например, историки пытаются выяснить статистическим путем постепенное падение ценности данной единицы денежного обращения, положим, ценности рубля, т. е. постепенной убыли числа рублей нынешней ценности, соответствовавшего одному рублю предшествовавшего времени; иссле-

дования наших ученых показали, что один рубль 1500 г. стоил около 100 нынешних, 1 рубль 1501–1550 г. — равнялся приблизительно 55 нынешним рублям, один рубль 1601–1612 г. только 9 нынешним рублям и т. п.* Можно строить ряды цифр, обнаруживающие и изменения в каком-либо признаке духовной культуры. Каталоги библиотеки монастыря Торопца 1484, 1494, 1524 гг., например, свидетельствуют о постоянном ее росте: сначала она насчитывает 1103 книги, потом 1738, наконец, 1869, причем нужно заметить, что последняя цифра не показывает точно числа всех книг в библиотеке, так как часть их еще не была зарегистрирована. По цифрам историк может судить также о росте общественного мнения: в Англии, например, в 1760-х годах митинг в 400 человек считался уже довольно значительным; но численность их постепенно возрастает: в 1838 г. митинги в Глазго и Бирмингеме доходили до 200 тысяч, а в Манчестере до 300 тысяч человек; количество подписей на петициях также изменяется: петиция, поданная, например, в 1769 году, была снабжена 65 тысячами подписей, а петиция 1842 года — более чем $1^1/_2$ млн. подписей, причем число их за указанный промежуток времени вообще постепенно возрастало. Наконец, можно еще, в качестве примера, указать на наглядное изображение путем ряда цифр изменений в самом характере государственного управления: известно, что в Соединенном Королевстве центральное правительство издерживает в настоящее время ежегодно около одной двенадцатой национального дохода, между тем, как в начале столетия оно тратило на удовлетворение той же потребности около одной трети; такое отношение наглядно показывает, насколько правительство имеет в настоящее время меньше значения, нежели прежде.

В заключение нельзя не заметить, что статистика дает историку возможность не только изучать отдельные ряды изменений, но и некоторое соотношение между такими сериями: например, между изменениями в урожае или ценами и числом браков, рождения или смертей; между изменениями в ценах на хлеб, посещаемостью школ и количеством преступлений и т. п. Такое изучение соответствующих изменений в нескольких сериях цифровых показаний может иногда наталкивать историка и на объяснение конкретных исторических

* *В. Ключевский,* Русский рубль XVI–XVIII вв. Москва, 1884 г. с поправками, предложенными в Ист. уделов, т. II, пр. 13.

событий. Происхождение революционного брожения в немецких городах в течение XIV и XV вв., например, сделалось гораздо более понятным после того, как ученым удалось получить довольно точные данные относительно сильного развития в них пролетариата, а также ознакомиться с их финансовым положением, т. е. с постоянно возраставшими налогами и городскими долгами к концу XV века.

Даже те выводы, которые получаются другим путем, историк считает полезным контролировать статистическими данными: располагая цифровыми показаниями относительно интересующих его социальных явлений, он будет в состоянии контролировать известия, которым свидетели или источники придают свою субъективную окраску, описательные их выражения (например, «большой», «малый» и пр.), к которым они часто примешивают субъективную оценку и т. п.

Статистические выводы, в свою очередь, подвергаются контролю, основанному на изучении разностей или уклонении от среднего. Уже для проверки общего вывода такое изучение может иметь большое значение; оно может указывать на степень фиктивности самого среднего, на случайный его характер и т. п.; но уклонения, их причины и последствия могут сами по себе вызывать интерес исследователя. Тогда центр тяжести его исследования перейдет с общего вывода на индивидуальные уклонения от него; исследование подобного рода производится, однако, в сущности уже путем исторического, а не статистического метода (см. ниже).

Вообще, не следует преувеличивать значение статистического метода для собственно исторических построений: с принципиальной точки зрения, историк не может найти в нем способа решения основных задач исторической науки, а в практическом отношении его приложение представляет существенные затруднения.

Прежде всего нельзя не заметить, что историк не может удовлетворить свой интерес к действительности путем статистического метода; статистические выводы обезличивают и обесцвечивают конкретные факты; по таким выводам нет возможности судить о значении каждого из них, и только, в лучшем случае, об объеме действенности факта, значение которого, однако, не может быть установлено на основании одной численности его последствий. В самом деле, историк не может удовлетвориться, например, выводом, что в данной стране на миллион жителей приходилось, например, около 206 самоубийств ежегодно: ведь ему важно знать не толь-

ко, что около 206 чел. из 1 000 000 в данное время покончили с собою, но сколько именно людей и какие именно из них покончили с собою в данное время: ведь среди них может оказаться человек, имеющий свое индивидуальное значение, например, А. Н. Радищев[575], но может и не оказаться. Ввиду фиктивного значения статистического среднего, историк не получит, однако, возможности, на его основании, ни констатировать, ни предсказать, что именно данная индивидуальность попадает в данное число самоубийц, а между тем ее самоубийство при значительной ценности этой именно индивидуальности получает совсем новое и особое значение.

Далее нельзя упускать из виду, что даже простое перечисление случаев, производимое в статистике, уже представляет в принципиальном отношении существенные затруднения и что применение его в области исторических построений качественно различных фактов имеет в сущности лишь условное значение. В самом деле, чем менее объект исчисления может быть представлен раздельно от других, тем труднее подвергнуть его исчислению. Между тем раздельность состояний сознания данного субъекта представляется нам проблематичной: каждое из них определяется в его отношении к другим частям того же единого целого и теряет свои характерные свойства, если рассматривать его вне такого единства: вместе с тем, ввиду только что указанного единства нельзя утверждать, что аналогичные состояния сознания двух индивидуумов оказываются вполне однородными: они представляют качественные отличия. И действительно, статистический метод применяется не к исчислению внутренних состояний сознания людей, а к исчислению внешних их действий, каждое из которых с такой именно внешней точки зрения можно представить себе раздельно от других и в каком-либо отношении однородным с некоторыми другими; но нельзя забывать, что психическое, а следовательно, и историческое значение их не поддается исчислению. В том же смысле можно рассуждать и об исчислении продуктов таких действий, фактов их воздействия в социологическом смысле и т. п.: прием подобного рода может вызвать сомнения в его пригодности, если припомнить, что исторические факты не равноценны и не равнозначущи, при подсчете их историческое значение важнейших из них ускользает от внимания исследователя; он не может путем подсчета установить самый факт влияния данной исключительной и выдающейся человеческой личности,

или ценного продукта культуры, или важного политического события на исторический процесс.

Статистический метод не может удовлетворить историка и в другом отношении: если основная задача исторического построения состоит в установлении причинно-следственной связи между фактами, то и статистический метод получит значение лишь предварительной операции, выявляющей существования групп или некоторого соответствия изменений, между которыми историк попытается разыскать причинно-следственную связь, для чего он и будет пользоваться принципами и приемами, уже указанными выше (гл. III): статистические выводы только облегчают разыскание подобного рода эмпирически-данных последовательностей, но сами по себе еще не дают основания утверждать причинно-следственную связь между общими условиями, в которых известные поступки совершаются, и между тем фактом, общие черты которого выясняются благодаря статистическому результату со свойственным ему характером устойчивости.

Вместе с тем нельзя забывать, что социальные явления отличаются не статическим, а динамическим характером: постоянное развитие каждого из элементов, между которыми желательно в каком-либо отношении установить равенство, нужное для их исчисления, становится возможным лишь в том случае, если предполагать полное сходство, параллелизм, предустановленную гармонию и т. п. в их развитии так, чтобы в каждый данный момент стадии развития одного из них совпадали со стадиями развития остальных; но такое абсолютное соответствие возможно представить себе в действительности лишь в том случае, если вообразить, что все элементы находятся на одном и том же месте в данной среде; такое утверждение очевидно ложное; а принимая, что они занимают разные положения в среде, мы уже не можем говорить о вполне однородных условиях их развития и утверждать, что члены таких эволюционных рядов тождественно соответствуют друг другу.

Кроме вышеуказанных принципиальных затруднений, возникающих при приложении статистического метода к изучению исторической действительности, нельзя не упомянуть и о затруднениях скорее технического и практического характера.

Такие затруднения уже дают себя чувствовать в области изучения социальной жизни, даже если предположить, что она в достаточной

мере известна исследователю. Если одна только теория солнца потребовала от ученого астронома 12 томов *in folio* для вычислений[576], то, что же сказать про психологию человеческих обществ. Ведь возможные комбинации подобного рода соотношений, пожалуй, превысят всякое исчисление, даже если вообразить, что оно теоретически возможно в каком-либо отношении, практическая его исполнимость может оказаться проблематичной. Припомним, например, что 12 лиц, сидящих вокруг стола, могут быть размещены 500 мил. различных способов, без повторения одной и той же комбинации. Само собою разумеется, что такие выкладки должны получить еще более сложный характер, если комбинации будут состоять из переменных, а не постоянных величин; но сложность расчетов увеличится еще во многое число раз, если иметь в виду, [что] с психологической точки зрения между элементами каждой комбинации можно представить себе великое разнообразие психических соотношений. Всевозможные комбинации, правда, не осуществляются в действительности; но знание их нужно для того, чтобы знать математическую вероятность действительно бывших случаев; а получить ее, как видно, может быть чрезвычайно затруднительно.

Таковы практические затруднения, возникающие при изучении социальных фактов со статистической точки зрения, даже если предположить, что они хорошо известны исследователю; но и социолог, в особенности историк, часто оказывается далеко не в таком благоприятном положении: последний в большинстве случаев не в состоянии пользоваться статистическими средними. В самом деле, статистическое среднее получает тем меньшее научное значение, чем менее число наблюденных случаев приближается к бесконечности, т. е. чем в меньшей мере случайные уклонения от средней величины, положительные и отрицательные, взаимно уничтожают друг друга; а чем менее можно рассчитывать на взаимное их уничтожение, тем более получаемое из них среднее зависит от односторонних случайных уклонений, и значит, само получает относительно случайное значение. Между тем историк, вообще не располагающий большим числом наблюдений, по крайней мере за время до XVII века, или опирающийся на отрывочный материал, часто оказывается в таком именно положении: получая среднее, он не может пользоваться им, не решив, в какой мере последнее не имеет случайного значения, вопрос, на который очень часто он не в состоянии дать ни положительного, ни отрицательного ответа.

Наконец, следует думать, что собственно историк, кроме того, очень часто располагает слишком скудным материалом даже для простого статистического описания. В самом деле, для того, чтобы составить себе представление, какие затруднения встречает ученый, желая добыть статистические данные относительно прежних времен, стоит только вспомнить, что переписи населения, да и то лишь некоторых мест, известны нам начиная с XV века и что более обильный материал относится еще к более позднему периоду (с середины XVIII века). Даже такая элементарная вещь в настоящее время, как, например, ведение записей о браках, рождениях, смертях и т. п. дело сравнительно новое. Только с XVI в. в силу постановления Тридентского собора[577] в целях церковно-религиозного надзора приходских священников обязали вести записи о крещении детей и заключении браков; а официальные же статистические бюро в разных государствах стали действовать лишь с начала прошлого века и только с 1830-х их работы получили более научное значение. При изучении такого скудного статистического материала историк может, конечно, встретиться и со многими другими затруднениями: он должен, например, подвергнуть цифровые показания надлежащей интерпретации; но он часто не располагает теми именно детальными сведениями, которые ему нужны для того, чтобы правильно истолковать значение старинных цифровых показаний, их возникновение, их группировку, иногда значительно отличающуюся от современной и т. п. Историк не должен забывать и того, что доступный ему материал большей частью оказывается еще и мало достоверным: при склонности в прежнее время довольствоваться приближенными, или «круглыми», цифрами, и при очень несовершенных способах старинной регистрации, ее результаты никак нельзя принимать на веру: и историк должен помнить, что каждая цифра и, в особенности, итог требует внимательной критической оценки, прежде чем будет принят, а между тем он далеко не всегда располагает средствами, нужными для того, чтобы удовлетворить требованиям строгой исторической критики.

Ввиду подобного рода затруднений, связанных с приложением статистического метода к социологической группировке исторических фактов, историк, конечно, не может удовлетвориться им и обращается к сравнительному методу, уже принимающему во внимание качество, а не одно только количество изучаемых групп.

В тех случаях, когда историк сравнивает свои представления по их содержанию с количественной точки зрения, он уже пользуется сравнительным методом в широком смысле слова; с такой точки зрения под сравнительным методом можно разуметь установление и сходства, и различия между изучаемыми объектами.

Тем не менее нельзя не заметить, что преимущественно в тех случаях, когда ученый имеет в виду установить сходство между ними, а не различие, он и называет метод такого установления сравнительным. В самом деле, под сравнением или сравниванием следует разуметь установление или сходства, или различия; но нельзя отождествлять понятие «сравнение» с понятием о «сравнительном методе»; последнему можно, хотя бы условно и в узком смысле слова, придать значение метода, устанавливающего преимущественно сходство, а не различие сравниваемых объектов. И действительно, такое именно значение обыкновенно приписывается вышеназванному термину: говорят, например, что он применяется «для достижений общих результатов»*; но если такова цель его применения то, очевидно, он должен состоять, главным образом, в установлении сходства между изучаемыми объектами; установление же различий интересует ученого, пользующегося сравнительным методом, прежде всего, для того, чтобы проверить обобщения, т. е. свои выводы относительно сходства изучаемых объектов; значит, изучая их различия, он или преследует подчиненную познавательную цель или получает простой результат вышеуказанного применения сравнительного метода, подлежащий обработке путем собственно исторического метода. В научном словоупотреблении, наконец, то же значение обнаруживается, когда говорят, например, о сравнительной анатомии, и т. п., или о сравнительном языкознании, или о сравнительном правоведении, или об историко-сравнительном методе в изучении обрядовых и политических учреждений и т. п.; сравнительный метод, преимущественно характеризующий такие научные дисциплины, понимается в них преимущественно в смысле установления сходства, а не различия между сравниваемыми объектами. Во всяком случае, в дальнейшем изложении можно понимать сравнительный метод в его применении к социологической группировке исторических фактов, преимущественно в смысле установления сходства, а не различия между сравниваемыми объектами; последнее преимущественно характеризует не «сравнительный», а скорее «исторический» метод (см. ниже).

Следовательно, можно сказать, что историк, имея в виду социологическую группировку исторических фактов, стремится к обобщению путем сравнения своих представлений по их качественному содержанию, для чего и пользуется сравнительным методом. Сравнительный метод, в указанном его приложении, дает, значит, историку возможность по внимательному изучении каждого из сравниваемых фактов в отдельности, устанавливать сходство между ними в каком-либо отношении и с такой социологической точки зрения образовывать группы исторических фактов, различая такие группы друг от друга признаками, общими всем экземплярам каждой из них*.

Для того, однако, чтобы иметь основание утверждать сходство между своими представлениями по качественному их содержанию, всякий ученый должен придерживаться одной и той же познавательной точки зрения, с которой он и сопоставляет изучаемые им объекты. Такое требование тем важнее предъявлять своему сознанию, чем сложнее сравниваемые объекты и чем легче, значит, в зависимости от разнородных свойств нового объекта изменить точку зрения, из которой исследователь исходил для сравнения его с ранее известным ему объектом.

* *W. Wundt*, Logik, Bd. II, I, Dritter abschint, Cap. I, § 4: ..., das Wesen des vergleichenden Verfahrens darin, dass die vergleichende Beobachtung, die Sammlung übereinstimmender Erscheinungen und die Abstufung der nicht übereinstimmenden nach den Graden ihres Unterschieds, zur Gewinnung allgemeiner Ergebnisse benutzt wird[578]; автор, однако, лишь мимоходом упоминает об этой познавательной цели, с точки зрения которой, казалось бы, и нужно определять самую «сущность» метода, а потому и не выясняет соотношения между установлением сходства и установлением различия.

* *W. Wundt*, Logik. Bd. II, I, Dritter abschnitt. Cap. I, § 4, в и Bd. II, 2, Vierter Abschnitt Cap. I, § 3. Автор дает здесь общую характеристику сравнительного метода, едва ли, впрочем, достаточно обоснованную и развитую. Специальная литература чрезвычайно обширна и разнообразна; достаточно припомнить имена следующих ученых: Шрадера в сравнительном языкознании; Тэйлора, Ленга, Фрезера, Гомма — в фольклоре; Тиле и Шантепи де ла Соссей в изучении истории религии; Веселовского в истории литературы; Спенсера в социологии; Мэна, Ковалевского, Виноградова в истории права; Фюстель де Куланжа, Фримана в истории учреждений и мн. др.

Самое понятие сходства ведь может иметь разные значения. Ясно, что если, например, два учреждения признаются сходными, сходство их будет пониматься различно в зависимости от того, представлять ли себе, что они возникли независимо друг от друга и сходны благодаря одинаковым условиям их возникновения, или, что одно из них возникло по образцу другого; но установить то именно различие, в каком мы говорим о сходстве таких фактов, можно только предварительно исследовав причины, действием которых оно объясняется.

Точно устанавливая значение, в котором он употребляет самое понятие сходства, историк вместе с тем, конечно, стремится установить, в каком именно отношении оно обнаруживается: ведь при сравнении фактов между собою можно заметить сходство между ними в признаках, которые могут иметь в глазах исследователя весьма различную научную ценность. Сходство в признаках, которое он считает важным, признает «существенным», «постоянным» и т. п., очевидно, имеет большее значение, чем сходство в признаках маловажных, «случайных» и т. п., то же можно сказать и про различия между ними. По таким признакам можно систематически установить градации в сходстве или различии между изучаемыми объектами. Степень сходства или соответственно степень различия между сравниваемыми объектами зависит от того, какого рода признаками пользоваться: важными или маловажными и т. п. И в данном роде случаев, изучая причины сходства, можно лучше понять значение сходных признаков: признак сходства, сам по себе маловажный, может, однако, получить относительно большое значение для характеристики данной группы, если он оказывается результатом заимствования и сфера последнего велика.

Принцип единства точки зрения, с которой сравнение производится, ведет в специальных исследованиях и к другому; а именно: к требованию соблюдать один и тот же способ при сравнении: при изучении, например, этимологии слов, нельзя сравнивать их, не принимая во внимание тех законов их образования, которыми развитие данной группы языков объясняется; тот же принцип получает свое применение и при сравнительном изучении обрядов, учреждений и т. п. Сравнение подобного рода возможно, однако, лишь при изучении причин сходства, а не одних только сходных признаков.

Итак, на основании вышеуказанных принципов историк приходит к изучению причин сходства сравниваемых объектов. В самом

деле, для того, чтобы иметь основание утверждать, что сходства между сравниваемыми фактами обнаруживает некоторую закономерность, историк должен выяснить причины такого сходства: только в том случае, если ему удастся с этиологической[579] точки зрения объяснить себе последнее, он получит основание утверждать, что сходство между сравниваемыми фактами неслучайно. С такой точки зрения историк подыскивает тождественные или одинаковые причины, действием которых он объясняет сходство их результатов, или выясняет ту зависимость, в какой один из сходных фактов находится от другого.

В тех случаях, когда историк объясняет причины сходства действием тождественных или одинаковых причин, он чаще всего принимает во внимание или общее происхождение тех социальных групп, в культуре которых он усматривает сходство, или одинаковые условия возникновения сравниваемых фактов. В самом деле, историк, занимающийся, положим, сравнительным изучением истории учреждений, усматривает иногда причину сходства между учреждениями разных народов в общности их происхождения: он объясняет себе такое сходство, исходя из гипотезы, что эти народы произошли из одного общего корня, некогда жили вместе и еще в то время достигли известной стадии развития правовой культуры; что вслед за тем они расселились в разные страны и каждый из них унес с собою то, что было выработано прежней совместной жизнью; это общее наследство, доставшееся им от первоначального предка, и привело к сходству явлений их дальнейшего уже разрозненного быта. Таким образом, замечая, например, что римляне и германцы имели много общего в своей истории, историк объясняет это явление тем, что они ветви одного и того же арийского племени, жившего когда-то нераздельно в одном месте, а потому и обнаруживали сходство в своей культуре и по расселении. Впрочем, историк должен принимать во внимание не только действие одних и тех же условий, но и влияние одинаковых внешних условий: при наличности некоторого единообразия в психо-физическом типе, они могут порождать одинаковые результаты у народов, не имеющих одного и того же происхождения, но поставленных в одинаковые условия существования; причиной сходства в проявлениях их культуры, особенно наиболее элементарных, историк часто признает то обстоятельство, что одни и те же условия и потребности жизни приводят в разных пунктах земного

шара и в разное время, к одинаковым результатам. Влиянием сход ных условий он объясняет, например, что разные народы независи мо друг от друга стали употреблять огонь, лук и стрелы, мельницы и т. п., стали приручать собак и лошадей и т. п., стали вырабатывать сходные формы семейной жизни, правовых учреждений и т. п.

В других случаях историк объясняет сходство сравниваемых им фактов зависимостью, в какой один из них находится от другого: сходство между учреждениями, например, может быть результатом заимствования. Такое заимствование, конечно, может совершиться в различных формах: в основе его лежит процесс подражания или установившемуся обычаю, или новому изобретению (мода). Выходцы из метрополии, например, могут переносить учреждения своей страны в ее колонии и вообще в другие местности: англичане воспроизвели в Ирландии, бывшей колонии Англии, весь механизм английской правительственной системы; крестоносцы[580] водворили феодальную систему в завоеванных ими областях Малой Азии и т. п. Заимствование может принимать и форму подражания — моды; в виде примера можно указать хотя бы на распространение всевозможных изобретений, начиная с важнейших и кончая пустыми банальностями, положим, на рецепцию римского права в средневековой Европе[581] или английского парламентского устройства в конституциях других стран; или на принятии того или другого модного фасона шляпы или платья и т. п. С таких разнообразных точек зрения историк и пытается объяснить причину сходства сравниваемых им фактов*.

Само собою разумеется, что историку не всегда легко определить, какими именно причинами он может объяснить себе сходство между сравниваемыми объектами. Далеко не всегда, например, можно решить, вызвано ли сходство между двумя относительно элементарными проявлениями культуры общностью происхождения или условий жизни тех социальных групп, среди которых они наблюдаются, или путем заимствования; разного рода изобретения: слова, сказки, мифы или предметы техники, некоторые обряды и обычаи и т. п. распространяются иногда такими путями, которые очень трудно заметить и выследить, и получают такое широкое распространение, что не всегда возможно установить тот очаг культуры, из которого они стали исходить. В некоторых случаях такая зависимость чередуется: социальная группа В заимствует, положим, какой-либо принцип у социальной группы А; но сама социальная группа В выводит из заимствованного ею принципа дальнейшие последствия, которые в свою очередь служат объектом для заимствования со стороны социальной группы А; последняя таким образом сама подражает социальной группе В. Соотношение подобного рода можно было бы, пожалуй, установить в некоторых случаях между французским «Code civil»[582] и теми иностранными законодательствами (балтийским, немецким, швейцарским), на которые он оказал влияние, но из приложения которых сами французы, вероятно, кое-что позаимствовали.

Вместе с тем следует заметить, что установление сходства между фактами с этиологической точки зрения, однако, значительно суживает самые пределы сравнения: плодотворным оказывается лишь сравнение, обращенное на факты, между которыми можно предполагать некоторую общность, в действительности существующую: историк, пользующийся сравнительным методом, прежде всего употребляет его для того, чтобы наметить те большие группы фактов, в пределах которых тот же метод получает дальнейшее применение. При сравнительном изучении правовых норм, например, он выясняет, в каких пределах сравнение их будет производиться. С такой точки зрения историк права пытается классифицировать обычаи или законодательства различных народов, сводя их к малому числу семейств или групп, из которых каждое представляет систему особого права; он знакомится с историческим образованием, с общим настроением и отличительными чертами каждой из этих систем. Число их может быть различно, смотря по тому, принимать ли во внимание обычаи и учреждения в первобытных обществах или ограничиваться более развитыми цивилизациями. В последнем случае историк права наметит, положим, кроме римского и канонического права, по крайней мере, еще следующие 5 групп: латинскую, под которой можно подразумевать Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Румынию и латинские республики центральной и южной Америки; Германскую, важную ветвь которой составляют Скандинавские народы, к которой нужно причислить Австрию, Цислейтанию[583] и даже Венгрию, хотя последняя представляет совершенно иную расу; группу англосаксонскую, в которую входит Англия, Соед. Штаты и колонии, где

* *E. Freeman,* Comporative politic. 1873 (есть русский перев). *G. Tarde,* Les Lois de l'imitation. 2-de ed., Par., 1895 (есть русск. перев.)

говорят на английском языке, и, наконец, славянскую группу, и мусульманское право, которое составляет большую оригинальную систему*. Пользуясь подобного рода группировкой, историк делает дальнейшее применение сравнительного метода к изучению каждой из таких групп.

Само собою разумеется, что при изучении причин сходства историк обращает внимание и на относительное значение их: одинаковые условия жизни вообще могут иметь более постоянное значение, чем общность происхождения или заимствования; общность происхождения также может иметь более продолжительное действие, чем заимствование (ср., например, сходство политических учреждений в странах, заселенных англо-саксонским населением, и сходство мод при европейских дворах XVIII в., порожденное подражанием французскому двору).

Впрочем, такие выводы могут быть и ошибочными: глубоко укоренившиеся привычки, общие весьма значительным социальным группам, могут объясняться подражанием, например, употребление данного языка и т. п.

С указанной точки зрения, однако, историк уже сравнивает факты, имея в виду их значение, т. е. сравнивает их по их значению; но последнее зависит от того положения, какое факт занимает в данной системе культуры или в данной эволюционной серии; значит, историк естественно переходит к сравнению тех состояний культуры или тех серий, в которых сравниваемые факты занимают известное положение.

В самом деле, имея в виду некоторое единство или согласованность элементов всякого состояния культуры, историк обыкновенно должен сравнивать не факт, выхваченный из одной группы, с фактом, выхваченным из другой, но факт в его значении для той группы, к которой он принадлежит, с другим фактом в его значении для другой группы, к которой он также принадлежит, и лишь с такой точки зрения устанавливает сходство (или различие) между обоими фактами; тогда и сравнение будет производиться скорее между обеими группами в той мере, в какой они представлены данными фактами, чем между последними, отдельно взятыми. Ученые фольклористы, например, приходят к заключению, что при сравнительном изучении произведений народной словесности, положим, пословиц, нужно сравнивать группу с группой, а не отдельную пословицу с отдельной пословицей; в противном случае сравнение может породить самые крупные недоразумения. Историки-юристы также рекомендуют сравнивать два учреждения, лишь вставляя каждое в те реальные условия социальной жизни, в связи с которыми они и получают свой настоящий смысл и т. д.

Все более углубляясь в сравнительное изучение исторических фактов, историк замечает, однако, что значение их меняется и в зависимости от того положения, какое они занимают в соответствующих эволюционных сериях. Если, например, при исследовании крепостного права на западе и на востоке Европы историк будет иметь в виду, что на западе оно стало исчезать в то время, когда на востоке оно начало развиваться, то и сходству между двумя состояниями, взятыми из таких серий, он в сущности будет придавать далеко не одинаковую ценность — смотря по тому, будет ли он усматривать его в том значении, какое каждое из них имело в соответствующей эволюции или нет, — что обережет исследователя и от проведения дальнейших поспешных заключений по аналогии*.

Таким образом, сравнительный метод постепенно приспособляется к целям собственно исторического знания и все более принимает во внимание не только сходство, но и различие изучаемых объектов. Все более приближаясь к историческому методу, он получает и более широкое применение в области исторических построений.

Во всяком случае, сравнительный метод получает значение для исторической науки прежде всего в том отношении, что благодаря ему историк может выяснить качественное сходство между интересующими его объектами: изучая свойства тех или других исторических явлений через указание на сходство или различие между ними, он подчеркивает общечеловеческие их черты или их особенности. При помощи сравнительного метода он, значит, получает возможность установить общее или частное значение исторических фактов: он признает одни из них общими многим народам, но не характер-

* *A. Esmein*, Rapport etc., Bulletin de Legislation comparée, 1899–1900, v. 29, p. 379 и др.

* Монтескье, например, по мнению Полокка, делал ошибку подобного рода: он забывал, что «учреждения», которые присущи различным ступеням культуры, несоизмеримы в научном отношении.

ными для местной культуры; другие, напротив, характерными для по следней. Многие сказания, например, известные из местных памят ников народной словесности, положим, английской, оказываются близкими к индийским и, следовательно, не могут быть признаны произведениями соответственно английского народного творчества; или возьмем другой пример: сравнительные изыскания показали, что общинное землевладение свойственно многим народам, поставлен ным в известные условия существования и стоящим на известной ступени культуры, — славянам, немцам, индийцам и др.; тогда утверж дение, что оно будто бы представляет национальную особенность славянского племени, пало само собою и т. п.

Сравнительный метод имеет также большое значение для интерпретации исторических фактов. Ввиду того, что явление, исходящее из общего корня, может в разной степени переживать у разных социальных групп, сохраняться в одной из них в большей мере, в другой — меньшей, или оставаться в одной из них с чертами, которые утратились в другой, сравнение таких остатков может привести к объяснению того из них, который сам по себе уже оказывается мало понятным для позднейшего наблюдателя: некоторые темные и спутанные формулы ритуала, которые, например, имеются в сутрах (sutras)[584], получают свое истолкование при сравнении их с сохранившимися еще в настоящее время поверьями у немцев; индийский обряд, соблюдаемый при сооружении жертвенника огня (adhvaryu проделывает отверстие в кучке земли, образуемой муравейником, и рассматривает сквозь нее глину, из которой жертвенник сооружается), объясняется, если сопоставить его с немецким поверием, что человек при помощи кротовины может узнавать ведьм; значит, можно думать, что и в индийском обряде преследуется та же цель: рассматривая материал, служащий для сооружения алтаря, можно оградить святое дело от влияния злых сил.

Далее, при помощи сравнительного метода ученый получает также возможность построять типы изучаемых им явлений. С социологической точки зрения он таким образом приходит, например, к конструкции разнообразных типов социального общения, положим, семьи, товарищества, сословия, государства и каждый из них, в свою очередь, расчленяет на подтипы, положим, типы семьи: первобытной (временного сожительства), полигинической и полиандрической, моногамической[585] и т. п.; он может таким же образом построять разные типы «состояний культуры» или типы эволюций и т. п.

Наконец, сравнительный метод может выполнять еще одну роль: в естествознании он служит для того, чтобы после опытных наблюдений переносить добытые обобщения на другие явления, аналогичные с теми, которые уже подвергнуты были наблюдению, или утверждать обратное касательно явлений, противоположных ранее исследованным. В обществоведении сравнительный метод выполняет ту же роль применительно к эмпирическим обобщениям. Историк пользуется этим приемом, например, в тех случаях, когда он проводит аналогию между жизнью диких (современных нам) и жизнью доисторических народов. Такая аналогия частью опирается на известный в естествознании закон о прохождении в антогенезисе[586] в сокращенном виде основных стадий филогенезиса[587], частью на сравнительном изучении эмпирических данных относительно сходства между дикарем и ребенком, и сходства между «доисторическими древностями» и внешним бытом современных дикарей. В самом деле, исходя из положения, что отдельный человек в сокращенном виде проходит (в начальных стадиях эмбрионального своего развития) основные стадии развития вида и перенося такое положение в область сравнительного изучения начальных стадий жизни ребенка (даже в цивилизованном обществе) с жизнью дикаря (напр., в отношении развития речи, привычек, верований, игр, обычаев и т. п.) ученый получает основание, хотя и с большой осторожностью, усматривать в жизни современного дикаря начальные стадии развития человеческой культуры. Такое положение в свою очередь находит подтверждение и в сходстве между остатками доисторической культуры и внешним бытом современных дикарей; с указанной точки зрения историк получает некоторое основание объяснять остатки доисторической культуры действием факторов, аналогичных с теми, какими он объясняет и внешний быт современных дикарей, в том числе и такими состояниями сознания, о которых он заключает на основании наблюдений над современными дикарями (напр., анимизм[588] и т. п.).

Тем не менее собственно с исторической точки зрения (в идиографическом смысле) историк не может удовлетвориться сравнительным методом, поскольку он преимущественно устанавливает сходство между изучаемыми объектами: понимаемый в таком смысле

сравнительный метод еще не дает возможности историку установить ценность данного объекта и определить историческое значение данной индивидуальности (группы, личности, события) в той мере, в какой оно зависит именно от индивидуальных ее особенностей.

Нельзя не заметить также, что с точки зрения единства сознания каждой отдельной индивидуальности и в особенности личности трудно вырывать из него отдельные состояния для того, чтобы сопоставить каждое из них с таким же насильственно добытым состоянием другого сознания. А между тем понятие о таком единстве предполагается в понятии о действии субъекта и в понятии об историческом факте. Историку, значит, приходится устанавливать сходство между целыми системами или сложнейшими комплексами состояний или же между чисто внешними действиями, что придает и результатам его сравнения довольно проблематичный характер; суждения его получают следующую форму: если можно рассматривать сравниваемые объекты в изолированном виде, то они будут сходны в таком-то отношении.

Ввиду сложности изучаемых им объектов, теряющих при разложении их на составные элементы свой исторический характер, историк принужден пользоваться сравнительным методом, прямо прилагая его к таким объектам. Между тем общность и достоверность результатов, добываемых сравнительным методом, в сущности убывает в зависимости от возрастающей сложности сравниваемых явлений; подобного рода выводы, например, более достоверны в языкознании, чем в мифологии; более надежны в мифологии, чем в истории древнейшей культуры (социологии), и еще менее верны в области сравнительного изучения политических учреждений.

Следует заметить также, что сравниваемые явления часто обнаруживают мимолетное сходство, довольно быстро сменяющееся индивидуализацией. Случаи подобного рода особенно часто приходится наблюдать в заимствованиях. В самом подражании, за исключением разве простейших случаев инстинктивного воспроизведения чужих действий, подражающий уже обнаруживает творчество, под влиянием которого заимствуемая идея видоизменяется (ср., например, судьбу французских революционных идей в других европейских государствах). То же можно наблюдать даже в истории учреждений, закрепленных в какой-либо форме: заимствуемая форма заполняется далеко не всегда сходным содержанием. Суд присяжных, например, сложившийся в Англии, мало-помалу распространился по всему цивилизованному миру; он перестал быть принадлежностью какой-либо одной европейской нации, но, принятый всеми ими, он у каждой из них получает особую окраску. Мимолетность такого сходства бывает еще более заметной в истории политических учреждений: система американских учреждений, первоначально заимствованная у англичан, например, теперь существенно отличается от английской; испанские колонии, свергнувши господство своей метрополии, стали вводить у себя учреждения северо-американских штатов, но вскоре значительно уклонились от их духа, иногда даже в сторону своего рода диктатуры и т. п.*

Вместе с тем строго научное применение сравнительного метода часто сопряжено со значительными практическими затруднениями: сравнивать между собою два объекта можно, в сущности, лишь хорошо зная каждый из них в отдельности; но если припомнить, что хорошо знать каждый из сравниваемых объектов в отдельности, значит, знать, какие из его признаков считать главными, а какие второстепенными, и иметь понятие о том положении, какое каждый из них соответственно занимает в данном систематическом или эволюционном целом, то и задача сравнения их между собою окажется очень сложною, далеко не всегда осуществимою на практике. При таких условиях настойчивое пользование сравнительным методом, во что бы то ни стало, конечно, может привести к ложным результатам: применение его порождает установление обманчивого сходства или произвольного различия между сравниваемыми фактами.

Итак, историк не может довольствоваться сравнительным методом в смысле установления сходства: если познавательная его цель состоит в изучении исторического значения индивидуального, то он должен пользоваться сравнительным методом для установления различия и в качестве главной, а не только подчиненной познавательной цели, не для одной только проверки своих обобщений; но в таком смысле сравнительный метод входит в состав того метода, который можно назвать историческим методом группировки исторических фактов.

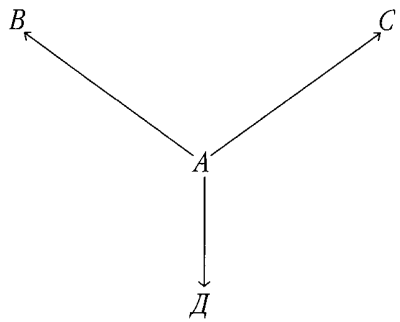
---

* *M. Deslandres*, pp. 192–194.

Историческая группировка исторических фактов производится по их историческому значению: последнее и служит основным принципом такой группировки*.

В самом деле, положим, что историк имеет дело с фактами: А, В, С, Д, ... если он может сказать, что А в отношении к некоей абсолютной или относительной ценности имеет значение и что $B = F(A_{1x})$, $C = F(A_{1y})$, $D = F(A_{1z})$ ... , где x, y, z — особые условия возникновения фактов В, С, Д, ... и если он не сможет сделать аналогичного заключения относительно В, С, Д ... , то очевидно, в Σ (А, В, С, Д, ...) он припишет главное значение факту [А][589].

Если Σ (А, В, С, Д, ...) есть систематическое целое, то факт А представится ему как бы его центром тяжести, т. е. центральным фактом, в отношении к которому остальные факты располагаются хотя бы в виде схемы:



Если Σ (А, В, С, Д, ...) есть эволюционное целое, то факт А представится историку как бы характеристикой данной эволюционной серии, в отношении к которой он будет располагать остальные моменты той же серии, хотя в виде следующего условного обозначения: Σ (А, В, С, Д, ...) = A1+A2B+A3B2C+ ... ... , где серия будет расположена прежде всего по значениям А, что и придаст реальное единство всей группе.

Таким образом, располагая факты по историческому их значению, историк будет, конечно, прежде всего иметь в виду их аксиологическое значение, определяемое путем отнесения их к абсолютной или относительной, общепризнанной ценности.

* См. об историческом значении фактов в ч. I, отд. III, гл. 2, Парагр. 5 в.

С такой точки зрения уже можно получить некоторую группировку фактов по убывающему их значению, но историческое значение факта не исчерпывается его всеобщим значением; надо принимать во внимание и его действенность, численность и длительность его последствий.

При изучении такого значения интересующего его факта, историк пользуется, конечно, топографическим и хронологическим принципами группировки фактов, в среде которых влияние данного факта обнаруживается, для того, чтобы определить его сферу и в пределах последней расположить остальные факты по степени убывающей их зависимости от центрального факта.

С такой точки зрения историк прилагает и вышеприведенные принципы социологической группировки исторических фактов: группа будет представляться ему отличной от других совокупностью фактов, которые объединены влиянием одного из них на остальные; а в пределах самой группы, он располагает их по убывающему влиянию на них главного факта. Следовательно, историк может пользоваться для подобного рода построений и статистическим, и сравнительным методом, но в подчиненном их значении, комбинируя их с собственно историческим методом и употребляя их главным образом для установления различия, а не сходства изучаемых фактов.

В том случае, например, если историк может пользоваться средним, он также может указывать и на те индивидуальные уклонения от него, которые с точки зрения исторической действительности, требуют объяснения и именно исторического объяснения. Резкие уклонения в сторону от данного психофизического типа, положим «среднего человека», в данное время дают основание предполагать в таком индивидууме или гения, или идиота и вызывают на историческое объяснение самого факта, его существования и его последствий. Построить тип статистическим путем, конечно, далеко не всегда возможно; но такую же операцию можно производить и с точки зрения уклонений от ограниченного числа признаков, часть которых оказывается общей всей группе и т. п.; тогда можно получить отличные друг от друга подгруппы, к которым еще легче применить вышеуказанные способы наблюдения и т. д.

Сравнительный метод может также служить и для установления различия между сравниваемыми объектами, следовательно, для того, чтобы выяснить местные и временные или индивидуальные особенности данной индивидуальности.

Таким путем можно устанавливать или положительные, или отрицательные особенности интересующего нас объекта, положим некоего объекта S_2.

Сравнивая, например, комплексы признаков, положим А, В, С, Д и А, С, Д, Е, обнаруживающихся в двух объектах S_1 и S_2, и замечая, что в S_2 нет В, ученый констатирует отсутствие в нем явления В; чем важнее значение В, тем, разумеется, в большей мере отсутствие его в S_2 требует объяснения; а такое объяснение приводит к рассмотрению тех особенностей в жизни или развитии S_2, влиянием которых объясняется наличность комплекса АСДЕ, а не АВСД и т. п. С такой именно точки зрения можно пользоваться сравнительным методом для того, чтобы, установив различие между S_1 и S_2, характеризовать S_2, т. е. для выяснения его индивидуальных особенностей, придающих ему то, а не иное значение в историческом процессе. Отсутствие в S_2 признака В и будет отрицательною особенностью S_2 сравнительно с S_1.

Тот же способ сравнения может привести, однако, и к установлению другого различия между S_1 и S_2; в S_2 можно отметить наличность признака Д, отсутствующего в S_1, интересуясь в данном случае объектом S_2, ученый получает таким образом основание характеризовать S_2 наличностью признака Д, т. е. положительной особенностью S_2, также требующей своего объяснения и, в зависимости от степени ее важности, получающей большее или меньшее значение для характеристики S_2.

Следует заметить, что сравнение производится не между признаками S_1 и S_2, порознь взятыми, а между системами их признаков: при сравнении каждый из них может оказаться со своими особенностями, отрицательными или положительными; например Σ_1 (А, В, С, ...) уже отличается от Σ_2 (А, С, Д, ...) тем, что в Σ_1 А комбинируется с В, а в Σ_2 А комбинируется прямо с С и т. п., не говоря о случаях, в которых, положим, из наличности Σ_1 (А, В, С, Д...) и Σ_2 (А, Е, С, Д ...) отличие в самом размещении их элементов уже ярко бросается в глаза и т. п.

В вышеприведенной схеме под S можно разуметь, конечно, или целую социальную группу, или отдельного индивидуума, или событие, значит, и характеристика его может распространяться на более или менее обширную группу, или на отдельную личность, или на какое-либо событие и т. п.

Таким образом, пользуясь сравнительным методом, историк выясняет характерные особенности изучаемой им индивидуальности

(коллективной или единичной). При сравнительном изучении, например, двух систем законодательства, он яснее представит себе характерные особенности той из них, которой он специально интересуется, положим, характерные особенности национального права: он точнее установит, какие именно из них отличают его от других. Сравнительный метод дает также возможность характеризовать изучаемый объект и в его развитии: благодаря такому методу историк следит за постепенным обособлением или индивидуализацией данного развития, за процессом образования данной культуры, например, античной греческой, т. е. тех именно ее характерных особенностей, благодаря которым она получила большое историческое значение, или за процессом образования данной национальности или системы национального права и т. п.

В вышесказанных случаях, историческая группировка не подводит, однако, частные факты под одно общее понятие, но стремится установить своего рода иерархию фактов, в возможно большей степени сохраняя индивидуальное значение каждого из них в данном систематическом или эволюционном целом.

В своих построениях историки, в сущности, и прибегают обыкновенно к такой группировке исторических фактов, избирая, например, центральным фактом в истории Германии XVI века факт реформации[590] (т. е. прежде всего факт воздействия Лютера во имя абсолютной религиозно-этической ценности на современное ему общество), историк располагает вокруг него многие другие факты, например, образование религиозных сект, религиозные войны, национализацию церкви, усиление светской власти, возвышение Пруссии и т. п.; или признавая характеристикой политической эволюции Франции старого режима — усиление королевской власти, историк в отношении к нему ставит и многие другие факты, положим: борьбу короля с феодальным строем и его падение, развитие централизации, образование галликанской церкви, систему просвещенного абсолютизма и т. п.

Вообще в построениях подобного рода историк пользуется весьма разнообразными методами; главный из них исторический, но он не исключает и остальных, он только дает возможность комбинировать их в одну систему научных операций, направленных к достижению познавательной цели, преследуемой собственно историческим знанием.

Такие принципы и приемы построения уже находятся, однако, в тесной связи с новыми задачами исторической науки, а именно, с конструкциею систематического или эволюционного целого или построением культуры и исторических рядов.

[Глава] V. Построение состояния культуры

Понятие о некоем систематическом целом, конечно, лежит в основе того понятия, которое называется состоянием культуры (Etat, Zustand); ее элементы представляются историку частями, между собой связанными и образующими единое целое; значит, все вышесказанное относительно понятия о систематическом целом, можно относить и к понятию о состоянии культуры*: оно также служит для объединения нашего знания о совокупности частей, каждая из которых входит в состав данного культурного состояния, но не утрачивает в нем своего индивидуального значения.

Понятие о состоянии культуры имеет, однако, свое особое содержание: в сущности под состоянием культуры следует разуметь некую систему ценностей, реализованную в данном обществе, а не просто совокупность вещей, механически связанных между собою. Построение такого понятия, значит, требует еще дополнительных принципов и методов: при построении систематического целого, образуемого данным состоянием культуры, историку предстоит установить ту точку зрения, с которой он считает себя вправе утверждать ее реальное единство, без чего он, конечно, не может рассуждать о каком-либо «состоянии культуры» и выяснять ее содержание.

Принцип, на основании которого историк рассуждает о реальном, т. е. объективно-данном единстве некоего состояния культуры, сводится к понятию о том самом субъекте, который объединяет в своем познании данную систему ценностей, т. е. к понятию о единстве его сознания. В самом деле, понятие о субъекте, которому данное состояние культуры приписывается, лежит в основе понятия об ее состоянии: без субъекта, испытывающего последнее, нельзя представить себе реальное единство такого состояния; субъект, переживающий данное состояние культуры, характеризуется именно единством

* См. выше ч. I, гл. III, парагр. 5.

сознания, благодаря которому он объединяет в одно целое некую совокупность своих переживаний; значит, историку надлежит разыскивать такое единство с той точки зрения, с какой оно сознается субъектом, испытывающим данное состояние культуры в совокупности своих переживаний.

Вышеприведенное рассуждение можно применить ко всякого рода субъектам, значит, и к субъекту, понимаемому в коллективном смысле, т. е. в смысле социальной группы,; но в той мере, в какой она характеризуется единством сознания; она придает единство разрозненным элементам культуры и образует из них систему ценностей. Сознание такого единства, испытываемого данной социальной группой между переживаемыми ею состояниями, обнаруживается в общепризнанности той аксиологической точки зрения, с которой она сама утверждает единство между ними и сознательно устанавливает соподчиненность данных элементов культуры, обуславливающих их взаимозависимость или их взаимодействие, а значит, и тот, а не иной их характер.

Следовательно, для построения изучаемого им состояния культуры историк должен выяснить, в чем такое единство обнаруживается, т. е. установить ту общепризнанную аксиологическую точку зрения, с которой данный субъект (коллективный или единичный) стремится образовать некоторую систему культуры, и ею воспользоваться для того, чтобы в центр системы поместить те ее элементы, которые с такой именно точки зрения и получают наибольшее значение, а остальные разместить в их отношении к главным. Если, например, историк имеет дело с обществом, которое придает наибольшее значении религии и, значит, с религиозной точки зрения ценит (в положительном или отрицательном смысле) остальные элементы культуры, то он и попытается при ее построении разместить в отношении к религии и остальные элементы культуры — науку, искусство, технику, учреждения и т. п.

Такая объективно-аксиологическая группировка получает, однако, корректив в собственно исторической оценке реального значения принятых во внимание элементов: центральное историческое значение историк придает только тому из них, который действительно оказывает наибольшее влияние на данную систему и играет в ней наиболее активную роль: если, например, религия высоко ценится отдельными индивидуумами данной группы, но фак-

тически не господствует над остальными элементами ее культуры, историк или попытается выяснить, каков принцип объединения между старыми и новыми ценностями, с точки зрения которых нужно конструировать данную культуру, или выберет одну из новых, т. е. ту, с точки зрения которой данная социальная группа выработала и испытывает данное состояние культуры. Впрочем, разногласие между критерием отнесения к ценности и реальным влиянием ценностей, фактически господствующих в данной культуре, мыслимо только при некоторой разъединенности сознания данного субъекта: в той мере, в какой историк может приписывать ему единство, естественно принимать согласованность данного критерия с историческим значением соответствующих элементов культуры; но поскольку в коллективном субъекте такое единство не всегда действительно существует, и даже может временно сменяться некоторой разъединенностью сознания, вышеуказанное разногласие может обнаружиться.

Принцип единства сознания социальной группы, тесно связанный с наличностью того, а не иного объективно данного критерия отнесения элементов культуры к известной ценности, обуславливает и понятие о «консенсусе» или о согласованности социальных явлений, привходящих в состав данного состояния культуры (consensus, zusammenhang, solidarité и т. п.); на основании главного критерия субъект устанавливает между ними некоторое соответствие, проистекающее или от того, что все они находятся под влиянием одного общего начала, или от того, что они взаимно влияют друг на друга. Следовательно, под условием вышеуказанного понятия о единстве сознания субъекта культуры, историк пользуется и понятием о согласованности ее элементов, тесно связанным и с понятием о причинно-следственном отношении, для построения интересующего его состояния культуры. В силу принципа согласованности данное целое представляется ему некоей совокупностью частей, влияющих друг на друга и обнаруживающих свое единство в общем действии; ни одна из частей целого не может быть подвергнута существенному изменению без того, чтобы оно не отразилось на состоянии всех остальных. В эпоху «Возрождения», например, общество увлекалось античной жизнью: с такой точки зрения между разнородными элементами его культуры обнаруживалась

известная согласованность, вызванная, однако, и влиянием отдельных элементов культуры друг на друга: литература оказывала известное действие на верования, в то время сильно окрашенные языческой культурой даже у представителей крестьянской[591] церкви, языческое мировоззрение, в свою очередь, воздействовало на литературу и т. д.

Историки культуры, правда, иногда слишком мало сознают предпосылки подобного рода и полагают, что можно характеризовать состояние культуры «маленькими характерными фактами»; но в таких случаях они забывают установить тот именно критерий, с точки зрения которого сами они, однако, признают известные факты «характерными», т. е. «имеющими значение», и вместе с тем не опираясь на определенный критерий, они легко придают общее значение таким «маленьким фактам», которые имеют лишь весьма ограниченное местное или временное значение.

Таким образом обосновавши ту точку зрения, с которой он устанавливает некое единство культуры данной социальной группы, историк пытается выяснить и ее содержание. Самым общим ее содержанием можно признать наличность эмпирически данной социальной группы, испытывающей изучаемое состояние культуры, и реальной системы воздействий между членами этой группы.

Само собою разумеется, что для того, чтобы рассуждать о единстве сознания данного эмпирического субъекта, историк должен выяснить, кто именно действительно обладает таким единством, насколько можно пренебречь его колебаниями, разъединенностью сознания данной социальной группы и т. п. Вместе с тем историк стремится установить, с возможно большею точностью, те пределы пространства и времени, в которых он считает себя вправе рассматривать данное состояние культуры в смысле систематического, а не эволюционного целого; в какой мере он считает возможным в известных пределах пространства и времени пренебречь более мелкими местными или временными различиями. В каждом отдельном конкретном случае историк может дать приблизительно точный ответ на такой вопрос лишь после целого ряда предварительных детальных исследований.

Всякую социальную группу, переживающую состояние культуры (см. выше), можно в широком смысле называть обществом; но под

обществом чаще всего разумеют сложную группу индивидуумов, находящихся в организованном взаимодействии между собою. В самом деле, такая группа имеет некоторую организацию, ибо состоит из нескольких подгрупп, отличающихся друг от друга, т. е. сословий, классов и т. п.; она обладает некоторыми привычками или подчиняется известным правилам, в силу которых между ее членами устанавливается то, а не иное распределение средств к существованию и удовлетворению своих потребностей, занятий, отправлений и проч.; она функционирует, т. е. каждый из ее членов совершает, в силу означенных привычек или правил, соответствующие действия, через посредство которых он вступает в реальные отношения или во взаимодействие с другими. Характер ее также подлежит определению: историк пытается выяснить, например, какова именно взаимозависимость элементов «античной общины» в отличие от современной, или элементов теократического государства в отличие от демократического и т. п. В частности, при изучении, положим, «политических учреждений» историк, конечно, придерживается и специально приноровленых к данному предмету методов изысканий: он стремится, например, установить, с какого рода учреждениями он имеет дело: бытовыми или правовыми формами политической жизни, обрядовыми или чисто политическими учреждениями, основанными на общепризнанной государственной власти и сопровождаемыми соответствующими санкциями и т. п.; он изучает формы властвования, распределение политических функций между известными органами и характер учреждений, их личный состав, их отправления и реальную сферу их деятельности, обнаруживающейся в данных результатах, степень соответствия между ее правилами и практикой (произвольное толкование закона, степень согласованности в функционировании учреждений, превышение или бездействие власти, нарушение закона, произвол должностных лиц и т. п.).

В построении данного состояния культуры историк еще не находит, однако, удовлетворения главной задачи исторического построения: ему предстоит объяснить, каким образом такое состояние возникло в данном месте и в данное время; но для такого объяснения он должен обратиться к изучению генезиса того состояния культуры, которым он интересуется, что возможно лишь по изучении тех эволюционных серий, в результате которых получилось такое, а не иное состояние культуры.

[Глава] VI. Построение исторических рядов

Понятие об эволюционном целом и о развитии лежит в основе построения исторических серий; историк пользуется этими понятиями для объяснения того, каким образом произошло то, что имеет историческое значение; он представляет себе каждый ряд в виде эволюционного целого, каждое звено ряда своего рода частью такого целого*.

Вообще понятие исторической серии может служить для объединения нашего знания об исторических фактах, сменяющих друг друга во времени; но такое объединяющее понятие все же нельзя признать общим понятием: оно есть понятие о некоем эволюционном целом, не поглощающее понятие о его частях, т. е. о звеньях данной эволюционной цепи; каждая из таких частей не исчезает в целом, а сохраняет свое определяющееся в нем индивидуальное значение.

Можно выяснить ту точку зрения, с которой такое понятие построяется, исходя из общего понятия о ряде и постепенно осложняя его такими признаками, которые нужны для того, чтобы признать его исторический характер.

Понятие серии или ряда основано прежде всего на понятии о некоей последовательности: под рядами я разумею известный порядок, в котором состояния моего сознания следуют друг за другом во времени; если я приписываю ему реальное значение, то и последовательность во времени я понимаю в том смысле, что вещи или факты, представляющиеся мне, следуют друг за другом во времени; такая последовательность мыслится мною в виде непрерывности: члены или факты ряда я мыслю непрерывно следующими друг за другом, примыкающими друг к другу.

---

* См. выше ч. I, гл. III, пар. 5. Историки до сих пор очень мало рассуждали о понятии: «исторический ряд»; Ксенополь больше других обратил на него внимания; см. *A. Xenopol*, La théorie de l'histoire, 2 ed., ch. III и ch. XI; но едва ли можно согласиться с основными мнениями автора: он полагает, что идея ценности совершенно не нужна историку, что он заменяет ее идеей «исторической серии» и что «сущностью и душою» последней должно признать каузальную связь (pp. 124, 398 и др.); но сам автор не устанавливает принципы или законы образования рядов, их направления и т. п. и часто указывает на взаимозависимость сосуществующих фактов, а историческими сериями считает даже такие последовательности, [в] которых нельзя усмотреть необходимой и очевидной каузальной связи между фактами (p. 413).

Понятие серии или ряда включает, однако, и понятие о некотором изменении: построение одного и того же во времени не представляется нам в виде ряда; лишь отличающиеся друг от друга факты могут образовывать ряд, но такое отличие возможно только при некоем изменении, которое я замечаю, апперцепируя один факт вслед за другим. Как бы оно ни было мало между смежными фактами, всякий ряд фактов представляется мне в виде некоей последовательности изменений; но и такого понятия недостаточно для образования понятия ряда. Строго говоря, ряд есть такая последовательность изменений, которая может быть возведена к какой-либо законосообразности: она уже обнаруживается в постоянстве того направления, в котором изменения следуют друг за другом: без знания некоей законосообразности, в каком бы смысле ее ни понимать, нельзя построить ряда. Значит, под рядом можно разуметь законосообразность изменений в данной последовательности.

В науках о действительности, однако, ряд представляется ученому еще действительно существующим, что значительно осложняет самое понятие о нем: в сущности, историк разумеет под рядом фактов такую последовательность их, непрерывность которой он построяет в причинно-следственном смысле.

Такую связь можно мыслить различно: или ставя в непосредственную зависимость каждое последующее звено данной цепи от предшествующего; или выясняя зависимость последующего звена данной цепи от некоей совокупности предшествующих звеньев той же цепи. Историк пользуется последним понятием: оно всего более подходит и к понятию об эмпирическом субъекте, которому он приписывает ряд переживаемых им продуктов или состояний культуры: он представляет себе такой субъект в смысле некоего относительного единства предшествующих состояний, вызывающего, при наличии благоприятных условий, последующее, что, разумеется, нисколько не исключает внимательного изучения зависимости последующего от ближайшего предшествующего звена той же цепи фактов.

Включая в свое построение ряда исторических фактов понятие об эмпирически данном субъекте, в отношении к которому факты и ставятся, историк должен, однако, включить в него и наиболее характерный для него момент: единство сознания самого субъекта; что в свою очередь приводит к понятию о единстве цели его действий; но его целеполагание получает наиболее характерное свое значение в том

случае, если сама цель представляется действующему субъекту, как должное; значит, при построении ряда фактов в смысле ряда воздействий индивидуальности на то целое, частью которого она является, историк не может обойтись без объективно-телеологической, преимущественно деонтологической[592] точки зрения. С такой точки зрения звенья данного ряда представляются ему как бы средствами для достижения той цели, которую субъект развития ставит себе, и самый ряд получает некоторую законосообразность, поскольку, раз дана известная цель, средства для ее осуществления должны сообразовываться с нею в причинно-следственном смысле слова.

Впрочем, если историк имеет дело с закончившимся рядом или изучает его до известного предела, он иногда может в известной мере приравнивать «цель» его развития к его результату; тогда историк строит самый ряд с точки зрения конечного его результата, который он уже признал имеющим историческое значение и даже называет самую серию по такому результату.

Наконец, основываясь на понятии о значении данной цели или результата, историк судит и о степени прогрессивности или регрессивности данной эволюционной серии или ее частей, смотря по тому, реализуется ли в данном ряде фактов какая-либо абсолютная или относительная общепризнанная ценность, или напротив, она постепенно сходит на нет. С такой точки зрения он может установить пределы изучаемой серии, т. е. исходный и конечный ее момент, и апогей ее развития, т. е. момент наивысшей степени реализации какой-либо ценности в данном ряде: такой реализованный продукт можно назвать результатом развития.

Впрочем, при построении исторического ряда историк не ограничивается, конечно, установлением той точки зрения, с которой он конструирует законосообразное направление развития, для дальнейшего построения он нуждается еще в приемах, состоящих главным образом в том, чтобы выяснить генезис исторического продукта, который на вышеуказанных основаниях он признает ценным, т. е. имеющим историческое значение, и в сущности только тех его особенностей, которым он приписывает такое именно значение. Лишь под условием данного направления развития историк пользуется и генетическим методом построения рядов; но ориентировку развития легче вскрыть серии возможно более однородных фактов; значит, исходя из того продукта, который образовался в результате данного

процесса развития, историк в возможно большей мере мысленно должен расчленить его на однородные серии. В самом деле, изучая последовательность однородных фактов в той мере, в какой из них можно построить исторический ряд, историку легче выяснить то направление, в каком он может построить его с вышеуказанной точки зрения; в таких же сериях он лучше замечает и те перерывы или изменения, которые объясняются в каждой из них или скрещением нескольких рядов (например, влиянием развития этических идей на экономическое развитие), или вторжением в данный процесс какого-либо живого исторического события (напр., влиянием «великого переселения народов»[593] на развитие античной культуры); благодаря изучению серий однородных фактов, он также может в известных пределах следить за постепенным прогрессивным или регрессивным характером развития данного ряда, т. е. квалифицировать его направление или в сторону реализации, или в сторону разрушения некоей ценности, предварительно осуществленной.

Впрочем, собственно генетический метод состоит главным образом в том, чтобы под условием направления, установленного на основании вышеуказанных принципов, исследовать ту именно связь, которая предполагается между звеньями данного ряда, т. е. выяснить процесс его образования, а значит и возникновения того результата или исторического продукта, который интересует историка. С такой точки зрения историк стремится определить тот самый эмпирический субъект, который последовательно испытывает ряд состояний, далее степень зависимости данного звена от предшествующих окружающих условий (генезис и эпигенезис), а также степень зависимости каждого из них вообще от предшествующих и от ближайшего в частности, характер связи между ними и т. п.

При построении исторических рядов историк не может, однако, достигнуть полной его однородности: изучая его генезис с причинно-следственной точки зрения, он должен принимать во внимание не только зависимость каждого последующего звена от предшествующих, но и зависимость от внешних условий развития, от событий, не выводимых из данного ряда и т. п. Следовательно, в собственно исторический ряд историк должен будет включать факты разнородные в той мере, в какой они обусловливали образование звеньев данной серии или сами оказывались такими звеньями, что и придает историко-генетическому методу особый оттенок: он должен принимать во внимание изучение индивидуальной связи между фактами, из которых исторический ряд построяется.

Генетический метод может быть прямым или обратным. Прямой генетический метод состоит в том, что историк ведет свое исследование, начиная с исходного момента развития, и последовательно переходит от него к последующим, пока он не дойдет до интересующего его результата (продукта). Обратный генетический метод характеризуется, напротив, тем, что историк исходит из такого результата или продукта и постепенно переходит от него к предшествующим звеньям исторической серии, с тем чтоб выяснить их зависимость в обратном направлении.

Обратно генетический метод представляет существенные преимущества для исследователя. Прежде всего можно заметить, что результат или исторический продукт, выбранный историком путем отнесения его к какой-либо ценности, сам уже как бы указывает ему то направление, в каком ему нужно строить серию: она должна привести к такому именно результату; историк подыскивает ближайшие его причины, затем причины этих причин и т. д., и значит, гораздо менее рискует уклониться в сторону. Сверх того известно, что эмбриональные стадии развития редко сами по себе обращают внимание исследователя: их трудно заметить, если не иметь в виду, хотя бы предположительно, одного из последующих более значительных моментов изучаемой серии, в отношении к которому они разыскиваются и подвергаются изучению. Ввиду вышеуказанных соображений, историк обыкновенно пользуется обратно-генетическим методом; но степень его приложения может, конечно, быть различной, смотря по тому, какое звено принимать за исходный момент исследования: более близкое к начальному звену всей серии или более отдаленное от него. Правильный выбор такого критического пункта, разумеется, зависящий и от такта историка и от целого ряда предварительных разведок, в значительной мере облегчает ход дальнейшего построения.

Тем не менее и обратно генетический метод далеко не всегда приводит к правильным выводам: пользуясь им бесконтрольно, легко утерять из виду множественность ориентировок развития, характеризующую начальные его стадии и постепенно убывающую на последующих: боковые отрасли главной оси легко могут ускользнуть от внимания исследователя: ввиду корректива к обратному движению

своего исследования от конечного результата к отдаленным звеньям цепи, он должен, по нахождении таковых, избрать их точкой своего отправления и снова пройти тот же путь, осматриваясь по сторонам: нет ли примыкающих к нему еще более важных путей; в последнем случае и главное направление серии в составных своих частях может измениться и результат, из которого ученый исходит, может оказаться побочным. Таким образом можно избегнуть ошибки, довольно распространенной, напр., среди историков литературы: они часто сводят все литературные факты к одной линейной серии; исходя из настоящего, они ищут его корни в предшествующей эпохе и так далее, обращая в каждой эпохе внимание лишь на факты, подготовившие последующие состояния. Историки, изучавшие политическую жизнь, также обнаруживали склонность подобного рода: некоторые из представителей французской школы, напр., пораженные фактом великой французской революции, восходили от нее к предшествующим фактам европейской истории и разыскивали уже в нашествиях варваров начало и отдаленные подготовительные стадии непрерывной серии, закончившейся водворением политического господства буржуазии*. Комбинируя оба генетических метода, обратный и прямой, легче избежать таких ошибок.

Построение исторической серии, достигаемое путем применения генетического метода, заканчивается ее периодизацией.

Если в данном ряде, напр., можно заметить, что одна часть его членов характеризуется постепенным нарастанием энергии, реализующей какую-либо ценность, а другая часть постепенным убыванием такой энергии, то и весь ряд можно (с аксиологической точки зрения) разделить на два периода — прогрессивный и регрессивный. Если в данном ряде некоторые его члены сравнительно резче отличаются от других, чем остальные, или в зависимости от большей интенсивности в них развития или в зависимости от перерыва или колебаний в его направлении и т. п., то историк стремится объяснить их, напр., скрещиванием данного ряда с другим рядом или влиянием на изучаемый ряд какого-либо события, не выводимого из него (влиянием данной личности, какого-либо факта и т. п.); с такой точки зрения он может наметить в изучаемом ряде несколько отличных друг

* *G. Lanson*, Discours à l'assamblée du 22 juillet 1901 de la société d'histoire moderne. Rev. hist. Nov. Dec. 1901, p. 322 (о Тьерри и Гизо).

от друга периодов. Если субъект развития, при наличности известных условий, снова проходит уже ранее пройденные стадии, хотя бы и в осложненном виде, то и такое явление может послужить основанием для установления возвратных периодов развития, конечно, в условном смысле и т. п.

С той же логической точки зрения, с которой понятие о данной серии нисколько не упраздняет понятия о ее частях — звеньях, можно рассуждать, наконец, и о сложной серии, совмещающей в себе несколько подсерий, т. е. представляющейся нам своего рода целым, частями которого оказываются подсерии; можно, например, представить себе развитие какого-либо народа в виде такого сложного ряда, совмещающего в себе несколько сплетающихся между собою нитей, т. е. подсерий экономического, духовного, правового развития и т. п.

[Глава] VII. Построение исторического целого*

Конечная задача исторического синтеза состоит в построении исторического целого; к ее постановке можно подойти с разных точек зрения.

Прежде всего следует заметить, что если основная цель познания состоит в объединении данных нашего опыта, то и историческая

* В трактатах, называемых, в особенности у немцев, «философиями истории», можно найти немало соображений касательно построения исторического целого; но термин «философия истории» употребляется в слишком различных смыслах: и в смысле рассуждений о провиденциальном плане истории человечества (Боссюэт и др.) или о таком же «воспитании» человечества (Лессинг и др.); или в смысле метафизической концепции мирового развития в идеалистическом (Гегель и др.) или в материалистическом духе (Маркс и др.); или в смысле логического или телеологического построения общего плана истории (Конт); в новейшее время под «философией истории» понимают и теории исторического знания вместе с обсуждением «материальных проблем философии истории», т. е. выяснением тех факторов, которыми историческое развитие осуществляется, и его значения (Бернгейм) или «планомерное рассмотрение действительной истории, т. е. рассмотрение ее с точки зрения заранее выбранных руководящей идеи и объединяющего принципа» (Кареев) и т. п.; см. *B. Flint*, Philosophy of history in France and Germany. Edinb. and Lond., 1874; франц-ы *L. Carrau* в 1878 г. в 2-х тт.; *Н. Кареев*, Основные вопросы философии истории. М., 1883 г. 2 тт. (новые издания 1887–1897 гг.) *P. Bart*, Die Philosophie der Geschichte als Sociologie. Pheel., Lpz., 1897 гг. *E. Bernheim*, Lehrbuch Kap. § V 5.

наука должна стремиться к такой же цели: она должна вырабатывать такие понятия, которые могли бы объединять все многообразие эмпирически данной действительности. С номотетической точки зрения такое единство можно получить путем общих понятий; но с идиографической точки зрения его нельзя достигнуть иначе, как построив понятие о таком целом, в котором все разрозненные части действительности находили бы себе каждая свое место. Лишь при помощи такого понятия можно объединить свое знание об исторической действительности; значит, и конечная задача исторического синтеза должна состоять в построении такого понятия.

Далее, понятия о действительности нельзя достигнуть путем изолирования, т. е. отвлекая от нее общие ее черты и отбрасывая все частные особенности, делающие, однако, действительность тем, что она есть: действительность представляется нам в виде единого целого, ибо все мыслимое в виде отдельно существующего мыслится таким образом лишь путем отвлечения. С последней точки зрения только мировое целое, единое и единичное, становится в полной мере действительностью, каждая из частей которой лишь искусственно может быть извлекаема из такого реального единства для научного ее рассмотрения*. Даже в том случае, если ученый принимается за него с обобщающей точки зрения, он не должен забывать, что имеет дело только с частью или частичкою действительности; тем менее возможно пренебрегать подобного рода понятием в научном построении самой действительности, преследуемой историей в идиографическом смысле. Следовательно, историк, научно построяющий действительность, должен исходить из понятия о ней, как об едином целом, которое он изучает в соотношении его частей: он сознает, что лишь под условием такого понятия об историческом целом он будет в состоянии правильно понять отдельно взятые отрывки исторической действительности.

Наконец, если научное построение действительности сводится в сущности к ее объяснению, т. е. к объяснению того, каким образом

* Т. Момзен сказал о Рубино и Нибуре, которых справедливо считают его предшественниками: «основательное исследование каждого отдельного пункта бросает свет на всю древность, сама она, взятая в целом, освещает единичное. Благодаря такому взаимодействию и частное (das detail), и общее (der Begriff) становится понятным»; см. *M. Hartmann*, pp. 13, 154.

произошло то, что действительно было или есть, то и с такой точки зрения понятие о целом становится руководящим: выше уже было указано на то, что научное объяснение действительности стремится ответить на вопрос, почему данный факт случился в данном месте и в данное время; но ввиду общей связности между событиями мировой жизни, ученый мог бы окончательно удовлетвориться, в сущности, лишь если бы ему стало понятно, каким образом мировой процесс привел в данном пункте пространства и времени к данному результату; лишь тогда стало бы вполне понятным, почему данный факт занимает именно то, а не иное положение в таком целом, и почему он получил в нем то, а не иное реальное значение.

Следовательно, уже с вышеуказанных общих точек зрения историк должен позаботиться о построении своего понятия о том целом, в котором он мог бы разместить все отдельные факты: и постоянные, и случайные, и крупные, и мелкие.

Впрочем, историк человечества ограничивает свои задачи: он, в сущности, довольствуется понятием об одной части мирового целого как об относительном целом; историк изучает ту часть мирового целого, которую он характеризует сознанием абсолютных ценностей, объединяющим всех, и в воздействии которой на целое он усматривает характерный момент воздействия такого именно человеческого сознания на универсум; он представляет себе образование великой индивидуальности человечества, реализующей в себе сознание мировым целым его единства и осуществляющей систему абсолютных ценностей в истории. В таком смысле историк может называть изучаемое им относительное целое историческим.

Понятие об историческим целом, установленное выше, имеет свой объем и свое содержание; выяснение их может способствовать более ясному пониманию и самого понятия об историческом целом, и принципов или методов его построения.

Понятие об историческом целом обнимает понятие о систематическом и эволюционном целом. В самом деле, историк не может довольствоваться построением искусственно изолированных целых: чисто систематического и эволюционного, или культурных состояний и исторических рядов, взятых в отдельности. При изучении причин и последствий данного культурного состояния он уже переходит к изучению его эволюции; а при выяснении образования данного исторического ряда он принужден обращать внимание на влияние,

оказываемое на него другими историческими рядами, для чего ему приходится вставлять изучаемый ряд в совокупность остальных; следовательно, каждая из вышеуказанных операций при расширении ее естественно приводит к комбинации ее с другою, а такая комбинация возможна лишь под условием понятия, объемлющего понятие о систематическом целом и понятие об эволюционном целом. Таким понятием и можно признать понятие об историческом целом: в нем понятие об эволюционном целом — главное, но в него естественно включить и понятие об развитии систематического целого, или об историческом ряде культурных состояний.

Перейдем теперь к выяснению реального содержания исторического целого. Историк, конечно, признает таковым историю человечества. Всматриваясь в историю человечества, он замечает все более и более возрастающую взаимозависимость между ее частями: он все менее способен понимать, напр., историю одного народа вне его связи с историей другого народа, историю его культуры вне ее отношений к культурным влияниям других народов и вне ее зависимости от разного рода событий, например, открытий и изобретений, движений народных масс, переселения, реформ, предпринятых данным лицом, сражений и т. п. Такие факты иногда влияют на целую совокупность народов, т. е. на дальнейший ход их истории: напр., изобретение пороха имело, в сущности, всемирное историческое значение; многие события «политической истории» получили, хотя иногда и посредственно, такое же значение: напр., битва при Фарсале[594] оказала существенное влияние на историю народов античного мира, а через их посредство и на последующую историю человечества; то же можно сказать про роль реформации (Лютер) в истории европейской культуры и т. п. Историк не может упускать из виду такие факты: они влияли на эволюцию отдельных серий: исследователь обращает внимание, напр., на «великое переселение народов», ведь оно подействовало и на историю языков, и на историю частного быта, политических учреждений и т. п. Такие события не находят, однако, себе места в одном каком-либо историческом ряде: они влияют на целые совокупности серий, что и ведет к рассмотрению соответствующих их комплексов; и чем большее значение будут иметь такие факты, т. е. чем больше будет серий, испытывающих на себе их влияние, тем больше и понятие о их совокупности будет приближаться к понятию об историческом целом. Сверх того, факты подобного рода могут служить гранями для различения исторических периодов, общих нескольким эволюционным сериям, что дает возможность легче представить себе и содержание всего целого.

Итак, с разных точек зрения историк приходит к понятию об историческом целом в его объеме и содержании; обратимся к рассмотрению важнейших принципов и методов его построения.

При построении истории человечества нельзя обойтись без принципа, на основании которого его эволюция конструируется. Таким принципом можно признать то понятие об историческом целом, которое было установлено выше, но кроме вышеуказанного понятия об историческом целом, под условием которого историк достигает известного синтеза исторических рядов культурных состояний, он принимает во внимание историческое значение отдельных его частей; представляя себе историю человечества в виде единого эволюционного целого, он должен, значит, установить историческое значение каждой из его частей; но под ними можно разуметь или культурное состояние, или исторические ряды.

Если под каждою частью разуметь культурное состояние, то определяя историческое значение каждого из них для истории человечества, можно образовывать из них один сложный исторический ряд по степени возрастания или убывания такого значения. В эмпирически данном историческом процессе нельзя, однако, усмотреть переживание всем человечеством общих ему культурных состояний с достаточно крупным историческим значением, наступающих последовательно одно за другим С такой точки зрения историку приходится выяснять, какая из социальных групп данного времени (народов и т. п.) представляет остальные, т. е. вырабатывает культуру с наибольшим историческим значением и соответственно оказывает в качестве коллективной индивидуальности наибольшее влияние на остальные, последовательно выяснивши, какие из групп по состояниям своей культуры заслуживают наибольшего внимания, историк и располагает эти состояния в исторический ряд.

Ввиду самого понятия об эволюционно-историческом целом, историк при его построении обращает, однако, преимущественное внимание на общее направление в эволюции и на соотношение эволюционных серий, образующих такое целое. С указанной точки зрения, он стремится установить тот критерий, на основании которого общее направление развития человечества может быть определено.

После всего сказанного выше ясно, что таким ориентиром будет понятие о той ценности, которая реализуется или разрушается в данном историческом процессе: сама ценность может представляться историку или в виде абсолютных ценностей, или одной из них, или в виде системы общепризнанных ценностей или одной из них, причем лишь при совпадении абсолютной ценности (опознанной историком) с общепризнанной ценностью он может рассчитывать на установление всеобщего направления исторической эволюции; впрочем, довольствуясь общепризнанной ценностью, он уже определяет эмпирически данное направление осуществляющего или разрушающего ее процесса.

Вместе с тем историк обращается к выяснению исторического значения каждой из эволюционных серий, образующих историческое целое: каждая из них — часть этого целого (в продольном, а не поперечном его разрезе) и имеет свое индивидуальное значение для всего целого. Историк пытается выяснить, какая из таких серий имеет наибольшее историческое значение, и в отношении к ней располагает все остальные: она становится центральной серией всего построения; сообразуясь с периодами, установленными в ее развитии, он может периодизировать и историю того комплекса, в котором данная серия признается центральной. Многие историки, например, признают такою центральною серией политическую организацию общества. Во всяком случае можно сказать, что форма политической организации данного общества оказывается достаточно общим, постоянным и характерным условием социальной деятельности каждого из его членов; значит, можно охарактеризовать главные моменты развития человеческой цивилизации, изучаемой в ее совокупности, с политической точки зрения, но полная периодизация исторического целого все же должна будет принимать во внимание и те события, которые имели всемирно-историческое значение.

Впрочем, в построениях подобного рода историк может пользоваться и понятием о культурном состоянии данного комплекса для того, чтобы выяснять направление исторических серий и соотношение их между собой, что дает некоторое понятие и об эволюции всего исторического целого. В самом деле, построив состояние культуры, историк усматривает в нем как бы в разрезе размещение эволюционных серий в отношении их друг к другу; последовательно и мысленно произведшим несколько таких сечений, он может, по изменениям, происходящим в размещении пересекающих данное состояние культуры эволюционных серий, судить о направлении каждой из них и о переменах в их соотношениях и в его направлении, в каком саморазмещение изменяется, что уже дает понятие и об эволюции всего целого. Само собою разумеется, однако, что выбор тех именно ее моментов, в которые сечение подобного рода мысленно производится, много значит для успеха исследования и часто бывает сопряжено с большими затруднениями.

Построение всего исторического целого может получить, однако, слишком схематический характер, если производить его с чисто эволюционной точки зрения в виде линейной функции; комбинируя ее с систематической, историк пытается выяснить, какая историческая группа имела наибольшее историческое значение во всемирном историческом процессе, и представляет ее себе главным субъектом всемирно-исторической эволюции.

Если, например, историк усмотрит, что в общем ее направлении, обозначившемся за последние 7000 лет, группа европейских народов играла важнейшую роль, то он признает такую группу главным субъектом всемирно-исторической эволюции, всего лучше обнаружившим ее направление в своей деятельности. С такой точки зрения в основу построения «всеобщей истории» он поставит, главным образом, историю европейцев, нисколько не утверждая, что история одной только европейской цивилизации была единственно возможной и что наряду с нею нельзя указать на несколько других самостоятельных очагов культуры, он признает, однако, что в истории европейской культуры всего лучше сказалось развитие человеческой культуры, если не зародившейся, то во всяком случае сложившейся в одно целое на европейской почве, здесь она получила наибольшее развитие и отсюда распространилась за пределы нашего материка, главным образом уже в новое время. В таком случае при построении развития человечества историк сочтет возможным пользоваться историей остальных обитателей земного шара, или для пояснения остатков древнейшей европейской культуры, напр. «первобытной культурой» австралийцев или более развитым бытом Тода[595] и т. п.; или займется изучением истории предшественников европейцев, уже внесших самостоятельные вклады в развитие цивилизации, например, египтян, вавилонян и ассириян, евреев и т. п. и оказавших на них культурное влияние; или, наконец, по мере встречи или столкно-

вения (до понятия о скрещивании рядов, о событии и т. п.)[596] европейцев с другими народами он обратит внимание и на них, напр., на индийцев, арабов, монголов, мексиканцев и перуанцев, китайцев и проч., особенно если они обладали своеобразием культуры, влиявшей на европейскую.

Таким образом историк пытается охватить понятие об истории человечества; он не упускает из виду ни общего ее направления, ни многообразия эволюции, обнаруживающейся в едином историческом целом.

КОММЕНТАРИИ

1 В настоящем издании заголовки отдельных разделов и параграфов приводятся в соответствии с тем, как они указаны в Оглавлении к изданию 1910–1913 гг. Далее в квадратных скобках указаны заголовки, отсутствующие в тексте оригинала и восстановленные по Оглавлению.

2 *Тацит* (Tacitus) Корнелий (ок. 55 — ок. 117 н. э.) — древнеримский историк; автор «Диалога об ораторах» (Dialogus de oratoribus), «Жизнеописания Юлия Агриколы» (De vita Iulii Agricolae); в 98 г. опубликовал трактат «О происхождении германцев и местоположении Германии» (De origine, moribus ac situ Germanorum) — описание земель, народов и обычаев Германии. В период с 98 по 116 гг. написал основные свои произведения: «История» (Historiae — охватывает события от смерти Нерона до воцарения Нервы) и «Анналы» (Annalium ab excessu divi Augusti — от смерти Августа до смерти Нерона), в целом охватывающие период с 14 по 96 гг. н. э.

3 *Мейстер* (Meister) Алоиз (1866–1925) — немецкий историк, методолог, автор труда «Grundzüge der historischen Methode» (1913).

4 *Нибур* (Niebuhr) Бартольд Георг (1776–1831) — немецкий историк, профессор; автор работ по истории и филологии, в том числе классического труда «Римская история» («Romische Geschichte», 1811–1832); доказывая легендарность древней истории Рима, разработал принципы исторической критики.

5 Эпоним (*греч.* Eponymos — дающий имя) — наименование явления (например, научного метода, закона, болезни) по имени человека, его открывшего или впервые описавшего.

6 Monumenta Germaniae Historica (*лат.*, сокращенно MGH) — «Памятники истории Германии», многосерийное издание источников по истории Германии 500–1500 гг. В 1819 г. в Германии возникло «Общество для изучения ранней немецкой истории», с 1824 г. оно начало под руководством Г. Пертца (руководил им с 1823 по 1873 гг.) подготовку, а с 1826 г. — публикацию издания. Задача MGH — опубликовать все источники по древней истории Германии, в том числе иностранного происхождения; первоначально издание включало разделы: «Исторические писатели», «Законы», «Грамоты», «Письма», «Древности» (надписи и т. п.); в конце XIX в. появились некоторые дополнения, тогда же началось переиздание некоторых изданных ранее в составе MGH источников. При издании соблюдается принцип единства источника: он издается по всем доступным спискам с разночтениями, комментарием, указателями, археографическим введением. В 1875 г. государство взяло это предприятие на свой счет, была создана центральная дирекция MGH; с 1946 публикацией ведает специальный институт под названием «MGH. Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters» (MGH. Герм. институт по изучению средневековья; центральная дирекция находится с 1948 г. в Мюнхене); издание продолжается до сих пор.

[7] По-видимому, имеется в виду исторический семинарий, основанный Л. фон Ранке в 1834 г. и из которого сформировалась его историческая школа. В нем участвовали немецкие историки: Георг Вайц, Гизебрехт, Кёпке, Дённигес, Гирш, Зибель. Преобладала проблематика истории периода салических императоров и Гогенштауфенов.

[8] *Дюрюи* (Duruy) Виктор (1811–1894) — французский историк; профессор истории в университетах Реймса и Парижа, автор ряда научных трудов (например, «История римлян» — Histoire des Romains, 1844), в 1863–1869 гг. — министр образования; провел ряд реформ, в числе прочего добился введения в школах преподавания истории и философии, способствовал дальнейшему развитию автономии университетов; в 1869–1871 гг. был сенатором; в 1884 г. стал членом Французской Академии.

[9] *Арнольд* (Arnold) Томас (1795–1842) — английский педагог, историк; с 1841 г. читал лекции в Оксфорде; основной труд — «История Рима» (History of Rome) в 4-х тт. (не окончен).

[10] *Фриман* (Freeman) Эдуард (1823–1892) — английский историк; профессор новой истории в Оксфордском университете. Основные труды: «History of the Norman conquest of England, its causes and its results» (1867–1879); «Growth of English constitution» (1872); «General sketch of European history» (1872); «Comparative politics» (1873); «The Ottoman power in Europe, its nature, its growth a nd its decline» (1877); «The historical geography of Europe» (1881); «The reign of William Rufus and the accession of Henri I» (1882); «Chief periods of European history» (1887); «The history of Sicily» (1891–1894); особо стоит выделить его труд «Methods of historical study» (1886).

[11] *Маколей* (Macaulay) Томас Бабингтон (1800–1859) — английский (шотландский) историк, политический деятель, писатель, оратор; в 1826 г. был принят в корпорацию адвокатов; с 1830 г. — член парламента, занимал ряд крупных административных должностей; автор фундаментального труда по истории Англии в 5 томах (пятый том не окончен): «History of England from the accession of James II», охватывающего период 1685–1702 гг.

[12] *Иконников* Владимир Степанович (1841–1923) — русский историк, выпускник историко-филологического факультета Киевского университета. Автор работ: «Скептическая школа в русской историографии» (1871), «Граф Н. С. Мордвинов. Историческая монография» (1873); среди его трудов особо выделяется фундаментальное библиографическое пособие «Опыт русской историографии» (1892).

[13] *Болингброк* (Bolingbroke) Генри Сент-Джон (1678–1751) — виконт, английский государственный деятель, историк; автор труда «Письма о пользе и изучении истории» (Letters on the study of history, 1735).

[14] *Шлёцер* (Schlözer) Август Людвиг (1735–1809) — немецкий и российский историк, филолог, статистик; адъюнкт (1762), почетный член Петербургской АН (1769), почетный член общества истории и древностей российских (1804). В 1761–1767 гг. работал в России; исследовал древнерусское летописание, был сторонником норманнской теории; автор труда «Нестор», оказавшего влияние на становление источниковедения в России.

[15] *Бузескул* Владислав Петрович (1858–1931) — русский и украинский историк античности; в 1890–1921 гг. профессор Харьковского университета, академик АН СССР (1922), АН УССР (1925). Автор работ по экономической и социальной истории Древней Греции, источниковедению и проблемам историографии: «Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX вв.» (1903), «Всеобщая история и ее представители в России в 19 и начале 20 века» (Ч. 1–2, 1929–1931).

[16] Ludus naturae — игра (произведение) природы (*лат.*).

[17] Среди них выделяется Александрийская школа экзегезы (возникла во II в. до н. э.), предшественниками которой были эллинизированные иудейские богословы, философы и писатели Александрии, усвоившие аллегорический метод толкования древних текстов, разработанный греческими философами (преимущественно платониками и стоиками).

[18] Гуманисты — светские мыслители эпохи Возрождения.

[19] *Эрнести* (Ernesti) Иоганн Август (1707–1781) — немецкий лютеранский богослов, филолог; читал курс классической филологии в Лейпцигском унтверситете; в 1759 г. перешел на кафедру богословия; применял историко-филологические методы к изучению Священного Писания.

[20] Так в тексте.

[21] *Клерикус* (Clericus; Клерик, Леклерк [le Clerc]) Иоанн (1657–1736) — женевский богослов, философ, писатель; переводчик библии; автор работ «Ars Critica» (1696), «Traité de l'incredulité» (1696); «Historia Ecclesiastica duorum primorum saeculorum» (1716), разрабатывал критический метод.

[22] «Как и в случае с герменевтикой — философской наукой, которая, будучи применена в наших целях, является наукой филологической, так же нужно поступить и с критикой» (*нем.*).

[23] «Критикой мы называем искусство понимать древних писателей и определять, что у них написано подлинно, а что ложно»; сочинение содержит три части: «во-первых, указания и советы, касающиеся до способов, какими следует читать древних, во-вторых — правила истолкования слов и высказываний, в-третьих — наставления к суждению, что следует выносить из книг и отдельных мест древних писателей, подлинных, а равно

и поддельных»; третья часть содержит учение «о вопросах исправления текста, подложных книгах и о стиле писателей» (*лат.*).

24 «Истолкование, в свою очередь, есть способность объяснять, какое выска зывание в каком смысле следует понимать, или делать так, чтобы другой мог об этом задуматься, читая любого автора... Следовательно, в истол ковании всегда содержатся две стороны — понимание смыслов (идей), заключенных в словах, и их достойное объяснение» (*лат.*).

25 *Баур* (Baur) Фердинанд Христиан (1792–1860) — немецкий протестант ский историк церкви и экзегет; глава тюбингенской школы; выпускник, затем преподаватель Тюбингенского университета; с 1826 профессор богословия; автор трудов по церковной истории; интерпретатор ранне христианских текстов. Первоначально находился под влиянием Шлейер махера, затем перешел на позиции философии Гегеля.

26 Тюбингенская школа — направление в немецкой протестантской теоло гии, развивавшееся в университете г. Тюбинген; первый ее период (1777 1797) связан с деятельностью К. Г. Штора. Характеризуется сочетанием супранатурализма с просветительскими тенденциями. В 1830 г. Ф. К. Баур основал новую Тюбингенскую школу, сформировавшую основы библей ской критики, предложившую интерпретацию раннего христианства как синтеза между стоицизмом и эллинизированным иудаизмом. Ее ведущие представители — Ф. Штраус, Б. Бауэр — оказала влияние на либеральную немецкую теологию рубежа XIX–XX вв.

27 *Бальмес* (Balmes) Хаиме Лусиано (1810–1848) — испанский философ схоластического направления, публицист; автор трудов: «Observaciones sociales, politicas y economicas sobre los bienes del clero» (1840), «Consideraciones politicas sobre los bienes del clero» (1840), «La religion demostrada al alcanze de los niños» (1841), «El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relationes con la civilizacion europea» (в 4 тт., 1842–1844), «El criterio» (1845), «Filosofia fundamental» (в 4 тт., 1846).

28 Болландисты — ученое общество иезуитов; основано в Антверпене Ж. Болландом (1596–1665); с 1643 г. занималось изданием свода «Жития святых» (Acta Sanctorum); одни из первых разработали принципы публикации исторических источников.

29 Конъектура (от *лат.* conjectura — догадка, предположение) — историко-лингвистически, палеографически, дипломатически обоснованное восстановление не поддающейся прочтению или вовсе отсутствующей в рукописи части текста.

30 *Фортинский* Федор Яковлевич (1846–1902) — русский историк, профессор; выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Защитил магистерскую диссертацию по

теме «Титмар Мерзенбургский и его хроника» (1872); после этого занял должность доцента по кафедре всеобщей истории Киевского университета. В 1877 г. защитил докторскую диссертацию «Приморские вендские города и их влияние на образование ганзейского союза». Стажировался в исторических семинариях Геттингенского университета, в Париже в Ecole des chartes и Ecole des hautes études. Автор работ: «Причины распадения монархии Карла Великого» (1872); «О положении городских ремесленников в Германии в средние века» (1881); особого внимания заслуживает труд «Опыт систематической обработки исторической критики» (1884).

31 *Бласс* (Blass) Фридрих (1843–1907) — немецкий филолог; профессор классической филологии в Галле; автор работы «Die attische Beredsamkeit»; публикатор произведений Антифона, Динарха, Плутарха.

32 *Пауль* (Paul) Герман (1846–1921) — немецкий лингвист-германист, теоретик языкознания, специалист по истории немецкого языка, представитель младограмматизма. Его научные взгляды формировались под влиянием психологизма в языкознании. Автор трудов: «Untersuchungen über den germanischen vokalismus» (1879); вводных глав «Grundriss der germanischen philologie» (1896); «Deutsches Wörterbuch» (1896); «Deutsche Grammatik», в 5 тт., 1916–1920. Среди его работ выделяется «Prinzipien der Sprachgeschichte» (1880) — основной теоретический труд школы младограмматиков, фиксирующий основные ее принципы: историзм, индивидуальный психологизм, эмпиризм и индуктивизм, отказ от рассмотрения общих вопросов.

33 Вероятно, имеется в виду Тоблер (Tobler) Адольф (1835–1910) — романский филолог, профессор романских языков в Берлинском университете; автор работ «Darstellung der lateinischen Konjugation und ihrer romanischen Gestaltung» (1857), «Bruchstucke aus dem Chevalier au lyon» (1862), «Mitteilungen aus altfranzösischen Handschriften» (1870), «Die Parabel von dem echten Ring» (1884), «Vom französischen Versbau alter und neuer Zeit» (1894), «Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik» (1886 и 1894), «Li proverbe ou villain» (1895).

34 *Преллер* (Preller) Людвиг (1809–1861) — немецкий филолог, знаток классических древностей. Автор работ: «Demeter und Persephone» (1837), «Griechische Mythologie» (1854–1855), «Römische Mythologie» (1858), участвовал в подготовке труда «Historia philosophiae graecae et romanae ex fontium locis contexta» (1838).

35 *Зиккель* (von Sickel) Теодор фон (1826–1908) — немецко-австрийский историк; профессор; директор Istituto Austriaco di studi storici. Автор публикаций: «Monumenta graphica medii aevi ex archivis et bibliothecis imperii Austriaci collecta» (1858–1880), «Beiträge zur Diplomatik» (1861–1883), «Acta regum et imperatorum Carolinorum» (1867), «Zur Geschichte des

Konzils von Trient» (1872), «Alcuinstudien» (1875), «Das Privilegium Ottos I far die röm. Kirche» (1883).

[36] *Фиккер* (Ficker) Юлиус фон (1826–1902) — австрийский историк; с 1852 г. профессор университета в Инсбруке. Представитель католической великогерманской исторической школы; публикатор средневековых юридических источников.

[37] *Бресслау* (Bresslau) Гарри (1848–1926) — немецкий историк; с 1877 г. экстраординарный профессор истории при Берлинском университете. Автор работ: «Die Kanzlei Kaiser Konrads II» (1869), «Diplomata centum» (1872), «Jahrbücher des deutschen Reichs unter Kaiser Heinrich II» (в 3 тт., 1874), «Aktenstücke zur Geschichte von Joseph August du Cros» (1876), «Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad II» (1879) и др.

[38] Так в тексте.

[39] Помимо пиктографического (рисуночного) письма ученые выделяют следующие его виды: идеографическое (каждый знак обозначает отдельное слово вне зависимости от грамматической формы; употреблялось только на самых ранних этапах развития письменности), словесно-слоговое (сочетающее знаки, обозначающие слова, слоги и детерминативы — знаки, которые сами не читались, но влияли на прочтение соседних по принципу ребуса: египетское, шумерское, китайское, майясское и др. виды письма), силаббическое (знак выражает какую-то определенную последовательность звуков, например, слог), алфавитное (знак обозначает отдельный звук).

[40] Гевристика (эвристика, от *греч.* heuriska — нахожу) — искусство делать научные открытия, изобретать. В начале XX в. ряд авторов понимали под гевристикой «теорию исторической критики», в отличие от историоматии — «методологии изучения истории».

[41] Апперцепция (от *лат.* ad — к, perceptio — восприятие) — одно из фундаментальных свойств человеческой психики — обусловленность восприятия предметов и явлений внешнего мира и осознания этого восприятия особенностями целостного содержания психической жизни, запасом знаний, предшествующим опытом и конкретным состоянием личности. Термин ввел Г. Лейбниц («Новые опыты о человеческом разуме», 1704, первое издание — 1765) для обозначения процесса осознания еще не дошедшего до сознания впечатления; учение об апперцепции развито В. Вундтом.

[42] «Принимая характер символа, самые простые и заурядные вещи преображаются, становятся идеальными, приобретают новую и, если можно так выразиться, неограниченную ценность» (*фр.*).

[43] Деление исторических источников на «остатки» и «предания» было обосновано немецким историков И. Г. Дройзеном (1808–1884) в 1858 г.

[44] В русских летописях под 862 г. (в летописях новгородской группы — под 854 г.) содержится знаменитый рассказ о призвании на княжение трех братьев-варягов (скандинавов) — Рюрика, Синеуса и Трувора. Согласно преданию, их призвали словене, кривичи, чудь и весь (то есть два славянских и два финно-угорских племени). От старшего из братьев, Рюрика, произошла, согласно летописи, правящая династия русских князей. Этому рассказу посвящена обширная научная и околонаучная литература, он послужил основным поводом к так называемой полемике «норманистов» и «антинорманистов» (о роли скандинавского элемента в образовании древнерусского государства).

[45] «Многие слова в течение долгого времени либо не изменяются как по звучанию, так и по своему значению, либо изменяются лишь настолько, что различные их формы слегка напоминают одна другую, то есть, если одна форма известна, то связь с другими формами устанавливается легко. Так, например, обладая знаниями только лишь нововерхненемецкого (современного литературного немецкого. — *Сост.*) языка, можно распознать многие средненемецкие и некоторые готические или древнескандинавские слова в качестве предшественников или родственников привычных слов. То, что можно сказать в отношении слов, можно сказать также в отношении формальных элементов и способов построения».

[46] Литолатрия — разновидность языческих верований, связанная с почитанием камней.

[47] Слово «villanus» в средневековой латыни означало «крестьянин». В современном французском языке «vilain» значит «неприглядный, скверный, грубый, непослушный» и т. п.

[48] Одерень — целиком, в полную собственность; формула, часто использовавшаяся в русских грамотах купли-продажи XII–XV вв.; название происходит от обычая скреплять договор на землю клятвой, при которой на голову клали кусок дерна.

[49] *Альберт Великий* (Albertus Magnus; Св. Альберт, Альберт Кельнский, Альберт фон Больштедт) (1193 или 1206–1280) — философ, теолог; представитель средневековой схоластики, доминиканец. Причислен к учителям церкви папой Пием XI в 1931 г.

[50] Анналы и хроники — два основных исторических жанра западноевропейского средневековья. Анналы — погодное изложение событий, для которого характерна дискретность сообщений, их относительная краткость и фактологичность (последнее, впрочем, не обязательно). В основе анналов часто лежат записи, делавшиеся из года в год, синхронно собы-

тиям. Хроника — это обычно единовременно создаваемое произведение, в котором излагается история (всемирная, какой-либо страны, местности, города, монастыря) от ее начала и до времени работы хрониста. Хроника отличается от анналов большей цельностью замысла и изложения. В отличие от почти всегда анонимных анналов, авторское начало в хронике выражено намного сильнее: автор часто называет себя по имени, имеет больше возможностей для выражения собственного отношения к описываемым событиям. В то же время, четкой границы между анналами и хрониками нет. Так, анналистические тексты часто создавались единовременно и с единым замыслом (своды, ретроспективные записи), а многие хроники могут рассматриваться как анналистические компиляции (своды). Они же могли продолжаться из года в год, на протяжении жизни хрониста или даже другими людьми. Расцвет анналистики в Западной Европе (IX в. во Франкском государстве, конец IX–XI вв. в Англии) предшествует расцвету хронистики (с XI в. в континентальной Европе, с XII в. — в Англии).

[51] «Повесть временных лет» — древнерусский летописный свод начала XII в., лежащий в основе значительной части последующего древнерусского летописания. Составление «Повести временных лет» традиционно приписывают монаху Киево-Печерского монастыря Нестору (автору двух житийных произведений — о свв. Борисе и Глебе и преп. Феодосии Печерском); атрибуция Нестору летописи, однако, опирается на небесспорные факты, что породило длящуюся уже более двухсот лет полемику относительно авторства «Повести временных лет».

[52] Сказание о Мамаевом побоище — литературный памятник, наиболее полно повествующий о Куликовской битве (1380).

[53] *Сен-Симон* (Saint-Simon) Луи де Рувруа (de Rouvroy) (1675–1755) — французский дворянин; автор «Мемуаров» («Mémoires»), освещающих историю Франции периода Людовика XIV; опубликованы частично в 1788–1789, полностью в 1829–1831 гг. (21 том).

[54] Familienformeln — формулы семьи или формулы рода; Vermischte Formeln — смешанные формулы; Dualistische Formeln — дуалистические формулы (*нем.*).

[55] «Первая и Вторая Аналитика» и «Топика» (наряду с другими произведениями) — труды Аристотеля (384–322 до н. э.) по логике, содержащие также теорию познания, позднее были объединены в так называемый «Органон».

[56] Naturalis philosophiae principia mathematica — «Математические начала натуральной философии», одна из классических работ Ньютона (1687 г.), в которой были сформулированы основные принципы классической механики, учение о всемирном тяготении. Вводная часть книги и заключительное поучение посвящены методологическим принципам.

[57] «Размышления» — личные записи римского императора Марка Аврелия Антонина (121–180), сделанные им в 70-е гг. II в. н. э.

[58] *Альберти* (Alberti) Леон Батиста (1404–1472) — итальянский гуманист, философ, писатель, архитектор, скульптор, художник, видный представитель итальянского Возрождения.

[59] Луллий (*лат.* Lullius, *испан.* Lulio, *каталан.* Lull или Llull) Раймунд (ок. 1235 — ок. 1315) — каталанский философ, богослов; формировался под влиянием францисканства и Августина; полемизировал с аверроизмом и его учением о двойственной истине. Для доказательства своей позиции разрабатывал методы моделирования логических операций, используя символические обозначения предельных понятий. Основное сочинение: «Великое искусство» («Ars Magna»).

[60] Compositions ad tingenda — манускрипт VIII–IX вв., содержащий 294 правила металлообработки, алхимии и ремесленных технологий.

[61] «Салическая правда» («Lex Salica») — одна из так называемых варварских правд — законодательных памятников ранних германских королевств. Предположительно возникла в начале VI в. при франкском короле Хлодвиге в малоромanизированной части Галлии, поэтому, среди всех записей германских законов, «Салическая правда» в наиболее чистом виде фиксирует обычное право германцев, почти не подвергшееся влиянию римского права. Первоначальный вид памятника не сохранился, дошедшие до нас списки (которые можно условно разделить на пять групп) соответствуют разным этапам бытования текста; текст многократно дополнялся и редактировался вплоть до времени Каролингов.

[62] Глосса (*греч.* γλῶσσα — язык, речь) — пояснение или дополнение к тексту, сделанное либо на полях, либо между строк рукописи комментатором или переписчиком; впоследствии глоссы могли включаться в текст и становились интерполяциями. Выявление интерполяций, ранее бывших глоссами — одна из основных задач текстологии, в частности текстологии Священного Писания. Глоссографы (γλοσσώγραφοι) — собиратели и толкователи глосс.

[63] Александрийская школа изучения языка существовала с конца IV века до н. э. и до завоевания Александрии арабами (640 г.). Период расцвета — II в. до н. э. — II в. н. э. В рамках этой традиции впервые возникла грамматика как особая отрасль науки о языке, были разработаны главнейшие направления грамматического анализа.

[64] «Об истолковании» (*греч.*).

[65] «О Началах» (*греч.*).

[66] «О богодуховности Божественного писания и как Оно должно читаться и пониматься; каков смысл (содержащейся) в Нем неясности и — как сказано у некоторых — невозможного и бессмысленного» (*греч.*).

[67] «Обобщение предыдущих книг и проспект последующей»; последний сводится главным образом «к выявлению и разъяснению темных мест в Писании» (*лат.*).

[68] М. Флаций, Ключ к Св. Писанию или О смысле священных книг в двух частях, из которых первая в алфавитном порядке объясняет употребление и значение отдельных слов и выражений Св. Писания, вторая же говорит о некоторых общих правилах понимания священных текстов. 1567.

[69] «...его (т. е. филолога) понимание — это более или менее обширное познание, полученное дедуктивным путем» (*нем.*).

[70] Мнение, представление, предположение (*греч.*).

[71] Энтелехия — понятие аристотелевской философии, жизненная сила, которая находится в каждом создании и направляет его энергию к достижению полного совершенства.

[72] «Черты и резы» — принятое в историографии название докириллической славянской письменности.

[73] Термин «эолиты», используемый автором в примечании, применялся к предметам, напоминавшим грубо оббитые отщепы и нуклеусы (то, что остается после отбития от камня отщепа), происходившим из доплейстоценовых или раннеплейстоценовых отложений. В настоящее время считается, что они приобрели такую форму в результате воздействия сил природы.

[74] «Критика чистого разума» (1781) — одно из основных произведений немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804).

[75] «Анналы» («История от смерти божественного Августа») Тацита — один из двух основных его исторических трудов; 16 книг «Анналов» (из которых до нас дошла только часть) рассказывают об истории Рима времени Юлиев–Клавдиев (события 14–66 г. н. э.); написанная ранее «История» повествует о событиях 69–96 гг. н. э. (династия Флавиев), очевидцем которых был сам Тацит.

[76] «Фауст» — трагедия немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832), над которой он работал с 1774 по 1831 год.

[77] «Сикстинская Мадонна» (1513–1514) — картина Рафаэля Санти (1483–1520), одно из известнейших произведений итальянского Ренессанса.

[78] Мейстерзингеры (*нем.* meistersinger — мастер-певец) — немецкие средневековые поэты-певцы из ремесленно-цеховой среды (Г. Сакс, Г. Фольц, Г. Фогель и др.), пришедшие на смену миннезингерам. Первоначально исполняли песни на религиозно-дидактические (XIV–XV вв.), а с началом Реформации — и на светские (XVI в.) темы. Здесь автор имеет в виду, вероятно, оперу Р. Вагнера (1813–1883) «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868).

[79] «...некую важную идею более отчетливо и более совершенно, чем это делают реальные вещи» (*фр.*).

[80] Фиджийцы — коренное население островов Фиджи; по языку, культуре и антропологическому типу занимают промежуточное положение между меланезийцами и полинезийцами.

[81] «Роман о Лисе» — памятник французской городской литературы, получившей распространение в XII–XIII вв.; состоит из 27 независимых рассказов, написанных попарно рифмующимися стихами. Объединяющий сюжет — борьба лиса Ренара с волком Изенгрином.

[82] Свастика (от древнеиндийского «су» — «связанное с благом») — один из наиболее древних символов, обозначение благоприятного, счастливого объекта; изображается в виде креста с загнутыми (обычно — в направлении часовой стрелки) концами. Встречается уже в неолитических изображениях, распространена в орнаменте многих народов; с древнейших времен присутствует в индийской культуре как солярный символ. Гаммированный крест — греческое название свастики (из-за схожести ее загнутых под прямым углом концов с начертанием буквы «гамма»). Как христианский символ гаммированный крест (прямостоящая свастика) пришел на Русь из Византии после Крещения.

[83] Гиссарлык (Гиссарлик) — возвышенность в Малой Азии, по предположению, место древней Трои.

[84] Звукоподражательная (ономатоэпическая) теория — одна из теорий происхождения языка, согласно которой язык возник в результате того, что человек подражал звуковым (собственно звукоподражание), равно как и незвуковым (звукосимволизм) признакам объектов. Впервые эта теория была выдвинута стоиками в III в. до н. э., получила развитие в трудах В. Г. Лейбница, И. Г. Гердера и др. После исследований второй половины XX в. звукоподражание признается одним из важнейших факторов, действовавших при возникновении языка.

[85] Электрум — сплав, в состав которого входили четыре части золота и одна часть серебра.

[86] Неолит — «новокаменный век» (термин впервые предложен в 1865 г. Дж. Леббоком) — последняя из трех археологических эпох (палеолит, мезолит, неолит), входящих в каменный век. В области материальной культуры переход к неолиту характеризуется появлением техники шлифовки и сверления каменных орудий, а также обычно появлением керамики (впрочем, она могла появляться и раньше и позже перехода к неолиту); в области хозяйственной деятельности «неолитическая революция» — это переход от присваивающего хозяйства к производящему. Раньше всего «неолитическая революция» произошла в Юго-Западной Азии и датируется здесь временем между 9000 и 6000 гг. до н. э.

[87] VI династия фараонов древнего Египта (2345–2181 годы до н. э.) относится к периоду Древнего царства.

[88] Диорит — магматическая горная порода, аналогичная граниту, хорошо поддающаяся полировке.

[89] Кельт (*англ.* celt) — термин, обозначавший раньше топоры, тесла, или мотыги из камня или бронзы. Сейчас употребляется для обозначения одной из разновидностей топоров бронзового века.

[90] Палеография — специальная историческая дисциплина, изучающая внешние признаки памятников письменности (знаки письма, материал для письма, орудия письма, орнаменты и украшения рукописей и т. п.).

[91] Германские руны (существовали еще неродственные им тюркские руны) — название ряда родственных алфавитов, употреблявшихся германскими народами. Древнейшая из германских рунических надписей датируется рубежом нашей эры; в V–VII вв. руны начинают употребляться в Скандинавии, а с VIII в. исчезают у южных германцев (до этого, в частности, руны были распространены у англосаксов); в Скандинавии руны в основном перестают употребляться с XIII в., но на надгробных камнях они сохраняются до XVI в., а в календарях — до XVIII в. Раннесредневековая руническая письменность Скандинавии представлена не только монументальными надгробными надписями, но и многочисленными бытовыми записями на деревянных стержнях, костях, бытовых предметах и т. д.; рунические надписи находили и на территории Древней Руси. Происхождение рун является дискуссионным вопросом, однако, вероятно, они восходят к одному из средиземноморских алфавитов.

[92] Эпиграфика (от *греч.* epigraphe — надпись) — специальная историческая дисциплина, изучающая надписи на твердых материалах (камне, металле, дереве, кости, керамике и др.); как научная дисциплина сформировалась в XVIII–XIX вв.

[93] Александрийский лист — частично сохранившийся лист с Александрийским кодексом, одной из древнейших унциальных рукописей Библии на греческом языке, датируемой V в.

[94] Столбцы — основная форма канцелярского делопроизводства Московского государства XVI–XVII вв.; текст документов писался на одной стороне листа, листы подклеивались один за другим и хранились в виде свитков; отдельный лист свитка называется сставом.

[95] Первоначальная техника производства бумаги была такой: жидкая смесь попадала на проволочный каркас, на котором она застывала и превращалась в бумагу; сетка проволочного каркаса отпечатывалась на бумаге, так что ее линии хорошо видны на просвет. Обычно бумажные фабрики к технологически необходимому проволочному каркасу добавляли проволочный же рисунок, служивший как бы фирменным знаком фабрики: буква, герб, голова шута и т. п. Рисунок, опечатавшийся на бумаге, называется филигранью, или водяным знаком; рисунки время от времени менялись (проволочный каркас не был долговечным), так что по филиграням можно определить не только место, но и время производства бумаги, на которой написан интересующий нас источник; для позднего средневековья анализ филиграней является одним из наиболее точных методов датировки рукописей.

[96] В эволюции славянского (кириллического) письма выделяют три основных типа почерков: устав (с XI в.), полуустав (с XIV в.) и скоропись (с XV в.). В уставе каждая буква выписывается отдельно, почти все буквы имеют одинаковую высоту; полуустав является облегченным по сравнению с уставом почерком: начертания букв в нем позволяют писать с большей скоростью. Полуустав продолжал на протяжении XVI–XVII вв. употребляться в качестве каллиграфического письма (например, для богослужебных книг); полуустав лег в основу первопечатных шрифтов, а опосредованно — и современного гражданского шрифта. Скоропись — тип почерков, для которых характерны округлые очертания букв, их слитное написание, употребления многочисленных сокращений и лигатур; сходную эволюцию проходили и другие системы письма: древнеегипетская, греческая, латинская и др.

[97] Эллинистический период (323–30 гг. до н. э.) — время существования в Восточном Средиземноморье эллинистических государств, образовавшихся после распада империи Александр Македонского.

[98] «Письмоводитель Поппо вместо (него) расписался» (*лат.*).

[99] Лидия — в древности страна в Малой Азии. Предположительно в начале VII в. в Лидии стали чеканить золотые и серебряные монеты; древнейшие монеты Лидии были из электрона — смеси 73% золота и 27% серебра.

[100] *Крез* (Kroisos) (ок. 595 — после 529 до н. э.) — последний правитель Древнелидийского царства.

[101] *Иоанн из Брюгге* (Ян ван Эйк; Jan van Eyck) (ок. 1390–1441) — нидерландский художник, один из основоположников искусства Раннего северного Возрождения.

[102] Розеттский камень — обломок базальтовой плиты, содержащий запись декрета в честь Птолемея V (196 до н. э.) в трех вариантах — на греческом и египетском (иероглифическим и демотическим письмом) языках, — с помощью которой Ф. Шампольон (французский филолог, 1790–1832) сумел расшифровать письменность Древнего Египта.

[103] Коптский язык — последний этап развития древнеегипетского языка; до сих пор употребляется в качестве языка богослужения у коптов — египтян-христиан. Знакомство с коптским языком помогло Ф. Шампольону в расшифровке древнеегипетского письма.

[104] Метафора (*греч.* «перенос») — вид тропа (механизм речи, употребление слова или выражения в переносном, образном смысле; в более узком значении — словопреобразование, используемое для усиления выразительности речи), употребление слова в переносном значении.

[105] Метонимия (*греч.* «переименование» — вид тропа; перенос названия с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, каким-либо образом ассоциируемый с данным.

[106] Эпитет (*греч.* «приложенное») — вид тропа, образное определение, которое дает художественную характеристику явлению или предмету.

[107] Антитеза (*греч.* «противоположение») — один из приемов стилистики, заключающийся в сопоставлении представлений и понятий, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.

[108] Символ — знак, образ, воплощающий какую-либо идею; образование, которому определенная группа людей придает особый смысл, не связанный с сущностью этого образования.

[109] Аллегория (*греч.* «иносказание») — вид тропа, выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредством конкретного образа.

[110] *Демосфен* (384–322 до н. э.) — великий оратор Афин (Древняя Греция).

[111] История Рима от основания города» Тита Ливия — литературный памятник, одно из подробнейших древних изложений римской истории с древнейших времен и до 9 г. до н. э.; из 142 книг сохранились лишь 1–10 и 21–45 (о содержании остальных глав можно судить по т. н. периохам — оглавлениям, составленным предположительно в IV в. н. э.

[112] *Сократ* (Σωκράτης) (ок. 469–399 до н. э.) — древнегреческий философ, с учением которого связан поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека.

[113] *Аристофан* (ок. 450 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий драматург, представитель так называемой древней аттической комедии; его произведения дошли до нас только во фрагментах; написал сорок четыре комедии (авторство четырех из них оспаривается, до нашего времени дошли одиннадцать комедий и почти тысяча различных фрагментов).

[114] «Я обнаружил, что формат бумаги, которую я использую при письме, оказывает влияние на построение предложений, равно как и то обстоятельство, пишу ли я как обычно или стенографирую» (*нем.*).

[115] *Менандр* (342/341–292/291 до н. э.) — афинский поэт-драматург, наиболее известный представитель так называемой «новой» аттической комедии

[116] «Порфириевские отрывки» — два отрывка пергамена, обнаруженные в собрании рукописей епископа Порфирия (Успенского); исследованы профессором Санкт-Петербургского университета В. К. Ернштедтом (1854–1902) в диссертации «Порфириевские отрывки из аттической комедии» (1891), в которой доказывается, что читаемые на них отрывки аттической комедии относятся к «Фасме» («Привидению») Менандра.

[117] «Все, что относится к нравам и обычаям, включается в договоры по умолчанию» (*лат.*).

[118] Кносс — главное поселение минойской цивилизации (остров Крит, II тыс. до н. э.); представлял собой огромный дворцовый комплекс, напоминающий лабиринт (ср. древнегреческий миф о лабиринте Миноса на о. Крит), археологически исследуется с 1900 г. Минойская цивилизация типологически близка к цивилизациям древнего Ближнего Востока, но в то же время является древнейшей цивилизацией Греции, предшественницей (хотя и весьма отдаленной) греческой полисной цивилизации.

[119] Фаюм и Оксиринх — территории Древнего Египта; в Фаюме были найдены так называемые «фаюмские портреты», а в Оксиринхе — «оксиринхские папирусы».

[120] Обол (*греч.* ὀβολός) — название древнегреческой единицы веса, равной примерно 0,7 грамма, а также серебряной, затем медной монеты, равной $^1/_6$ драхмы.

[121] ναῦλον — плата за перевоз людей и товаров на корабле.

[122] κατιστήριον — плата за перевоз людей и товаров на корабле.

[123] δανάκη — (*перс.* danak) персидская монета, стоимостью немного больше обола; монету клали вместе с телом во время похоронного обряда в качестве платы Харону.

[124] Монастырь Рейхенау на острове Констанцкого озера в Южной Германии в средние века являлся одним из центров книжной культуры; после

упадка в X в., в середине XI в. здесь вновь расцвело летописание, так как монастырь оказался на торговом пути между Северной Италией и Юго-Западной Германией; в это время здесь, в частности, работал один из известнейших немецких хронистов XI в. Герман Паралитик.

[125] «Илиада» и «Одиссея» — древнегреческие эпические поэмы (предположительно IX–VIII вв. до н. э.), авторство которых приписывается Гомеру.

[126] *Оттон Фрейзингенский* (ок. 1111–1158) — немецкий хронист и теоретик истории; внук Генриха IV и дядя Фридриха Барбароссы, учился в Париже, был монахом-цистерианцем, в 1137 г. стал епископом в баварском городе Фрейзинге. Первое его историческое произведение — «Книга о двух государствах» («Liber de duabus civitatibus») — написано в 1143–1146 гг. и представляет собой изложение всемирной истории, доведенное до 1146 г.; события (за исключением эпохи, современной автору, для которой хроника сообщает ценные, хотя и тенденциозные сведения) изложены на основании хроники Эккехарда (см. комм. 206). В хронике Оттона вся человеческая история переосмыслена в духе августинианства; хроника завершается изображением конца света. В 1157–1158 гг. по поручению и при поддержке Фридриха Барбароссы (благодаря чему в распоряжении хрониста оказался обширный документальный материал) Оттон написал «Деяния императора Фридриха» («Gesta Friderici Imperatores»); политическая трактовка многих событий была здесь пересмотрена, а Фридрих представлен идеальным правителем империи. В обоих трудах Оттон широко использовал метод тенденциозного умолчания.

[127] Вормский конкордат (соглашение) был принят на соборе в Вормсе в 1122 г. и представлял собой компромисс, разрешавший длительный спор между римскими папами и германскими императорами об инвеституре (право светских государей назначать высшее духовенство у себя в стране). Конкордат установил различные правила выборов и рукоположения епископов для различных частей империи; были введены так называемые духовная и мирская инвеституры; в Германии мирская (императорская) инвеститура предшествовала духовной, в Италии и Бургундии — наоборот.

[128] Constitutio Antonina — эдикт Антонина Каракаллы (212 н. э.) о предоставлении прав римского гражданства провинциалам.

[129] Стипуляционная клаузула (*лат.* stipulatio — выспрашивание, clausula — заключение) — формула римского права, восходящая к формальному, абстрактному устному контракту, устанавливающему обязательство, вид договора, заключавшегося посредством строгой словесной формулы (спрошенный отвечает, что даст или сделает то, о чем его просили).

[130] Кабала (служилая, заемная) — в древнерусском праве — акт, договор, расписка, устанавливающая какую-либо зависимость одного лица по отношению к другому.

[131] Евхаристия (*греч.* «благодарение») — главный обряд христианского богослужения, во время которого верующие, вкушая освященные вино и хлеб, приобщаются к плоти и крови Иисуса Христа.

[132] *Триссино* (Trissino) Джанджорджо (1478–1550) — итальянский поэт, папский нунций в Венеции и Вене; поборник внедрения античной традиции в итальянскую литературу. Автор первого подражания греческой трагедии на итальянском языке «Sofonisba» (1515); сюжет трагедии заимствован из XXX книги Тита Ливия.

[133] Фетиш — неодушевленный предмет, наделенный сверхъестественными свойствами; наиболее распространенные фетиши: амулеты, обереги, талисманы.

[134] Четвертая династия (2575–2465 до н. э.) и пятая династия (2465–2325 до н. э.) фараонов относятся к периоду Древнего царства.

[135] Фивы — столица Верхнего Египта, а в период Среднего и Нового царства — и всей страны; город расположен на восточном берегу Нила, а на западном его берегу находится Долина царей — некрополь периода Нового царства, состоящий из вырубленных в известняке гробниц и соответствующих им храмов на берегу реки. В 1922 г. здесь была обнаружена знаменитая гробница Тутанхамона.

[136] Хризма — монограмма, составленная из двух греческих букв X и P или I и X (начальных букв имени Христа) и в начертании образующая крест; символически изображает Иисуса Христа.

[137] Персей — герой древнегреческой мифологии, сын Зевса и Данаи; победитель Медузы Горгоны, спаситель Андромеды; упоминается в «Илиаде».

[138] *Диодор Сицилийский* (Diódoros) (ок. 90–21 до н. э.) — греческий историк, главное произведение — Библиотека всеобщей истории в 40 книгах; охватывает период начиная с ранней, отчасти мифической истории до эпохи эллинизма и распада империи Александра Македонского (302 до н. э.).

[139] Раскопки на месте Трои велись Г. Шлиманом в 1871–1890 гг., В. Дёрпфельдом в 1893–1894 гг., К. Блегеном в 1932–1938 гг.; вопрос о том, какой из слоев — Трою VI или Трою VII — отождествлять с гомеровской Троей, до сих пор остается дискуссионным.

[140] Это первые пять или шесть слоев; возникновение древнейшего из них датируется около 3000 г. до н. э.

[141] Могильник из 3000 погребений в Австрии, к востоку от Зальцбурга, относится к позднебронзовому и железному веку; рядом находятся соляные копи с галереями того же времени; Гальштатская археологическая культура в Центральной Европе датируется XII–V вв. до н. э.

[142] *Герберт* Аврилакский (Орильякский) (Gerbert d'Aurillac) (ок. 950–1003) — впоследствии папа Сильвестр II (999–1003); источником для биографии Герберта служит его любопытная переписка со времени назначения его аббатом Боббио и до избрания в архиепископы равеннские (983–998); другие сочинения Герберта: «Regula de abaco computi» (предлагаются методы расчета с помощью графических абаков у арабов), «Libellus de numerorum divisione», «Geometria» (содержит некоторые формулы для измерения площадей, заимствованные из древнеиндийских сочинений).

[143] Пятикнижие — пять книг, приписываемых Моисею, т. е. первые пять книг Ветхого Завета или древнего еврейского Священного писания («Еврейской Библии»).

[144] Miles, colonus, servus — воин, земледелец, раб (*лат.*).

[145] Alleu, bénéfice, élection — аллод, бенефиций, округ (*фр.*).

[146] Principes XII-го века, conventus, justitia, judex — правители, собрание, правосудие, судья (*лат.*).

[147] Régime révolutionnaire — революционный порядок (*фр.*).

[148] Гогенштауфены (Hohenstaufen) — династия германских королей и императоров «Священной Римской Империи» (1138–1254).

[149] Хроника аугсбургского купца Буркарда Цинка создана в XV в.; относится к разновидности городских хроник.

[150] *Гобелин* (Гобелинус; Gobelinus) Персон (1358–1421) — немецкий историк; автор всемирной истории «Cosmodromium» (доведена до 1418 г.).

[151] *Светоний* Гай Транквилл (Gaius Suetonius Tranquillus) (приблизительно между 75 и 160 н. э.) — римский писатель, историк и ученый-энциклопедист; автор труда «Vitae XII imperatorum» («Жизнь двенадцати цезарей») — от Юлия Цезаря до Домициана (около 120 г. н. э.).

[152] *Эингарт* (Эйнгард, Einhard) (ок. 768–840) — автор биографии Карла Великого, воспитывался в Фульдском монастыре в Тюрингии, затем жил при дворе Карла Великого в Аахене, при Людовике Благочестивом стал доверенным лицом и секретарем императора и воспитателем его сына Лотаря. Около 830 г. он покинул двор и остаток жизни провел в основанном им монастыре в Зелингенштадте; главное произведение — «Жизнь Карла Великого» (время написания является спорным, но, видимо, она была написана в период, когда Эйнгард состоял при дворе Людовика Благочестивого). Писал на литературной латыни под влиянием биографий римских императоров Светония, у которого заимствовал композицию, что заставило его осветить такие темы, которые не затрагивались обычно современными ему авторами; использовал различные письменные источники; допускал многочисленные искажения своего материала ради

того, чтобы прославить Карла, представить его деятельность в наилучшем свете (например, он приписывал Карлу завоевания его отца). В Средние века сочинение Эйнгарда пользовалось популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные списки его труда и подражания.

[153] *Навуходоносор* — халдейский царь Вавилонии (605–562 до н. э); известен как величайший правитель Нововавилонской империи; в период своего царствования отстроил Вавилон, и сделал его одним из чудес света.

[154] *Ипполит* (Hippolytus) Римский (ок. 170 — ок. 235) — епископ, раннехристианский богослов; святой римско-католической и православной церквей.

[155] *Ориген* (*греч.* Ωριγένης, *лат.* Origenes Adamantius) (ок. 185–254) — греческий христианский теолог, философ, представитель ранней патристики; наставник древней христианской богословской школы в Александрии (203–231), затем — настоятель основанного им в 232 г. монастыря в Кесарии (Палестина).

[156] *Евсевий Кесарийский* (ок. 260–339) — епископ; христианский богослов, один из Отцов церкви.

[157] *Иероним* Евсевий Софроний (Eusebius Sophronius Hieronymus) (342–419/420) — богослов, создатель канонического латинского текста Библии; один из учителей Церкви.

[158] *Слейдан* (Sleidanus) Иоганн (1506 или 1508–1556) — историограф; автор фундаментального труда по истории Реформации «Commentariorum de statu religionis et reipublicae, Carolo V Caesare, libri XXVI» (1545–1554), а также работ: «De quattuor summis imperiis» (1556), «Summa doctrinae Platonis de republica et de legibus» (1548).

[159] *Григорий Турский* (Gregorius Turonensis) (540–594) — епископ, автор самого первого дошедшего до нас исторического произведения государства франков в десяти книгах, которое условно именуют «Историей франков» или «Церковной историей франков». Написано на латыни, на которой говорили в его время в Галлии; история излагается от сотворения мира (кратко) и до 591 г. Григорий был современником большей части описываемых событий, но использовал и разнообразные письменные источники.

[160] «...зависимость произведения от самой личности, характера, отдельных обстоятельств...» (*фр.*).

[161] *Аттик* Тит Помпоний (Titus Pomponius Atticus) (109–32 до н. э.) — римский писатель; известен по «Epistolae ad Atticum» Цицерона в 16 книгах.

[162] Вероятно, имеется в виду Целий Антипатр (Caelius Antipater) (180–120 до н. э.) — римский анналист эпохи Гракхов, составитель истории Второй Пунической войны.

[163] *Дион* Кассий (Díon Kássios Kokkeïanós) (между 155 и 164 — после 229) — древнегреческий историк; автор труда «Римская история» (в 80 книгах), построенного по принципу анналов (по консулам) и охватывающего историю Рима с древнейших времен до 229 г.

[164] Синекдоха — вид тропа, употребление слова в переносном значении, а именно — замена слова, обозначающего известный предмет или группу предметов, словом, обозначающим часть названного предмета или единичный предмет.

[165] Энтинема — неполно приведенный аргумент, недостающие части которого подразумеваются очевидными; предложение с опущенной посылкой.

[166] *Гюго* (Hugo) Виктор (1802–1885) — французский писатель, драматург; лидер романтического движения во Франции.

[167] «Если перед ним писатель или художник, он заключает, что тот, вероятно, принадлежит к определенной народности, определенному окружению и определенному времени; потом, когда он ухватил главную особенность его (писателя или художника. — *Сост.*) индивидуальности, он выводит из нее все поступки и все его произведения» (*фр.*).

[168] «Германия» — произведение Тацита, законченное им в 98 г. н. э. и содержащее описание быта и общественного устройства германцев, а также (во второй части) рассказ об отдельных германских племенах; является одним из основных источников сведений о жизни германцев до Великого переселения народов.

[169] *Фридрих I* (1122–1190) — герцог Швабский, император Священной Римской империи; прозвище Барбаросса получил из-за рыжей бороды.

[170] «Несправедливо судить или держать ответ по одной небольшой статье, не ознакомившись со всем законом» (*лат.*).

[171] *Фридрих II* Великий (1712–1786) — король Пруссии из династии Гогенцоллернов (1740–1786); один из главных представителей «просвещенного абсолютизма».

[172] *Шатобриан* (Chateaubriand) Франсуа Рене (1768–1848) — французский писатель, один из основоположников романтизма в европейской литературе.

[173] *Ронсар* (Ronsard) Пьер де (1524–1585) — французский поэт, крупнейший представитель французского Ренессанса.

[174] *Фидий* (ок. 490 — ок. 430 до н. э.) — древнегреческий скульптор, создатель статуи Зевса в Олимпии, признанной одним из семи чудес Древнего Мира.

[175] Свод законов Российской империи (в 15 томах) подготовлен под руководством М. М. Сперанского II Отделением собственной его императорского величества канцелярии; впервые издан в 1832 г.; включал действующие законодательные нормы.

[176] *Сперанский* Михаил Михайлович (1772–1839) — российский государственный деятель, реформатор; с 1826 г. фактически руководил кодификацией законов Российской империи.

[177] «Исповедь» — философское автобиографическое произведение Ж. Ж. Руссо (1712–1778), впервые опубликована в 1781–1788 гг.

[178] Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», опубликованный 23 марта 1714 г., регламентировал правовой статус дворянства; юридически закреплял слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье.

[179] «...без непосредственного рассмотрения» (*нем.*).

[180] Обнаруженное противоположение; говорится нечто противоположное (мысли говорящего) (*лат.*).

[181] Литота (*лат.* litotes, литотес) — вид тропа, мнимоуничижительное выражение, используемое для еще большего возвеличивания предмета через уничижение.

[182] *Данте* (Dante) Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, родом из Флоренции, принадлежал к городской знати среднего достатка; поэма «Божественная комедия» — главное произведение Данте — была написана в 1308–1321 гг.; наименование «комедия» использовано автором в соответствии со словоупотреблением его времени, когда комедией называли поэтическое произведение сниженного стиля, написанное на народном языке; эпитет «божественная» был введен в название позже Джованни Боккаччо.

[183] *Ибсен* (Ibsen) Генрик (1828–1906) — норвежский драматург.

[184] «...первые в критике, по словам Скалигера, у греков — это Аристофан, Кратет, Аристарх, Каллимах... известнейшие критики у латинян — Варрон, Сантра, Сизенна...» (*лат.*).

[185] «О возвышенном» (*греч.*).

[186] Вульгата (Vulgata) — латинский перевод Библии, осуществленный блаженным Иеронимом (ок. 345–420), затем дополненный и исправленный в разное время.

[187] «Константинов дар» — фальшивка, изготовленная в папской курии во второй половине VIII в. (возможно, в 753 г.); старейший список относится к XI в. «Константинов дар» утверждал верховную светскую власть римских

пап над Западной Европой. В XV в. подложность этого документа была доказана итальянским гуманистом Лоренцо Валла.

[188] «Лжеисидоровы декреталии» названы так по псевдониму их составителя Исидора Меркатора; были составлены в середине IX в. в церковных кругах Каролингской империи, предположительно — в Реймском архиепископстве. Исидор Меркатор в своем сборнике подлинных папских декретов добавил довольно много фальшивых, цель которых состояла в том, чтобы укрепить власть франкских епископов и освободить их от светского суда; подделка была вскоре официально признана в западной и восточной частях франкской империи, а также папством.

[189] «...задача исторической критики... состоит в том, чтобы конструировать факты из описаний и, стало быть, выяснить, как описание соотносится с фактом» (*нем.*).

[190] «Интуитивная» критика; критика, основанная на догадке (*нем.*).

[191] Эльзевир (Elsevier или Elzevier) — семья голландских типографов-издателей XVI–XVII столетий.

[192] Древнейшая дошедшая до нас венгерская хроника — «Деяния венгров» анонимного нотариуса короля Бэлы («Anonymi Belae regis notarii gesta ungarorum»); ученые до сих пор спорят о том, при ком из четырех венгерских королей по имени Бэла было создано это произведение.

[193] Диспартный — взаимно несовместимый.

[194] «Федон» — диалог Платона (428/427–348/347 до н. э.), входящий вместе с диалогами «Федр» и «Пир» в группу диалогов, представляющих учение Платона об идеях. Диалог — основная форма философских сочинений Платона; далее автор упоминает и другие диалоги философа, посвященные, в частности, проблемам политики и проч.

[195] «Политика» — произведение Аристотеля (384–322 до н. э.), в котором дан подробный анализ государственной и общественной жизни Древней Греции, а также описание и классификация различных форм государственного правления, обоснование теории о том, что аристократия и монархия являются лучшими из них.

[196] «Диалог об ораторах» был написан Тацитом около 102 г. и содержит рассуждения о причинах упадка ораторского искусства, а также о стихосложении и риторике.

[197] В данном случае речь идет о Лангобардии (современная Ломбардия) — область на севере Италии, между Альпами и долиной реки По.

[198] *Саксон Грамматик* (Saxo) (1150–1216) — предположительно клирик, приближенный Абсалона, архиепископа Лундского — автор сочинения «Historia Danica» («Gesta Danorum») — изложения истории Дании с древнейших времен до 1185 г., в котором использованы многочисленные легенды и саги.

[199] *Босх* (Bosch) Иероним (ок. 1450–1516) — фламандский художник.

[200] *Георгий Амартол* (Georgios Amartolos, Георгий Монах) — византийский хронист IX в.; «Хроника» Георгия Амартола завершена около 867, охватывает период от «сотворения мира» до 842 г.

[201] «История Пелопонесской войны» Фукидида (в 8 книгах) считается одной из вершин греческой историографии. Фукидид считал своей главной задачей достижение точности в передаче исторических фактов, а не литературное совершенство своего труда. Фукидид — родоначальник так называемой прагматической историографии, уделяющей основное внимание причинам событий и взаимосвязям между ними.

[202] Следует помнить, что большинство античных письменных источников известно только по средневековым рукописям.

[203] *Диоген Лаэртский* (Diogénes) (конец II — первая половина III в.) — древнегреческий историк философии; автор 10-томного историко-философского исследования (около 220 г.), содержащего биографические и доксографические сведения об античных философских школах и их представителях.

[204] Имеются в виду «Комментарии о войне римлян с галлами», приписываемые Юлию Цезарю.

[205] *Гирций* Авл (Aulus Hirtius) (ок. 90–43 до н. э.) — римский государственный и военный деятель, историк; приблизительно с 54 г. до н. э. служил в Галлии под началом Юлия Цезаря.

[206] *Эккегард* (Эккехард; Ekkehardus) (?–1125) — немецкий хронист, аббат монастыря Аура (близ Бамберга), автор хроники первого крестового похода и большой всемирной хроники (доведенной до 1125 г.), в которой проявляется интерес не только к немецким событиям и просматриваются элементы исторической критики; хроника Эккехарда из Ауры пользовалась большой популярностью и в частности послужила основой для хроники Оттона Фрейзингенского (см. комм. 126).

[207] Аверроизм — направление в философии XIII–XVI вв., развивавшее идеи арабского мыслителя Ибн Рушда (Аверроэса), в том числе учение о двойственной истине; возник в Парижском университете, противостоял как августианству, так и томизму.

[208] «...недостаточность почерка в качестве доказательства подлинности» (*фр.*).

[209] *Сигер Брабантский* (Siger de Brabant) (ок. 1235 — ок. 1282) — средневековый философ, один из основателей западноевропейского аверроизма; профессор факультета искусств Парижского университета. Автор трактатов «О разумной душе», «О вечности мира», «Невозможное», «О необходимости и взаимосвязи причин», а также комментариев к сочинениям Аристотеля; сформулировал учение о двойственной истине.

[210] Лоршский монастырь вблизи Вормса — первоначальный центр Каролингской анналистики. «Малые Лоршские анналы» были составлены в начале VIII в. и продолжены до 817 г.; что касается так называемых «Больших Лоршских анналов», то они писались не в этом монастыре, а при дворе Карла Великого (их часто называют «Королевскими анналами» или «Франкскими анналами»). Этот источник очень сложен по своему составу; существуют различные точки зрения об авторах этого памятника, одна из которых атрибутирует анналы Эйнгарду (см. комм. 152). Что интересно, для текста за 741–801 гг. существуют две параллельные редакции памятника, причем во всех рукописях они следуют одна за другой, вторая редакция дополняет первую; часть 801–829 гг. писалась год за годом, причем над ее составлением, очевидно, последовательно работали несколько лиц, не менее пяти, что видно из языка и из анализа рукописной традиции (в различных рукописях текст обрывается на разных годах).

[211] *Альберт Саксонский* (Albertus de Saxonia) (ок. 1316–1390) — епископ, философ-номиналист, логик, математик, естествоиспытатель; «Quaestio Alberti de Saxonia de quadratura circuli» («Вопрос Альберта Саксонского о квадратуре круга»); «Item alia quaestio de preportione dyametri quadrati ad costam ejusdem» («Того же другой вопрос об отношении диагонали квадрата к его стороне»).

[212] Свойственно дать (*лат.*).

[213] Datum, actum (*лат.*) — устойчивые обороты формуляра латинских грамот; соответствует русскому «дано» в конструкции типа «дано в царствующем граде Петра ... года ... месяца в ... день»; obiit (*лат.*) — применительно к летописи — «умер, преставился», буквально «вышел, отошел».

[214] *Экхегард* (Ekkehard) (конец XI — первая половина XII в.) — средневековый хронист; составитель обширной всемирной хроники, доведенной до 1125 г.

[215] Здесь и далее А. С. Лаппо-Данилевский упоминает выводы А. А. Шахматова (1864–1920) об истории русского летописания; работы Шахматова, лингвиста и источниковеда, о русских летописях (создававшиеся в течение 1880-х — 1910-х гг.) произвели настоящий переворот в изучении этих текстов. Он, с одной стороны, впервые подверг сплошному изучению и сопоставлению весь массив доступных ему летописных памятников, а с другой — применил к летописанию сравнительно-текстологическую методику, оказавшуюся здесь необыкновенно продуктивной; это позволило Шахматову создать схему соотношения всех дошедших до нас летописей XIV–XVI вв. и реконструировать историю русского летописания начиная с XI в. Его построения сохраняют свою научную значимость и по сей день, являются отправной точкой для всех современных работ о летописании, даже несмотря на то, что многие из конкретных выводов ученого были оспорены.

Пример, приведенный Лаппо-Данилевским, не вполне удачен. Все три названных ученым свода являются сугубо гипотетическими конструктами; летописание XI в. не поддается изучению с помощью сравнительно-текстологической методики, и в реконструкции указанных сводов Шахматов был вынужден опираться лишь на отдельные наблюдения, что и обусловило неодинаковое отношение к вопросу о существовании указанных сводов среди последующих исследователей.

[216] *Сарто* (Sarto) Андреа дель (1486–1531) — итальянский художник флорентийской школы.

[217] *Романо* Джулио (Giulio Romano; настоящее имя — Джулио Пиппи [Giulio Pippi]) (1492 или 1499–1546) — итальянский художник, архитектор и рисовальщик; один из самых знаменитых учеников Рафаэля.

[218] *Вазари* (Vasari) Джорджо (1511–1574) — итальянский архитектор, живописец, историк искусства, представитель маньеризма; автор жизнеописаний итальянских художников (1550).

[219] *Титмар Мерзебургский* (Thietmar von Merseburg) (975–1018) — германский хронист; епископ Мерзебургский с 1009; родственник императоров Саксонской династии германских королей (919–1024) и императоров Священной Римской империи (с 962); автор хроники, охватывающей период с правления Генриха I до 1018.

[220] *Бальди* (Baldi) Бернардино (1553–1617) — итальянский ученый, поэт.

[221] *Леонардо да Винчи* (Leonardo da Vinci) (1452–1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, анатом, математик, физик, естествоиспытатель, наиболее яркий представитель типа «универсального человека» (*лат.* homo universale) — идеала итальянского Ренессанса; один из крупнейших деятелей искусства Высокого Возрождения.

[222] Исполненный (божественного) вдохновения, боговдохновенный (*греч.*).

[223] Неоплатонизм — завершающий период в истории античного платонизма; основоположение — учение Плотина (204–269). Характерные черты: учение об иерархически устроенном мире, порожденном от запредельного ему первоначала, проблема «восхождения» души к своему истоку, разработка практических способов единения с божеством на основе язы-

ческих культов, чем обусловлен интерес к мистицизму, пифагорейской символике чисел.

[224] В текстологии: рецензия — критика; эмендация — исправление текста.

[225] Схолия (*греч.* schólia) — пояснительные заметки на полях античных (греческих) и средневековых рукописей; впервые встречается у Галена (II в. н. э.).

[226] *Полигнот* — греческий живописец V в. до н. э., периода ранней классики.

[227] Вероятно, имеется в виду Беда Достопочтенный (Bede, Beda, Baeda Venerabilis) (672/673 — ок. 735) — англосаксонский летописец, монах; писал на латинском языке; автор сочинения «Церковная история народа англов», охватывающего период от походов в Британию Юлия Цезаря (55 и 54 до н. э.) до 731 г.

[228] Так называемая «карта Певтингера» — копия (приблизительно XII–XIII вв.) римской карты Европы, Африки и Азии с нанесенными на нее дорогами, городами и расстояниями между ними. Составление ее оригинала связывают с именем римского географа Кастория (II–III в), который, по-видимому, восходит к карте Агриппы I в. до н. э., обнаруженной в начале XVI в. в Аугсбурге, названа по имени публикатора Конрада Певтингера.

[229] *Август* (Augustus) Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император.

[230] *Траян* Марк Ульпий (Marcus Ulpius Traianus) (53–117) — римский император.

[231] *Константин I* (Flavius Valerius Constantinus) Великий (288?–337) — римский император. Его сыновья: Константин II (314–340), Констанций (323–361), Констанс.

[232] Дакия (Dacia) — историческая область Римской империи.

[233] *Юстиниан* (Iustinianus) (482–565) — римский император.

[234] По иронии судьбы одно из самых ярких построений А. А. Шахматова — общерусский свод 1423 г. («Полихрон Фотия») — оказалось и одним из самых недолговечных; последующие исследования показали, что текстологические факты, на которые опирался Шахматов, утверждая существование этого свода, имеют другое объяснение и, следовательно, гипотеза о существовании этого свода является избыточной.

[235] *Павел Диакон* (Paulus Diaconus) (ок. 720–799) — историк лангобардов; происходил из знатного лангобардского рода; состоял на службе при дворе лангобардских королей, затем монах монастыря Монтекассино (Италия); в находился 782–786 гг. при дворе Карла Великого. Автор «Истории лангобардов», доведенной до 744 г.; при ее составлении использовал устные предания, письменные источники, свидетельства современников.

[236] Имеется в виду «Повесть временных лет» — памятник киевского летописания конца XI или XII в.; ее текст составляет начальную часть едва ли не большинства дошедших до нас русских летописей. Древнейшие из сохранившихся рукописей, содержащих в себе «Повесть временных лет», можно разделить на две группы: «северную» (старейший список — Лаврентьевский, 1377 г.) и «южную» (старейший список — Ипатьевский начала XV в.).

[237] «Второй Киево-Печерский (Начальный) свод» — также реконструируемый А. А. Шахматовым свод XI в., отразившийся, по мнению ученого, в новгородских летописях и легший в основу «Повести временных лет».

[238] Городские хартии или «конституции» — договоры между сеньорами и городами, фиксировавшие их взаимоотношеня, права и вольности горожан; некоторые из них получили чрезвычайно широкое распространение и присваивались одновременно многим городам и местечкам: так, Лорисская хартия (первая половина XII в.) была принята почти во всех городах королевского домена и в ряде мест вне его, Бомонская хартия (1182 г.) была присвоена более чем пятистам городам и селам в Северо-Восточной Франции, «Руанские установления» (между 1160 и 1170 гг.) были присвоены многим нормандским и аквитанским городам, и т. п.

[239] *Тит Ливий* (Titus Livius) (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк; автор «Истории Рима от основания города» (см. комм. 111).

[240] *Дионисий Галикарнасский* (вт. пол. I в. до н. э.) — древнегреческий историк и ритор; автор труда «Римские древности» (20 книг, на греч. яз.), охватывающий период с мифических времен до начала 1-й Пунической войны.

[241] *Плиний Старший*, Гай Плиний Секунд (Gaius Plinius Secundus, Maior) (23/24–79) — римский писатель, ученый и государственный деятель; автор трудов «Естественная история» (в 37 книгах), «Германские войны» (в 20 книгах), «Продолжение истории Ауфидия Басса» (в 31 книге; изложение событий 41–71: правление Клавдия, Нерона и гражданская война после смерти Нерона), «Жизнеописание Помпония Секунда» (в 2 книгах). Эти сочинения до нас не дошли, но были использованы в исторических сочинениях Тацита.

[242] *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий философ, биограф, автор труда «Сравнительные жизнеописания знаменитых граждан Греции и Рима» (46 параллельных биографий греков и римлян). См. также комм. 433.

[243] «Выше уже было подчеркнуто, что Германское гражданское уложение является усовершенствованием существующего права и опирается на него по возможности даже тогда, когда дает новые предписания» (*нем.*). BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) — Германское гражданское уложение (1896).

[244] «Великое Зерцало» — сборник средневековых нравоучительных рассказов (материал житийной и апокрифическо-легендарной литературы, а также светской литературы — повествовательной и анекдотической, восточно-византийского и западноевропейского происхождения), составленный, по-видимому, в эпоху Возрождения. Переведен в сокращенном виде с польского на русский язык в Москве в 1677 г. по приказанию царя Алексея Михайловича; польский оригинал сборника является переводом с латинского 1605 г.

[245] Пролог — славяно-русский церковно-учительный сборник, широко распространенный в Древней Руси; прототипом для него послужили греческие Минологии и Синаксарии — сборники кратких житий, расположенных по памятям святых и празднуемых церковью событий в течение всего года, из месяца в месяц.

[246] Патерики — в византийской аскетической литературе так называли сборники, состоящие или из кратких повестей о подвижниках какой-нибудь знаменитой обители, или из кратких аскетически-нравоучительных слов этих отцов, или же из тех и других; в Древней Руси были распространены как переводные патерики, так и оригинальные, из которых наиболее известен Киево-печерский.

[247] Синодик — книга, куда записываются имена умерших для поминовения.

[248] *Катт* (Catt) Анри Александр (1725–1795) — родом из Швейцарии; с 1758 г. чтец и частный секретарь при Фридрихе Великом; оставил дневники за время Семилетней войны; автор «Мемуаров», охватывающих 1758–1760 гг. и написанных на рубеже 1780–1790-х гг.

[249] Вероятно, имеется в виду Порфирий (232 — ок. 305) — античный философ-неоплатоник, ученик Плотина; автор философских, астрологических и исторических сочинений.

[250] *Гекатей* (? — ок. 500 до н. э.) — родом из Милета, один из ближайших предшественников и литературных источников Геродота; автор трудов «Землеописание», «Генеалогии».

[251] *Матвей Парижский* (Matthieu) (?–1259) — преемник Роджера (см. комм. 252), один из наиболее выдающихся английских хронистов; учился в Парижском университете, а в 1217 г. вступил в Сент-Ольбанский монастырь; Матвей был близок к Генриху III, бывал при дворе, путешествовал по Англии и в Норвегию, переписывался со многими европейскими деятелями своего времени. Матвей исправил и дополнил хронику Роджера, а также довел ее до 1259 г., дополнив ее сборником документов («Большая хроника» или «Большая история»); автор «Малой истории» (за 1067–1253 гг.).

[252] *Роджер Вендовер* (Roger) (?–1236) — английский хронист, автор хроники «Цветы истории», созданной на основе анналов Сент-Ольбанского монастыря и доведенной до 1236 г.

[253] «...ложь есть изменение истины, сделанное из коварства или по другим причинам» (*лат.*).

[254] Так называемая «тиара царя Сайтоферна», правившего скифскими племенами около 200 г. до н. э. и якобы получившего эту драгоценную корону в дар от жителей древнегреческого города Ольвия, была приобретена Лувром в конце XIX в.

[255] Митридат (Митрадат) — древневосточное имя, особенно часто встречающееся среди царей и князей понтийских, парфянских и босфорских; наиболее известен понтийский царь Митридат VI Великий Эвпатор (132–63 до н. э.); по-видимому, именно его имел в виду автор.

[256] «...указывая условия, отличные от тех, которые были написаны или продиктованы сторонами» (*фр.*).

[257] Falschbeurkundung — заведомо ложное подтверждение обстоятельства в документе (оформленном в нотариальном или судебном порядке) (*нем.*).

[258] Urkundenfälschung — подлог (подделка) документа (*нем.*).

[259] *Пипин III Короткий* (Pippinus Brevis, Pépin le Bref) (714–768) — король франков (751–768); первый король из династии Каролингов.

[260] *Карломан II* (Carloman) (866–884) — король Западно-Франкского королевства (Франции) (879–884), из династии Каролингов.

[261] *Филипп I* (Philippe) (1052–1108) — король Франции (1060–1108) из династии Капетингов.

[262] *Бернард Клервосский* (Bernard de Clairvaux) (1090–1153) — аббат основанного им монастыря Клерво; автор многочисленных богословских трудов мистического характера, святой римско-католической церкви.

[263] *Дагоберт I* (Dagobert) (ок. 605–639) — король франков (629–639) из династии Меровингов.

[264] *Розьер* (Rozière) Эжен (1820–1896) — французский архивист и историк права; был генеральным инспектором департаментских архивов; автор трудов: «Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V au X siècle» (1859–71) «De l'histoire du droit en général et du grand coutumier de Normandie» (1867), «Dissertations sur l'histoire et le droit ecclésiastique» (1869), «Liber diurnus» (1869).

[265] *Макферсон* (Macpherson) Джеймс (1736–1796) — шотландский поэт; в 1760 г. анонимно издал «Отрывки старинных стихотворений, собранных

в горной Шотландии и переведенных с гэльского языка», затем — героические поэмы «Фингал» (1762) и «Темора» (1763); впоследствии объединил их с «Отрывками» в «Сочинения Оссиана, сына Фингала, переведенные с гэльского языка Джеймсом Макферсоном» (1765), выдав их за переведенные с гэльского поэмы Оссиана (III век).

[266] Палимпсест — пергамен, с которого стерто или смыто написанное, чтобы пользоваться им вновь; особенности материала позволяют восстановить стертый текст; таким образом были открыты многие памятники письменности.

[267] *Санхуниафон* — древнефиникийский мудрец, жрец и писатель, живший, по характеристике авторов классического периода (Свида, Евсевий, Афиней и др.), в Тире «до Троянской войны»; автор труда «Финикийская история», дошедшего до нас в извлечениях.

[268] Птолемеи — династия правителей Египта в IV–I вв. до н. э., в эпоху эллинизма; основана диадохом Александра Македонского Птолемеем I.

[269] Терракота — общее название изделий из обожженной глины, а также элементы архитектурного декора и скульптуры из этого материала.

[270] «...мне представляется подлинным на основании почерка» (*итал.*).

[271] Lupersi — волки (*лат.*); в Древнем Риме существовал праздник «волков», отмечаемый пастухами в честь Луперка, одного из наименований Фавна как бога-хранителя стад.

[272] «...прежде всего, оценивая, является ли какая-нибудь история заслуживающей доверия или нет, я бы не стал выяснять, написано ли это современником, или кем-то, кому это было заказано, описываемых событий, но было ли это написано кем-то, кто любит правду всем сердцем и не может терпеть ошибки. Такой человек, мы можем быть уверены, никогда не попытался бы писать историю, если он не имел средств писать правдиво; и следовательно, несмотря на временную или пространственную дистанцию, или и на ту, и на другую, от события, которое он описывает, все же мы можем быть убеждены, что он имел источники надежной информации в своем распоряжении или, в противном случае, что он никогда бы не писал вообще...» (*англ.*).

[273] *Тюренн* (Turenne) Анри де Ла Тур д'Овернь (1611–1675) — виконт, французский полководец, в 1660 г. был удостоен высшего воинского звания главного маршала (maréchal-général des armée), внук Вильгельма I Оранского.

[274] *Флодоард* (Flodoárdus) (894–966) — реймский каноник; автор анналов, начатых им в 919 г. и доведенных до 965 г.; его записи по своему характеру приближаются к дневниковым; его же авторству принадлежит «История Реймской церкви» (до 948 г.). Записи Флодоарда были продолжены Рихером (ум. ок. 998), который создал «Историю» (события за 882–998 гг.), в основе которой лежал текст Флодоарда, обработанный в прокаролингском духе. Часть, написанная самим Рихером, отличается краткостью и базируется главным образом на слухах.

[275] *Ламберт* (Lambert) (ум. в 80-х гг. XI в.) — автор Герсфельдских анналов, в которых, в частности, освещается история борьбы за инвеституру; автор убеждал читателей в правоте папы и полной виновности Генриха IV.

[276] Битва в Тевтобургском лесу — сражение 9–11 сентября 9 г. между войском германцев под предводительством Арминия и римской армией Публия Квинтилия Вара. Сражение привело к освобождению Германии из-под власти Римской империи и стало началом длительной войны империи с германцами.

[277] Limes или limes imperii Romani (*лат.* дорога, рубеж) — линия укреплений, состоявшая из широкого и высокого вала, на границе Римской империи.

[278] Castra praetoria — укрепленный лагерь преторианцев (привилегированная часть римского войска) в Риме, возведенный императором Тиберием.

[279] *Арминий* (Arminius) (18 или 16 до н. э. — 19 или 21 н. э.) — вождь германского племени херусков, возглавлявший войско германцев в битве в Тевтобургском лесу.

[280] Мас-д'Азиль (Mas-d'Azil) — пещера на юге Франции (департамент Арьеж), давшая название Азильской культуре — археологической культуре каменного века, относящейся к раннему мезолиту (датируется в основном 8-м тыс. до н. э.); выделена французским археологом Э. Пьетом в 1887–1889 гг.; характеризуется мелкими кремневыми орудиями: вкладышами геометрических очертаний (микролиты), плоскими гарпунами из рога благородного оленя и т. н. азильскими гальками — маленькими плоскими речными гальками, преимущественно из кварцита, с нанесенными красной охрой условными рисунками.

[281] *Стефан II* (Stephanus) (752–757) — папа римский, пользовался поддержкой короля франков Пипина (751–768) против лангобардов.

[282] Договор в Кьерси о помощи короля франков Пипина Короткого в борьбе против лангобардов был заключен в 753 г. между ним и папой Стефаном II, который обратился за помощью к Пипину Короткому после захвата лангобардами Равенны в 751 г.

[283] *Фредегар* (Fredegarius) — предположительно хронист VII в., с XVII в. этим именем обозначают автора обширной компиляции и франкской хроники, относящейся к VII в. Хроника составлена из переписанного

или сокращенного текста различных римских и франкских сочинений (хроники св. Иеронима, хроник Идация, Исидора Севильского, Григория Турского) и оригинальной хроники, охватывающей события франкской истории от 584 до 642 г. с некоторыми дополнениями на более поздние годы (652–664).

[284] *Аистульф* (Айстульф; Haistulfus) (?–756) — король лангобардов (с 749 г.); посольство к королю Айстульфу папы Стефана II (см. комм. 281) связано со стремлением отстоять папство от нападений лангобардов, вернуть завоеванные земли; договориться с Айстульфом не удалось и Стефан II обратился за помощью к Пипину, королю франков.

[285] *Александр Македонский*, Великий (Aléxandros ho Mégas) (356–323 до н. э.) — царь Македонии (с 336), один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира, завоеватель, создатель империи.

[286] *Арриан* (Arrianus) (ум. ок. 180) — древнегреческий писатель, ученик Эпиктета, автор труда «История походов Александра Великого».

[287] *Меша* (Меса) — моавитский царь, упоминаемый в Библии (IV Книга Царств, 3, 4); государство Моав существовало с конца второго тысячелетия до н. э. до второй половины первого тысячелетия до н. э. на юге современной Иордании.

[288] IV Книга Царств. 3, 4–27. Моавитский камень (открыт немецким миссионером Клейном в 1868 г. в Дибане — библейский Дибон — местности к востоку от Мертвого моря, в области древнего Моава) — один из древнейших и письменных памятников Палестины (IX в. до н. э.) и семитической эпиграфики; относится ко времени моавитского царя Меши. В надписи упоминается имя древнееврейского бога Яхве и описываются войны моавитян с соседними племенами.

[289] *Иван Грозный* (1630–1584) — первый русский царь (с 1547).

[290] *Людовик IX Святой* (1214–1270) — король Франции (с 1226).

[291] *Жуанвилль* (Жуанвиль; Joinville) Жан (1225–1317) — французский хронист, участник седьмого крестового похода; мемуары Жуанвиля «Книга о святых речах и добрых деяниях Людовика Святого» составлены в два приема — около 1274 г. (о крестовом походе) и в конце XIII в.

[292] *Маргарита Прованская* (Marguerite) (1221–1295) — жена Людовика IX Святого.

[293] Пасхальные анналы — наиболее ранняя форма анналов. Возникли из записей на краях пасхальных таблиц, которые велись в монастырях; позднее эти записи собирали, дополняли, и они превращались в самостоятельные произведения.

[294] *Комин* (Commynes, Comines) Филипп де (1447–1511) — французский государственный деятель, был на службе французского короля Людовика XI, автор «Мемуаров» (охватывают период 1464–1498 гг.;), первого подобного памятника нового времени. В «Мемуарах» даны реалистические портреты государственных деятелей, особенно Людовика XI; опубликованы в 1524 г., и именно с их публикацией появилось само понятие «мемуары».

[295] «Существуют вопросы, одной формы которых уже достаточно, чтобы превратить их в сильнейшие механизмы внушения» (*фр.*).

[296] *Меттерних* (Metternich) Клеменс (1773–1859) — князь, австрийский политический деятель; в 1809–1848 гг. министр иностранных дел; вдохновитель «Священного Союза». Собрание его писем, автобиография и некоторые документы изданы его семьей под заглавием: «Denkwürdigkeiten» (на французском в 1879 г., немецком в 1880–1884 гг.).

[297] Сражение при Бауцене (город в Саксонии) 20–21 мая 1813 г. русских и прусских войск с войсками Наполеона, приведшее к отступлению союзников к Одеру и перемирию 4 июня; его также называют сражением при Вуршене.

[298] *Кутузов* (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович, князь Смоленский (1745–1813) — русский полководец, генерал-фельдмаршал, дипломат; после нашествия Наполеона на Россию был назначен начальником Санкт-Петербургского, а затем и Московского ополчения; с 8 (20) августа 1812 — главнокомандующий российской армией.

[299] *Ермолов* Алексей Петрович (1777–1861) — российский военный и государственный деятель; после вторжения Наполеона в Россию стал 1 (13) июля 1812 г. начальником штаба Первой армии М. Б. Барклая-де-Толли; участник основных событий Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода; по возвращении в Россию в 1816 назначен командиром Отдельного Грузинского (позже Кавказского) корпуса и одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Персии; осуществлял общее руководство военными действиями на Кавказе.

[300] *Липранди* Иван Петрович (1790–1880) — генерал, военный историк; автор трудов «Бородинское сражение»; «Восточный вопрос и Болгария» и др.

[301] Argumentum ex silentio — довод по умолчанию (*лат.*).

[302] Маккавеи (от *евр.* makkabi — «молот») — первоначально прозвание Иуды Маккавея, потом распространенное на всех защитников и исповедников веры во время гонений Антиоха Епифана (175–164 гг. до н. э.) и шире во II–I вв. до н. э.

[303] *Сигелий* Георгий (XVI в.) — автор труда «Sinopsis historiae Jes. Christi» (1585), ввел термин «синоптические евангелия» (от Матфея, Марка и Луки).

[304] Алеманны или аламанны (от *герм.* alle manner — «все люди», Alemanne) — германский союз племен, в который вошли племена из распавшихся ранее союзов свебов и маркоманнов, а также пришедшие с севера ютунги; позже известны как швабы, давшие название исторической области Германии Швабии.

[305] *Каракалла* (Caracalla) (186–217) — римский император (211–217) из династии Северов, безуспешно воевал с алеманнами.

[306] *Аммиан* Марцеллин (Ammianus Marcellinus) (ок. 330 — ок. 395) — историк поздней Римской империи, по происхождению грек; автор истории Римской империи (в 31 книге) от царствования Нервы (96–98) до битвы при Адрианополе (378); т. е. его сочинение продолжает историю Рима с момента, которым завершил свою «Историю» Тацит.

[307] *Констанций II* (Constantius) — римский император (317–361), второй сын Константина Великого.

[308] *Юлиан* Флавий Клавдий (Flavius Claudius Julianus) (332–363) — римский император, сын Юлия Констанция, сводного брата Константина Великого, двоюродный брат Констанция II.

[309] *Элий Спартиан* (*лат.* Aelius Spartianus) — один из авторов «Истории Августов» (Historia Augusta) — позднее название (дано Исааком де Казобоном в 1603 г.) сборника биографий римских императоров от Адриана до Карина и Нумериана (с 117 по 284 гг.)

[310] *Аврелий Виктор* Секст (Sextus Aurelius Victor) — римский историк IV в.; при императоре Юлиане (в 361) управлял провинцией Нижняя Паннония; в 392/393 гг. был префектом Рима; автор труда «Книги о цезарях» (около 360 г.), содержащего краткие биографии римских императоров от Августа до Констанция II (до 360).

[311] *Дион Хризостом* (т. е. Златоуст) (ок. 50 — начало II в.) — греческий ритор и философ, дед Диона Кассия (см. комм. 162), по философским взглядам близок к учению стоиков; автор труда «Getica» (не сохранился) — описание гетов, живших по северному берегу Черного моря. До нашего времени сохранились 80 речей Диона — рассуждения философского и политического содержания, изложенные в изящной форме.

[312] *Дмитрий Иванович* (1582–1591) — младший сын Ивана IV Грозного от седьмой жены Марии Нагой, погиб в результате несчастного случая (по другим версиям — был убит) в Угличе 15 мая 1591 г. «Следственное дело о убиении Царевича Дмитрия Иоанновича, произведенное в Угличе, по повелению Государя Царя Федора Иоанновича, Боярином Князем Василием Ивановичем Шуйским, Окольничим Андреем Петровичем Клешниным и Дьяком Елизарием Вылузгиным (1591 г.).» сохранилось, опубликовано.

[313] «Смутное время», «Смута» — принятое в историографии наименование периода конца XVI — начала XVII вв.; события, происходившие в период от смерти Ивана IV Грозного (1584) до воцарения на русском престоле Михаила Федоровича Романова (1613). В современной историографии существует трактовка событий Смуты как «гражданской войны» (А. Л. Станиславский).

[314] Агиография — жития святых, один из основных видов средневековой литературы.

[315] *Шуйский* Василий Иванович (1552–1612) — боярин, в 1606–1610 гг. русский царь; в мае 1591 г. возглавлял следственную комиссию по делу о смерти царевича Дмитрия в Угличе, которая пришла к выводу о гибели царевича в результате несчастного случая (якобы при игре «в ножички», во время эпилептического припадка он сам наткнулся на нож).

[316] *Клешнин* Андрей Петрович (?–1599) — окольничий, дядька великого князя Федора Иоанновича; был близок к Борису Годунову; ему приписывают мысль убить царевича Димитрия. В 1591 г. участвовал в следствии по делу об убийстве царевича в Угличе; перед смертью принял схиму под именем Левкия.

[317] *Иван Тимофеев* (сын Семенов — Иван Тимофеевич Семенов) (ок. 1555–1631) — дьяк; автор произведения о событиях Смутного времени «Временник по седьмой тысящи от сотворения света во осмой в первые лета», которое содержит рассказ в основном об отдельных событиях времени Ивана Грозного, Федора, Бориса Годунова и Василия Шуйского. В качестве дополнительных статей к «Временнику» присоединены: «Летописец вкратце» — сжатое изложение предшествующего содержания; «О крестном целовании королевичу Владиславу»; «О вдовстве московского государства две притчи»; в заключительной части «Временника» автор упоминает об окончании Смуты, заканчивает панегириком Михаилу Федоровичу, патриарху Филарету и инокине Марфе.

[318] *Авраамий* (в миру Аверкий Иванович Палицын) (?–1625) — дворянин, пострижен в монахи, келарь Троицко-Сергиева монастыря; автор «Сказания об осаде Троицко-Сергиева монастыря от поляков и литвы, и о бывших потом в России мятежах, сочиненное оного же Троицкого монастыря келарем Авраамием Палицыным».

[319] *Хворостинин* Иван Андреевич (?–1625) — князь, воевода XVII в., приверженец западных идей, был сослан в Кириллов-Белозерский монастырь (1623); перед смертью принял монашество под именем Иосифа; автор труда «Словеса дней и царей и святителей московских, еже есть в России».

[320] *Карл Смелый* (Charles le Téméraire) (1433–1477) — герцог Бургундский, сын Филиппа III; вел «бургундские» войны с королем Франции Людовиком XI.

[321] *Людовик XI* (1423–1483) — король Франции (1461–1483); сын Карла VII.

[322] *Анна Французская*, Анна де Божё (Anne de Beaujeu) (1461–1522) — старшая дочь Людовика XI, короля Франции, и Шарлотты Савойской; регентша Франции в период малолетства своего брата, Карла VIII.

[323] *Карл VIII* (по прозвищу Любезный) (1470–1498) — король Франции (с 1483) из династии Валуа, сын Людовика XI.

[324] Сенешаль — в феодальной Франции — должностное лицо, ведавшее юстицией и военными делами округа.

[325] *Брисоннэ* (Брисоне; Briçonnet) Гийом (1445–1514) — генеральный сборщик налогов в Лангедоке, кардинал Сен-Мало.

[326] Bona fide — добросовестно (*лат.*).

[327] *Людовик VI Толстый* (около 1081–1137) — французский король (с 1108) из династии Капетингов; его главным советником был аббат Сугерий (см. комм. 328).

[328] *Сугерий* (Sugerus) (ок. 1081–1151) — аббат Сен-Денийского монастыря, приближеннный Людовика VI, ближайший советник Людовика VII; составил между 1138 и 1144 гг. биографию Людовика VI («Vita Ludovici regis»); представляющую собой панегирик, тем не менее сообщающий много сведений о политической истории этого периода; он же составил заметки для истории Людовика VII (доведены до 1151 г.).

[329] Перцепция (от *лат.* perceptio — представление, восприятие) — в психологии то же, что восприятие; Г. Лейбниц употреблял этот термин для обозначения бессознательного восприятия («впечатления») в противоположность ясному осознанию — апперцепции (см. комм. 41).

[330] *Ксенофонт* (Xenophōn) (ок. 430–355/354 до н. э.) — древнегреческий историк; ученик Сократа; принадлежал к аристократическим кругам.

[331] Французский республиканский (революционный) календарь — введен во Франции в ходе Великой французской революции декретом Национального конвента 5 октября 1793 г., отменен Наполеоном с 1 января 1806 г. Отсчет лет (эра) начинался с даты провозглашения республики 22 сентября 1792 г.; названия месяцев, предложенные депутатом Конвента Фабром д'Эглантином, были связаны с природными явлениями; год состоял из двенадцати месяцев по 30 дней и 5–6 дней вне счета месяцев; вместо недели введена декада, что соответствовало тенденции к переходу на десятичные единицы.

[332] *Гвиччардини* (Guicciardini) Франческо (1483–1540) — флорентийский политический деятель, дипломат на службе у пап; историк, автор «Истории Флоренции» (за 1378–1509 гг.) и «Истории Италии» (за период итальянских войн — 1494–1534 гг.). Благодаря дипломатической деятельности (в том числе и за пределами Италии), личному участию во многих событиях, доступу к государственным документом, Гвиччардини был прекрасно осведомлен о политической ситуации, писал историю Италии в контексте международного положения; был склонен видеть все причины событий в интригах: так, великим интриганом у него оказывается Савонарола.

[333] *Кюстин* (Custine) Адольф де (1790–1857) — маркиз, французский литератор; автор описаний путешествий по Англии, Шотландии, Швейцарии, Италии (1811–22), Испании (1833) и России (1839). Книга «La Russie en 1839» опубликована в 1843 г.

[334] Энеида — античный эпос, автором которой является Вергилий (70–19 до н. э.); написана между 29 и 19 г. до н. э., посвящена истории легендарного троянского героя Энея.

[335] Битва при Маренго (Marengo — селение в Северной Италии) — 14 июня 1800 г. во время войны Франции со второй антифранцузской коалицией (Россия, Англия, Австрия, Турция) между армией Наполеона Бонапарта и австрийской армией генерал-фельдмаршала М. Меласа.

[336] *Ростопчин* Федор Васильевич (1763–1826) — граф; действительный тайный советник (1798); московский военный губернатор (24–29 мая 1812), московский главнокомандующий (29 мая 1812 — 30 августа 1814), генерал от инфантерии (1812).

[337] *Фока* (Φωκάς) — византийский император в 602–610 гг.

[338] *Кларендон* (Clarendon) Эдуард Хайд (1609–1674) — великий канцлер Англии при короле Карле II; крупнейший английский историк XVII в.; автор труда «History of the rebellion and civil wars in England», дополнений к нему: «The history of the civil war in Ireland», «Clarendon's state papers». Им написана автобиография: «The life of E. Clarendon».

[339] *Ролан* Манон Жанна (Манон Жанна Флипон, Roland de la Platière) (1754–1793) — с 1780 г. жена Ролана де ла Платьера (ученый и политический деятель эпохи Великой французской революции, 1734–1793), разделяла республиканские убеждения, помогала мужу в его деятельности, чета Ролан была центром группы жирондистов. В ходе революции была арестована, в тюрьме она написала «Мемуары» («Mémoires de madame Roland»). Казнена по приговору революционного трибунала.

[340] «...свидетель не обманывает и [свидетель] не обманывается» (*фр.*).

[341] «История Пелопонесской войны» Фукидида (в 8 книгах) — одна из вершин греческой историографии. Фукидид считал своей главной задачей достижение точности в передаче исторических фактов, а не литературное совершенство своего труда. Фукидида считают родоначальником так называемой прагматической историографии, уделяющей основное внимание причинам событий и взаимосвязям между ними.

[342] *Талейран-Перигор* (Талейран; Taleyrand-Périgord) Шарль Морис (1754–1838) — французский дипломат, министр иностранных дел в 1797–1799 (при Директории), в 1799–1807 (в период Консульства и империи Наполеона I), в 1814–1815 глава французской делегации на Венском конгрессе; в 1830–1834 гг. — посол в Лондоне.

[343] Венский конгресс (1814–1815) — мирная конференция европейских государств в Вене в сентябре 1814 — июне 1815 гг. для урегулирования политического положения в Европе после поражения наполеоновской Франции; созван согласно условиям Парижского договора от 30 мая 1814 г. между Францией и Шестой коалицией (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия), к которому позже присоединились Испания, Португалия и Швеция.

[344] Историк Фукидид был афинским стратегом во время Пелопонесской войны (до 424 г., когда он был изгнан из Афин); о его «Истории Пелопонесской войны» см. комм. 341.

[345] Liber de duabus civitatibus — Книга о двух государствах (об Оттоне Фрейзингенском см. комм. 126).

[346] Monachus marinus — морской монах (*лат.*).

[347] «...существенную часть собственной интерпретации», чем и объясняет, например, что «два астронома, наблюдающие одно и то же небесное тело, почти всегда делают с него совершенно различные наброски» (*фр.*).

[348] *Герберштейн* (Herberstein) Сигизмунд фон (1486–1566) — барон; немецкий дипломат и путешественник; в 1517 г. прибыл в качестве посла императора Максимилиана I в Москву с целью склонить Василия III к миру с Польшей для совместной борьбы против Турции и к передаче Смоленска польскому королю; второй раз был в Москве в 1526 г. В 1549 г. опубликовал книгу «Записки о московитских делах», содержащую изложение русской истории с древнейших времен, а также описание экономики, быта, религии Московии; землеописание России: ее городов, торговых путей, сел, рек и т. д. Этот материал лег в основу многих европейских карт России XVI в.

[349] *Щербатов* Михаил Михайлович (1733–1790) — князь, русский историк, публицист, почетный член Петербургской Академии наук (1776); член

Уложенной комиссии (1767–1769); президент Камер-коллегии (с 1778); автор «Истории Российской с древнейших времен» (в 7 томах); написал ряд публицистических произведений, самое известное из которых «О повреждении нравов в России», в котором резко критиковал правительство, придворную среду и современные ему нравы, противопоставляя их традиционному укладу русской жизни.

[350] Эскамотировать (от *фр.* escamoter) — незаметно, ловко скрывать что-нибудь с целью обмануть кого-либо.

[351] *Людовик XVIII* (1755–1824) — король Франции из династии Бурбонов (1814–1824); младший брат казненного короля Людовика XVI, после казни которого объявил себя регентом его сына Людовика XVII, после его смерти — королем Людовиком XVIII. В наполеоновский период был в эмиграции; в 1814 г., после победы над Наполеоном I, при реставрации Бурбонов признан королем Франции.

[352] Людовик XVI созвал в мае 1789 г. Генеральные штаты; депутаты от третьего сословия 17 июня 1789 г. объявили себя Национальным, а 9 июля — Учредительным собранием. Попытка разгона собрания вызвала восстание; штурм 14 июля 1789 г. Бастилии явился началом Великой французской революции; 26 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина.

[353] Вероятно, имеется в виду Декрет Учредительного собрания о подавлении беспорядков от 10 августа 1789 г.

[354] Эпоха 1789–1814 гг. — период Великой французской революции и Наполеоновских войн.

[355] «Confessiones» — «Исповедь» (ок. 397–398) — общее название тринадцати автобиографических сочинений Августина Блаженного. Автор описывает свою жизнь до обращения в христианство как полную пороков и заблуждений, противопоставляя ей жизнь после обращения. «Исповедь» имеет важное богословское и философское значение, содержит критику манихейства, неоплатонизма и астрологии; в последних четырех книгах размышления о таинстве исповеди, толкование Книги Бытия, изложение учения о Троице и др.

[356] Речь идет об описании в Лаврентьевской летописи (отразившей владимирское и ростовское летописание) нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь.
Сражение на р. Сить (приток р. Мологи) 4 марта 1238 г. между войском великого князя владимирского Юрия Всеволодовича и монгольским войском Бурундая, в ходе которого русские войска были окружены и полностью разбиты, князь Юрий Всеволодович погиб.

Юрий Всеволодович (1188–1238) — великий князь Владимирский (1212–1216, и 1218–1238), сын Всеволода Большое Гнездо.
Василько Константинович (1208–1238) — ростовский князь, был пленен в битве при р. Сить, отказался перейти на сторону противника и был убит в стане монголов в Шеренском лесу, причислен к лику святых мучеников.

[357] *Виллардуэн* (Villehardouin) Жоффруа де (ок. 1150–1214) — маршал Шампани, а затем «маршал Романии» (Латинской империи, созданной крестоносцами после завоевания ими Константинополя в 1204 г.); около 1207 г. он продиктовал свое сочинение (одна из первых хроник на старофранцузском языке) «Завоевание Константинополя» — о событиях с 1198 по 1207 гг.

[358] *Шампаньи* (Champagny) Жан-Баптист Номпер де, герцог де Кадор (1756–1834) — французский политический деятель, член Национального собрания (1789); министр внутренних дел (1804); министр иностранных дел (1807–1811).

[359] *Хлодвиг I* (Chlodwig, Clovis) (ок. 466–511) — король франков из рода Меровингов, основатель Франкского королевства; принял христианство и обратил в эту религию франков. Его деятельность высоко оценивалась Григорием Турским; подобную точку зрения разделяют далеко не все историки XIX–XX вв.

[360] *Хильперих I* (Хильперик; Chilpéric) — франкский король (561–583), сын Хлотара I, отличался властолюбием, жадностью и жестокостью; Григорий Турский называет его «Нероном и Иродом» своего времени.

[361] *Видукинд* (Widukind) (ок. 925 — ок. 980) — монах саксонского Корвейского монастыря (на среднем Везере), автор «Саксонских историй» (в 3 книгах), доведенной до 967 г.; написаны в 967–968 гг. и пересмотрены в 973 г. Древнейшая история саксов изложена им на основе устных преданий.

[362] «Дневник Парижского Горожанина» («Дневник парижского буржуа») — анонимные записки, охватывающие период 1405–1449 гг.; название, под которым этот памятник вошел в историографию, дано ему в 1653 г. Дени Годфруа.

[363] Речь идет о борьбе в ходе Столетней войны (1337–1453) аристократических группировок за власть: арманьяков, поддерживавших короля, и бургиньонов, поддерживавших герцога Бургундского; о событиях, связанных с личностью Карл VII (французского короля из династии Валуа, 1403–1461), который в результате патриотического движения и победы французского войска, возглавляемого Жанной д'Арк, в 1429 г. короновался в Реймсе. В 1435 г. Карл VII сумел подписать мир с герцогом Бургундским Филиппом Добрым; в 1436 г. вступил в Париж. Ему удалось завершить Столетнюю войну и вернуть территории, захваченные Англией.

[364] *Карл I* (Charles) (1600–1649) — король Англии, Шотландии и Ирландии из династии Стюартов. Со времени восшествия на престол (1625) конфликтовал с парламентом, в 1629 г. распустил парламент и до 1640 г. управлял страной без него. С началом Английской революции, в 1640 г. вынужден был созвать так называемый Долгий парламент, в результате конфликта с ним бежал в 1642 г. из Лондона, после чего началась гражданская война, в ходе которой Карл I потерпел поражение. 23 декабря 1648 г. палата общин постановила, что Карл I является главным виновником несчастий страны, 6 января 1649 г. Верховным судом справедливости приговорен к смертной казни. 30 января 1649 г. Карл I был публично казнен на площади перед Уайтхоллом.

[365] Сражения в ходе Отечественной войны 1812 года. Под Вязьмой (22 октября/3 ноября 1812) авангард русской армии под командованием генерала М. А. Милорадовича и атамана М. И. Платова вступил в сражение с французскими войсками, которые в результате потерпели поражение и от полного разгрома их спасла лишь несогласованность в управлении русской армии.
Второе сражение под Полоцком (18–20 октября (30 октября — 1 ноября) 1812) — битва, в которой русские войска под командованием П. Х. Витгенштейна нанесли поражение баварскому корпусу французов под командованием маршала Сен-Сира.

[366] *Сен-Сир* Гувьо́н, граф Лоран (Laurent Gouvion de St.-Cyr) (1764–1830) — маршал Франции; участвовал в наполеоновских войнах, в кампанию 1812 г. командовал 6-м корпусом (баварские войска) и за действие против Виттенштейна возведен в маршалы; военный министр (1817–1819).
Виктор Клод Перрен (Claude Perrin Victor) (1766–1841) — французский маршал, герцог Беллуно, участник наполеоновских войн, за победу при Фридланде (1807) получил звание маршала; в 1812 г. участвовал в походе в Россию; в 1813 г. участвовал в битвах при Дрездене, Лейпциге и Ганау; военный министр (1821–1823).
Здесь речь идет об отступлении французских войск французских маршалов Сен-Сира и Виктора под натиском русских войск под командованием П. Х. Витгенштейна после битвы под Вязьмой к Смоленску 22–30 октября (3–11 ноября) 1812 г.

[367] Речь идет о событиях периода Итальянских войн (1494–1559) между Францией, Испанией, «Священной Римской империей» (при вмешательстве других государств) за обладание Италией, а также за господство в Европе.

[368] Восстание во Флоренции в 1527 г., в ходе которого произошло повторное изгнание Медичи и на три с лишним года установилась республика.

[369] *Мария Луиза* (Marie-Louise) (1791–1847) — вторая жена Наполеона I, дочь австрийского императора Франца I (1768–1835) из династии Габсбургов; после падения Наполеона — герцогиня пармская.

[370] *Гинкмар* (Hinkmar) (806–882) — архиепископ реймский; боролся с папой Адрианом II за самостоятельность франкских епископов; продолжатель «Annales Bertiniani» (861–882).

[371] Галликанская церковь (галликанизм, галликанство; от древнего названия Франции — Галлия) — французско-католическая церковь, имеющая собственное самоуправление. Движение французской церкви к большей самостоятельности, независимости от Папы возникло в XIII в. Основные положения галликанизма сформулированы в прагматических санкциях 1269 г., 1438 г. и в «Quatuor propositiones cleri gallicani» 1682 г.

[372] *Сталь* (Staël) Анна Луиза Жермена, урожденная Неккер, по мужу Сталь-Гольштейн (Staël-Holstein) (1766–1817) — баронесса, французская писательница, теоретик литературы, публицист; дочь министра финансов Людовика XVI Неккера; была замужем за шведским послом Сталь-Гольштейном (ум. в 1802 г.); одна из основательниц романтической школы во Франции. В Париже была центром либерального течения; изгнана из Франции Наполеоном I.

[373] *Биньон* (Bignon) Луи Пьер (1771–1841) — барон, французский дипломат, доверенное лицо Наполеона I, министр иностранных дел (1815 и 1830); автор «Histoire de France sous Napoléon I» (14 т., 1838–1850).

[374] *Шуазель* (Choiseul) Мари Габриель Флоран Огюст (1752–1817) — граф, французский дипломат, археолог, член французской академии; специалист по истории античности; в 1776 г. совершил путешествие в Грецию; автор труда «Voyage pittoresque en Grèce» (T. I. 1782; T. II. 1809; T. III. 1820); посланник в Константинополе (1784); в 1790-х гг. был в России. В течение жизни собрал богатую коллекцию античных памятников, которая хранится в Лувре.

[375] Встреча в Эрфурте между Наполеоном и российским императором Александром I состоялась 27 сентября — 14 октября 1808 г. Ее результатом стало подписание союзного договора между императорами, который впоследствии не соблюдался. Описанию подготовки и хода встречи посвящена целиком третья глава «Эрфуртское свидание (1808 год)» мемуаров Талейрана.

[376] «Значит, нет обмана там, где молчанием обходят истину, — он там, где говорят заведомую ложь» (*лат.*).

[377] «...в которых наверняка не обошлось без погрешностей» (*лат.*)

[378] «...из-за раболепия в изучение событий прошлого бесстыдно проникают ложные сведения» (*лат.*).

[379] Синие книги (blue books) — собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых в Англии правительством для представления парламенту, а также разными парламентскими комиссиями; общепринятое название «синие книги» дано по цвету обложки. Во Франции соответствующие книги имеют желтую обложку и называются «желтыми книгами» (livres jaunes), в Италии — зеленую.

[380] После поражения под Красным 3 (15) ноября 1812 г., остатки войск Наполеона 14–16 (26–28) ноября переправились через р. Березину (через реку перебрались 9–10 тыс., погибли и попали в плен более 20 тыс. человек), после чего отступление превратилось в бегство. Сам Наполеон 6 (18) декабря покинул армию и тайно отправился в Париж, остановившись по дороге в Варшаве.

[381] *Прадт* (Pradt) Доминик Дюфур де (1759–1837) — аббат, французский публицист и дипломат; духовник Наполеона; с 1812 г. посланник в Варшаве.

[382] *Сольмс-Зонневальд* Виктор Фридрих фон (1730–1783) — граф, посланник прусского короля Фридриха II (см. комм. 170) в России в 1760–1770-х гг.

[383] *Бонапарт* (Bonaparte) Иероним (Жером; Jérome) (1784–1860) — младший брат Наполеона, принц Франции (1806), дивизионный генерал (1807); в означенный период командовал одним из корпусов французской армии.

[384] *Барер* (Барер де Вьёзак; Barère de Vieuzac) Бертран (1755–1841) — деятель Великой французской революции; депутат Учредительного собрания и Конвента; член Комитета общественного спасения (с апреля 1793). Во время Термидорианского переворота (27–28 июля 1794) выступил против М. Робеспьера; автор мемуаров.

[385] *Робеспьер* (Robespierre) Максимилиан (1758–1794) — деятель Великой французской революци, член Учредительного собрания (1789) и Конвента (1792), глава якобинцев, фактический руководитель Комитета общественного спасения (Le Comité de salut public) — руководящего органа якобинской диктатуры (1793). 9 термидора II г. по республиканскому календарю (27 июля 1794) был арестован и гильотинирован на следующий день по распоряжению Конвента.

[386] *Мария Антуанетта* (Marie-Antoinette) (1755–1793) — королева Франции, жена Людовика XVI. В ходе Великой французской революции 10 августа 1792 г. королевская семья была арестована; Людовика XVI казнили

21 января 1793 г., Мария Антуанетта оставалась в тюрьме. С приходом к власти якобинцев в 1793 г. ее положение ухудшилось, против нее был инициирован судебный процесс. Одним из самых радикальных якобинцев Эбером было сфабриковано обвинение Марии Антуанетты в кровосмесительной связи с малолетним сыном. После его провала ей были предъявлены обвинения в растрате государственных средств, губительном влиянии на короля, раскрытии военных планов революционного правительства австрийскому двору. 16 октября 1793 г. Мария Антуанетта была гильотинирована.

[387] «Монитёр» (Moniteur Universel или Gazette Nationale) — парижская газета, основанная Панкуком 5 мая 1789 г.; с нивоза VIII г. (с 21–23 декабря 1799 г. по 19–21 января 1800 г.) становится официальным правительственным органом и сохраняет это значение до 1865 г., когда уступает место «Journal Officiel».

[388] *Тюрпен* (Тюрпин; Turpin) Жан (753–794) — архиепископ Реймский, современник Карла Великого.

[389] *Гильдуин* (Gilduinus) (ум. ок. 840) — аббат монастыря Сен-Дени близ Парижа, для прославления патрона этого монастыря парижского епископа св. Дионисия (St. Denis) составил его житие, где утверждал тождественность его с Дионисием Ареопагитом; это версия была опровергнута итальянским гуманистом Лоренцо Валла (1405 или 1407–1457).

[390] Д'Амбуаз — французский дворянский род, известный с XI в.

[391] *Дюбуа* (Dubois) Гильом (1655–1723) — французский кардинал и политический деятель.

[392] *Богарне* (Beauharnais) Жозефина (1763–1814) — первая жена Наполеона I; в 1779–1794 гг. была замужем за генералом Александром Богарне, казненным по обвинению в измене; с 1796 — жена Наполеона Бонапарта. В 1809 г. Наполеон решил вступить в династический брак с дочерью австрийского императора Франца I Марией Луизой (см. комм. 169) и развелся с Жозефиной.

[393] *Саундерсон* (Saunderson) Николь (1682–1739) — английский математик. В младенчестве ослеп от оспы; с 1711 г. занимал кафедру математики в Кембриджском университете; автор труда «Method of fluxions applied to a select number of useful problems, together with the demonstration of Mr. Cotes's forms of fluents in the second part of his Logometria» (опубликован в 1756).

[394] *Дальтон* (Dalton) Джон (1766–1844) — английский физик и химик, член Лондонского королевского общества (1822); преподавал математику; состоял с 1794 г. в Манчестерском литературно-философском обществе, являлся его секретарем (1800), а затем председателем (1817); автор исследований по газодинамике. В 1794 г. впервые описал дефект зрения — дальтонизм (частичная цветовая слепота), которым страдал сам.

[395] *Жанна Д'Арк* (Jeanne d'Arc) (ок. 1412–1431) — национальная героиня Франции, в 1429–1430 гг. командовала французскими войсками в ходе Столетней войны; в 1430 г. попала в плен к англичанам, была сожжена на костре, как еретичка; впоследствии причислена католической церковью к лику святых.

[396] Абулия (от *греч.* «а» — отрицательная частица и «bulē» — воля) — психическое состояние, одно из проявлений апатии, выражающееся в отсутствии побуждений к деятельности, неспособности осуществить действие, необходимость которого осознается.

[397] *Тереза Авильская* (Тереза де Сепеда-и-Аумада; Teresa de Cepeda y Ahumada) (1515–1582) — родилась в Авиле в Старой Кастилии, в знатной семье; после тяжелой болезни осталась в монастыре; написала книгу «Моя жизнь», в которой описала семь ступеней религиозного экстаза, которые она прошла за семь лет, начиная с сорокалетнего возраста (1555–1562); затем дополнила это сочинение, включив в него события вплоть до 1565 г. Тереза написала еще две книги — «Путь к совершенству» и «Книга о жилищах, или Внутренняя крепость»; основала движение «босоногих» внутри церкви, проповедовала крайний аскетизм, за что подвергалась гонениям; в 1622 г. канонизирована.

[398] *Сведенборг* (Swedenborg) Эммануэль (1688–1772) — шведский ученый, философ и теолог; занимался естествознанием, минералогией, разрабатывал проблемы механики, создатель космогонической теории. В 1743 г. обратился к мистицизму; автор теологических сочинений; в 1749 г. завершил труд «Arcana coelestia» («Небесные тайны», в 8 т.).

[399] «De Ultimo Judicio» — «О Страшном Суде», полное название работы — «De Ultimo Judicio Et De Babylonia Destructa» («О Страшном Суде и о разрушении Вавилона») — объяснение XVIII главы Апокалипсиса. В этом труде (опубликован в 1758 г.) Сведенборг утверждает, что в духовном мире страшный суд уже совершился в 1757 г., и он его описывает «как допущенный Богом свидетель».

[400] Обращение Савла — один из наиболее популярных библейских сюжетов, часто используемый в изобразительном искусстве. Савл — первоначальное имя апостола Петра. Он, согласно библейской истории, принадлежа к фарисеям, не признал Иисуса, полемизировал с христианами, был одним из участников побиения камнями первомученика Стефана. Для организации гонений на христиан отправился в Дамаск, но по пути туда произошло чудесное обращение Савла из гонителя в проповедника

христианства, после чего он занялся миссионерской деятельностью. По преданию около 65 г. был осужден Нероном и казнен вместе с апостолом Петром.

[401] *Антоний Падуанский* (Antonius Patavinus) (1195–1231) — католический святой; монах-францисканец, знаменитый проповедник. В возрасте 15 лет вступил в монастырь ордена регулярных каноников св. Августина, а затем — в монастырь Св. Креста в Коимбре, где, по свидетельству его жития, занимался изучением Св. Писания, сочинений Отцов церкви; являлся одним из авторитетных комментаторов библейских текстов. В 1220 г. был рукоположен в сан священника, тогда же вступил во францисканский орден и принял имя Антоний; затем был принят во францисканский монастырь близ Мессины; в 1221 г. перешел в монастырь Монте Паоло в Северной Италии, в пещере около которого он поселился. Завоевал славу как проповедник, был провинциалом в Северной Италии. В 1227 г. написал «Воскресные проповеди» («Sermones Dominicales»), публикация которых положила начало францисканской литературы; в Падуе написал «Проповеди на праздники» («Sermones Festivi»). Около 1230 г. в Ассизи св. Антоний сложил с себя обязанности провинциала Северной Италии и поселился в келье, устроенной в ветвях старого ореха, около монастыря Кампосампьеро, неподалеку от Падуи. Здесь почитателю и близкому другу Антония, строителю монастыря графу Тиссо, по преданию, было видение: в лучах яркого света стоял Антоний с младенцем Христом на руках; изображение этого видения стало основным в иконографии святого Антония, а также составило основу сюжета многих произведений изобразительного искусства. В 1232 г. Антоний был канонизирован.

[402] *Иероним* (Hieronymus) (330–419) — отец церкви; по происхождению славянин родом из Далмации. Получил хорошее образование, принял крещение и старался преодолеть в себе пристрастие к языческим писателям, увлечение которыми считал несовместными с христианством; при этом, по преданию, его мучили тяжелые слуховые галлюцинации — ему слышался укоряющий голос: «Ты не христианин, ты цицеронианец...», в своих сочинениях продолжал цитировать античных авторов. Его труды принято делить на четыре группы — истолкования Св. Писания, догматические, нравоучительные и исторические. Главное сочинение первой группы — латинский перевод Св. Писания, известный под именем Вульгаты; несмотря на существенную критику, этот перевод был канонизирован Тридентским собором (1545 г.). Из исторических сочинений Иеронима стоит выделить: «О знаменитых мужах» («De viris illustribus»), «Хроника» и «Жизнеописания отцов» («Vitae patrum»); при этом «Хроника» представляет собой в основной части перевод сочинения Евсевия Кесарийского, но за период 325–378 гг. оригинальный труд.

[403] «...все, что я предсказывал, произошло» (*фр.*).

[404] Парафазия (от *греч.* para — возле, около; phasis — речь) — нарушение устной и письменной речи, проявляющееся в замене звуков (букв) речи или слов на другие, в неправильном употребление отдельных звуков (букв) или слов.

[405] Аграфия (от «а» — отрицательная частица и *греч.* «gráphō» — пишу) — расстройство письма, утрата способности соединять буквы в слова, либо при письме выпускаются или переставляются отдельные слоги.

[406] Глоссолалия (*греч.* γλοσσα — язык; λαλειν — говорить) — в современной психиатрии произнесение в состоянии экстаза слов, лишенных смысла, возникает на почве религиозной истерии; в религиозном смысле, согласно Новому Завету, — говорение на других языках, которое достигается путем сошествия на человека Святого Духа; пятидесятники считают ее признаком богоизбранности верующего, отмеченного этим качеством.

[407] Конвульзионисты (конвульсионеры) — фанатическая секта, возникшая в 1730 г. во Франции; местом их собраний было кладбище Св. Медарда в предместье Парижа, где находилась гробница Франциска Парижского — янсениста, умершего в 1727 г. в припадке экстаза. Молящиеся на могиле святого впадали в экстаз, доходя до состояния конвульсий.

[408] *Адемар* (Adhemar) (988–1010) — французский монах, автор «Французской хроники» («Chronique de France»).

[409] В 1156 г. по «Privilegium Minus» императора Фридриха Барбароссы Австрия была выделена из состава Баварии и преобразована в герцогство.

[410] *Карл IX* (Charles) (1550–1574) — король Франции (1560) из династии Валуа; второй сын Генриха II и Екатерины Медичи. Правление Карла пришлось на период религиозных войн между католиками и гугенотами. Карл сначала пытался достичь примирения (Сен-Жерменский мир 1570 г.), сделал ближайшим советником лидера гугенотов графа Колиньи. Недовольные этим католики, в частности мать Карла IX, имевшая на него сильное влияние, настояли на массовом убийстве гугенотов в Париже в Варфоломеевскую ночь с 23 на 24 августа 1572 г.

[411] Магдебургские центурии (Centuriae Magdeburgienses) — наиболее раннее в протестантской литературе большое сочинение по истории христианства (издано между 1559 и 1574 гг.); описывало первые тринадцать веков истории христианства, каждый век (centum — столетие) рассматривается как особый период; позже было продолжено и доведено до конца XVI в.

[412] *Флациус* (Flacius) Матфей (Маттиас) (1520–1575) — лютеранский богослов, профессор еврейского языка в Виттенберге, затем переселился в Магдебург, занимался литературной работой; автор сочинений «Clavis

scripturae sacrae» (1567), положившего начало изучению Св. Писания в лютеранском духе, «Catalogus testium veritatis» (1556) и «Historia ecclesiastica» (1559), основавших протестантскую церковную историю. Выступил инициатором и руководителем корпорации протестантских ученых, создавших «Магдебургские центурии».

[413] *Бароний* (Baronius) Цезарь (1538–1607) — кардинал, католический церковный историк; автор «Церковных анналов» (1588–1607, в 12 томах) — истории христианской церкви, написанной в противовес протестантским «Магдебургским центуриям» (см. комм. 411) и охватывающей двенадцать веков.

[414] *Людовик XIV* (1638–1715) — король Франции (с 1643), сын Людовика XIII и Анны Австрийской.

[415] *Филипп Орлеанский* (1674–1723) — герцог, регент Франции (1715–1723) при несовершеннолетнем Людовике XV.

[416] *Марбо* (Marbeau) Жан Батист Антуан Марселен (1782–1854) — барон, французский генерал, участник наполеоновских войн; поступил на службу в 1799 г., был адъютантом маршалов Франции: Бернадотта, Ожеро, Мюрата, Ланна и Массены. С 1812 г. и всю «русскую кампанию» командовал 23-м полком конных егерей; с падением Наполеона эмигрировал в Германию и начал писать мемуары; после Июльской революции 1830 г. Марбо получил звание генерала; участвовал в войнах в Бельгии (1831) и в Алжире (1839–1840). Воспоминания генерала де Марбо «Война в седле» впервые опубликованы в 1891 г. (в трех томах).

[417] *Елизавета I* (1533–1603) — королева Англии и королева Ирландии (1558), последняя из династии Тюдоров.

[418] Остяки (до 1930-х гг. название хантов) — коренной малочисленный финно-угорский народ, живут на севере Западной Сибири.

[419] Тунгусы (современное название — эвенки) — малочисленный коренной народ Восточной Сибири.

[420] Инквизиция (от *лат.* inquisitio — расследование) — судебный институт католической церкви, предназначенный для выявления и искоренения «ересей», возник в XII в.

[421] Тайная канцелярия — в России XVIII в. орган политического следствия и суда; учреждена Петром I в 1718 г. для проведения следствия по делу царевича Алексея; в 1726 г. ликвидирована, ее функции переданы Преображенскому приказу; в 1731–1762 гг. существовала как Канцелярия тайных розыскных дел; в 1762–1801 гг. — Тайная экспедиция при Сенате.

[422] *Фредегунда* (Fredegunde) (ок. 540 или 545–597) — королева франков, вторая жена Хильперика I.

[423] *Аттила* (Attila) (?–453) — вождь гуннов (434–453), завоеватель, весной 452 г. вторгся в Италию; он захватил целый ряд земель, но после встречи с римским епископом Львом I на берегу р. Минций отказался от плана похода на Рим, удовольствовавшись обещанием ежегодной дани.

[424] *Лев I Великий* (ок. 400–474) — папа Римский (440–461); в 452 г. он удержал Аттилу от окончательного разорения Италии.

[425] «...ведь одно дело, когда рассказывают о виденном, другое — об известном со слуха», что «ведь обычно увиденное усваивается и воспринимается лучше услышанного» (*лат.*).

[426] Nomina ineffabilia — непроизносимые имена (*лат.*).

[427] *Мела* (Pomponius Mela) — римский географ середины I века; составил географический компендиум «De Chorographia» (между 37–54, в трех книгах) — первое латинское произведение этого жанра, составленное из извлечений из греческих истчоников.

[428] *Птолемей* Клавдий (Claudius Ptolemaeus) (87–165) — астроном и географ, окончательно оформивший геоцентрическую систему мироздания (Птолемеева система); наиболее известные труды «Альмагест» и «География» — высшие достижения анотичной астрономии и географии.

[429] Ἀσπουργιανοί — термин, значение которого в историографии не выяснено, предполагается, что это могли быть военные наемники, колонисты, которые не составляли особого племени. Ἀστουριϰανοί — неправильное прочтение ἀσπουργιανοί.

[430] Utii, Aorsi, Aniterae — названия народов на Северном Кавказе (в т. ч. аорсы (аланорсы), считающиеся предками аланов-осетин). Utidorsi Aroteres — бессмыслица.

[431] *Цазий* (Zase, Zasius) Ульрих (1461–1535) — швейцарский юрист; профессор правоведения в Фрейбургском университете; автор трудов «Intellectus legum singulares», «Tractatus substitutionum», «Epitome in usus feudales», «Tractatus de restitutione in integrum», «Methodus juris», «Catalogus rerum antiquarum».

[432] «Северная почта» — газета, издававшаяся в 1809–1819 гг. в Санкт-Петербурге Почтовым департаментом министерства внутренних дел; выходила два раза в неделю; в ней публиковались материалы об экономической жизни России, иностранные известия.

[433] *Плутарх* (Plutarchos) (ок. 45–120) — древнегреческий философ и историк, с 95 г. был верховным жрецом храма Аполлона Пифийского в Дельфах; по философским воззрениям близок школе Платона; автор «Сравнительных жизнеописаний знаменитых граждан Греции и Рима», включающих 70 биографий (из них сохранилось 50), а также сочинений по этике

и философии, естественным наукам и педагогике, по вопросам религии и политики, археологии и истории литературы.

[434] *Григорий VII* (Gregorius) Гильдебранд (1073–1085) — папа римский, вероятно, лангобард по происхождению; начинал как бенедиктинский монах в Риме; затем капеллан Григория VI, кардинал-субдиакон при Льве IX, архидиакон при Стефане IX; долгое время активно участвовал в папской политике. Став папой, провел ряд реформ католической церкви, приведших к усилению ее позиций по отношению к светским властям.

[435] *Генрих IV* (Heinrich) (1050–1106) — германский король (1054) и император Священной Римской империи (1066) из Франконской династии; в 70-х гг. XI в. конфликтовал с папой Григорием VII из-за наложенного последним запрета на инвеституру (право светских государей назначать высшее духовенство у себя в стране), с тем чтобы заставить Генриха признать независимость церкви в северной Италии. Вершиной конфликта стал созванный в январе 1076 г. в Вормсе собор немецких епископов, который объявил о смещении Григория с папского престола. Григорий в ответ отлучил Генриха от церкви. Конфликт завершился стоянием Генриха в Каноссе 25–27 января 1078 г., в результате которого 28 января папа отпустил ему грехи. В 1080 г. папа вновь отлучил Генриха от церкви, но эти события привели к новой эскалации конфликта. В итоге борьба Генриха против власти папы привела к ослаблению его позиций в Германии и к междоусобице.

[436] *Нерон* (Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus) (37–68) — римский император, последний из династии Юлиев–Клавдиев; его жестокость и сумасбродство сделали его имя нарицательным.

[437] Происхождение греческого письма от финикийского устанавливается из сходства начертаний букв, их названий и порядка; древнейшие из греческих надписей (VIII–VII вв. до н. э.) особенно напоминают финикийские. Рассказ о переносе Кадмом и его спутниками финикийского письма в Грецию см.: Геродот, V, 58.

[438] Илион (Троя) — древняя крепость на северо-западе Малой Азии; поселение бронзового века, обнаруженное Генрихом Шлиманом в XIX в. Троянская война — одно из центральных событий в греческой мифологии, описанное в частности в поэме Гомера «Илиада» (см. комм. 125).

[439] Борьба с сарацинами (так первоначально называли кочевников в Северной Аравии, а затем, в эпоху средневекового рыцарства и крестоносцев, мусульман вообще) описана в средневековых эпических поэмах — «Chansons de Geste» («Песни о деяниях»), к числу которых относится «Алисканс», но наиболее известная из них — «Песнь о Роланде», описывающая сражение в 778 г. в Ронсевальском ущелье, в ходе которого был

разбит отряд воинов Карла Великого под командованием его племянника Роланда.

[440] *Анскарий* (Ансгарий; Ansgarius) (801–865) — святой римско-католической церкви, «апостол Севера», сыграл существенную роль в длившемся около трех столетий (приблизительно с середины IX до середины XII вв.) процессе христианизации Северной Европы. «Житие св. Ансгария» написал преемник Ансгария, гамбург-бременский архиепископ Римберт между 865 и 876 гг., является ценным источником по истории проникновения христианства в Скандинавию.

[441] Амплификация — стилистический прием, применяющийся для усиления выразительности, заключающийся в использовании (нагромождении) большого числа однородных элементов: эпитетов, сравнений и т. п.

[442] Густынская летопись — украинский летописный свод конца XVI — начала XVII в.; названа по месту обнаружения в Густынском монастыре на Полтавщине. В начальной части близка к Ипатьевской; самостоятельная часть охватывает события 1300–1597 гг.; составитель использовал большое количество источников: хроники византийского, польского, западноевропейского происхождения, русские временники. Содержит сведения по истории Украины, Руси, Литвы и Польши.

[443] Nachbildungen — изготовление по образцу (*нем.*).

[444] *Родерих* (Родриго; Roderic, Rodrigo) — последний вестготский король (709–711), при котором Испания была завоевана арабами; о нем сохранились преимущественно легендарные известия. Легенда о Родриго относится к числу древнейших исторических преданий Испании; она, по-видимому, появилась вскоре после захвата Пиренейского полуострова маврами. Около 1430 г. на основе этих преданий Педро дель Корраль составил так называемую «Сарацинскую хронику» или «Хронику короля дона Родриго».

[445] Вероятно, имеются в виду тода — малочисленный народ в Южной Индии, основное занятие — пастушество.

[446] В «Песне о Роланде» сражение арьергарда войска Карла Великого под командованием его племянника Роланда в Ронсевальской долине с басками (778) было описано как сражение с сарацинами.

[447] Речь идет о житии апостола Андрея Первозванного (? — ок. 67); «Книга о чудесах» Григория Турского позволила реконструировать апокрифические «Андрея деяния», восходящие к середине II в.

[448] *Ремигий* (Remigius) (437–533) — архиепископ реймский; в 496 г. совершил обряд крещения над королем франков Хлодвигом, канонизован.

[449] *Фортунат* Венанций (Venantius Honorius Clementianus Fortunatus) (ок. 530 — после 600) — епископ в Пуатье (с конца VI в.), латинский автор раннего средневековья, друг Григория Турского (см. комм. 159); автор жизнеописания королевы Радегунды; автор поэтического «Жития св. Мартина» (в 4 кн., между 573 и 576) и многих других поэтических произведений; составитель прозаических житий святых.

[450] В римской республике (509–27 до н. э.) консулат — коллегиальная должность, на которую ежегодно избиралось двое консулов, деливших между собой как гражданское управление, так и командование войском.

[451] Ромул и Рем — в римской мифологии братья-близнецы, сыновья Марса и весталки Реи Сильвии (Илии); младенцами были брошены в Тибр, чудесным образом спаслись и были вскормлены волчицей; по преданию Ромул был основателем Рима.

[452] Аусписции (*лат.* auspicium, от avis — птица и specie — наблюдаю) — в Древнем Риме гадания по наблюдениям за полетом и криком птиц, за небесными явлениями и т. д. Согласно преданию, такое гадание указало, что из двух братьев, Ромула и Рема, Ромулу предстоит основать новый город; это привело к ссоре братьев, окончившейся смертью Рема.

[453] Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де Рэ, граф де Бриенн (Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais, comte de Brienne), чаще встречается — Жиль де Рэ (Gilles de Rays) или Жиль де Ретц (Gilles de Retz) (1404–1440) — французский маршал (1429), сподвижник Жанны д'Арк; судом инквизиции объявлен алхимиком, обвинен как серийный убийца, гомосексуальный маньяк-педофил и садист; 26 октября 1440 г. повешен в Нанте, а тело его было предано сожжению. Послужил прототипом фольклорного персонажа «синяя борода».

[454] Теодорих — имя нескольких вестготских, остготских и франкских королей: Теодорих I (419–451) — вестготский король; Теодорих II (453–466) — вестготский король, сын Теодориха I; Теодорих Великий (около 454–526) — король остготов (с 493), основатель остготского государства в Италии; франкские короли: Теодорих I (486–534) — король Австразии; Теодорих II (587–613) — после смерти отца Хильдеберта II (596) стал королем Бургундии (королем Австразии стал его брат Теодеберт II); Теодорих III (654–691) — король Нейстрии и Бургундии, а затем и Австразии, сын Хлодвига II; Теодорих IV (713–737) — в 720 г. провозглашен франкским королем, сын Дагоберта III.

[455] *Теодеберт I* (ок. 504–548) — король Австразии (с 534), внук Хлодвига. *Теодеберт II* (586–612) — король Австразии (с 596), сын Хильдеберта II.

[456] Вильгельм — имя многих французских, немецких, нидерландских, английских и итальянских правителей; например, Вильгельм I Длинная шпага (892–942) — нормандский герцог, правил с 931 г.

[457] *Вильгельм I Оранский* (Willem van Oranje) Молчаливый (1533–1584) — принц Оранский, граф Нассауский, деятель Нидерландской революции XVI в.

[458] Fama vulgante (*лат.*) — дословно «повсеместно распространяющаяся молва», «людская молва»; фактически используется как синоним выражения «по слухам».

[459] *Фруассар* (Froissart) Жан (1333–1419 / ок. 1337 — ок. 1410) — французский поэт, хронист; жил при английском, брабантском и французском дворах; много путешествовал, бывал в Италии, Испании; автор «Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Espagne, de Bretagne» (в 4 книгах), охватывающих период 1326–1400 гг. (первая половина Столетней войны).

[460] Битва при Сольферино (селение в северной Италии, юго-западнее Вероны) — сражение 24 июня 1859 г. в ходе австро-итало-французской войны 1859 г., в котором итало-французские войска разбили австрийскую армию.

[461] Примат (Primat) — более корректное написание Прима. «Большие французские хроники» («Les Grandes Chroniques de France») — королевская хроника XIII–XV вв. (на французском языке); описывает историю Франции с древнейших времен по XV в. Название «Большие французские хроники» за памятником закрепилось в начале XIV в.; в основе их Сен-Денийские хроники, переведенные в 1274 г. с латинского на французский и дополненные монахом Сен-Денийского монастыря Примá; затем дополнены монахом того же монастыря Гильомом из Нанжи; в 1350–1380 гг. велись при дворе Карла V канцлером Пьером д'Оржемоном; впервые напечатаны в 1476 г..

[462] Общерусский летописный свод 1423 г. был реконструирован А. А. Шахматовым на основании двух дошедших до нас летописей — Софийской I и Новгородской IV.

[463] «Theatrum Europeum» — немецкое периодическое издание исторического содержания, основанное И. Ф. Абелином (?–1636), издававшееся в 1635–1738 гг.; всего вышел 21 том.

[464] Суспенсивный (суспензивный) — отложенный; понятие заимствовано из юридической терминологии («суспензивное вето»).

[465] Тюльери (Тюильри; Tuileries) — дворец в Париже, часть комплекса Лувра, резиденция французских королей, затем Наполеона III; строился с 1564 г. Филибертом Делормом; сожжен коммунарами в 1871 г.

[466] *Наполеон III* (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; Charles Louis Napoléon Bonaparte) (1808–1873) — император Франции в 1852–1870 гг.

[467] *Тутмос III* (тронное имя Менхеперра) — египетский фараон XVIII династии; правил в 1490–1436 гг. до н. э.

[468] *Рамзес II* — египетский фараон из XIX династии; правил в 1290–1224 гг. до н. э.

[469] *Ахмес* — составитель древнеегипетской математической рукописи, т. н. папируса Ахмеса (около 2000 до н. э.); хранится в Британском музее в Лондоне.

[470] Вероятно, имеется в виду Амазис — египетский фараон; правил в 1684–1659 гг. до н. э.

[471] *Хаммурапи* — царь из Первой династии Вавилона, правивший в 1792–1750 гг. до н. э. Законы Хаммурапи — свод законов Вавилонии, созданный около 1760 г. до н. э., важнейший памятник древневосточного права. Текст состоит из пролога, 282 статей и эпилога; статьи сгруппированы тематически: процесс, собственность, царская служба, брак и семья, обязательства и т. д., каждая тема трактуется как с уголовно-правовой, так и с гражданско-правовой точки зрения. Черный столб из базальта с текстом «Законов» был найден в 1901–1902 гг. французскими археологами на месте столицы древнего Элама в Сузах; хранится в Лувре. В современной науке рассматриваются либо как сборник действовавшего права (общепринятая точка зрения), либо как отчет царя Хаммурапи перед богами о своей деятельности, либо как юридический трактат, изображающий картину «социальной справедливости».

[472] Фригийский язык — язык индоевропейских племен фригийцев, населявших в древности северо-западную часть Малой Азии, куда переселились из Европы во II — начале I тысячелетия до н. э.; составляет отдельную группу в семье индоевропейских языков.

[473] Фракийский язык (франко-дакийский) — язык индоевропейских племен фракийцев, населявших в древности северо-восток Балканского полуострова и северо-запад Малой Азии; составляет отдельную группу в семье индоевропейских языков.

[474] Скифский язык — общее название для всех иранских скифо-сарматских наречий и говоров, которые существовали на территории Северного Причерноморья от VIII–VII вв. до н. э. до IV–V вв. н. э.; принадлежит к восточной группе иранских языков; разделялся на два диалекта, соответствующие двум хронологическим этапам существования языка: более ранний — скифский, более поздний — сарматский.

[475] Храм Афины Афайи (Невидимой) построен на острове Эгина в самом начале V в. до н. э. (500–480 гг. до н. э.).

[476] Парфенон — главный храм афинского Акрополя, посвященный Афине Парфенос (т. е. Деве), богине-покровительнице города; построен в 447–432 гг. до н. э., освящение храма состоялось в 438 до н. э.

[477] Речь идет о событиях 48 г. до н. э., когда после поражения Помпея Цезарь, преследуя его, оказался в Египте и с небольшим войском вступил в Александрию, где столкнулся с сопротивлением со стороны Птолемея XIII и жителей египетской столицы, которое продолжалось несколько месяцев. В результате Цезарь одержал победу, после чего возвел на египетский престол Клеопатру, ставшую к тому времени его любовницей, а ее соправителем сделал младшего брата Птолемея XIII — Птолемея XIV.

[478] *Буль* (Boule) Андрие Шарль (1642–1732) — французский столяр, резчик по дереву, гравер, рисовальщик и позолотчик; создатель стиля мебели «буль»; собиратель гравюр и художественных произведений; значительная часть коллекции погибла в пожаре 1720 г.

[479] Парижская Коммуна 18 марта — 28 мая 1871 г. — революционные события в Париже и некоторых других городах Франции; ее установлению предшествовали восстания 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. с требованиями провозглашения Коммуны; значительная часть документов парижских секций периода Великой французской революции (форма организации революционно настроенного населения в 1790–1795 гг.) погибла во время пожара парижской полицейской префектуры, случившегося при подавлении Парижской Коммуны.

[480] «De anima intellective» — «О разумной душе». О Сигере Брабантском см. комм. 208.

[481] *Фома Аквинский* (Thomas Aquinas) (1225/1226–1274) — средневековый католический теолог, монах-доминиканец, ученик Альберта Великого, один из крупнейших представителей схоластики, основатель томизма; автор трактатов «Сумма против язычников» (1261–1264), «Сумма теологии» (1265–1273). В основе его философской системы — христианизированное учение Аристотеля; в 1323 г. был канонизирован католической церковью.

[482] *Гораций* (Квинт Гораций Флакк; Quintus Horatius Flaccus) (65–8 до н. э.) — римский поэт; сын вольноотпущенника; автор многочисленных поэтических произведений в жанре сатир, или «бесед» на моральные и литературные темы по образцу греческих диатриб, и эподов, стихотворений преимущественно обличительного характера. С 30 по 13 гг. до н. э. создал четыре книги лирических стихов («од»): первая книга посвящена философским размышления в духе эпикурейства; вторая — вопросам поэзии; особое значение имеет письмо к Пизонам об искусстве поэзии, названное еще в древности «Наукой поэзии».

[483] Помпейская мозаика «Битва при Иссе» — одна из наиболее известных античных мозаик, открытых при раскопках города Помпеи, погибшего при извержении вулкана Везувий в 79 г.; она сложена из 1,5 миллионов

кубиков горных пород; на ней изображена битва Александра Македонского с персидским царем Дарием в 333 г. до н. э.

[484] *Дюрер* (Dürer) Альбрехт (1471–1528) — немецкий художник, живописец, рисовальщик, гравёр, теоретик искусства; представитель немецкого Возрождения; одно из произведений Дюрера на религиозные темы — диптих «Четыре апостола» (1526), интерпретируется как выражение симпатий Дюрера к протестантизму.

[485] *Гольбейн* (Holbein) Ганс Младший (1497–1543) — немецкий живописец, портретист; автор картин на религиозные темы: «Мертвый Христос» (1521), пять композиций «Страсти Христовы» (1524).

[486] Собор св. Марка в Венеции — построен в 829 г. в эпоху правления дожа Джустиано Партечипацио для хранения мощей покровителя города евангелиста Святого Марка, привезенных 31 января 829 г. из Александрии в Венецию; после пожара 927 г. базилика была вновь отстроена в 1043–1071 гг. при доже Доменико Контарини.

[487] Форум — площадь в Древнем Риме в виде удлиненного прямоугольника, вытянутого с северо-запада на юго-восток; расположена между холмами Палатином и Квириналом; на северо-западе ограничена склоном Капитолийского холма, на юго-востоке не имеет естественной границы.

[488] На Палатине — одном из семи холмов Рима — в античный период располагались императорские дворцы.

[489] Колизей (Colosseum) — грандиозный амфитеатр (ввиде эллипса: длина 188 м, ширина 156 м, высота 48,5 м), возведенный в Древнем Риме в эпоху Флавиев; был заложен в 75 г. императором Веспасианом Флавием (9–79) и в 80 открыт его сыном Титом (годы правления — 79–81); работы по архитектурному оформлению продолжались и позже. Колизей расположен в долине между холмами Эсквилином, Палатином, Целием на месте искусственного озера, созданного в резиденции императора Нерона (37–68), которое было осушено для строительства амфитеатра; использовался для устройства боев гладиаторов (запрещены в 404–405), для травли зверей (до 526).

[490] Бани (термы) Каракаллы — построены в Риме в 212–217 гг. при императоре Каракалле (188–217); находились около Аппиевой дороги, за Капенскими воротами, между Авентином и Целием; размер двора терм 400 на 400 м, центральный комплекс — 150 на 200 м.

[491] Liber Pontificalis («Книга пап», на латинском языке) — собрание жизнеописаний Римских пап, рассказывающие об их происхождении, посвящении, управлении, осуществленных при них постройках, смерти и погребении. Книга написана на латинском языке; изложение начинается с апостола Петра и заканчивается в разных версиях на разных папах: наиболее ранняя версия (Catalogus Felicianus) создана в VI или VII в. и содержит информацию о папах до Феликса IV (526–530); поздние версии доведены до Пия II (1458–1464).

[492] *Рубенс* (Rubens) Питер Пауль (1577–1640) — фламандский художник и дипломат; среди его многочисленных живописных произведений выделим цикл аллегорических панно на сюжеты из жизни Марии Медичи, написанных по ее заказу, и незавершенные композиции с эпизодами из жизни французского короля Генриха IV Наваррского.

[493] *Пуссен* (Poussin) Никола (1594–1665) — французский художник, основатель классицизма; автор картины «Смерть Германика» (1627) по сюжету Тацита, которая считается программным произведением классицизма; также выделим цикл полотен, написанных по мотивам поэмы Торкватто Тассо «Освобожденный Иерусалим», и цикл «Семь таинств».

[494] Битва при Пуатье — сражение в ходе Столетней войны 19 сентября 1356 г. около города Пуатье (Poitiers, на западе Франции на р. Клен) между английскими войсками под командованием принца Эдуарда Уэльского и армией французского короля Иоанна II Доброго, в котором победу одержали англичане.

[495] Стела Меши — см. комм. 288.

[496] Книги Царств (1–4-я) — цикл канонических книг Ветхого Завета, имеющих форму историко-летописного повествования, хотя главная их цель — назидательно-религиозная.

[497] В деревне Кампо-Формио (Campo Formio) (в итальянской провинции Удино) 17 октября 1797 г. был заключен мир между Австрией и французской республикой; Австрию представлял дипломат граф Людвиг Кобенцль (Cobenzl) (1753–1809), Францию — генерал Бонапарт; Австрия уступила Ломбардию, левый берег Рейна и бельгийские провинции, получив взамен Истрию, Далмацию и Венецию.

[498] Леобен (Любин; *нем.* Leoben, *слав.* Ljubina) — город в Австрии, в земле Штирия, на реке Муре, где в 1797 г. было заключено перемирие между главнокомандующими австрийскими и французскими войсками, которое легло в основу Кампо-Формийского мирного договора.

[499] *Леонардо да Винчи* (Leonardo da Vinci) (1452–1519) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор), ученый (анатом, математик, физик, естествоиспытатель), воплощавший идеал итальянского Ренессанса — тип «универсального человека» (homo universale).

[500] *Булонь* (Bouilogne, Boulogne) Луи Младший (1654–1733) — французский художник, брат живописца и гравера Булоня Бона Старшего (1649–1717);

член Академии (1681), ее директор (1722); в 1725 г. получил титул «перво го королевского живописца»; автор картин и гравюр на религиозные сю жеты.

[501] Помпеи (Pompei) — древнеримский город, разрушенный при извержении Везувия в августе 79 г. н. э.; в ходе раскопок, ведущихся с середины XVIII в., раскрыты стенные росписи — так называемые «помпеянские фрески». Выделяют четыре их типа: 1) «инкрустационный» (II в. до н. э. – начало I в. до н. э., имитация мраморной облицовки); 2) «архитектурно-перспективный» (ок. 80 г. до н. э. — ок. 30 г. до н. э.; иллюзионистически архитектурные изображения, пейзажи, мифологические сцены); 3) «орнаментальный» (первая половина I в. н. э.; симметрические орнаментальные композиции, включающие мифологические сцены и пейзажи); 4-й (ок. 63 г. — нач. II в.) — преимущественно фантастические архитектурные построения.

[502] *Джиотто* (Джотто ди Бондоне; Giotto di Bondone) (ок. 1266 или 1276–1337) — флорентийский художник и архитектор; сцены из жития св. Франциска в верхней церкви в Ассизи (1300–1304) относятся к наиболее ранним из сохранившихся работ Джотто; эти фрески сильно переписаны, в силу чего многие исследователи не признают их подлинными произведениями Джотто.

[503] *Франциск Ассизский* (Francesco d'Assisi) (1181/1182–1226) — итальянский религиозный деятель; с 1206 г. проповедовал евангельскую бедность; в 1207–1209 гг. основал братство миноритов, превратившееся затем в орден францисканцев; в 1228 г. был канонизирован католической церковью; легенды о нем составили сборник «Цветочки св. Франциска Ассизского».

[504] *Людовик XVI* (1754–1793) — король Франции (1774–1791, с 1791 г. носил титул «король французов», которого был лишен в 1792 г.); казнен по приговору Конвента 21 января 1793 г..

[505] *Калонн* (Calonne) Шарль Александр (1734–1802) — французский государственный деятель; генеральный контролер финансов (1783–1787), инициатор финансовых реформ, которые не были поддержаны; во время Великой французской революции — один из руководителей контрреволюционной эмиграции.

[506] *Тьер* (Thiers) Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель, историк, член Французской академии (1833); сотрудничал в либеральных газетах, вместе с единомышленниками основал газету «Le National» (1830); член Государственного совета (1830), министр внутренних дел (1832–1836); возглавлял правительство (1836, 1840), одновременно занимая пост министра иностранных дел; в июне 1848 г. избран

депутатом Учредительного собрания; один из лидеров «Партии порядка»; в 1863 г. избран депутатом Законодательного корпуса; в 1870 г. выполнял дипломатическую миссию. В феврале 1871 г. был назначен Национальным собранием главой исполнительной власти Французской республики; в августе 1871 г. избран президентом Французской республики; в мае 1873 г. ушел в отставку. Один из создателей нового направления в историографии, признающего роль борьбы классов, закономерность противостояния дворянства и буржуазии; автор трудов «Histoire de la révolution française» (в 10 тт.), «Histoire du Consulat et de l'Empire» (в 21 тт.).

[507] *Гамбетта* (Gambetta) Леон (1838–1882) — французский политический деятель, адвокат, один из лучших ораторов Франции; в 1869 г. выбран в законодательный корпус, занимал ряд государственных должностей. Участвовал в событиях 1870 г., 25 февраля 1871 г. вышел в отставку; с июля 1871 г. был депутатом Национального собрания, потом палаты депутатов; возглавлял Республиканскую партию в борьбе с монархистами при Тьере; после утверждения республики (1875–1877) пользовался большим политическим авторитетом; с 1879 г. — президент палаты депутатов; с ноября 1881 по январь 1882 гг. — глава кабинета.

[508] *Дизраели* (Дизраэли; Disraeli) Бенджамин, лорд Биконсфилд (Beaconsfield) (1804–1881) — английский государственный деятель и писатель, автор нескольких романов. В 1832–1834 гг. безуспешно пытался пройти в парламент при поддержке вигов; в 1837 г. был избран, но уже при помощи тори; автор политических памфлетов «Защита английской конституции» и «Дух вигизма», в которых критиковал идеи демократии и народного представительства. В начале 1840-х гг. возглавил группу «Молодая Англия»; в 1848 г. избран лидером тори; в 1852 и 1858–1859, 1866–1868 гг. занимал пост министра финансов, затем возглавлял правительство, но вскоре, в 1868 г., вышел в отставку. Сыграл большую роль в преобразовании партии тори в консервативную; в 1874–1880 гг. возглавлял правительство, в центре деятельности которого были вопросы внешней и колониальной политики. В 1880 г. после поражения консерваторов на выборах вышел в отставку.

[509] *Глэдстон* (Гладстон; Gladstone) Уильям (1809–1898) — английский политический деятель, с 1832 г. член парламента от партии тори; в 1843–1845 гг. — член кабинета Р. Пиля; в 1852–1855 гг. — канцлер казначейства в кабинете лорда Эбердина; в 1859–1866 гг. — канцлер казначейства в кабинете Пальмерстона, потом Росселя. В 1866 г. возглавил либеральную партию; занимал пост первого министра в 1868–1874, 1880–1883, 1885–1886 и 1892–1894 гг.; автор трудов по истории, литературе, богословию, философии.

[510] Галилео Галилеем в 1609 г. был создан один из первых телескопов; его изобретение в 1608 г. приписывают голландскому оптику Иоганну Липперсгею, а термин был предложен в 1611 г. греческим математиком Джовани Демисиани. Первый телескоп Галилея давал 3-кратное увеличение, вскоре был создан телескоп с 32-кратным увеличением. Таким образом, Галилею удалось создать телескоп с достаточным увеличением и он впервые с его помощью осуществил наблюдения ночного неба. Данные, полученные Галилеем с помощью телескопа, разрушили традиционные представления о небесных телах (их размерах, расстоянии; были обнаружены новые звезды, спутники Юпитера и т. д.). Открытия Галилея были опубликованы в 1610–1611 гг.

[511] *Микель Анджело* (Микеланджело; Michelangelo) Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Ренессанса; наиболее известное скульптурное произведение Микеланджело — мраморная статуя «Давид» (1501–1504) во Флоренции; в 1508–1512 гг. по заказу папы Юлия II расписал свод Сикстинской капеллы в Ватикане; с 1546 г. руководил перестройкой собора Св. Петра, работал над проектом его купола. Фреска «Страшный Суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы создана художником в 1536–1541 гг.

[512] Помазание на царство — в христианстве (православии и католицизме) обряд, во время которого вступающий на трон правитель государства помазывается освященным миром с целью преподания ему даров Святого Духа для богоугодного управления страной.

[513] Зерцало — стоявшая во всех присутственных местах до революции треугольная призма с двуглавым орлом наверху и с написанными на ее гранях указами Петра I: от 17 апреля 1722 г. (опубликован 27 января 1724 г.) «О хранении прав гражданских, о невершении дел против регламентов, о невыписывании в доклад, что уже напечатано, и о имении сего указа во всех судных местах на столе, под опасением штрафа»; от 21 января 1724 г. «О поведении в судебных местах»; от 22 января 1724 г. (опубликован 27 января 1724 г.) «О важности государственных уставов и о неотговорке судьям неведением законов по производимым делам под опасением штрафа».

[514] Тихо Браге в 1576 г. построил обсерваторию Ураниборг на острове Вен близ Копенгагена, в которой в течение двадцати одного года вел наблюдения за небесными телами и получил непревзойденные для невооруженного глаза по своей точности результаты; обсерватория Ураниборг была первым в Европе сооружением, специально предназначенным для астрономических наблюдений. Сохранилось несколько изображений этой обсерватории.

[515] *Бордоне* (Bordone) Парис (1500–1570) — итальянский живописец венецианской школы; автор картин на религиозно-исторические сюжеты; здесь, по-видимому, Лаппо-Данилевский имеет в виду картину «Передача кольца св. Марка дожу».

[516] Имеется в виду И. Г. Гердер (о нем см. Т. 1, комм. 46) — автор труда «Дух еврейской поэзии» (1782–1783), в котором под влиянием идей романтизма утверждал, что идею о богодухновенности следует понимать в художественном или эстетическом смысле, и высказал предположение, что наиболее подходящей моделью библейской богодухновенности могут быть произведения искусства.

[517] *Шекспир* (Shakespeare) Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт; автор 37 пьес, среди которых исторические: «Ричард III», «Генрих IV», «Ричард II», «Король Иоанн», «Генрих V», «Юлий Цезарь» и др.

[518] *Пиндар* (ок. 518–442 или 438 до н. э.) — греческий поэт; принадлежал к знатному фиванскому роду, тесно связан с идейным центром греческой аристократии Дельфами; творил в области хорической лирики, т. е. песнопений, исполнявшихся хором на празднествах.

[519] Книга Иова — часть Библии, Ветхого Завета, написана высокопоэтическим языком.

[520] *Байрон* (Byron) Джордж Гордон (1788–1824) — лорд, английский поэт-романтик; наиболее известное произведение Байрона — поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» («Child-Harold's Pilgrimage») (1812), в ее основе стихотворный дневник, который поэт вел во время путешествия по Испании, Мальте, Албании, Греции, Турции; в 1812–1815 гг. создает поэмы: «Гяур» («The Giaour»), «Абидосская невеста» («The Bride of Abydos»), «Корсар» («The Corsair»), «Лара» («Lara»), «Осада Коринфа» («The Siege of Corinth»; в 1816 г. покинул Англию, поселился в Швейцарии, где создает поэмы «Сон» («The Dream»), «Шильонский узник» («The Prisoner of Chillon»), «Тьма» («The Darkness»), третью часть «Чайльд-Гарольда», в 1818 г. переехал в Венецию, где завершил драму «Манфред», четвертую часть «Чайльд-Гарольда» и ряд поэм. В 1820 г. примкнул к революционному движению карбонариев; в 1821 г. переехал в Пизу, где принимал участие в издании политического журнала «Либерал» (первоначально «Карбонарий»); в 1822 г. поселился в Генуе, где написал драму «Вернер» и ряд поэм. В 1823 г. отправился в Грецию для участия в национально-освободительной войне против Турции, где заболел и умер 19 апреля 1824 г.

Мистерия «Каин» («Cain», 1821) написана Байроном в Равенне в то время, когда он участвовал в движении карбонариев.

[521] *Эсхил* (525–456 до н. э.) — древнегреческий драматург, родоначальник классической трагедии; принимал активное участие в политической жизни Афин, сражался с персами у Марафона, при Саламине (см. Т. 1, комм. 284, 322, 325) и Платеях; автор не менее 80 драм (до нас дошли 7 трагедий). «Персы» — единственная дошедшая до нас от древнегреческой литературы историческая драма (472 до н. э.); описывает поражение персов при Саламине в 480 г. до н. э.

[522] «Всадники» (424) — комедия Аристофана (см. комм. 113). Ее сюжет основан на том, что Демос (суверенный афинский народ) подпал под обаяние своего нового раба Клеона, пафлагонца, который льстит хозяину, но делает невыносимой жизнь своих сотоварищей, Никия и Демосфена (под которыми подразумеваются два известных полководца). Те узнают, что Клеона может одолеть лишь тот, кто хуже его самого, эта задача возлагается на торговца колбасами; хор всадников (молодые аристократы) поддерживает этот план, но Демос не желает прогонять Клеона, пока Колбасник не убеждает его, что Клеон присвоил себе часть даров. Таким образом Колбасник одерживает победу над Клеоном. «Всадники» — наиболее политизированная и язвительная сатира Аристофана; изображение Клеона было столь карикатурным, что, по преданию, никто из актеров не захотел играть эту роль и Аристофану пришлось исполнить ее самому.

[523] *Теккерей* (Теккерей; Thackeray) Уильям Мейкпис (1811–1863) — английский писатель, автор знаменитого романа «Ярмарка тщеславия» («Vanity Fair») (1847–1848) остросатирического характера; социально-критический характер имеют и другие романы Теккерея: «Пенденнис» («Pendennis», 1848–1850), «История Генри Эсмонда» («The History of Henry Esmond», 1852), «Ньюкомы» («The Newcomes», 1853–1855), «Виргинцы» («The Virginians», 1857–1859), «Приключения Филиппа» («The Adventures of Philip», 1861–1862).

[524] «Chanson de geste» («Песнь о деяниях») — жанр французской средневековой литературы XII–XIV вв., эпические поэмы, самая известная из которых — «Песнь о Роланде» («Chanson de Roland») (ранняя редакция около 1170 г.).

[525] *Сакс* (Sachs) Ганс (1494–1576) — наиболее значительный немецкий поэт-мейстерзингер (см. комм. 78); родился в Нюрнберге в семье портняжного мастера; учился стихосложению у ткача-мейстерзингера Лингарда Нунненбека. В 1511–1516 гг. как сапожный подмастерье странствовал по Германии, посещал различные мейстерзингерские школы. В 1514 г. сочинил свою первую песнь; в 1516 г. стал мастером башмачного дела, примкнул к реформационному движению; в 1523 г. написал стихотворение о Лютере «Die Wittenbergisch Nachtigall» («Виттенбергский соловей»); написал ряд произведений в защиту реформации, в том числе весьма резкие сатирические антипапские стихи.

[526] *Кардано* Джероламо (Hieronymus Cardanus, Girolamo Cardano) (1501–1576) — итальянский медик, математик, философ; автор трудов: «Ars magna, sive de regulis Algebrae»; «Ars magna Arithmeticae», «Exaereton mathematicorum», «De subtilitate» и «De varietate rerum»; написал автобиографию «De vita propria».

[527] *Мориц* (Moritz) Карл Филипп (1756–1793) — немецкий писатель, представитель периода «Бури и натиска»; профессор Академии художеств в Берлине (с 1789), член Берлинской академии наук; автор работ по педагогике, психологии, эстетике, лингвистике, а также путевых очерков и работ по истории мифологии, автобиографического психологического романа «Anton Reiser» («Антон Рейзер») (1785–1790) социально-критического характера, в котором рисует быт и нравы различных слоев немецкого бюргерства.

[528] *Челлини* (Cellini) Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель, представитель маньеризма; работал во Флоренции, Пизе, Болонье, Венеции, Риме (1532–1540), Париже и Фонтенбло при дворе Франциска I (1540–1545); автор труда «Два трактата о ювелирном искусстве и скульптуре» (1568), автобиографии «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини флорентийца, написанная им самим во Флоренции» (1558–1565, не закончена).

[529] «Воспоминания» («Souvenirs») написаны А. Токвилем (см. Т. 1, комм. 202) в 1850 г., значительное место в них уделено революции 1848 г.; опубликованы лишь в 1893 г., поскольку автор не предназначал их для публикации.

[530] «Domesday Book» (букв. «Книга Судного Дня») — кадастровая книга, земельная опись Англии, произведенная Вильгельмом Завоевателем в 1086 г.

[531] Матрикулы — запись студентов и вольнослушателей при внесении ими платы за посещение лекций; свидетельства о записи на лекции, выданные университетом.

[532] Архонт (*греч.* archon — начальник, правитель) — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах.

[533] Consularia Constantinopolitana — «Константинопольский список консулов 395 года».

[534] *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ (см. Т. 1, комм. 63). В конце 1676 г. Лейбниц поступил на службу к ганноверским герцогам, по поручению герцога Георга Людвига писал историю Вельфского дома (к которому принадлежала ганноверская династия). Лейбниц задумал создать глубокий и всесторонний исторический труд;

в качестве введения к нему предполагал предпослать «Рассуждение о том древнейшем доисторическом состоянии рассматриваемых областей, которое можно определить по данным природы», где собирался научно истолковать вопросы происхождения и эволюции Земли. Приступив к реализации замысла, философ написал работу «Протогея» (1691) как результат минералогических и геологических исследований в рудниках Гарца; в 1700 г. опубликовал труд «Accessiones Historicae».

[535] Нунций (от *лат.* nuntius — вестник) — посланник папы римского; первоначально нунциями назывались прелаты, посланные в определенное место для охранения епископских прав папы; позже — дипломатические представители папы при дворах или правительствах государств.

[536] *Лев III* (Leo) (750–816) — папа римский (с 795), выступал за союз с Карлом Великим, венчал Карла на императорский престол (800); в 1673 г. канонизирован католической церковью.

[537] *Ренодо* (Renaudot) Теофраст (1586–1653) — основатель первой французской газеты; по профессии врач, лейб-медик. При покровительстве Ришелье получил патент на повсеместное устройство «bureaux d'adresse» — бюро для всевозможных справок и услуг; 30 мая 1631 г. опубликован первый номер основанной Ренодо газеты — «Gazette». Первоначально ее содержание составляли иностранные известия, затем и внутренние сообщения, а в прибавлениях — статьи и объявления; периодичность — один раз в неделю; как приложение к ней ежемесячно издавалась «Relation des nouvelles du monde reçues dans tout le mois»; с 1634 г. ее заменили «Extraordinaires», выходившие до 3–4 раз в неделю. Частью «Gazette» были отдельно сброшюрованные «Nouvelles ordinaires de divers en droits»; в 1635–1638 гг. Ренодо также редактировал исторический ежегодник «Mercure français»; в 1633 г. он основал листок объявлений «Feuille du Bureau d'adresse». После смерти Ренодо издание газеты перешло к его старшему сыну Теофрасту (1610–1672).

[538] «Mercure galant» — французская газета, выходившая под этим названием в 1672–1674 гг., затем, с 1677 по 1724 гг., выходила под названием «Nouveau Mercure galant», с 1724 г. называлась «Mercure de France».

[539] Пифагорейцы — последователи древнегреческого философа Пифагора (ок. 580 — ок. 500 до н. э.). Пифагорейская школа, особо влиятельная в IV в. до н. э., внесла существенный вклад в развитие математики и астрономии. В основе учения пифагорейцев лежала идея о том, что количественные отношения являются сущностью вещей.

[540] Вилланы — в средневековой Европе категории крестьян с различным юридическим статусом. Категория вилланов формируется в IX в. из колонов эпохи Каролингов и освобождавшихся сервов; в XIV–XV вв. вилланами называли крестьян вообще; в Англии эта категория крестьянства начала формироваться с конца XI в., после норманнского завоевания, окончательно оформляется в результате реформ Генриха II Плантагенета (1133–1189, король с 1154), юридически разграничивших свободных и несвободных крестьян — вилланов. Вилланы признавались подданными лорда (господина, сеньора), подлежали его суду, не могли обращаться в королевский суд, на них не распространялось действие общего права; повинности вилланов устанавливал лорд по своему усмотрению; отношения вилланов и лорда регулировались обычаями манора. В XV в. личная зависимость вилланов была ликвидирована.

[541] *Тертуллиан* (Квинт Септим Флорент Тертуллиан; Quintus Septimus Florens Tertullianus) (ок. 155–245) — христианский богослов, родился в Карфагене. Известно 45 произведений Тертуллиана, из которых до нас дошло 31: по вопросам отношения христиан к язычеству, христианской морали и опровержения ересей. «Apologeticus», наряду с «Ad nationes» («К язычникам», 197), относится к раннему периоду творчества Тертуллиана, когда основной темой его произведений была защита христианства от язычников.

[542] *Беллярмин* (Беллармин; Bellarmin) Роберт (1542–1621) — ученый иезуит, кардинал (с 1599), архиепископ Капуи (с 1602); автор труда «Dispotationes de controversiis fidei adversus hujus temporis haereticos» (1581), направленного против реформации.

[543] *Монтень* (Montaigne) Мишель (1533–1592) — французский философ и писатель; главное его сочинение «Опыты» («Essais», в трех книгах, 1580–1588) — размышления на разнообразные темы.

[544] «Lettres persanes» («Персидские письма», 1721) — политическая сатира Ш. Л. Монтескье (см. Т. 1, комм. 68), первоначально были изданы анонимно.

[545] *Мильтон* (Milton) Джон (1608–1674) — английский поэт, политический деятель, мыслитель; в период Английской революции XVII в. — сторонник индепендентов, выступал как публицист. В работе «Иконоборец» (1649) обосновывал осуждение и казнь короля Карла I как врага английского государства (см. комм. 364), вступил в полемику с роялистскими памфлетистами Англии и континентальной Европы. В 1649–1652 гг. в должности «латинского секретаря» вел международную государственную переписку; сотрудничал в официозном журнале «Mercurius Politicus»; после реставрации Стюартов (1660) удалился от дел, занимался литературным творчеством; создал поэмы на библейском материале «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671), а также «История Британии» (1670), трагедию «Самсон-борец» (1671).
«Defensio pro populo Anglicano» («Защита английского народа») и «Defensio Secunda» («Вторая защита») — памфлеты, написанные в полемике с роялистами после казни Карла I.

[546] Картулярии (от *лат.* charta — грамота) — сборники западноевропейских документов (грамот, актов и др.), сохранившихся в копиях, переписанных иногда с сокращениями и интерполяциями; составлялись в VII–XIV вв., как правило, в крупных монастырях.

[547] *Виньe* (Vignier) Николай (1530–1596) — французский историк и врач; придворный доктор, историограф и государственный советник при Генрихе III; автор трудов: «Rerum burgundionum chronicon» (1575); «Sommaire de l'histoire des français» (1579); «Traité de l'origine, état et demeure des anciens français» (1582); «Noblesse, ancienneté, remarques et mérites d'honneur de la troisième maison de France» (1587); «Fastes des anciens hebreux, grecs et romains» (1588); «Bibliothèque historiale» (1588); «Vraie histoire de l'Eglise» (1601) и «Traité de l'ancien état de la petite Bretagne et du droit de la couronne de France sur Icelle» (1619).

[548] Любушин суд (Зеленогорская рукопись) — предположительно древнечешская поэма, относимая к X–XI вв; в 1818 г. рукопись была подарена Чешскому музею неизвестным; впоследствии признана фальсификацией.

[549] Краледворская рукопись — одна из наиболее известных фальсификаций памятников древнечешской литературы, была якобы обнаружена чешским просветителем, одним из руководителей Чешского музея в Праге Вацлавом Ганкой во время его научной работы в 1817–1819 гг. в городе Кралев-Двор. Известные чешские слависты Й. Добровский и Ф. Палацкий отнесли рукопись к концу XIII в. либо к самому началу XIV в. Впервые опубликована в качестве памятника древнечешской литературы в 1819 г.; впоследствии признана фальсификацией, предположительно выполненной самим Ганкой и Йозефом Линдой. Содержит четырнадцать песен, из которых шесть эпические, посвященные легендарным сюжетам ранней истории Чехии.

[550] *Балузий* Стефан (Stephanus Baluzius, Etienne Baluze) (1630–1718) — монах, секретарь архиепископа Тулузы; автор труда «Жизнь пап в Авиньоне» (Vitae Paparum Avenionensium); известен как публикатор исторических источников.

[551] *Мериме* (Mérimée) Проспер (1803–1870) — французский писатель; член Французской академии (1844); родился в семье художника; окончил юридический факультет Сорбонны (1823). В качестве главного инспектора исторических памятников Франции способствовал их сохранению и изучению, в своем литературном творчестве часто прибегал к мистификациям и использованию якобы подлинных документов. В 1827 г. опубликовал сборник «Гузла», являвшийся литературной мистификацией, имитировавшей иллирийские народные песни, введший в заблуждение А. Мицкевича и А. С. Пушкина, создавшего на этой основе «Песни западных славян».

[552] *Нодье* (Nodier) Шарль (1780–1844) — французский писатель; член Французской академии (1833); сын адвоката; редактор газеты «Télégraphe illyrien» в Лайбахе (1812–1813); автор многочисленных литературных произведений, в том числе сказок-новелл, близких по своему характеру к фольклору.

[553] *Чэттертон* (Chatterton) Томас (1752–1770) — английский поэт; из бедной семьи, в четырнадцать лет поступил писцом к адвокату в Бристоле; вскоре опубликовал сборник поэтических произведений, якобы написанных монахом Раулеем (Rowley), жившим в XV в. Фальсификация была разоблачена тогда же Греем и Мэсоном; Чэттертон покончил жизнь самоубийством в возрасте семнадцати лет.

[554] *Бёрнс* (Burns) Роберт (1759–1796) — шотландский поэт; продолжатель традиций шотландского поэта-лирика Роберта Фергюссона (1750–1774). С 1787 г. был редактором «Шотландского музыкального музеума» («The Scots Musical Museum»), при создании которого часто дополнял собранные тексты отрывками собственного сочинения, подделанными столь искусно, что выявить их можно только при помощи документальных свидетельств.

[555] Разделы «Дополнения» и «Замеченные опечатки» присутствуют в издании 1910–1913 гг., по которому воспроизводится текст (страницы указаны по этому изданию), и сохранены в качестве археографического факта. В настоящем издании дополнения внесены в основной текст, опечатки исправлены.

[556] В основе публикации Отдела II «Методология исторического построения» лежит литографированное издание лекций, читанных студентам Санкт-Петербургского университета в 1908/09 академическом году. В квадратных скобках настоящего издания указаны восстановленные составителями библиографические данные, а также краткие пояснения к тексту, необходимые для более точной передачи мысли автора.

[557] Так в тексте.

[558] «Об ораторе» (55 до н. э.) — трактат, в котором Цицерон разрабатывает проблемы идеального философа-оратора и вопросы риторики.

[559] *Виперано* (Viperano) Джованни Антонио (?–1610) — автор «De scribenda historia» («Книги о написании истории», 1569). Rerum gestarum ad docendum rerum usum, sincera illustrisque narratio — честный и ясный рассказ о достойных изучения деяниях прошлого (*лат.*).

[560] Collège de France — одно из старейших научно-исследовательских и учебных учреждений Франции, основан в 1530 г. в целях распространения идей гуманизма в противовес религиозной схоластике, господствовавшей в Парижском университете.

[561] Имеется в виду Бэкон (Bacon) Френсис (1561–1626) — английский философ, труд которого «Новый Органон» (1620) заложил основы научного мышления нового времени.

[562] *Моммзен* (Mommsen) Теодор (1817–1903) — немецкий историк; автор фундаментального труда «Римская история» (Römische Geschichte, Bd. 1–3. 1854–1857).

[563] *Гиббон* (Gibbon) Эдуард (1737–1794) — английский историк; автор фундаментального труда «История упадка и разрушения Римской империи» (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 1–6, 1776–1788).

[564] «Вещь в себе» — ключевое понятие философии И. Канта.

[565] Ceteris paribus — при прочих равных (*лат.*).

[566] В данном случае, по всей видимости, следует читать: «сложных следствий».

[567] Орографических — то есть характеризующих рельеф земной поверхности (горы, хребты, равнины, ущелья и т. п.).

[568] В данном случае следует читать — Бернгейм.

[569] «Он заключает, что исторические явления есть результат действия общих сил (которые я называю "факторами") и индивидуальных обстоятельств» (*нем.*). В это предложение А. С. Лаппо-Данилевский также включил уточнение на французском — circonstances (обстоятельства).

[570] В оригинале явная опечатка — «разрешение».

[571] Гетерономия — подчинение своей воли какой-либо извне данной норме; противоположное — автономия.

[572] Matricula (*лат.*) — список.

[573] Наиболее тяжелая, имевшая характер пандемии, эпидемия чумы («черной смерти») была в Европе в XIV веке (1347–1350 гг.). Эта пандемия фактически парализовала жизнь во многих европейских странах; по приблизительным подсчетам, в ходе нее в Европе погибло около 25 млн человек, т. е. примерно четверть населения.

[574] Андаманцы — коренное население Андаманских островов; численность в начале XX в. — несколько сот чел.; относятся к негритосскому антропологическому типу. Занятия — охота, собирательство, рыболовство, для религии андаманцев характерен культ духов природы.

[575] *Радищев* Александр Николаевич (1749–1802) — русский писатель, публицист, автор произведений «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего», «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое был сослан в Сибирь, в Илимский острог. При Павле I был возвращен из ссылки, при вступлении на престол Александра I призван в Петербург для участия в Комиссии для составления законов, однако в 1802 г., после отклонения его либерального проекта, покончил жизнь самоубийством, выпив стакан «царской водки» (концентрированной смеси кислот); по другой версии, смерть А. Н. Радищева — результат несчастного случая.

[576] По-видимому, имеются в виду таблицы Тихо Браге (о нем см. Т. 1, комм. 309).

[577] Тридентский собор — 19-й Вселенский собор, открылся 13 декабря 1545 г. в Триенте (совр. Тренто, Италия) при папе Павле III, а закрылся там же 4 декабря 1563 г. при папе Пии IV. Собор дал догматические определения традиционных католических доктрин; наиболее существенные декреты собора касались первородного греха, оправдания, таинств, индульгенций; декреты были подтверждены 26 января 1564 г. папой Пием IV в булле Benedictus Deus.

[578] «...суть сравнительного метода в том, что сравнительное наблюдение, собирание совпадающих явлений и классификация несовпадающих по степени их различия используются для получения общих результатов» (*нем.*).

[579] Этиология (*мед.*) — учение о причинах болезни; Лаппо-Данилевский использует термин в расширительном толковании.

[580] Крестоносцы — участники Крестовых походов. Крестовые походы (1095–1270) — военно-колонизационные походы европейцев на Ближний Восток с целью освобождения Святой Земли (Палестины) и Гроба Господня (в Иерусалиме) от «неверных» (мусульман).

[581] Рецепция римского права — усвоение римского права в Европе в средние века, что создало основу для воспроизведения его принципов при кодификации гражданского права нового времени (Французский гражданский кодекс 1804, Германское гражданское уложение 1896 и др.).

[582] Code civil (Code civil des Français или Code Napoléon) — первый гражданский кодекс нового времени; действующий гражданский кодекс Франции; принят в 1804 г. Составлен при непосредственном участии Наполеона; включает нормы гражданского, семейного, гражданско-процессуального, частично трудового права. Закрепил свободу частной собственности, провозгласив это право священным и неприкосновенным; закрепил новые принципы кодификации права; послужил образцом для гражданских кодексов большинства романоязычных и многих других стран мира.

[583] Цислейтания (*нем.* Cisleitanien; *чеш.* Cislajtanie, Předlitavsko) — распространенное название части территории Австро-Венгрии (1867–1918), земель, непосредственно подконтрольных австрийской имперской (а не венгерской королевской) короне; наряду с собственно Австрией, включала Чехию, Моравию, Силезию, Галицию, Истрию, Крайну, Каринтию, Буковину, Далмацию и ряд других областей.

[584] Сутра (*санскр.* «нить») — в древнеиндийской литературе лаконичное высказывание, позднее — своды таких высказываний; излагали различные знания и религиозно-философские учения.

[585] Полигиния и полиандрия — формы полигамии (многобрачие). Полигиния — форма группового брака, при которой муж имеет одновременно несколько жен, не состоящих в родстве; полиандрия — форма группового брака, при которой женщина имеет одновременно несколько мужей, не состоящих в родстве. Моногамия — единобрачие, историческая форма брака и семьи, при которой в брачном союзе находятся два представителя противоположных полов.

[586] Так в тексте.

[587] Онтогенез (ontogeny) — индивидуальное развитие особи; филогенез (phylogeny) — развитие рода или вида. Принцип «онтогенез повторяет филогенез» сформулирован эволюционистом Э. Геккелем в 1866 г.; состоит в том, что индивидуальное развитие особи является коротким и быстрым повторением важнейших этапов эволюции вида.

[588] Анимизм — см. Т. 1, комм. 200.

[589] [А] — в оригинале пропущено.

[590] Реформация — религиозное, культурное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе в XVI в., направленное на реформирование церкви в соответствии с ее первоначальными канонами.

[591] Так в тексте.

[592] Деонтология (от *греч.* δέον — должное) — термин введен И. Бентамом в XVIII в., означает раздел этики, учение о проблемах морали и нравственности.

[593] Великое переселение народов — условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV–VII веках, главным образом с периферии Римской империи на ее территорию. Сопровождалось культурными, языковыми, а затем и религиозными конфликтами между германским и романизированным населением.

[594] Битва при Фарсале (9 августа по римскому, 6 июня по юлианскому календарю в 48 г. до н. э.) — битва между войсками Юлия Цезаря и Гнея Помпея Великого, решившая исход борьбы за единоличную власть над Римом и ознаменовавшая конец римской республики и начало империи.

[595] По мнению ряда этнографов, дравидийские народы, к которым относятся тода, близки к европеоидной расе.

[596] Так в тексте.

Библиография

Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры XVII–XVIII вв. / А. С. Лаппо-Данилевский; предисл. Л. А. Черной, М. Ю. Сорокиной; послесл. А. И. Клибанова. М.: Наука, 1990. 292 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории / А. С. Лаппо-Данилевский. СПб.: Лит. Богданова, 1909. Ч. 2: Методы исторического изучения, отд. 2: Методология исторического построения: лекции, чит. студентам С.-Петерб. ун-та в 1908/09 акад. г. 176 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: пособие к лекциям, чит. студентам С.-Петерб. ун-та / А. С. Лаппо-Данилевский. СПб.: Студ. изд. ком. при Ист.-филол. фак., 1910–1913. Вып. 1, ч. 1: Теория исторического знания: пособие к лекциям, чит. студентам С.-Петерб. ун-та в 1909/10 уч. г.; Вып. 2, ч. 1: Теория исторического знания, ч. 2: Методы исторического изучения: пособие к лекциям, чит. студентам С.-Петерб. ун-та в 1910/11 уч. г. 799 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований / А. Лаппо-Данилевский. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1890. 567 с. (Записки Историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета; т. 23).

Лаппо-Данилевский А. С. Основные принципы социологической доктрины О. Конта / А. С. Лаппо-Данилевский. М. : Б. и., 1902. 98 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк внутренней политики императрицы Екатерины II / А. Лаппо-Данилевский. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1898. 64 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк развития русской историографии / А. С. Лаппо-Данилевский // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 5–29.

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов / А. С. Лаппо-Данилевский; подгот. текста А. И. Андреева, с испр. и доп. Е. А. Ростовцева. СПб.: Северная Звезда, 2007. 284 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов: лекции, читанные слушателям «Архивных Курсов» при Петроград. археол. ин-те в 1918 г. / А. С. Лаппо-Данилевский; предисл. А. И. Андреева. Пг.: Б. и., 1920. 2, 189 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Пособие к лекциям по теоретической методологии истории, читанным студентам Петербургского университета в 1906/7 учебном году. СПб.: Б. и., 1907. Ч. 1: Теория исторического знания. 305 с.; СПб.: Б. и., 1908. Ч. 2: Методы исторического изучения, отд. 1: Методология источниковедения. 295 с.; СПб.: Б. и., 1909. Ч. 2: Методы исторического изучения, отд. 2: Методология исторического построения. 251 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Скифские древности / А. С. Лаппо-Данилевский // Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. СПб.: Б. и., 1887. Т. 4. С. 352–543. Отд. изд.: СПб.: Б. и., 1887. 195 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Собрание и свод законов Российской империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II / А. Лаппо-Данилевский. СПб.: Тип. В. С. Балашева и К°, 1897. 144 с.

Лаппо-Данилевский А. С. Politische Ideen im Russland des 18. Jahrhunderts: ihre Geschichte im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der russischen Kultur und Politik = История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом развития ее культуры и политики / Aleksandr S. Lappo-Danilevskij; aus dem Nachlass hrsg. von Marina Ju. Sorokina unter Mitwirkung von Konstantin Ju. Lappo-Danilevskij; mit einer Einf. von Marina Ju. Sorokina. Köln [etc.]: Böhlau, 2005. XXXII, 462 с. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A, Slavistische Forschungen: N. F. Bd. 51).

Lappo-Danilevsky A. S. The development of Science and Learning in Russia / A. S. Lappo-Danilevsky // Russian Realities and Problems / Ed. by J. D. Duff. Cambridge, 1917. P. 153–229.

Указатель имен

Абентарика Абул-Касима Тарифа — 234
Август Октавиан (Augustus Octavianus) — 172, 215, 216, 545, 570, 578
Августин (Augustinus) — 63, 328, 330, 333, 383, 384, 553, 583
Аврелий (Aurelius) Виктор Секст — 287, 578
Агеев М. — 28
Адемар (Adhemar) — 344, 591
Аистульф (Haistulfus) — 266, 267, 576
Аксаков И. С. — 362
Александр Великий (Македонский) — 270, 373, 557, 561, 574, 576, 600
Александр I — 334, 355, 586, 612
Алеша (Александр) Попович — 186, 358
Альберт (Albertus) Великий — 54, 551, 599
Альберт (Albertus) Саксонский — 195, 568
Альберт, эрцгерцог — 300
Альберти (Alberti) Л. Б. — 61
Амазис — 367, 598
Амбуаз д' — 337, 588
Аммиан (Ammianus) Марцеллин — 287, 578
Андрей, ап. — 360, 595
Анна Французская (Анна де Божё; Anne de Beaujeu) — 291, 580
Анскарий (Ансгарий; Ansgarius) — 358, 595
Антоний, св. — 341, 590
Антонович В. Б. — 288
Аристотель — 61, 63, 78, 109, 155, 156, 172, 175, 185, 208, 210, 233, 373, 393, 552, 566, 568, 599
Аристофан (Aristophanes) — 109, 155, 382, 559, 565, 606
Арминий (Arminius) — 264, 265, 439, 440, 575
Арнольд (Arnold) Т. — 13, 14, 255, 546
Арриан (Arriani) — 270, 373, 576
Аттик (Atticus) Тит Помпоний — 140, 563
Аттила (Attila) — 353, 593
Ахмес — 367, 598

Байрон (Byron) Дж. — 382, 605
Бакон — см. Бэкон Ф.
Балузий (Baluze) С. — 390, 610
Бальди (Baldi) Б. — 208, 569
Бальмес (Balmes) Х. Л. — 26, 548
Барер (Barere) Б. — 335, 336, 587
Бароний (Baronius) Ц. — 345, 385, 592
Баур (Baur) Ф. Х. — 26, 157, 548
Беда (Beda) Достопочтенный — 362, 570
Бёк (Boeckh) А. — 11, 12, 26, 28, 65, 68, 90, 152, 159, 162, 176
Беккер — 157
Беллярмин (Беллармин; Bellarmin) — 388, 609
Бенеке Ф. Э.— 157
Бени (Béni) П. — 404
Бенно, еп. — 185
Бентли Р. — 157
Берлихинген — 384
Бернард (Bernard), св. — 233, 573
Бернгейм (Bernheim) Э. — 10, 43, 65, 69, 159, 162, 188, 224, 272, 471, 535, 612
Бёрнс (Burns) Р. — 391, 611
Бертильон (Bertillon) А. — 193
Бестужев-Рюмин К. — 220, 314
Биньон (Bignon) Л. П. — 333, 357, 586
Бинэ (Binet) А. — 278, 301
Бисмарк О. фон — 140, 144, 313, 347, 426
Бласс (Blass) Ф. — 28, 65, 68, 90, 152, 162, 549
Богарне (Beauharnais) Ж. — 337, 588
Богданович М. — 331, 334, 335
Бодуэн Ф. — 403, 404
Бокэр — 291
Болингброк (Bolingbroke) Г. С.-Дж. — 17, 546
Болль (Ball) В. — 251
Бомон Р. — 233
Бонапарт (Bonaparte) Иероним (Жером; Jerome) — 335, 587
Бордоне (Bordone) П. — 381
Борис Годунов — 288, 289, 579
Боссюэт (Боссюэ) Ж. Б. — 535
Бош (Босх; Bosch) И. — 180, 567
Браге Т. (Tycho Brahe) — 381, 604, 613
Брейзиг (Breysig) К. — 411
Бреслау (Bresslau) Г. — 29, 550
Бриссонэ (Брисоне; Briçonnet) Г. — 291, 580
Брюс — 363

Бубнов Н. — 129
Бузескул В. П. — 17, 18, 319, 547
Буркгардт (Буркхардт, Burckhardt) Я. — 416
Буллонь (Boullongne) Л. — 380, 601
Булос М. — 238
Буль (Boule) А. Ш. — 370, 599
Бульонские, герцоги — 390
Бурбоны — 324, 583
Бурдо (Bourdeau) Л. — 410
Буркард Цинк — 132, 385, 562
Буслаев В. — 116, 151
Бэкон (Bacon) Ф. — 136, 406, 612
Бюхелер — 212

Вагенфельд (Wagenfeld) Ф. — 236, 238, 239
Вазари (Vasari) Дж. — 206, 569
Вален (Vahlen) И. — 212
Валуа (Valois), династия — 153, 331, 580, 584, 591
Вар (Varus) Публий Квинтилий — 264, 265, 439, 440, 575
Василёк Константинович — 329, 584
Василия Буслаев (*былин.*) — 151
Вегелин Я. — 403
Везендонк — 156
Везер — 236
Вейгель — 102
Веллгаузен — 157
Вергевен — 300
Верещагин — 314
Веселовский А. Н. — 274, 509
Веск — 291
Видукинд (Widukind) — 330, 331, 358, 584
Визэ — 386
Виктор (Victor) К. П. — 331, 585
Виллегардуэн (Виллардуэн) (Villehardouin) Ж. — 329, 548
Виллмаре — 337
Виллок — 251
Вильгельм Завоеватель — 607
Вильгельм Оранский (Willem van Oranje) — 361, 574, 597
Вильгельм Телль — 186, 357
Вильгельм Тирский — 333
Виноградов П. Г. — 509
Винье (Vignier) Н. — 390, 610
Виньоли —303
Виперано (Viperano) Дж. А. — 402, 611
Вирхов — 96
Владимир, вел. кн. — 85
Владимиров П. — 222
Воеводский Л. — 28
Вольтер (Voltaire) — 17, 223, 233, 313, 403
Вольф (Wolf) Г. — 17, 18
Вольф (Wolf) Ф. А. — 11, 12, 24, 65, 68, 90
Врен-Люкас — 239
Врешнер (Wreschner) А. — 301
Вундт (Wundt) В. — 157, 162, 409, 414, 415, 550

Галилей (Galilei) Галилео — 381, 604
Гамбетта (Gambetta) Л. — 380, 603
Сакс (Sachs) Г. — 382, 555, 606
Гаупт — 157
Гверра — 239
Гвитфельд — 324
Гвичиардини (Гвиччардини; Guicciardini) — 310, 326, 331, 581
Ге Н. — 374
Гегель (Hegel) Г. В. Ф. — 408, 535, 548
Гекатей — 223, 344, 572
Генрих (Heinrich) II — 207, 591, 609
Генрих IV — 119, 262, 278, 343, 356, 560, 575, 594, 601, 605
Георгий Амартол (Georgios Amartolos) — 186, 567
Герберт Аврилакский (Орильякский; Gerbert d'Aurillac) — 129, 562
Герберштейн (Herberstein) С. фон — 325, 354, 582
Гервинус (Gervinus) Г. Г. — 408, 409
Гердер (Herder) И. Г. — 404, 555, 605
Герке (Gercke) А. — 28, 392
Германн — 212
Геродиан — 288
Геродот — 155, 223, 274, 322, 362, 407, 572, 594
Гиббон (Gibbon) Э. — 416, 612
Гизо (Guizot) Ф. — 406, 416, 534
Гильдуин (Gilduinus) — 337, 588
Гинкмар (Hinkmar) — 332, 361, 362, 586
Гирций (Hirtius) А. — 191, 567
Глейхен, граф — 355, 356
Глэдстон (Гладстон, Gladstone) У. — 380, 603
Гобелин (Gobelini) П. — 135, 151, 207, 214, 562
Гогенштауфены, дин. — 132, 142, 546, 562

Гогье (Gauguier) — 147
Головацкий Я. Ф. — 107
Головкинский Н. А. — 96
Голубев С. Т. — 172
Гольдовский О. — 301
Гомер — 62, 210, 212, 381, 391, 560, 594
Гомм — 509
Гольбейн (Holbein) Г. — 373, 600
Гораций (Horatius) — 373, 382, 599
Грановский Т. Н. — 13
Грассе — 303
Гревс И. М. — 373
Григорий Турский (Gregorius Turonensis) — 136, 150, 330, 351, 360, 371, 387, 563, 576, 584, 595, 596
Григорий VII (Gregorius) — 356, 594
Гротенфельт (Grotenfelt) А. — 413
Гумбольдт (Humboldt) В. фон — 280, 408
Гутшмид — 157
Гюго (Hugo) В. — 141, 564

Дагоберт I (Dagobert) — 233, 573
Даламбер (D'Alembert) Ж. Л. — 403
Дальтон (Dalton) Дж. — 338, 588
Даниил, пророк — 135, 136, 283
Данте (Dante) А. — 153, 382, 565
Дарий — 373, 600
Дармштедтер — 102
Делиус — 157
Деларю — 102
Дёл(л)ингер — 131, 157
Дезидерий Э. — 156
Демисиани Джовани — 604
Демосфен — 109, 212, 558, 606
Дени, св. — 337
Дерэ — 119
Дефоссэ — 276
Джебб — 157
Джиотто (Джотто ди Бондоне; Giotto di Bondone) — 380, 382, 602
Дизраели (Дизраэли; Disraeli) Б. — 380, 603
Диоген Лаэртский — 189, 567
Диодор — 126, 561
Дион (Dion) Кассий — 140, 264, 287, 563, 578
Дион Хризостом — 287, 578
Дионисий Галикарнасский — 155, 220, 571
Дмитриев — 314
Дмитрий Иванович, царевич — 288, 289, 578, 579
Дону (Daunou) П. К. Ф. — 26, 405, 406, 407
Дюбуа (Dubois) Г., кардинал — 337, 588
Дюпюи (Dupuis) — 152
Дюрер (Dürer) А. — 373, 600
Дюрьи (Дюрюи; Duruy) В. — 13
Дюшуль — 239

Евтропий — 288
Евсевий Кесарийский — 135, 385, 563, 574, 590
Екатерина, св. — 339
Елисавета I (Елизавета; Elizabeth) — 349, 592
Елистратов А. И. — 350
Ермолов А. П. — 281, 577
Ерштедт В. К. — 113, 560

Жакоб — 337
Жанна Д'Арк (Jeanne D'Arc) — 338, 584, 589, 596
Жебелен (Gebelin) — 152
Жижиленко А. А. — 228, 229
Жири (Giry) А. — 29
Жуанвилль (Жуанвиль; Joinville) Жан — 273, 576

Завадский А. В. — 350
Застров (Sastro) — 384
Зиккель (Sickel) Т. — 29, 232, 549
Зиттль (Sittl) К. — *28*
Зупитца — 157

Иаков, св. — 336
Иаков I — 303
Ибсен (Ibsen) Г. — 154, 565
Иван IV Грозный — 271, 576, 578, 579
Иеринг (Ihering) фон Р. — 119, 148
Иероним (Eusebius Sophronius Hieronymus), св. — 136, 335, 341, 353, 384, 563, 565, 576, 590
Иконников В. С. — 16, 17, 358, 546
Илья Муромец (*былин.*) — *358*
Иоанн, ап. — 386
Иоанн из Брюгге (Ян ван Эйк) — 105, 558
Иов — 382, 605
Иона — 300
Ипполит (Hippolytus)— 135, 563

Исократ — 121
Иисус Христос — 285, 561, 589, 590, 600
Иудифь — 180

Кавино из Падуи — 239
Кадм — 356, 594
Калонн (Calonne) Ш. А. — 380, 602
Кант (Kant) И. — 406, 407, 418, 554, 612
Каракалла (Caracalla) — 287, 375, 560, 578, 600
Кардано (Cardano; Cardanus) Дж. — 383, 384, 607
Кареев Н. И. — 371, 412, 535
Карл (Charles) Бургундский — 291
Карл Валуа — 153
Карл Великий — 135, 229, 260, 284, 299, 330, 331, 336, 357, 360, 362, 386, 549, 562, 563, 568, 570, 588, 595, 608
Карл I — 331, 585, 609
Карл II — 82, 581
Карл VIII — 291, 580
Карл IX — 345, 591
Карл XII — 223
Карломан (Carloman) — 230, 573
Катт (Catt) А. А. де — 223, 572
Квинтилиан (Quintiliani) — 63, 152, 155
Кельбинг — 157
Кемзис (Kemsies) Ф. — 298
Клапаред — 279, 313
Кларендон (Clarendon) Э. Х. — 316, 331, 581
Клерикус (Клерик; Clericus) И. — 24, 547
Клермон-Гано (Clermont-Ganneau) Ш. — 378
Клешнин А. — 289, 579
Клиффорд (Clifford) У. К. — 141
Клуссман (Klussmann) Р. фон — 12
Ключевский В. О. — 123, 386, 502
Ковалевский М. М. — 509
Колумбан, св. — 300
Комин (Commynes, Comines) Ф. де — 274, 577
Комор, граф Поэрский — 361
Кондаков Н. П. — 86
Кони А. Ф. — 571, 314, 321, 346
Константин I Великий (Flavius Valerius Constantinus) — 131, 156, 215, 230, 570, 578
Констанций II (Constantius) — 287, 570, 578
Конт (Comte) О. — 148, 535
Корелкин И. — 325
Крамер А. — 338, 342
Крез (Kroisos) — 104, 105, 557
Крейцер (Creuzer) — 152
Ксенополь (Xénopol) А. — 471, 529
Ксенофонт — 121, 306, 580
Кузен В. — 406
Куршан — 224
Кустэ (Coustet) Е. — 324
Кутузов М. И. — 281, 335, 355, 577
Кюнен (Кипепп) А. — 157
Кюстин (Custine) А. де — 311, 325, 581

Лакиер А. Б. — 239
Лакомб (Lacombe) П. — 410
Лакруа (Lacroix) С. Ф. — 317
Ламберт (Lambert) — 261, 262, 575
Ламот (Ламот-Лангон; Lamothe-Langon) Э. Л. де — 239
Ланглуа (Langlois) Ш. В. — 10, 43
Лаплас (Laplace) П. С. — 317
Лапопелиньер — 156
Лахманн — 157, 212
Лев Галичский — 239
Лев I (Leo), епископ — 353, 593
Лев III, папа — 386, 608
Лев X, папа — 206
Лейбниц (Leibniz) Г. В. — 258, 385, 550, 555, 580, 607
Лемуан (Le Moyne) — 403
Ленг — 509
Лёнинг (Loening) Е. — 132, 393
Леонардо да Винчи — 175, 208
Ле-Пуа — 239
Лепле (Le Play) — 498
Леруж — 275
Лессинг (Lessing) Г. Э. — 535
Лизий — 121
Линднер (Lindner) *Т. — 414*
Липранди И. П. — 281, 577
Лифарт — 175
Лихачев Н. П. — 100
Лонгин — 155
Лонуа (Lounoy) — 283
Лоренц (Lorenz) О. — 15
Лоренцо Валла (Lorenzo Valla) — 156, 566, 588
Лукиан — 10, 401

Лукреций — 212
Луллий (Lullius) Р. — 62, 553
Любович Н. Н. — 334, 494
Людовик Благочестивый — 562
Людовик (Ludovicus; Louis) IV Дитя — 208
Людовик IX Святой — 273, 576
Людовик VI — 326
Людовик VI Толстый — 299, 580
Людовик XI — 291, 577, 580
Людовик XIV — 206, 301, 345, 390, 592
Людовик XVI — 380, 583, 586, 587, 602
Людовик XVIII — 239, 328, 332, 583
Людовик Сильный — 208
Люсенж — 224
Лютер (Luther) М. — 341, 342, 426, 523, 538, 606

Мабильон (Mabillon) Ж. — 156
Мабли (Mably) Г. Б. де — 404, 405, 406, 407
Мадвиг — 157
Мазарелла (Mazarella) В. — *26*
Майер (Maier) Г. — 63, 393
Маколей (Macaulay) Т. Б.— 416, 546
Макферсон (Macpherson) Дж. — 234, 239, 358, 390, 573, 574
Мальмберг В. — 113
Марбо (Marbeau) Ж. Б. — 346, 592
Маргарита (Marguerite), св. — 339
Маргарита Прованская — 273, 576
Мария Антуанетта (Marie-Antoinette) — 336, 587, 588
Мария Луиза (Marie-Louise) — 332, 586, 588
Маркс (Marx) К. — 535
Маскарди — 402
Матвей (Matthew) из Вестминстера — 223
Матвей (Matthieu) Парижский — 223, 572
Мах (Mach) Э. — 177
Мезьер — 157
Мейстер (Meister) А. — 10, 545
Мела (Pomponius Mela) — 354, 593
Менандр — 113, 559
Мериме (Mérimée) П. — 390, 610
Мерула — 156
Мёрчисон Р. — 251
Меттерних (Metternich) К. — 280, 306, 307, 329, 330, 332, 341, 347, 577
Меши — 270, 377, 576, 601
Микель Анджело (Микеланджело; Michelangelo) Б. — 140, 381, 604
Миллер В. Ф. — 274
Мильтон (Milton) Дж. — 389, 609
Митридат VI — 227, 573
Михаелис — 157
Мишелэ (Мишелэ; Мишле) Ж. — 107
Мокэн-Тандон — 239
Моммзен (Mommsen) Т. — 157, 612
Монтень (Montaigne) М. — 388, 609
Монтескье (Монтескьё; Montesquieu) Ш. Л. — 388, 515, 609
Мориц (Moritz) К. Ф. — 383, 384, 607
Морус — 24
Мэколей (Маколей; Macaulay) Т. Б. — 14, 416, 546
Мэн — 509
Мюллер М. — 251

Навуходоносор — 135, 563
Наполеон I — 56, 144, 256, 281, 307, 310, 329–332, 334, 335, 336, 357, 362, 377, 426, 577, 580, 581, 582, 583, 586–588, 592, 613
Наполеон III — 367, 597
Нерон (Nero) — 356, 387, 545, 571, 584, 590, 594, 600
Нестор — 60, 393, 547, 552
Нибур (Niebuhr) Б. Г. — 12, 13, 26, 61, 157, 536, 545
Николетс — 251
Новиков И. — 325
Нодье (Nodier) Ш. — 390, 611
Норберт, аббат — 185
Норден (Norden) Э. — 28, 188, 392
Ньютон (Newton) И. — 61, 552

Обрезков — 314
Одиль, св. — 390
Один (*миф.*) — 126
Олоферн — 180
Опперт (Oppert) Ю. — 96
Ориген Александрийский — 63, 135, 563
Оттон (Otto) I — 101, 358
Оттон Фрейзингенский — 121, 132, 141, 142, 150, 323, 344, 560, 567, 582

Павел Юрий — 63
Павел Диакон (Paulus Diaconus) — 362, 570
Павел из Бернридского монастыря — 356
Павлов-Сильванский Н. П. — 113

Палицин А. — 289
Палэфат — 152
Паскаль (Pascal) Б. — 239
Пауль (Paul) Г. — 28, 162, 549
Певтингер — 215, 570
Пеллье — 224
Перон — 136
Перро (Perrault) Ш. — 217
Персей (*миф.*) — 126, 251, 393, 561
Петр, ап. — 334, 353, 372, 589, 590, 601
Петр Великий — 144, 151, 195, 239, 426, 565, 592, 604
Петрарка Ф. — 156, 384
Петрушевский Д. М. — 388
Пивардьер — 277
Пиетт (Piette) Е. — 375
Пиндар — 121, 382, 605
Пинэгрие — 372
Пипин III Короткий (Pippinus Brevis) — 229, 266, 573, 575, 576
Плавт — 212
Платер — 384
Платон — 73, 109, 172, 173, 175, 176, 185, 209, 210, 387, 566, 593
Платонов С. Ф. — 271, 289
Плацидий, св. — 236
Плиний — 220, 354, 571
Плутарх — 152, 220, 270, 356, 549, 571, 593
Поливий — 152, 370
Полок — 515
Полигнот — 214, 570
Понтан (Понтано; Pontano) Дж. — 402
Порфирий — 223, 559, 572
Потебня А. А. — 83, 85, 107, 358, 361
Прадт (Pradt) Д. Д. де — 334, 357, 587
Преллер (Preller) Л. — 28, 549
Прус — 171
Псевдо-Тюрпен — 260, 284
Птолемеи, дин. — 238, 574
Птолемей (Ptolemaeus) Клавдий — 354, 593
Пуссен (Poussin) Н. — 376, 601
Пыпин А. Н. — 83, 239

Радищев А. Н. — 504, 612, 613
Рамзес II — 367, 598
Ранке (Ranke) Л. фон — 13, 416, 486, 546
Раншбург (Ranschburg) П. — 304
Рапен — 403, 404, 407
Рафаэль (Raffaello) Санти — 144, 206, 303, 381, 554, 569
Ревилль — 157
Редлих (Redlich) О. — 29
Рем (*миф.*) — 250, 251, 361, 393, 596
Ремигий (Remigius), св. — 361, 595
Ренан — *157*
Ренодо (Renaudot) Т. — 386, 608
Жиль де Ретц (Gilles de Retz) — 361, 596
Рибо (Ribot) Т. — 303
Римберт — 358, 595
Ритчль — 157, 212
Ришар Симон — 156
Ришер — 260
Робеспьер (Robespierre) М. — 335, 336, 587
Роботрелло — 156
Ровлэй (Ровлей) — 236, 391
Родриго (Родерих; Roderic, Rodrigo) — 359, 595
Рожер, приор Вендовский — 223
Розьер (Rozière) Э. — 234, 573
Ролан (Roland) М. Ж. — 316, 326, 384, 581
Роланд (Roland) — 151, 336, 357, 360, 594, 595, 606
Роман Мстиславич — 85
Романо (Romano) Дж. — 206, 569
Ромул (*миф.*) — 250, 251, 361, 393, 596
Ронсар (Ronsard) П. де — 145, 564
Ростовцев М. И. — 373, 380
Ростопчин Ф. В. — 314, 581
Рубенс (Rubens) П. П. — 376, 601
Рубино — 536
Рупрехт — 182
Руссо (Rousseau) Ж. Ж. — 151, 252, 330, 383, 384, 391, 565
Рушумовский — 227, 238
Рыбников П. Н. — 120
Рэлей (Raleigh) — 303
Рюрик, кн. — 171, 551

Савиньи — 26
Савл, библ. — 341, 589
Саксон (Saxo) Грамматик — 178, 203, 566
Салейль — 119
Саншец — 334
Сарто (Sarto) Андреа дель — 206, 569
Саундерсон (Saunderson) Н. — 338, 588
Сведенборг (Swedenborg) Э. — 340, 589

Светоний (Гай Светоний Транквилл; Gaius Suetonius Tranquillus) — 135, 562
Севинье (Sévigné) М. де — 384
Сен-Симон (Saint-Simon) Луи де Рувруа — 60, 300, 312, 345, 390, 393, 552
Сен-Сир (St.-Cyr) Г. — 331, 585
Сент-Бёв — 157
С.-Патю (St.-Pathus) Гильом де — 273
Сеньобос (Seignobos) Ш. — 10, 15, 16, 43
Сигелий Г. — 258, 572
Сигерий (Сижер) Брабантский (Siger de Brabant) — 194, 373
Сильвестр I (Silvester), рим. папа — 230
Сишер — 136
Скалигер(Scaliger) И. Ю. — 155, 156, 565
Скотт (Scott) В. — 81, 236
Слейдан (Sleidanus) И. — 136, 373, 563
Слимэн — 251
Смедт (Smedt) Ш. де — 27, 28
Совестдрал (*лит.*) — 115, 116
Сократ — 109, 175, 306, 558, 580
Соловьев В. С. — 340
Солье — 303
Сольмс (Сольмс-Зонневальд) В. Ф. фон — 335, 587
Сорель (Sorel) А. — 416, 486
Софокл — 121
Спартиан (Spartianus) — 287, 578
Спенсер (Spencer) Г. — 363, 373, 509
Сперанский М. М. — 150, 565
Стаель (Сталь; Stael) А. Л. Ж. — 332, 586
Стефан II (Stephanus), рим. папа — 266, 267, 281, 575, 576
Стифен Дж. — 260, 299, 326, 351
Страбон — 126, 152, 264, 266
Сугерий (Сюжер; Sugerus), аббат — 326, 580
Сухотина-Толстая Т. Л. — 374
Сэнтсбери (Saintsbury) Дж. — 156

Тайлор (Тэйлор; Tylor) Э. — 124, 509
Талейран-Перигор (Талейран; Taleyrand-Périgord) Ш. М. — 320, 328, 332, 333, 582, 586
Талейран, принц — 239
Тардиф (Tardif) А. — *28*
Тацит (Tacite) — 10, 81, 114, 118, 119, 141–143, 155, 189, 220, 264, 266, 320, 325, 326, 329, 345, 370, 373, 375, 416, 545, 554, 564, 566, 571, 578, 601
Телль (Tell) Вильгельм — 177, 178, 186, 632, 357
Тереза (Teresa) Авильская, св. — 340, 589
Тертуллиан (Tertullianus) — 388, 609
Тибо — 147
Тиле — 509
Тимофеев И. — 289, 579
Тир (*миф.*) — 126
Тит Ливий (Titus Livius) — 109, 119, 363, 558, 561, 571
Титмар (Thietmar) Мерзебургский — 207, 549, 569
Тихо де Браге — см. Браге Т.
Тоблер (Tobler) А. — 28, 549
Токквилль (Токвиль; Tocqueville) А. — 261, 384, 607
Толстой И. И. — 239
Траян (Traianus) — 215, 216, 570
Триссино (Trissino) Дж. — 124, 561
Тутмес (Тутмос) III — 367, 597
Тьер А. — 380, 602, 603
Тьерри (Thierry) О. — 534
Тэккерей (Теккерей; Thackeray) У. М. — 382, 606
Тэн (Taine) И. — 81, 141, 157, 303, 405
Тюреннь (Turenne) А. де Ла Тур — 256, 322, 574
Тюрпен (Тюрпин; Turpin) Ж. — 336, 588

Ульпиан (Ulpianus) Д. — 63
Урлихс — 162

Фаринаций —225
Фемистокл — 121, 426
Фёрстер (Förster) В. — 240
Фидий — 149, 172, 174, 191, 214, 564
Фиккер (Ficker) Ю. — 29, 184, 550
Филипп I (Philippe) — 230, 573
Филипп (Philippe) Орлеанский — 345, 592
Филон — 63
Флавий Биондо — 156
Флациус (Flacius) М. — 65, 345, 591
Флодоард (Flodoárdus) — 60, 260, 322, 393, 574, 575
Фойницкий И. Я. — 224
Фока, виз. имп. — 315, 581
Фольквин — 362
Фома Аквинский (Thomas Aquinas) — 373, 599

Фомка Беренников (*былин.*) — *358*
Фортинский Ф. Я. — 28, 548
Фортунат (Fortunatus) В. — 361, 596
Фосс (Vossus) Г. И. — 10, 402
Франциск Ассизский (Francesco d'Assisi) — 380, 602
Фредегар (Fredegarius) — 266, 267, 281, 575
Фредегунда (Fredegunde) — 351, 592
Фрезер (Фрэзер; Frazer) Дж. — 509
Фрейд (Freud) З. — 304, 315
Фрикс, миф. — 232
Фридрих I (Friedrich) Барбаросса — 60, 132, 142, 188, 230, 344, 393, 560, 564, 591
Фридриха II, герцог Мантуи — 206
Фридрих II Великий — 121, 144, 223, 335, 362, 426, 564, 572, 587
Фримэн (Фриман; Freeman) Э. — 14, 15, 411
Фруассар (Froissart) Ж. — 362, 363, 376, 597
Фрутерий — 156
Фрутольф (Frutolf) — 193
Фукидид — 13, 121, 155, 187, 319, 322, 328, 329, 346, 371, 401, 407, 416, 567, 582
Фурмон — 239
Фурнье (Fournier) Р — 228
Фюстель де Куланж (Fustel de Coulanges) Н. Д. —509

Хаммураби (Хаммурапи) — 367, 387, 598
Харон (*миф.*) — 117, 559
Хворостинин И. А. — 289, 579
Хильперих (Хильперик; Chilpéric) — 330, 584, 592
Хладений (Хладениус, Chladenius) И. М. — 411
Хлодвиг (Chlodwig, Clovis) — 330, 351, 553, 584, 595, 596
Хомяков А. С. — 349, 362

Цазий (Zase, Zasius) У. — 354, 386, 593
Цезарь Гай Юлий (Gaius Iulius Caesar) — 126, 140, 141, 174, 191, 264, 266, 344, 347, 370, 426, 562, 567, 570, 599, 605, 614
Целий Антипатр (Caelius Antipater) — 563, 600
Цицерон Марк Туллий (Marcus Tullius Cicero) — 139, 140, 176, 384, 401, 402, 406, 407, 563, 611

Челлини (Cellini) Б. — 151, 383, 384, 607
Чэттертон (Chatterton) Т. — 236, 391, 611

Шавандрэ — 276
Шавандрэ Ф. — 276
Шаль — 157
Шампаньи (Champagny) Ж. Б. Н. — 330, 584
Шантепи де ла Соссей Д. П. — 509
Шателэн Г. — 371
Шатобриан (Chateaubriand) Ф. Р. — 145, 261, 564
Шахматов А. А. — 203, 214, 216, 220, 568, 569, 570, 571, 597
Швейнихен (Schweinichen) — 384
Шекспир (Shakespeare) У. — 382, 605
Шильдер Н. К. — 355
Шеффер-Буах(г)орст — 157, 232
Шлейермахер (Schleiermacher) Фр. — 11, 23, 24, 25, 26, 63, 65, 68, 73, 141, 157, 159, 162, 548
Шлёцер (Schlözer) А. Л. — 17, 157, 162, 386, 547
Шлоттман — 102
Шоппе (Scioppii) Г. — 156
Шотт — 239
Шрадер — 509
Штейнталь (Steinthal) Г. — 65, 67, 68, 90
Штерн (Stern) В. — 301, 302, 305
Штерн фон Э. — 239
Штраус —157, 548
Шуйский В. И. — 289, 579

Щепкин Е. Н. — 414, 415
Щербатов М. М. — 325, 582

Эврипид — 121
Эджертон — 251
Эккегард (Эккехард; Ekkehardus) — 193, 203, 560, 567, 568
Эингарт (Эйнгард, Einhard) — 135, 194, 260, 284, 299, 330, 395, 562, 563, 568
Энман А. Ф. — 251, 393
Энней Сильвий — 384
Эрнести (Ernesti) И. А. — 24, 157
Эспен (Espaing de Lyon) — 363
Эсхил — 75, 121, 212, 382, 606

Юлиан Флавий Клавдий (Flavius Claudius Julianus) — 287, 578

Юрий Всеволодович, кн. — 329, 583, 584
Юстиниан (Iustinianus) — 216, 570

Якобий П. — 339

Ampère M. A. — 43
Anonymus Haserensis — 353
Aristarchus — 155
Aulard A. — 303

Bailleu P. — 280, 307, 329, 330
Bart P. — 535
Berger Ph. — 99
Berthelot M. — 62, 104
Bertillon A. — 193, 206, 237, 370
Bethe E. — 28, 392
Binet A. — 102, 278, 292, 299, 304, 322, 324, 328, 350
Blass F. — 28, 63, 68, 152, 160, 211, 549
Böhmer — 184
Boissier G. — 114, 119, 142, 156, 320, 325, 330, 384
Bratuschek E. — 12
Bréal M. — 131
Breuil H. — 380
Bresslau H. — 29, 156, 194, 550
Briquet C. — 100, 101
Bücheler F. — 136
Bücher K. — 499
Budde von K. — 157

Callimachus — 155
Carrau L. — 535
Cartailhac E. — 380
Cazelles E. — 54
Chantepie de la Saussaye P. D. — 53, 125
Chantre E. — 95
Chladenius J. M. — 311, 353
Claparède E. — 254
Classen I. — 13
Collignon M. — 107, 110
Coupin H. — 251
Crates — 155

Danz E. — 114, 148
Daragon Leroy — 331
Dareste R. — 387
Darmsteter A. — 131, 379
D'Avenel G. — 500
Davillé L. — 258
Dereux G. — 84, 119
Desjardins E. — 216
Deslandres M. — 519
Diderot D. — 338
Dilthey W. — 63
Dopsch von A. — 229
Dörpfeld W. — 129
Dozy R. — 337
Dromard G. — 255
Droysen J. G. — 36, 162
Duhem P. — 195, 208
Duprat G.-L. — 333, 341, 349

Egger E. — 156
Eicken von H. — 330, 331
Elsenhans Th. — 65
Elster E. — 106, 154
Erben W. — 29, 100, 220
Esmein A. — 514
Eyckeп van der P. —148

Ferber A. — 141
Fernie W. T. — 86
Ferrero G. — 54
Ficker J. — 29, 184, 220, 550
Firth C. — 316, 331
Fisher N. — 309
Flint B. — 535
Foerster W. — 240
Fournier A. — 228, 334
Frazer P. — 193, 228
Fribourg A. — 194, 279, 307, 313, 373
Furtrwängler A. — 227

Gauguier J. — 66, 69, 84, 114, 120, 147, 148, 150
Gény F. — 147, 150, 151
Giffen R. — 495
Ginzel F. K. — 129
Giry A. — 29, 129, 230, 231, 234, 238, 390
Glagau H. — 151, 326, 384
Goblet d'Alviella — 44, 120
Godefroy F. — 131
Gomme G. L. — 83, 85, 107, 122, 126, 127, 178, 251, 264, 360, 393
Gowland W. — 95, 96, 103, 129
Greef A. — 141
Gröber G. — 28

Grote G. — 270
Guimet E. — 239
Gürtler von J. D. — 11, 24

Haddon A. — 125
Hahn J. G. — 60
Hansen J. — 351
Harnack A. — 329, 353, 363, 386
Harroy E. — 35
Hartland E. S. — 83, 126, 217, 361
Hartmann M. — 536
Havet J. — 390
Hennequin E. — 141
Herman G. — 12
Higgs H. — 499
Hirzel R. — 315
Hoffmann S. F. W. — 11
Holländer A. — 288
Hostmann Chr. — 29, 93, 96

Iodl F. — 492

Jaffé Ph. — 183
James W. — 250, 340, 341
Jansen M. — 132, 208
Jenks A. E. — 238
Jülicher A. — 285

Kautzsch E. — 234, 236, 237
Kehr I. — 232
Knoke F. — 264
Kötzschke R. — 115
Kuenen A. — 157, 258, 283, 368, 378

Lailler M. — 275, 278, 292, 293, 299, 303, 328, 346
Lamprecht K. — 380, 470, 494
Lanson G. — 534
Larguier des Bancels J. — 299, 301, 305, 312, 350
Lasch B. —156
Lang A. — 115
Lange K. — 113
Le Bon G. — 277, 362, 363
Lechner J. — 229
Lehmann A. — 325, 350
Lenz A. — 228
Lettenhove K. de — 274
Lexis W. — 494
Lindenschmidt L. — 288
Lipps Th. — 110
Livet Ch. L. — 141
Luchaire A. — 220
Lücke von F. — 25

Madvigius H. N. — 212
Maire M. — 99
Mandonnet P. — 194, 373
Mandrot B. de — 291
Manec E. — 26
Marcel P. — 380
Mayer K. — 230, 315, 342
Meinecke F. — 347
Meister A. — 115, 132, 545
Meringer R. — 315, 342, 354
Meusel H. — 141
Meyer E. — 319, 368, 470
Meyer von Knonau G. — 232
Migne — 333
Misch G. — 384
Mitteis L. — 121
Molinier A. — 260, 273, 284, 300, 331, 363, 364, 371
Monod G. — 107, 141, 194, 364, 469
Montélius O. — 100, 129, 130
Matignon M. — 95
Mayer E. — 230
Mayer K. — 315, 342
Meyer E. — 319, 368, 470
Meringer R. — 315, 342, 354
Molinier A. — 260, 273, 284, 300, 331, 363, 364, 371
Monod G. — 107, 141, 194, 364, 469
Montélius O. — 100, 129, 130
Morsi J. — 155
Müller C. — 270
Müllerus C. — 354
Müller Iw. — 28, 29
Munro R. — 237, 239
Müntz E. — 175

Naville E. — 252, 366, 367
Nodier Ch. — 224, 611
Nyrop K. — 379

Ostwald W. — 98

Paul H. — 28, 379, 549
Paquius Proculus — 373

Petersen — 325, 350
Pertz G. H. — 183
Pick A. — 308
Piette E. — 265, 375
Praefatio — 24
Prantl C. von — 26
Preyer W. — 102

Quérard J. M. — 223, 224, 233, 234

Ranschburg P. — 304, 305, 341
Redlich O. — 29, 100
Reed H. — 14
Regino v. Prüm — 353
Reinach S. — 227, 237
Reuterskiöld C. — 147
Réville A. — 373
Ribot Th. — 305, 338, 340
Riedel F. — 121
Rietsch K. T. — 233
Ritter Ch. — 26
Rodenwaldt G. — 380
Rogers J. — 500
Rosenmund R. — 156, 184, 206

Sainte-Beuve Ch. — 139, 376
Salzman T. R. — 404
Santra — 155
Schmitz-Kallenberv L. — 29, 100
Schoene A. — 136
Schrader O. — 50, 120
Schrenck-Notzing — 278
Seckel E. — 228
Semper G. — 106, 110
Scheffer-Boichorst R. — 185
Schmidt Al. — 141
Schulz M. — 333, 345, 353, 358, 361, 362
Sigwart Ch. — 63, 481, 494, 497
Sisenna — 155
Slovak A. — 331
Smedt Ch. de — 27, 283
Snell O. — 350
Socin A. — 234, 236, 237, 240
Soldan W. — 350
Steinhausen G. — 384
Stern W. — 269, 292, 295, 299, 301, 302, 310, 311, 313, 316, 321, 350, 360
Stumpf — 184
Sturz F. — 104
Sully J. — 302, 340, 341, 342
Suphan B. von — 381
Swoboda H. — 65, 110

Tangl M. — 229
Tarde G. — 512
Tassin D. — 239
Tauch — 336
Teste A. — 342
Tnama-Sternegg Th. von — 494, 499
Tooke Th. — 500
Toustain D. — 239
Troeltsch W. — 499

Ulman(n) H. — 314, 334, 335, 364
Usener H. — 12, 215

Varro — 155
Vedel V. — 356, 360, 382
Venn I. — 497
Vogt R. von — 379
Vonoven H. — 275, 278, 292, 293, 299, 303, 328, 346

Wachler L. — 11
Waitz G. — 217
Wallon H. — 339
Wattenbach W. — 184
Weismann — 228
Wendland P. — 28, 392
Westberg F. — 184
Whitney W. D. — 379
Windelband W. — 489
Wiedemann A. — 274
Winterfeld P. von — 185
Wolf G. — 11, 18, 24, 144, 314, 334, 346, 364, 379, 386

Zeller E. G. — 26

Содержание

А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ. ТОМ II 5
Часть II. Методы исторического изучения 5
Введение 7
§ 1. Понятие о методах исторического изучения 7
§ 2. Методы исторического изучения в современной литературе 10
Отдел первый. Методология источниковедения 19
Введение 19
§ 1. Понятие о методологии источниковедения 19
§ 2. Методология источниковедения в современной литературе 23
Глава первая. Понятие об историческом источнике 29
§ 1. Понятие об источнике вообще и об историческом источнике в частности 29
§ 2. Произведения природы и произведения человека 34
§ 3. Теоретическое и практическое значение исторического источника и характерные его признаки 37
Глава вторая. Главнейшие виды исторических источников 41
§ 1. Главнейшие виды источников, различаемых по степени их значения вообще для познания исторической действительности: источники обозначающие и изображающие; остатки культуры и исторические предания 41
§ 2. Главнейшие виды источников, различаемых по содержанию, характеризующему их и пригодному для изучения данного рода исторических фактов: источники с фактическим и с нормативным содержанием 58
Глава третья. Историческая интерпретация источников
§ 1. Общее понятие об интерпретации исторических источников и о главнейших ее методах 64

§ 2. Психологический метод интерпретации исторических источников 70
§ 3. Технический метод интерпретации исторических источников 89
§ 4. Типизирующий, систематический и эволюционный метод интерпретации исторических источников 111
§ 5. Индивидуализирующий метод интерпретации исторических источников 137
§ 6. Взаимозависимость различных методов исторической интерпретации в некоторых из ее разновидностей 145
Глава четвертая. Историческая критика источников 155
§ 1. Общее понятие об исторической критике и о главнейших ее разновидностях 157
§ 2. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника, как факта 168
1. Понятие о критике, устанавливающей научно-историческую ценность источника, как факта 168
2. Критерии и методы установления подлинности или неподлинности действительного источника 169
a) в применении к источнику вообще 169
b) в применении к частям источника 195
3. Критерии и методы установления поддельности мнимых источников 224
§ 3. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника 241
1. Понятие о критике, устанавливающей научно-историческую ценность показаний источника о факте 241
2. Критерии и методы установления достоверности или недостоверности показаний источника 247
a) с точки зрения абсолютной истины 247
b) с точки зрения фактической истины 251
3. Критико-генетическое изучение достоверных и недостоверных показаний источника 291
a) Понятие о генезисе показаний источника 291

b) Генезис свидетельских показаний и рассказов..293
aa) Образование показаний без давления внешних условий.....293
bb) Образование показаний под давлением внешних условий.....348
cc) Образование совокупности таких показаний или рассказов.....351
c) Генезис известий, пересказов и слухов.....352
4. Заключительные замечания о разнообразных комбинациях вышеуказанных принципов и методов в применении их к разным видам источников и дальнейшее их осложнение.....363
Глава пятая. Общее значение исторических источников...365
Дополнения.....392
Замеченные опечатки.....394
Отдел второй. Методология исторического построения.....395
Введение.....396
[§] 1. Понятие о методологии исторического построения.....396
[§] 2. Методология исторического построения в прошлой и современной литературе.....400
[1.] Смешение искусства историка с искусством поэта или оратора.....402
[2.] Переходное время. Дону.....405
[Глава] I. Понятие об историческом факте.....416
[Глава] II. Построение исторического факта.....430
[§] 1. Психологическое истолкование факта.....431
[§] 2. Восстановление исторического факта.....438
[§] 3. Комбинация признаков.....447
[Глава] III. Построение причинно-следственной связи между историческими фактами; понятие об исторических факторах и продуктах.....452

[§ 1. Построение причинно-следственной связи между историческими фактами].....452
§ 2. Исторические факторы и продукты.....467
[Глава] IV. Построение исторических групп.....474
[§] 1. Понятие о группе в его приложении к задачам исторического построения.....474
§ 2. Принципы и методы группировки исторических фактов.....483
1. Предварительная группировка исторических фактов в пространстве и во времени.....484
2. Социологическая группировка исторических фактов.....484
[Глава] V. Построение состояния культуры.....524
[Глава] VI. Построение исторических рядов.....529
[Глава] VII. Построение исторического целого.....535

КОММЕНТАРИИ.....543
Библиография.....615
Указатель имен.....617

Научное издание

Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич
Методология истории
Том II

Ведущий редактор *Е. А. Кочанова*
Редактор *А. В. Воеводский*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *М. В. Минина*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Компьютерная верстка *А. Ю. Титова*
Корректор *Н. Б. Стахеева*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 28.12.2009.
Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 39,5. Тираж 1000 экз.
Заказ 3130

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14